

**НОВЫЙ
МИР**

7-8

1932

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

**К Н И Г А
СЕДЬМАЯ-ВОСЬМАЯ
ИЮЛЬ-АВГУСТ**

М О С К В А
4 . 9 . 3 . 2

СТАТ — Формат В/8 176 × 250.

Об'єм 26 печ. лист. по 64.000 знаків. Техн. ред. В. Белоножко.

Упел. Глав. № 28660.

Вак. 3500.

Тираж 36.500.

Типографія тов. И И Сиверцова-Осипенкова. «Известия ЦИЗ СОСР и ВЦНИК». Москва

СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр
1. Иван ЕВДОКИМОВ. — Архангельск	5
2. Л. ЛЕОНОВ. — Скутаревский, роман, продолжение	34
3. М. ШОЛОХОВ. — Поднятая целина, роман, продолжение	87
4. Федор ГЛАДКОВ. — Энергия, роман, продолжение	105
5. Петр ОРЕШИН. — Лирика, стихотворение	137
6. П. ПАВЛЕНКО. — Баррикады, повесть, окончание	139
7. Александр ПЕРЕГУДОВ. — Солнечный клад, роман, окончание	187
8. Сергей КЛЫЧКОВ. — Мадур Ваза Победитель, поэма.	260
9. А. ВИНОГРАДОВ. — Черный консул, историческая повесть, продолжение	334

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

10. В. КИРПОТИН. — Горький — великий художник пролетариата	374
11. И. ЛУППОЛ. — Беранже	386
12. ПИСЬМА ФЛОБЕРА, с комментариями М Эйхенгольца, продолжение	402

Архангельск

ИВАН ЕВДОКИМОВ

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Толстый кожаный альбом лежал на круглом гостинном столике. Лежал он тут лет пятнадцать и постепенно наполнялся фотографиями добрых знакомых.

Весной восемнадцатого года бывший полковник Николай Ильич Андронов не мог перенести резкого изменения в своей судьбе. Он спрятал в сундук офицерское обмундирование, ордена и оружие и воспылал яростью против существующего государственного порядка.

Ярость раскачала его грузноватое тело к такой пешеходной стремительности, что время от времени он подхватывал на ходу брюки и замечал, в зеркальных витринах магазинов отраженную свою худобу.

Дни проходили в беготне. Николай Ильич жил торопливо и жадно. Он забегал домой, наскоро проглатывал отщавший, сообразно с эпохой, обед, по надобности принимал у себя на квартире таких же прыгучих людей и как бы проваливался сквозь землю. Полковник голько-что ночевал на своей постели. В пору ей было называться походной.

Недосуг лишал его всякого интереса к любимым домашним вещам. Альбом был среди них.

Однажды какой-то случай задержал Николая Ильича дома и заставил бездействовать. Полковник вяло отвалил крышку и обомлел: страница была пу-

ста. Он поспешно перевернул тяжелые с золотыми обрезами листы и не считался множества вкладок.

Фотографии были кем-то похищены. Но кем? Среди домашних шутников не оказалось. Прислуга-старуха полковничье добро берегла. Спрашивать у знакомых было явно неудобно: это значило подозревать каждого в краже. А так как Андронов обладал весьма строгим нравом и того пуше — неприступным внешним видом, шутка с полковником была совсем недозволительна. И сам он не допускал подобной вольности.

Николай Ильич в сильном беспокойстве осмотрел у наружных дверей английский замок и не обнаружил на нем никаких подозрительных следов. Оставалось неприятное предположение о существовании у кого-то второго ключа.

Полковник струхнул и на другое же утро переменял совершенно исправный замок на новый.

Но кому понадобились фотографии знакомых офицеров? Выбраны были как раз одни военные, а вся штатская родня жены уцелела.

Случай этот заставлял Андронova отсыреть на ночной кровати, а на улице подозрительно оглядываться. Следовало держаться еще более осторожно, чем до сих пор. Кто же, кто же мог подбирать коллекции военных, кроме тех, кого полковник ненавидел и против кого боролся?

Шли недели. Николая Ильича не беспокоили. Благополучие обманывало. Нераскрытый случай позабывался.

Нельзя же было полковнику Андронову в Петрограде на Церковной улице верить в существование нечистой силы?

Ради предосторожности он однако решительно ни с кем не поделился ни о пропаже, ни о вероятном воре.

В одно из очередных офицерских собраний на Церковной улице, примерно через полтора-два месяца после загадочного опустошения альбома, Николай Ильич тревожно задумался в самый разгар горячих споров и пререканий заговорщиков. Собралось человек пятнадцать. Вечер считался именинами хозяйки.

Полковник оглядел большую комнату и невольно вспомнил о своей потере. Все гости, можно сказать, подобрались из хозяйского альбома. Они присутствовали теперь в живом естестве и не знали об утраченных с них photographиях. Андронов почувствовал себя нехорошо. Впервые мелькнула в сознании мысль, а не должен ли он рассказать господам офицерам о странном приключении с альбомом?

До сих пор полковника интересовала только сама по себе пропажа, и он связывал ее единственно со своей судьбой. Сейчас он понял, что последствия распространились на всех. Поэтому и следовало предупредить гостей.

Полковнику Андронову однако не пришлось выдерживать долгой внутренней борьбы. Едва он подумал о пропущенном времени, как тотчас же решил молчать. Было явно неудобно раскрывать свое непривлекательное поведение. В общем Николай Ильич готов был пожертвовать всеми заговорщиками, но выдать себя являлось совершенно невысказанным.

Полковник в крайнем недовольстве собой, виновато, исподлобья переводил глаза с одного приятеля на другого. Ближайшие друзья — Сельцов, Охлопков и Павловский — сидели недалеко от дивана. Они могли заметить растерянность хозяина. От них он просто старался спрятать свое беспокойство, и взгляд его отчужденно скользил мимо.

Офицеры Сари и Вёдров расположились около гостинного столика и поче-

му-то оба полунебрежно оперлись локтями на альбом. Сюда-то чаще и направлялось внимание полковника Андропова.

Бывают такие душевные состояния, когда человек выбивается из сил, чтобы направить свое сознание и волю на предметы более важные, чем те, которые владеют им в данную минуту, и... не может одолеть себя. Подобные затруднения испытывал Андронов.

Ему положительно приходилось отгонять пустяшную мысль об альбоме, дабы она не мешала понимать ответственные решения, предлагаемые заговорщиками.

— Господа, — сказал возбужденно артиллерийский подполковник Мезенцев, — я весь вечер твержу одно и то же только на разные лады! Меня никак нельзя понять с кривотолками. Никаких больше промедлений не должно быть. Путь у нас единственный. Он ясен, как отточенная сабля. Война в конце концов дело второстепенное. Об этом не следует говорить в широких кругах, а в своем кружке можно и необходимо. Главное — борьба с большевиками. Надо объединить решительно всех патриотов против них. Полезны даже штатские говоруны. Пускай они своими речами дуракам пломбируют зубы. Всю энергию бросим на военную организацию Русское патриотическое офицерство обязано поднять оружие. На привлечение солдат у нас надежд никаких. Мы можем только заставить их драться. Но сначала необходимо создать тараны. Будут офицерские отряды — будет армия. Поднять Дон, Крым, Украину, Сибирь Север — наша цель.

Николай Ильич вздрогнул, когда неожиданно обратился к нему вполголоса юный племянник Переделков:

— Дядя, а ты почему сегодня молчишь?

Андронов подумал и ответил:

— Я... потом... Впрочем... все бесспорно и... договорено!

Заговорщики попеременно повторяли слова Мезенцева, каждый по своему умению и находчивости. Но сначала собрание было не единодушно: сомнения

а своих силах и возможностях разделяя заговорщиков на несколько группок. Одни еще колебались, другие не имели объективного мнения, третьи трусливо поглядывали на плотно закрытые двери.

— Мы одни не справимся, — уныло ставил средних лет офицер Костычев, — против нас темная и глупая, и обозленная солдатня. А ее миллионы!

— Большевики победили потому, что позвали солдат с фронта на печку к бабам, — заикаясь, вмешался молодой офицерик Одинокоев, — любая партия победила бы, выставь она этот логунг. Офицеров — горсточка. Мы... не выстоим...

— Большевики шпионят за каждым офицером, — робко прибавил прапорщик Курочкин.

— А почему? — крикнул Мезенцев. — Потому что офицерство — единственная сила в стране, которой большевики боятся. Наши господа офицеры этого не понимают, а большевики им подсказывают это понимание. Выстоим, не выстоим? Смешно мне слышать подобные рассуждения. Надо выстоять и... победить! Большевики нас по шерстке не станут гладить: мы — враги; между нами общего не может быть, — или они, или мы! Мы начнем и... я уверен... не проиграем. К нам пристанут все, кто ейчас прибит и запуган. Вся интеллигенция, духовенство, зажиточные люди... Все, кто пострадал от революции. А таких наберется не на одну патристическую армию!..

Тогда, подталкиваемый племянником, вмешался и Андронов.

— К тому же мы не одни, — начал вяло и понемногу разошелся полковник, — с нами союзники — англичане, французы, американцы... Большевики предательски ударили в спину союзникам. Они вышли из войны. Иностранцы посольства рвут и мечут... У нас недруг общий!.. Друг наш... ха-ха... и богат, и знатен! У нас будут и деньги, и снаряды! Господа, я считаю нас в несомненном выигрыше. От нас требуется лишь известная осторожность и умение пока-что провезти большевиков. Не поддаваться им раньше времени!

Офицер Сари значительно и важно заключил:

— Я имею указать один всеми позабытый аргумент. Вербовка офицеров идет довольно успешно по всей России. Большинство офицерства служит в большевистских учреждениях и... в военных частях. Я не сомневаюсь, — в решительный момент мы встретим всеобщую поддержку от офицерства. В стане врага у нас свои люди... спрятавшиеся до времени. Не думаю, чтобы большевики были в таком же положении среди офицерского корпуса!

— Против нас конечно массы! — пренебрежительно воскликнул полковник Андронов. — Но это не так страшно: массы всегда — стадо! Появись среди них опытный пастух — одно, а без пастуха — другое. Военные гении бывают редко. Все же стадо остается стадом и в том, и в другом положении! Крепкая, организованная, офицерская часть стоит десятков тысяч этих большевистских баранов! Массами надо повелевать! Кажется, господа офицеры обладают достаточным опытом на этом поприще?! Борьба за великую неделимую Россию всколыхнет всех наших единомышленников. На сегодняшний день они спят. Но это одна видимость. Они укрываются — и правильно делают — от досуужив глаз! Воскресение из мертвых неизбежно!

— Что же делать? — спросили одно временно и племянник, и Павловский, и Сельцов.

Николай Ильич не без веселой шутовской восторженности и уверенности в себе ответил:

— Придется странствовать! Так сказать, придется изучить матушку Россию вдоль и поперек! Господа офицеры поедут в теплые и холодные страны! И будут драться! Они поднимут в разных городах восстания, будут подрывать динамитом железнодорожные мосты, будут уничтожать большевистские склады, советы, учреждения... Все, как полагается на войне! Никакой пощады каждому более или менее заметному большевику! Кто щадит врага, тот — разгильдяй и клякса! Господа офицеры получают путевки и... необходимые к ним

приложения: пароли, адреса явок и лиц, суточные, прогонные, вещевые... ха... ка и разные другие блага! Будем готовы к отъезду в любой срок!

Именины кончились. Заговорщики разошлись с необходимыми предосторожностями по-одному, самое большее по двое.

С некоторых пор установился такой порядок, что Константин Константинович Половиков засиживался. Переждал он и сегодня всех.

Константин Константинович был недавним знакомым Андропова, но уже и самым близким, и самым незаменимым. Явился он к нему с безупречной рекомендацией от главного штаба заговорщиков. Генерал Пустосвятов, главноверх, накануне предупредил полковника:

— Для связи с нами и с посольствами назначен один испытанный и вернейший человек. Он вас посетит. Вы обо всем условитесь с ним...

Генерал Пустосвятов усмехнулся и добавил:

— Он подчинен вам, а вы... ему! Можете полагаться на него, как на меня, Пароль: я к вам от бабушки. Вас же он знает в лицо. Словом — тесный союз и... дело!

В условленный час человек с военной выправкой, ловкий, статный, с какой-то подчеркнутой голубиной глаз был на Церковной улице. Константин Константинович Половиков сделался завсегда-гаем здесь.

Полковник Андронов в тот же вечер узнал от своего нового знакомого краткую, но убедительную историю о гибели где-то в Пензенской губернии небольшого половиковского имения, расстреле отца и матери, в то время как сам Константин Константинович находился в одном из сибирских полков, охранявших лагеря военнопленных.

Половиков поклялся отомстить большевикам за их злодеяния и надругательства над его родом и над бедной, униженной родиной.

Константин Константинович одинаково хорошо говорил по-немецки, по-французски и по-английски. Полковник Ан-

дронов отставал от него. Он предупредительно извинился перед Половиковым в первую же встречу и сказал:

— Вы — совершеннейший панглот! Я свободно чувствую себя только в русском и во французском. По-английски — немного и... с трудом!

Константин Константинович с грустной жалобой и страстностью ответил.

— Они убили моего благородного и просвещенного отца, который заботился о моем образовании! Он сам занимался со мной! Старик, помещик Пензенской губернии, — у нас глушь и даль, — читал литературу по сельскому хозяйству на пяти языках. Генерал Пустосвятов использовал мое многоязычие, пустив меня обслуживать посольства...

Так завязались тесный союз и дело

Сегодня Константин Константинович глубоко засунув руки в карманы брюк так что небрежно загнул сзади темно голубого английского трико пиджак развязно прохаживался по опустевшей комнате.

— Дорогой Николай Ильич, — с недовольным оттенком в голосе произнес Половиков, — а мне, истинно скажу вам, перестают нравиться наши собрания. Ну, что такое, право! Вчерашних боевых офицеров приходится уговаривать, как... жеманную старую деву угаривают... немножечко, немножечко согрешить! Достаточно словесности!

Полковник Андронов не согласился.

— Ничего, ничего, — извинительно протянул он, — кто крепче продумает свое поведение, все взвесит и прикинет с расчетом на худшее, тот потом не будет оглядываться на каблуки. Пошел — значит, пойдет до конца!

— Но генерал Пустосвятов, — резко подчеркнул Половиков, — и... посол... главный штаб считают... Пора расставить силы по местам. Собрания, собрания, а... все ни с места! В конце концов мы как-нибудь попадемся в случайную облаву и... будем глупо и смешно биты! Без пяти минут заговорщики!

Константин Константинович пренебрежительно передернул плечами и не приязненно поморщился. Он немножечко

искоса скользнул холодным голубым глазом по бобрику андроновской головы и решительно полез во внутренний карман пиджака.

— Вот что, уважаемый Николай Ильич,—почти приказательно бросил Половиков,—без дальнейших предисловий и прямо к существу... Мне поручено предложить вам начать отправку офицеров... преимущественно перед всеми городами... в Ярославль, в Муром, в Рыбинск... В недельный срок. Никаких промедлений!

Полковник Андронов внимательно посмотрел на Половикова, а более того внимательно прислушался к его голосу, приобретенному еле-еле уловимые, но явственно неприятные и жесткие ноты.

— Это не все!—воскликнул Константин Константинович, точно испуганный, как бы полковник не пустился с ним в чуждые рассуждения.

Андронов заметил в руках Половикова две плотных запечатанных пачки, которые он вытащил из нагрудного кармана.

— Но главное наше направление, — продолжил Константин Константинович, — Архангельск. Офицеры следуют через Званку на Петрозаводск, на Онегу. Одиночным порядком. Конечно частично. Одна группа. Другая—через Вологду. На юг пока приостановить отправку.

Половиков обнял Николая Ильича за галию и подвел его к гостинному столу.

— Получите прогонные,—пошутил он и положил на альбомную крышку две пачки денег.—Здесь достаточно для всех, кроме вас. Вы получите дополнительно. Ровно через неделю, разослав, так сказать, вперед гонцов, вы, Николай Ильич, сами оставите Петроград и переедете на жительство в Архангельск! Вас там ждут.

Когда заговорщики согласовали все свои планы на ближайшее время, вдруг Константин Константинович заглянул в альбом и лукаво спросил:

— Вы, Николай Ильич, по всей вероятности заметили пропажу в вашем собрании фотографических карточек?

— Как же, как же! Я, знаете, весьма удивлен!—возбужденно и с тревогой, и с желанием рассказать о неприятном происшествии начал Андронов.

Половиков перебил его и с неприятным видом сообщил:

— Вы на меня не будете пенять, я уверен...

— Так это вы!—воскликнул обрадованно полковник.—Пошутили!..

— Я,—сухо отчеканил Константин Константинович,—но я вовсе не шутил. Разве можно хранить на конспиративной квартире такие документы! Вы могли погубить всю организацию. Вы собрали всех заговорщиков в лицах?

— Где же фотографии теперь?

— Вы меня извините, Николай Ильич,—осторожно усмехнулся Половиков,—я незаметно вынул все нужные снимки и унес. Я понимаю... Вам было бы трудно расстаться с ними. Я решил вам не говорить, а бесследно уничтожить против вас же улики. Я сжег фотографии.

Полковник Андронов возмущенно отшатнулся от гостя, с трудом сдержался и быстро заходил по гостиной.

— Напрасно, совершенно напрасно!—упорно и обиженно твердил он.— Я очень благодарен за... предосторожность в отношении меня!.. Однако я имел право быть предупрежденным! Я могу спрятать фотографии! Я... я не скрываю своего недовольства!

— Николай Ильич,—твердо поднялся Половиков,—поверьте, так лучше! Забудемте! Дело прошло! Я, может быть, поторопился, переусердствовал! Но я полагаю, поступаю в общих интересах!

Полковник Андронов нехотя провожал соратника и уже в дверях заплетающимся голосом взволнованно лепетал.

— Вы поступили неправильно, неправильно! Вы переусердствовали! Я не могу отнестись к подобным поступкам легко! Я... Вообще я в обиде! Я этого не понимаю! Ка-а-к вы могли?

Константин Константинович точно не слышал недовольных слов хозяина и отнесся к ним с меньшей внимательностью, чем к скрипу дверей. Он чуть-чуть пря-

держал дверную половинку и вполголоса спросил:

— Я могу сообщить, что вы все в точности исполните? Да? Хорошо!

Полковник Андронов неловко возился с дверной цепочкой и, морщась, слушал, как Половиков легко сбегал по лестнице и весело насвистывал.

Николай Ильич, вернувшись в гостиную, даже вынужден был вынуть платок и вытереть потный лоб. Полковник в запоздалой ярости схватил со стола деньги, решил было швырнуть их на пол, но... раздумал и швырнул через минуту в соседней комнате в ящик письменного стола.

— Наглец! — проскрежетал Андронов. — Он умеет распоряжаться... в любой квартире!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Возмущение полковника Андропова так при нем и осталось. Прерывчатый сон его в ту ночь весьма сильно отличался от уверенного, здоровенного и сырого сна Константина Константиновича. Ни в какое сравнение не могло итти и позднее петроградское утро на Церковной улице, и на Каменноостровском проспекте.

Николай Ильич от недосыпа и неприятных вчерашних воспоминаний раздраженно смотрел на мир, стоя у окна и резко выпуская дым очередной папиросы. Константин Константинович в те же совпадающие минуты цветуще следовал на извозчике до некоего перекрестка, где ловко спрыгнул на тротуар и дальше с непринужденной грацией и довольством пошел по переулку.

Направление это за полчаса перед появлением Половикова использовал другой более рослый и пожилой человек. Он прибыл на автомобиле с английским флажком, отпустил машину за несколько кварталов от переулка и углубился в тесные застроенные пространства пешим порядком.

Здесь, в одном надворном особнячке, скрытом неуклюжей доходной машиной из пяти этажей, два пешехода встретились с немалым удовольствием и взаимным расположением друг к другу.

— Деньги и хлеб, черт побери, должны же быть нужны в этой стране, как и во всякой другой! — пренебрежительно воскликнул по-английски старший. — Кто дает — это безразлично! Но... ни кто еще не побеждал деньги!

Восклицание было вызвано докладом Константина Константиновича, который внезапно потерял не только русский язык, но и русское обличье. В просторном кабинете как будто бы сошлись двое прирожденных британцев.

— Прекрасно, прекрасно, — оживленно говорил и двигался старший, — продолжайте действовать также. Денег не жалеть! Кто не падок на деньги? — иронически покривил он губами. — Да если еще они даются под определенным соусом... Вы должны всячески использовать патриотические чувства русских. Великая не-де-ли-мая Россия! — торжественно поднял он выше головы палец. — Помятно? Пускай себе на здоровье они забавляются... разными лозунгами! Нам в наших интересах, важно направить их энергию в нужную сторону!

Самонадеянный человек однако недобольно сел и продолжал:

— Мы не смогли овладеть Россией при посредстве самих большевиков: они оказались дальновиднее, чем следовало предполагать. Постараемся овладеть с помощью их противников! Эти, кажется... уступчивее и... менее придиричивы и... менее разборчивы!..

— Они, как комары, летят на огонь, — вставил Половиков, — только подбери рай.

— Если бы, если бы их было как же много, как комаров! — пошутил собеседник. — Увы! Большинство остается у большевиков! И... это большинство упорно не хочет продолжения войны!

Несмотря на взаимную близость между разговаривающими, Константин Константинович держался с предупредительной осторожностью перед старшим. Он слушал его все время не садясь и почтительно отражая соответствующими жестами и мимикой каждую выделенную шуюся чем-либо интонацию голоса.

— Мы предлагали за каждого русского солдата, оставшегося на фронте

сто рублей золотом. И... желающих не нашлось!—ожесточенно думал вслух начальник Половикова, подсчитывая неудачи.

— Да,—негромко подтверждал Константин Константинович.

— Мы предлагали большевикам оружие, инструкторов, снабжение...—сердилось и морщилось начальство, и Половиков согласно кивал головой, вздергивал пренебрежительно нос, очень похоже на образец.

Начальство опять поднялось с места и заходило, вынуждая следовать за собой преданные глаза подчиненного.

— Мы были союзниками царской России,—разочарованно, с предельной отчетливостью выговаривая слова, твердил пешеход.—Но раз империю сменила советская власть, мы готовы сотрудничать и с ней. Для этого требуется одно условие: продолжение войны большевиками. Я имел основательные надежды на успех, я старался всю весну добиться своего и подписать соглашение. Большевики уже стояли на распутии. Перед ними были две дороги. Война—следовательно с нами. Выход из войны—следовательно против нас. У большевиков образовалось два лагеря. К сожалению, победил Ленин. Это — настоящий мозг большевизма. Нам был весьма полезен Троцкий. Сей авантюрист обнаруживал большую податливость. Он и... левые коммунисты. Крикуны могли быть выгодно повернуты в нашу сторону. Победил Ленин—и мы проиграли. Теперь мы будем платить за каждого офицера дороже, чем платили бы сто рублей золотом за каждого солдата. В первом случае мы имели бы огромные результаты,—человек потерял руки, задумался и подошел почти вплотную к Константину Константиновичу.—Большевики конечно были бы немцами разбиты. Большевики потеряли бы власть. Мы вели бы полезную войну на чужой территории. Немцы ослабили бы западный фронт. Десять, двадцать раз бы, бы; большевистский горчичник мог заменить прежние наступления царских армий. В свое время, затянув немцев службе и подальше от западного фрон-

та, союзники разбили бы их на полях России!..

Мечтательный человек положил руку на плечо Константина Константиновича и оживленно спросил:

— А чем была бы тогда так называемая Октябрьская революция? Крайковременным эпизодом. На две недели И... только.

— Я так полагаю!—поспешно согласился Половиков.

— Не удалось!—с сокрушением воскликнул рассказчик-мечтатель. — Отвратительно не удалось! Мы обмануты

Он сел за письменный стол и, стуча кулаком, энергично закончил:

— Теперь у нас единственная ставка на всех русских противников большевиков. Надо сколотить из них полезную армию и... пустить в ход!

Удар в плотно закрытую дверь заставил собеседников отвлечься.

— Входите!—крикнул старший.

Но третий человек не вошел, а почтительно вбежал. Вид его был расстроен и растрепан, словно за человеком только что была опасная погоня, от которой он не чувствовал себя в достаточной безопасности даже здесь.

— Провал! Облава! Громадная неудача, господин посол!—задыхаясь, пробормотал он и сразу стал пить воду из графина, стоявшего в углу на маленьком круглом столике.—Я сейчас! Разрешите... Совершенно пересохло горло!

Нетерпение посла и Константина Константиновича выразилось в стремительном движении обоих к неприятному вестнику.

— Да говорите же скорее, Севастьянов!—крикнул Половиков.—Где? Что? Когда?

— На Кировной улице,—посвежившим голосом ответил гонец,—в ночь на сегодня была облава. Арестовано множество всякого народа. В том числе большое собрание офицеров. Я едва ушел. На мое счастье облава застала меня на улице. Меня, как проходящего задержали до утра и выпустили.

— Посольство обезопасено?—недовольно спросил посол.

— Совершенно.

— Ну, тогда... все пустяки!—облегченно сказал он, поднял высоко голову и высокомерно бросил.—Впрочем большевики не посмеют нас тронуть при всей их наглости и... даже при всех уликах против нас!

— Зато они жестоко расправятся с арестованными офицерами,—вставил Севастьянов,—очень жаль: им предстояла на-днях отправка. Я выдал деньги. Погибнут и деньги зря при обысках.

— Денег мы вам дадим еще,—снисходительно улыбнулся посол,—вместо одних получателей придут другие. Раз не все розданы деньги,—значит, есть кому их раздавать!

Посол посмотрел внимательно на Константина Константиновича и перевел глаза на мокрый лоб Севастьянова.

— А вы... переполох!—пошутил он.— Мы представляли при вашем появлении о значительно больших событиях, чем они на самом деле. Аресты неизбежны, раз существуют тайные собрания. Это... издержки производства! Охотник должен быть готов к промахам ружья. Полет дичи очень своеобразен и... капризен!

Посол тщательно и спокойно начал расспрашивать Севастьянова.

— Ничего не хочу знать,—настоячиво твердило начальство,—никаких неудач на свете не бывает. Мне это непонятно. Всякая неудача выдумана. Почему? Потому что она позволяет накапливать опыт, а следовательно превращается в прямую свою противоположность. Обезглавлены одни, повышается ценность голов других. Поверьте, другие будут осторожнее в целях сохранения своего благополучия! Пятьдесят, сто, пятьсот арестов, тысяча расстрелов — все это нез-на-чи-тель-ные явления! Ответ один: создать новые отряды. Мы сговорились с «Союзом защиты родины и свободы»... Собственно, мы дали деньги этому «Союзу возрождения», как содержим и чисто офицерские объединения. Результат: в двадцати пяти русских городах необходимо поднять восстания! Но этого мало. В России есть железнодорожные линии, мосты, склады... Полагаю, мы сумеем проло-

жить новые пути сообщения, отстроим мосты, пополним склады, когда потребуется для нашей армии. А пока... Подрывные работы в самых широких размерах!

Посол без запинки развивал ближайшие и отдаленные планы.

— Ярославль, Муром, Рыбинск, Вологда,—сказал Константин Константинович.—Там все или почти все готово.

— Мосты через Волхов, Волгу в Шексну,—добавил Севастьянов,—люди и средства намечены. Трудно, но возможно!

Посол резко перебил и поправил:

— Сделать, как я говорю, в срок. Усилить проникновение в большевистские воинские части. Распускать всевозможные тревожные слухи. Бить наверняка! Подчеркивать затруднения с продовольствием, с одеждой, со снарядами. Внушать страх перед регулярной армией! Всеми способами переправлять отряды из пленных чехо-словаков и сербов в Архангельск. Там должно быть как можно больше войск! Русский офицерский корпус и пленные—это уже гранит, который зубами не разгрызешь. Мы захватим Северную область и будем угрожать Москве. Юг обеспечат другие. На востоке нас ждут. Большевики должны быть окружены и раздавлены в кольце.

Посол оставил первым конспиративную квартиру. Он научился от своих агентов полезной увертливости и предусмотрительной походке. Автомобиль поджидал хозяина в укромном и малозаметном месте. Посол юркнул в просторный и нарядный кузов не раньше, чем осмотрелся по сторонам и нашел окружающую местность в совершенном благополучии. Обученный шофер не торопился в посольство. Он долго гонял прямыми петроградскими проспектами, прежде чем получил приказание ехать домой. Уличные зеваки могли беспрепятственно глазеть на мирную утреннюю прогулку посла.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Петроградская белая ночь незаметно переходила в бледно-розовый рассвет.

когда из помещения чрезвычайной комиссии Северной коммуны вышла небольшая кучка торопливых и молчаливых людей.

А через час с Николаевского вокзала поезд специального назначения отправился на Вологду.

Никто, кроме председателя чрезвычайной комиссии Урицкого и военкома Петрограда Позерна, не знал о цели этой поездки. В счет не могли идти товарищи, которых с предельной скоростью помчал ранний поезд.

Прибытие в Вологду произошло так же заурядно и неброско в глаза, как было со многими «воинскими» поездами, проходившими на «пермский фронт».

Неведение Петрограда о конспиративном путешествии распространилось на Вологду. Там только два человека из политотдела могли считать себя осведомленными о предстоящем деле.

Очередной «воинский» отбыл из Вологды в неизвестном направлении.

Ровно через две недели начальник поезда Пестерьков, неся ночное дежурство в своем вагоне, вспомнил петроградскую белую ночь перед ранним рассветом, поблескивающее пенсне на длинном черном шнурке Урицкого и бессонный его голос:

— Необходима безусловная конспирация. Во всех наших военных и гражданских учреждениях сидят в притайку соучастники и друзья—информаторы белогвардейцев. Неосторожность—преступление. Одно лишнее слово, движение—и поезд пойдет зря. Внезапность—значит удача. Не успеют сменить пароли. Клев рыбы обеспечен на насаженный крючок. Гольи не годится. Жду улова.

Вскоре Урицкого убили белогвардейцы, но завещание его подтвердилось. Пестерьков удовлетворенно подсчитывал трофеи...

Поезд появлялся без всякого расписания на станциях, в карьерах, на разездах. Поезд скромненько и вкрадчиво замирал на запасных путях. Он походил на небольшое колено безвредных служебных вагонов, которые в ожидании будущих маршрутов железнодорожного и не железнодорожного начальства выго-

рали и вымокали в летнюю пору от расточительного солнцепека и прохладящих гроз.

Тупики—вагонные кладбища. Оттуда Пестерьков с товарищами бросали беспромашное лассо и вылавливали нужных людей. Петля ослепительно взвивалась над головами встречающих и провожающих.

Ни одно любопытное ухо не слышало названия той остановки, куда намерен пуститься блуждающий поезд. Ни один жадный глаз не уследил ни дня, ни часа отхода и прихода бегствующего каравана. Поезд уверенно, по собственному компасу, находил выгодные ночлеги.

В то время как Пестерьков совершал опустошительные выемки на всех линиях, тянувшихся к вологодскому железнодорожному узлу, в самой Вологде спокойно и уверенно прогуливался по березовым бульварам английский консул Гилэзби. Ничто еще не мешало его продуманным замыслам. Консул твердо опирался на трость со слоновым набалдашником и совершенно независимо топтал своими английскими башмаками чужую землю.

Гилэзби не щадил себя и не взвешивал жертв, на какие он готов был пойти. И уже пошел. Вместо неисчислимых удобств проживания в московском обширном консульстве, Гилэзби оставил его и перебрался в неудобное захолустье. Никудышный деревянный особняк на углу немощеных Благовещенской и Пятницкой улочек, оказалось, вполне удовлетворил его. Особенно же, видимо пришелся ему по сердцу домовладелец Николай Михайлович Дружинин. Этот веселый, широкоплечий, бородатый барин, бывший председатель губернской земской управы, не знакомый доселе ни с какими неудачами в жизни, звонкоголосый попрыгун, лошадиник, кутила и гуляка, лишился всех земельных угодий, двух усадеб, двух вековых парков с белыми бельведерами, с саженными лиственницами и темносиними кедрами.

Барин приумолк, заскучал и опростился. Он мужественно порвал со многими старыми привычками и предрассудками. Он перешел с дорогого табака на махор-

ку, искусно научился свертывать двухколенный крючок и не стеснялся ходить с ним по улицам. Вологодский житель ажнул и раскрыл рот от удивления...

Цыгарка и пешее передвижение в застеганном пиджаке совсем не соответствовали недавнему дыму сигары с блестящего ландо, несомого парой белых в яблоках жеребцов. Николай Михайлович предпочел не накапливать жира от неподвижного сидения на лошадях, и очень скоро в ногах у него появились мускулы, а пиджачок обвис складками с бывших налитых плеч.

Полезная худоба худобой, а бывшие дружининские кони поодиночке таскали губисполкомских невзрачных людишек на крайние митинги, в волости, на сельские лесопилки...

Пока что за ненадобностью в жилье для малочисленного вологодского населения, убавленного войной наполовину, во владении барина осталась кургузый, дурной стройки, на грязной улице—бывшая людская с конюшней—старенький особняк с обветшалыми колоннами.

Николаем Михайловичем овладели предприимчивость и блажь. Перерождение, так перерождение! Барин перестал снушаться хозяйственными выгодами, отказался от жилищного простора,—и консул Гилэзби с подручными выехал из Москвы на дачу в Вологду. Мимолетная, наездная дружба окрепла и утвердилась оседлостью!..

Сюда, в тесные коридоры и комнатки барской людской, как в прославленные старцами скиты в дремучих местах, началось ночное паломничество. Приходили вологодские богомольцы, спешили издалека, ехали в поездах, на пароходах, даже прилетали на бипланах и монопланах. Последние прилетали в распоряжение военкомата и... не овладевая душевной потребностью к общению с английским старцем, осторожно пробирались к нему за успокоительными советами.

Липы и тополя, и березы позади английской пещеры, замкнутые высоким забором в соседней улице, с калиткой, с гнилыми проломами в дырявом тесу,

помогали не хуже шапки-невидимки стертательным пилигримам.

Консул расточал милости. Он готов был приветливо снять и мерцать в тысячах глаз. Он обнаруживал часто недовольство, встречая только редких одиночек или малые кучки ночных гостей.

Гилэзби неутомимо трудился. Он буквально на скорую руку спал только днем. И чем чаще раздавался в его кабинете, отгороженном от улицы непроницаемыми шторами, выверенный и давно действующий безошибочно пароль, тем большую настойчивость и пренебрежение к сну чувствовал труженик.

— 13,—остро слышал и вставал из-за стола консул.

— Немного более ста и немного менее тысячи, — улыбался Гилэзби и делал шаг навстречу.

— Золотая пуговица,—отчетливо и ясно отвечал посетитель и дополнял ответ учетверенным числом месяца и утроенной датой дня.

Консул предупредительно подавал руку и деловито пожимал ее.

— Вы знаете Вологду?—немедленно приступал к делу бодрствующий хозяин.—Нет? Это все равно. Вологда—этнографическое городишко. Мы сделали самодельную карту. Вы легко найдете, без всякой путаницы, нужную вам квартиру. Вот смотрите!..

Консул умел объяснять и показывать; он в совершенстве знал расположение путанного древнего городка.

Обласканный гость, снабженный деньгами и явкой, смело и прямо отправлялся по безмолвным и безопасным покуда улицам. Вологда еще не дрогнула от подозрительности и гнева против непоиманных ночных землекопов!

Николай Михайлович знал еще лучше консула и городскую, и губернскую карты. Опасливо ныряя с квартиры на квартиру, он как бы носил в глазах далекие и близкие пути на Мурманса и в Архангельск через Кадниковщину, Никольщину, Каргопольщину... Барин рассыпал ночных гонцов по всем большакам, проселкам и тропам. Он прищуривал свои озабоченные глаза, точно

представлял себе дорогу, как в'ездную аллею в собственную подгородную вотчину. Пути он предлагал на выбор.

— На Вагу,—обучал он тайных переселенцев,—через Кадников или Вельск или Северную Двину. По железной дороге до Няндомы. Можно и до Плесецкой и до Емцы. Дальше на восток или на запад. По железной дороге и... проще и удобнее, но... может возникнуть опасность. Большевики рыскают в волостях. Немудрено наткнуться на заставы. Выбирайте сами. Более других надежное направление—Кубинское озеро—Юфтяга—Чардинское озеро—река Свят. Затем следует обойти Каргополь. За Каргополем по реке Онеге. Отправляем четыре месяца... с малым количеством провалов. Все зависит от умения притворяться или обманывать простодушных дурачков! Этому научить нельзя!

Заботы Николая Михайловича о белом воинстве были всесторонни. Он совал в дорожные сумки путешественников парики, бороды, паспорта, карты, подложные удостоверения волсоветов, различные пропуска и командировки. Белый корабль оснащался с учетом возможных течей, пробоев, непредвиденных мелей и глубин.

И вдруг ночи перестали служить Гилэзби, потому что перестали появляться люди. Консул без дела шагал по кабинету. В непривычный час, в нелепой кучерской поддевке, в картузе со сломанным козырьком, без бороды и усов, встал перед столом Николай Михайлович. Гилэзби с вытаращенными глазами откинулся к спинке кресла, пока не признал близкого человека, искажившего себя почти до неузнаваемости.

— Я конечно хорош,—с горькой насмешкой пошутил Дружинин,—но привычные костюмы сейчас могут носить не все. Кучерской кафтан на плечах удобнее и безопаснее. Я бегу...

Гилэзби неприятно поморщился и торопливо пересел на диван. Николай Михайлович придвинул стул, точно опасался запачкать своим дорожным одеянием плюшевую обивку собственного дивана.

— В городе начались аресты,—пугливо косясь на окна и двери, насторожен-

но прислушиваясь к каждому звуку вполголоса сказал Дружинин.

Консул уловил эти произвольные состояния глаз и ушей домохозяина в только в этот момент заметил на поддевке дождевые капли.

— На дворе безобразие,—продолжал Николай Михайлович,—хлещет дождь! А я, с другой стороны, рад. Дождь—надежное прикрытие беглецам. Погода же мешает. За мной гонятся. Видимо, пронюхали. Я получил сведения о заставах на вокзалах. Меня здесь все знают. Мне необходимо скрыться. Я проберусь в один монастырек и там пересажусь...

— А восстание в Вологде?—неожиданно с упреком спросил Гилэзби. — Вы обещали его устроить? Мы же без него не можем! Прекрасно—идут аресты... надо изменить пароли и... продолжать работу!

Николай Михайлович удивленно остолбенел, а потом в глазах его зажглось раздражение.

— Половина людей попалась, а вы говорите о восстании,—сдержанно, но повышая с каждой фразой тон, забормотал опростовосившийся барин. — Новые пароли не помогут, когда убивают люди, когда они даже не в состоянии проникнуть в город, а в Вологде вылавливают одного за одним, как по списку... Я рисковал, я шел на все, а теперь я в праве позаботиться и о себе! Я постараюсь связаться с вами из моего убежища.

Гилэзби не слушал и неуступчиво твердил:

— Мы должны овладеть Рыбинском, Ярославлем, Муромом, Калугой, Владимиром и угрожать Москве. Вологда поручена вам. Кто мне заменит вас? Вы имеете преемника?

Домохозяин и квартирант расстались в крайнем недовольстве друг другом и решительном несогласии. Дружинин несколько раз вставал, открывал рот—и происходила заминка. Гилэзби прятал язвительную усмешку и нарочно тянул неловкость.

— Ах, да,—наконец с искусственным беспокойством воскликнул он,—вам же

необходимы деньги! Я ужасно нерасторопен и недогадлив! Дурные новости сделали меня рассеянным! Вы знаете, что делаете! Я не смею... удерживать! Может быть, вы благодаря мне засиделись здесь и... над вами уже повисла еще большая угроза облавы, чем когда вы пришли сюда! Извините пожалуйста, Николай Михайлович!

Тем не менее Гилэзби с подчеркнутой медлительностью, морща лоб от выдуманного удивления, долго рылся во всех ящиках стола, покуда не отыскал деньги в первом, откуда и принялся за поиски.

Николай Михайлович старался не пошевелиться на стуле, как будто ничего не ожидал от Гилэзби, но выдержка оставила его. Стул неудобно скрипнул...

— Простите, я сейчас!..—протянул с вежливой ужимкой консул.—Мы... сейчас... рассчитаемся...

Дружинин, красный и потный, резко поднялся, по-бычачьи уперся руками в стол и нагло наблюдал за издевательской неторопливостью Гилэзби. Николай Михайлович грубо обеими лапами взял деньги и сразу же собрался уходить.

— Однако я прошу вас,—сухо напутствовал неудачника консул,—до вашего бегства... Нет... я хотел сказать до вашего отъезда! Удивительное дело, когда нервы не в порядке, человек не владеет своим языком! Да, да, до вашего отъезда вы обязаны переменить пароли. Ну, хотя бы так: один говорит—*фунт стерлингов*, другой—*согласен на меньшее*. Я, кажется, придумал весьма просто и в то же время замысловато. Условились?

Дружинин неуклюже вылез из кабинета. Беглец забыл всякую осторожность. Он сильно хлопнул дверями на черном ходу и под дождем и ветром, с распахнутой еще в сенях грудью, опрометью бросился вдоль своего мокрого и темного сада.

Гилэзби в тот самый миг вытащил из кармана записную книжку и золотым, самопишущим пером аккуратно присоединил к столбикам цифр только что произведенную выдачу. Затем кон-

сул небрежно сунул кожаный мемориал на прежнее место, с гадливостью втиснул ноздрями воздух, внимательно осмотрел ковер возле стула Дружинина вспомнил о русских сапогах его и открыл форточку.

Беглец, намокая от ливня, воровски скользил по самым глухим и без дж для закоулкам. На окраине, среди одного капустного огорода, ленивый каплюсенький огонь светился в каком-то низком окошке летнего сарая. Николай Михайлович обессленно прилип к рябому плачущему стеклу.

— Петр Силыч!—позвал устало Дружинин.—Это я. Открой!

— Ага!—раздалось глухо, и огонь стал убавляться, уходить, гаснуть...

Нельзя было представить себе более жалкого помещения, куда, почти складываясь вдвое, вошли промокший барин и бывший приживал рода Дружининых, а нынче сторож на огороде.

— Чаек есть! Чаек есть!—верноподданнически загозил старик Петр Силыч.—Я самовар поддерживаю давно, тряпьем его обложил, без углей, а тепленький. Скидывайте, Николай Михайлович, поддевку, обсушитесь. Я из вашего сундучка достану два пледа и укурую вас.

Петр Силыч помог барину раздеться, усадил его на коротконогую табуретку и бережливо покрыл пледами.

— Петров был?—спросил Дружинин

— Был-с!

— Сумку мне принес?

— Как же-с!

Петр Силыч вытащил из угла коричневую сумку, крепко набитую вещами. Николай Михайлович положил ее около себя.

— Ты знаешь, я должен бежать, иначе попадусь большевикам и... тогда, пожалуй, больше не увидимся... на твоём огороде?

Петр Силыч горестно потряс головой и безнадежно закрыл глаза.

— Мне надо торопиться. До свету следует подальше убраться из города. Ты, Петр Силыч, передай завтра Петрову новый пароль: *фунт стерлингов и согласен на меньшее*. За-

пиши на лоскутке. Скажешь Петрову, и бумажку уничтожь. Если Петрова сдадут, сообщишь Чернову или Лозинскому, или Уварову. Кто останется...

— Кто останется, — глухо повторил Петр Силыч.

Гилэзби сильно встревожился от неудачи, хотя он и показал Дружинину почти равнодушие, не сумев скрыть лишь своекорыстия. Когда часа три спустя Николай Михайлович, гонимый страхом, как ловкий зверь, обманывающий охотника, выбрался из огородных гряд в мокобе загородные луга и с радостным облегчением смысл налипшую густо и тяжело глину с колоток, Гилэзби все еще в тревожной задумчивости бродил по кабинету.

Не спал и Пестерков. Унылый барабан дождя слушали в вагоне на одном из подгородных полустанков андроновский племянник Переделков, подполковник Мезенцев и офицер Сари. Пестерков тщательнее и добросовестно, как он делал всякую работу, допрашивал арестованных. Трое-на-трое сидели друг против друга за столом незнакомые люди, без перерыва курили, улыбались, зевали... В вагонное окно, не будь оно слепо от дождя, прохожий мог бы увидеть шестерку и ошибиться, и смешать два непримиримых стана, разделенных как баррикадой узенькой столешницей.

Еще за неделю до того Переделков, Мезенцев и Сари, отставшие от других партий белогвардейцев, выехали из Петрограда. Прошла благополучная ночь, пассажиры удобно спали и поднялись на ноги за два перегона до встречи с неким человеком на условленной станции. Оознавательная примета встречавшего была золотая пуговица на гимнастерке или на шинели. Дальнейшее направление зависело от усмотрения этого носителя отличительной пуговицы.

Офицеры, осторожности ради, ехали в разных вагонах. Сари должен был первым разыскать на вокзале нужную гимнастерку или шинель, а уж затем Мезенцев и Переделков присоединялись к ним.

Путешественники не без волнения встали у окон, когда поезд мотнуло на

стрелке при въезде на станцию. Золотую пуговицу разглядел каждый. На многолюдной дачной платформе ходил тщедушный, затасканный и заторканный солдатишка в выношенной измятой шинели, которую он словно бы только-что вынул из-под изголовья. Невзрачный воин по-инвалидски прихрамывал и пользовался в помощь убогой ходьбе легонькой палочкой. Витая резьба стружкой по сизоватой молодой коре осинки, казалось, была последней утешой побитого в боях солдата.

Офицеры заметили знаменательную для безрадостной судьбы бойца палочку. Золотая же пуговица с изрядной тусклинкой, чтобы излишне не сверкать и не отражать яркое солнце в ущерб делу, крепко сидела на правом борту у воротника среди других недостающих и полуоторванных с корнем.

Станционный гуляка скучно и тускло поглядывал на мелькающие вагонные окна, точно прибывший поезд был другой, на каком ему следовало отправиться.

Сари подошел сзади и негромко сказал:

— 57.

Человек равнодушно остановился, подумал, как будто старался ответить на какой-то вопрос, искал ответа, потом улыбнулся, что нашел его, показал палочкой на вокзальное помещение и шепнул:

— 107. Идите прямой дорогой через станцию, первая просека налево. У камня. Я найду вас. Я приду через четверть часа.

Сари с благодарностью приподнял шляпу и двинулся со своим легоньким чемоданом. Мезенцев и Переделков последовали за товарищем в некотором отдалении.

А хроменький ветеран войны снова заковылял вдоль платформы. В самом конце ее он облюбовал порожнее место на скамейке, достал из кожаного портсигара папиросу, прикурил у соседа и, низко склонив голову в проселенном картузе, начал забавляться черчением. Палочка выводила весьма причудливые домики, горы, деревья.

У камня в первой просеке встретились совсем ненадолго. Едва прихрамал туда любитель вырезания палочек, как внезапно нагрянул Пестерьков с несколькими товарищами.

— Граждане! — шероховато произнес Пестерьков, еле преодолевая хрипоту в пересохшем горле, — возьмите чемоданы и следуйте за нами!

— На каком основании? — вскипятился подполковник Мезенцев, еще допускавший возможность ошибки. — Нас ли вам нужно?

— Вас, вас, — чуть-чуть усмехнулся Пестерьков, — вас и... особенно золотую пуговицу!

В эту же секунду Пестерьков взглянул на солдата и одобрительно засмеялся.

— Здорово! — совсем весело сказал он. — Ловкость и предусмотрительность нельзя не похвалить! Когда вы только успели? Но вам, гражданин Иванюков, придется золотую пуговицу пришить обратно. Это так же верно, как мы знаем вашу фамилию.

Все оборотились на мало смущенного солдата. Один из сопровождающих Пестерькова заметил пуговицу в двух-трех метрах от камня на пыльном перекрестке.

— Все знаем, все ваши проделки, — шутил добродушно Пестерьков, — на вокзал выходите с золотой пуговицей, после встречи и отправки друзей пуговицу обрываете и кладете в карман... Нынче пришлось ее неудачно выкинуть... ничего не поделаешь! Сегодня у вас проуха... битое дело!

Переделков и Сари, как побледили от встречи с Пестерьковым, так больше и не могли опаматоваться. Они столь мгновенно потеряли всякую волю, точно никогда ее и не имели. Унылых офицеров вели обратно на вокзал, они привычно переставляли ноги, но думать и чувствовать они заказали другим. Страх ответственности превратил их в два двигающихся механических протеза.

Полковник Мезенцев не привык предаваться отчаянию. Он уже столько лет жил запросто со смертью! Раньше сегоднешней западни подполковник участво-

вал в девяноста боях, далеких от сухомытки, после которых он валился, словно пьяный. Рубака потерял счет приключениям, в какие попадал и вольно, и невольно.

Авантюрист бросил косой взгляд на своих поездных спутников, пренебрежительно определил ненужность и непригодность их ни для какого дела и занялся только собой.

В минуты полной раздавленности Сари и Переделкова, пока они выбирались из роковой просеки, подполковник Мезенцев тщательно продумывал будущие ответы на неизбежном допросе. Кроме того, припомнил о десятке подложных видов, засунутых в днище чемодана, и о деньгах, зашитых под подкладку пиджака. А главное, как пойманная лиса, сбнюхивал уже всякую лазейку в клетке, чтобы при случае нырнуть в нее.

Когда привели арестованных к секретному поезду, Пестерьков отделил офицеров от солдата. Хранитель золотой пуговицы нахмурился.

— С вами, гражданин Иванюков, предстоит более длинный разговор, — полунасмешливо, полусерьезно сказал Пестерьков и... вдруг лукаво подмигнул. — Вас наверное страшно удивляет, как это мы узнали всю вашу подноготную! Вы уж так, казалось, непроницаемо закупорились! Не скажу! Большеввики, знаете, просто наблюдательны и дальнорорки. И... уж очень они любят использовать полезных людей! Не хмурьтесь, совсем не для того я разлучил вас с друзьями, что вы предполагаете! — Пестерьков погладил кобуру своего револьвера. — А просто вы еще нам нужны для работы... Особенно ваша золотая пуговица. Ничего не переменилось: раньше вы работали для себя, теперь для ваших врагов! Но мы вас долго не задержим на этой должности. Пройдет ваш эшелон, назначенный в Архангельск, — и освободим вас... Конечно только освободим от работы!.. И... вообще вам будет делать нечего!

Солдат спокойно выслушал и небрежно спросил:

— Можно мне в карман слазить за папиросой? Р-разрешается? Не обыска-

ли еще, а ей-ей там решительно ничего предосудительного, один портсытар!

Отводимые дальше офицеры услышали прорыв золотой пуговицы и опасливо насторожились, поймав в его словах насмешку над Пестерьковым. Офицерам представилось, что вот сейчас они услышат знакомые шорохи кожи при растягивании кобуры. Этого не случилось. Тогда молодой Переделков какими-то непонятными путями пришел к неожиданным выводам.

— Мы преданы! Это—предатель! — горько шепнул он Мезенцеву.

Тот резко кашлянул и сумел ответить:

— Ерунда! Он невольник! При посредстве его будет облава на остальных петроградцев!

— Не может быть!—изобразили глаза Сари.

Мезенцев уверенно и утвердительно тряхнул головой:

— Будьте покойны! Это так!

В те трое суток, в которые арестованных прибавилось, подполковник Мезенцев давал наивные и простые показания. Он сумел расположить к себе охрану. Она уже доверяла ловко прикинувшемуся чудачком обделистому врагу. Закапканенная лиса видела лапы и готовилась раскопать их шире и удобнее.

Подполковник Мезенцев был вооружен одной упорной мыслью—выскользнуть из плена. Он ждал случая, как кот стережет у дыры мышь и не выпустит ее.

В некотором роде не ошибся и лихой белогвардеец.

Отстояв нужное время в глуши на линии, Пестерьков повел свой поезд в Вологду. Рано утром Мезенцев сделал смешные добродушные знаки часовому. Тот вышел за ним из вагона и остановился у дверей уборной.

Случай настал. Проныра простецки, будто от стыдливости, попросил разрешения прикрыть двери. Тотчас он спустил до половины двойные запыленные оконные рамы, мигом пролез в пустоту, оттолкнулся правой рукой и резко прыгнул.

Пестерьков гнал полным ходом. Подполковника Мезенцева подхватил свист и ветер, куда-то головокружительно понесло, прыгуну запылило глаза песком, перевернуло его ногами в небо и швырнуло оземь.

Мезенцев крикнул раз, другой, третий, схватился за локоть левой сломанной руки и с величайшими усилиями заглотив малодушные и опасные вопли.

Перелом был близко к плечу. Смелый белогвардеец извивался от боли, но она не заставила его растеряться. Он ясно понимал необходимость без всяких задержек бежать с места прыжка.

Засучивая перелом ремнем, снятым с брюка, подполковник сквозь слезы следил за неизбежной остановкой поезда.

Он раньше помчался к лесу, клин которого почти подходил к насыпи.

Товарищ Пестерьков в ярости забылся. Он ударил часового в зубы, выпустил все и вся, кинулся в одной ночной рубашке и штанах, босой по свежим следам, последним вернулся с окровавленными ступнями к поезду и едва не плакал. Подполковник Мезенцев ускакал, как верховой конь от расслабленного ходока.

Между тем беглец, терпя муку от болей, промаялся день по оврагам и лощинам и не выдержал. Первый раз на своем веку удачливый вояка безнадежно глянул вперед и назад.

Поля колосились, беременная земля сулила плодородие, беременная земля возле деревень на огородах, жизнь продолжалась, несмотря ни на какие разногласия между подполковником Мезенцевым и Пестерьковым.

Но она все-таки продолжалась в благожелательную сторону для одного Пестерькова. Раненый белогвардеец не смел ни итти вдаль, ни повернуться вспять, ни остановиться на месте. Пестерьков грозил из каждого мужика и на виду размножался. Как пыльца, оплодотворяющая злаки, тычинками неслись над деревенскими нивами бесчисленные облака Пестерьковых.

Подполковник Мезенцев озлобленно задумался, перебрал все пути, какие были перед ним без отводов, как будто бы

беспронимательно вник в мужицкую путанную, подобно тине, душу, и решился на безвыходный риск.

Отчаянный белогвардеец пошел прямой тропой к какой-то приятно заплывшей в зеленые хлеба деревеньке. Он убедил себя в неотразимых соблазнах, которыми пока-что еще владел. Корыстолюбивый мужик обязан был пасть...

Подполковник Мезенцев зашел в крайнюю деревенскую избу, увидел на лавке смиренного и ласкового, и любопытного мужика и уверенно заявил ему.

— Я убежал от большевиков. Меня преследуют. У меня перелом руки. Спаси меня!

Белогвардеец не сомневался в победе над мужицкими сердобольными чувствами или почти не сомневался. Он уже подсел к столу и семейственно покачал занывшую руку.

Внезапно темь ударила в глаза самонадеянному подполковнику. Мужик ощерился дикообразом и наотрез отказал в помощи.

— Пойдем в совет! Ничего тут по избам шнырять!—грубо и злобно потребовал он.

Тут, точно подсказало сознание, что мужик обязательно будет падок на деньги, шелест пачки бумажек расшевелит в мелком, завистливом, загнанном хозяйчике жадность.

— Возьми все мои деньги,—пронзительно наблюдая за мужиком, пробормотал однако в волнении белогвардеец,—здесь сорок тысяч. Ты будешь богачом! Только скрой меня!

Подполковник Мезенцев еще раньше в поле с трудом вспорол подкладку и освободил свои сокровища из темницы.

Но, видимо, на этой ошалелой крестьянской земле затмились умы и мужики потеряли чувства расчета и выгоды. Чудовищно, но сорок, сорок тысяч, настоящих сорок тысяч рублей, полученных подполковником из английского посольства через Константина Константиновича Пулюева, были не нужны, отвергались без колебания, даже с негодованием!

Мужик неловко, с зажимом, нарочно взял за больную руку Мезенцева, обесил его и повел.

В волисполкоме, сбиваясь в счете, проверили деньги, немного разбередили опухавшую руку подполковника, но пиджачок с него сняли, так как желали начисто обыскать подозрительного человека.

Так, пиджачок в накидку, под усиленным мужицким конвоем, в пешем строю, Мезенцев очутился в Вологде.

— А мы думали, нам не видаться!—встретил подполковника нескрываясь довольный Пестерьков.—Ан нет! Видно, никуда от нас не спрячешься!

Когда Мезенцева водворили в прежний вагон и Пестерьков остался наедине с мужиками-конвоирами, он дрогнувшим от удовлетворения голосом сказал:

— Товарищи крестьяне! Революционная благодарность каждому в отдельности и всем вместе! Да здравствует неподкупный советский гражданин! Спасибо и за деньги! Пускай они послужат рабоче-крестьянской революции! Деньги страсть как нужны!—Пестерьков светло и с лукавинкой усмехнулся.—Кроме всего прочего, не след обижать вашу добытчицу-волюсть. За счет английского короля,—мужики засмеялись,—на культурно-просветительные и партийные цели выделяем пять тысяч рублей!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Полковник Андронов не надо лучше выполнил все распоряжения Константиана Константиновича.

Из Архангельска и Мурманска по безвредным адресам с нарочито перепутанными фамилиями пришло достаточно успокоительных телеграмм. Достигшие обетованной пристани белогвардейцы, если судить по телеграммам, оказываются, покупали на местах по сходным ценам лес, меха, беспокоились о долгом молчании близких, поздравляли с именинниками, с золотыми и серебряными свадьбами...

Вплотную приблизилась собственная отправка. Николай Ильич выслал вперед Сельцова, Охлопова, Ведрова и Павловского. Одни поехали пароходом, другие на лошадях. Андронов догнал разведывательскую партию около Оне-

ги. Заветные и соблазнительные рубежи были податъ рукой. К ним без промедления и двинулись.

В приходе Надпорожье, к вечеру, пятеро путешественников забрели покориться к одному крестьянину. Молоко с холодного погреба и видимое радушие были одинаково приятны.

— Какая глушь у вас,—размягченно сказал полковник Андронов, глядя на мертвую вечернюю улицу в узкое окно.

Белогвардейский глава выразительно посмотрел на каждого из товарищей, и взгляд его изобразил радостную самоуверенность. Края, повидимому, были нехоженые, непуганные и благоприятные во всех отношениях для счастливой переправы к океану. А мужик вдруг осгорожно улыбнулся и добросердечно пошутил:

— Глушь-то она, глушь. А и не всегда. Поглядели бы о празднике нашу улочку. Ярмарка. Пыль кудрями о крыши задевает. Молодцы да молодицы, да пьяные мужики поднимут гам недалеко от города... Похоже.

Полковник Андронов не разубедился в своем предположении, но решил несколько подробнее разведать окружающую обстановку.

— Говори там,—подделался он под простодушный мужицкий говорок,—прежде, поди, без урядников жили, нынче без советов. Сами по себе. Захоги только, можно и от солдатчины скрыться, и налогов не платить.

Мужик превесело засмеялся.

— Н-е-е-т, шалишь! Приход наш глуховат, а видим. То в староверческих скитах бывало. Там укрьгтье. Мы раньше без урядника ни шагу: не одна гулянка без него не проходила. Как же без сабли! — насмешливо воскликнул мужик. — Сабля эта к председателю совета перешла. Этот и без гулянки ходит. Да еще и распоряженье имеет не чета преждему!

Офицеры озабоченно переглянулись, а полковник Андронов нахмурился.

— Вот как!—неестественно удивился он.—Это хорошо: одна власть ушла, другая пришла. Беспорядка и не может быть. Всякому указан свой угол.

Мужик теперь более внимательно разглядел гостей и в свою очередь обнаружил любопытство.

— Вы ж... кто будете и... куда правитесь?—в некотором смущении поинтересовался он.—Ровно бы... местов наших не знаете... По разговору слышу. Язык у нас у всех красной, а слова выговаривает по-разному.

— Мы на рыбные промысла идем,—твердо, без запинки, небрежно проговорил Андронов.—Мы ученые рыбоводы. Нам поручено спуститься вниз по течению Онеги и... описать рыбацкое житье-бытье.

Мужик внезапно обрадовался и словоохотливо зашумел:

— А у меня лодочка продажная есть! Хорошая лодка, без омману. Выверенный семерик. Поедете лучше пароходу. У любого бережка причал. Вы б купили? На низу всякой ее возьмет с руками, когда вдосталь накагаетесь. И цена всего-навсего сто пятьдесят рублей.

И Сельцов, и Охлопков, и Павловский повернулись к мужику в готовности сейчас же отправиться на лодке в намеченном направлении.

— Хотя и дорога,—сказал полковник,—но вскладчину купим. Сколько накинул?

Мужик захитрил и как будто обиделся.

— Я ведь не наваливаю. Не в силах, не берите. А только, думаю, вам лодка пригодится. На низу, у рыбаков, вы свое возьмете. Глядишь, бесплатная дорога!

Мужик принес еще несколько крынок молока. Он оживился от удачной торговли и ухаживал за гостями.

— Заночуете у меня,—заботился он,—постелю в избе, а то мягко и на сене. На утру посажу вас на струг и... шапочку сниму на прощанье. Будем знакомы!

Офицеры располагались на ночевку... Тогда и вошло четверо людей...

— Легок на помине, Иван Панкратыч,—закричал мужик и обратился к полковнику Андронову, — вот тебе и председатель совета. Урядника нету—был да сплыл, а председатель в живом виде!

— Какой такой урядник?—хмуро наморщил лоб кряжистый и волосатый Иван Панкратыч.—Пошто его вспоминают?

Мужик наскоро объяснил.

— А! — протянул председатель и уставился на притихших офицеров. — Что за люди?

Полковник Андронов с простецкой и зависимой суетной пред'явил документы. То же сделали остальные.

— Да они у меня, Иван Панкратыч, лодку покупают. К морю едут. К рыбакам. Берут за полторага, не верят нашим ценам. В сомнение впали. Дорого-де!

Мужик говорил подчеркнуто и старался внушить председателю, чтобы тот поддержал его вранье и подтвердил взвинченную цену.

— Нешто это дешево?—неподкупно буркнул Иван Панкратыч.—Лодка полонины не стоит. Ты больно дорожишься.

Мужик немного потерялся и нашелся.

— Иван Панкратыч у нас скупой!—затараторил он.—Лишнего сам не даст и у другого не возьмет. Зато его вся воля знает и почитает. Потому справедливость в нем сидит и дозирует, как глаза во лбу.

Председатель досадливо отмахнулся от лести и покривился.

— Кончай! Будет! Не мешай проверке!

Поддельные документы были выданы в Вятскую губернию, Иван Панкратыч пошептался с одним из своих спутников, который быстро натянул на нос очки и осмотрел бумаги с исподней и лицевой стороны.

— Документ правильной на Вятку,—густо выдавил Иван Панкратыч,—а у нас Олонецкая губерния. Для проезда нужен пропуск. Такое распоряжение.

Офицеры долго рядились с ним.

— Да где мы вам возьмем другой?—горячился полковник Андронов. — Не можем же мы возвращаться обратно, раз пропуск выдан в одну губернию, то следовательно нам выдали бы и в Олонецкую. В любую, чорт возьми!

Иван Панкратыч был явно опасен, он не глядел никому в глаза и сдержанно

стоял на своем. Наконец он собрался улодить и с резковатостью в голосе бросил.

— С утра... вот к нему,—председатель показал пальцем на ближнего человека,—наш секретарь... В волсовет приходите. Поговорим маленько еще. Может, и уладим!

Иван Панкратыч со свитой крепко топтали сапогами в сенях, на лесенке и на самой олонецкой земле под окнами.

— Ох, и законник он, не приведи создатель!—воскликнул мужик, стараясь задобрить обеспокоенных гостей и не дать им как-нибудь вспомнить о дорогом купленной лодке.—Умрет за пустую бумагу! И правильно, да неправильно! Отца родного без паспорта не пропустит.

Полковник Андронов, как вздернул брови, так в сосредоточенности и остался, отыскивая выход из затруднительных этих обстоятельств. Да и каждый потрясенно блуждал мыслию, чтобы избавиться от угрожаемых синяков, если даже не больше.

Мужик по каким-то хозяйственным надобностям вышел на двор. Тогда офицеры мгновенно сдвинулись грудой и торпливо обменялись короткими разочарованными словами.

— Самый безопасный путь подвел!

— Не глушь, а западня!

— С председателем можно справиться, но ведь он поднимет всю деревню.

— Пяти револьверов, пожалуй, недостаточно!

— Придется экономить пули. Пустим оружие в случае крайней необходимости.

— Ночью незаметно уйдем.

— Надо взять лодку. Будет погоня, пристанем к другому берегу. Все-таки некоторое спасение.

— Здесь сидеть нельзя. Возьмут глупо и бессмысленно!

Однако предположение и планы не успели затвердеть и окрепнуть. Одновременно с мужиком явился препоясанный урядничьей шашкой Иван Панкратыч. Его сопровождали те же люди. Мужик-хозяин утратил всякое добродушие в обращении с гостями, он нахохлился,

отводил глаза в сторону и держался за спиной председателя. Вообще все надпорожские жители обнаруживали неприятную склонность выглядывать исподлобья и зловеще косить по стенам.

— Именем советской власти, — угрюмо набух и крепко забасил Иван Панкратыч, — вы арестуетесь!

Две кучки людей стояли посреди избы, разделенные друг от друга каким-нибудь метром пола. Офицеры, как по сигналу, опустили правые руки в карманы.

— Ночевать оставляю здесь, — недоброжелательно предложил председатель, — сам с ребятами буду караулить! Кто ежели пошевелится, худо будет!

Молчание продолжалось секунды. Офицеры сдвинулись плотнее и обменялись острым взглядом. Полковник Андронов напряженно остановил глаза на председательской шашке, мысленно вынул ее и тотчас понял выгоду своего положения. Волсоветчики, повидимому, второпях сделали непоправимую ошибку — они пришли невооруженными. Старая урядницкая шашка на ремне через плечо подчеркнута и смешно выделялась на сереньком горошком пиджаке Ивана Панкратыча. Полковник Андронов безотчетно подумал, что шашка непременно была тупой и ржавой. В этот миг полковник ясно понял свое поведение.

— Довольно шутить! — властно крикнул Андронов. — Ни с места!

Мужики под дулом револьвера осадили назад. Хозяин отступил еще дальше, приоткрыл дверь, взялся тряской рукой за скобу и выставил одну ногу в сенцы. И вот это пустяшное обстоятельство, то, что струхнувший мужик оседлал порог, как деревянного коня, едва не стоило проигрыша всему предприятию. Полковник Андронов отвлекся, с удовольствием заметил отсутствие мужества, хотя бы пока у одного хозяина, поверил в силу своего наступления и чуть-чуть не просчитался.

Иван Панкратыч бешено заворчал, с каким-то диковинным стоном, как-то наотмашь, точно поперек всей избы, хватил шашку и рубанул. Но горячий

председатель рассек надвое избу, а на правое плечо полковника Андропова свалилась полуплашмя зазубренная мутная сталь, только надсекла толстый плечевой шов пиджака и заставила от боли и неожиданности судорожно опуститься долу руку с револьвером.

Иван Панкратыч торжествовал мало. Андронов моментально взял браунинг в левую руку, подскочил вперед и выстрелил.

Изаба оглушительно обрушилась вместе с огромным телом председателя. Голова его сначала в косом наклоне уперлась в стену, ноги поехали по полу и потащили за собой туловище. Потом голова с немилосердным треском хлопнулась о лавку и соскользнула на сапоги к Павловскому. Тот с невольным отвращением отбросил ее, уже делая шаг к выходу. Мужики бежали в распахнутые двери.

Офицеры кинулись на зады, в то время когда ополоумевшие мужики в совершенном безмолвии, не оглядываясь, неизвестно куда неслись вдоль деревни.

Полковник Андронов, прижав к груди болевшую правую руку, потный, выдыхающийся, кособоко бежал позади всех.

Темнеющим полем белогвардейцы достигли реки. Надежды на переправу обманули. Лодки недоступно дразнили под самой деревней. Возвращаться туда было конечно немыслимо.

Офицеры шли до изнурения речным берегом. Густой лес сугубо мешал, но обладеживал верной защитой. Сил хватило километра на четыре. Тут брошенный за ненадобностью или выморочный пустой сеновал без ворот и без крыши приютил беглецов на ночь.

Ушибленная рука полковника Андропова опухла и легко кровоточила. В лунном отсвете из-за туч, скупом и неясном, точно в старой башне с решетчатым подпотолочным окном, заклеили полковничьи ссадины папиросной бумагой, и Николай Ильич затруднительно натянул рукав пиджака. Огня из предосторожности не зажигали. Даже курили, загоразивая рябиновую каплю внутри ладонями и близко от земли.

— Кури, лежучи на брюхе, — пошутил Сельцов, — а то придут на фонарь дорогие мужички с дреколем.

— Не придут! Далеко! — сомневался Охлопков и убеждал себя в невозможности появления погони.

Полковник Андронов немного страдал от зуда в порезе, раздражался и находил успокоение в угрозах.

— Пока одну пулю издержали, — неприятно подхрипывал он. — Большого дурака и медведя уложил я. Нагонят, следует уходить рассыпным строем. Во что бы то ни стало попадать и валить насмерть. Одно-два метких попадания стоят стрельбы из пушек. Какой-нибудь верзила рухнет, другие остерегутся и отстанут. Мы должны им показать класс в работе. Каждый болван — мягкая мишень. Боком за дерево, подпускай на шаг и... без проигрыша в лоб!

Передышку офицеры укоротили. Елселе они отдышались, как один за одним начали вставать. Медлил дольше других полковник Андронов. Он упорно что-то ковырялся в карманах, не находил и бесполезно тянулся здоровой рукой в правый карман брюк.

— Павловский, — попросил он с большим огорчением ближайшего к себе товарища, — осмотри-ка пожалуйста мой правый карман. Этот проклятый Иван Панкратов изуродовал меня! Сам никак не доберусь. Я, кажется, оставил в наследство мужику за неоплаченное молоко наш компас. Мы без путеводителя! Такая досадобушка!

Компас действительно утратили.

— А, черт! — воскликнул неприятно Андронов. — И угораздило меня вытаскивать его в избе! Для чего — не пойму сам! Мужик — дурак, пожалуй, по грибы будет ходить или отдаст своим щенкам-ребятишкам, а те его уничтожат, разберут во славу русской смекалки! Превосходный был компас! Точный! Двадцатилетнего действия! Можем заблудиться! Ждут на севере, а придем на юг!

Офицеры прособирались. Напряженный и напуганный слух сразу десятью ушами поймал недалекие человеческие голоса в лесу. Мужики точно бы знали,

где находились беглецы. Голоса приближались широким охватывающим поюсом.

— Наше счастье, — шепнул воспрянувший полковник Андронов, — эти сволочи бредут с факелами! Удобно стрелять! Мы в темноте, они на горячей сговорде! Скорее! Часть мужиков вылезла наперерез! На ус нам и ночь. Мужиков — тьма. Днем они нас не выпустили бы. На сорок верст не отстанут. Не уходить от реки, чтобы фланг был. А то навальтятся кружалом и сомкнут насмерть!

Встреча произошла невдалеке от сеновала. Офицеры, перебегая от дерева к дереву, пробирались высоким береговым хребтом. Смоляной факел, словно конский хвост, поставленный дыбом, преградил дорогу и полыхнул ослепительно сквозь заросли.

— Здеся они! — торжествующе заголосил молодой парень с огненной шапюющей свечой.

Эхо разорвалось по лесу и страшно повторило десятки раз возмущенный крик.

Неудачный выстрел Ведрова вспугнул погонщика с факелом и как бы согнал его в сторону с тропы. Офицеры поспешили прорваться вперед. Но они с неовладеваемым страхом и отчаянием увидели, как лес обогрился с разных концов. Игластые ели и сосны помалиновели, точно чудовищные щетинистые кабаны. Деревья бежали и шатались. Мужики подняли палубу. Дробь и пули рвали кору, перерубали ветки, осыпали игольник и шишки.

Обманутые молчанием офицеров мужики скоро перестали остерегаться и целым табуном выскочили на открытую маленькую полянку.

— Дадим по одному! — скомандовал полковник Андронов.

Мужики зарвались и поплатились. Пять пуль оттолкнули толпу, и она потеряла нескольких человек.

Вой и крик замерли ненадолго. И тут же в спину офицерам словно хлестнуло всеми лесными хворостинами сразу. Растрепанный железный венчик со свистом жужжал в тесных прогалинах между

стволов. Он свалился на голову Ведрова, подсек его и опрокинул.

Павловский на бегу вырвал у лежачего и раненого товарища наган и проскочил дальше.

— Дело дрянь, — сказал полковник Андронов, — мы оплошали. Мы позволили мужикам зайти нам в гыл. Надо было драться только с фланга. Следует остановиться и отогнать мужиков глубже в лес.

Ведров порядком задержал погоню. Мужики загнулись около него. Одинокий выстрел долетел значительно позже, когда из-за остановки возле Ведрова Андронов изменил план и оторвался от преследователей.

— Пристрелили Петра Сидоровича! — грустно проговорил Сельцов. — Видно, сперва он был только ранен!

Полковнику не понравилось несвоевременное и вредное сожаление Сельцова.

— Вперед, вперед! — яростно приказал он. — Потом будем считать потери. Санитаров у нас для раненых нет. Жалко, а.. еще жальче потерянного револьвера! Вы меня должны понять, господа! Не жестокосердие, а.. необходимость! Ему оружие было уже лишнее, а нам всем дополнительный шанс!..

Но тут он заметил Павловского, который безмолвно поднял руки, вооруженные двумя наганами.

— Это так! — повеселев, одобрил Андронов. — Панихиды потом!

Мужики сделали еще несколько попыток обезоружить офицеров. У мужиков появился свой план. Они решили прижать четверых людей к реке, занять над ними высокой береговой горб и огтуда или уничтожить врага, или вынудить его к сдаче.

Офицеры поняли простой и лукавый маневр противника. Они отбили ряд буйных натисков мужиков, но наконец не выстояли. Глубокая лощина на пути позволила мужикам направить офицеров прямо к воде.

— Эх-хе-хе! — крикнул с надрывом полковник Андронов. — Господа, надо попробовать опять подняться! Внизу нас камнями можно побить! Вплавь пу-

ститься — расстреляют, как кряковых уток.

Мужичья пальба шла уже по наклонной косой. Охлопкову заряд дробы вонзился в мякоть ягодицы. Он упал. Но так как ружье было разряжено все же издали, рана оказалась, хотя и мучительной, но неопасной. Бледный и растерянный, Охлопков почти сейчас же поднялся на ноги и не отстал от других.

— Ничего! — крикнул он недовольному оборотом дела полковнику Андронову. — Сносно! Жить можно!

— Итти можете? — вполоборота спросил полковник с затравленными глазами.

Охлопков через силу усмехнулся и невесело пошутил:

— Я еще не собираюсь отдавать браунинга!

Брать приступом гору не пришлось. Сельцов очутился в голове отступающих. Он сорвался с последнего высокого бугра на выходе к береговому хребту и скатился к самой реке.

Тогда-то и порадовались четверо загнанных белогвардейцев. Трое из них с ужасом наблюдали гибель четвертого, пока он кувыркался вниз. Они уже считали его мертвым. Казалось, мужицкая пуля снесла Сельцова. И вдруг из полумрака раздался бешеный освобождающий вопль его:

— Плот, плот! Сюда! Идите скорее!

В такую минуту кое-как связанный лыком плотишко из немногих чурбаков, покрытых редкими прогибающимися тесинками, равнялся благоустроенному кораблю.

Счастливые люди находчиво подобрали на отмели два брошенных кола и черенок весельной лопатки. Офицеры предусмотрительно стали по одному на каждом углу плота и, погрузив его на вершок в воду, оттолкнулись. Крутое течение махнуло самодельное судно близко к середине.

Буквально в это мгновение извивающиеся, подобно хвостатым удавам, факелы собрались целым широкопоставым сулоном на отмели.

— Пастухи! Сволочи, пастухи спасли! — озлобленно рычали нижние верхним мужикам. — На ихнем плоту уехали. Наделали, сволочи, забав себе, а делу — урон! Убийцев переправили в недосыгаемую! Душу из пастухов вытрясти, тоды узнают!

Стрельба в пространство могла быть только в качестве самоутешения. Мужики хозяйски пожалели порох и дробь. Плот стремительно тянуло к далекому океану, но всякая подгоняющая струйка текла туда.

Павловскому и Сельцову, по их местоположению на плоту, довелось управлять им колышками, ведя дальше от покраженных берегов.

Факелы пусто и ненужно, как свидетельство полного замешательства, горели кучей, постепенно теряли яркость оперения, снижались и задышали, а затем враспынную начали взбираться на горку. Мужики отходили...

Пловцы дрожали от холода, точно ночная вода, просочившись в сапоги, незримо поднималась, как ртуть в градуснике, от ступней до головы.

Удачливые плотовщики наметили бросить плот не раньше, чем увидят прибрежную деревню, чтобы обойти ее. Но здесь лес выгодно заменял людей. Сильно вытягивая головы вперед, наклоняясь ниже к речной поверхности, иначе рулевые путались в неясной ночи, Павловский и Сельцов простояли с ведущими кольями до позднего рассвета.

Десятки километров легли между плотом и коварным Надпорожьем. Этого было вдосталь. Река заменяла компас.

Много месяцев спустя на одной офицерской пирушке в Архангельске Сельцов столкнулся с полковником Андроновым. Полковник был под тураком. Николай Ильич выражался грубо и ожесточенно.

— А, милоч, — обнял он Сельцова и похлопал его по заду, — зажило? Впрочем это не тебя! Ха-ха! Павловский и Охлопков истреблены большевиками! Мы с тобой остались вдвоем на тризне... на кургане! Бойцы! Ха-ха!

Пьяный Сельцов вел по улице после пирушки едва переставлявшего ноги полковника. Полярная луна осветила одну пятиглавую церковушку. Вдруг Андронов уперся в нее подслеповатыми глазами и заулыбался:

— А помнишь, мы плыли на плоту, как четыре евангелиста по углам. Ха-ха!

ГЛАВА ПЯТАЯ

По варварскому разбитому бульжику Тверской (о брусчатке и асфальте тогда еще не было и в помине) неторопливо возвращался из Петровского парка легкой автомобиль с английским флажком.

Посол совершил удачную загородную прогулку. В пути не было никаких приключений. Деревья Петровского парка брызнули первой робкой зеленью. Теплый и густой ветер разносил по всем проезжим просекам тонкий и острый запах весенних смол. Кружась над старыми и новыми гнездами в понятной всему живому жажде оплодотворения, томительно и зазывно кричали грачи. На голых пока лужайках кое-где звонко веселилась гармонь, проскучавшая взаперти долгую зиму.

Посольская машина бесшумно скользила мимо низких, приплюснутых к земле деревянных строений. Возле них на лавочках грелись старики и зевали. В мутных ручьях и канавах озорная и громкоголосая детвора вела флотилии из бумажных корабликов.

Посол умилился подобной устойчивости жизни. Все пребывало на своем месте, как неподвижный предмет. Посол мечтательно оглядел знакомые окрестности и явственно припомнил почти такой же, как нынче, весенний день в прошлом году, когда посол приезжал по делам из Петрограда.

У Тверской Заставы посол обратил внимание на высокое безоблачное небо. Оно представилось ему огромным опрокинутым кораблем. Чуть розовое широкое днище его повисло над Москвой, а гигантской крутизны и безмерных далей борта уперлись в горящие предзакатные горизонты. И все это небесное устройство было так прочно, основа

тельно, словно его воздвигли самые совершенные и уверенные в своем мастерстве художники-строители.

Послу решительно понравился скромный и торжественный вечер в Москве. Отдохнувшим и умиранным от всяких посольских треволений проезжал он по Тверской. Он приказал шоферу убавить ход. Посол обнаружил склонность даже к самой щепетильной наблюдательности.

Московские люди всегда занимали его, как кактусы. Уроливое бородавочное мясо зеленых чудовищ могло отстранять его внимание часами. Он обладал собранием кактусов до тысячи разновидностей. С азартом и страстью он скрещивал их, гигантов низводил до карликов и карликов поднимал до гигантов. Вообще посол дотошно умел за ними ухаживать. Кстати, он увлекся стариной. Скорее, скупал старинные туземные вещи. Это занятие в России было свойственно всем иностранцам. Особливую склонность он имел к собиранию неуклюжих глиняных свистулек вятского и вологодского производства.

Сегодня благодушно посольскому взору угодно было обозреть шумное и разнородное людское движение по мокрым тротуарам и мостовым Тверской. В дикарском потоке просто и бедно одетой московской улицы он усмотрел подобие со своими кактусами и свистульками.

В пренебрежительной и снисходительной усмешке посла, повидимому, было такое превосходство, что некоторые прохожие не особенно приветливо озирали автомобиль и не без явной злобинки оглядывались вслед. Но что же до того неприкосновенному послу!

Он заинтересованно следил, как не похожа была московская толпа ни на какую другую ни в какой другой столице. Не походила и по беспорядочной толкотне, и по манере разговаривать, смеяться, шуметь, размахивать руками и даже носить платье.

Любопытство его было неиссякаемо. Московская толпа вызывала в после самые причудливые отклики. Она чуть-чуть раздражала его, то заставляла воз-

мущаться или добродушно смешила, а то корбила непристойным поведением отдельных толкунов-пьяных, бешеной руготней обозленных чем-то извозчиков и шалостью ребятишек, сидевших кое-где на заборах и на решетках и кидавших оттуда подсолнухи.

Посол с содроганием глядел на швырки окурков прямо на мостовую, на разноцветные бумажки, усыпавшие всюду улицу, на грязные лохмотья, торчавшие тут инде в подворотнях. Нечего уже говорить о пестро полинялых фасадах домов, о выбитых вкривь и вкось стеклах, о перекошенных на петлях воротах, о сломанных львиных головах, отбитых лапах и хвостах. Все это отвращало взгляд аккуратного британца. Он презирал беспорядочную и неряшливую сутолоку толпы, презирал драный и рваный город, плявильший на весеннем солнце все свои нищие изъяны и порухи времени.

У Никитских Ворот послу пришлось уже по-настоящему злобствовать и пылать. Допьяна оживленная толпа тысячи в три-четыре человек по совершенно непонятному для посла поводу шла с жалким оркестром, пела и несла несколько десятков причудливо сделанных из тряпок, картона и фанеры чучел. Бесхитростный транспарант из кумача на двух палках предстоял балагурскому скопищу карикатур. Его несли две рослых и краснощеких женщины. Посол без затруднений прочитал крупные и толстые, как бананы, кривые буквы:

«Чугунолитейный завод имени товарища Игнатьева празднует сегодня открытие первых детских яслей в Пролетарском районе. Да здравствует освобожденная женщина-работница, товарищ за станком! Нашему примеру пусть последует вся рабочая страна, весь пролетариат в международном масштабе!»

Посол сначала намеревался ограничиться ироническим взглядом, но глаза наткнулись на возмутительное сопровождение транспаранта. Отвратительные дикари в отвратительной этой стра-

не, низложив своего императора, открыто потешались над всеми европейскими королями, государственным деятелями, министрами и послами. Чучела мало ходили, но в них было колющее неотразимое жало: аршинные подписи фамилий и званий лиц. Картонные черные цилиндры, военные фуражки, котелки, поповские ризы и сутаны, клобуки и митры указывали безошибочное направление стрел.

А главное—смелая, нахальная и безнаказанная дерзость издевательства какой-то дикарской страны над странами—владычицами мира! В столице этого темного и взбесившегося государства порочно попирали какие-то люди все международные обычаи и отношения и вели недопустимую пропаганду против государственного порядка во всей Европе!

В непроходимой ярости, испортив благодушное настроение, вызванное прогулкой, посол возвратился домой.

Даже полочки кактусов в кабинете, к осмотру которых прибегал хозяин в самые взволнованные и раздраженные минуты, не подействовали благотворно.

Чудовищные бородавки жизнерадостно зеленели и лоснились от безупречного ухода за ними. Живое свидетельство искусства посла, пересоздававшего одни виды в другие, обычно поднимало в горле изощренного садовода восторг.

Горделивое сознание от собственного умения явственно отражалось не только на лице, а и в напыщенности фигуры. Нынче не действовали никакие успокоительные яды.

В таком беспоконном состоянии и застал посла Константин Константинович. Он вошел весьма энергично и весело. Посол внимательно посмотрел на уверенную наружность гостя, хотел раздражиться на несвоевременность его посещения и не успел.

— Деньги, фураж и... белые булки.—победоносно сказал Половиков.—имеют успех в Москве. Это я утверждаю!

— А я думал, у вас что-нибудь есть новое,—неудовлетворенно отвечал посол.

Константин Константинович покорно согласился, но настойчиво продолжал:

— Однако я могу представить доказательства.

Посол долго раздумывал о чем-то над одним кактусом, крошечными щипчиками вынул мертвую муху, погибшую среди иголок, и небрежно повернулся к Половикову.

— Не может быть!—придирчивым тоном усомнился он.—Однажды вы мне дали понять, что я никогда не помню о ваших успехах, забываю все вами хорошо сделанное. Полагаю—вы не правы. А все же отмечу—наше последнее предприятие особенно затянулось... без движения! Мы побеждали до сих пор мелочи. Конечно преодоление их легче. Крупное побеждает нас.

Константин Константинович нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Ничуть!—воскликнул он с азартом жокея, не согласного с непобедимостью коня соперника.—Мы... почти торжествуем! Подкоп глубоко проник внутрь.

Посол суетливо пробежался по кабинету, точно желал рассеяться от дурного расположения духа и не находил повода. В усиленной дозе злости, как если бы он принял от нездоровья лошадиную порцию лекарства и она бурно действовала, посол швырнул ногой помешавшее в пути кресло, его же привередливо схватил за спинку, сел в него с поджатой ногой и буквально зашипел:

— Скорее, скорее!.. Вы понимаете, скорее! Сломать все препятствия! Побеждает тот, кто никогда не опаздывает! Циферблат часов можно не уничтожать, достаточно испортить механизм! Большевики укрепляются, если мы ослабеваем, и наоборот. Мы расставили силы. Но все это ненадежно и неверно. Архангельск, Ярославль, Вологда, Вятка... будут нашими!.. Это же—полдела!.. На фронте города переходят из рук в руки. Надо укрепить занятые территории отсюда!..

Константин Константинович с нетерпением перебил:

— Позвольте же, господин посол, доложить о результатах, достигнутых за последнюю неделю...

— Не за неделю, а за каждый час! — крикнул неугомонный хозяин. — Вы — медлитель! Вы — не кавалерист, а пехотинец!

— За каждую секунду! — светло и ясно подтвердил желание посла Половиков. — Я уж проник в казармы! Даны деньги, деньги приняты и раз, и другой. Я подружился с целым взводом красных командиров. В разных частях. Севастьянов — с другим. Мы едем на салазках с укутанной горки!

Посла не совсем оставило недоверие и раздражение, но он сделался внимательнее. Он выправил поджатую ногу с кресла и, заинтересовываясь, пока еще вяло произнес:

— Ах так! Хорошо! Дальше!

— Согласно вашего приказа, — вкрадчиво сообщил Константин Константинович, — мы проникли в латышские части...

— Стоящие в Кремле? — жадно спросил и вытянулся вперед к агенту оживившийся посол.

— Пока... нет, — сдержанно поморщился Половиков. — Достигнуть и этого было чрезвычайно трудно. Однако я теперь не отчаиваюсь, а полон уверенности, что мы будем и там.

— Когда? — резко поставил вопрос посол. — Дата?

— Когда, я не смею назначить время, чтобы не обмануть доверие, — уклонился Константин Константинович, — полагаю, скоро!

— Вы не полагайте, — придрался посол, — а отвечайте точно и ясно. Что вам нужно еще преодолеть для достижения цели?

— Очень многое, — хитро и сокровенно усмехнулся Половиков, — прежде всего величайшую... преданность латышской советской власти. Куда проще разложить русские большевистские части. Тут помогает иногда удачно внесенная нашими агентами водка. Мы таким образом регулярно спиваем одну часть. К латышам ход труднее. Они крепки и спяны. У них образцовый командный состав. Большевики, как вам известно, испытывают сильные продовольственные затруднения. Разруху. Нам удалось выяснить, что даже латышский полк в

Кремле снабжается с перебоями. Для латышей это не повод к недоразумениям с властью. Они дисциплинированы. Это — реальная сила в руках большевиков. Русские красноармейцы выносливы, но их можно сбить, указывая на неспособность правительства обеспечить питание.

— Необходимо, — злобно протянул посол, — играть на психологии этой русской рвани. Надо внушать ей, что латыши снабжаются превосходно решительно всем. А латышам следует говорить, что русские красноармейцы ненавидят их и при случае сделают нападение. Не лишнее сообщить и такую мысль: латыши большевикам нужны на время, а затем они будут разоружены. Почему? Потому, что большевики, как они ни притворяются, не потерпят самостоятельного существования Латвийского государства. Всячески вносите раскол. В борьбе нет неподходящих средств. Приказываю вам спешить, спешить!.. Проберитесь в Кремль, хотя бы это обошлось нам миллионы долларов. Купить командный состав! Не допускаю неудачи, где можно много заплатить!

— Я тоже не допускаю, — согласно поддакнул Константин Константинович, — в ближайшее время меня позвонят с одним кремлевским командиром. Мне это обещано. Латышские стрелки, господин посол, между собой связаны. Мне представляется возможным использовать эти связи. Мы, можно сказать, на подступах!

Посол, полный напряжения и страсти, точно бы мало вникал в сообщения Половикова, стремился направить его по наиболее верной и близкой дороге.

— Взорвать эту латышскую спяность и... сознательность искусственно! — упивался он приятными надеждами. — Распространять самые невероятные слухи. Всякий вздор! Вы должны проявить необходимую выдумку! Каждое явление поворачивать в выгодную для нас сторону! Мне кажется, особенно был бы хорош один способ. Договориться с латышским командным составом о систематической задержке и недодаче стрелкам продуктов. Эта мера,

правильно поставленная, подействует лучше других, лучше денег и всяких посулов.

Константин Константинович скромно, но с сознанием полнейшей своей предусмотрительности во всем сказал:

— Об этом были разговоры. В одной казарме проводим опыт вторую неделю. Стрелки становятся податливей. То же будет и везде!

Вдруг посол откинулся в кресле, весь засветился и одобрительно засмеялся, хлопая в ладоши.

— Да вы... действительно находчивы! Одобряю, одобряю! Я в вас не ошибся! Вы продумываете за меня больше, чем даже следует! Забываю о всех моих упреках! Я их вам не высказывал!

Посол встал и крепко пожал руку Половникова.

— Константин Константинович, — торжественно проговорил он, — действительно ли вы пензенский помещик, а не британский подданный?

Оба человека продолжительно и визгливо засмеялись.

— В Кремле заседает Сов-нар-ком! — воскликнул на прощанье посол. — Вы понимаете, как нам важно быть возле этого почтенного учреждения?

— А со временем и в нем, — подхватил с таинственным ударением Константин Константинович.

— Именно, именно!.. Латыши туда вхожи! Будем понимающими толк в подобных вещах втирушами!

— Слушаюсь, господин посол!

— Подготовить всё! Потом я буду иметь свидание сам с латышскими командирами! Это более убедительно и авторитетно! Пусть они от меня лично узнают наш план!

В Кремле в те же самые дни, и немного раньше, и немного позже, словом с рассвета до рассвета, в некоторых бессонных окошках не потухал огонь. Кремль планировал по-своему.

Английский консул Гилэзби в Вологде уже нанял за две тысячи рублей члена «Союза возрождения России», техника вологодской губернской земской управы Тютчева. Этот ревностный человек обязался составить статисти-

ческие и экономические сведения по Архангельской, Вологодской, Вятской, Олонецкой и Новгородской губерниям.

Тот же неутомимый старатель беспрекословно служил и офицерской организации. По приказанию Николая Михайловича Дружинина он снимал копии с железнодорожных и речных мостов. А так как победивший от большевиков вологодский барин сам питался союзническими дарами и платить за работу не мог, консул Гилэзби и копии мостов принял в свой счет.

Техника Тютчева за ценные труды отблагодарили еще одной тысячей рублей. Консул Гилэзби располагал в ближайшие недели вступить в хазайские права на Севере, а следовательно не считался с легко возвратимыми затратами.

Точно такие же карты и копии приковывали глаза бодрствующих людей в Кремле. Здесь не надо было выискивать и покупать техника Тютчева. Тысячи других и раньше, и после готовы были склониться железными безупречными кронштейнами над километрами кальки.

Здесь думали не над одним северным захолустьем. Огромный мировой глобус непрерывно вращался в некоей уединенной комнате. Отсюда, повторенная всеми большевистскими рупорами, умноженная на миллионы согласных голосов, раздавалась могучая золотая труба:

— Товарищи! Наша революция порождена войной; не будь войны, мы наблюдали бы соединение капиталистов всего мира: сплочение на почве борьбы с нами. У них одна мысль — как бы искры пожара не перепали на их крыши. Но и тех, кто наступают, достаточно. Англия, Франция, Америка, Япония!.. Враги Советской России окружают нас тесным железным кольцом. Они пошли войной на советскую власть, на власть рабочих и крестьян. Советская республика победит и внешних, и внутренних врагов. Капиталистические хищники, пойдя в поход на мирную Россию, рассчитывают еще на свой союз с внутренним врагом советской власти. Мы знаем хорошо, кто этот внутренний

враг. Это—капиталисты, помещики, кулаки, их сынки, ненавидящие власть рабочих и трудовых крестьян, крестьян не пьющих крови своих односельчан. Волна кулацких восстаний перекидывается по России. Кулак бешено ненавидит советскую власть и готов передуть, перерезать сотни тысяч рабочих. Так было во всех прежних европейских революциях, когда кулакам удавалось повернуть от власти трудящихся опять к всевластию богатей и тунеядцев. Везде кулаче с неслыханной кровожадностью расправлялось с рабочим классом. Везде оно входило в союз с иноземными капиталистами против рабочих своей страны. Никакие сомнения невозможны. Кулаки—бешеный враг советской власти. Либо кулаки пережрут бесконечно много рабочих, либо рабочие беспощадно раздавят восстания кулацкого грабительского меньшинства народа против власти трудящихся. Середины тут быть не может. Миру не бывать: кулака можно и легко можно помирить с помещиком, царем и попом, даже если они поссорились, но с рабочим классом—никогда. Рабочие Питера, Москвы, рабочие на каждом заводе и на каждой фабрике России, поднимайтесь! В этом—залог нашей победы.

Английский посол и Константин Константинович с подручными переживали колебания. Им был недоступен Кремль. Они бы завистливо переглянулись, опрокинутые навзничь высокими валами бодрости, которые были неотделимы от кремлевского населения. Там работали весело и споро. Сторонний глаз не понял бы этой счастливой уверенности в себе власти, поднятой на гору трудовым большинством. Она знала свой вчерашний, сегодняшний и завтрашний день. Она могла бедовать от поражений, могла торопить опаздывавшую победу, но в ее приходе она никогда не разуверялась.

В Кремле мало спали, валились от усталости, в Кремле непрерывно звонили телефоны, в Кремле не отходили от прямых проводов, вязавших Россию с правительством, в Кремле в Спасские и Боровицкие ворота проходили занятые люди, бежали автомобили, дребезжали

дроги, скакали конные вестовые, мчались оглушительные мотоциклы...

Английский посол на второй день после прогулки в Петровский парк подошел к окну в своем кабинете и злорадно застоялся. Голодная извозчицья кляча поровнялась с посольством. Вдруг животное зашаталось, навалилось боком на оглоблю, лопнула подпруга, взыграла кверху одним концом дуга... Седок испуганно выскочил и замер невдалеке с тяжелым саквояжем. Лошадь упала. На облучке пролетки с отломленными оглоблями усидел старик-извозчик.

Подхватывая полы грязного и долгополого кафтана, когда прошел столбняк растерянности, старик хмуро слез на землю, обошел вокруг своей лошади, пнул ее, дернул за хвост, для чего-то оглянулся по сторонам и покачал головой. Потом он безнадежно махнул рукой пассажиру, получил с него деньги, помог навалить на спину тяжелую саквояжную кладь и остался один.

Посол надолго замер у окна, куда его не отозвали внутрь комнаты.

И через час, и через пять часов сдохшая лошадь оставалась на месге. Посол со смехом наблюдал, как старик-извозчик с каким-то мальчонком покатили на себе искалеченную пролетку.

Лошадь пролежала трое суток. И все это время посол был настроен весьма довольно и даже игриво. Взору его, как ни претила падаль, приятно было лицезреть большевистскую разруху. Посол чувствовал себя легко и свободно в подготовке к предстоящему столкновению с подобными, казалось, бессильными врагами. Он конечно побеждал их! Немудрено, что так же думали и другие посольства. Агенты присылали самые успокоительные сводки со всей страны.

Жизнерадостные кремлевские большевики позволяли делать какие угодно выводы врагам по мелочам и пустякам необстроенной еще жизни. Большевики верили, что просчитаются те, кто злорадствует и обобщает павшую и тридневно неубранную лошадь с поставленной на колени советской республикой.

В эти дни преждевременного торжества английского посла поздней ночью, в Кремле, в кабинете председателя Совнаркома, сошло несколько приезжих людей из Архангельска.

Любопытный хозяин без умолку расспрашивал гостей. Решительно, кажется, не остался втуне самый мелкий пустичок архангельской жизни, который бы не понадобился предсовнаркома. Гости порой с некоторым недоумением отвечали на вопросы, не представляющие, по их мнению, никакой цены.

— Вы меня извините, товарищи, — серьезно говорил Владимир Ильич, — я конечно страсть любопытствую, но, покалуй, это необходимо. Вам на месте, в работе, многое может так примелькаться, что вы к нему привыкли и относитесь без внимания. Не спорю. По всей вероятности так и следует относиться. А все-таки мне со стороны все эти мелочи, порошинки, крохи позволяют уяснить более рельефно всю обстановку.

И гости не скупилась. Были это представители чрезвычайной комиссии по разгрузке Архангельского порта.

— Чкорapu, — твердил несколько раз и нажимал Владимир Ильич, — Совнарком дал очень ответственное задание: во что бы то ни стало разгрузить архангельские склады с военным имуществом и срочно, срочно, бешен? срочно вывезти в глубь страны. На Бакарице, Соломбале, Экономии — многомиллионное имущество. За кровь и мясо русских рабочих и крестьян союзники не пожалели своих товаров. Они царя снабжали хорошо. Было бы грешно нам, большевикам, упустить это добро. Оно очень нужно и пригодится в дальнейшем наверняка. В иностранных газетах давно болтают разные люди — следует-де большевиков не допускать к владению чужими складами. — Владимир Ильич с искринкой в глазах усмехнулся. — Не признают нас за наследников! Вывозить, вывозить, товарищи, поезд за поездом, баржа за баржей, пароход за пароходом! На Сухону, в Котлас! Тут надежнее. Склады охранять от расхищения. Никого не подпускать близко,

чтобы контрреволюционеры не взорвали наших драгоценных хранилищ. Спасибо, что вы хорошо работаете и нынче отстояли склады от наводнения. Так надо и дальше действовать!

Председатель Совнаркома находился в таком волнении, точно видел архангельские склады у себя на заваленном бумагами столе, болел за их судьбу, опасался всяких козней и каверз врагов, защищал советское имущество от гибели и, главное, вывозил, вывозил подалее от океана, куда приходят корабли всех европейских флагов...

— Дело не головоломное, — шутил Владимир Ильич, — только нагружайте и вывозите! Я уже просил товарищей наркомпутейцев, чтоб колеса у паровозов вертелись во всю и вагоны гнали к Архангельску самые исправные. Водники обещали бросить всю свободную флотилию — баржи, лодки, пароходы.

Один член Чкорapa буквально с восторгом рассказывал о неисчислимых богатствах, которые государство доверило им и которые они переправляли из опасных помещений. Он говорил так, словно вывозили не каменный уголь и снаряды, а чудовищные сокровища золота, бриллиантов, платины...

— Идут и ушли целые составы поездов и караваны барж с полевыми биноклями, — захлебывался чкораповец, — тысячи пишущих машин, десятки тысяч пудов цветных металлов...

Председатель Совнаркома с жадным вниманием загибал на левой руке пальцы.

— Взр. вчатых веществ огромные запасы, — продолжал чкораповец.

— Пригодятся!.. — неопределенно и таинственно сказал Владимир Ильич. — Облегчат... нашу победу!

— Они прямо не убывают, сколько ни вывозим.

Председатель Совнаркома знал больше, чем знали чкораповцы, но он предполагал, что они были такими же всеведущими.

— И такую драгоценность, — вдруг раздраженно и сухо кому-то погрозил Владимир Ильич, — отдельные... товарищи преступно бросают на железнодорожных путях. Архангельская кшшка —

главный маршрут революции. Лишней пылинки не должно быть на ней!.. Все гайки и болты на месте!.. Личный состав на высоте положения!.. Между тем... Грузы на Сухоне, в Вологде, в карьерах 29-й и 45-й верст частично расхищались, хранение становится опасным от влияния атмосферы и почвы... В карьере 45-й версты до самого последнего времени не было ни сараев, ни подтоварок, а туда прибывают артиллерийские снаряды, там намечены огнехранилища. Вагоны стоят неразгруженными... Какой-то негодяй ждет, чтобы ему выкинули грузы из вагонов! Нет ни надзора, ни распорядительности, ни плана работ. Вы знаете об этом?

Члены Чкорапа, застигнутые врасплох, смешались. Владимир Ильич недобро и осуждающе взглянул.

— Чкорап, — поспешно старались оправдаться чкорापовцы, — не проверяет направления грузов, не следит за исполнением... не может...

— Очень жаль, — перебил председатель Совнаркома, — непременно следует сопровождать вашим представителям до места каждый эшелон. Я прошу это осуществить. И чуть что неладно, сообщайте мне. Я приму меры. Нельзя, товарищи, останавливаться на полдороге.

Чкорापовцы уходили от Владимира Ильича близко к рассвету. Председатель Совнаркома, стоя в дверях, полусерьезно сказал:

— В Москве вам, товарищи, по-моему, незачем долго гулять. Вы в Архангельске нужнее. Катите-ка сегодня же обратно домой. Отдыхать будем потом. Да... Вы мало сообщаете фактического... Присылайте с каждой оказией отчеты. Сколько отправлено? По какой линии? Куда? Что отправлено? Нам здесь полезно быть осведомленными!

Владимир Ильич как будто забыл о товарищах, едва они ушли. Он труженнически наклонился над столом и принялся быстро разбираться в бумагах.

Вот он выбрал одну, несколько смятую, разгладил ее ладонью и сосредоточился над ней. Скоро полунасмешли-

вая улыбка детски заиграла на его усталом и темноватом лице. Ленин читал:

«Господину главнокомандующему гор. Архангельска и района Белого моря. Милостивый государь! Сегодня посетил меня некий Н. С., отрекомендовавший себя членом чрезвычайной комиссии по разгрузке Архангельского порта, присланной сюда центральными властями. В виду сего я нахожу своим долгом, во избежание всяких недоразумений в будущем, через посредство ваше ясно и категорически объявить местным фактическим властям мнение британского правительства относительно собственности груза, находящегося в Архангельске.

Британское правительство считает весь ввезенный в Архангельск груз исключительно собственностью союзников, а не России. За него было уплачено исключительно союзниками. Британское правительство не признает законности декрета настоящего правительства, уничтожающего иностранные займы, ясным следствием чего является то, что, пока таковой декрет не будет изменен, груз не может стать собственностью русского правительства хотя бы даже частично.

С совершенным почтением великобританский консул Дуглас Юнг».

Владимир Ильич дочитал и прересело расхохотался. Как искры в кипучем вине, струили глаза острые огоньки. Чкорापовцы, доставившие ему это письмо, истинно удружили.

Председатель Совнаркома повертел в руках послание и вернул его в грудку прочитанных бумаг. Он с минуту задумался, зевнул и еще раз улыбнулся...

Письмо Дугласа Юнга имело продолжение. Иностранные консулы часто появлялись в районе складов и бессильно наблюдали за выгрузкой. Подобное положение они находили нетерпимым.

Председатель Совнаркома не задолбал упростить его: все пропуска представителям иностранных миссий были объявлены недействительными.

(Продолжение следует)

Скутаревский

Роман

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

(Продолжение ¹)

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Первое возмущение схлынуло, и осталась досада; общий тон и мотивировки Штруфа заслуживали конечно мордобоя, но Штруф ушел и унес с собою последнюю возможность покончить с этим не в меру затянувшимся семейным анекдотом: уехать подалее от шкафа с пропылившимися парнасцами стало его насущной потребностью. Но квартир в городе не было, и средства, отпускаемые на строительство новых домов, не покрывали острой жилищной нужды. Поэтому предложение Штруфа представлялось особенно заманчивым и могло не повториться. Правда, отыскать этого щелкопера было легко, — со своими фантастическими товарами он мотался по десятку знакомых, — стоило только свистнуть! И Сергей Андреич свистнул бы даже с признанием застарелой вины перед Штруфом, имей он только в достаточном количестве деньги, но, вот, денег-то и не было. Зарплаты его хватало лишь на утоление самых насущных потребностей, сбережений не было вовсе, и даже если бы раскидать с молотка смехотворные сокровища Анны Евграфовны, требуемой суммы все равно не набралось бы. Впервые Сергей Андреич с такой остротой чувствовал отсутствие денег на текущем — как, кажется, делают это порядочные люди — счету. И, несмотря на свою житейскую

неумелость, он довольно быстро сообразил, что в таких случаях деньги занимают у приятелей. Он не сомневался в удаче: по условиям того времени всякий инженер старался запасти себе кое-что на старость и черный день. Следовало только найти денежного приятеля и членораздельно об'яснить ему случившуюся нужду. Дальше все шло по правилам логики, нормальной для всякого наивного, провинциального человека.

Тот выписывает чек и, игриво трепля смущенного друга по плечу, сует ему в жилетный карман бесценную хрусткую бумажку. Потом Сергей Андреич грузит на извозчика книги и чемодан с бельем, ставит между ног араукарию и, троекратно расплевавшись со своим вчерашним днем, по-студенчески перебирается на новое жилище. Женя приходит часом позже, с цветами, совсем непохожими на те, которые были в страшное утро его фактической женитьбы; она прчет их в прихожей: приличному секретарю, качества когорого должны совпадать с качествами арифмометра, лирических эмоций не полагается. К концу дня все тот же Штруф, помолодевший от чужого счастья, привозит дешевую, бамбуковую например мебель. Он еще сердится, но лишь для вида. Стулья скрипят, гнутса, их пахучий лак прилипает к пальцам, но все это в гомерической степени способствует ребячливой радости новых жильцов. Вечером Сергей Андреич читает Жене свое очередное сочинение о трансформаторных маслах: его изобретательность

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 5 и 6 с. г.

сперничает с остроумием. Длиннейшие формулы легко укладываются в прелестные ямбы и анапесты. Женя слушает с упоением, поджав под себя ноги и кутаясь в мягкий пензенский платок, — в раскрытую дверь, вместе с затихающим гулом города плывет влажная вечерняя прохлада... Женя спорит, она сторонница несколько ипого направленья, но Скутаревский говорит строго:

— Ну, ну, пора спать, товарищ секретарь... утром потрудитесь отправить в типографию гранки!..

Она уходит нехотя; ей жалко, что в прочитанном куске рукописи только шестьдесят страниц, и еще ей хотелось бы, чтобы Скутаревский хоть немного поиграл на фаготе. Он догадывается и берется за инструмент; вот он держит фагот, как ружье наизготовку, вот он играет с вяще ную человеческую весну. Все, весь мир, видят в фаготе лишь гротескное, да и Скутаревский склонен, понимать свой инструмент лишь как комический оркестровый голос; Женя впервые раскрывает в нем сходство с лирической, простодушной свирелью Пана. Кажется, это распаивает ее душу. Играй, играй, лесной старик, шевели склеротические пальцы, пой про благословенную жизнь, которая пускай становится тысячекратно шире и разливистей!.. И вот Скутаревский живет, но ему хочется еще больше ущемить себя железной дисциплиной, слиться с толпами, которые со сжатыми губами идут на штурм, свершать для них, бороться и... любить? Ресницы Жени дрожат, но время приказывает расходиться; тонкая фанерная дверь надежнее проволочных рогаток разделяет их до утра.—Весь этот комплекс канареечных ощущений проскочил в нем за то краткое мгновение, пока раскрывал перед собою книжку с записанными номерами телефонов. Он начал с «А» и сразу надул нижнюю губу.

На эту букву были помечены главным образом люди казенные, как определил он с первого взгляда, а такому не откроешься. Он перевернул страницу без сожаления. С буквы «Б» начинался разноряд: Брюхе был уже недосыгаем, у Брасова была умильная морда ксандза

и давленные клюквенные губы паяца, Бобович уехал в Туркестан на новостройку. На букву «В» вовсе не было людей, а лишь названия учреждений, каждое из которых произносилось так трудно, словно напильником проводили по зубам. Логика его терпела ущерб, он залистал странички быстрее, выписывая на бумажном клочке возможных кандидатов в благодетели. Иные были отвратительны ему: у Граперонова М. Н. всегда нестерпимо пахло изо рта чернильным карандашом; Граперонова же К. Н., этого цинического бонзу в шелковой шапочке, потому что зябла лысина, он вообще беспричинно презирал. Вездесущие Давильцын и Зуммер были по существу невежды и авантюристы, несмотря на значительные посты, куда их выбрали для заполнения новой мебели ленинградского треста; откровенная контрреволюционность Кортенки коробила Скутаревского; Мумарев, негодим, жадюга и занка, все равно не даст. Талицын, такой тощий и плоский, точно спать ложился в книгу и прикрывался кожаным переплетом, непременно кашляет в кулачок и: «Кхе-кхе,—скажет,—я подумаю!» Сергей Андреич испытал дробенький холодок в лопатках. друзей у него в наличности не оказывалось, и это было страшно. Дальше он перелистывал страницы уже с вялым любопытством, по старой привычке доводить научное исследование до конца... Его улов был небогат, — на полях остались выписанными лишь две фамилии: Девочкин и Петрыгин. Иван Иеронимович Девочкин—это было смешно, весело и величественно; известный хирург, гремевший в свое время в обеих столицах, демократ, любимец студентов, надежда своего поколения и умница, всегда искренне дружески и, как старший, несколько покровительственно относился к Скутаревскому. В общем, Сергею Андреичу все-таки везло. — он схватился за телефон.

К телефону долго не подходили; потом откликнулась жена Ивана Иеронимовича.

— Это я, Скутаревский... — засмеялся Сергей Андреич, заранее радуясь удаче. — Вы наверно думаете, что я

умер. Ерунда, я все-таки пригласил бы вас на панихиду!

— Нет, я не думала этого, — без выражения ответила жена Девочкина. — Да, здравствуйте...

— Иван Иеронимыч дома?.. или загулял? Мне его по делу на минутку...

— Нет, его нету... — Она помолчала и затем сказала с упреком: — Иван Иеронимович помер.

— ... как? — гаркнул Скутаревский, почти падая на аппарат, и какая-то пелена отделила его на мгновение от живого мира. Его обожгло это известие, но как-то сразу он примирился с ним и дальше, может быть, скучал:—Когда...?

— Месяц назад, об этом было в газетах...—И, почувствовав, что незнание Скутаревского правдиво, стала рассказывать о последних минутах мужа — обстоятельно, нудно и с бесконечными повторениями, как умеют только вдовы.

Описание этих последних минут Девочкина заняло более получаса. Сергей Андреич слушал этот дряблый старческий голос со стыдом и досадой; шутка, которой он в начале разговора приветствовал вдову, звучала явным балаганом. Вдове же приятно было рассказывать другу покойного все мельчайшие детали болезни; потом она начала плакать в телефон, и Скутаревский принужден был произносить соответственные утешения такого банального стиля, что, едва положил трубку, осталось тяжкое ощущение, точно воду на гору таскал. И хотя монументальную тень Ивана Иеронимовича не так-то легко было выселить из памяти, он решился на дальнейшие поиски. Оставался только Петрыгин... Правда, он приходился родным братом женщине, которую Скутаревский покидал, но Петр Евграфович не мог не понимать, что в разрыве этом заключается и освобождение сестры из мучительной и скверной истории; кроме того, уж он-то наверняка владел свободными средствами!—Черимов не имел на новой квартире телефона и потому в памятной книжке не был помечен никак.

Ехать на поклон к Петрыгину конечно было противно. Даже и в годы молодости, когда подступали официальные случаи, Сергей Андреич старатель-

но избегал таких посещений. Консервативный, мелочный уклад шуриновой жизни отвращал его в высочайшей степени. За последние годы тот и сам не настаивал, чтобы грустное это родство трансформировалось в прежнюю дружбу, а Скутаревский и вовсе обрадован был бы любой okazji навсегда вычеркнуть его из памяти. Конечно тот выразил бы притворное, немножко чопорное удивление, но, в сущности, возликовал бы от возможности быть полезным заносчивому зятю; конечно он предложил бы немедленно послать за ним машину, если только Скутаревский нуждается в разговоре наедине, а собственный его Бьюик окажется например в ремонте. Как бы то ни было, Петр Евграфович знал, что такое гостеприимство не останется без щедрой оплаты. В общих условиях того года самый факт посещения Скутаревского представлял собою вещь, из которой предприимчивый деляга мог получить всяческий барыш.

Встреча их могла быть крайне любопытна. Знаменательный банный разговор так и не получил завершения, — каждый верил, что за ним осталось в этом деле последнее слово. Правда, сибирская районная станция, по сведениям Черимова, работала бесперебойно, и потом по почте однажды Сергей Андреич получил резолюцию на залитой чаем папиросной бумаге: «... принимая во внимание повышенную влажность торфа, при которой котлы не дают полной своей мощности, а также удаленность от центра и слабую квалификацию местных технических сил, признать, что увеличение резервов в данном случае оправдывает себя». Без сомнения, бумажка была послана по требованию Петрыгина — может, даже сам и в конверт клеивал! — со специальной целью утереть нос Скутаревскому. Но Сергей Андреич, охладев к сыну, и не собирался скандалить по поводу подозрительного казуса; новые подоспевали заботы, и далекая сибирская торфянка давно закуталась в крепкие сибирские туманы. Надо сказать, что забвение далось ему без особых усилий совести. Сын—это еще болело, но уже

как прошлое. Дорога к Петрыгину была свободна, и Сергей Андреич хотел думать, что поездка туда не составит для него жестокого и унижительного компромисса. И тут-то снова разыгралось потревоженное его воображение.

Старинный дом с бездарной декадентской облицовкой, где безвыездно существовал Петр Евграфович, каждым камнем своим наводил уныние. Это начиналось с богатой и затхлою лестницы, которая не мылась, видимо, со времен Октября, — со щербатых ступенек с выкраденными плитками, с мутных стен, где зияли линияые потоки плевков. Кажется, обитатели этой обширной братской могилы, разочаровавшись в справедливости, и не добивались более в этом мире красоты. И верно, жили здесь разные люди со стреляющими, двойными фамилиями, старомодного покроя и безвозвратно умерших профессий. Мнемонически Сергей Андреич запомнил: дверью в дверь с Петрыгиным помещался один, когда-то чудовищно знаменитый адвокат, но слава изошла из него, как воздух из резинового чортика, — скорбную, скоробленную кожу его часто встречала Анна Евграфовна на лестнице, когда та спускалась проветриться и погулять. Жизнь спрессовала обитателей, как туркестанский изюм, в тяжеловесные тюки; давно они утратили собственную форму и цвет; они путешествовали в будущее с тем же равнодушием, с каким несется в космическое пространство вся неживой инвентарь планеты... Стоялая вонь прошлого шибала здесь в нос гостя, как из детского пугача. И еще Сергей Андреич видел: распахивалась забронированная полудюжиной замков дверь, и ошеломленный посетитель видел себя во весь рост, как бы изъеденного рваными чумными пятнами: осыпалась с зеркала дrevня екатерининская амальгама; квартира Петрыгина являлась логическим продолжением лестницы. Потом начиналось шествие по низким, как бы сужающимся коридорам, густо заселенным вещами. Иное валялось на полу, неторопливо ползя к помойке; иное, запакованное в рогожи, пылилось на самодельных полатях; иное с обезъ-

яньей ловкостью держалось на стенах. Все это были вместительные резервуары давно погибших эмоций: люстра, вазы, аристон — большая музыкальная шкатулка, невероятная пиццаль, из которой сам изобретатель не посмел выстрелить ни разу, и, среди прочего, общежитие мелких хрущевых жучков, ловко сделанное в виде чучела морской птицы. Этими вещами, как на бирках крепостных мужиков, отмечались грозвые происшествия тех лет. До войны вещи выглядели осмысленно, но вот сломалась ножка у павловского столика, и починить его было некому. В тот год одновременно с знакомым краснодеревщиком призвали и Платошу ратником второго ополчения. Неожиданно упала люстра и придавила любимого кота. Потом пошли черные газеты и белый снег последней российской зимы. Запасали сахар и крупу в огромные севрские вазы, которые пригодились впервые в жизни. Продавали почти даром французскую эротическую библиотеку Евгения Евграфовича, растерзанного солдатами на фронте. Замерзла уборная, лед пробивали старинную пиццалью, и тут бабушка Екатерина Егоровна умерла от сыпняка. Стреляли с соседней крыши по юнкерам и прострелили ящик аристона; Платошу прострелили еще раньше. Домком отобрал пианино для детских яслей. Петр Евграфович отморозил ногу в очереди за мороженой картошкой. Продали диван, продали сервант, продали люстру, обменяли на мыло бронзового Пигмалиона... Потом переменялось: купили диван, купили буфетик, починили аристон, купили пианино, купили... это был нэп. Потом опять продали, уже накрепко. Чаще приходили старьевщики, баракхольщики, любители, антикварные проныры, соглядатаи, Штруфы и просто глядуны. Ужасный дом этот лихорадило; он уже не примечал событий, но только бредовую, блошиную скачку вещей, закрутившихся в буревом смерче...

Сергей Андреич испытывал скуку, когда видел икону в углу петрыгинского кабинета, повешенную на виду. Петр Евграфович давно разуверился во всем, и бог ему был даже не путевод-

ной ниточкой, а лишь компенсацией за утраченное, средством протеста, незамысловатым заборчиком, за которым отсиживался до поры. Изображен был святой с копьем; он был мордат и в просторной золоченой рубахе. Только скуку... но он чувствовал прилив ярости, когда видел аристон, под который праздновали его женитьбенную сделку! Вещи стояли мрачнее могильных памятников, но, он знал, в секретном ящичке одной из этих деревянных развалы хранились бесценные тридцать тысяч, необходимые для его вступления в новую жизнь. Запустелое место требовало к себе уважения, и следовало заранее побороть свою непримиримость. Может быть, даже ему придется раскланяться в адвокатской кожице или спросить о здоровье содержимого в неряшливом капоте, которое проскользнет посреди разговора по коридору. «Редкий гость, редкий гость...»—заговорит хозяин, весь играя, как призма, когда тонкий и сочный попадет в нее луч. А сам будет думать: «Не спроста, не спроста... Скутаревский зря не пойдет к Петрыгину!» Потом он заведет политический разговор, в котором пошлость искусно сочетается со сплетней, а Скутаревскому останется поддакивать? Ну-да!.. это он приходил к Петрыгину просить денег, а не наоборот.

Словом, Сергей Андреич трижды брался за трубку и всякий раз, точно тяжесть ее превышала его силы, не мог оторвать от рычага. Прямая необходимость, ибо бушевала на кухне жена, снова гнала его к аппарату, и он шел, презирая в себе минутную слабость. Еще неизвестно однако, сдался ли бы он на петрыгинскую милость, когда прозвучал телефонный звонок. Трубка едва не выпала из рук: ему везло, звонил сам Петрыгин, и в голосе его, слегка порхающем, не отражалось и доли прежней неприязни. Очень спокойно, вполне с тактом, он приглашал зятя поехать за город, в деревню, в глушь и снег, на лисью охоту.

— Тебе полезно, родной: ты заплесневел, как груздь без засола. Небось и

мысли скверные лезут. В наше время чаще следует думать...

— ...о спасении души? — засмеялся Скутаревский, потому что ему тоже стало весело.

— Нет, но об умственной гигиене!

— Да, ты прав, — бормотал Сергей Андреич, размышляя, что наверно с таким же ребяческим ликованьем обставляют друг друга жулики при дележе добычи. Разыгрывая видимость сопротивления, он прибавил на всякий случай: — да, но у меня завтра...

— Возражения не принимаются. Ехать сегодня,—перебил Петрыгин.— Все... валенки, ружье, лыжи—все будет на месте. Возьми зубную щетку и полотенце. Я заеду за тобой через час!

И сразу, в разбивку, точно опасался, что Скутаревский сбежит, принялся расписывать про исключительные условия охоты, про замечательного егеря, которого держал на жалованьи, про его теплую избу, про красоты зимнего леса, про удовольствие от стакана гретого вина и про мудрость мирных деревенских щей. Похоже было, будто элегию собирался он писать на склоне лет, а Скутаревский согласился уже с первого слова. Нейтральная уединенная обстановка вполне согласовалась со щекотливой темой разговора. Кроме прямых выгод, представлялась еще побочная — на сутки оставить Женю наедине со своими мыслями. Сергей Андреич подозревал, что она избегает даже глядеть на него: и правда, он несколько громоздкими приемами нанимал себе секретаря.

Все происходило именно так, как обещал Петрыгин. В назначенное время он ждал его в машине Энерготорфа, посмеивался, потирал руки и шумел:

— Влезай, влезай... Ну, что у тебя нового? Так и не узнал, отчего светятся рыбы?—Сергей Андреич с размаху вдавился в кожаное сиденье,—машина скользнула из переулка.

— Ты вероятно уже слышал! — и покосился на шофера.

Но Петр Евграфович не стеснялся:

— По городу ходит много слухов, но сплетня только разжигает аппетит. Чорт, прямо шекспировские страсти! Сестра рассказывала, ты даже зубами

скрипишь по ночам и бьешь сервизы?.. кстати, и молоденькая? Где ты ею раздобылся?

Он спросил об этом вполголоса, сделал неуловимый жест и с тем доверительным мужским акцентом, который допустим только между старыми приятелями. И, выстрелив в него новым хохотком, уставился наивным оком — попало ли. Лицо Сергея Андреича жестко чернело на фоне мелькающей улицы; Скутаревский молчал, и Петр Евграфович понял, что стиль беседы следовало подобрать иной. Игра велась крупную, и требовалась повышенная деликатность к тому, кого собирався обыгрывать... Тут захватила их вокзальная суматоха. Облака сквозного пара подымались к лампонам, одышливо пыхтели паровозы у перрона, и где-то на путях, убегавших в безлюдную тьму, скупым дорожным криком перекликались отходящие поезда. Наступала зимняя ночь; она заглядывала сюда полукруглым куском неба, из которого медлительные, танцующая и порхая, неслись снежинки. И хотя вот тут же, в двадцати шагах, за кирпичным углом багажного домика, шумел город, все обычные мысли ростворились в волнении неожиданного путешествия... Еще раз Петр Евграфович попытался установить душевный контакт со спутником своим:

— ... слышал? Прогресс! Банщики единодушно идут в управление государством. Я про этого, про родственника комиссара твоего. Понимаешь, выбрали в райсовет... я встретил его на днях в жилищной секции. Обрился, физиономия — совершенный ростбиф и с этаким морковным гарниром. Странно, как в начальство — так прыщи! «Когда попаримся?» — говорю...

— ... а он? — быстро, с возмущением спросил Скутаревский.

— Он сказал: «Не задяргивайте, гражданин!» Но я не уходил... Он замигал, чудак, и отвернулся.

— Радуюсь за Матвея Никеича, — сухо вато сказал Скутаревский.

Петрыгин дружелюбно коснулся его руки:

— Ты всему теперь радуешься, положение твое такое: тебя купили. Нет, не

на деньги... но тебе верят безоговорочно, а это — самая страшная монета!

— Чудно, ты говоришь, совсем как твой тесть, с той же хрипотцой даже. — Он посторонился от моторной тележки, груженной ящиками. — Давай, не будет об этом... Ну, как твой сахар?

Петрыгин оборвался; установившийся метод впервые не оправдывал себя. Обычно дело начиналось так же, — со смешной историйки, со скептических намеков, с рассказов о передовизме старого хозяина, а кончалось серьезным и вполне деловым обсуждением возможностей экспедиционного корпуса на Кубани или, в случае дальнейшей удачи, разговорцем об восстановлении частного капитала в России. Уж он-то крепко знал по самому себе: в русском человеке всегда и всякие найдутся дрожжи. Но очевидно ошибочна была первоначальная установка... Охотникам удалось занять место у окна, и тотчас же Петрыгин закрылся газетой, а Сергей Андреич глядел на бегущую вереницу подорожных елей за окном и размышлял в том смысле, что наступление на петрыгинские деньги следует начать не ранее утра. Пока над бескрайним полем стояло еще застылое зарево Москвы, пока мелькали в памяти названия знакомых станций, занимали городские заботы. Потом стало бледнеть все, оставшееся позади, — сказывалась многомесячная усталость, а выйдя в снежное безмолвие полустанка, он вздохнул глубоко и протяжно, точно просыпаясь от трудного, затянувшегося сна. Морозный, ни даже шорохом не засоренный воздух неприятно покачивал лицо; тишина щемила сердце и сообщала телу сознание ужасающей его неповоротливости. Да и вообще очарование деревенской жизни, больших расстояний, птичьего щебета на заре, сурового житейского уклада и монументальной скудости впечатлений было всегда ему чуждо.

— Вот она, великая купель, — тяжело в пустоту перед собою вздохнул Петрыгин, едва ступив с платформы на хрусткий, незатоптанный снег.

Просторные мужицкие дровни ждали тотчас за переездом. Охотники улеглись

на сено. Егерев сын, он же и обкладчик, парень в огромном замороженном кафтане, подсунул лошадей и на ходу заскочил в передок. Путешествие началось с глубокого оврага, куда вдруг, как во сне, понеслись сани; потом наступил длительный подъем на гору и безбрежная за нею иссиня-серая ночь. Лежа на боку, крихтя на ухабах, Петрыгин расспрашивал возницу о деревенских новостях: снисходительно — о ребенке, который родился у егеря на прошлой неделе, нажимисто — о колхозах и настроях мужиков и наконец с зевком — о самой лисе.

— ... обложена. Два круга сделала... маялись с ней до вечера. Теперь не уйдет! — сказал паренек, останавливая конька и скидывая рукавицы.

По колено проваливаясь в снег, он сделал несколько шагов в поле и, наклонясь, пощупал снег. Там раскидистый, три — пучком и один в остатке, еле приметный, проходил лисий следок. Накрест захлестнув его кнутом, он молча вернулся к саням.

— ... есть? — таинственно спросил Петрыгин.

— Третья. Днем спугнули: скоком шла... — бросил паренек.

Лес наступил сразу, и с ним дремота. Крепче вина убаюкивали восемнадцать скрипучих километров по ровной лесной дороге. Егерек подстегнул, и комья снега из-под копыт полетели на седоков. Черные ветви елей со свистом хватались за дугу. В сонном сознании Сергея Андреича они уподоблялись то указательному персту, то густым усам покойного Девочкина, то — неожиданно — браунингу, — и среди гипертрофированных этих образов не уместилось ни одного, имевшего непосредственное отношение к ремеслу или чувству. И даже самое слово Женя растворилось без остатка в синем этом безбрежии, которое оттого стало хрупким и напряженным, как стальная струна.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Лиса шла краем леса.

Всю ночь она пугляла у деревни, выслеживая еду. Но морозом хватило

еще с полудня накануне; серый ветер ударил с севера, сдувая снег и вороны стаи с голых, звонких вершин. Охота не удавалась, — курь задолго до сумерек забралась на ночлег... Там неглубокий овражек подступал к самым задворкам, и в нем, вокруг незамерзающих родниковых промоин, частый и непроходный, теснился ивнячок. Лиса ждала терпеливо; она куснула мерзлое корье, чтоб горечью умерить истечение слюны, и опять ждала. Голод томил ее; глаза ее стали умнее. Она решила сделать лежку здесь до рассвета, когда головатый белый петух, нарядный ерник и хлопотун, выйдет в обход своих владений. Она почти любила его, это была давняя неутоленная любовь; она началась от самой его шеи, одетой гибким и жирным пером, и через томительные, красного цвета ощущения кончалась горячими, сочными костюями, одно воспоминание о которых вызывало одурительный зуд в лисьих деснах. И вот, она уже промяла брюхом снег, но тут вехали с разгону пошевни в овраг, и впервые за много пустых лет с убийственной удалью бился под дугой бубенец. Лиса вспрынула, переметнулась через ручей и легким скоком пошла в поле. Наст уплотнился после недавней оттепели, и круглая ее, полусобачья лапа почти не взбивала снега. Среди поля лиса остановилась, вскинув короткие, темно-кадмиевые уши, и слушала затихающий звук, уже на две трети разбавленный тишиной и расстоянием. Потом, когда истаял, источился он о шершавое пространство, она поднялась в лесную чащу, домой.

Здесь было глуше и надежней. Запоздалая синица с писком перелетела на ветку, роняя снег на лису, — почти грустно она проследила ее полет. Голод томил ее. Стояла зима, и ни майского жука, ни тетеревиного яйца в ней. Сумерки густели, небо предвещало холодную ночь; ранние звезды покрупнели, стали точно вымытые, и вот в каждом лисьем глазу отразилось по звезде. Походкой ленивой, даже мешковатой она пошла к норе. В сущности, обширный, многоизвилистый дом этот, вырытый в песчанистом бугру, принадлежал бар-

суку, но тот спал и не выражал недовольства против теплой и пушистой затычки: пронырливый зимний ветер добирался до него. Нора была совсем близко, — в просвет между деревьями виднелся там громадный, синий провал обрыва. Лиса подошла не сразу; она обнюхала дерево, но запахи были привычны: клейкий, четкий — промерзлой смолы, и еще сытный, маслянистый, крепко профильтрованный снегом — прошлогоднего копытня. Ничто не содержало угрозы и не таило опасности, но лаз в самую нору был заткнут снегом и хворостом. Лиса коротко взвизгнула и быстро отошла. Синие звезды падали сверху, порхали между ветвей, и в такт им начинало покачиваться тонкое ее тело. Это был голод, и он перебивал страх. И хотя совсем не время было мышковать, лиса рванулась в другой край леса — там, на хлебном поле, у опушки, она учуяла однажды под снежной кочкой мышиный выводок. Она не ошибалась, она думала запахами; к острому аромату пахучей травы, которую надо жевать при поносной болезни, а потом — кататься, примешиваясь тот ершистый, востренький, каким пахнет по зиме всякий звериный подшерсток.

Весь этот путь она прошла в прыжок, оставалось лишь опуститься, по отлогому скату... и вдруг остановилась, вся подавшись на хвост. Тело ее напрялось, готовое отдаться стремительному прыжку. Длинная веревка пересекала ей путь, вся увешанная красными угольчатыми тряпками. Стало уже темно, и она скорее учуяла, чем распознала цвет, потому что именно красное есть цвет хитрости, цвет ее вкусового смысла и завершения. Промороженные, скоробленные на морозе да еще смоченные предварительно карболкой флажки изгибались, тряпичными остриями устремляясь в глубь леса. Мирный низовой вихорек беззвучно покачивал их... Лиса смотрела; каждой шерстинкой своей чуяла она это безличное, смертельное лукавство. Не трусость, а вековой опыт ее дедов, ладных, огнистых, рослых кобелей, ускользнувших от помещичьих борзых, от лесных пожаров, — ухромавших хотя бы

на трех лапах из зубатой железной челюсти, разверстой на снегу, проснулся в ней. Нетравленная, нестрелянная, она смотрела даже весело; она еще не ведала лихих повадок Романа Ильича. Итти наперерез веревке или проскочить под нею было физически еще труднее, чем бежать против вьюжного ветра.

Летучим, неспешным скоком, потому что самая ночь сулила безопасность, она сделала две обманных петли и там, где еще накануне изгрызла постную жилистую птицу, снова вышла на флажки. Они стали совсем черными, и это также было только цветом ее ощущения. Тогда она метнулась напрямки, в овраг, но и там, по всему спуску в низину, шелестели черные кумачные лоскутки, настриженные аккуратной рукой егеровой жены. И опять лиса не посмела перескочить через опыт своих предков и родичей; также не могла она понять, что круг этот — ее последнее смертельное кольцо; она не умела объединить в целое уйму одинаковых по качеству, но разрозненных во времени впечатлений; она догадывалась лишь, что счетом хитрость не одна, что хитростей много. Надеясь утром найти какой-нибудь незатянутый прогон, она вернулась в лес и сделала лежку прямо в снегу, под угревой рогатого палого корневища.

То был крупный зверь, двухгодовалая сука, чистая огнянка по масти. Щемило ей соски, набухающие на брюхе, а чуть солнце — она шаталась, как пьяная, посреди сверкающих снегов, и тогда звезды падали в ее глазах даже днем. Ее длинная, по-волчьему расклоченная шерсть отливала в краснину, как верховая шелуха сосен в закате. Все о ней, по ее собственным следам, вычитал егерь Роман Ильич: ее петли и сметки были почти волчьих, но петель было вдвое против волчьих. И, когда на лыжах гонялся за ней до изменения, до тех же звезд в глазах, до сосулков на сидящих висках, знал, что гоняется не зря. Дважды она уходила из круга; Петр Евграфович заставлял ее на третьем, и не то чтоб ему везло, а просто он был самый щедрый из клиентов Романа Ильича. Но хотя Петрыгин во всем ста-

рался блюсти старобарскую видимость, не уважал Петрыгина Роман Ильич. «Мышкует, рыльца не щадит...» — говорил он и еще ниже склонялся за каждую лишнюю пятерку — прятал глаза... Умирало старинное егерское, равно как и банное ремесло; мельчали лисы и пропадали; всякую осень он с трепетом выходил на порошу — прострочило ли ее следком. За последние годы, впав в ничтожество и бедство, Роман Ильич возненавидел свой тяжелый и неровный хлеб. Семья состояла из семи, приезд охотников совпал с появлением восьмого; это он оглашал ревом избу, когда Скутаревский, непривычно застегивая на себе патронташ, выходил ранним утром убивать рыжую. Впрочем, Сергей Андреич слышал только голос Романа Ильича, который шел сзади и бубнил с желчным и горьким хвастовством про бывалую охоту с какими-то мифическими французами.

После кислого запаха избы — то ли от роженицы, то ли от горшка вчерашних кислых щей, выплеснутых собакам, — морозный воздух одурял до головокружения. Та же лошадь, что и ночью, понесла их по раскатанной дороге к лесу. Двое старших сыновей, вряд ли в будущем егерьки, в брюках, запущенных поверх валенок, бежали за ними на лыжах. И опять Петрыгин лежал на боку, трясясь лиловым мясом щек, лицом в лицо Скутаревскому.

— ... итак, у тебя большие перемены в жизни! — сказал он, потому что глупо было глядеть в глаза приятелю и молчать.

— Да, я решился на разрыв. Выхода другого я не вижу. Я уеду, сам оставив ей все. Арсений зарабатывает достаточно...

— А ты не пробовал пойти на примиренье? — Он и сам понимал, что вопрос глуп, но дорога была длинна и слова некупленные.

Можно было не опасаться быть подслушанным. Егерь целиком был поглощен разглядываньем снега по сторонам; он работал там, где другим представлялось удовольствие. За поворотом стало зашибать ветром; Роман Ильич поднял узкий егерский воротник, и те-

перь только встречный от ветра и леса шум наполнял его уши.

— Я понимаю, конечно, — продолжал Петрыгин, — жена — это да! Это уклад, семья, сосредоточенность в работе, собственная крепость... но нельзя же двадцать лет жевать одну и ту же кашу: кроме каши, например, тонкий организм требует еще компоту, фиалок, нарзану, стихов, чорт возьми! Но стоит ли сокрушать теплые, обжитые стены, чтоб сделать часовую прогулку вне их. Это только греки триумфаторам стены ломали, да и то опившись вражеской крови!.. слушай, ррдной: ты купи ей брошку с бирюзой, недорогою... я видел в магазине уральских самоцветов... купи, насладись и отпусти! Еще и благодарить будет. Я тебе расскажу такие камуфлеты своей юности, что ты... А с сестрой я тебя помирю моментально! — Он был уверен, что Анна Евграфовна простиг мужа вприпрыжку и даже с благоговением. — Вот вернемся, я ей позвоню, и все будет в порядке, а?

Насчет брошки — это, разумеется, была лишь пробная дерзость, но по тому, как зашевелился вдруг Сергей Андреич, по злomu его взгляду он понял, что девчонка стоит внимания, а решение зятя бесповоротно: ловец человек, он изучил его в подробностях. Когда тот ворвался в жизнь, он один был, как целый легион гуннов; в каждом жесте его трепались воинственные лоскутья, чадили походные костры, ржали стреноженные кони. Потом культура разрушила на части эту орду и срастила наново куски, но нутряная сила, толкавшая орду, еще не разрядилась. Потребность, которую свирепо подавлял работой и которую не истощило время, проснулась в нем и немедленного требовала насыщения. Видно, розовая лирическая жижица вконец залепила все извилины этого замечательного мозга.

— Примирение невозможно, потому что не было и ссоры, — сдержанно пояснил Скутаревский: соскочить с дровней было ему некуда, белое поле стлалось вокруг. — Это копилось давно, отрыжка, но я был занят тридцать лет под ряд. И, пожалуй, ей со мной тоже бывало трудно. Моя работа казалась

ей безрассудством, она устроила мне сцену, когда я отказался от преподавания в гимназии упитанным онанистам. Ей более к лицу был бы писчебумажный магазин в Париже. В ней поселился какой-то скверный микроб стяжательства, который за последнее время еще усилил свою вирулентность. Она повесила у меня в комнате паршивого короля и, кажется, штруфова родственника. Я сообщаю тебе лишь факты, и я имею право на мое бешенство... — Именно стихийная разбросанность обвинений показывала их крайнюю непримиримость.

Наступила тишина, прерывистая и хрустящая; так искрятся щетки на роторе. Проехали деревушку, затонувшую в снегах. Дорога спустилась на пойму, и уже стал виден густой, черный массив, где, мечась среди флажков, ждала своего заряда лиса.

— Словом тебе надоела интеллигентная жизнь, — задумчиво молвил Петрыгин, смахивая снег с воротника. — Ты говорил об этом с Арсением?

— Он вышел из того возраста, когда это могло повредить ему. Мы тут как-то познакомились с ним и, надо сознаться, не понравились друг другу.

— А ты посеки, посеки молодого человека! — тихонько посмеялся Петрыгин, и так как тот ничем не ответил на новую дерзость, продолжал много серьезней: — Ты большевик стал, мяляга!.. но ты ж пойми, социализм тебя застанет в богадельне. А по существу ты же—нищанец, сибарит, анархист даже... Чорт, на какую чечевичную похлебку мы меняем свое первородство!

— Но как ты можешь работать с такими убеждениями у них? — строго спросил Сергей Андреич.

Тот посмеялся длинно и загадочно:

— С точки зрения морали я не нахожу ничего предосудительного в том, чтобы под влиянием нагана отдать не только знания, а и кошелек!

Сергей Андреич собрался было выругаться сообразно случаю, но тут Роман Ильич остановил лошадь и бесшумно вскочил на лыжи. Лес принял их молча, точно и он был в сговоре на

рыжую, — только стукнула о полоз лыжа, пока егерь набирал сена для лошади, но звук был расплывчатый, сонный, как след, запорошенный снегом. Гуськом, мимо деревьев в белых рваных чехлах, охотники вошли в чашу. Целую вечность, полную щекожных мальчишеских ощущений, шаркали по глубокому снегу лыжи и вздрагивали, роняя хлопья, можжевель, задеваемые ружьями. Потом, скинув куртку, Роман Ильич отправился с сыновьями в последний раз проверить круг, а Петрыгин поставил Сергея Андреича на номер, бросив предварительно жребий.

— Вот, убьешь — отдашь горжетку сделать для девчоночки. Этаким жаркий пушок будет у нее на горлышке... — не сдержался он напоследок и взглядом, спокойным, даже тихим, каким ласкают всякую добычу, окинул Скутаревского.

... и сразу замкнулись все выходы из этой белой тишины. Скутаревский зарядил и прислонился к толстой взводистой сосне, у которой стоял в засаде. До гона оставались минуты. Поверх ветвей, нарезанных егерем, видна была пушистая, кочкастая просека; стайка тонконогих березок, наклоняясь по солнцу, перебегала ее. Ожидание поглощало все остальные мысли; как бы в дымке дальнего плана он представлял себе ясно — бежит лиса, но вспыхивает страшный красный звук, и проворный, гибкий зверь, вертясь и визжа, кусает свой измочаленный дробью хвост... Сергей Андреич не заметил, как начался гон; в низком собачьем лае он не узнал сперва наשמеливого голоса Романа Ильича. Лай раздавался теперь из всех углов леса, он переходил в лихое, нарастающее уханье. Воздух стал голый, стеклянный. Лес проснулся, и там, где наугад взгляду стоял Петрыгин, настоженно щелкнул затвор. Повинуясь звуку, Скутаревский вскинул ружье и тотчас же узнал свою цель. В черноте стволов, неряшливо и как бы сажей нарисованных на белой холстине, мелькнула нарядная кадмиевая шкурка и пропала. Он ждал петрыгинского выстрела, но зверь, видимо, переменял направление. И вдруг Скутаревский вторично, уже в ближайшем краю просеки,

увидел лису. Покачивая опущенным рыльцем и как бы вынюхивая снег, она решительно шла прямо на Скutareвского; красный хвост ее подрагивал на ходу. В ту же минуту, повинувшись инстинкту и почти не целясь, заостренным пальцем он дернул спуск. На долю мгновения все выключилось из памяти; потом в поле его зрения снова пало гибкое рыжее пятно. Той же деловитой походкой лиса уходила в ложбинку, за пни и бурелом, потом пропала, как бы не дождавшись второго выстрела. Из-за деревьев показался бегущий Петрыгин, и мякоть его содрагалась на бегу, как вода в пузыре.

— Эх, спуделяя, мазло присноблаженное! — закричал он с сожалением, — а я уж загадал, было, на лису... — он зажмурился, прижимая руку к нагрудному, на шубе, карману: — Погоди, сердце у меня хамит!.. как же ты?.. ног-то она тебе не отдавила?

Кстати поразмело сугробистое небо, и лыжная колея заискрилась в солнце ломаным атласным глянцем. Скutareвский улыбался, опираясь на ружье; наглядываясь в детстве на мастерство отца, одно наблюдение сохранил он навеки: живая лиса стбила все-таки больше дохлой горжетки. И еще: ни мыслинки не было в голове, а только одно, огромное леса, ощущение: «Пускай, пускай все рыжее безбольно гуляет в мире!» Он улыбался собственной хитрости, в которую, правда, поверил только после выстрела. И, как зверь накануне в ночь не умел обобщить наблюдений, так и ему самому неприметно было сходство лисей судьбы с егй собственной. Все теперь стало ему нипочем — и вздохи Петрыгина, и укоризненное молчание запыхавшихся егеровых сыновей. Роман Ильич искал следов дробы на снегу и, не найдя, побежал по следу, выведившему из зафлаченного пространства.

— Ни кровиночки, — сообщил он, вернувшись. — Видно, впервой на зверя-то! — Но он не сердился, потому что хвостовые все равно оставались за ним, да и лиса сохранялась в резерве для настоящего стрелка. — Ну, мчимся на второй круг!

Суждена была в тот день неудача; со второго круга лиса прорвалась до выстрела, и, пока наспех затягивали третий, подступил вечер. Неуклюже и громко день заваливался за горизонт, как простреленный и кроткий зверь, и самое багровеющее солнце напоминало рану на нем. Стрелять стало темно, лошадь глядела назад. Возвращались в молчании, и только близ самого дома повеселил их младший егеренок. В синелой руке он тискал варежку, которую поминутно прикладывал к уху. Там держал он какую-то подбитую зимнюю личугу, — она ершилась в варежке, и нравилась егеренку непокорное, щекотливое ее шевеленье; так и гулял он с ней, как с песней. Вскочив к отцу в передок, он искал глазами добычу и долго после того с озабоченным вниманием взирал на чудаков с ружьями.

... только после ужина. Все произошло согласно обещаниям Петрыгина. Дымилась щи, и тлели рубиновые огоньки в стаканах красного вина. Скutareвский прищуренно глядел в угол, на играющих котят.

— Итак, — начал свой последний абзац Петрыгин. — Ты решил уехать. Но куда?

— Об этом я и хотел говорить с тобой. Мне нужно мало, конура...

— ... но с ванной! — брюзгливо подказал Петрыгин.

— Да, по возможности с ванной.

Топилась печка в комнате, мокрые валенки исходили паром.

— Хорошо горит! — зевнул Петрыгин, подумал, и еще раз зевнул. — Любовь... диктатура материи... не знаю! Я видел однажды любовь в окне подвала. С женщины тек пот. Мужчина был волосат, и у него была тощая спина мученька. Эта двойная молекула...

— Прости, мне не нравится твоя ерницкая практика!

Тот очнулся и трезво взглянул на Скutareвского:

— Да, я не к месту. То был уже конец, а мы пока еще о начале. Итак, конура!.. но конура стоит денег. А денег наличных нету. А денег надо много. Так?

— Штруф предложил мне купить квартиру. Она стоит тридцать тысяч, и эти деньги я хотел просить у тебя.

— Да, конечно жаль упустить случай... — вяло сказал Петр Евграфович и встал.

Сделав несколько шагов по комнате, он остановился и зорко взглянул на Скутаревского. Тот глотками отпил вино, смотрел остаток на просвет, и тогда по губам его плескался красноватый отсвет. И опять Петр Евграфович принялся за свои виражи, чему-то улыбаясь и прищуриваясь. Комната была тесна, вся заставленная чреватými крестьянскими укладками. Остановясь у стены, он долго взирал на вылинявшую фотографию: егерь пластовал убитого медведя. Из-за рамки, точно жерла наведенных орудий, чернели круглые крестьянские клопы. Потом, пощелкав языком, он снова принимался ходить, и в стоячем шкафчике, уставленном всякой домашней утварью, откликались ему тихие перезвоны разбуженного стекла. И вдруг, когда Сергей Андреич предполагал уже, что тот, парализуя просьбу, предложит ему только треть суммы и уж во всяком случае не больше половины, Петрыгин туманно объявил, что ему, Скутаревскому, вообще небывало везет в жизни.

— Деньги... это большие деньги! — и жестокая нотка скользнула в петрыгинском голосе. — Но Анна — сестра мне, а с тобою мы пережили длинную дружбу, от сладкой пены ее до тошного и горького осадка. Деньги я тебе достану... но деньги эти не мои.

Скутаревский перебил с горячностью:

— Я дам расписку, доверенность на получение зарплаты. Наконец, я согласен на любые проценты!

Петрыгин посмеялся:

— Э, дело не в том... но они принадлежат человеку, которого нет в Москве. Его нет в Москве, он уехал, но он вернется. Он вернется не ранее полуторах лет. Срок для тебя достаточный, правда? Но, если он вернется раньше, ты конечно не подведешь меня. К тому же... — он сделал паузу как бы затем, чтоб разглядеть мимические усаые фигуры

на фотографии, позади распяленного медведя: — ... работа твоя наверно будет премирована, судя по тому интересу, который она вызывает в правительственных кругах!

— Ну, Иван Петрович преувеличивает этот интерес! — настороженно и с ударением на имени отпарировал Скутаревский.

И опять Петр Евграфович не выразил и тени смущенья; безошибочное чутье подсказывало ему, что теперь, после сделанной затравки, с зятем можно не церемониться. Станция в Сибири оказывалась пробным камнем, и Петр Евграфович имел основания бесстрашно запускать в Скутаревского всю свою ухватистую руку. План его, упрощенный до банальности, в целом напоминал давешнюю облаву с флажками, но теперь судьба обернулась по-иному. Переменив направление, лиса шла прямо на Петрыгина, не торопясь и не догадываясь ни о чем; словом, Петр Евграфович имел время прицелиться достаточно точно.

И уже на другой день, расставаясь на московском вокзале, он крепко сжал зятю руку и поздравил:

— Ну, с новосельем, значит. Между нами говоря, завидую тебе. Но я стар, питаюсь овощами и спать улаживаюсь в десять. Если хочешь, я достану тебе сразу тридцать пять тысяч: пять — для Анны, ей будет трудно первое время.

При этом он сообщил, что денег этих у него нет пока при себе, — их следовало еще доставать; на секретном языке это означало, что они спрятаны в надежное место. Во всяком случае их можно было получить на неделе, уведомляя за день по телефону.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Теперь оставалось только отыскать Штруфа, всучить ему деньги и договориться о покупке. О том, что обиженный в самых гуманных качествах комиссионер мог заупрямиться или вдруг полезть на дыбы, у Сергея Андреича и мысли не возникало. Он платил чистоганом настоящие трудные деньги, из которых значительная доля шла, без

сомнения, на пропитание самого Штруфа. По слухам, оказавшийся полезным жулик этот попрежнему обитал у брата Федора, и, хотя поездка туда сопряжена была с некоторыми неприятностями, Сергей Андреич пошел и на них,—не поручать же было щекотливого этого должностному например секретарю.

Братья виделись так редко, что иные считали их попросту однофамильцами, и вначале ни один этого не опровергал. Оба вылетели рано из вонючего отцовского гнезда, слишком разнились их оружие и философические установки, с которыми они вышли на большую дорогу жизни. И, как все люди, сделавшие сами себя, оба мало нуждались в родственниках... Федор Андреич начинал крепко, не хуже брата Сергея, — не зря называли их тогда братьями-разбойниками. Его академическая работа Аввакум в братском остроге под Байкалом была откровением для своего времени, даже, пожалуй, манифестом. Это была грубая, почти натуралистическая повесть о некоем абстрактном, поруганном человеке, переданная с небывалой для начинающего живописца силой. Стиснув зеленые цынготные губы, огромный распоп сидел на гнилой соломе, вкомпанованный в угол тесной земляной ямы; в этих удручающих зеленых тонах выдержана вся картина. Зажав скуфью в кулаке, он одним горящим глазом следил за крохотным серым зверком, обнюхивавшим его дырявые сапог. Зверок был голоден, распоп огромен. Кажется, эпиграфом служило то самое место жития: «...мышей много, я скуфьею их бил, только и было оружия...» Сверху заглядывало красноружее пашковское воинство. В общем неясно было, на что намекал художник этим яростным бунтовщиком, который с автократом Никоном и с зубатыми придворцами его хотел биться и которому довелось воевать с мышами. Но, должно быть, на этой работе скрепнулись общественные настроения тех лет. Реакция давила, русская интеллигенция, беспрограммно приветствовавшая первую революцию, искала всякой формулы своим смутным метаньям.

Федор Скутаревский получил заграничную командировку, медаль в атласном футляре и выгодный заказ на портрет одного почтенного старца, который собирался умирать с минуты на минуту.

Перед отъездом Федора в Италию, братья-разбойники встретились; молодой физик приехал проводить молодого художника. Сергей Андреич сознался откровенно, что распоп ему не нравится даже в большей степени, чем модный, с широкими отворотами летний костюм брата. Оба пегушились, ни один не жалал из родственности пойти на уступку.

— Это не картина, а сплошная аберрация пространства и твоего таланта,— пояснил Сергей. — Всякое вдохновенье... только пойми меня правильно!.. следует десятикратно фильтровать разумом. Эта безумная кобыла в такой овраг сослепу закинет, что и костей не соберешь.

Сергей исходил из правил своей науки. Федор смеялся, — костюм приятно обтягивал ему талию. Успех научил Федора Андреича смеяться чуть свысока:

— Ну, милый, наука открывает только то, что душа уже знает. — Не без щегольства он выдернул в руку золотые часы: поезд отходил через минуту. — Милый, человечество дошло до предела познания. Странно, что оно еще не летит... во всех смыслах. Что ж, прыгни в этот голубой омут вселенной, и ангел знания пусть поддержит тебя!.. — Он был молод, дерзок, многословен, шумен и еще по-артистически священно-групп.

Расстались надолго, от Федора не приходило вестей. Единственное письмо его содержало путаные и пошловатые разглагольствования об итальянском ренессансе; он писал о чудесном, густо наозоненном воздухе его и даже, видимо после банкета, что-то нечленораздельное о восстании мертвых; он подчеркивал кстати, что, когда мысленно покидаешь ренессанс, то как бы уезжаешь из столицы; за восторженной словесной шелухой слышалось, однако, его смущенье. И правда, по возвращении он первым делом отправился взглянуть на себя в академическую галерею. Было так, точно после

солнечного утра он вернулся в затхлый и темный чулан; А в в а к у м показался ему неуклюжим ублюдком варварской северной фантазии. Это обширное и слишком быстро ставшее знаменитым полотно старело быстро; черной кисеей подернулись угасшие краски, но все это только потому, что самая тема успела выцвести. Реакция породила в искусстве бесплодный и вычурный эстетизм; новое поколение истерически громило Скутаревского за литературщину; газеты по-разному, но в общем сочувственно описывали страдания молодого прыщеватого человека с Балчуга родом, якобы задержанного у картины с ножом; но была в том и доля правды, прямая пластическая цель была подменена бескусным рассказом о никому ненужных отрешках и язвах протопопа. Федор Андреич объявил друзьям, что он решил драться за по-длинное искусство; вторая его работа — Ж е н щ и н а з а т у а л е т о м — была принята с недоумением, хотя дело объяснялось просто: объектом послужила одна знатная апеннинская синьорина, обожавшая начинающих живописцев. Но некоторые по старой привычке искали скрытых намеков и в этой стареющей, торжественной и печальной особе. Последующие работы — мрачная С м е р т ь П е т р а, идиллический С е н о к о с и окончательно безличные Р е к р у т а — показали всем глубокий и преждевременный кризис художника. Никто уже не утверждал, что автор хитрит и прячется, но все при встрече с художником участливо опускали глаза. На выставку пришли друзья — вся эта недобрая шпана, обрадованная явным провалом сильнейшего соперника, шумно и неопрятно целовала Скутаревского в щеку, поздравляя с успехом... и всем было немножко стыдно, а больше всего ему самому, виновнику торжества; в конце концов ему захотелось убежать, захватив свои изделия подмышку. Долгое время никто не покупал картин Федора Андреича.

Вынужденное трехлетнее молчанье помогло молодому мастеру собрать силы, — и, так могуч был первый его успех, о нем еще не забыли. Новая его

небольшая картина — З а б а с т о в к а, — сделанная как бы с закушенными губами, едва не была забракована жюри. Адвокаты боялись скандала, который, разумеется, нарушил бы пору либерального того перемирия. — В тени низких фабричных корпусов теснились рабочие, а посреди двора, в кольце их, стоял некрупный человек в чесучевом пиджаке. Солнце пропекало его округлую взмокшую спину. Он ждал. Взгляд его, чуть скошенный назад, на открытые ворота, выражал озабоченное нетерпение. Туда же с хмурым тяжеловесным любопытством смотрели и рабочие. Кучер за воротами торопливо отводил в сторону вздыбившихся фабрикантских коней; в коляске сидела нарядная девушка. Она была испугана; она уже видела то, чего не видел никто из стоявших на дворе. И, хотя все там было спокойно — только востроносенькое облачко плыло над чахой землицей! — уже чудился зрителю дробный, на всем разгоне, топот казачьих копыт. Мастерская палитра и ироническая светотень делили эти две группы выпуклее и злее, чем любая листовка, которые обильно раскидывались в ту пору по царской провинции... Картина наделала шуму; на нее взирали как на дурное пророчество о грядущем и спешили пройти. Сюжет ее почитался почти неприличным посреди безоблачной, казалось бы, политической погоды. Интеллигенция страшилась того, в подготовке чего участвовала в течение полутора веков. Один журналист записал разговор, подслушанный у картины: «Пора, пора, батенька, деньги в заграничные банки переводить!» И хотя по мотивам ущемленного самолюбия Федор Андреич назначил баснословную цену, картина была продана в первый же день.

На чеке та же, что и на предыдущих, таких же розовых и емких, стояла подпись. Он попытался разобрать имя своего неизвестного мецената. «Жирей и старься!» — прочел он по первому разу, и ему стало не по себе, точно на ухо шепнули правдоподобную пакость. Совпадением транскрипций объяснялся этот сокровенный намек: фамилия мецената и петрыгинского тестя была Жистарев.

Умный, жилистый этот старик, внезапный любитель живописи, покупал и все последующие работы Скутаревского. Он чувствовал его силу и не торговался никогда; впрочем, делал он это через своего доверенного, скопца, с лицом, похожим на горсть спресованной шепталы. Жистарев предпочитал действовать внедрением роскоши, тем самым способом, каким доисторические китайцы умиряли воинственных северных соседей.. Незадолго до объявления войны, после пьяной пирушки, утром однажды Федор Андреич ворвался в квартиру мецената, — кажется, он собирался потребовать отчета. Не снимая шляпы, высокий, лысеющий, с челюстью чуть набок, потому что держал в зубах нечто потрескивающее и дымучее, похожее на бризантный шнур, он шатко вошел в просторную комнату и ждал хозяйина, опершись на рояль; на пороге стоил пожилой жистаревский камердинер, поглаживая вывихнутую руку... Потом Федор Андреич увидел человека с лицом мыслящего лакея и с бескровным лбом, сутуловатого и корректного, — такого никогда нельзя застать в халате; может быть, он даже и спал в этом немсмятом, как бы чугуном сюртуке, в который в скором времени должна была бы облечь его история.

Он вошел тихо; водянистые глаза смотрели более чем равнодушно.

— Пришел знакомиться и объяснить, — прокричал из табачного облака Федор Андреич, распространяя вокруг себя алкогольную суматоху своей мансарды. — Скутаревский!

Тот скрытно улыбнулся куском лица, видимо, предназначенным только для этой цели. Он все понимал наперед и скуку предстоящего разговора мог побороть лишь повышенной снисходительностью.

— Слушаю вас, — морщась от скверного дыма, поклонился он.

— Вы — буржуа, я — артист... — громово приступил Федор Андреич.

Тот перебил его:

— Погодите, снимите шляпу, вам легче станет думать. — Он сказал это просто и совсем необидно. — При этом, такая сигара, сделанная из окурков и

торфа, может скомпрометировать художника даже большей славы, чем вы. По своему дарованию вы имеете право на лучшее... Курите! — и открыл ящичек особенных, каждая в золоченой бумажке. манильских папирос. — Я слушаю вас.

Он взял за краешек сигару Скутаревского и, не меняясь в лице, выкинул в сад. Было утро несравненной голубизны, зеленая прохлада плескалась за окном, а желтое лицо Федора Андреича блесло, точно парафинное.

— ... а я — артист! — уже с гораздо меньшим апломбом начал Федор Андреич. — Вы покупаете все мои произведения. Я требую... я требую... — Несколько протрезвясь, он забыл, в чем именно состояло его требование.

Жистарев поклонился:

— Я согласен, что цены были непомерно низки. Вы хотите переоценки?

— Нет, я требую объяснить, что это значит... — тише и даже как будто теряя в росте, бросил Скутаревский.

Снова кусок лица, пришитый к скуле, под глазом, задвигался в улыбке:

— Мне нравятся вообще раскрашенные картинки, — с якобы бестактной искренностью сказал меценат. — Сделанные кисточкой мне нравятся больше, чем сделанные карандашом. — Еще не старик, он старчески качнул головой. — О, если бы мне ваш зверский темперамент! Вы наверно безумно нравитесь женщинам: в вас есть что-то самецкое. У вас наверно пахучие волосатые подмышки. Вы шибко красивый... — Он произнес это опять-таки с выражением, которое трудно было заподозрить в неискренности. Потом он добавил: — Если бы у меня была вторая дочь, я не отдал бы вам ее. Вы никогда не будете иметь деньги.

Федора Андреича даже в жар бросило: — Я не понимаю, — бормотнул он.

— Вы находитесь на опасном пути, молодой человек! — Право называть так Федора Андреича давала ему разница не только состояний, но и возрастов. — Надо служить кому-нибудь одному: искусству или... или заниматься социальными реформами. Ваша З а б а с т о в к а организует, вы понимаете это? Это улыбающееся, на переднем

плане, обращенное к публике лицо рабочего — это вызов! Ваши вещи надо вешать в темном чулане, куда не войдут, хотя бы случайно, дети. Словом, я умоляю вас, молодой человек, вернитесь к подлинной красоте!

— Это толстая чековая книжка или количество лакеев в доме дают вам право советовать художнику? — снова, бледнее во лбу, взвыгнул Скутаревский.

— Тогда я уничтожу вас, — сухо вато сказал Жистарев, и ящик с папиросами закрылся. Он переждал минуту крайнего художникова ошеломления. — В балансе у меня имеются на сегодня восемнадцать ваших полотен. Они не блещут, но в них заключена вся ваша юность. А вы не так уж молоды, молодой вы мой человек!

Федор Андреич сидел тихо, с паршивым ощущением, точно ему не больно, но достаточно властно дали по загривку.

— Это варварство! — сообразил он наконец, впервые проникаясь страхом перед священным правом собственности.

— Это — общественная гигиена, — скучно и тоном взрослого поправил тот, а ящичек с папиросами медленно стал раскрываться. — Вас ведет безудержная резвость в ногах. Попродержите их в юности, они больше пройдут в старости. Курите, курите... я люблю дым хорошего табака!

Уже другой, рослый и надежного сложения лакей принес им кофе. Лакированный китайский подносик дрожал в неимоверных дланях, созданных для иной, более грубой и решительной работы, а не для такого детского занятия. Выпив хорошего кофе, Федор Андреич стал очень смиренный, и вовсе не оттого, что испугался. Драка с лакеем повела бы единственно к порче светлого летнего костюма, который он впервые надел для предстоящего визита. Хозяин также прояснел, разошелся, показывая коллекцию своих Тинторетто, очаровал, проводил до дверей и, хотя это было уже слишком, сунул на прощание в карман художника весь ящичек с папиросками. При этом он предложил поехать с ним вместе за границу. «Вам как творцу должно быть понятнее это поспеш-

ное, но все же недурное творение господ бога. Я говорю про мир! Коммерция мне мешала до сих пор заняться изучением этой махинации с человеком, как он есть. Поездка ничего вам не будет стоить, но вы обязаны будете разъяснить мне смысл некоторых встречающихся явлений...» Compliment и самое предложение были туманны и шероховаты, но меценат всегда имеет право на чудачество, и Федор Андреич согласился на эту сделку, хотя по существу она значительно превосходила те пределы, до которых он мог опуститься.

Позже, уже в дороге, к ним присоединился Штруф, тогда еще мот и хлыщ, предпринявший обширное путешествие для изучения расовых отличий женщин всех стран; денег хватало у него также и на собирательство предметов искусства. И уж видно суждена была такая пакость: Федор Андреич не умел отказаться во время и от его деликатной и расточительной щедрости. Роковое пророчество на чеке сбывалось в несколько измененном виде: он лысел и старел. Он даже как-то обурбонел, по его выражению. На самую работу времени почти не оставалось: безрассудно было трудиться над тем, что возможно было купить в гораздо лучших образцах. Творческая струйка порвалась, как у гоголевского портретиста. На протяжении нескольких лет он сделал портрет одного сенатора и еще два громоздких пустяка: Шествие сатиров, этакую нетрезвую переключку с Рубенсом, и еще Творение Евы — вопрос, который его в высшей степени занимал. Именно такими, грамотными и бесполезными вещами определялся путь в академики, но тут застигла его война. Свиридая и безыдейная эта бойня отрезвила художника. Он задумал холст, который был бы как крик, как выстрел в тылу. Тогда-то Жистарев, своевременно заметивший идейное отдаление художника, и заказал ему свой портрет: размер, замысел и цена его были чрезвычайны.

... повидимому, еще не распалась в нем его художническая желчь, которую всякий из нас в своей пропорции примешивает в краски, и без чего не бы-

вдет художника. Не случись война, этот портрет, застрявший в петрыгинском кабинете, поставил бы имя Скутаревского в первом ряду общественников-живописцев. Он писал его долго; старела модель, и портрет тенью следовал за нею. Но революция опередила художника; к тому времени умирающий класс уже поднял забрало, и всему миру ясно стало одряхлевшее его лицо... Дело было под Воронежем, в имени Жистарева. Красные клены, одетые в кумач, как палачи, заглядывали в окна; багровые блики их рубах играли в глянце дорогих обоев, в зеркальных библиотечных стеклах, в столовом хрустале, в самых водянистых зрачках Жистарева. Шла осень. Старик ежился, кутал ноги в плед, больше от предчувствия, чем от недуга: пружина жизни его была долгая. Иногда в окна моросил дождь и царапались ветви; трещал дуб в камине, да еще надтреснуто, точно ломаемые пальцы, похрустывал голос старика. Сеансы проходили в неровных, вспышками, беседах; к этому периоду и относились его судорожные афоризмы: «Хорошие люди—это те, которые не знают, что люди дрянь», «Революция — только зеркало, в которое, время от времени, нация взглядывает, чтоб увидеть свою харю», «Окончательным героем окажется тот, кто на обломках культуры станет отпускать человечеству обеды по четвертаку с горилкой». Его фабрики были уже отобраны, его лакеи разбежались, его зять предусмотрительно забыл о тесте, а вокруг последней его резиденции, имениа, уже похаживали, присматривались деловитые, все на одно лицо, под Миколу-угодника, окрестные мужички.

Он говорил еще, — мысль его текла толчками:

— Я переполнен впечатлениями и опытом, как виноградным соком гроздь. Ее форма закончена, ее семя созрело. Я не знаю, кто выпьет ее и сотворит вещи, которым нет наименованья. Я знаю лишь, какие причудливые формы принимает пространство в бреде. Нет, я слишком стар, чтоб говорить утешительные комплименты даже моей собственной орде...

Работая молча, Федор Андрейч не показывал своей работы до самого конца, но однажды этот день наступил, и старик подошел к холсту. Последнее солнце бабьей осени ударило в окна, и черная тень старика легла к приножью портрета. Вряд ли это была биография класса, но скорее памфлет, сдержанный и правдивый, сказанный сомкнутыми губами настоящего художника. Человек Жистарев стоял во весь рост с чековой книжкой в протянутой руке; этот человек покупал. В его бесстрастном, чуть ассиметричном лице разболтаны были все страсти мира, но они уже нейтрализовали друг друга, — процесс в этой колбе закончился. По замыслу автора, это был бы лучший канцлер своему классу, но лекарь пришел слишком поздно, когда класс уже издыхал. Весь фон портрета, чуть зеленоватый, как в аквариуме, был записан сценами, представлявшими попытку коллективного социального анализа. В сущности, это была многопланная записная книжка художника, комплекс его представлений, не всегда проверенных точным знанием, но блестящих по форме: смесь недоумений, осуждения, вопросительных упреков. Родословная эта начиналась сверху, с грузных, теплых, почти фламандских кусков, заливных луговин, тучных коров на них, беспечных и пьяноватых бургеров с круглыми, засаленными бородами; в них оставалась пища, ее выклевывали жирные, с курдюками птицы. Казалось, это сам мужицкий Брейгель гнал оравы своих персонажей по изломанной диагонали холста. В этой эпической, изобильной процессии, ликуя, воля и поедая друг друга, двигались караваны, лошади, купцы, гуси, обжоры, облака, деревья, похожие на беззаботных толстяков, куры, смешные жуки, толстобрюхие ребята и какие-то рогатые, наверно с'едобные улитки. Ничто не сокрывалось от взгляда: дома распахивались, чтоб показать свое уютное пахучее чрево, мягкий полусумрак и угарное тепло патриархальных очагов; воды разверзались, обнажая тяжелое, гибкое серебро рыб; в призрачных залитых благополучием полях на глазах у всех прорастало истекающее

маслом зерно... Дальше, еще не забывшие озорных песен предыдущего века, торжественно и монументально шли отцы и зачинатели ремесел, цеховые ордена—кузнецы, чеканщики, пивовары, гранильщики, типографщики со своими станками на квадратных плечах, медники, бочары с лекалами и правилами, цирюльники и наемные солдаты, увешанные несложным еще инструментарием для военного убийства. Задние еще тащили на себе неуклюжие горны, точила, меха, бочки, клещи, тигли, первобытные бомбардоны, а передние уже останавливались у машин, которые все грузнели, множились, уплотнялись в темные массивы, становясь лейтмотивом и даже философским тезисом. Чем дальше, тем тяжелей обычного становилось атмосферное давление. Лица бледнели, все более однообразясь и походя друг на друга; сплетение частей делалось теснее, но краски гасли, и происходило это вовсе не от бесилия художнической палитры. Изнеможенные, мглистые люди несли распятая, мадонн и страстотерпцев; иное из этой гвардии святых, истерзанное, измочаленное до непогресства, тащилось еще в рубищах, иное лишь в непристойной божественной наготе да в нимбах, а иное, уже бритое, приделось в сюртуки, а кое-кто ехал даже в рессорных колясках. И чем заметнее серели лохмотья рабов, испачканные копотью, раз'еденные кислотами; тем ярче расцветали темная киноварь кардинальских одежд, разбавленный ультрамарин полицейских мундиров и фиолетовые крапп-лаки чиновничьих воротников, — повторялся живописный прием Забастовки. То был, пожалуй, расцвет; все отличалось полнотою и крайним благолепием; только у Схуабрука можно было бы отыскать такую действительную во всех частях, цветистую множественность человеческой мошкеры. Тех, которые валились, просто перешагивали; кричавших заглушали литавры оркестров: он, действительно, гремел и оглушал, медный кадмий Скутаревского... Поток увеличивался, обиходный инвентарь совершенствовался, пушки удлинялись, армейские штыки обогатились знаменательными желобка-

ми... Городская площадь, расшитая бирсером, вызвала бы меньшее удивление у зрителя, чем эти бесчисленные толпы, разделанные с тщательностью старинного миньютюриста. Ликованье становилось судорогой, вожди в крахмале и цилиндрах уже не осмысливали дальнейших маршрутов человечества, и не хватало бы всей меди в земле, чем заглушить крик и отчаянье путеводимых ими. И здесь-то, на переднем плане, стоял человек, последний в ряду... и что покупал он? На его отечных, дрябловатых щеках еле приметный играл багрец; это клены за окном окрашивали картину; это и было то, чего не досказал из ложного целомудрия художник.

Жистарев смотрел долго, покусывая губы, и резвая склеротическая струйка на его виске билась и двигалась, как голубой разорванный червячок.

— Да, это уже не выголоса, — раздельно сказал он потом. — Я зря возил вас за границу, Федор Андрееч. Художника из вас не получилось. Вам следовало продолжать ремесло вашего отца. Всякий честный хлеб сытен. Это даже не пасквиль, это безграмотность... вы не знаете истории. К тому же, и я не Филипп, и вы не Веласкец! Я сожалю, что оплатил эту плохую литературщину... — И он с тоской осмотрел стены, уже не принадлежавшие ему, — он бежал из них неделю спустя.

Его бешенство звучало величественно; позже, увеличенное в геометрической прогрессии, оно вылилось в свирепом напоре интвенции. Ярость врага должна была бы воскресить Скутаревского, но он испугался ее. Никак не давался ему второй слог уже задуманного и наполовину произнесенного слова. Он не разгадал еще умной в отношении себя игры Жистарева. Много позже, после первого тура истории, Федора Андрееча вызвали на таможенно для получения посылки. Штемпель Медоны закапан был сургучом, и сперва ничего нельзя было понять. Таможенный агент расворол холстину и заглянул вовнутрь. Его лицо стало озабоченным, — на такой товар нигде не раз'яснялась посылка. Об'емный ящик доверху был полон мелкими обрезками картин; искромсанное лицо

девушки из Забастовки склеилось с отчищенным сапогом одного из Рекрутов. Так отсылают свою продукцию профессиональные головорезы.

Агент ждал объяснений, Федор Андреич попытался дать их:

— Я художник, — сказал он.

— Несите так... — ответил тот, разводя руками. — Это и не текстиль, и не краски, и не картины. Забирайте ваше счастье и... Следующий!

Притащив посылку к себе в мансарду, Федор Андреич стал распутывать свои воспоминанья. Теперь это был художник всего о двух полотнах — Аввакума, о котором не хотел и думать, и Канцлера, пропавшего в безвестности: у Петрыгина в гостях он не бывал никогда. Кроме того, Осип Бениславич, по секретному заказу Петрыгина, замазал сиенной весь фон и вымарал чековую книжку; человек на холсте стал иным. Казалось, он утомленно, вторично на протяжении всего христианского периода истории, то ли просил о хлебе жизни, то ли вопрошал об истине; рука его была до жалостности пуста... Федор Андреич от гнева подумывал даже пойти в добровольцы, но тогда не было никакой подходящей войны. Ночью он достал папки своих последних работ и наедине, пока храпливо бурчал во сне его ужасный нахлебник, разглядывал их. Тот же уверенный, почти офортный штрих вводил однако в заблуждение. Правда, он и теперь мог служить образцом для молодых живописцев, подменявших живопись новой идеологией да плоскими, рационалистическими исканиями. Но рука мастера стала тяжеловесна, в ней не оставалось прежней дерзости, которая, как внешний ветер, яснил небо творения. Он листал эти незаконченные картоны и кидал на пол, к ногам; то были эскизы и композиции, детали задуманных полотен, листья дерева, не прошумевшего никогда: красноармейцы с винтовками, а также и без оной, почтительные и равнодушные наброски наркомов и героев труда, — он знал, как это можно сделать! — кроки зверей для зоологического атласа, иллюстрации к калтурному роману, обложечная шелуха для попу-

лярных брошюр, открытки... Все это были только талоны на суровый хлеб художника, недолговечные лохмотья таланта, попавшего в приводной ремень.

Он разбудил Штруфа и, тряся его за плечи, сипло шептал ему, полузадушенному:

— Где мой талант, а..? куда ты его дел?

А тот не понимал спросонья, в отускневших зрачках отражался ужас перед расправой:

— Я не брал, я не брал... ты пощи!

Месяцем позже Штруф простил Федору Андреичу его выходку; он знал и сам, как трудно даются первые годы гибели. Кроме того, ему негде было бы жить. Федор Андреич замкнулся в себе; он ничего не понимал, никто не приходил ему на помощь; вещая черимовская фраза, сказанная однажды при нем: «Так платят за сращение с классом, который умер», ничего ему не объяснила. Он соглашался только внешне, потому что нечем ему было возразить. Так среди бела дня заставала его ночь.

Тогда он вспомнил о брате; со времени той мимолетней размолвки они не выдalisь ни разу. В памяти Федора Андреича свежее был образ рыжеволосого Серезки, с которым вместе, бывало, босыми ногами разминали мех в мастерской отца. Это было давно, может быть, — на заре мира. Величественные нагроможденья его уже тогда звали к себе юного мастера, но в те времена банки ваксы, горсти мела и флакона ядовитых красных чернил хватало ему, чтоб рассказать о чудесном своем пленении. Он рисовал горы, которых никогда не видел, реки или неохватные пространства, еще не населенные человеком; потом он стал размещать на них то смешное племя, которое его окружало, — заказчиков, мастеровых, провинциальных пьяниц, — они блаженно леживали в канавах и за позированье им не приходилось платить, старух, чиновников, слепцов и наконец отца, нелюбимого отца, битого нуждою так, как не бьют на ярмарках конокрадов... Теперь имя Скутаревского нес один Сергей Андреич, а Федор жил в его обширной, могучей тени. Повидимому,

Сергей отыскал тот самый ключ к жизни, который Федор так бесшабашно утерял. Итак, Федору Андрейчу понадобилось вмешательство разума; однажды он пришел к брату — высокий, торжественный, в стареньком черном галстуке, — так идут на капитуляцию, а Сергей Андрейч собирался в концерт, и у него был свободный билет. Брата он принял радушно, но с той родственной небрежностью, как будто они расстались только вчера.

— А, птаха волная!.. ну, как, все благополучно? — спросил он, как бы заранее предписывая ответ, и тут же предложил на музыку поехать вместе.

Благополучие было явное: тот являлся на собственных ногах, в том же несокрушимом телесном здравии; штопанный костюм его выглядел вполне пристойно, лысина по-французски была прикрыта беретиком. Совместная поездка в концерт избавляла от нудных расспросов о прошлом.

— У меня есть разговор к тебе, значительный и единственный, — виновато объявил Федор в первом же антракте. — Закончился какой-то цикл моего развития. Сделай милость, удели часок, больше мне не с кем.

— В каком же это смысле? — покоился старший.

— Может быть, это будет исповедь.

Сергей Андрейч охотно согласился на просьбу Федора: всерьез он никогда не относился к сомнительной профессии брата, а тем более к ее катастрофам; и если уж соглашался безоговорочно, то лишь из смутной надежды, что дело кончится прошением о пособии.

— Да, да, мы непременно это устроим как-нибудь. Тут у меня на-днях конференция, потом я уеду в Харьков на с'езд. Вот, после с'езда мы и устроим. У тебя надолго?

С разговором этим Федор Андрейч напрашивался неоднократно, так что старший начал что-то подозревать. Повидимому, предстояла развернутая исповедь художника по традициям старого доброго времени, — то-есть по душам, с призывом человечества во свидетели, с признаниями во всяких тухлых секретах, со всеславянским надрывом, с со-

санием пуговицы на жилетке собеседника, — тошная словесная мазня, от которой у обоих надолго остается душевная изжога. Сергею Андрейчу очевидно по грубости души недоступны были такого рода удовольствия. Он осведомился, наморщивая лоб озабоченно:

— ...а, может, тебе просто денег надо? Милльон я, разумеется, не смогу... но я тут премийку одну, возможно, клюну. Бери пока, а? Все равно, по секрету тебе: жена Тицианов накупит по рублю за штуку. Тут жулик один есть... — Он передернулся от веселой внутренней издевки: — Кстати, а малярни у тебя нет?

Тот отклонил подачку с негодующим благородством истинного артиста. Правда, бывшее роскошество его истаяло; брюки его стали вдвое тяжелее от заплат; со Штруфом, который пришел однажды ночевать да так и застрял на этом диванчике, он проживал уже остатки... но тогда-то хитроумный сожитель и надоумил его на занятия, которые стояли на промежуточной ступени между чистым искусством и неприкрытым уголовным стилем арапством. Произведения старых мастеров всегда являлись дефицитным товаром, но всякому счетоводу, если только теплилась в нем потребность красоты, лестно было повесить у себя над кроватью Корреджио. Затея Осипа Бениславича в том и состояла, чтоб восполнить этот вопиющий пробел. Действовал он, как будто, даже из высоких побуждений: «классиков живописи в широкие массы!», но Федору Андрейчу приходилось крепко зажмуриться, чтоб не видеть истинных основ нового предприятия. Дело вскоре наладилось, деньги потекли, среди дураков оказалось множество очень почтенных, и Анна Евграфовна охотно стала первой их клиенткой... Может быть, впервые на земле ограбленные бывали счастливы. И уж понятно Сергей Андрейч не догадывался ни о чем, если решался секретничать с братом о Тицианах жены, а тем более ехать в это логово самолично. Но иного выхода не предвиделось: телефона у брата не было, а переписываться со Штруфом почтой Сергей Андрейч благора-

зумно избегал. И, когда поднимался на братний чердак, тут же порешил, что вторичную прогулку сюда он повторит не ранее года.

Нужно было входить через двор и дважды перелезать через пирамиды сапей: транспортная база райсовета помещалась здесь. Уже при входе, где в убийственную для носа помесь скрещивались примусная вонь и кошачьи воспоминания, чувствовалась концентрированная нищета. Это был не особый какой-нибудь дом, а просто дом с жильцами малого или вовсе никакого значения. Словом, дом этот был уже обречен, уже имелся проект нового нарядного здания на этом самом месте и твердый список будущих обитателей в нем. Сергей Андреич шел в прошлое... Значительную часть дома занимал лестничный пролет; было огромное пустое пространство, а по стенам его, взвываясь к этажам, лепилась железная ступенчатая галлерейка. Электричество не горело. Ввинчиваясь вверх, к брату в гости, Сергей Андреич остановился передохнуть. Было тихо. Держась за шаткие перильца, он глянул вниз, в теплый, жилой мрак. Видимо, прачечная помещалась в полуподвале; она также вливала свою долю запахов в этот и без того переполненный каменный сосуд. Все вместе создавало впечатление, словно неизвестный солдат, рябой и огромный, как война, сушит внизу свои изопревшие ноги. Сергей Андреич как-то забыл о брате; он торопился повидать Штруфа и бежать. Какой-то человек, перемахивая через ступеньки, с налету наскочил на Сергея Андреича и, покуда, бранясь, отыскивал спички, Сергей Андреич спросил его о штруфовом жилище: оказалось, что это сам Федор Андреич и есть.

— Тут у тебя ногу сломишь!

— Пробки перегорели. Каждую неделю так. Ну, тут еще один этаж остался...

— Председателя домкома надо тянуть: заелся, значит. Они, голубчики...

— Так это я и есть председатель! — радостно сообщил Федор Андреич и за руку, как добычу, тянул наверх брата; оба дышали тяжело.

Сергей Андреич махнул рукой на потерянный вечер:

— И так, мы расстались с тобой... Когда это было?.. на чем мы остановились?

— Пойдем, пойдем... у меня свечи есть, — торопил младший.

И верно, свечей отыскалось у него целая пачка. И едва три из них загорелись, сразу стало видно, что панические настроения старшего Скутаревского были преждевременны. Вместо ожидаемого вертепа налицо была обычная художническая мансарда, — в широчайшем и низеньком окне мерцало смутное поле московских огней. Много холстов, один к одному, стояло у стеклянной этой стены; один холст красовался еще на мольберте, — драный кусок простыни не прикрывал его целиком, и левый невообразимо зеленый краешек отточенно блестел из-под ее края. На рояле, по черному лаку деки, рядом с палитрой и пузырьком сиккатива, поблескивала тонкая селедочная чешуя; самой селедки уже не было.

— Вот давно все собирался просить тебя, — по ассоциации вспомнил Сергей Андреич, глядя на разбрызганную чешую; перламутровым воспоминанием давней юности отливала она в колеблющемся пламени свечи. — Напиши, если сможешь... напиши мне стол, наш длинный стол, накрытый с одного конца, помнишь? И вокруг мы, все шестеро — Егор, Антоша, Поля, Никифор, покойники, потом ты и я. И на углу отец... но только ты помнишь его руку?

— Я напишу, я напишу, — заторопился навстречу его желанию Федор.

— ... руку, всю в коричневых обжобах, жесткую руку его. И на столе селедка. Ее сели, осталась голова. Она почти лилова, потому что сумерки; и у нее круглый рот, будто в пении. Ты не забыл, как, бывало, она похрустывала на зубах? Жалко, запаха краской не передашь. Я оплачу тебе холст и краски.

— Конечно, конечно... я передам и запах. Но ты садись, садись! — и придвинул порожнюю табуретку. — Тут сквозняки, ты не снимай шапки-то, не снимай. Спасибо, что пришел меня по-

слушать. Хотя теперь я уже спокойнее: кажется, я изобрел выход...

Он еще долго стоял перед шкафом, шаря по полкам, заваленным бумагой; потом с озабоченным видом он выставил на стол бутылку красного вина и хлеб; ничего больше не было в доме. Сергей Андреич из деликатности отвел глаза: «Эк, словно в Эммаусе! Ну вот, начинается!» — подумал он с непостижимым нытьем в челюстях.

— Собственно, я пришел узнать начесть... — начал, было, он. — Видишь ли, у меня...

— Я все, все расскажу, я не утаю ни крупинки, — перебил Федор. — Итак, ты даришь мне свой вечер. Ведь мы с тобой не говорили столько лет, но ты пришел, доверился, а совсем, совсем меня не знаешь. Ты спросишь, что я такое нынче. Но ведь чтоб понять — что есть человек, надо спросить — чем он был. А именно прошлого-то я и стыжусь. Ты молчишь, не задаешь вопросов — спасибо. Оно у меня бесплодно, как пустыня, и каждый вчерашний день в ней лежит, как падаль... до сегодня, до этого чердака преследует меня этот заразный смрад. Я кричу туда, назад, но даже эха нет: мертвое не откликается!.. дай, я налью тебе вина, и выпьем за детство, милую сообщую нашу страну, из которой исходят все дороги. И еще, отдельно, за будущее, куда они ведут...

Он отхлебнул жидкой терпкой черноты из стакана, и тотчас же с обезьяньей уверткой передразнила его тройная на стене тень; она как бы замахивалась на неподвижную тень брата. Стало очень печально и совсем удаленно от жизни. Тем суровее покачивались и коптели высокие огни этих трех свечей. Украдкой Сергей Андреич разглядывал брата; и желтое, почти натровое пламя огня делало его лицо безжизненной и во всяком случае старше; как-то не верилось, что он способен был произнести сейчас большие слова. Слишком явен был его тупик... и вдруг обостренным беспокойством рук он напомнил ему мать, но когда та уже не поднималась с постели. Впрочем, только послед-

ний ее месяц и помнил с особой четкостью Сергей Андреич; лицо ее он уже забыл. Ее знобило; отец накидал ей в ноги пушистых соболей, лисиц и белок, — она умирала в чужом роскошестве, и какая смертная скука блестела в ее глазах, когда смотрела на шестерых оборванных своих детенышей! Они не резвились, они догадывались; они щурко и затаенно глядели то на тоскующие, ищущие бескостные руки матери, то на быстрые руки отца, колдующие руки мастера. Сутуловатый, молчаливый, отец метил мелом и сшивал свои шкурки: он ждал. И тогда мать начинала говорить — вот так же горячечно, бестолково и сбивчиво, потому что за время болезни мысли ее слежались даже до иероглифической плотности. Но было в Федоре и еще нечто, что по ребячеству проглядел в матери Сергей.

— ... не знаю, с чего начать. Я ведь не философ, и я не растрогать попусту тебя хочу... ты поправь, если я заврюсь. Знаешь, художники думают лохмато! Все на других хочется свалить вину, в прятки с собой играю... и ненависть к прошлому у меня сочеталась с растерянностью перед будущим. Чорт, а ведь в том и гениальность, чтоб осознание насущных нужд эпохи связать с предвидением будущего. Значит, наши октавы не совпадают, постоя!.. В чем же дело? Я осудил, я же знаю, как несчастно, как нечестно жили люди. Брат, всю жизнь мне хотелось написать одну книгу — о прошлом. Ее надо печатать на алюминии: бумага станет прогорать от слов. Она начиналась бы с истории одного чудака, который призывал человечество к братству и с этими словами, крича их, пошел на площадь, но его поймали, избили в полицейском участке и выдавили глаз... именно глаз, правый! И он умолк, как Абеляр. Но и опять я отстал, как со своим К а н ц л е р о м. Он и обогнал меня! Так повестуется в библии: но правда изверглась и поглотила ложь... По пред'явленному счету уплочено сполна. Но сам-то я до сих пор остался неоплаченным и в стороне от общего потока. Но чушь, конечно я не Абеляр. Ты понимаешь, понимаешь меня?

— Не совсем,—точно втягиваемый в водоворот, признался Сергей Андреич.— Ты проще, проще. Ты вообрази, что я монтер, пришел звонки проводить!

— Ну, монтеру я не стал бы этого говорить, и потом это же совсем просто, — усомнился тот в его искренности.

— Нет, нет, — ухватился другой. — Ты не хитри, ты нараспашку иди, не застегивайся. Ты дайся ветерку! — А втайне подумал, что это относится и к нему самому.

— Ладно, тогда я иначе. Слушай, братан милый. Мир этот громаден, и я полагаю, что без благоговения или наглости в нем ничего не поймешь. В том и суматоха моя, что я потерял одно и не приобрел другого. А про волю к преодолению и преобразованию его я забыл. Не знаю: может быть, я слишком подался на успех, а всякий истинный художник жаден. Я брался за все, я писал сенаторов, архиереев, великосветских шлях... и всякую иную пыль и моль с гнилого николаевского горно-стая. Я писал картины, на которые следует глядеть только после сытного обеда с ликерами. Я боялся заставить думать других, потому что это обижало думать и меня самого. Ну, понятно теперь? Мне платили, меня хвалили, меня приглашали на приемы... чорт, даже пробовали оженить на одном печальном останке великокняжеской любви. Нужно было сочинить абстракцию, чтобы жить, — вот я и старался. Я искал краску и форму, чтоб наготу свою одеть. Э, да и мало ли их теперь еще, голых, ходит по земле! Словом, мне нечем оправдаться, брат...

— И еще надо узнать, чем он стал, — на давешнюю его мысль отозвался Сергей Андреич. — Ты покажь мне его, нынешнего. Вот например, что у тебя тут?

Он сдернул простыню с мольберта и, взяв подсвечник, долго, чуть исподлобья глядел в четырехугольное пространство перед собою. «Во, точно из самолетной кабинки смотришь!» — была первая мысль Скутаревского. — За лугами, в тонкую прочерненую полоску леса садилось солнце. Оно уже скрылось, но все еще длилось воспадение неба; сумерки

были — точно осыпался огненный цветок; и на всем — на листе ближнего дерева и на одинокой кровле за ним, на облачках и даже в самом воздухе — еще тлели пламенные его лепестки. Федор молчал, он ничего не мог прибавить к этому, уже сказанному.

— Что это? — спросил брат, ткнув свечкой в направлении холста.

— Это?.. закат. — И смутился.

— Нет, я не о том. Краска какая?

— Это кадмий.

— Хм, не узнаю твоего кадмия, — грубовато отрезал Сергей Андреич. — С чем ты его смешал?

— Может быть, со старостью моею? — тихо спросил Федор.

— Нет, но почему ты боишься ощущения в целостном его виде и замазываешь сажей, чтоб не узнали. Ты сказал однажды, и мне тогда, признаюсь, это показалось напыщенным, что кровь в революции смысла со слов и понятий их истрескавшуюся пошлую лакировку. Ты сказал тогда, что к образам вернулась их первичная, суровая чистота. Вот и покажи!

Стеарин стекал ему на пальцы, он не замечал. Федор ответил не сразу.

— Прости... я конечно преклоняюсь, у тебя великое право зрителя. Но ведь это было бы грубо.

— Ага! — подхватил Сергей. — А где, где ты видел такое количество пустыющей земли? Это не картина, а обвинительное заключение. Пошли к прокурору, указав район, и председатель этих мест вылетит к чорту из партии!.. молчишь, значит, это — ложь?

— Ты хочешь, чтоб я изобразил комбайн на этом поле? — настороженно спросил Федор и костяшками пальцев постукивал в стол. — Но тогда я обману тебя же, мой зритель. Моя картина состарится прежде, чем высохнут ее краски. Тогда ты будешь глядеть на свой вчерашний день и вопить об оставании искусства. Я даю тебе золотую монету, эталон, человеческое ощущение, а ты хочешь иметь купон от облигации внутреннего займа!.. прости, я не умею иначе.

— Значит, ты полагаешь, что там, за перевалом, не родится новое искус-

ство? — Сергей Андреич и сам понимал, что употребляет во зло безропотное уважение брата. В конце концов то, что составляло мильон терзаний для одного, было только предметом отдыха для другого.

— Так продолжать, значит? — спросил Федор, накидывая простыню на мольберт.

— Да, да, изложи в популярной форме, изложи, — дернулся Сергей, скрывая с ногтей застылые блестки стеарина.

Неуловимый сквознячок бродил по чердаку; самое наличие такого широкого окна производило термические перемещения воздуха. И хотя все было мирно — о, как сражались и безумствовали тени на стене!

— ... меня познакомили с Гонельбергом. Ты наверно слышал про его банковскую контору? Это был скромный с виду, сутулый даже, но вполне железный человек. Представь себе майского жука, но только в пиджаке искристого умбрового цвета. Видимо, и железа его коснулась любовная ржавчинка. Женщина, прямо сказать, стояла своей цены, я видел ее: ошеломляла ее хрупкость... С такими, много позже, могу же и небережно играли в Питере заглявшие матросы. Что-то французское было в ней, я даже помню одну ее фразу: «...но птицы убитые поют никогда». Гонельберг сходил с ума, ржавчинка-то, она бегущая! Он выстроил ей роскошный особняк в уединенном месте, — сумасбродная по замыслу вещь, которую даже и взорвать нельзя, потому что это есть уйма очень скверно организованного, но тщательного человеческого труда. Словом, подрядчик сколотил себе каменную громадину из материалов, которые успел скрасть; Гонельберг видел и смеялся, его как бы щекотала людская подлость. Расписать и оформить ванную комнату пригласили меня. Что ж, я пришел и заломил, потому что все банкиры — сукины дети... Слушай, брат, именно теперь, после всего этого ужасно хочется жить. Хочется и... как-то совестно. Признайся, тебе тоже совестно меня?

— Нет, почему же... живи, не возвра-

жаю, — второпях отпихнулся тот и усмехнулся: — ведь вот, и самокритика как будто, а ловко выходит у тебя, точно хвастаешься!

— Гонельберг сказал: «Вы цены себе не знаете!» — и удвоил сумму. Я осатанел, мне захотелось перекрыть его щедрость. Я заперся и два месяца не впускал никого. Я обложил комнату розовым мрамором. Я сделал весенний сад, — эскизы у меня валялись для одной задуманной работы. Ветви, тяжелые от лепесткового серебра, брюхатые цветами ветви обнимали это место шатром; бежали ручьи, и радужные птицы, которых не было и у Ноя, которых забыл сотворить Ягве, пели в высоте... ты понял мой умысел? Но, когда этот Адам увидел, он испугался и даже пиджак на нем повело. «Что вы наделали! — шепнул он. — Уберите, уберите это... мадам любит только осень!» Я обозлился, я выругал его, я крикнул ему: «Это стоит денег, господин Гонельберг!» Он ответил мне, что не собирается торговаться. И так, они железными когтями содрали со стен мою весну, а мрамор выковыривали ломом. Помнишь, Медичис однажды приказал гению извять группу из снега, но там...

— Погоди, ты не отвлекайся, Федор, — жестко прервал Сергей и вино, которое собирался пить, поставил обратно на стол, точно дохлую муху увидел в нем. — И ты, вдохновясь, переделал на осень?

— Нет, слово даю, нет! — закричал Федор, искательно хватая руку брата. — Я ушел, клятвенное слово даю! — и дрожал весь. — Тогда я и сделал Забастовку. А потом жизнь пошла наперегонки с самой собою; в единицу времени событий протекало больше, чем может уловить медительный глаз художника. Усложнялось самое вещество искусства. Мы же не зеркала, к которым можно подойти и подкрутить усы, а тоже фабрики, брат. Самые насыщенные происшествия — только сырье для нас, даже не полуфабрикат. Но я очень хотел понять, и я искал... я искал наощупь. Я меньше тебя, и у меня нет общей дисциплины. Ты имеешь метод, ты ведешь большую

науку, — я делал это кустарно. Одно время я служил в музее; я охранял камни, которые ненавидел; ежедневно я смотрел эти знаменитые цветные в бесценных рамах дыры, которые презирал, не понимая. Я все искал, в какой пропорции эпоха примешивалась в их краски. Я изучал разлитую по холсту желчь Кея, падение складок в таких будничных шелках Терборха, могучую пасмурь Рейсдаля, кровавые, ростбифом писанные натюрморты Снайдерса, шекспировские мяса Иордана, я искал в полотнах...

— Незнаком, знаком... — строго бормотал Сергей Андреич, и все хотелось крикнуть ему: «Не играй, не играй, не прячься... разве перестала течь под твоим пиджаком вонючая кровь скорняка?»

— ... я смотрел часами на Питерса, который звучит из рамы, как колокол, — наконец закончил перечисление Федор, вытирая испарину с желтых затылков. — Потом, оглушенный, я бросился к книгам... ведь и раньше, случалось, валились древние боги, когда наотмашь ударяло их гневной человеческой волной. Я дошел до того, что находил сходство с веком Феофила, разрушающего библиотеку Серапиона, с эпохой Абу-Бекра и Омара, на десятки тысяч верст опустошающих окрестности Мекки, Алариха, чорт нас всех возьми, которому ночная измена открыла Саларийские ворота... но верь, брат, я их не открывал! Позволь, я путаюсь: но ведь не законов же ищем мы, а лишь своеобразия в их процессах и чередованиях. Тогда я бросился туда же, но другим путем. Я шарил по сухим, точно на меди вырезанным, трактатам Пачиоли, Леона Альберти, Да-Винчи и других, этих Евклидов старой живописи. Там было много о функции центрального луча в зрительной пирамиде, о движении сочленений, о светотени драпировок, даже рецепты, как делать драгоценные кисти из усов котят, но там ничего не было о движениях восставших к социализму масс, о взаимоотношениях формы и содержания, о роли искусства в общественной жизни, о пятачке... Книжки умерли... вот они, эти

жирные трупы! — и тыкал кулаком в толстую книгу, одетую в потрескавшуюся шагрень. — Конечно я не там искал; истина всегда впереди, всегда за пределом взгляда... и надо безостановочно итти, чтоб надеяться догнать ее, постоянно убегающую. Я растерялся совсем, — а, может, выход в том, чтоб стать участником жизни и половину поступающего сырья перерабатывать в суровом переднике чернорабочего. Но с чего начать, в стонгазете рисовать Чемберлена? — Он сделал передышку и скригуче прошелся по комнате. — Я осудил, но этого мало; сейчас могут жить только люди, способные служить, как провод, без износу: суровые времена, брат милый. В эту острую мою минуту пойми меня правильно, брат! Бывает и другое, бывает, когда художник перерастает свое могущество и вчерашних красок ему нехватает. Все мне внятно теперь, от шелеста газетного листа — через сотни лирических обвалов — до грома народных демонстраций. И тогда, глядя в одряхлевшие холсты, которые ежегодно почтительно кроют лаками, чтоб не осыпались, я чувствую себя мальчишкой, фанфароникой и неудачником. Бывает и так: виноград жуешь, а точно веник жуешь, — ощущение. Может быть, в стали, при последней закалке, выгорел весь углерод, и воспоминанья — вот пузырчатый, негодный шлак их. Тогда и вкус познания, и зоркость взгляда — все ни к чему. Должно быть, я стал глупее: тенденция, схема, цель, содержание... я запутался; быть может, я сгнию, но то, что вырастет на мне, будет велико. Порою мне казалось, что я умру от этой растерянности...

— Пустяки, ты погибнешь от разрыва сердца, — все больше веселел, по мере того, как тот бился и кидался в него обломками самого себя.

— Почему ты думаешь так? — угроמו возрился тот.

— У тебя сложение такое, — засмеялся Сергей.

Федор Андреич посмотрел на просвет бутылку, — она была пуста.

— Вот, ты издеваешься, и ты прав. Брат, я пришел в последнюю ничтожность: надо было жить. Конечно я

апеллировал бы к народу, если бы они звали меня. Я зарабатывал хлеб мой, как умел, я не умел лгать, как Рафаэль, и льстить, как Веласкез: я бездарнее! Я писал брандмайоров, спасающих горящий газолин, — на меньшем не мирился заказчик; мне приносили подозрительный локон волос и просили сделать образ супруга, попавшего под трамвай; я работал с фотографии, со слов, с заочного письма и наконец просто так, по наитию. Я утешался тем, что это будет висеть в нахальной раме, засиженное мухами, а история не любопытна к побежденным. Меня кормил мещанин своим кислым, с ключьями начесанных волос, хлебом. Тогда я взбунтовался против него! Тебе было весело и раньше, теперь ты станешь хохотать. Я пустил в ход накопленные знания и, знаешь ли, так вниз по плоскости скатывается шар, следуя законам ускоренья. Подводя итоги, мы сообща с этим жуликом стали выделять классиков. Мы скупали старые паркетированные доски и трудились. Я научился делать любого старика быстро и в любой манере; из десятка картин одного мастера я компоновал одну новую, и, чорт, сам Остроухов бледнел при виде моих работ. Они превосходили подлинники и в сыром виде, а подписи, копоть времени, старинку, трещинки, все эти кракелюрки искусно производил мой компаньон. Иногда мы записывали эти произведения варварской мазней, а потом ножом и скипидаром открывали на глазах у бледнеющего мещанина, и он за доступную цену видел чудо, смел прикасаться к нему, тащить домой и вешать над комодом с клопами. О, война, так война! Сюда приходили жадные люди, крадучись и как бы в одышке от волнения; им хотелось за грош купить солнце, и, дьяволы, они уносили его, завернутое в газетный лист. Мы только рекомендовали им в течение пяти лет не показывать никому по сложным политическим причинам; о, штруфовой фантазии хватило бы на десяток современных писателей! Мещанин платил, он голову пожертвует за тайну, потому что душе его еще более, чем желудку, нужна прочная питательная жвачка... Одно

время мы также изготавливали греков; кустарь сдавал нам свои горшки по трещинке, а мы слегка гравировали их под дряхлость, я расписывал богами и героями, а Штруф ставил их в сложные химические компрессы и держал в зависимости от пористости и возраста. Вот, ты жмуришься, а ты сможешь объяснить мне, почему это не хорошо? Разве слепому не будет и в ненастную ночь светить луна, если ему об этом сообщит любимая девушка? Мы делали людское счастье, чорт возьми, и брали ровно столько, чтоб иметь нищенский хлеб — делать его и завтра. Один мой Буше висит в частной галлерее за границей; владелец прислал мне ящик красок в прошлом году и копию музейного сертификата о подлинности моей подделки; в другой раз я продал в миниатюре Творение Адама из Сикстинской капеллы, и дурак вывихнул ногу на лестнице, торопясь из страха, что я раскаюсь и побегу отнимать... — Он смущенно поглядел на брата, потрясенного столь откровенной философией и все еще не смеющегося. — Сергей, прости меня... того Рембрандта, что у Анны Евграфовны в комнате, я делал вот на этом самом мольберте.

— Неплохо, неплохо... — неопределенно дивился Скутаревский, и при всей своей отдаленности от искусства понимал, что так оно и должно быть, когда любимое ремесло скомпрометировано в самой своей основе. — Ну, а Франциск... этот носатый хлюст с собакой?

— Тоже я делал. Мне Осип и позировал. Я не люблю твоей жены, Сергей.

— ... и долго? — невпопад спросил Сергей Андреич.

— Этот долго, этот две с половиной недели. Матерьялы долго подбирал.

Вечер явно затягивался, а незадавшаяся, свернувшаяся на водевиль исповедь все еще не подходила к своему развлекательному концу. Следовало еще ждать пространный абзац про Жистарева, но Федор уже устал; он дышал тяжело, — так выходит воздух из проколотого мяча. Все-таки удобнее было бы списаться со Штруфом по почте, и теперь Сергей Андреич мысленно ко-

стерил себя за неуместную подозрительность. Стало ясно, что Штруфа не дожидаться, что покаяться грешника незаметно трансформируется в бахвальство загнутого человека, что пора уходить. Да тут еще толчками стал зажигаться свет: где-то ввинчивал пробку монтер. Эффект исповеди разом пропал, свечи горели тускло, и черные волокна копоти струились с набухших фитилей. Сергей Андреич откровенно зевнул. За дверью раздался шорох, точно слон шел на дыпочках. Покраснев, Федор Андреич привстал навстречу. Саженный мужчина в бобре спросил секретным голосом про какой-то портретик. «Готово, готово...» — засуетился хозяин, бросаясь в угол. Сергей Андреич отошел к окну. Позади шелестела газета и сопел посетитель; нужна была повышенная любовь к искусству, чтобы при такой комплекции взползть на штруфов чердак. Скутаревский ждал минуты, когда тот уйдет, чтоб уйти самому. Уши его рдели; нечаянно он становился как бы общником достаточно скверного дела.

Рама, вделанная в обширный проем окна, обмокала; пухлая плесенца ползла с нее на самую стену; известка становилась дряблой и синеватой на цвет. Трескалась, гибла эта древняя человеческая пещера, и пока еще страшно было выйти из нее художнику под голое суровое небо... Сергей Андреич легонько оперся ладонью о выступ стены, и кусок известки, точно положенный со стороны, остался у него в ладони; в изломе, если поднести к глазам, вполне различимо было его крупчатое строенье. Может быть, когда-то это дышало, двигалось и росло в гибких, еще студнистых телах горбатых рыб, зубатых птиц и трусливых волосатых человекоподобных. Природа непостоянна в капризах, она все шарит чего-то совершеннее и скредно экономит на веществе. Может быть, со временем и его собственный, Скутаревского, позвоночник, державший так надменно его сухую спину, войдет составною частью, смешанный с глиной, в монументальный, еще неродившийся, еще неизвестного назначения предмет. Но и это не выпадало из стройной логической цепи.

Старый человек уходит из жизни, его молекулы образуют новое социальное и биологическое вещество, и самая его форма становится чуточку пародийной в сравнении с будущей, более совершенной. Пускай!.. и в эту минуту не было в нем сопротивленья закону: вся его порода поляжет плотным геологическим слоем на берегах будущих величественных рек, детство которых он удостоился видеть. «А рисунок?» — шелестело позади его из бобрового воротника. «Вы торгуетесь, точно покупаете поддержанные брюки, гражданин!» — издевательски холодно шептал Федор Андреич... Потом, когда дверь захлопнулась за любителем искусства, Сергей Андреич обернулся:

— Они знают твою фамилию, эти... покупатели? — спросил он враждебно.

— Нет, только Штруфа! — догадался тот, вспыхнув.

— Кстати, Штруф скоро вернется?

— ...Штруф? Но его нету. Я выгнал его. Он питался мною. А зачем тебе Штруф?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Запутанный этот путь приводил, таким образом, к довольно сомнительной аванюре, и Скутаревскому в голову не приходило, что все это можно было сделать гораздо проще. Несомненно, высокое учреждение в лице Кунаева пошло бы навстречу ученому, работой которого крайне дорожило общественное мнение страны. Впрочем кое-какие мысли на этот счет были у Скутаревского, но он стеснялся обращаться с личной просьбой к начальству. Это была даже не ложная и чопорная деликатность, не опасение поставить себя в бытовую зависимость от кунаевских воззрений, а прежде всего тяжкий стариковский стыд за тот образ жизни, которым просуществовал столько лет. И уже во всяком случае разговор этот подтвердил бы в полной мере те сногшибательные слухи, которые ползли по городу. Началось с пьяниссимо: будто Сергей Андреич в связи с семейной и идеологической перестройкой бросает академическую работу и едет — по одной версии — директором строительства будущего элек-

тромашинного комбината, по другой же — якобы уполномоченным по хлебозаготовкам на Северный Кавказ. Этим хотели сказать, что от Скутаревского можно было ждать чего угодно в этот период. К этим явно дурацким выдумкам присоединились другие, круто посыпанные более пахучим перцем.

Никто не знал, откуда они, ибо Петр Евграфович никому не передавал своей беседы со Скутаревским, и уже, разумеется, не его была вина в том, что пара старых его приятелей оказалась пошлыми болтунами. Фривольный шопоток, пущенный во благовремени, приобрел в скорости сверхъестественную резвость. Поговаривали, что Сергей Андреич подобрал себе дочку одного ликвидированного нэпача просто на бульваре, куда выкинула ее классовая судьба, и сразу же накопил ей платьев, контрабандных чулок и уральских брошек и еще чего-то, почти преступного при строгих советских нравах. И наконец такую шапочку приобрел слушок, будто добыча Скутаревского не достигла еще совершеннолетия... Погуляв по городу, сплетня постучалась и в институт под видом плоского разлагательного разговорца, которым крайне приятно было перепихнуться где-нибудь в буфете или в уборной. Научному авторитету директора высокочастотного института стала сопутствовать слава отъявленного сердееда и даже любителя молодянки. Кажется, эти ходячие мертвяки, потому что вонять с успехом можно и стоя, старались просто свалить Скутаревского домашними средствами, ибо, вставши на труп, все на полголовы выше станешь!

Потом наступила благословенная тишина, и в ней, точно вдруг в барабаны ударили, объявилось, будто кто-то и где-то не подал Скутаревскому руки. Сергею Андреичу разом припомнили все его ужасные революционные суждения, которые, будучи до детскости смешными в глазах истинного большевика, способны были однако распугать многих из его среды. Социальная прослойка извергала, словом, Скутаревского как инородное тело; он оставался совсем одинок, щепка на высокой прибойной вол-

не, а травля не унималась. Черимов видел все это и молчал, выжидая какой-то особенной минуты. Но дело заключилось все же редкостным для научной среды скандалом. Как-то в начале февраля, в один очень роскошный полдень, Черимов присутствовал при беседе нескольких молодых сотрудников института; ели бутерброды в буфете, разговаривая о разном, и тут Иван Петрович рассказал между прочим о своих наблюдениях над Скутаревским. Лукаво поигрывая омонимами — жена и Женья, при чем открыто именовал последнюю любовницей, — он указал один драматический узелок: того, что при возрасте Скутаревского хватало для жены, нехватит, разумеется, для Жени. Это могло оказаться и правдой хотя бы потому, что слово Женья звучало во сто крат нежнее.

Все даже перестали жевать от неловкости; один Черимов, сидевший на подоконнике, продолжал улыбаться. Потом он протянул руку... и сперва все поняли его движение так, будто он хочет вынуть бутерброд изо рта Ивана Петровича; именно улыбка черимовская ввела всех в заблуждение. Только по соизвоности звука свидетели поняли, что произошло нечто более существенное. Получилось понятное замешательство, при чем Иван Петрович казался более перепуганным, чем оскорбленным выходкой Черимова. Всем были известны их частые встречи, начало несомненной дружбы, чего Иван Петрович, к слову, никогда не опровергал; должно быть, дружба эта была очень своеобразна, раз она столь эффектно начиналась с мордобоя. Мгновенно сопоставив свои беседы с этим колючим коммунистом, Геродов вспомнил, что при встречах всегда особенно много говорил он сам, а Черимов только слушал да улыбочато поигрывал в молчанку. Пожалуй, не было удивительного в том, что ученик вступился за учителя, но зато не было спасительной уверенности в том, что только это было причиной скандала. Молчание угнетало, надо было сказать что-нибудь.

— Я старше вас, Николай Семенович, — произнес Геродов, берясь за оч-

ки, и оглядывая их; очки остались целы. — Вам стыдно за эту неуместную... и вовсе непозволительную шутку.

— У меня такое предчувствие, — тихо ответил Черимов, улыбаясь одними глазами, — что в ближайшем времени я вам еще раз дам по морде.

Тут прозвучал звонок, и представление окончилось.

Происшествие означало или скандальный уход обидчика, или немедленную отставку обиженного, но Иван Петрович медлил. Представлялось ему неразумным в такое ответственное время из ложного самолюбия покидать институт; Иван Петрович никогда не был мелочным человеком. Притом, если бы Черимов употребил полную меру негодования, а следовательно и удара, то при его физической силе от Ивана Петровича остались бы... как это называется? да, о ш м е т к и! Следовательно, сила гнева была неполная, Черимов просто рассердился, что может случиться со всяким. В душе он расценивал конечно иначе смысл буфетного события; Черимов был до точки организованный человек, и немыслимо было, чтобы он порешился на избиение научного сотрудника, так сказать, без согласования с инстанциями. По врожденной догадливости этот молодой человек мог пронюхать что-нибудь глубже, и тогда обещание Черимова повторить удальствие приняло совсем иные очертания. В суматохе он упустил из виду прямолинейную, вспыльчивую черимовскую молодость. Внешне-то, пожалуй, внюхиваться было не во что. Правда, за неделю перед тем произошел один невинный, не лишенный лишь забавности эпизод в институте, и нужна была маниакальная подозрительность, чтобы вывести из него какие-либо заключения.

Вечером однажды, вернувшись в институт на ночную работу, Сергей Андрич не нашел на своем столе одной тетрадки. Он искал везде, спрашивал у заместителей, лазил за шкафы, волоча за собой электрический шнур, громил уборщиц, но утерянного так и не нашел. Тетрадка была клеенчатая, в роде тех, с какими мучаются школьники, из пло-

хопроклеенной, линованной бумаги, сплошь исчерченная формулами и небрежными набросками от руки; в этой цифровой неразберихе заключалась суть многолетней работы Скutareвского. Уже собирались сделать заявление в соответственное место, но через сутки, тетрадка оказалась на прежнем месте, в запертом ящике, который Сергей Андрич старательно обыскал накануне. В это утро Иван Петрович проявлял повышенную суетливость, даже услужливость и неожиданно на целых сорок рублей взял билетов осовиахимовской лотереи.

— Вы верите в нечистую силу? — спросил у Черимова Сергей Андрич; кроме Ивана Петровича, в кабинете присутствовал и Ханшин.

Привыкнув к витиеватым вступлениям учителя, тот молчал. И тотчас же Иван Петрович раз'яснил превесело, что речь идет о чертях, колдунах, суккубах, оборотнях и прочей рогатой чепухе.

— Нет, я имею в виду нечистые силы, вполне доступные для советского суда. — в раздражении поправил Скutareвский и тут же рассказал про историю пропажи и появления тетрадки. — Я не знаю... может быть, следует поставить солдата с заряженным ружьем, но охраните меня, товарищ, от непрошеного любопытства!

Несколько мгновений длилось довольно пакостное замешательство; потом Ханшин сообщил, становясь добротного красного оттенка:

— Я должен извиниться, Сергей Андрич. Делая доклад третьего дня, я нечаянно захватил ее вместе с бумагами, но на утро принес к вам на стол. Вас не было, я положил ее сбоку, рядом с двумя колбами... отчетливо помню их. Потом я ушел.

— Очень смешная история, товарищ Ханшин! — ехидно заметил Скutareвский, но смотрел, ища сочувствия, в сторону Геродова. — Детектив какой-то... пропавшая грамота. Где же она могла быть сутки после этого?

— Фотографированье ее требует времени, а в ней много страниц! — резко сказал Иван Петрович, решаясь на раз-

рыв с Ханшиным, который продолжал стоять с опущенными глазами.

В тетрадке, даже если бы попалась специалистам, все равно было бы ничего не понять; на том дело и покончилось, но вечером, тотчас после пощечины и прямо со службы Иван Петрович зверем бросился к Петрыгину. Свиданья их происходили нередко, — оба они, как уже выяснилось, входили в ревизионную комиссию того кооперативного дома, который совместно с другими заканчивали стройкой в текущем году. У Петрыгина сидели еще две каких-то сконфуженных личности, назвавшиеся нечленораздельно: Иван Петрович впервые встречал Арсения Скутаревского. Хозяин поил их чаем с медом; гут же, на століке, стояло блюдо антоновских яблок, одни они — щекастые, бородавчатые — восхищали взгляд в этой скорбной комнате. Свет многосвечной настольной лампы падал на них, и желтые флуоресцирующие блики отраженно играли на усталых лицах гостей. Иван Петрович с нервным беспокойством смотрел, как фундаментально обсасывал ложку один из них, облепляя ее губами, причем губ становилось сразу как бы втянуто; этот, второй, был шаровиден, и даже брюки на нем были какие-то круглые. В силу некоторых секретных обстоятельств Иван Петрович предпочел бы, чтоб замысленный разговор произошел без свидетелей. Заговорили сначала о нехватке кирпича, кровельного железа, цемента — обыкновенный обывательский конвэрсасьон, как определил Петрыгин, с жалобами на советскую власть, которая все строительные материалы отдала целиком индустриальному строительству.

Прямо над ними висел в тяжелой раме вострый, суховатый, стрижен под бобрика, человек с повелительными, водянистыми глазами и в сюртуке. Весь свет сосредоточился на яблоках, и оттого глаза человека смотрели как бы из темной, беспредметной пустоты; изредка и попеременно все взглядывали на него, и у всех оставалось ощущение, что именно портрет этот, сделанный с пре-

дельной выразительностью, председательствует на случайном петрыгинском совещаньи.

— Кто это? — озабоченно спросил Иван Петрович, пристраиваясь однако к медку.

Петр Евграфович поднял глаза:

— Да, ведь вы не встречались... Это тесть мой, Сергей Саввич, член городской думы и... — Он умолк, давая время гостям припомнить все остальные чины этого незаурядного человека.

— Он и теперь в Москве? — басовито осведомился шаровидный.

— Нет, он в Медоне. — Петр Евграфович не пояснил, что это такое: они отлично знали это парижское предместье и без него. — Великий человек, а вот закатился тускло, как башмак за койку.

— Великий человек — это тот, шестерни которого совпадают с шестернями века! — учтиво подхватил Иван Петрович, мысленно отказываясь от задуманной беседы. — И уж если...

— Ловко сделано, — еще обмолвился шаровидный, прищелкнув пальцами. — Такой не задумается целый класс растворить в кислоте и спустить в реку. Петрыгин улыбался, поглаживая колени:

— Работы Федора Скутаревского, вот и подпись... — с удовольствием, как в улику, он ткнул пальцем в место на уголке, где четкое, без инициалов, стояло знаменитое имя. И странно, всем стало легче при упоминании этого имени. Петр Евграфович помолчал и вдруг сказал твердо и солидно: — Послушайте, родной Иван Петрович, нам необходимо привлечь и Ханшина!

— Я не понимаю вас, — вздрогнул Геродов и, как ужаленный, взглянул на Арсения, но тот неопределенно опустил глаза. Игра в недомолвку не удалась.

— Ничего, — успокоил его Петрыгин. — Жена уехала в Кисловодск. Никто не слышит!

— Но ведь Ханшин не пойдет без Скутаревского, — много тише сказал Иван Петрович.

— Ну, Скутаревского я, по-родственному, беру на себя, — засмеялся Петрыгин.

И вот тогда-то произошло это:

— ... а я желаю, не желаю! — неожиданно, фистулой, визгнул Геродов, и сам испугался своего визга; нервы его не выдерживали. — Я не хочу больше... эта дурацкая история с тетрадкой подходит на провокацию. Я...

Его истерическое вступленье прервали часы: сперва в них захрипело, будто спрятанный в ящике, кто-то расправлял молодцеватые металлические усы; потом торжественный и самодовольный начался бой. Глухое звуковое колыханье до последней щели наполняло комнату. Казалось, вот-вот — с подлой циферблатной рожи тучными блестящими закаплет жир. Одна волна не утихала, пока не начиналась другая, которая также не торопилась, а всего ударов последовало одиннадцать. Оборванный на полуслове, Иван Петрович с ненавистью глядел то на продолговатый этот собачьи времени, то на хозяйина, равнодушно созерцавшего гостеву ярость.

— Гнусные часы, — вымолвил он потом.

— Философические часы, — веско поправил Петрыгин. — Но я слушаю вас...

— Словом я уйду и порываю все! — И прежние высокие ноты заметались в голосе Ивана Петровича. — Они уже бьют меня по щекам, и стоит, стоит. Я стал седой пакостник, я стал чехол, прошивенный старый чехол, из которого пыль выбивают кулаками. Лицо... вы видите, какое у меня стало лицо?! У меня уже неделю ночует Штруф, и я не смею его выгнать. У меня черные руки стали, руки черные у меня... Я боюсь, я слушаю все шаги на лестнице, я сплю не раздеваясь. И у меня жена! — кричал он, глядя в неподвижные глаза Арсения.

Кстати, жену он помянул лишь от слепой ревности к тому непременно усачу, который, в случае провала, заменит его в супружеской кровати. Он кричал, и двое остальных также начинали волноваться, у них дрожали пальцы, и выплескивался из стаканов чай. Кучка намелко изжеванных окурков в пепельнице и вокруг нее свидетельствовала о крупном разговоре, который состоялся перед появлением Ивана Петровича. Клубок вредных сомнений, завер-

шившийся сегодня истерикой Геродова, грозил перекинуться и на остальное петрыгинское войско, — и вот хозяин гневно закусил свой круглый ус. Лицо его стало жестко, один глаз уменьшился против другого, а пальцы сами собою складывались в кулаки.

— А Гастона Галифе хотите? — тихо спросил он, и эхо отдаленного пушечного выстрела раскатилось в его словах.

Только магией, только колдовством можно было бы в такой срок добиться таких превращений. Иван Петрович укрощенно склонил голову. Арсений закрыл глаза, а толстый похудел неузнаваемо: слово вонзалось в самые внутренности. И опять, в тишине, Петрыгин жевал свой ус. Половину двенадцатого звонили насмешливо часы. Человек в золоченой раме выглядел суше и пронзительней; возможно, он выжидал, следуют ли и ему произнести веское свое слово. Петрыгин по очереди оглядел свою паству; изредка балуя их необходимыми подачками от высокого лица, которого не называл ни разу, он время от времени избивал их страхом. Взрывчатая смесь трусости и злости, на которой он вел свою машину, могла когда-нибудь погубить его самого, и он никогда не перегревал ненадежного человеческого котла, но никогда раньше и не случалось такого смятенья.

— Интеллигенты, боборыкинское слово... — твердо сказал Петрыгин... — вам следует вылить по стакану брома за шиворот. Но мне жаль вашего костюма, Иван Петрович. Кстати, это тот заграничный, который я привез вам? Прекрасно сидит. С такую внешностью вам бы только девушек портить, а вы хныкаете!

— Мы не хныкаем, но, в конце концов, эти пять драг заказывали не мы! — выпалил шаровидный, и весь разрядился, и губы его повисли, как уши.

— Вы—обыватели по преимуществу. Ну, что ж, *polenti baculus!* Мне нужна сернокислотная промышленность, а вы партизаните на районном клубе. Я даю задание по коксо-бензолу, а вы мне о производстве суспензориов! Где чертежи аргуновских разведок? — и он загремел, не боясь, что услышит сосед: вся

конспирация его и состояла в том, что он действовал воткнутой.

Трудно было предположить подобный темперамент в этом оплывающем сахарном человеке; не было здесь ни патриотической елейности, ни истерических призывов к активному героизму; презрение фонтанировало из него обжигающим словесным фейерверком. Вероятно в приливе прозорливости видел он, как из пыльного этого кабинета фразы его впрыгивают в учебники истории для будущих классических гимназий; скучную политическую отвлеченность он умел вскинуть до степени латинского разящего образа. То была ясновидческая феерия или припадок старческого слабоумия, демагогическое шамачество или откровение в грозе и буре... И вот, как в сказке, еле попевая за судьбой и словом, плывут иностранные выпела в ленинградском восток революция, топчут грузные сапоги интервенции, шумят казацкие плавни на Дону, и колышется мужицкая Сибирь. Турбины вчерашней пятилетки выходят из строя, лопаются маховики, сбиваются с такта моторы. Эта стихийная забастовка машин переходит в стихийное помешательство промышленности. Интоксикация государственного организма повышается работой отраслевых центров, кровообращение между городом и деревней нарушается, и вот уже сорок тысяч человек стоят в очереди за сохлой кукурузной булкой. Все проявляют необычайную самодеятельность, все произносят слова, которых вчера еще вовсе не подозревали в себе, в каждом шевелится по Мак-Магону. Имена, обстоятельствами истории растертые в геологический ил, встают, смыкаются разрозненные пылинки, и вот под гром военных оркестров стройный тридцатилетний генерал в треуголке и ботфортах шествует от моря до моря... Должно быть, он видел и карту перед собой: иначе попросту нетрезвы были бы его вполне осмысленные жесты. Его импровизация однако вряд ли доступна была для серьезного обсуждения.

— ... мы отдадим здесь, вобьем клин сюда и сдвинем там. Мы окажем помощь восстаниям, купим лимитрофы, са-

мое лебесное воинство и наконец лу-ну... Луну, чорт возьми, и устроим на ней мировую бордель для православных воинов!

Иван Петрович сидел смиренно, как в парихмахерской, с замираньем сердца вслушиваясь в рокотанье хозяина; кажется, у него начиналась мигрень. В присутствии Петрыгина он вообще растеривал себя, а, заодно с волей, и свое ученое достоинство. Шаровидный вообще чувствовал себя так, точно Петр Евграфович просунул ему руку в живот и чугуной рукою тискает ему желудок. Арсений шурил глаза: пожалуй, так не разговаривал даже Мицин, да и дядю он заставлял впервые с этими словами на устах. Разгром был полный, оставалось праздновать победу.

— Вы... вы безумный старик! — шептал Иван Петрович, трусливо вытирая петрыгинские брызги с подбородка, и голова его тряслась; было ему так, точно на прыгающем лафете везли его куда-то в грохочущую, полную жерновов глубиню. — Но кто тот, под кого вы наряжены...? но ваша программа?

— Ненависть! — в ураганной тишине шепнул тот, и в эту минуту было в нем даже от самого Питта.

В полном безмолвии Петр Евграфович поднялся и пошел к этажерке; и Цицерон не уставал так после словесных погромов Карфагена. В узком зеркале, поставленном в простенок, Иван Петрович, сгорбясь, наблюдал, как небрежно, почти вслепую хозяин заводил аристон. Потом он чажал сбоку рычажок, и тонкие зубцы внутри ящика заиграли отрывистыми, мелодичными звуками. Сразу стало так, точно в прошлое отворилась замурованная дверь. Старая, спокойная цивилизация с наивными идеями и неповоротливой техникой вступала в это затхлое пространство, замкнутое, как магический круг. В памяти странное происходили сдвиги и расщепленья, а вещи выглядели новее. С плавным шопотком проходили нарядные пары котильона, шуршали жесткие юбки с турнюрами и платья со смешными буфами на рукавах; застыло гнулись мужчины в складчатых брюках и усах, требовавших дорогих фиксатуаров и

ежедневного присмотра; механически хотогали перетянутые жеманницы с проволочными валиками в волосах. Петр Евграфович молодец под это треньканье; сахару в моче не оставалось и в помине; юностный, как озимь, пушок покрывал одряблевшие щеки, но глаза оставались грустны и недвижны. Он сидел скромнее всех, глядя в расшитый экран у каминна; вещь была итальянской работы, она изображала охоту на кабанов, — ликуя и смеясь, охотники били зверя, изогнутого, как пружина. Вдруг он обернулся и сказал тихо:

— Кушайте яблоки, господа.

Но Ивана Петровича среди гостей уже не было, и странно, никто не заметил его панического исчезновения. По лестнице он спустился бегом. Адвокатская кожица, возвращавшаяся с прогулку, сочувственно посторонились: гражданин мог спускаться от дантиста, который, кроме исключительной физической силы, славился зверством врачебных приемов. С тем же лицом, распуговывая прохожих, Иван Петрович вернулся домой. Действие петрыгинских чар проходило, но еще порядком потрясывало от одного воспоминанья. На всем — от крыш до островерхих уличных фонарей — мерещились ему надетые разных размеров треуголки. Теперь для успокоения требовалось ему только услышать голос Скутаревского; этот не умел фальшивить, и самый тон его разяснил бы несчастное положение, в котором очутился Иван Петрович. Не раздеваясь, он кинулся к телефону; номер был занят. Сердце до мозолей колотилось в ребра. Весь осунувшись, Иван Петрович почти в истерике колотил по рычагу, звонил еще и еще, все с прежней удачей. Потом, обессилев, он сутуло сидел под аппаратом, выжидая, пока отцепится от Скутаревского не в меру разговорчивый абонент. Позже, когда его соединили, он услышал голос Черимова, и уже одно это служило недобрым предзнаменованием.

— Сергеандрейча! — в одно слово прошептал Иван Петрович, губами прижимаясь к эбониту, и, когда того не оказалось дома, прибавил, отрезвев и с

звонком, наспех придуманным для пущей убедительности: — Это вы, Николай Семенович? Добрый вечер... Передайте ему, что я достал наконец скерцо для четырех фаготов. И если только вечер у него свободен...

— Ладно! — неопределенно коротко сказал Черимов и прекратил разговор, а Иван Петрович долго еще прислушивался к шелесту в трубке.

Все рушилось. Там, в секретном свидании заочно решалась его участь; Скутаревский прятался от человека, с которым годы работал вместе. Не оставалось сомнений, Черимов нарочно поехал к нему на квартиру, потому что не в институте же, не близ чужих ушей, было вести подобный разговор. Где-то на особой страничке черимовского блокнота, куда наверно в порядке самокритики заносит свои партийные грехи, жирным карандашом записано было: разяснить Ивана Петровича. Ну, да, так возникают пухлые казенные дела, так пишутся доносные бумаги. И вдруг представлялось иное: поверх домов, пронзительно скрипя в рессорах, качаясь на незримых глазу ухабах, мчитса за ним черная продолговатая карета... И тут со страху окончательно мутилось у Ивана Петровича в глазах. Но эти неопикуемые пантомимы трусости кончались у него обычно протрезвением. Улик явных не было, значит, ничего существенного не грозило; самое большое — могли выгнать со службы с волчьим билетом; и уж на крайний случай оставалась спасительная возможность донести самому ровно за сутки до того, как все откроется. История с пропавшей грамотой, как ее ни интегрируй, ничем не указывала на его причастность. Опять же, умный вор спустился бы этажом ниже, где помещались лаборатории особого назначения. Следовало держаться до царственности неприступно, — вот как следовало держаться! Случись на месте Геродова сам Петрыгин, он не постеснялся бы и в суд подать, ибо вовсе не такими методами предписывалось вести работу среди ученых.

А дело обстояло иначе. Расписываясь накануне в ведомости по зарплате, Че-

римов увидел там и расписку Геродова. Буква со славянским, витиеватым росчерком показалась ему знакомой. Пошарив в жилетном кармане, он выудил оттуда истлевшую окончательно бумажку; на уцелевшем клочке та же самая буква встречалась четыре раза под ряд. То была анонимная записка о Бебеле, которую он получил в памятный день своего появления в институте. И когда в довершение всему аноним оказался вором да еще сплетником, тут-то у него и заудело в руке.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

... а дело обстояло проще. Ученик решился вмешаться наконец в судьбу учителя, который теперь, очумев от эмоций, мог наделать непоправимых глупостей. Правда, он несколько запоздал, и, задержись Иван Петрович у Петрыгина на полчаса, произошла бы смешнейшая, просто водевильная встреча, которая в один мах рассеяла бы все геродовские страхи. Черимов приехал без предупреждения; в случае неудачи представлялась возможность взглянуть краем глаза на самую виновницу предстоящих бед. Еще задолго до встречи он испытывал враждебность к ней, потому что, хоть и питал отвращение к сплетне, на основании ее он только и мог составить мнение свое о таинственной девице. Он увидел ее сразу, едва вошел. Низко склонившись под лампой, она правила гранки.

— Меня зовут Черимов, — грубовато сказал гость. — Сергея Андреича нет дома? Ничего, я подожду.

— Хорошо, тогда сидите.

— А ваше разрешение требуется? — с некоторой уловкой пошутил он, намекая на нечто, им обоим известное.

Она удивилась:

— Ну, тогда постойте... или ходите, все равно.

— Я предпочту посидеть, товарищ... товарищ...?

— Зовите меня просто Женя, если понадобится. — Она рассеянно взмахнула на него ресницами, и было ему — точно птицы взлетели на плечи ему

синей стайкой: «Эге, — подумал Черимов, — начинается!»

Девушка молчала, работа была спешная; девушка торопилась. Ничем не соответствовала она тому образу совратительницы, который он составил себе по романам дореволюционного образца. У тех бросалась в глаза явная, так сказать, товарная ценность; их неукротимый запах приманивал с достаточного расстояния; походкой балованной юбки, с перехватом ~~в талии~~, как гитара, она проходила среди усатых и вполне семейных мужчин, и эти усачи, владельцы фабрик, железных дорог и поместий, бросались в самоубийства, разоренья и дуэли... Девушка, сидевшая за столом, напоминала переряженного мальчишку; совсем недевическая угловатость сквозила в каждом ее движении. Стриженные кудряшки падали до самой бумаги, закрывая лицо. Черимов видел лишь острое, не вполне сформировавшееся плечо да еще старательные ученические пальцы с обгрызанными ноготками. Разница эта дразнила его и сбивала с толку. Необходимо было со всей строгостью разоблачить эту неискусную маску инфантильности, хотя бы это влекло ссору с самим Скутаревским.

— Вы правите гранки. Значит, вы знаете предмет?

— Я сверяю по рукописи.

— Отлично, а вот зарплату вы получаете или просто так...? — Подняв голову, она морщила переносье и не понимала; он смутился: — Я объясню. Я предан Сергею Андреичу и еще не решил своего отношения к вашему появлению в его жизни.

— А зачем вам это нужно?

— Чем торговал ваш отец? — вопросом на вопрос, со следовательской прямотой настиг он ее.

Действительно, она казалась сбитой с толку:

— Все-таки не понимаю, — и рассеянно перебирала гранки. — Правда, он продал шкаф, когда отобрали лишнюю комнату... — Вдруг она рассмеялась, точно насмешливый бубенчик забился в ее горле, а Черимов обратил внимание и на то, какая настороженная тишина отвечала ей из-за двери, с половины

Анны Евграфовны. — Вы чудак! Сергей Андреич рассказывал, как вы пришли к нему в первый раз. Не обижайтесь, он любит чудакон. — Пожалуй, она уловила что-то из черимовского намека. — Кстати, вы всех секретарей допрашиваете таким образом?

Но Черимов на ответную уловку не поддавался: тот же Скутаревский отказался ~~наотрез~~, когда Черимов предлагал ему в секретаря ~~испанскую~~ работницу, активного участника ~~девятисот~~ пятого года и гражданской войны. И во многом этот молодой человек был прав, хотя и не представлял еще полностью, в какие смешные формы уложилась здесь жизнь... Фронтальная линия не стиралась; подобно снайперу у амбразур, жена караулила каждое движение на вражеской территории. И там, где понять не хватало ума, приходила на помощь изобретательная мелочная ревность. Вещественной плотностью мрак навис над этой нескладной семьей: десятки самых сокрушительных догадок представлялось жене накроить из него. В ее новом уничижительном бездельи они служили ей злыми, линючими игрушками. Сперва она кинулась к сыну, но детям всегда тягостна и непонятна огромная, страшная, как библейский ковчег, кровать родителей. Арсений сторонился интимных подозрений матери; вдобавок, период этот совпал для него со временем острого душевного разлада. И тогда, чтоб узнать перед войной свои резервы, Анна Евграфовна пошла продавать часть своей коллекции. Она понесла большое, золоченой глины мавританское блюдо; такие появились, когда христианская реставрация запретила испанским маврам употребление столового золота... В магазине, полном хрупкой и вычурной выдумки, стыдясь и волнуясь, она долго развертывала проношенную простыню, в которой была завернута вещь. Приказчик ждал, отвернув глаза в сторону: он понимал философские причины суетливого и совершенно независимого от людской воли блуждания вещей.

— Сколько гражданка хочет за эту неудобную разрисованную тарелку? — спросил он потом с равнодушием, которое ~~цепенило~~.

Второпях она назвала ему сумму, преувеличенную в сравнении с той, которую задумала. Впрочем, она не смутилась: вещь была редка, а с ней всегда надо запрашивать. Приказчик сдержал улыбку; инструкция предписывала максимальную вежливость с клиентами. Он взял небольшой, килограммов на семь, бюст Наполеона, что валялся на полу, вытер ему лицо тряпочкой, как бы помогая высморкаться, поставил его ~~вспеша~~ на место и ответил только после ~~всей этой денежной~~ обидной процедуры. Он посоветовал хранить ~~на~~ дому это блюдо, которое, будучи парижской подделкой, являлось, повидимому, бесценной семейной реликвией. «Вы положите на него фруктов, когда придут гости, — это будет самое недорогое и изысканное украшение стола!» Никакое оскорбление не могло сравниться в силе с этим снисходительным сочувствием. Но первая неудача не сразила ее; слишком трудно было примириться с мыслью, что целая жизнь, со всеми заботами, усилиями и беготней, шла на смарку. В другой раз уже в сумке, с какими ходят на базар за овощами, она понесла две итальянских майолики; они были тяжелы, до магазина их тащила на себе домашняя работница. Труды ее пропали зря; приказчик подтвердил, что вещи — почти шедевры прекрасной флорентийской, но уже позднейшей, к сожалению, подделки, и опять было бы гораздо менее обидно, если бы он попросту ответил ей в глаза: «Идите вон, вы только безвкусная дура, мадам!» Но Анна Евграфовна не сдавалась; деньги у нее еще имелись, ~~и~~ продавать она шла вовсе не потому, что не хотела жить на средства сына; с тем большей настойчивостью, хоть и таяли в ней запасы мужества, она продолжала идти на приступ. Серебряная допетровская панатия, с сертификатом о принадлежности одному из Филаретов, оказалась просто медальоном работы современного вологодского мастера по черни; птичья фамилия этого искусника, названная приказчиком, вызывала в воображении некоего тощего человечка с острым носиком и вороватым хохолком ~~б~~

родки. В бесценном Броуре, которым Анна Евграфовна собиралась потрясти музейных экспертов, отыскивали манеру одного ловкого жулика, который закапчивал свою художественную деятельность на рыбных промыслах в Соловках. Потом удары посыпались чаще: персидская, царственная по краскам миниатюра объявилась раскрашенной фотографией, врезанной в слоновую кость, а редчайшая, династии Мингов, китайская курильница—просто берлинской пепельницей. Как в старинной легенде, золотые червонцы на глазах у нее превращались в гадкие, вонючие черепки. Линяла бронза, кость оказывалась деревом, фарфор—лакированной терракотой. Мадам уходила вся в пятнах, близоруко натываясь на посетителей, иногда грозясь жаловаться, а ее уже признали в магазинах и ждали как развлечения, ибо поистине явление это становилось необыкновенным. Здесь, у прилавков, она познакомилась со знаменитыми историями поддельных румынских медалей, чешского эпоса, петровского стекла и наконец с сатанинским именем Леона Хохмана, одесского ювелира и автора прославленной скифской тиары. Тот же самый приказчик, сжался однажды, предложил ей продать целиком ее смешную коллекцию фальшивок в какой-нибудь провинциальный музей... Катастрофу следовало сравнивать только с горным обвалом. Минутами Анне Евграфовне как будто даже становилось стыдно: Скутаревский работал, как лошадь, втаскивая на под'ем неуклюжую семейную колымагу, и целая куча прохвостов сидела в ней, кормясь от неумных щедрот его жены. В действительности каждая вещь окутана была для нее драгоценными эмоциями, но магазин платил деньги не за эмоции, а за вещь. Как в бреду, проходили перед ней образы—Курцмана, неутомимого антикварного ловкача всех времен, потом седоватого, черноглазого Кара-Бушуева, поставщика великих князей и всесветного авантюриста, который, слегка попользовавшись, передал ее дальше—как надоевшую любовницу, как поношенные брюки, как окурок—Штруфу. Теперь самое имя Осипа Бениславича вызывало в ней острые приступы мигрени. И уже

стучался в дверь фининспектор, чтобы взять свое.

Была удивительная быстрота, с какой Анна Евграфовна приспособилась к новой роли; по утрам она привычно уходила из дому в обход знакомых магазинов, зная все наперед. Она блуждала до изнурения, нагруженная вещами, — по ночам бессонно билось сердце, и усиленные дозы веронала не доставляли ей успокоения. Единственный сладостный смысл этого самоуязвления представлялся лишь в том, что, унижаясь так, она унижала жену Скутаревского. Еще быстрее сбежала с нее чопорная, хваленая ее интеллигентность. По ночам, открыв свою дверь и не поднимаясь с кровати, она с бьющимся до боли сердцем ловила ночные шорохи. Старые двери, которые не смазывались никогда, эти сторожевые деревянные псы семейного очага, неминуемо взрвели бы, если бы Сергей Андреич по-воровски, крадучись, отправился бы в ночную охоту на л ю б о в ь. Только это раз'яснило бы ей, вдова она уже или нет, но ничто, ни писк, ни стон, не нарушало ровного дыхания ночи. Утомясь от книг, которыми даже в чрезвычайном изобилии снабжал ее Скутаревский, Женя спала без всяких сновидений. Она готовилась в вуз, и конечно нигде она не успела бы сделать столько за такой короткий срок; усиленные занятия служили единственным оправданием ее нового положения. Вовсе не спроста Сергей Андреич рассказывал ей о Черимове, которого когда-то приютил; о поспешном бегстве его он умалчивал. Ему хотелось создать видимость общности для редкостного случая, каким являлось вселение Жени в семью. Впрочем, живя в одной квартире, они зачастую не виделись неделями; встречи их происходили главным образом вне дома и сперва—в общественной столовой, куда сходились в конце дня, — время установилось само собою, без сговора. Здесь не было опасений встретиться с знакомыми; обеспеченные люди его круга даже и случайно не заглядывали сюда. Вряд ли это походило на свиданья. Пыльная пальма, на войлочной шее которой висело откровенное приглашение платить вперед, свешивала лакированные

космы — украшение несвоевременной этой дружбы! Пределы их бесед суживала сама обстановка; за этой торопливой едой, составленной из серого хлеба и сурового стандартного бульона, недоступны были никакие лирические отступленья.

Иногда, впрочем, им давали компот.

— Это бунтует старичье, — сказала она по поводу одного шумного судебного процесса, которым долго питались газеты.

— Я тоже старик! — усмехался Скутаревский, вылавливая сладковатые тряпочки урюка. — Вы еще молоды, ноги ваши, как молодые березки, а руки... — должно быть, возраст давал ему право говорить это, —...а руки, как трубы, по которым струится нежность.

Смутясь, она грызла скользкую сладкую косточку.

— Но о вас столько говорят, вас хвалит даже молодежь! «Требовательная, щедрая молодежь!» — прозвучало в ее голосе.

— Ну... стариков она хвалит, лишь когда они безопасны для нее!

Конечно, он ждал возражений, горячих и убедительных, а Женя не знала, что именно так принято в его кругу. И так уж установилось, беседу вела она, а Скутаревский, стремясь изучить ее, не перебивал и полусловом. Привыкнув к нему, она не стеснялась высказываться даже там, где требовались знания, которых она не имела. Зато всегда как бы свежим ветром дуло от нее; он сдувал слежавшуюся пыль с привычных понятий предшествующего поколения, и тогда в особенности становились видны раковинки времени на них, трещинки и червоточинки. Всякий раз это звучало для него по-иному. Она говорила: «Сперва младенец, потом старик; это глупо организовано, следовало наоборот. Я представляю себе так и почти вижу: вход в пещеру, и все следы близ нее ведут в одну лишь сторону. Дело начинается с костей, с россыпи, с оскорбительного и смертного тлена. Что-то происходит, я не знаю — что, но вот старики выходят из своего подземелья поодиночке или

же настолько крепко слежавшимися парами, что на каждом еще видны отпечатки его супруга. — А он понял так, что это она про Анну Евграфовну. — В их морщинах еще лежит время, земля и ночь. Они начинают с великого знания, свершений и мудрости. Они расстанутся именно потому, что любят, и они молодеют тысячекратно в награду за все несделанное. И так, ликуя и смеясь, они постепенно растворяются в голубое ничто». Он молчал, ему была любопытна эта недодуманная до конца юношья фантазия. Она говорила: «Послушайте, Сергей Андреич, я прочла наконец! Илида — это очень скучно. Никто не прочел ее два раза, но почему об этом стыдно говорить?!» А он переводил ее слишком искреннее признание на тяжеловесный язык собственных научных рефлексов: «Что ж, вот умерла Ньютонова механика... угасли, отвердели достижения Лейбница и Декарта. Омрамореев все, и самый мрамор источится зеленым ветром новых весен. Храните жизни!» И хотя старая культура зачастую на его глазах становилась знаменем всяческой реакции, он взирал подозрительно и недоверчиво на ростки новой, для которой, в сущности, уже освобождалось место.

Изредка совсем другие ветерки выбегали из этого ясного, ни морщинкой не прочерченного лба:

— А вы знаете, Сергей Андреич, когда происходил первый съезд партии?

— Видите ли, у меня крайне странная голова: цифры держатся, а вот даты... И уже самому было неловко, что осведомлен хуже нее о таком почтенном дне.

— Я буду, взамен ваших, давать вам уроки политграмоты... хотите?

Он обеспокоенно двигался:

— Прекрасно... даже непременно. И мы начнем... вот, у меня послезавтра начинается совещание, а потом сессия академии... вот, после сессии и начнем, идет? Да вы просто из поколения французских просветителей! Впрочем, теперь, это в моде: я на театре видал — пионерка просвещает профессора-зубра. И

все плачут, публика, директор и даже кассир внизу трещинцами утирает слезы. Поистине ужасен советский сентимент!

С удивлением, которое перерастало в отчаянье, он замечал: привязанность к этому бездомному существу крепла в чувство, которое он всегда поносил и от которого отрекся бы публично, на площади; у него нашлось бы меньше средствами самой математики доказать всю неосновательность этих обвинений: впервые она солгала бы, эта правдивая и в общем неприятная сзруха. С тщательностью, которая определяла его старорежимную совестливость, он все глубже прятал в себя, как в землю, это робкое зерно. Тем больше становилось шансов, что когда-нибудь оно вырастет в дерево, тяжелое от песен, птиц и ветвей: была еще плодородна скутаревская земля. Существо его раздвоилось; никто, пожалуй, не поносил себя так за эту запоздалую страсть. «Это—маразм!—кричала одна половина, и свистящим эхом отзвывалась другая: — ... или эпос!» Как человек с нечистой совестью, он краснел и злился в ее присутствии, а она робела от его внезапной грубости, которую по неопытности не понимала. Но, кажется, он молодец; кажется, он начинал верить в обратимость процесса, о котором шутило фантазировала Женья. Горя его, этот окостенелый горб, сглаживалась; он забывал о ней; его душевное существо выпрямлялось. И прежде всего это сказывалось на работе: сборка аппарата подвигалась к концу, и в ближайшем месяце следовало ждать первой пробы.

Всех этих обстоятельств не знал конечно Черимов; и уж во всяком случае об этой девушке знал гораздо меньше Скутаревского, который хоть пространные гипотезы составлял в изобилии на ее счет. Пребывание Жени в семье Скутаревского стоило размышлений, а Черимов, как и следовало ожидать, относился порицательно ко всяким психологическим выкладкам. Он помолчал, потом взялся за трубку телефона:

— Мне надо позвонить в одно место, — нерешительно объявил он.

— Моего разрешения не требуется, — засмеялась Женья.

Он нахмурился:

— Но вы же работаете!

— Да... но вы же не уверены, получаю я за это или просто так..!

Он отвернулся.

Номер телефона принадлежал одному его приятелю, капитану хоккейной команды. Неоднократные победы связывали их подобием особой дружбы, но с тою существенной разницей, что время не действовало на нее никак. Там, в команде, Черимов и знали не иным, кроме как в белой фуфайке и с клюшкой, сдержанного и, за счет сдержанности своей, меткого парня, всегда послушного команде капитана. Наверно к телефону подошел он сам; Черимов называл его по фамилии, прибавляя официальную частицу товарищ. Разговор втянулся; повидимому, в этот именно час Иван Петрович безуспешно добивался Скутаревского. Черимов объяснял, почему за последние месяцы он ни разу не появился на тренировочные занятия; таким образом, он не мог участвовать в розыгрыше междугородного первенства и, в крайнем случае, просил исключить его из команды совсем. Кажется, это была размовка, — Женья спросила:

— Почему вы бросаете команду? — Взгляд ее выразил одновременно и упрек, и сочувствие.

— Занят, мне нехватает суток. Кроме того, у меня образовалась своя, очень спешная работа.—То было первое упоминание о его собственном изобретении.

Она помолчала.

— Я тоже. Я хотела взяться за лыжи, — вдруг доверилась она. — Но мне нельзя.

— Есть и женские команды,—настойчиво прищуриваясь, возразил Черимов.

— У меня... Мы грузили ящики на субботнике, и я сломала ключицу. Потрогайте... вот тут узелок!—И телом потянулась к нему, а он не сдвинулся с места, подозревая и в этом неловкий женский маневр. «Читал, читал, бросьте эти штучки!» — хотелось сказать ему. Поверить в сломанную ключицу озна-

чало поверить и в субботник, то-есть отказать сразу от удобной, всераз'ясняющей гипотезы. И, может быть, он протянул бы руку, недоверчивую руку Фомы, если бы в эту минуту не вернулся Скутаревский... Он вступил, высокий, чуть сутулясь от своего роста, шумный, и тотчас же ясность и как бы примирение наступили среди молодых; он казался веселым и довольным, — часовой разговор с Петрыгиным никак не повлиял на его самочувствие. На улице, вдобавок, у него произошла встреча, которую сам он почитал почти чудесной: по сыпучему переулочному снегу тащился воз, полный ящиков; прошлогодние яблоки перевозили со склада. Среди переулочной тишины, в оттепелном воздухе текла волнительная река пенистого яблочного аромата. И, так уж совпало, было возу со Скутаревским по пути. От самого петрыгинского под'езда он шел следом посреди обширных яблоневых садов, тронутых слегка рыжеватинкой осени; негибкие уже ветви тяжело клонились под тяжестью спелых и нежных плодов. А грузчик шел рядом, счастливый хранитель московских гесперид, и напевал о своем. И все это — и минуты, и ощущение! — было неповторимо и недоступно никому другому, как слово, сказанное наедине с собой.

Самое свидание с Петром Евграфовичем, происшедшее почти тотчас же по уходе Ивана Петровича и остальных петрыгинских гостей, не могло конечно содержать сколько-нибудь увеселительных моментов. Утром Петрыгин, со слов Штруфа, сообщил Скутаревскому, в институт, что квартира с окнами в сад все еще стояла непроданной, хотя покупатели, якобы, осаждали его день и ночь; ванну за это время успели починить, а Осип Бениславич, хоть и почитал себя обиженным, соглашался уступить тысячу с общей суммы; он шел навстречу семейным затруднениям знаменитого ученого. «Свой уголок ты убереешь цветами и пригласишь дружишек на коньяк!» — намекнул Петр Евграфович: уже хромя всеми своими колесами, он продолжал поддерживать уставившуюся репутацию всемирного вы-

пивохи. Мимоходом, возвращаясь из института, Сергей Андреич зашел за деньгами, которые уже давно ждали его. подымаясь по лестнице, он мысленно порешил даже не снимать пальто. Но Петр Евграфович, дабы не уронить славы своего гостеприимства, втащил его в комнаты и безуспешно потчевал чаем, — предыдущие посетители не успели вылизать всего меда.

— Я, батенька, не чумной, ты меня не бойся, — говорил он, вводя его под руку туда, поближе к тестеву портрету. — У меня тело чистое, даже без пупырышков. И потом, насколько я понимаю в анатомии, я не девушка... так что и обольщать тебя не стану.

— Э... а лису-то я как промазал! — наобум сказал Скутаревский, ибо не знал, с чего начать.

— Ничего, пускай пока ходит: через недельку я до нее доберусь! — успокоил Петр Евграфович.

Все было тихо и чисто; окурки вымели и даже комнату успели проветрить; ничто не напоминало о бурном шквале бугта, страха и угроз, который прокатился здесь совсем недавно. Все улеглось, и на лакированную крышку аристана успел осесть тонкий налет пыли. Скутаревский взволнованно прошелся по комнате, и, едва увидел эту старомодную музыкальную игрушку, разом, расщепленное на тысячу мелких ручейков, вспыхнуло в нем воспоминанье. Уж оно помнил, какая зловердная, жеманная усмешка записана там, на острых зубцах и пронзительных иголках машины. Он помнил с юношеской ясностью все и, кроме прочего, помнил: студент с продранными локтями сидит в коляске с молодой женой, стыдясь нищего, позорного своего торжества. «Итак, Серж, запомни этот час на всю жизнь: мы от'езжаем в будущее!» — сказала жена по-французски с носовым понамарским прононсом, от которого еще блевотнее стало во сто крат. Стояла и без того засушливая пора, да еще этот пес, которого он насилу извел впоследствии, почти обжигал колени. Сергей Андреич сидел молча, втянув голову в плечи и потный от непередаваемых переживаний. В его

положении лучше всего было не оглядываться... О, как он ненавидел теперь это будущее, которое стало прошлым!.. и тем сильнее все существо его сжалось к предстоящему прыжку. Ему хотелось верить, что гора его остается позади, а с нею — напрасное и долголетнее клубенье силы и хмельная, погибая пена славы, поглотившая его молодость.

... и еще, если всматриваться зорче, видел он тонкую опушку березового леса и насыпь, убегающую в тусклую, робкую еще весень. Видел еще редкую малокровную травку на нефтяной земле между шпал, видел смыкающуюся в математической неизвестности пару рельсов, уже дрожавших от приближающегося поезда. И на них, лицом вниз, видел он Анну Евграфовну с черным, как бы обуглившимся лицом: она ждала. Образ этот, сложившийся из бытовых, книжных и всяких прочих наслоений, и был центром его интеллигентского страха; этот вполне выдуманный образ цепенил ему мысль и служил шлагбаумом на пути к будущему; он повторялся с каждым днем, обогащаясь новыми подробностями. Так однажды он узнал эту травку между подгнивающих шпал; это был кочеток, — его треугольные семенные коробочки служили неотъемлемой деталью детства: возле отцовской скорняжной, между крыльцом и заборчиком, был один мегр глухого пространства, густо заросший этой беззатейной живностью, — там прятались, играя в жуликов, ребяташки... Несколько позже, тотчас после петрыгинского звонка, он рассмотрел еще одну подробность: в руке Анны Евграфовны, зажатое последним рефлексивным движеньем, поблескивало ее пенсне, которое прежде всего должно было разбиться в возрастающем гуле колес... Но стоило только вздохнуть глубже, во всю грудь, и дурманящий этот мираж прекращался. Он не только пугал, он и возмущал его, как жесткий, ростовщический процент к его традициям, привычкам и культуре.

Потом в выдвинутом ящике стола он увидел самые деньги. Они лежали аккуратной стопкой, перевязанные ниточками, захватанные сальными пальцами

нэпа, банковские пачки, дряблые, тусклые лепестки, из которых он собирался свить свой любовный шатер.

— Это они? — спросил Сергей Андреич. — Грязные какие!

— Да, деньги! Портфеля ты не захватил с собой? Придется раскласть по карманам, и сразу станешь толстый, как я. Уж тогда тебя и пулей не прошибешь!

— Можно забирать..?

— Разумеется, — деловито подтвердил Петрыгин. — Но ты хотел расписку написать, хотя, в сущности, это не обязательно.

— Нет, зачем же... давай бумагу! — сдвигая в край стола чайную посуду, перебил Скутаревский, и тотчас же Петрыгин подал ему листок глянцевиной прочной бумаги и автоматическое перо.

Вздываясь вверх, побежали крупные, быстрые строки: «Я, Сергей Скутаревский...» Он только это и написал, а потом остановился:

— На какую сумму писать?

— Как условились. Тридцать минус одна, но зато, полагаю, тебе следовало бы взять для Анны, ну, тысячи три... на первое время! Потом я буду давать ей периодически. Всего пока тридцать две тысячи. Ты хочешь пересчитать?

— Нет, это неважно... — И писал дальше, что вот он, Скутаревский, берет тридцать две тысячи с обязательством...

Вряд ли объяснимое при дневном свете испытал он ощущение в ту минуту. Будто, видимый изовсюду, сам он бежит по бескрайному снежному полю, и за ним, спрятанный в укромном кустарничке, следит один, только один, немигающий, без блеска черный глазок. Беспокойство овладело им и уже вовсе непонятное томление; а объяснялось это, может быть, тем, что в руке не оставалось чернил. перо раздражающе царапало бумагу. И пока Петр Евграфович торпливо набирал в нее чернил, у Сергея Андреича сам собою придумался новый вопрос:

— Кстати, я так и не узнал, чьи это деньги?

— Ты берешь их лично у меня, потому что они доверены были мне.

— Но если с тобой случится... я не знаю что. Если, к примеру, тебя счавкает автобус... Я же не могу согласиться на уплату пред'явителю.

— Но ведь ты и пишешь, что уплата производится не ранее полутора лет,— брюзгливо возразил Петрыгин.

— Это безразлично. Пред'явитель может оказаться шелкопером, которого я и на порог к себе не допущу.

Петрыгин, действительно, сердился, как всякий, впрочем, охотник, которого перед самым выстрелом отвлекает постороннее, недостойное внимания явление.

— Пустяки, родной! Переезжай со своей красоткой, наслаждайся и в счастье свое не подмешивай сомнений: и без того оно горькое! Мне верится, что после переезда ты даже начнешь писать сонеты... то-то посмеемся. — Но тот все еще медлил с распиской, и Петр Евграфович понял, что необходимо разъясниться полнее. — Деньги принадлежат вот ему! — И он небрежно ткнул в портрет тестя.—Поэтому тебе придется возвращать монеты только ему, а вернется он, по моим расчетам...

Портрет казался много живее, чем в тот последний раз, когда Скутаревский с женой сидел в гостях у Петрыгина. В его пожухлые, было, краски воротилась прежняя жизненная яркость, а в водянистые глаза—надежда, которая тогда почти угасла. Вопреки словам Петрыгина, нет, утром не звонил ему Штруф. Осип Бениславич лично забежал к нему, как было это условлено еще за неделю. Кроме прочих явных и секретных специальностей, он занимался также реставрацией картин, и Петр Евграфович нанял его промыть загрязненный лак на тестевом портрете. В тот именно час, когда распластанный тесть лежал на столе и по нему ерзала смоченная в скипидарной эмульсии губка, принесли хозяйину телеграмму. Она кратко сообщала, что старик умер в Медоне; старик—это и был тесть. Повидимому, в одно и то же время в Москве — посвистывающий Штруф и под Парижем — плачущие родственники обмывали покойника. Была поэтому отточенная и знаменательная ложь в словах Петрыгина, когда он

улавливался о возвращении долга мертвецу.

И он промахнулся, утомясь, должно быть, на усмирении Ивана Петровича. Он сказал это зря, он стрелял слишком рано, он напрасно понадеялся на твердость своей одряхлевшей руки: красный зверь уходил. Следовало открыться много позже, уже после переезда Скутаревского на новый парадиз, когда он испил бы хоть глоток от сладостей уединенья. Теперь оставалась единственная возможность всучить эти деньги зятю, признавшись, что промышленника Жистарева уже не существует на свете. Но тогда пропал бедно весь заряд золотой этой дробинки, весь предварительный умысел, хитроумный, как охота с флажками... Тут Сергей Андреич поднял взгляд и понял, что черный испытующий глазок, чуть расплюснутый веком, принадлежит именно Петру Евграфовичу. Лицо шурина было ассиметрично, одновременно лицо пройдохи и мудреца, вполне познавшего механику мира и презревшего его за то.

— Если тебя затрудняет расписка, можно обойтись и без нее... — дрогнувшим голосом побасил он; басил — значит все еще сердился. — Мне достаточно твоего слова...

— Нет, ты погоди, — молвил рассудительно Сергей Андреич, откладывая в сторону перо. — Кажется, я раздумал брать эти деньги... кажется!

— Как, ты отказываешься от квартиры? — вяло спросил охотник, который стоял на номере. Он дышал тяжело, неравномерно; вредное ему волнение было теперь бесполезно; он понимал это, и ему становилось скучно.

— Нет... но я, знаешь ли, обойдусь.

И, намелко разорвав записку, вспомнил очень своевременно, что Женя давно уже ждет его дома. Поспешность, с которой он стал прощаться, показалась Петрыгину просто неприличной:

— Оставайся хоть чай-то пить. Не берешь денег—ну, и чорт с тобой: в другом месте достанешь. А такого меду... Эх, оба ведь мы старики, а о ревматизмах-то еще и не поговорили!

— Нет уж... там у меня, дома, делегация еще ждет, забыл совсем!

Он лгал, не заботясь о правдоподобности: лишь бы выбраться из болота; он лгал, — он уже перешагнул, зажмурясь, через то красное и спутанное, останки Анны Евграфовны, что громоздились на воображаемых рельсах... Уходя, он еще раз оглянулся, но это уже в последний раз. Комната была квадратна; из-за неприятной глазу и непродуманной расстановки вещей она казалась нежилой. Тусклый свет еле пробивался сквозь обгорелый лохмоток матерчатой люстры. Именно в таких помещениях происходят кровавые и загадочные убийства, на долгий срок пленяющие обывательское воображение. Мертвый, корректный человек внушительно смотрел вслед ему из рамы, и у Скутаревского надолго оставалось клейкое впечатление, точно спина его измазана известкой. Вот тогда-то, на его удачу, точно дождичком sprysнуло, и подвернулись сани, нагруженные яблочным ароматом.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

... Женя скоро ушла. И как только остались одни, Черимов осторожно пошел на беседу, которая вдруг, по наитию пришла ему в разум. Долго и сперва беспорядочно он выюнил по околицам, начал издаലെка — о той же сибирской торфянке, но с тем различием, что секреты были, хоть и без его помощи, уже разгаданы. Пожалуй даже, секрет разгадался сам собою; крайние, почти штурмовые формы принимала в стране классовая борьба. Правда, многое объяснялось пока или дурачеством, или анекдотическим головоплетством, которое конечно также входило в организованный план интоксикации народного хозяйства. Черимов выразился приблизительно так:

— Я уловил наконец то, на что вы намекали тогда Кунаеву, Сергей Андреевич. Я выверил все и нашел эту дырку, куда частично утекала наша энергия и деньги. — Слово «я» прозвучало здесь множественно. — Все расчеты и варианты в сметном и материальном

планах были составлены теоретически правильно, но у меня имеется целая вереница особых фактов, которые я могу представить в любое время. А если принять во внимание, что Брюхе дал некоторые указания...—и стал закуривать, и спички у него от неумелости не зажигались.

— Этими вещами не шутят, товарищ! — строго вставил Скутаревский, и сам удивился, как искренно это у него вышло.

— ... дал указания на Ивана Петровича, который является частым гостем Петрыгина.

— ... и вашим!—вставил еще Скутаревский; он ничего еще не знал о происшедшем мордобое.

Возможно, Черимов и впрямь не слышал его реплик:

— Арсений же доводится племянником инженеру Петрыгину и, больше того, по службе подчинен ему.

— А я ему довожусть отцом. А вы мне приятелю, как преждевременно толкуют некоторые. А Матвей Никеич дядькой вам... Этак вокруг земного шара об'ехать можно в поисках злодея, молодой человек!

— Арсения видели в театре с одним дипломатическим, так сказать, человеком.

Скутаревский вспыхнул:

— Вы... вы сами следили за ним, товарищ заместитель мой, или поручали третьему лицу?

Как бы утерев свою дерзость, Черимов угрюмо разглядывал рыжие, всегда рыжие ботинки Скутаревского. Глупо было рассчитывать на интимную близость с этим тяжеловесным чужаком. И не то, чтоб обида, а просто стыдно ему стало за прежнюю искренность, которая родилась в его неизвращенном сердце. Потом, прищурясь, он перевел глаза в окно, но скулы его дрожали.

— Я ничего не покрывал, — глухо сказал Скутаревский. — Мнение свое я записал особо.

— Да, но вы зашифровали его... чтобы впоследствии иметь отговорку.

— Чушь! — завопил Скутаревский, сжимая кулаки. — Вздор... я только не

делал выводов, но это мое человеческое право!

И хотя бесконечно тошны были Черимову такие собеседования, он шел на все, только чтоб добиться уверенности в чистоте самого Скutareвского.

— Давайте в упор, лицо на лицо, Сергей Андреич!.. думаете, меньшая на вас лежит ответственность, чем на мне? Потомками с вас спросится больше, потому что вы можете больше, и вы это знаете. Я говорю на том самом языке, на котором вы настаиваете. И, кроме всего... — он усмехнулся почти вызывающе... — вы достаточно скомпрометированы в глазах всей этой шпаны своей работой для советской власти. А ведь всегда труднее платить по запущенному счету!

— Я не понимаю, — заворочался Скutareвский, увертываясь от пронзительной этой откровенности. — Я хочу сказать например, что всего полтора часа назад я сам был у Петрыгина, имейте это в виду. — Все недоставало в разговоре какой-то последней точки, и он смаху поставил ее. — Вы сознательно включили и эту темную... да, темную цепь и Арсения?

Подтверждалась старая черимовская догадка; старая мораль, основанная на рабском, нечестном сострадании к человеку, весь комплекс старинных и ложных представлений о дружбе, родстве и общественных отношениях мешает Скutareвскому вести свою, правильную, линию в этом деле. Порою трудно ему было, как четвероногому сразу ходить на двух, и вот, вглядываясь в учителя, почти шептал ему ученик: «Смелее, милый... сегодня ты еще споткнешься, но завтра это станет твоим рефлексом!» Теперь все становилось ясно: «Сын мой, он сын мне и даже больше, чем я сам...» — кричали сухие, скоробленные листья по осени, скutareвские слова.

— С Арсением я буду говорить особо, если он захочет. Сперва я хотел о вас. Передавали, что вы собирались опротестовать эту станцию?

— Да, но я мало смыслю в этом деле.

— А если бы вы, при равных условиях, были в партии? — резво бежал Черимов, и тот одышливо следовал за ним.

— Но я и не состою в партии.

— А почему, что вам мешает? Вот Петрыгин например подал же заявление о приеме!

Скutareвский дико взглянул на Черимова; теперь он сидел весь накрепко вперед, точно врытый в землю по пояс, он рвался из нее наружу. Чаше, чем могли предположить окружающие, он задавал себе тот же вопрос, когда пускался в некоторые мысленные странствия за пределы своего ремесла. Должно быть, в том и состоит трагедия всякого учителя — с радостью и ужасом взирать на опережающего и вот уже ведущего ученика.

— Не принимайте, не надо... гоните его! — Он спохватился и закусил губу. — Я могу отвечать только за себя. Видите ли, для вас смолodu не было другого пути; для меня же это только завершение огромных бурь, смещений и катастроф... которые, черт возьми, может, и не произошли? И потом, разве вы думаете, что партбилет оправдывает мое научное бесплодие? — Он сводил проблему опять-таки к личной своей драме. — Но странно, я волнуюсь сейчас, как тогда, когда говорил с Лениным! — заключил он потерянно.

То была конечно правда — для него, для Скutareвского, каким он был, и штурм прекратился. Черимов умолк, чтоб позже — а теперь он знал наперечет уязвимые минуты Скutareвского — возобновить атаку. Потом он спросил тихо, потому что это нужно было не только для него, и он не надеялся получить ответ:

— Это не вопрос... но зачем вы все-таки ходили к Петрыгину?

... и вот тогда-то, случилось, выслушав до конца, Черимов предложил учителю переехать к нему во флигель. Сергею Андреичу доставались две, вернее полторы комнаты, потому что одна была совсем плохонькая и угловая, вполне пригодная, однако, для человека, который дни свои проводит вне дома. Сам он соглашался потесниться с соседнюю такую же; при том ограниченном количестве вещей, каким он обходился в жизни, это не составляло ему затрудне-

ний. В его конфузливом предложении, сделанном легко и с дружескою прямою, заключался блистательный выход из положения. Сергей Андреич заволновался, жал ему руки, отдавил ногу в попытках, допытывался, какой ему смысл вселять к себе этого живучего, беспокойного старика, и в заключение подарил коробку сигар, подарок одного заморского коллеги. Черимов сигар не курил и коробку взял с намерением порадовать при случае Федуку.

— Все-таки странно... разумеется, так ково их положение в мире, но большевики ничего не делают без умысла. Полагалось бы отказаться, но, будучи хитрее, я принимаю: жена по ночам подходит к моей двери и нюхает: я слышу ее сопенье. Спросонья даже в пот ударяет, спросонья. Но по дряхлости своей я поеду не один, а с секретарем. — Он пытливо взглянул в лицо молодого, но тот ждал: в глазах его сиял невинный день.

— Я вам как раз две комнаты и предлагаю.

Скутаревский задумчиво посмотрел на стену:

— Между прочим, как вам известно, я играю на фаготе. И, надо сказать, я неплохо играю, но к фаготу, вообще говоря, надо привыкнуть, я бы даже сказал—притерпеться. Помните стишонки: хрипит удушливый-фагот...?

Черимов смеялся:

— Ничего, я тоже заведу что-нибудь гремучее: мне нравится барабан, но, к сожалению, его негде поставить. Кроме того, я пою некоторые уссурийские песни, казацкие песни. И, по слухам, пою неплохо, хотя надо признать, голос у меня в большой степени самородный!

— ... самородный? — раздумчиво повторил Скутаревский. — Кстати, вы уже написали донесение на Ивана Петровича?

Черимов ошеломленно пожал плечами.

Итак, наконец это произошло. Предупрежденная всего за час до переезда, Женя куда-то исчезла. На обнаженных стенах обнаружились взвездные дыры и летучие космы пыли. Черимов с видимым удовольствием перетаскивал поближе к себе тяжелые книжные связки.

Грузовик, взятый из института, одним колесом наступал на тротуар. Колючая тишина стояла на половине Анны Еврафовны. Извозчик, синяя личность в заерзанном азяме, нес на вытянутых руках электрический прибор и приговаривал: «Почтенная вещь, почтенная!» Вытащил он ее вполне благополучно и грохнул об пол только на новой квартире. Араукария, едва ее подняли, сразу осыпала всю свою хвою,—двадцатилетний процесс закончился; так и оставили ее торчать сохой вешкой на скутаревском пути. Сергей Андреич торопился: в окна глазели рожи. Черимов поехал на трамвае. Валом валил снег. Пассажиры в бобровой шапке плотно сидели в санях, держа в руках свой между колен, на манер старинного мушкетера, и сопел в поднятый воротник. Прикрепясь сзади, мальчишки разных размеров гирляндой ехали за ним на коньках. Было чудно Сергею Андреичу начинать все сызнова, со студенчества, с одиночества, с некрашеного соснового стола. Будущее было смутно и влекло к себе скорее не радостью, а тайной... Внедрение в черимовский флигелек произошло только к сумеркам, книги свалили в институтскую библиотеку, и час спустя уже квакал фагот на новосельи. Его мелодия звучала непонятно, вся в каких-то психологических бемолях, срывах и мнимостях: походило, будто, просыпаясь, большой волосатый человек бубнит что-то с закрытым ртом. И еще: несколько раз мелодия подкрадывалась к одной и той же высокой ноте и всякий раз обрывалась,—так задают вопрос, на который не бывает ответа. Сергей Андреич не преувеличивал: только черимовские нервы способны были выдержать в один прием такое количество звуков. Черта свое, набирая тушь на рейсфедер, он слушал за перегородкой и покачивал головой: «Новое место обживает. Вот и объясни тут Федуке эту чортову механику—в чем тут дело и какие тому суть косвенные причины!» Женя вернулась к вечеру, робкая и настороженная; у Черимова, который открыл ей дверь, нашлось такта встретить ее шуткой и не спрашивать ни о чем.

... через неделю все вошло в норму. Новое место обусловило и новые обычаи, и, пожалуй, самым примечательным было то, что жить теперь можно было с незапертыми дверями: красть у них стало нечего. Первому просыпавшемуся доводилось готовить чай, и Сергей Андреич после нескольких неудачных опытов дружбы с примусом стал подниматься позже обычного. Пили чай, потом расходились до ночи; зачастую он оставался в лаборатории и на ночь, когда никакие посторонние разряды не мешали его экспериментам. Однажды, вернувшись невзначай, он застал у себя гостей. В коморке его, затканной слоями табачного дыма, подобно жукам в коробке, гудели люди. ~~Сергей~~ и грызя окурок, Федор Андреич спорил с Черимовым и Женей, которые сомкнутым строем нападали на него. В стороне, сохраняя строжайший нейтралитет, с монументальностью горы возвышался Кунаев. «Но... — на потеху большевиков вешал в лирическом припадке художник: — ...вот я прохожу по земле, как тень от облака, и истлеваю тень. А почему?.. и кто мне ответит?» — «Все дело в том, какого облака вы были тенью!» И уже в том одном была их правда, что Федору Скutareвскому впопыхах нечем было возразить. Приехавший со строительства на побывку, как солдат с фронта, Кунаев расширенными глазами взирал на это смятенное тыловое существо, не понимал, не сердился, но и не доверялся целиком на запальчивую декларацию художника. «Вот, чорт... а почему, действительно, приспичило ей истлевать? Занятно... ну, вали, вали еще!» Черимов, который уже догадывался о наличии в мире Жистарева, улыбался и рассеянно, почти рефлексивно, рисовал профиль Ленина на столе. Оказалось, Федор Андреич заходил много раз в отсутствие брата; оказалось, заручившись согласием Жени и Черимова позировать ему, он задумал новый холст — А б ы ж н и к о в, — который по искреннему его убеждению должен был послужить ключом к новому искусству. Сергей Андреич постоял в дверях, задумчиво потирая переносье, встать отправился готовить чай.

С терпением истинного ученого он мыл посуду, которая проявляла гнусное намерение выскользнуть в раковину. Дверь стояла неприкрытой, слоистый дым табака и рваные клочки беседы достигали его и тут. С вялой и необычной для него скукой Черимов добывал Скutareвского-художника, и слова его представлялись Сергею Андреичу тусклыми, как из прошлогодней газеты; было тут и об умершем классе, и о кровных связях искусства с жизнью. Он подумал: «Сейчас изречет об ампутированной ноге, которая долго болит после того, когда ее уже и нет вовсе!» И верно: тот сказал. Кто-то вошел сзади, и он, обернувшись, застал взглядом Женю. — Зачем же вы... — смущенно заговорила она, — ... идите к ним, я домою посуду.

Он шутил:

— Ничего, я сам... обрабатывайте там этот лысый полуфабрикат! Я в этих делах бесполезен, Женя. Кстати — вас зовут...

Черимов повеселевшим голосом кричал в дверь: «Женя, идите скорей... послушайте, что он только говорит!»

— Я сейчас, — сказала Женя и приотворила дверь за собой. — Давайте мне блюдо. Я моложе, давайте!

Усмехаясь, он отвел мокрые руки за спину:

— Я это слышал. Притом же вы опоздали, это блюдо последнее. Чего вы хмуритесь... ну, о чем вы думаете теперь?

Она подняла голову, и свежестью пахнуло ему в глаза.

— Я давно хотела говорить с вами, Сергей Андреич. О, как неправильно живете вы и... разве вы не видите, что делается вокруг? О вас много говорят, но... я не досказала тогда, и много смеются!

— Кто же этот смешливый и насмешливый — Черимов?

— Нет, нет же! — с горячностью заступилась она. — Он славный... и он талантливый...

Он улыбнулся ее вспышке, а мысль метнулась: девчонка, девчонка, старься скорей!

— В его годы я сделал больше.—А еще подумал: «Ага, ты становишься уже несправедлив!»—Что же они говорят?

— ... что вы никогда не кончите своей работы, потому что это и невозможно; что вы растрчиваете народные деньги, спекулируете своим именем и из упорства обманываете Совет народного хозяйства!

— Я не виноват... мои электроны не подчиняются декретам правительства, они разбегаются прежде, чем я успеваю запречь их.

Дверь отошла, стал слышен артистический—и только брат с гримасой боли услышал в нем судорогу!—воплъ Федора Андреича: «... вот так, живем и цедим сквозь себя текучее время и засариваемся!» Его перекрыл могучий и честный хохот Кунаева, который, в простоте душевной, полагал, что тот выколенивает все это нарочно.

— Вот, и вы точно так же, — скороговоркой, не помня себя, шла ему навстречу Женя. — Почему... почему вы не бросите свой драндулет?! Иван Петрович, я слышала сама, говорил, что вы играете, как рыжий в цирке...

— Позвольте, что такое драндулет?— ~~чакмурдел~~ он.

— ... они говорят, что слушать вас можно только под хлороформом... нет, это еще не все! Почему вы оставили меня у себя? Ведь я не Черимов, правда?.. я не умею ничего, мне только в биллетерши с моими знаниями. И все думают, что вы...

— Ну-ну, что они думают по этому вопросу?—спросил он грубо, и щеткой привстали его усы.

Она стояла к нему вплотную, глаза в глаза; лицо покраснелось, а брови двигались, как бы рефлектируя раскидываемые слова. Его ноздри раскрылись, он с любопытством вдыхал ветерок с ее волос, который пахнул дешевой, с детства знакомой, карамелью. В сущности, происходило крушение: свирепую аварию терпели привычные его установки. «Сенька-то был прав!» — полоснулось в голове, и даже покраснел, хотя никогда раньше не стыдился своих воззрений, внушенных ему его великим знани-

ем. Перерожден в нем тот самый мир, который он воспринимал именно как безличный комплекс электромагнитных явлений; лишь протяженность и время играли направляющую при этом роль. Никогда в мысленных его тайниках не возникало тревоги, что завтра же совсем иную форму — дерева, облака или девушки! — примет это уплотнившееся пространство. Но вот карамелистый, и уже вряд ли электронный только, ветер подул со стороны, из-за хаотических кулис материи, и беспредметный туман, в котором жил до сегодня, заколебался, рваные клочья его оторвались, поплыли, на лету принимая неожиданные, вещественные очертанья. Как бы заново, но только преуменьшенное до крайней мелкости, происходило зарождение мира. Глазами прозревшего еретика он увидел блюдец, осколки его у своих ног, лоб девушки, очень простой, никем нецелованный лоб, увидел смешной пушок на дрожащей от негодования губе и в приближенном зрачке ее помолодевшее отражение самого себя. Он ~~тянулся~~ к нему: оно стояло такое легкое, несбыточное, было!

... его губы как бы склеились: неравная то была борьба, потому что трудней всего преодолевать себя. Казалось, неоспоримое какое-то право имел он на нее: вот он хотел, вот — он достиг. Он шел с горы и на пути встретил последнее дерево, за которым предстоял спуск в прохладную, бесплодную и сумеречную долину; тем более стоило продлить это бесконечно малое мгновенье, отдохнуть в его тени, хотя бы и сопроводилось это многократно оклеветанным ритуалом любви. Кстати, он достаточно смутно представлял себе, как все это происходит. Кажется, теперь уже не играют на лютнях; теперь проще, теперь ходят в кино и, подслеповато щурясь на плоскую, всем телом мигающую красоту, жуют пакостные, липучие леденцы; потом целуются в подворотнях, пособачьи, наугад, тычась губами в мокрые от снега воротники; потом следует обычная химия любви, пока дело не втекает в законное русло судопроизводства и алиментов. В суматохе он даже

забывал разглядеть, — не стоит ли перед ним только кургузая портняжная болванка, одетая теми же эмоциями обожания и любовного трепета, какими, хоть и в малой мере, он одевал когда-то и старую свою жену. Женя молчала, она требовательно ждала ответа. Тогда, подумав, он тяжеломерно переступил с ноги на ногу, и осколки блюда захрустели у него под подошвой.

— Я очень мудрую, когда касаюсь этих тонких дел, — а смысл был иной, а смысл был: «Ведь теперь же не ночь, а день же, Женя! А мой день и ваша ночь не совпадают!»

— Но я постараюсь понять вашу мудрость! — кивнула она, принимая вызов.

— Нет, но помните у Фауста... вся мудрость мира меньше одного твоего слова! Я не хочу говорить банальностей, потому что, если они не испугают вас, я расстанусь с вами, ~~Женя~~.

Она прислушивалась, сурово ~~сдвигнув~~ брови.

— ... я уже старый воробей. Слушайте меня: Я изучил эту материю в пределах человеческого мозга и сегодняшнего дня. Я видел электронные души тел, Женя. Мои пальцы утончались по мере того, как обострялось зрение и повышалась жадность... прекрасная человеческая жадность — узнать! Держа атом в руке, я уже пытался — хотя бы любопытства, а не власти ради! — отколупнуть ноготком его электроны. Я окружил материю капканами, и вот, в крайнее мгновение, когда я ею овладевал средствами ее же силы, она взорвалась, она ударила меня в глаза, и там, где витали в пустоте невесомые частицы, я увидел лужайку, какой-то декларационно-наивный курслеп на ней и девушку в белом платье... Конечно, понятие девушки в этом месте следовало толковать расширительнее.— Это случилось задолго до того, как я встретил вас на шоссе. Так всегда: название приходит потом! На старости это всегда несчастье, но кто же смеет противиться попыткам своего воскрешения? Больше

того, я до немоты рад, хотя и выражаю сие длинно и нечленораздельно. Видите ли, девочка, сейчас я даже моложе и глупее вас! — Ему так и не удалось подобрать слова, чтоб передать свое тогдашнее ощущение: оно походило на одно место вагнеровской увертюры к Фаусту; есть там один исполнинский всхлип, точно разрезают медного человека, чтоб сделать заново, и он кричит, потому что рвутся его медные сухожилия... Он выразил это не менее точно: — Я знаю одно место в музыке, где есть радость и знание всего вперед, и благоговение всему, что неминуемо приходит за ними следом.

Почти испуганной теперь казалась Женя. Минуту назад она еще не знала, какую пещеру она открывает детским ключиком, каких призраков, десятилетия запертых в неволе, она выпускает наружу; и вот они дикостной толпой ударились в нее, — она зажмурилась и отступила. Ей стало холодно, в ее потемнелых зрачках отражалось лишь ее расплывчатое смущенье.

Он заключил иронически эти медные стенанья:

— Вот видите, а меня еще в директорах держат. Гнать таких надо железной метлой. Рекомендую прописать меня в стенной газете. Ну, пойдемте, а то я вас перепугаю вконец. Неофит Федор уже готов, и пора его отпраздновать чаем!

Из никелированного носка с ревом выбивалась паровая струя. Он взял его и торжественно понес; Женя со стопкой посуды в руках замыкала комическое это шествие. Отсутствия их никто не заметил. Держа руку на колене Федора Андреича, Фома Кунаев врубал в него свои слова, и каждое слово надолго оставалось в памяти, именно как зарубка, сделанная топором.

— Чертило ты! я дам тебе клуб, через который проходят в сутки двадцать девять тысяч человек. Странители... армия, армия!.. я дам тебе лучшие краски нашего производства, дам тебе стены, на которых никогда не было еще написано ничего, — голые, грубого шту-

катурного зерна стены. Ты влезешь на леса и... и валя, действуй! Милый, да не трактора от тебя требуются, а ги своими словами дай, чем мы дышим и побеждаем чем! — Он передохнул и с конфузливим изумлением подмигнул Черимову: — Во, Николай, здорово я говорить стал... прямо без запинки и даже по вопросам искусства, а?

И, видимо, столь велик был его запал, что и после появления Сергея Андренча, которого он дожидался давно уже, он продолжал мять так и эдак вялую художническую руку, как бы затем, чтоб или приласкать, воодушевить или уж взять ее поухватистее, вырвать из сустава, да и написать ею все это самому. Федор Андреич сидел неподвижно, глядя в пол, и какая-то сокрытая жилка чувствительно пульсировала в его лице. «Да-да, — думал он, — уйги надо, прикоснуться к основам всех тех вещей, из которых складывается жизнь будущего века».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Так, спускаясь с горы, он оставлял друзей, семью и старинные привычки. Полагалось радоваться, что, вот, спадают стеснительные обручи, мешавшие росту человека. Но образ почему-то предстал иной: с раскидистого и шумного дерева облетали скоробленные листья, а для новых еще не наступило весны. Напрасно, простерши голые сучья, шарило оно по зимней пустоте и цеплялось за ускользящий ветер, — крепко держала корни промерзлая земля. Попутно вспоминались такие стишки у Арсеньева князя:

«Человек ухватился за бую,
а она ему руки напрочь...»

И еще бился на ветке, когда-то полный и звучный, сохлый теперь и последний листок — сын. Слово это росло, тяжелело, принимало неизведанную еще форму, слово это могущественней оркестра сопровождало первый его крутой житейских поворот и вот умерло, и вот повисло на последней нитке. Но, значит, сыновьям прощают больше! Тотчас после черимовского сообщения Сергей Андреич готов был лично поехать к Ар-

сению, предупредить об опасности. И хотя ему нравилось, что Черимов с таким упорством стремится к обнаружению черного сибирского дела, Арсений был ему роднее по веществу, и, даже целиком разделяя черимовское намерение, он тем не менее хотел, чтоб только одного Арсения миновала горькая последующая участь. Впрочем, через сутки обстоятельства переменялись, Черимов наткнулся на разъяснения второй, уже петрыгинской экспертизы, и Скутаревский счел за лучшее объяснить тем временем с бывшим шурином своим непосредственно.

Вечером, по окончании работ, он позвонил ему из институтского кабинета. и — показательное обстоятельство — в той же степени, в какой происходила здесь хлопотливая душевная суетня, голос Петрыгина звучал с сытой и уверенной ясностью.

— А, это ты, советский Фарадей!.. читал, читал про тебя. Бросай к чертям своих рыб и приезжай. Вали как есть! Будут все свои и еще... — Он назвал знаменитого иностранного пианиста, застрявшего на гастролях в Москве. — Что он делает из Листа, если бы ты слышал! Ах, подлец... Аналитиков не терплю, но у этого если буря — так это трактат по метеорологии, соловей — так ведь каждое перышко на нем разберешь. Ну, приезжай, будь душка! И потом, чуть не забыл, как ты устроился с квартирой? Осип пошел на уступки и скинул еще четыре тысячи... я его прижал, стрекулиста!

Слова его, разбрасываемые с торопливой и подозрительной щедростью, засорили весь провод; Сергею Андреичу некуда было вставить даже восклицания.

— Перестань, — впихнул он наконец одно. — У меня деловой разговор.

— Вот, приезжай и поболтаем. Погоди, я уронил запонку... где же она, чорт! ах, вот... нет. Да, кстати: лису-то я убил: богатейший зверь. Шкурка за мною!

— Дело в следующем, — энергично приступил Скутаревский. — Я настоятельно и уже в последний раз прошу

оставить Арсения в стороне от твоих предприятий.

Была краткая пауза, Петрыгин молчал, но не клал трубки: возможно, он все еще искал отскочившую запонку.

— Не разумею, о чем ты... во всяком случае этот разговор не для телефона!

— ... или я расшифрую тебя к чортовой матери! — с бешенством заключил Скутаревский.

Петрыгин несколько оправился от первого удара:

— Мне трудно говорить с тобой в таком блатном тоне. Ты что, запил, что ли?

И опять чрезвычайная по напряженности наступила тишина. Провод был чист, и, представлялось, неисчислимые электрические орды на нем ждут лишь сигнала, чтоб ринуться криком или бранью в ту или иную сторону. Порывами было слышно в трубке одышливое кряхтенье Петра Евграфовича; возможно, уже стоя на коленях, он шарил по полу свою запонку. Кто-то пришел к нему, и хозяин пробурчал в сторону: «А, входи, входи, не наступи только... я потерял одну вещицу». И затем снова худейшее длилось молчанье.

— Так вот, — без прежней благозвучности закрипел петрыгинский голос. И если бы на амперы и омы перевести его ярость, провод докрасна нагрелся бы от перегрузки. — Ничем не могу помочь тебе, ты уж сам... Я уж советовал тебе: ты — голову меж колен, да и посеки, посеки молодого человека: на то и власть родительская!

Спектакль прекратился в самом интересном месте. Действительно, экзекуция, производимая строгим родителем над провинившимся инженером, могла рассмешить в иное время даже самого Сергея Андреича. Петр Евграфович уже вдел на место галстух поверх отысканной наконец шейной кнопки и уже разговаривал с племянником, потому что именно его он просил об осторожности, а Сергей Андреич все стоял у телефона; спазма мешала ему крикнуть достойный ответ на дребезжащее петрыгинское

остроумье... Петрыгин же, в меру позабавясь с Арсением над сумасшедшим стариком, перешел к темам, более для него любопытным, но временами все еще тянула внимание его назад непобедимая паническая сила.

— Вздор, у меня тоже есть заслуги. Я тоже важный. Но все-таки, как подлеют люди... ты извини, что это я про твоего отца! Впрочем, ты конечно напрасно воткрытую поссорился с ним. Помиришь, пойди к нему, ты моложе, помирись: он может быть очень вредным. А как ты думаешь, способен он на какую-нибудь такую низость?

Арсений не отвечал, и дядя пристальнее взгляделся в племянниково лицо. Тот казался больным, но это происходило скорее от запущенной и неожиданной для такого щеголя неряшливости в одежде, чем от явных каких-либо признаков нездоровья. Лицо его было плохо теперь, невыразительно; надо было вглядываться, чтоб рассмотреть, какое судорожное раздумье вписано в это колючее, небритое пространство. «Проигрался!» — определил Петр Евграфович, хотя до него доходили только очень смутные слухи о беспутном Арсеньевом поведении. И оттого, что это был самый благовидный предлог — платить члену организации, как племяннику, он тут же порешил дать ему денег еще, кроме той тысячи, которую вручил в предыдущем месяце. «А все-таки, как быстро лысеют все Петрыгины! — подумал он потом. — Гормона, что ли, в них волосяного нехватает?» И правда, лысина заметно расплзлась со лба, и потому оставалось впечатленье, будто желтое его лицо занимает слишком много места на голове.

— Ну, как мать? — вскользь спросил дядя.

— Мать ничего. Она странная.

— Ты присматривай за ней. Утрата не велика, но привычка в старости... Она обезумела совсем.

— Да, я замечал.

— Постой, а с чего ты-то мрачный?.. Проигрался или по службе что-нибудь? Я слышал, тебя зовет к себе Кунаев. Воспользуйся, это — марка. Я тоже по-

лучил на-днях занятное одно предложение...

— Что-нибудь опять по шпионажу? — тихо спросил Арсений.

И сразу стало очень нехорошо. Петрыгин раздумчиво почесал за ухом, искоса взглядываясь в племянника. Все-таки, хоть на четвертинку, но было в нем и от скутаревской темной крови. В горячечных условиях времени можно было и от Арсения ждать всякого. Петр Евграфович от изумления даже забыл, какое именно занятное предложение выдумалось у него по ходу разговора. Никогда в той среде деятельность его не называлась т а к. Реплика Арсения прозвучала бы совсем грозно, если бы однако он сам не засмеялся первым. Впрочем, смех его не звучал никак, — то были просто нервные и недобрые подергиванья губ при обнаженных деснах.

— Я пошутил, — смеялся Арсений. — Мне любопытно стало, испугаешься ты или нет.

— ... но ты стал плоско шутить, милый. И ты вообще не нравишься мне за последнее время. Ты совсем распустился. Побриться например следовало тебе, направляясь в гости, а? Если это от желудка, а именно он — отец всяких пакостей, так его чистить надо, мыть его, сукина сына, как носовой платок. Я почти вдвое старше тебя, но, гляди, держусь!

— Тебе легче, — опять еле слышно молвил племянник. — Ты скоро умрешь, дядя, и все счета уплочены, а мне еще жить надо!

— Ну, вот, поперло скутаревское! — захохотал Петрыгин, суеверно кбсясь по сторонам.

— Нет, ты не смейся. Я нарочно пришел пораньше, чтоб обсудить все. Слушай, я знаю, ты не веришь мне. Топнешь и тянешь!.. ты приставил ко мне тень... она прячется, но я-то знаю, что это Штруф. Он ходит за мной везде, но ведь он — дурак, пойми же это. Ты убери его от меня, мне противно.

— Ерунда, — вспыхнул тот. — Это ты сам смотришь за собой, это совесть твоя, Арсений. Но ты же болен, Сенк, болен! — Зашурился один глаз, он

с фальшивым равнодушием прошурывал взглядом этого окончательно чужого и даже враждебного человека. «Чорт, они демобилизуются!» — билось сердце. — И вдобавок, если бы я тебе не верил, я не пригласил бы тебя сегодня.

— Я пить буду, дядя.

— Ничего, в молодости все сойдет. Запрись и пей.

— ... я изобью его!! — навскрик, со сжатыми кулаками рванулся Арсений, и крик его совпал со звонком в прихожей.

Петр Евграфович поднялся и принялся торопливо надевать пиджак; хитрить больше становилось некогда.

— Избить...? — Он подумал. — Ничего, избеи. Штруфа можно.

Кто-то раздевался в прихожей, — так шумно, точно фанеру сдирали с краснотерейной мебели. На всякий случай, Петр Евграфович потрепал племянника по плечу, и в этом жесте казалось все — и уверение на ближайших днях обсудить все в подробностях, и обещание убрать Штруфа, и безусловное согласие на уплату карточного долга. Разговор прекратился; в комнату просунулась волосатая фигура Бакулина, в прихожей пискнул тощий голосок младшего Граперонова, и за ними, точно пользуясь открытием двери, полезли и остальные. И вот входил уже и сам артист, герой торжества, шустрый, сверкающий, снисходительный и любезный, как фокусник, едва слышно, потому что богатый курдский ковер устилал эту часть комнаты. Не задерживаясь нигде, он обходил выстроенный ряд этих старороссийских столпов, эти колодные шкафы мудрости и знания. Его быстрая в рукопожатии, властная рука обжимала по очереди все остальные протянутые ему руки, обилие рук — то толстых, с белыми и круглыми, как майские личинки, пальцами, то тонкие, безжизненные и безличные, точно лепестки, высушенные среди страниц толстых фолиантов. Самое рукопожатие его было примечательно: он как бы облеплял чужую руку гибкими своими, мускулистыми пальцами, оно длилось всего мгновение, но в том, другом, чего-то становилось мень-

ше; потом тем же эластичным движением он выкидывал прочь иссопанную, опустошенную конечность.

— Очень приятно... — прочувствованно сказал чей-то голос в стороне, и Арсений, повернув голову, еле узнал в этом перереяженном человеческом обрубке самого Ивана Петровича. Тот был неузнаваем, чем-то смазанный, он сиял весь, что-то даже текло с него, весь он мелко, шарнирно двигался и, подобно барышне, сжимал в руке платок. — Переведите, переведите ему... может быть, он заглянет и ко мне! У меня жена так же ужасно любит музыку и Европу; Европу даже больше, чем музыку. Она очень милая... объясните, объясните ему! — и второпях искал среди гостей добровольного переводчика. Голос его прерывался; видимо, лютая тревога последних дней лихорадила его, и оттого все бывалое достоинство его истощилось.

Остекляневшими глазами он ласкал суховатую, почти военную фигуру пианиста, который неторопливо вкатывал в рукав вывалившийся бриллиант запонки.

— Qu'est-ce qu'il dit? — обращаясь ко всей шеренге гостей сразу, спросил артист.

Шеренга заколыхалась.

— Он говорит, что будет счастлив видеть вас у себя и в особенности рекомендует вашему вниманию свою жену. Со своей стороны могу подтвердить: чрезвычайно милая женщина и крайне удобная квартира... — Так перевел Арсений, прежде чем кто-либо другой отозвался на трепет Ивана Петровича, а вся шеренга так и замерла в чайнии почти международного скандала.

Но гость кротко улыбнулся, точно где-то в сумеречном отдалении взмахнул зеркальцем; опыт подсказывал ему — они всегда восторженны и милы, эти жены провинциалов, и не все ли равно, из рук которой Бовари в тысячный раз получить признание. Последнее его выступление приурочивалось к концу следующей недели, и жизнь представлялась полной всяких безопасных утех. Впрочем, злое, неприличное лицо Арсения несколько более, этнографически, заинтересовало

его, — с такими лицами бывали наверно террористы в царской России, но и это ему было скучно. Он продолжал улыбаться, как бы говоря: «Ты — варвар и тошный человек: ты радуешься, что обидел человека старше себя. Молчи, дурак, и восхищайся!» — и пошел дальше, ища глазами инструмент. Тотчас же вся шеренга, до хруста продавливая паркетную мозаику, двинулась за ним.

Задержась на минуту, Петр Евграфович тотчас подошел к Арсению: следовало хотя бы скандал пресечь в самом начале, потому что стало уже поздно гнать его вон, этого свихнувшегося, повидимому, родственника.

— Слушай, ты с ума сошел! — шепнул он ему, тиская, почти выворачивая ему плечо; наверно этим хотел он выразить всю степень бешенства своего. — Держи себя прилично или иди домой, проспись, чудяще музейное!

— Мне безумно надоело твое подполье! — сипло ответил племянник.

— Ну, я прошу тебя, садись вот тут и слушай. Это действительно эпохальный артист!

Все проходило, как в тумане, но туман этот исходил из самого Арсения. Громоздкие манекены, в усах, в шورتках, в резиновых баретках, неправдоподобные, как галлюцинации, усаживались по креслам, — и то ли дерево скрипело в них и под ними, то ли тугой, сгибаемый при этом крахмал. Сквозь тяжелые плюшевые гардины ни шорохом не просачивалась сюда жизнь. Стало тихо, как в подвале. Из соседней комнаты мягкие, под педаль, донеслись аккорды: артист пробовал инструмент. Ужин и чествование предполагались позже. Промытые подвески люстры распротраивали по стенам и лицам радужные, скользящие блики. Хозяин деловито прошел к часам и, всунув руку в гремучий ящик, остановил маятник. Самое время замерло, и тотчас же физиономии этой ассамблеи стали важны, кукольны и надменны. Над круглым столом, за которым сидел и Арсений, неспешными дубами стал жертвенно подыматься дым. Пианист ударил по клавише — нижнее м и, — и тотчас же

щедрой пригоршней гения рассыпалось звучное, прозрачное зерно. Оно ворвалось в подвески люстры — и те закачались, по-новому преломляя свет; оно упало и в людей, и бесплодные, выжженные луговины в них мгновенно поросли ликующими простонародными голпами. Арсений горбился и курил, глубоко заглатывая дым; бурные звуковые пассажи глубоко вдавили его в кресло.

Тихая, вполголоса, шла за круглым столом беседа. Тут были все свои, и оттого люди не стеснялись называть вещи их не вполне благоразумными, но зато подлинными именами; вначале Арсений не обращал на них внимания... Целыми страницами литавр начиналось то состояние, о котором играл пианист. Но порою музыка снижалась до шопота, почти до пасторали. Живое и уже накаленное стремилось изойти в гибком и плавном движении; еще не наделенное материальностью, оно, по размаху своему походило наверно на ту первоначальную магнитную волну, которая когда-то, как судорога, простегнула инертное вещество еще несуществующего мира... И время от времени Арсений, как замороженный, вслушивался в слова, произносимые над самым его ухом; они входили в его мозг легко, остроуму ножу подобно, оставляя после себя черные, бескровные, колодые раны. Никогда еще не доводилось ему прикасаться так близко к вещам, самые наименования которых он всегда слышал с отвращением и ужасом. Даже доверяя племяннику исполнение важных поручений, Петр Евграфович никогда не раскрывался до конца, не показывал могильных дантовских глубин, куда они гуськом опускались: не хотелось ему до поры смущать юношеское его воображение. Центральную ответственность он давно взял на себя; он называл это своим крестом и верил, что одна лишь история сумеет вознаградить его за понесенные труды. Здесь, куда они добрались за два года, стояли вечные сумерки, и рваный клоч голубого полдня над головой стал недостижим и невероятен, как чудо. Почти поэт, когда дело касалось обращения прозелитов, он

лгал, как пророк, создающий новую религию. И втайне знал, что, если бы не тонны мертвого сахара в крови, в аорте, в мочеточниках, может быть, он и был бы тем молодым, тридцатилетним в жестких солдатских ботфортах и временной треуголке.

Арсений горбился давно: непреходящее ощущение полета вниз поселяло в нем мучительное расслабление. Сознание непоправимой ошибки наступило у него много раньше, но уже значительно позже того, как дядя связал его той самой веревкой, которую постоянно чувствовал на своей собственной шее. По тому времени расплывчатое еще недомольство социальным порядком ему уже удалось реализовать в ряд значительных актов; сибирская торфянка была только скромным беллетристическим эпизодом, не стоящим своих чернил. Распад Арсения начался не со страха, как обстояло с Иваном Петровичем, он начался прямо с возмущения, подстегнутого неизбежностью; возможно также, что продолжала еще действовать закалка гражданской войны, каркас которой единственно и поддерживал его одряхлевшее раньше времени умственное вещество. То Гарася наивно вставал в его памяти, то тот безмянный матрос с перебитыми ногами — еще живой только потому, что не совсем еще угасла ненависть к белому атаману. «Сволочь, сволочь...» — кричал призрак, и Арсений поднимался на ноги, пока мягкая рука Петрыгина не толкала его снова в болото. Словом, почти ежедневно Арсений падал и умирал вместе с теми, кого собственноручно расстреливал час над.

— ... Донбасс, Кизел, Ленинград... вот! — настойчиво шептал голос рядом.

Арсений яростно принимался слушать музыку. Артист очень своеобразно понимал пятнадцатую респондию Листа. Высокая техника, вполне достойная похвал и высоких гонораров, помогала ему делать из произведения то, чего никогда не писал композитор. Исполнитель подчеркнул минорность марша; тихую лиричность средних частей он раскрывал, как величайшее разочарование народа;

самое восстание становилось не творчеством, а лишь трагедией пришедших в движение масс. Ирония переходила в прямую издевку, и тогда по клавишам, проваливаясь в мостовинах и давясь друг о друга, бестолково и отвратительно бежала расстреливаемая толпа. Его искусство таким образом принимало высокий политический оттенок; Арсений плохо знал музыку и принимал на веру его циническое толкование. Он слушал с закрытыми глазами, — принято думать, что это удесятерит зоркость. Но в усталых от пьянок и бессонниц зрачках плавали только медлительные цветные пятна—как бы копошились и терлись друг о друга толстые, непрозрачные молекулы. И вдруг помечталось — он властен уничтожить все это одним мановением век, набухших и болезненных. Стоило раскрыть глаза, и все распылится, все станет наоборот, и опять победная юность вложит в руки его романтическую винтовку.

— ... да, когда они умирают, — они герои, а когда хотят есть, — обыватели, — шипело рядом.

Он раскрыл глаза; действительность была сильнее, и не тем было ее сокрушать. Невыразимого благородства — ибо ложь любит опрятные гнезда! — старик повествовал про свой доклад в высоком учреждении, но теперь он подходил к нему иначе, раскрывая и заостряя его в обратном смысле... и самая враждебная критика не могла равняться с его собственной трезвой и беспощадной оценкой. Тяжелые, чуть раз'ехавшиеся

глаза Арсения передвинулись на него, и тот, мгновенно умолкнув, с явной растерянностью начал поправлять галстук. В течение последующей, очень недвусмысленной паузы все уже усталились в Арсения.

— Простите, мы с вами незнакомы! — сказал один, глядя в бегающие его зрачки и протягивая руку.

Он сидел по другую сторону стола, и, хотя, чтоб дотянуться, требовалась рука длины невероятной, он все-таки дотянулся; жировая каемка вокруг его глаз проросла багровыми ниточками жилок. Повидимому, ему просто хотелось удостовериться в фамилии, и тут-то могли произойти соответственные случайности, но все обошлось вполне благопристойно. Ничто не прервало игры великого артиста.

— Я просто хочу спать. Я не спал две ночи... — сказал Арсений, отдергивая руку и развинченно направляясь к двери.

«Тухлые, тухлые...» — гадливо двигались его губы, и была тоска, и было ощущение, точно огромное животное, чавкая и шумя, обнюхивает ему сзади запотевший затылок. Мимоходом он заглянул в следующую комнату: артист слился с роялем, в рояльном глянце покачивалась суровая, точно именно ему доводилось усмирять восстание, и вместе с тем, изысканная голова. Черный лак его туфель сверкал, и, кажется, это смутная шеренга склоненных слушательских лиц отражалась в нем.

(Окончание следует)

Поднятая целина

Роман

М. ШОЛОХОВ

(Продолжение ¹)

ГЛАВА 34

С бошь дороги — могильный курган. На слизанной ветрами вершине его скорбно шуршат голые ветви прошлогодней полыни и донника, угрюмо никнут к земле бурые космы татарника, по скатам, от самой вершины до подошвы, стелются пучки желтого пушистого ковыля. Безрадостно-тусклые, выцветшие от солнца и непогоды, они простирают над древней выветрившейся почвой свои волокнистые былки, даже весною, среди ликующего цветения разнотравья, выглядят старчески-уныло, отживше, и только под осень блещут и переливаются гордой изморозной белизной. И только лишь осенью кажется, что величаво приосанившийся курган караулит степь, весь одетый в сербрюную чешуйчатую кольчугу.

Летом, вечерними зорями, на вершину его слетает из подоблачья степной беркут. Шумя крылами, он упадет на курган, неуклюже ступнет раза два и станет чистить погнутым клювом коричневым веер вытянутого крыла, покрытую ржавым пером хлупь, а потом дремотно застынет, откинув голову, устремив в вечно синее небо янтарный, окольцованный черным ободком глаз. Как камень-самородок, недвижимый и изжелта-бурый, беркут отдохнет перед

вечерней охотой и снова легко оторвется от земли, взлетит. До заката солнца еще не раз серая тень его царственных крыл перечеркнет степь.

Куда унесут его знобящие осенние ветры? В голубые предгорья Кавказа? В Муганскую степь ли? В Персию ли? В Афганистан?

Зимою же, когда могильный курган в горностаевой мантии снега, каждый день, в голубино-сизых предрасветных сумерках выходит на вершину его старый сиводуший лисовин. Он стоит долго, мертво, словно изваянный из желто-пламенного каррарского мрамора; стоит, опустив на лиловый снег рыжее ворсистое привило, вытянув встречу ветру заостренную, с дымной черниной у пасти, морду. В этот момент только агатовый влажный нос его живет в могущественном мире слитных запахов, лоя жадно разверстыми, трепещущими ноздрями и пресный, все обволакивающий запах снега, и неугасимую горечь убитой морозами полыни, и сенной веселый душок конского помета с ближнего шляха, и несказанно волнующий, еле ощутимый аромат куропамино выводка, залегшего на дальней бурьянистой меже.

В запахе куропаток так много плотно ссученных оттенков, что лисовину, для того чтобы насытить нюх, надо сойти с кургана и проплыть, не вынимая из звездно-искрящегося снега ног, волока покрытое сосульками, почти не-

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 1—6 с. г.

Корчжинский, что же, его слово — остатнее, что ли? Отсеемся — и махну в окружком. Восстаноят! В край поеду, в Москву!.. А нет — так и беспартийным буду сражаться с гадами!

Посветлевшими глазами оглядел он распротертый окрест его мир. Ему уже казалось, что положение его вовсе не такое непоправимое и безнадежное, каким представлялось несколько часов назад.

Торопливо направился в лог, куда ушел конь. Потревоженная его шагами, из бурьянов на сувалке поднялась щенная волчица. Мгновение она стояла, угнув лобастую голову, осматривая человека, потом заложила уши, поджала хвост и потрусилась в падину. Черные оттянутые сосцы ее вяло болтались под впалым брюхом.

Едва лишь Макар стал подходить к коню, как тот норовисто махнул головой. Повод, привязанный к ноге, лопнул.

— Тррр! Васек! Васек! Тррр, стой! — вполголоса уговаривал Макар, пытаясь сзади подойти к взывавшему маштаку, схватиться за гриву или стремя.

Помахивая головой, буланый прибавлял шагу, косился на седока. Макар побежал рысью, но конь не допустил его, взбрыкнул и ударился через шлях по направлению к хутору стремительным гулким наметом.

Макар выругался, пошел следом за ним. Версты три шагал бездорожно, направляясь к видневшейся около хутора зяби. Из не́кости поднимались стрепета и спарованные куропатки, вдали на склоне балки ходил дудак, сторожа покой залегшей самки. Охваченный непоборимым стремлением соития, он веером разворачивал куцый рыжий хвост с белесо-ржавым подбоем, распускал крылья, чертя ими сухую землю, ронял перья, одетые у корня розовым пухом..

Великая, плодотворящая работа вершилась в степи: буйно росли травы, понимались птицы и звери, лишь пашни, брошенные человеком, немо простирали к небу свои дымящиеся паром небосеменные ланы...

Макар шагал по высохшей комкастой зяби в ярости и гневе. Он быстро нагнал, хватал и растирал в ладонях землю. Черноземный прах, в хрушких волокнах умерщвленных трав, был сух и горяч. Зябь переставалась! Требовалось не медля ни часу пустить по заклейкой дернистой верхушке в тричетыре следа бороны, раздрать железными зубьями слежалую почву, а потом уже гнать по рыхлым бороздам сеялки, чтобы падали поглубже золотистые зерна пшеницы.

«Приподнились! Загубим землю! — думал Макар, с щемящей жалостью оглядывая черные, страшные в своей наготе, необработанные пашни. — День два — и пропала зябь. Земля ить, как кобыла: течка у ней — спеша покрывать, а пройдет эта пора — и на дух не нужен ей жеребец. Так и человек земле... Все, окромя нас, — людей, — чистое в этих делах; и животины всякая, и дерево, и земля пору знают, когда им надо обсеменяться, а люди... а мы — хуже и грязней самой паскудной животины! Вот не едут сеять через то, что собственность в них на дыбки встала... Проклятые! Прийду зараз и всех выгоню на поля! Всех до одного!» — Он все убыстрял шаги, кое-где переходя на рысь. Из-под шапки его катился пот, рубаха на спине потемнела, губы пересохли, а на щеках все ярче проступал нездоровый, плитами, румянец..

ГЛАВА 35

Он вошел в хутор, когда дележ семенного хлеба был в полном разгаре. Любишкин со своей бригадой все еще был в поле. Около амбаров шла давка. На весы в спешке кидали мешки с зерном, непрерывно подезжали подводы, казаки и бабы несли хлеб в чужалах, в мешках, в завесках, рассыпанное зерно густо устилало землю и амбарные сходы..

Нагульнов сразу понял, в чем дело. Расталкивая хуторян, пробился к весам.

Вешал и отпускал хлеб бывший колхозник Батальщикова Иван, ему помогал мухортенький Аполлон Песковатсков, Ни Давыдова, ни Разметнова, ни

одного из бригадиров не было около амбаров. На секунду лишь в толпе мелькнуло растерянное лицо завхоза Якова Лукича, но и тот скрылся где-то за плотно сбитыми арбами.

— Кто дозволил хлеб разбирать? — крикнул Макар, оттолкнув Батальщикова, становясь на весы.

Толпа молчала.

— Кто тебя уполномочил хлеб вешать? — не снижая голоса, спросил Макар у Батальщикова.

— Общество...

— Где Давыдов?..

— Я за ним не ходил!

— Правление где? Правление дозволяло?..

Демид Молчун, стоявший возле весов, улыбнулся, вытер рукавом пот. Громовитый бас его прозвучал уверенно и простодушно.

— Мы сами без правления дозволили. Сами берем!

— Сами?.. Вот как?!. — Нагульнов в два прыжка очутился на приклетке амбара, ударом кулака сшиб стоявшего на порожке парня, резко захлопнул дверь и крепко прислонился к ней спиной. — Расходись! Хлеб не даю! Всех, кто сунется к амбару, объявляю врагами советской власти!..

— Ого! — насмешливо сказал Дымок, помогавший кому-то из соседей нагружать хлебом бричку.

Появление Нагульнова было для большинства неожиданностью. До его отъезда в районный центр по Гремячему упорные ходили слухи, что Нагульнова будут судить за избиение Банника, что его снимут с должности и наверняка посадят... Банник, с утра еще прослышавший об отъезде Макара, заявил:

— Нагульнову больше не ворочаться! Прокурор мне самому сказал, что его пришькребут по всей строгости! Не-хай почухается Макарка! Вышибут его из партии — тогда будет знать, как хлебороба бить. Зараз — не старые права!

Поэтому-то появление Макара возле весов и было встречено такой растерянной, недоумевающей тишиной. Но по-

сле того, как он кинулся от весов на приклетку амбара и стал, заслонив собою дверь, настроение большинства сразу определилось: вслед за Дымковым возгласом посыпались крики:

— У нас зараз своя власть!

— Народная!

— Покличьте его, ребята!

— Ступай, откель пришел!

— Рас-по-ря-ди-тель, под такую мать!..

Первым пошел было к амбару Дымок, молодецки шевеля плечами, с улыбкой поглядывая назад. За ним нерешительно тронулось еще несколько казаков. Один из них на ходу поднял с земли камень...

Нагульнов неторопливо вытащил из кармана шароваров наган, взвел курок. Дымок остановился, замаялся в нерешительности. Остановились и остальные. Вооружившийся увесистым камнем повертел его в руках, бросил в сторону. Не знали, что уж если Нагульнов взвел курок, то при необходимости он не задумается его спустить. И Макар это подтвердил немедленно:

— Семь гадов убью, а уж тогда в амбар войдете. Ну, кто первый? Подходи!

Охотников что-то не находилось... На минуту наступило общее замешательство. Дымок что-то обдумывал, не решаясь итти к амбару. Нагульнов, опустив наган дулом вниз, крикнул:

— Расходись!.. Расходись зараз же, а то стрелять заччу!..

Не успел он окончить фразы, как над головой его с громом ударился о дверь железный шворень. Друг Дымка — Ефим Трубачев — бросил его, целя Макару в голову, но, увидев, что промахнулся, проворно присел за арбу. Нагульнов принимал решения, как в бою: увернувшись от камня, брошенного из толпы, он выстрелил вверх и тотчас же сбежал с приклетки. Толпа не выдержала: опрокидывая друг друга, передние бросились бежать, захристели дышла бричек и арб, дурным голосом звывла поваленная казаками бабенка.

— Не бегай! У него только шесть патронов осталось! — Воодушевлял и останавливал бегущих появившийся откуда-то Банник.

Макар снова вернулся к амбару, но он не взшел на приклеток, а стал около стены с таким расчетом, чтобы в поле его зрения были все остальные амбары.

— Не подходи! — закричал он снова подступавшим к весам Дымку, Трубачеву и другим. — Не подходи, ребята! Перебьют!

Из толпы, расположившейся в стабарах от амбаров, выступил Батальщик Иван, Атаманчуков и еще трое выходцев. Они решили действовать хитростью. Подошли шагов на тридцать, Батальщик предупредительно поднял руку.

— Товарищ Нагульнов! Обожди, не подымай оружие.

— Чего вам надо? Расходись, говорю!..

— Зараз разойдемся, но ты занаспру горячку порешь... мы хлеб с изволения берем...

— С чьего это изволения?

— Из округа приехал какой-то... Ну, из окрисполкома, что ли, и он нам дозволил.

— А где же он? Давыдов где? Разметнов?

— Они в правлении заседают.

— Брешешь, стерва!.. Отходи от весов, говорят тебе! Ну?.. — Нагульнов согнул в локте левую руку, положил на нее белый, потерявший от старости воронень ствол нагана.

Батальщик безбоязненно продолжал:

— Не веришь нам — пойди сам, погляди, а нет — мы их зараз сюда приведем. Брось грозить оружием, товарищ Нагульнов, а то плохо будет! Ты противу кого идешь? Противу народа! Противу всего хутора!

— Не подходи! Не трогайся дальше! Ты мне не товарищ! Ты — контра, раз ты хлеб государственный грабишь!.. Я вам не дам советскую власть топтать ногами!

Батальщик хотел было что-то сказать, но в этот момент из-за угла амбара показался Давыдов. Страшно избитый, весь в синяках, царапинах и кровоподтеках, он шел неверным спотыкающимся шагом. Нагульнов глянул на него и кинулся к Батальщику с хриплым криком: «А-а-а, гад! Обманывать!.. Бить нас?!»

Батальщик и Атаманчуков побежали. Нагульнов два раза стрелял по ним, но промахнулся. Дымок в стороне ломал из плетня кол, остальные, не отступая, глухо взроптались.

— Не дам... топтать... ногами... советскую власть!.. — сквозь стиснутые зубы рычал Макар, бегом направляясь на толпу.

— Бей его!

— Хучь бы ружьишко какое-нибудь было! — всплескивал руками и стонал в задних рядах Яков Лукич, проклиная так нехатаи исчезнувшего Половцева.

— Казаки!.. Берите его, храброго, до рук!.. — звучал негодующий, страстный голос Марины Поярковой. Она вытаскивала казаков навстречу бегущему Макару, с ненавистью спрашивала, хватая Демида Молчуна за руки: — Какой же ты казак?! Боишься?!

И вдруг толпа раскололась, хлынула в стороны, врозь, навстречу Макару... «Милиция!!!» — в диком страхе крикнула Палага Донецкова. С бугра, рассыпавшись лавой, наметом спускалось в хутор человек тридцать всадников. Под лошадьми их легкими прозрачными дымками вспыхивали клубы вешней пыли...

Через пять минут на опустевшей площади возле амбаров остались только Давыдов с Макаром. Грохот конских копыт стался все ближе. На выгоне показались всадники. Впереди на лапшиновском иноходце скакал Любешкин Павло, по правую руку от него вооруженный дубиной, рябой и страшный в своей решимости Агафон Дубцов, а сзади в беспорядке, на разномастных лошадях, — колхозники второй и третьей бригад...

К вечеру из района приехал вызванный Давыдовым милиционер. Баталь-

щикова Ивана, Аполлона Песковаткова, Ефима Трубачева и еще нескольких «активистов» из выходцев он арестовал в поле. Игнатенкову старуху — на дому. Всех их направил с понятыми в район. Дымок сам явился в сельсовет.

— Прилетел, голубь? — торжествуя спросил Разметнов.

Усмешливо поглядывая на него, Дымок ответил:

— Явился. Зараз уж нечего в похоронки играть, ежели перебор вышел...

— Какой перебор? — нахмурился Разметнов.

— Ну, какой бывает перебор, когда в очко играешь? Не вышло двадцать одно — вот и перебор! Мне куда зараз деваться?

— В район пойдешь.

— А милиционер где?

— Зараз приедет, не скучай дюже! Нарсуд тебя выучит, как председателей бить! Нарсуд тебе с недобором пропишет!..

— Уж это конечно! — охотно согласился Дымок и, зевая, попросил:

— Спать мне охота, Разметнов. Отведи меня в сарай да примкни, покада милиционер явится, а я сосну. Примкни пожалуйста, а то во сне убегу.

На следующий день приступили к сбору расхищенного семенного хлеба. Макар Нагульнов ходил по дворам, хозева которых брали вчера хлеб, не здороваясь, отводя глаза в сторону, сдержанно спрашивал:

— Брал хлеб?

— Брал...

— Повезешь обратно?

— Придется отвезть...

— Вези. — И с тем, не прощаясь, выходил из куреня.

Многие из выходцев взяли семенного хлеба больше, чем некогда ссыпали. Раздача производилась на основании опроса: «Сколько засыпал пшеницы?» — спрашивал нетерпеливо Батальщиков. «По семь пудов на два круга». — «Неси мешки на весы!»

А на самом деле получавший засыпал при сборе семфонда на семь — четырнадцать пудов меньше. Кроме это-

го, пудов сто, не вешавши, растащили бабы в завесках и сумках.

К вечеру пшеница была собрана целиком, за вычетом нескольких пудов. Нехватало лишь пудов двадцати ячменя да нескольких мешков кукурузы. Вечером же полностью раздали семена, принадлежавшие единоличникам.

Хуторское собрание в Гремячем началось затемно. Давыдов при небывалом стечении народа в школе говорил:

— Это что означает вчерашнее выступление недавних колхозников и части единоличников, граждане? Это означает, что они качнулись в сторону кулацкого элемента! Это — факт, что они качнулись в сторону наших врагов. И это — позорный факт для вас, граждане, которые вчера грабительски тянули из амбаров хлеб, топтали дорогое зерно в землю и расхищали в завесках. Из вас, граждане, шли несознательные возгласы, чтобы женщины меня били, и они меня били всем, чем попадая, а одна гражданка даже заплакала оттого, что я виду слабости не подавал. Я про тебя говорю, гражданиночка! — и Давыдов указал на Палагу Донецкову, стоявшую у стены, суетливо закутавшую головным платком лицо, едва лишь Давыдов начал говорить. — Это ты меня гвоздила по спине кулаками, и сама же плакала от злости и говорила: «Бью, бью его, а он, идол, как каменный!»

Закутанное лицо Палаги горело огнем великой стыдобы. Все собрание смотрело на нее, а она, потупившись от смущения и неловкости, только плечами шевелила, вытирая спиной побелку стены:

— Закрутилась, гада, как ужака под вилами! — Не вытерпел Демка Ушаков.

— Всю стену спиной обтерла! — Поддержал его рябой Агафон Дубцов.

— Не вертись, лупоглазая! Умела бить — умей собранию и в глаза глядеть! — рычал Любишкин.

Давыдов неумолимо продолжал, но на разбитых губах его уже заскользила усмешка, когда он говорил:

— ... Ей хотелось, чтобы я на колени стал, пощады попросил, ключи от амбаров ей отдал! Но, граждане, не из такого мы—большевики—теста, что бы из нас кто-нибудь мог фигуры делать! Меня в гражданскую войну юнкера били, да и то ничего не выбили! На коленях большевики ни перед кем не стояли и никогда стоять не будут, факт!

— Верно! — Вздрагивающий, взволнованный голос Макара Нагульнова прозвучал задушевно и хрипло.

— ... Мы, граждане, сами привыкли врагов пролетариата ставить на колени. И мы их поставим.

— И поставим в мировом масштабе! — Снова вмешался Нагульнов.

— ... и в мировом масштабе сделаем это, а вы вчера к этому врагу качнулись и оказали ему поддержку. Как считать, граждане, такое выступление, когда замки с амбаров посбивали, меня избили, а Разметнова сначала связали, посадили в подвал, а потом повели в сельсовет и по пути на него хотели крест надеть? Это — прямое контрреволюционное выступление! Арестованная мать нашего колхозника Игнатенкова Михаила кричала, когда вели Разметнова: «Аничхриста ведут! Сатану преисподнюю!..» — и хотела при помощи женщин надеть на его шею нательный крест на шнурке, но наш товарищ Разметнов, как и следует коммунисту, не мог на такое издевательство согласиться! Он фактически говорил и женщинам, и вредным старухам, которые одурманены поповщиной: «Гражданки! Я — не православный, а коммунист! Огойдите с крестом прочь!» Но они продолжали приставать и только тогда оставили его в покое, когда он перекусил шнурок зубами и активно начал отбиваться ногами и головой. Это что такое, граждане? Это — прямая контрреволюция! И народный суд жестоко осудит подобных издевателей, как мать того же Игнатенка Михаила.

— Я за свою матью не ответчик! Ну, ее под такую мать, с такой матерью! Она сама имеет голос гражданства, пушай она и отвечает! — крик-

нул Мишка Игнатенок из передних рядов.

— Так я про тебя и не говорю. Я говорю про тех типов, какие вопили против закрытия церквей. Им не нравилось, когда церкви закрывали, а как сами принудительно хотели надеть крест на шею коммунисту, — так это ничего! Ну, и здорово же они разоблачили свое лицемерие! Те, кто были зачинщиками этих беспорядков и кто активно выступал, — арестованы, но остальные, поддавшиеся на кулацкую удочку, должны опомниться и понять, что они упали в заблуждение. Это я фактически говорю. В президиум неизвестный гражданин бросил записочку, в ней спрашивается: «Верно ли, что все, забиравшие хлеб, будут арестованы с конфискацией имущества и сосланы?» — Нет, это не верно, граждане! Большевики не мстят, а беспощадно карают только врагов, но вас, хотя вы и вышли из колхоза, поддавшись уговорам кулаков, хотя вы и расхитили хлеб и били нас, — мы не считаем врагами. Вы — качающиеся середняки, временно заблужденные, и мы к вам административных мер применять не будем, а будем вам фактически открывать глаза.

По школе прокатился сдержанный рокот голосов. Давыдов продолжал:

— И ты, гражданочка, не бойся, раскутай лицо, никто тебя не тронет, хотя ты меня и здорово колотила вчера. Но вот если выедем завтра сеять и ты будешь плохо работать, то уж тогда я всыплю тебе чертей, так и знай! Только уж бить я буду не по спине, а ниже, чтобы тебе ни сесть, ни лечь нельзя было, прах тебя возьми!

Несмелый смешок окреп, а пока докатился до задних рядов, вырос в громовитый, облегчающий хохот.

— ... Поволынили, граждане, и будет! Зябь переставляется, время уходит, надо работать, а не валять дурака, факт! Отсеемся — тогда можно будет и подраться и побороться... Я вопрос ставлю круто: кто за советскую власть — тот завтра едет в поле, кто против — тот пускай семечки лушит! Но кто не поедет завтра сеять, у того

мы — колхоз — землю заберем и сами засеем!

Давыдов отошел от края сцены, сел за стол президиума, и, когда поглянул к графину, из задних рядов, из сумеречной темноты, озаренной оранжевым светом лампы, чей-то теплый и веселый басок растроганно сказал:

— Давыдов, в рот тебе печонку. Любушка Давыдов!.. За то, что зла на сердце не носишь... зла не помнишь... Народ тут волнуется... и глаза некуда девать, совесть зазревает... И бабочки шумяются... А ить нам вместе жить... Давай, Давыдов, так: кто старое помянет — тому глаз вон! А?

На утро пятьдесят семь выходцев подали заявления с просьбой о принятии в колхоз. Единоличники и все три бригады Гремячского колхоза зарею выехали в степь.

Любишкин предложил было оставить охрану около амбаров, но Давыдов усмехнулся:

— Теперь, по-моему, не надо...

За четыре дня колхоз засеял почти половину своего яблевого клина. Третья бригада второго апреля перешла на весновспашку. За все это время Давыдов лишь раз был в правлении. Он кинул в поле всех способных к труду, и даже деда Щукаря временно отстранил от обязанностей конюха, послал во вторую бригаду, а сам с рассветом уезжал на участки бригад и возвращался в хутор за полночь, когда по базам уже начиналась побудняя переключка коchetов.

ГЛАВА 36

На затравевшем дворе колхозного правления было тихо, как на выгоне за хутором. Под полуденным солнцем жарвые черепицы амбарной крыши тескло и тускло блестели, но в тени сарая, на примятой траве еще висели лигые тяжелые зерна дымчато-сиреневой росы.

Обчесанная, безобразная в своей худобе овца стояла среди двора, раздвинув захлаюстанные ноги, а сбочь ее, припав на колени, проворно толкала вымя белошерстная, как мать, ягнца.

Любишкин в'ехал во двор верхом на маленькой подсосой кобыленке. Проезжая мимо сарая, он озлобленно хлестнул плетью козленка, смотревшего на него с крыши зелеными дьявольскими глазами, буркнул: «Все бы ты верхлазничал, разнечистый дух! Кызь отседова!» Зол и хмур был Любишкин. Он прискакал со степи и, не заезжая домой, направился в правление. За его мухортенькой кобылкой, глухо побрякивая привязанным к шее балабоном, неся пушистый хвост наотлет, бежал тонконогий, с утолщенными бабками жеребенок. По росту Любишкина кобыла была так мала, что распущенная стременная скошевка болталась чуть не ниже ее колен; казалось, что согбенный всадник, как в сказке, несет лядащую лошаденку промеж своих богатырских ног... Демка Ушаков, смотревший на Любишкина с крыльца, развеселился.

— Ты в роде как Исус христос, в'езжающий в Ерусалим на осяти... Д'о смерти похоже!

— Сам ты осяти! — огрызнулся Любишкин, под'езжая к крыльцу.

— Ноги-то подбери, а то ты ии землю пашешь!

Любишкин, не достаивая Демку ответом, спешился, обмотал повод вокруг перильца, сурово спросил:

— Давыдов тут?

— Тут. Сидит, скучает, тебя увидеть не чает. Третьи сутки не жрет, не пьет, одно гутарит: «Где мой незабвенный Павло Любишкин? Жизни без него решаюся, и белый свет мне не мил!»

— Поговори-ка у меня ишо! Поговори! Наступлю вот на язык.

Демка покосился на любишкинскую плеть, умолк, а Любишкин потопал в курень.

Давыдов с Разметновым и представительницами женского собрания только-что окончили обсуждение вопроса об устройстве детских яслей. Любишкин подождал, пока бабы вышли, подвинулся к столу. От ситцевой рубахи его, распоясанной, и запыленной на лопатках, дхнуло потом, солнцем и пылью.

— Приехал я с бригады...

— Чего приехал? — Давыдов пошевелил бровями.

— Ничего не выходит! Осталось у меня к труду способных 28 человек, и энти не хотят работать, злодырничают... Никакой управы на них не найдут. Зараз работает у меня двенадцать плугов. Плугатарей насилу собрал. Один Кондрат Майданников ворочает, как бык, а что Аким Бесхлебнов, Куженок Самоха или эта хрипатая заноза — Атаманчуков — и другие, то это — горячие слезы, а не плугатаря! Как скажи они сроду за чапиги не держались! Пашут абы как. Гон пройдут, сядут курить, и не спихнешь их.

— Сколько выпаживаете в день?

— Майданников и я по три четверти подымаем, а энти... кругом по полдесятины. Ежели так будем пахать, к покрову придется кукурузку-то сеять.

Давыдов в молчании постучал донышком карандаша по столу, вкрадчиво спросил:

— Так ты чего приехал? Чтобы мы тебе слезы утерли? — и злобно заиграл глазами.

Любишкин ошетинился:

— Я не со слезьми приехал! Ты мне людей давай; да плугов прибавь, а шутки вышучивать я и без тебя умею!

— Шутить-то ты умеешь, факт, а вот работу поставить — гайка у тебя слаба! Тоже, бри-га-дир! Управы не найдет на лодырей! Факт, что ты не найдешь, если дисциплину распустил и всякую терпимость веры развел!

— Ты ее найди — дисциплину-то! — повысил голос вспотевший от волнения Любишкин. — Всему делу голова гам — Атаманчуков. Он мне народ мугит, подбывает выходить из колхоза, а начни его, стерву, выкидывать, — он и других за собой потянет. Да что ты, Семен Давыдов, на самом деле, смеешься надо мной, что ли? Каких-то калек да хворых навешал на меня и работу норовишь спрашивать? Куда я того же деда Шукаря дену? Его, чорта, балабона, на бахчу становится в неподвижность, замест чучела грачей пужать, а вы мне

его вперли в бригаду, навязали, как на цыгана матерю! Куда он гож? За плугом — не может, погоничем — тоже. Голос у него воробьиный, его быки и за человека не считают, ничуть не пужаются! Повиснет на налыгаче, чертяка клешнятый, и пока гон пройдет — раз десять упадет! То он чирик завывает, то ляжет, ноги задерет выше головы и грызь свою вправляет. А бабы быков кинут, заиржут, зашумят: «У Шукаря грызь выпала!..» — и опрометью бегут любопытствовать, как он, Шукарь этот, грызь обратно в свое нутряное место впахивает. Ить это спектакля, а не работа! Мы уже его вчера в кашевары определили, через его грызь, но он и там негожий и вредный! Сала выдал ему затолочь в кашу, а он его слопал, а кашу пересолил и сварил с какими-то пенками... Ну, куда я его дену? — У Любишкина под черными усамы бешено задрожали губы. Он поднял плеть, обнажив подмышкой вылинявшую и обопревшую от пота круговину грязной рубахи, с отчаянием сказал: — Сымите меня с бригадиров, негу моего терпежу валадаться с такими подобными: они и меня-то стренажили своей работой!..

— Ты тут сиротой не прикидывайся, факт! Мы знаем, когда тебя надо будет снять, а сейчас езжай в поле, и чтобы к вечеру было вспахано двенадцать га. А не вспашешь — не обижайся! Часа через два я приеду, проверю. Ступай.

Любишкин с громом захлопнул за собой дверь, сбежал с крыльца. Привязанная к крыльцу кобыла стояла понуро. В фиолетовых глазах ее, испещренных золотистыми крапинками, отсвечивало солнце. Поправив на голом, горячем от солнца ленчике седла разостланную дерюжку, Любишкин медленно стал садиться. Демка Ушаков, щуря глаза, язвительно выспрашивал:

— Много ли напыхала ваша бригада, товарищ Любишкин?

— Тебя это не касаемо...

— То-то что не касаемо... Вот зацеплю тебя на буксир, оно и коснется!

Любишкин, поворачиваясь на седле, сжал до отека в пальцах ядреный бурый кулак, посулил:

— Только явись! Я тебе, чорту ко-согласому, глаза враз направлю! На затылок оборочу и задом наперед ходить научу!

Демка презрительно сплюнул:

— Лекарь нашелся! Плугатарей своих спервоначалу вылечил бы, чтоб они у тебя спорей пахали...

Любишкин, словно в атаку идучи, наметом вытел из ворот, помчался в степь. Еще не успел заглохнуть захлебывающийся звон балабона, мотавшегося на шее жеребенка, как на крыльцо вышел Давыдов, торопливо сказал Демке:

— Я на несколько дней уеду во вторую бригаду, тебя оставляю заместителем. Проследи за устройством яслей, помоги им, в третью бригаду овса не давай, слышишь? В случае какой заминки — скажи ко мне. Понятно? Запряги-ка лошадей до скажи Разметнову, чтобы заехал за мной. Я буду на квартире.

— Может, мне бы со своими черекнуться на целину, подсобить Любишкину? — предложил было Демка, но Давыдов чертыхнулся, крикнул:

— Выдумываешь! Они сами должны управиться! Вот поеду, наломаю им хвосты, тогда они у меня, факт, что не будут по половине... пахать! Запрягай!

Разметнов подехал к квартире Давыдова на одном из правленческих жеребцов, запряженном в дрожки. Давыдов уже ожидал его, стоя возле ворот, прижав локтем небольшой узелок.

— Садись. Ты чего это, харчей набрал, что ли? — улыбнулся Разметнов.

— Белье.

— Какое белье? Зачем?

— Ну, смена белья.

— На что это?

— Да езжай ты, чего пристал? Белье взял затем, чтобы вшей не разводить, понятно? Еду в бригаду, ну, вот и решил до тех пор там побыть, пока кончат пахоту. Закрой рот и трюгай.

— Ты, бывает, умом не рухнул? Что ты там будешь делать до конца пахоты?

— Пахать.

— Бросишь правление и поедешь пахать? Ну, вот это придумал!

— Езжай! Езжай! — сморщился Давыдов.

— Да ты не сепети! — Разметнов, как видно, начинал злиться. — Ты мне путем объясни: без тебя там не обойдутся или как? Ты должен руко водить, а не за плугом ходить! Ты — председатель колхоза...

Давыдов яростно сверкнул глазами:

— Ну, еще!.. Учишь!.. Я сначала — коммунист, а потом уж... факт! А потом уж председатель колхоза! У меня пахота гибнет, а я тут буду... Пошел, пошел, говорят тебе!..

— Да мне-то что! Но, ты, уснул, вражина! — Разметнов вытянул кнутом жеребца. Давыдов от неожиданного рывка откинулся назад, больно ударился локтем о дрожину, колеса мягко затарахтели по летнику в степь.

На выезде из хутора Разметнов перевел жеребца на шаг, вытер рукавом шрамистый лоб.

— Ты, Давыдов, глупость сотворишь! Ты им работу поставь на ноги и мотай назад. Это, брат, не диво пахать-то. Хороший командир не должен в цепе игтить, а должен умно командовать, вот что я тебе скажу!

— Оставь пожалуйста свои примеры! Я должен их научить работать и научу, факт! Это и есть руководство! В первой и третьей бригаде кончили колосовые, а тут у меня прорыв, Любишкин не справится, как видно. А ты еще туда же: «Хороший командир» — и прочее... Ну, чего ты мне очки втираешь? Что я, не видел хороших командиров, по-твоему? Тот и хорош, когорый в заминке своим примером ведет! И я должен повести!

— Ты бы им лучше два букаря перекинул из первой бригады.

— А людей? Людей, где возьму? Погоняй, погоняй, пожалуйста!

До самого гребня ехали молча. Над степью, заслонив солнце, в зените сто-

яла вздыбленная ветром, густолиловая, градовая туча. Белые обочины ее клубились и снежно блистали, но черная вершина была грозна своей тяжелой недвижностью. Из провала тучи, из-за оранжевого, окрашенного солнцем края широким веером косо ниспадали солнечные лучи. Тонкие копыеносные там, в просторном небе, они потоками расходились, приближаясь к земле, и, ложась на дальние, простертые над горизонтом грядины бурой степи, красили ее, диковинно и радостно молодили...

Степь, задымленная тучевой тенью, молчаливо, покорно ждала дождя. Ветер кружил на шляху сизый столб пыли. Ветер уже дышал духовитой дождевой влагой. А через минуту скупой и редкий пошел дождь. Ядреные, холодные капли вонзались в дорожную пыль, сворачивались в крохотные комочки грязи. Тревожно засвистали суслики, отчетливей зазвучал перепелиный бой, умолк накаленный страстью призывный крик стрепета. По просяной стерне хлынул низовой ветер, и стерня ошетибилась, зашуршала. Степь наполнилась сухим ропотом прошлогодних бурьянов. Под самой тучевой подошвой, кренясь, лоя распростертými крылами воздушную струю, плыл на восток ворон. Белó вспыхнула молния, и ворон, уронив горловой баритонистый клетот, вдруг стремительно низринулся вниз. На секунду — весь осиянный солнечным лучом — он сверкнул, как охваченный полымем смоляной факел; слышно было, как сквозь оперенье его крыл со свистом и буреподобным гулом рвется воздух, но, не долетев до земли сажен полсотни, ворон круто выпрямился, замаял крыльями, и тотчас же с оглушительным, сухим треском ударил гром.

На гребне показался стан второй бригады, когда Разметнов заприметил шагавшего под изволок, встречу им, человека. Он шел бездорожно, перепрыгивая ярки, иногда переходя на старческую дробную рысь. Разметнов направил к нему жеребца и еще издали угадал деда Щукаря. По всему было

видно, что со Щукарем произошло что-то неладное... Он подошел к дрожкам. Волосы на обнаженной голове его были плотно прибиты дождем, в мокрой бородачке, в бровях густо торчало разваренное пшено. Щукарь был иссиня бледен, напуган, и у Давыдова ворохнулась тяжелая догадка: «В бригаде неладно... Волянка!»

— В чем дело? — спросил он.

— От смерти насилу ушел! — выдохнул Щукарь. — Убить хотели...

— Кто?

— Любишкин и протчие.

— За что?

— За капризность ихнюю... За кашу дело зашло... Я — человек отчаянный на слова, не стерпел... ну, а Любишкин ухватил нож, да за мной... Кабы не моя резвость — сидел бы зараз я на ноже! Так и спекся бы!..

— Ступай в хутор, после разберемся, — приказал Давыдов, облегченно вздыхая.

... А на стану за полчаса до этого произошло следующее: дед Щукарь, пересолив накануне кашу, решил выдобриться перед бригадой и, отправившись с вечера в хутор, переночевал там, а утром припас из дома мешок, на пути в бригаду завернул к гумну Краснокутова, жившего на самом краю хутора, перелез через поясло и воровски затаился возле мякиной кучи. План у деда Щукаря был гениально прост: подстеречь курицу, осторожно схватить ее и обезглавить, чтобы наварить каши с курятиной и тем самым снискать себе в бригаде почет и уважение. Он пролежал, тая дыхание, с полчаса, но куры, как на зло, рылись где-то около плетня, а подходить к вороху мякины словно и не думали. Тогда дед Щукарь начал тихохонько их прикликать: «Цып, цып, цып, цып!.. Цыпаньки! Мамушки! Тю-тю-тю!» — звал он шопотом, а сам звероподобно таился за мякиной. Старик Краснокутов случайно находился неподалеку от гумна. Он услышал чей-то вкрадчивый голосок, созыгвавший «урей, присел за плетнем... Куры доверчиво подошли к вороху мякины, и в этот момент Краснокутов увидел, как

чья-то рука, высунувшись из мякины, сцапала бисерную курочку за ногу. Щукарь задушил курицу с быстротой матерого хоря и только-что начал просовывать ее в мешок, как услышал негромкий вопрос: «Курочек щупаешь?» — и увидел поднимавшегося из-за плетня Краснокутова. Так растерялся дед Щукарь, что выронил из рук мешок, снял шапку и некстати поздоровался: «Доброго здоровья, Афанасий Петрович!» — «Слава богу, — отвечал тот. — Курочками, говорю, занимаешься!» — «Вот-вот! Иду мимо и вижу: бисерная курица! Такая по ней диковинная разноцветь пера, что даже не мог я утерпеть. Дай, думаю, поймаю, погляжу вблизи, что это за диковинная птаха? Век прожил, а такой любопытственной не видывал!»

Щукарева хитрость была прямо-таки неуместна, и Краснокутов положил ей конец: «Не брешь, старый мерин! Курей в мешках не разглядывают! Приезжай, на какую надобность хотел скрасть?» И Щукарь повинился: сказал, что хотел угостить пахарей своей бригады кашей с курятиной. К его удивлению Краснокутов и слова не сказал суперечь, а только посоветовал: «Пахарям можно, в этом греха нету. Раз уж ты пошкодил одну курочку, то клади ее в мешок, да вдобавки подстреки костыльником ишо одну, да не эту, а вот эту, которая не несетя, хохлатую... Из одной курицы на бригаду лапши не сварить. Лови другую скорей и метись живее, а то — не дай бог — старуха моя вспахится, так нам с тобой обоим тошноты наделает!»

Щукарь, до-нельзя довольный исходом дела, поймал вторую курицу и махнул через прясло. За два часа он пришел на стан, а к приезду Любишкина из хутора у него уже кипела в трехведерном котле вода, выпрыгивало разваривавшееся пшено, и порезанная на куски курятина истекала наваристым жиром. Каша удалась на славу. Единственное, чего опасался дед Щукарь, — это того, что каша будет приванивать стоялой водой, так как воду черпал он в ближнем мелководном пруде, а не-

проточная вода там уже крылась чуть приметной зеленью. Но опасения его не оправдались: все ели и усердно хвалили, а сам бригадир Любишкин даже сказал: «В жизни не ел такого кондэра! Благодарность тебе, дедок, от всей бригады!»

Котел быстренько опорожнили. Самые проворные уже начали доставать со дна гущу и куски мяса. В этот-то момент и случилось то, что навек испортило поварскую карьеру Щукаря... Любишкин вытащил кусочек мяса, понес его было ко рту, но вдруг отшатнулся и поблелел:

— Это что же такое? — зловеще спросил он у Щукаря, поднимая кончиками пальцев кусок белого, разваренного мяса.

— Должно крылушко, — спокойно ответил дед Щукарь.

Лицо Любишкина медленно наливалось синеватым румянцем страшного гнева.

— Крылушко-ко?.. А ну, гляди сюда, каш-ше-варррр! — зарычал он.

— Ох, милушки мои! — ахнула одна из баб. — Да на ней когти!..

— Пывылазило тебе, окаянная! — обрушился на бабу дед Щукарь. — Откуда на крыле когти? Ты под юбкой на себе их поищи! — Он кинул на разостланное ряднище ложку, всмотрелся: в подрагивавшей руке Любишкина болталась хрупкая косточка, оперенная на конце перепонками и крохотными коготками...

— Братцы! — воскликнул потрясенный Аким Бесхлебнов. — А ить мы лягушку с'ели!..

Вот тут-то и началось смятение чувств: одна из брезгливых бабенок со стоном вскочила и, зажимая ладонями рот, скрылась за полевой будкой. Кондрат Майданников, глянув на вылупленные в величайшем изумлении глаза деда Щукаря, упал на спину, покатываясь со смеху, насилу выкрикнул: «Ой, бабочки! Оскоромилися вы!» Казаки, отличавшиеся меньшей брезгливостью, поддержали его. «Не видать вам теперича причастия!» — в притворном ужасе закричал Куженков. Но Аким

Бесхлебнов, возмущенный смехом, сви-репо заорал: «Какой тут может быть смех?! Бить Щукарячью породу!..»

— Откель могла лягушка в котел попасть? — допытывался Любишкин.

— Да ить он воду в пруду черпал, значит не доглядел...

— Сукин сын! Нутрец седой!.. Чем же ты нас накормил?! — визгнула Аниська — сноха Донецковых — и с подвывом заголосила: — Ить я зараз в тягостях! А ежели вот скину через тебя, подлюшного?.. — Да с тем как шарахнет в деда Щукаря кашей из своей миски!

Поднялся великий шум. Бабы дружно тянулись руками к Щукаревой бороде, невзирая на то, что растерявшийся и перепуганный Щукарь упорно выкрикивал:

— Охолоньте трошки! Это — не лягушка! Истинный христос, — не лягушка!

— А что же это?! — наседала Аниська Донецкова, страшная в своей злобе.

— Это — одна видимость вам! Это вам видение! — пробовал схитрить Щукарь.

Но обглодать косточку «видимости», предложенную ему Любишкиным, категорически отказался. Быть может, на том дело и кончилось бы, если б в конце разозленный бабами Щукарь не крикнул:

— Мокрохвостые! Сатаны в юбках! До морды тянетесь, а того не понимаете, что это не простая лягушка, а вустрица!

— Кто-о-о-о? — изумились бабы.

— Вустрица, русским языком вам говорю! Лягушка — мразь, а в вустрице благородные кровя! Мой родной кум при старом прижме у самого генерала Фильмонова в денщиках служил и рассказывал, что генерал их даже натошак сотнями заглатывал! Ел прямо на кореню! Вустрица ишо из ракушки не вылупится, а он уж ее оттель вилочкой позывает. Проткнет наскрозь и — ваших нету! Она жалобно пищит, а он, знай, ее в горловину пропихивает. А почем вы знаете, может, она и эта хреновина вустричиной поро-

ды? Генералы одобряли, и я, может, нарошно для навару вам, дуракам, положил ее, для скусу...

Тут уж Любишкин не выдержал: ухватив в руку медный половник, он привстал, гаркнул во всю глотку:

— Генералы? Для навару!.. Я — красный партизан, а ты меня лягушатиной, как какого-нибудь с... генерала... кормить?

Щукарю показалось, что в руках у Любишкина нож, и он со всех ног, не оглядываясь, кинулся бежать...

Давыдов обо всем этом узнал, приехав на стан, а пока, проводив Щукаря, попросил Разметнова погонять, и вскоре подехал к стану бригады. Дождь все еще звенел над степью. От Гремячего Лога до дальнего пруда, в полнеба, стала горбатая, цветастая радуга. На стану не было ни души. Попрошавшись с Разметновым, Давыдов пошел к ближней клетке пахоты. Около нее на попасе ходили выпряженные быки, а плугатарь — Аким Бесхлебнов, — лентяш итти на стан, лег на борозде, укрылся с головой зипуном и придремал под шепелявый говор дождевой капели. Давыдов разбудил его.

— Почему не пашешь?

Аким нехотя встал, зевнул, улыбнулся:

— При дожде нельзя пахать, товарищ Давыдов. Вам про это неизвестно? Бык — не трактор, как толечко намокнет у него шерсть на шее, — враз ярмом потрешь шею до крови, и тогда уж на нем отработался. Верно, верно! — закончил он, приметив недоверчивость во взгляде Давыдова, и посоветовал: — Вы бы лучше пошли аников-воинов развели. С утра Кондрат Майданников к Атаманчукову присыкается... А зараз вон у них стражение идет на энтой клетке. Кондрат велит быков выпрягать, а Атаманчуков ему: «Не касайся моей упряги, а то голову побью...» Они уж вон никак за грудки один одного берут!

Давыдов поглядел в конец второй за складом клетки и увидел, что там действительно происходит что-то похожее на драку: Майданников, словно шашку,

вертел в руке железную занозу, а высокий Атаманчуков одной рукой отталкивал его от ярма, а другую, сжатую в кулак, держал за спину. Голосом слышно не было. Торопливо направившись туда, Давыдов издал крик:

— Что еще такое?

— Да как же так, Давыдов! Мокреть идет, а он пашет! Ить этак же он быкам шеи потрет! Я говорю: «Отпрягай, покада дождь спустился», а он меня матом: «Не твое дело!» А чье же, сукин ты сын, это дело? Чье, хрипчатый чорт? — кричал Майданников, уже обращаясь к Атаманчукову и захинаясь на него занозой.

Они, как видно, успели-таки цокнуться: у Майданникова черносливом синел над глазом подтек, а у Атаманчукова нанскось был разорван ворот рубахи, на выбритой впухшей губе расплзлась кровь.

— Вреда колхозу делать не дам! — ободренный приходом Давыдова, кричал Майданников. — Он говорит: «Не мои быки, колхозные!» А ежели колхозные, значит и шкуру с них сймай? Отступишь от быков, вражина!

— Ты мне — не указ! И бить не имеешь права! А то вот чистик выну, так я тебя не так перелициую! Мне надо норму выпахать, а ты мне препятствуешь! — хрипел бледный Атаманчуков, шаря левой рукой по вороту рубахи, стараясь застегнуть.

— Можно при дожде пахать? — спросил у него Давыдов, на ходу взяв из рук Кондрата занозу, кинув ее под ноги.

У Атаманчукова засверкали глаза. Вертя своей тонкой шеей, он злобно просипел:

— У хозяев нельзя, а в колхозе надо!..

— Как это, «надо»?

— А так, что план надо выполнять! Дождь, не дождь, а паши. А не вспашешь — Любишкин день будет точить, как ржа железу.

— Ты эти разговорчики... Вчера, в вёдро, ты норму выпахал?

— Выпахал, сколько сумел!

Майданников фыркнул:

— Четверть десятины поднял! Гля, какие у него быки! Рога не достанешь, а что вспахал? Пойдем, Давыдов! Поглядишь. — Он схватил Давыдова за мокрый рукав пальто, повел по борозде, не договаривая от волнения, бормотал: — Решали пахать не мене трех с половиной вершков глуби, а это как? Меряй сам!

Давыдов нагнулся, сунул пальцы в мягкую и липкую борозду. От днища ее до дернистого верха было не больше полутора-двух вершков глубины.

— Это пахота? Это земле чесотка, а не пахота! Я его ишо утром хотел побить за такую старанию. Пройди по всем ланам и скрозь у него такая глубь!

— А ну, пойди сюда! Тебе говорю, факт! — крикнул Давыдов Атаманчукову, неохотно выпрягавшему быков. Тот лениво, неспеша подошел.

— Ты что же это... так пашешь? — ощеряя щербатый рот, тихо спросил Давыдов.

— А вам как бы хотелось? Восемь вершков гнать? — злобно сощурился Атаманчуков и, сняв фуражку с голостриженной головы, поклонился: — Спасибо вам! Сами попробуйте вспахать глубе! На словах-то мы все, как на органах, а на деле нас нету!

— Нам так бы хотелось, чтобы тебя, подлеца, из колхоза гнать! — побагровев, крикнул Давыдов: — И выгоним!

— Сделайте одолжению! Сам уйду! Я — не проклятый, чтобы вам тут жизнь свою вколачивать... Силу из себя мотать за-ради чего, не знаю! — и пошел, посвистывая, к стану.

Вечером, как только вся бригада собралась у стана, Давыдов сказал:

— Ставлю перед бригадой вопрос: как быть с тем ложным колхозником, который обманывает колхоз и советскую власть: вместо трех с половиной вершков пахоты портит землю, пашет полтора вершка? Как с тем быть, кто сознательно хочет угробить быков, работая под дождем, а в вёдро выполнит норму лишь наполовину?

— Выгнать! — сказал Любишкин.

Особо ретиво его поддержали бабы.

— Такой колхозник — вредитель — есть среди вас. Вот он! — Давыдов указал на Атаманчукова, присевшего на дышло арбы. — Бригада в сборе. Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы вредителя и лодыря Атаманчукова выгнать? — Из двадцати семи «за» голосовали двадцать три. Давыдов пересчитал, сухо сказал Атаманчукову:

— Удались. Ты теперь не колхозник, факт! А через годик посмотрим: если справишься, примем обратно. Теперь, товарищи, выслушайте мое короткое и важное слово к вам. Вы почти все работаете плохо. Очень плохо! Нормы никем, за вычетом Майданникова, не выполняются. Это — позорный факт, товарищи вторая бригада! Этак можно в дым обмараться. С такой работой можем в миг влететь на черную доску, да так и присохнем на ней! В колхозе имени Сталина и вдруг такое явление безобразия! Надо в корне пресечь это дело!

— Дуже норма не по силам! Быки не тянут, — сказал Аким Бесхлебнов.

— Не под силу? Быкам? Чепуха! А почему же быкам Майданникова под силу? Я остаюсь в вашей бригаде, беру быков Атаманчукова и покажу вам на живом примере, что можно за день вспахать 1 га и даже 1¼.

— Э, Давыдов, да ты — ловкач! У тебя губа не дура, — засмеялся Куженков, зажав в руке короткий оклад седоватой бороды. — На быках Атаманчукова можно чорту рога свернуть! На них одну га это и я бы вспахал...

— А на своих ты не вспашешь?

— Сроду нет!

— Ну, давай поменяемся? Ты на атаманчуковых, а я — на твоих! Ладно?

— Давай спытаем, — подумав, серьезно и осторожно отвечал Куженков.

... Ночь Давыдов провел беспокойно. Он спал в полевой будке, часто просыпался, то ли от того, что гремела под ветром железная крыша будки, то ли от полуночного холода, забравшегося под непросохшее от дождя пальто, то ли от блох, густо населивших разосланную под ним овчинную шубу...

На заре его разбудил Кондрат Майданников. Он уже поднял на ноги всю бригаду. Давыдов выпрыгнул из будки. На западной окраине неба тускло просвечивали звезды, молодой, согнутый сагайдаком месяц золотой насечкой красовался на сизо-стальной кольчуге неба. Давыдов умывался, черпая воду из пруда, а Кондрат стоял около и, досадливо покусывая кончик желтоватого уса, говорил:

— За день десятину с гаком — это много делов... Загнул ты вчера через край, товарищ Давыдов! Как бы нам с тобой не опростоволоситься...

— Все в наших руках, все наше! Чего ты боишься, чудак? — бодрил его Давыдов, а про себя думал: «Умру на пашне, а сделаю! Ночью при фонаре буду пахать, а вспашу десятину с четвертью, иначе нельзя. Позор всему рабочему классу...»

Пока Давыдов вытирал лицо подолом парусиновой толстовки, Кондрат запряг своих и его быков, крикнул:

— Пошли!

Под скрип колёсен плугов Кондрат объяснял Давыдову простые, десятилетиями складывавшиеся основы пахоты на быках.

— Лучшим плугом считаем мы Сакковский. Вот хучь бы Аксайский взять, слов нет, — плуг, а до Сакковского ему далеко! Нету в нем такого настрою. Мы порешили пахать так: отбиваем каждому свою клетку, и бузуй на ней. Спервоначалу Бесхлебнов, Атаманчуков, Куженков, да и Любишкин к ним припрегся, зачали пахать след в след. «Раз у нас колхоз, — говорят, — значит надо пущать плуг за плугом». Пустили. Только вижу я — не туда дело загинает... Передний плуг остановится, и другим надо останавливаться. Ежели передний пашет с прохладцем, и остальные по нем нехотя равняются. Я и взбунтовался: «Либо меня, — говорю, — пущайте передом, либо отбивайте каждому свою клетку». Тут и Любишкин понял, что не годится так пахать. Ничью работу не видно. Побили на клетки, ну я и ушел от них, десять очек им дал, чертям! Каждая

клетка у нас — десятина, 160 сажен — долевой лан и 15 — поперечный.

— А почему поперечный лан не пахется? — глядя на обчин пахотной клетки, спросил Давыдов.

— А это вот зачем: кончаешь ты долевую борозду и на выгоне завертаешь быков, так? Ежели круто их поворачивать, так им шеи побьешь ёрмами, и — готов бык, негод пахать! Потому вдоль пробороздишь, а потом вывернешь плуг и гонишь 15 сажен порожнем. Трактор — он круто повернулся, ажник колеса у него под перед заходят, и опять пошел рвать обратным следом, а трех-четырех пар быков разве повернешь? Это им надо как в строю, на одной левой ноге крутиться, чтоб без огреха на повороте запахать! Через это и больших клеток в бычиной пахоте нельзя делать. Трактору, чем не длинше гон, тем спокойней, а с быками, пробуровлю я 160 длиннику, а потом ить плуг-то у меня по поперечному лану порожня идет, на ползунке. Да вот я вам нарисую, — и Кондрат, остановившись, начертил на земле отточенным концом чистика удлиненную клетку.

— Тут, нехай, четыре десятины. Вдоль — 160 сажен, а поперек — 60. Вот я пашу первый долевой лан, глядите: ежели я одну десятину пашу, мне надо порожнем 15 сажен по выгону обехать, а ежели 4 десятины — 60. Несходно ить? Поняли? Потеря времени...

— Понял. Это ты фактически доказал.

— Вы пахать-то, пахали когда?

— Нет, браток, не приходи ась. Плуг я приблизительно знаю, а пускать его в действие не могу. Ты мне укажи, я понятливый.

— Я зараз вам налажу плуг, пройду с вами гона два, а потом уж вы сами наловчитесь.

Кондрат наладил плуг Давыдова, переставил на подёмной подушке крюк, установив глубину в три с половиной вершка, и, незаметно перейдя в обращении на «ты», на ходу объяснил:

— Тронемся пахать, и ты будешь видать, ежели быкам будет тяжело, то подкрутишь оборота на полтора вог эту штуку. Называется она у нас боченком, видишь, он на разводной цепи, а борозденная цепь — глухая. Крутнешь ты боченок, и лемех трошки избочится, пойдет на укос и будет брать шириной уж не во все свои восемь дюймов, а в шесть, и быкам будет легче. Ну, трогаем! Цоб, лысый! Цоб!.. Не щади живота, товарищ Давыдов!

Погонич Давыдова — молодой парнишка — щелкнул арапником, и головные быки дружно взяли упор. Давыдов с некоторым волнением положил руки на чапиги, пошел за плугом, глядя, как, разрезанный череслом, лезет из-под лемеха по глянцевитому отвалу черный, сальный пласт земли, валится, поворачиваясь набок, как сонная рыбина.

В конце лана на выгоне Майданников подбежал к Давыдову, указал:

— Клади плуг налево, чтобы он на ползунке шел, а чтобы тебе отвал не чистить, вот так делай, гляди! — Он налег на правую чапигу, поставил плуг «на перо», и пласт земли, косо и туго проехавшись по отвалу, словно слизал плотно притертую, налипшую на отвале грязь. — Вот как надо! — Кондрат опрокинул плуг, улыбнулся: — Тут тоже техника! А не поставь плуг «на перо», надо бы, пока быки поперечный лан пройдут, чистиком счищать грязцо с отвала-то. Зараз у тебя плуг — как вымытый, и ты можешь на ходу цыгарочку для удовольствия души завернуть. На-ка!

Он протянул Давыдову свернутый в трубку кисет, свернул цыгарку, кивком головы указал на своих быков:

— Гляди, как моя баба навораживает! Плуг настроенный, выскакивает редко, ей и одной бы можно пахать...

— Это у тебя жена погоничем? — спросил Давыдов.

— Жена. С ней — сподручней. Ее иной раз и крепким словом пуганешь, — не обидится, а ежели и обидится, то голько до ночи... Ночь помирят, свои

как-никак... — Кондрат улыбнулся и широко и валко пошагал по пашне.

В первом упруге до завтрака Давыдов вспахал около четверти десятины. Он нехотя похлебал каши, дождавшись, пока поели быки, мигнул Кондрату:

— Начинаем?

— Я готов. Анютка, гони быков!

И снова — борозда за бороздой — валится изрезанная череслом и лемехом заклёкая, спрессованная столетиями почва, тянутся к небу опрокинутые, мертво скрюченные корневища трав, издробленная дернистая верхушка прятается в черных валах. Земля сбочь отвала колышется, переворачивается, словно плывет. Пресный запах чернозема живителен и сладок. Солнце еще высоко, а у подручного быка уже темнеет от пота линючая шерсть... К вечеру у Давыдова тяжело ныли потертые ботинками ноги, болела в пояснице спина. Спотыкаясь, обмерял он свой участок и улыбнулся спекшимися, почерневшими от пыли губами: вспахана за день одна десятина.

— Ну, сколько наворочал? — с чуть приметной улыбкой, с ехидцей спросил Куженков, когда он, влоча ноги, подошел к стану.

— А сколько бы ты думал?

— Полдесятины одолел?

— Нет, чорт тебя задери, десятину и лан!

Куженков, смазывавший сурчиным жиром порезанную об зубья бороны ногу, закричал, пошел к клетке Давыдова мерять... Через полчаса, уже в густых сумерках, вернулся, сел подальше от огня.

— Что же ты молчишь, Куженков? — спросил Давыдов.

— Нога что-то разболелась... А говорить нечего, вспахал, ну и вспахал... Делов-то! — нехотя ответил тот и прилег возле огня, натягивая на голову зипун.

— Замазали тебе рот? Теперь не гавкнешь? — захохотал Кондрат, но Куженков промолчал, словно и не слышал.

Давыдов лег около будки, закрыл глаза. От костра наносило запахом дре-

весной золы. Жарко горели натруженные ходьбой подошвы ног, в голених — ноющая тяжесть; как ни положи ноги, все неудобно, все хочется переменить положение... И почти сейчас же, едва только лег, перед глазами поплыла волнующаяся черная почва: белое лезвие лемеха скользило неслышно, а сбочь его, меняя очертания, смолой вскипала, ползла черная земля... Почувствовав легкое головокружение и тошноту, Давыдов открыл глаза, окликнул Кондрата.

— Не спишь? — ответил тот.

— Да, что-то голова кружится, перед глазами — земля из-под плуга...

— Уж это всегда так, — в голосе Кондрата послышалась сочувствующая улыбка. — Целый день под ноги глядишь, от этого и кружение делается. А гут дух от земли чертячий, чистый, от него ажик пьянешь. Ты, Давыдов, завтра под ноги дюже не пулься, а так, по сторонам больше интересуйся...

Ночью Давыдов не слышал ни укусов блох, ни ржанья лошадей, ни гогота припоздавшей станицы диких гусей, ночевавших на гребне перевала, — уснул мертво. Уже перед зарей, проснувшись, увидел подходившего к будке, закутанного в зипун Кондрата.

— Ты где это был? — в полусне, приподняв голову, спросил Давыдов.

— Своих и твоих быков стерег... Дюже поджормились быки. Согнал их в ложок, а там травка добрая выметалась...

Хриповатый голос Кондрата стал спремительно удаляться, глохнуть... Давыдов не слышал конца фразы: сон снова опрокинул голову его на мокрую от росы шубу, покрыл забытием.

В этот день к вечеру Давыдов вспахал десятину и два лана, Любишкин — ровно десятину, Куженков — десятину без малого и совершенно неожиданно для них на первое место выбился Антип Грач, до этого находившийся в группе отсталых, в насмешку прозванной Давыдовым «слабосильной командой». Он работал на отощавших Титковых быках, когда полудновали — промолчал о том, сколько вспахал, после обеда жена его, работавшая с ним

погонычем, кормила быков своей упряги из подола, насыпав туда шесть фунтов причитавшихся быкам концентратов; а Антип даже хлебные крохи, оставшиеся после обеда, смахнул с ваголы, высыпал жене в подол, — быкам на подкормку. Любишкин приметил это, усмехнулся:

— Тонко натягиваешь, Антип!

— И натяну! Наша порода в работе не из последних! — вызывающе кинул еще более почерневший от вешнего загара Грач. Он-таки натянул: к вечеру у него оказалось вспахано десятина с четвертью. Но уже затемно пригнал к стану быков Кондрат Майданников, на вопрос Давыдова: «Сколько к шабашу?» — прохрипел: «Без лана полторы. Дайте табачку на цыгарку... с полден не курил...» — и глянул на Давыдова обрезавшимися, но торжествующими глазами.

После того, как повечеряли, Давыдов подвел итоги:

— Социалистическое соревнование, товарищи вторая бригада, развернулось у нас — во! Темпы взяты очень достойные. За пахоту бригаде от правления колхоза большевистское спасибо! Из прорыва мы, дорогие товарищи, вылезаем, факт! И как не вылезти, если на

веществе доказана выполнимость нормы? Теперь надо навалиться на волочьбу. И чтобы обязательно волочить в три следа! Особое спасибо Майданникову, так как он — самый фактический ударник!

Бабы перемыли посуду, плугатары улеглись спать, быков погнали на попас. Кондрат уже придремал, когда жена забралась к нему под зипун, толкнула в бок, спросила:

— Кондраша, Давыдов тебя повеличал... в роде бы в похвальбу... а что это такое — ударник?

Кондрат много раз слышал это слово, но объяснить его не мог. «Надо бы у Давыдова разузнать!» — с легкой досадой подумал он. Но не растолковать жене, уронить в ее глазах свое достоинство он не мог, а потому и объяснил как сумел:

— Ударник-то? Эх, ты, дура-баба! Ударник-то? Кгм... Это... Ну, как бы тебе понятней объяснить? Вот, к примеру, у винтовки есть боек, каким пистонку разбивают, — его тоже самое зовут ударником. В винтовке эта штука — заглавная, без нее не стрельнешь... Так и в колхозе: ударник есть самая заглавная фигура, поняла? Ну, а зараз спи и не лезь ко мне!

(Окончание следует)

Энергия

Роман

ФЕДОР ГЛАДКОВ

(Продолжение ¹)

XXXIII

В обычный утренний час, под грохот взрывов, Викентий Михайлович сидел за столом и пил кофе. Константин с засученными рукавами доедал яичницу и словоохотливо делился впечатлениями о новой своей работе на кране. Варвара Михайловна насмешливо поблескивала стеклами пенсне и сердито мыла посуду. Викентий Михайлович усмехался то одной, то другой бровью. Он не смотрел ни на Константина, ни на сестру, будто знал, что жесткие его глаза неприятны для музыканта и Вари. Впрочем, это была его всегдашняя привычка: в беседе с глазу на глаз он смотрел мимо людей—в вещи, в стены, в руки собеседников. И он всегда замечал, что руки под его взглядом нервничали и скрывались под столом. Это смешило и раздражало его.

— В двигателе, — кричал Константин, — помимо его передаточных колес, шатунов, и всяких сложных деталей, есть что-то более важное: не просто моторная сила, а перевоплощение человеческой индивидуальности,—то, что дядя удачно называет психикой машины. Работа крана безошибочно определяет характер человека, который кладет руку на рычаг.

— Нового в этом ничего нет, Костя.—Левая бровь Викентия Михайло-

вича ощетинилась. — Буржуазные экономисты давно уже утверждали принцип одухотворенности машинного производства. Только они настаивали на его принудительности. Сейчас, правда, мы уже свидетели теории рационального автоматизма. Форд создает формулу, что гигантское предприятие слишком велико, чтобы быть человеческим. Тейлор выводит заключение из своей системы, что, мол, до сих пор на первом месте в производстве стояла личность, а теперь это место принадлежит организации и системе. То-есть не человек, а система, как некий фетиш. Риппель, описывая фордовские заводы, безапелляционно заявляет, что теперь никакой рабочий не отвечает за свою машину. И так далее. Говоря о психике машины, я имею в виду именно человечность механических процессов. Nota bene: в наших условиях. Рассуждения твои отмечаю, как интересный этап в твоём развитии. Для музыканта современности—это большая победа над традицией.

— Ну, опять...—Варвара Михайловна раздраженно отодвинула от себя посуду: она чувствовала себя чужой в этом разговоре близких людей.—Зачем смешивать в одно разные вещи и разные понятия?

— Нет, мама-Варя... — Константин очень живо повернулся к ней и погрозил пальцем куда-то вверх:—Это надс-

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 1—6 с. г.

понять... Интересно и увлекательно то, что чувствуешь всем своим существом звучание жизни этой удивительной системы механического движения. Я это испытываю впервые. Я никогда так не поражаюсь красотами природы, и никогда не потрясало меня так мастерство непревзойденного пианиста (я этих мастеров знаю немало), как изумила меня эта своеобразная жизнь крана, которым я управляю. Понимаешь, я слышу дыхание... этот механизм живет: дрожит, трепещет, пульсирует, напрягается... Он видит и действует. Кажется, что у него свой нрав, свои эмоции. Я ощущаю его жизнь и сожительство с ним. И я впервые понял дряхлость всех наших музыкальных инструментов. Нет, серьезно. Они первобытны. Они имитируют только силы природы.

— Тебя, Константин, наш труд преобразует...—как-то неожиданно засмеялся Викентий Михайлович. — Это несомненно.

— Что такое флейта?—Константин заил криком реплику Викентия Михайловича:—Это преобразованный птичий голос и свист ветра в дырочке высохшей коры. А скрипка?—Ведь это жилы, которыми сшивались первые одежды первого человека—нитка, натянутая рукой пещерной женщины, и эта нитка повторяла ее голос и крики ее ребенка. Из первой родился орган, а из второй—рояль. Это—воплощение давно ушедших эпох, поэтому и музыка этих инструментов дышит мистическими невнятностями анимизма. Природа! таинственные силы земли! скорби и радости голого человека, который живет во власти голой природы—страшной и прекрасной! И вот, когда мы—на пути к господству над природой, когда человек создает величавые и могучие производительные силы,—нет музыкальных орудий выразить его сложнейший внутренний мир... Поверьте, они неизбежно должны родиться.

— А ты, Костя, создай оркестр из кранов, дерриков и экскаваторов...

Варвара Михайловна встала, засмеялась и отмахнулась от Константина

обеими руками. Пенсне ее тоже сверкало смехом.

— Воображаю, что это будет за какофония. Прибавьте сюда поезда, грузовики, цеха механической мастерской. Весь свет сойдет с ума!.. Вы хотите индустриализировать чувства, но это же ведь—нелепость. Вы хотите распылять человека на машине, но ведь это—противоестественно: этого человек не вынесет и не потерпит. Человек не отдаст в жертву своих интимных жизней какому-то машинному молоху.

— Мама-Варя, я говорю не об этом. Я говорю о новой эре человеческого творчества, об освобождении его от власти старых теней. Я говорю о новых образах, о новых конструкциях. Обветшали старые звуковые эмоции; они деформируются, разлагаются, они преодолевают самих себя. Могучие формы Бетховена требуют новых воплощений: мощностю стиля—дыхание нашей эпохи, и это дыхание—дыхание миллионов, вооруженных колоссальными и изумительными двигателями. Энергетическая эпоха! Фрагментарность, элегическая рапсодная лирика, камерные забавы на пустычах—все это смешно и жалко. Это же—оскорбительно и унижительно, как пощечина. Нет-с, распахнуть горизонты, ринуться в будущее с армией освобожденного и дерзновенного человечества! Наше настоящее—это будущее, и в образах грядущего больше подлинного трепетания жизни, чем в наших днях, закованных в кандалы прошедшего... Эпигонство долой! Надо уметь слышать гром и песни новых дней.

Варвара Михайловна подошла к нему, безмолвно взяла его руку и пристально осмотрела его пальцы. Они были синие от масла и металлических отходов, в мозолях и отеках.

— Нет, это уже не пальцы художника, Костя. Машинист и музыкант отрицают друг друга. Твоя ошибка может кончиться очень плохо.

Викентий Михайлович насмешливо двигал бровями и уже с любопытством смотрел и на сестру, и на Константина,

как на детей, которые поссорились из-за пустяков. Константин с недоумением взглянул на мать и на свои пальцы, порывисто обнял ее и поцеловал в щеку.

— Мамаша, я тебе сейчас докажу, на что способны эти пальцы.

Он стремительно ринулся к двери, распахнул ее и скрылся в другой комнате. Грохнули огромные аккорды, и стены запели и задрожали от этого мощного грома. Быстро, уверенно зарокотали басы и игривыми трелями колокольчиков забрызгали высокие клавиши. Потом внезапно все смешалось в бурный вихрь звона и лепета—в грозу, в ветер, в крики о помощи, в девичий хохот.

Варвара Михайловна улыбалась сама себе и перебирала пальцами скатерть. Она встретила с глазами брата и сразу почувствовала себя жутко одинокой с ним. Викентий Михайлович встал, подошел к белке, небрежно, мимоходом поиграл с ней через переплеты проволоки и схватил шляпу с окна. Варваре Михайловне опять показалось, что глаза Викентия Михайловича холодны и бездушны, как стекляшки, а может быть, это были глаза человека, который не способен видеть в мире ничего, кроме своей идеи, своего реального дела, не способен слышать ничего, кроме самого себя—своей мысли и своих шагов, которые воплощаются в календарных эпохах, в грохоте страшных и слишком обыденных механизмов. Это был немой разговор глаз — родных, но бесконечно чужих: глаза матери и глаза волка.

Музыка внезапно оборвалась, потом опять вздохнула и залилась ручейками и водопадами. Воздушное трепетание звезд, игра молний и радуг, смех и плач детей.

— Эюд Шопена...—улыбалась и плакала глазами Варвара Михайловна.— Как он чудесно играл когда-то эти лирические вещицы!.. Ты его с'едаешь, Викентий... Уже — не то... не то... плохо... очень плохо... Это уже не музыка...

Константин вошел опять в комнату, немного смущенный и встревоженный. Он виновато посмотрел на свои пальцы,

и Варвара Михайловна заметила, что он инстинктивно что-то стряхивал с них.

— Как дико играть эту чепуху!.. далеко это и ненужно... Ты готов, дядя? Шепель—замечательный прораб. У него механизмы поют стройным хором. Это—вдохновенный и умный дирижер. С ним работать очень интересно...

Варвара Михайловна молча и скорбно села за стол и стала мыть посуду.

Константин с испуганным изумлением украдкой поглядывал на свои руки, на мать, на окна и волновался.

XXXIV

В дверь осторожно и вкрадчиво постучали. Все переглянулись с немым изумлением: никто не посещал Викентия Михайловича на квартире да еще в такую рань. Балеев снял шляпу, опять бросил ее на окно и сердито насторожился.

— Войдите! Прошу!

Варвара Михайловна выпрямилась, схватилась левой рукой за жемчужную нитку на груди и пошла к двери зыбкими шагами. Этот жест вызвал усмешку у Балеева: у сестры это—старинка. Этот жест для своих гостей—один, ласковый, похожий на улыбку, для чужих—другой, оборонительный, строговатый.

Дверь отворилась, и в ее распах за-серебрилась голова Стрижевского. Его пенсне сверкнуло деланой улыбкой, и под седыми усами блеснули ровные зубы. Стрижевский в белом свежем костюме был весь прозрачен и молод. В нем было что-то от иностранца или от довоенного спеца высокой марки.

— Можно? Прошу извинения за неурочный и неожиданный визит.

Варвара Михайловна тоже сделала приветливую улыбку и потянула книзу свою шелестящую жемчужную нитку.

— Милости просим, Евгений Григорьевич. Не было ни гроша, да вдруг алтын.

Стрижевский почтительно приложился к ее ручке и опять блеснул молодыми зубами.

— Не во-время гость—хуже татарина, как говорится, Варвара Михайловна. Одичали мы вконец. Эта несусветная

работа нас похоронила: не видим ни дня, ни ночи. Никак не можем выбрать лишний час, чтобы связать себя в домашней взаимной дружбе. Вините и меня, и Викентия Михайловича.

Он подошел к Балееву, который стоял поодаль от стола и неприветливо следил за Стрижевским. Константин в кепке, по-рабочему нечистоплотный, инстинктивно подтянулся, и лицо его застыло, как маска.

— А! наш пианист и композитор... Ну-с продолжаете, что называется, выковыривать новые музыкальные образы? Убейте меня, но не ведаю никаких музыкальных родников в нашей строительной бестолочи.

Константин молча и нелюбимо вышел из комнаты.

— Кофе, пожалуйста, Евгений Григорьевич.

— Благодарю, Варвара Михайловна. Я, собственно, зашел на минутку перекинуться двумя словечками с Викентием Михайловичем. Спешу на поезд.—Он горестно опустил седые усы, а потом сразу сверкнул зубами в улыбке.—Как говорится, чертям и в аду тошно... Тянут! В Москву дня на три. Конечно Гипромет и Югосталь. Никак мы еще не наладим наших дружественных отношений с этим хотя бы почтенным Гипрометом: безбожно терзает затяжками по проектам. Строить надо, а мы не можем—пропущены все сроки. Нет проектов. Опять вероятно какая-нибудь канитель с привязкой зданий или с пересмотром плана капитальных сооружений.

Викентий Михайлович грубовато подхватил его под руку и подтолкнул к своему кабинету.

— Ну, раз не хотите пить кофе, пройдемте ко мне в комнату.

Он стал жестким, неудобным и тяжелым. Так и казалось, что вот-вот он сейчас грубо набросится на Стрижевского и наговорит ему кучу оскорблений. На носу, на ушах, под глазами очень четко зашевелились суровые волоски.

— Ну, а как с пожаром на комбинатах? Выяснили причины? Какая там гадина устроила эту иллюминацию?

И от этих выкриков Стрижевский как-будто сгорбился,—стал жидким, маленьким, виноватым.

Варвара Михайловна не выносила этого вульгарного тона у Викентия Михайловича. Она хотела одернуть его взглядом, но увидела только широкую его спину, и серебристый шершавый затылок. Сквозь тонкую рубашку розовели могучие лопатки.

«Почему у него такие большие руки? Вероятно он способен убить в припадке гнева».

Стрижевский сел у стола и вынул портсигар. Он бодро блеснул стеклами пенсне и опять улыбнулся сплошными зубами.

— Ах, да... этот пожар... Да какая же стройка проходит без пожаров, Викентий Михайлович? Неосторожность рабочих. Обычное явление.

— Чумалов утверждает, что это—поджог. Это надо выяснить.

— По-моему, Чумалов судит неосновательно, Викентий Михайлович. Я лично интересовался этим событием. Ездил сам и беседовал с инженерами. У меня—иные выводы: по площадке бродят сезонники, бросают спички и папироски в стружки и щепу. Сушь, жара. В пустых помещениях пьют и курят до одурения. Сторож оказался пьяным. Какой, помилюйте, дурак будет поджигать здания, которые стоят на юру? Чепуха! Сейчас идет расследование. Подождем результатов.

И Стрижевский то заразительно сверкал зубами, то мгновенно тушил их. Эги вспышки и потухания улыбок происходили у него внезапно и неожиданно, как-то некстати, и от этого они казались фальшивыми.

— Ну, что ж, Викентий Михайлович... Значит, инициатива и, так сказать, генеральная линия выходят из сферы нашей хозяйственной воли?

— То-есть?

Балеев остро воткнулся в Стрижевского и подобрался подозрительно и чутко. Жесткие волосы на голове и на ли-

це оцетинились. Стрижевский блеснул улыбкой и сразу же смахнул ее.

— Мы стали в оппозицию к организациям.

— Я не знаю, кто стал в оппозицию к организациям. Технический совет солидарен с линией организаций.

— Это не совсем так, Викентий Михайлович. Дело не в официальном решении, а в фактическом соотношении сил. Вопрос упирается в альтернативу: или хозяйственное руководство переходит в руки организаций, или весь план работ проводится управлением объединенного строительства.

— Об этом не может быть и речи, Евгений Григорьевич. Я не понимаю, о чем вы говорите.

— Ясно же, Викентий Михайлович. Уточнить вашу позицию в этом вопросе очень важно. Тут может быть множество недоразумений.

— Никаких не может быть недоразумений.

— Однако... Вы должны знать, что большинство инженеров, в том числе Шлиппе и я, решительно возражаем против чудовищного и нелепого увеличения плана кладки бетона и сумасшедшего форсирования темпов. У нас все полетит к чорту. Учтите, что мы ни под каким видом не можем пойти на эту сделку. В нашем распоряжении осталось ничтожное время,—два-три месяца,—и мы при всех наших благих порывах не можем в нем уложиться, чтобы провести хотя бы две трети нашего хозяйственного плана: мы от силы можем уложить только 350 тысяч кубометров бетона на плотине и в такой же пропорции на комбинатах. Заводы не в состоянии выдерживать такой нагрузки, и консистенция будет ужасной. Я, Викентий Михайлович, снимаю с себя всякую ответственность за эти события. Я считаю безумием, пустой игрой готовить заведомую катастрофу. Мы же—не дети, у нас, кажется, есть головы на плечах, есть опыт и знания, чтобы позволить себе пассивно плыть по течению. С нас спросится в первую голову.

— Подождите Евгений Григорьевич. Вы же ерунду порете!..—грубо оборвал

его Балеев.—Вопрос стоит иначе: надо лопнуть на месте, а план выполнить в положенные сроки. Эти сроки упущены по нашей вине. Мы же и должны выправить положение. Придется нажать до седьмого пота.

— Но—технические возможности, Викентий Михайлович... Мы не можем поступиться этой нашей основной задачей Убейте меня, но я ни в коем случае не соглашусь дать плохую консистенцию бетона. Вы первый не можете не согласиться, что в один и тот же отрезок времени, при наличии одних и тех же технических средств, 600 тысяч в отношении к 350, максимально к 400 тысячам сокрушительно бьют по качеству, а следовательно и по всем нашим показателям. Катастрофа неминуема, это же—факт. Иностранная консультация взвыла истошным матом. Шлиппе сейчас сидит с уполномоченным главного консультанта и защищается только своей бородой. На-днях приезжает сам Райт,—нам придется воевать, и мы будем позорно биты. Нельзя же идти против очевидности, против простой арифметики. Это значит—расписаться в собственной безграмотности.

— Что ж, будем воевать. Надеюсь, что противник будет смят по всему фронту. — Балеев усмехнулся в усы.—Заставим Шлиппе решить эту задачу. Думаю, что он еще не забыл четырех элементарных правил арифметики.

Стрижевский мгновенно блеснул зубами, мгновенно погасил их, и в глазах его метнулась злоба. И будто чувствуя, что выдал себя, он засмеялся, точно вспомнил что-то забавное и веселое. Голос его стал домашне-интимным.

— Кстати, вы не слышали о себе очередных крылатых словечек? Пущена гулять по свету такая острота: нач- строя когда-то кормил фигами организации, а теперь не может даже прикрыть своей собственной наготы. Чорт знает что...

И—опять мгновенная вспышка зубов.

Балеев чуть-чуть вздрогнул и выпрямился, усы и борода стали горячими и колючими. В них судорожно шевелилась усмешка.

— Фиги тогда были безвредными хлопущками, Евгений Григорьич, а теперь я одет в броню.

— Анекдоты и крылатые словечки создаются в узловые моменты, Викентий Михайлович. Недовольные—всегда остряки. Это—камень, брошенный из-за угла.

Балеев сидел к Стрижевскому боком, неудобно, точно нетерпеливо ждал ухода непрошенного гостя.

— Это исходит из среды специалистов. Они—злопамятны. Ватагин например такой глупости не скажет...

— Но речь Ватагина на последнем заседании, Викентий Михайлович, была вызывающей и по форме, и по содержанию. Это—человек, который имеет смелость смотреть на нас сверху вниз. Открыто говорится, что Ватагин мобилизует массы для борьбы с начтстроем и управлением. Чумалов назначен заместителем помимо вас, обходными путями. Вас даже не постарались поставить в известность. Это уже вызов—сигнал к наступлению. На плотине фактически руководит работами партком, и прорабы шагу шагнуть не могут без Ватагина и Гудима. Весь план и распорядок работ в их руках.

— Очень хорошо.

— Вы неудачно шутите, Викентий Михайлович.

— Я не шучу. Ведь технический персонал и Шлиппе выпустили дело из своих рук. Так и надо—не зевай. Нам придется поучиться и у Ватагина, и у рабочих, как организовывать труд... Вам не нравится?

— Да уж что хорошего... Мы отступаем по всем фронтам... а вожди глушат нас, как рыбу... Что осталось делать Шлиппе? Что остается делать мне? А вы поставлены в положение английского короля: ваша прерогатива—царствовать, а не править. Какие тут шутки, Викентий Михайлович! Так работать невозможно... Ведь этак можно разогнать всех ценных работников.

Балеев быстро встал и посмотрел на часы. Встал и Стрижевский. Мгновенный блеск улыбки и мягкая предупредительность в движениях.

— Поезжайте себе в Москву, Евгений Григорьевич, и не задерживайтесь там. По приезде вы обо всем этом доложите на нашем узком совещании.

— Что вы, что вы, Викентий Михайлович! То, что я откровенно выразил вам с глаза на глаз, я не могу высказать в присутствии людей, которые сжигают меня со света. Я только считал нужным заблаговременно предупредить вас и поставить в известность о своей точке зрения на вещи.

— Ну, тогда я этот доклад сделаю сам и подкреплю его вашим авторитетом.

Стрижевский засеменил к двери, весь серебряный, в искорках. Викентий Михайлович проводил его до выходных дверей, молча, угрюмо, колючий и замкнутый.

Ему было неприятно от этого странного, необычного посещения Стрижевского. То, что он сказал ему, он мог бы сказать в управлении, в его кабинете, в час своего каждодневного визита. Очевидно, в этом его посещении была какая-то особая цель — смутить его, вселить тревогу или просто испытать его, чтобы в дальнейшем определить линию собственного поведения. Должно быть, последнее заседание было для него полно всяких неожиданностей, которые вывели его из обычного равновесия. До сих пор все было ясно и привычно, он знал только стены управления,— эти стены дышали его дыханием, а сам Балеев был несложен и прозрачен, и они понимали друг друга с полуслова. Теперь же, после странного заседания технического совета, который опрокинул у многих весь обычный распорядок мыслей, Стрижевский испугался, несмотря на свою выдержку: он не появлялся в кабинете Балеева дня два. Чувствовалась смутная растерянность среди инженерной публики—все замолчали и ушли в себя. Только Шлиппе, как обычно, заходил к нему каждый день для разрешения текущих вопросов по плотине и как ни в чем не бывало тряс своей жизнерадостной бородой. Эта борода была у него надежным, спасительным парусом: ни нутра, ни

лица не видно было за этими шелковыми струями; она блистала достоинством и ответственностью за возложенные на него обязанности руководителя сооружения мировой электростанции. Кто из них более опасен—Стрижевский или Шлиппе? Стрижевский осторожен, как кошка, и его видно издали, Шлиппе никогда не выражает ни тревог, ни волнений ни при каких обстоятельствах: он будет проводить все, что ясно сформулировано и пунктуально закреплено. Шлиппе вот не пришел к Балееву, а Стрижевский как будто наступил плотно лапками на мокрое место и торопливо стряхивает с них грязь. Стрижевский дышал сейчас дружеской простотой и мягкой игрой: держал он себя непринужденно и легко, летая в улыбках, слова были безмятежны, и голос пел в приятных модуляциях. Но Викентий Михайлович чувствовал в каждом кошачьем движении его, в каждой вспышке зубов вражду. Самый визит его в своей необычности, не свойственной этому осторожному и неуловимому человеку, был похож на тревогу и предостережение. Этим своим посещением Стрижевский как будто давал понять Викентию Михайловичу, что хотя визит его, Стрижевского, и неприличен в такое раннее время, без предупреждения, но он, Стрижевский, был вынужден на такой рискованный шаг и сделал это под давлением событий, виновником которых является сам Балеев. Пусть он, Стрижевский, нарушает правила приличия, но печальная необходимость заставляет его неофициально, в интимной обстановке дать своевременно почувствовать начстрой, что он нарушил былые связи с высшим техническим персоналом, что вся корпорация не сочувствует его странной позиции, которая для всех непонятна. Они склонны смотреть на это, как на причуду, как на его личное настроение, даже как на некоторый изгиб его линии под давлением партийной организации. Но почему он, Балеев, заранее не посвятил ни своих заместителей, ни ответственных руководителей стройки в свои планы и намерения? Уж это одно освобождает их от

обязанности слепо подчиняться его капризам.

Викентий Михайлович понял, что этот визит Стрижевского—объявление войны, что брошенная им перчатка поднята. Ему пред'явлен ультиматум: или оставаться одиноким против всех технических живых сил и вести с ними затяжную, сложную борьбу, или опять по-прежнему идти с ними в тесном сплочении и сотрудничестве. В первом случае он будет раздавлен без опоры всего инженерства — его авторитет для них теряет всякий вес, а общественные организации, как сила вспомогательная, а не техническая, сядут ему на шею и сделают его своей жертвой и послушным орудием своих целей. Во втором случае он сохранит достоинство и высоту авторитета, как знамя технической интеллигенции, и создаст барьер против стихий, которые уже разрушительно действуют на весь сложный и слаженный аппарат управления и технического руководства. Если даже все они будут разбиты в этой борьбе, все же они будут правы и сильны, так как они выйдут из катастрофы со щитами, на которых будет начертана вся история их борьбы за честную, высококачественную стройку. Они сумеют доказать в высших органах правильность и неотразимость своих позиций. Они—против безрассудного форсирования темпов, ведущих к гибели, они — против оглушительных демонстраций масс и отдельных лиц, которые хотят сыграть на ударности в целях собственных карьеристских стремлений.

Викентий Михайлович хмуро и молча проводил Стрижевского до приемной и несколько мгновений пристально смотрел на дверь, которую он плотно захлопнул за гостем. В нем боролись две силы, и он немножко взволновался. Варвары Михайловны уже не было в комнате, и он был рад этому: ей не следует видеть его колебаний, она—делкатна: она не хочет мешать ему в этот миг его острой внутренней встряски.

XXXXV

Кряжич сидел за чайным столом и читал газету. Против него перед се-

ребристым чайником, похожим на снаряд, читала книгу жена Маргарита Эрнестовна, попросту, по-домашнему — Рита. Оба молчали. Оба были одиноки вместе. Лампа висела низко над столом, и скатерть искрилась инеем, а посуда — стаканы, блюдечки, тарелочки — лучисто переливалась белизной и хрустальными изломами. Сахар в граненой сахарнице дробился, играл зернистыми осколками замороженного снега. Было уютно, тихо, успокоительно-пусто вдвоем в четырех комнатах квартиры.

«У меня *gemütlich*, — надрывно думал Кряжич за этим столом, и всегда, как только он садился за этот стол, это «*gemütlich*» назойливо жужжало у него в мозгу, как комар ночью над головой. — *Gemütlichkeit*... Чего еще мне нужно? *Daunenbett*... Чем же я недоволен?.. Почему от этого «*gemütlich*» мне хочется повеситься или ночевать на плетине?..»

Рита, бледноволосая, с припухшим лицом, в пудре (лицо будто от этого шелушилось), с крашеными губами, украдкой посматривала на Кряжича истерическими глазами, подернутыми слезой, и не решалась говорить с ним. А говорить ей хотелось, хотелось побылому слышать голос мужа. Последний год был очень мучителен: она почему-то постоянно раздражала Кряжича, и ему было невыносимо слышать даже ее голос — немного надломленный, обидчивый и нервный. Три года она уже живет здесь, в этой труппе, ни разу никуда не выезжала, ни с кем не связалась домашней дружбой (он не любит посторонних людей в доме), и эти годы для нее были бескрылы, безгласны и тошнотны. Эти три бестрепетные года выпали из ее жизни, как годы заточения и безрадостного одиночества. За что такая незаслуженная участь? Если он сам не хочет общения, сам в своем углу уединяется от людей, сам страдает от какого-то внутреннего угнетения, о котором она только догадывается, потому что он ей никогда не открывал своей души, — так почему же она должна жить в этой серой душевой пустоте? Она ка-

ждое лето просила его отпустить ее хотя бы на месяц в Крым или в подмосковный дом отдыха, или просто к своим друзьям в Детское Село, но он с злыми глазами резко обрывал ее:

— Оставь, пожалуйста, свои глупости. Я не хочу обращаться за одолжением к людям, которых я не выношу. И в гости не поедешь: мы — не нищие.

Были кошмарные сцены. Он бушевал, был страшен, и ей приходилось слезаться в кухне, на веранде, даже в уборной. Он ее уже не любил, а временами она с ужасом чувствовала, что презирал, и она рыдала в одиночестве до невыносимых головных болей и, оскорбленная, с отчаянием и безнадежностью в душе, спрашивала себя безответно:

«До каких же пор эта мука, этот ужас? Что же делать? что предпринять? Отравиться? Уйти от него навсегда?»

И чувствовала, что ни убить себя, ни уйти от него она не может: умереть — страшно до обморока, а уйти — некуда. Она — беспомощна, ничего не знает, работать не может и, когда одна среди людей, теряется, как цыпленок. А быть нелюбимой пленницей — невыносимая пытка.

Она не раз заговаривала с мужем о его работе, о стройке, о людях, которые его окружают, но каждый раз встречала его изумленный, презрительный взгляд, который резал ее уничижающей насмешкой. Он отвечал ей на вопросы только одной холодной фразой.

— Тебе это совсем неинтересно.

И за столом они молчали, угнетенные и измученные. Она, немая, плакала. Он торопливо выпивал стакан чаю и уходил к себе в комнату.

Она была немка, по-русски говорила плохо, и они тревожили себя только по-немецки. А Кряжичу от этого было почему-то смешно, и ее слова, отравленные болью, казались ему бессмысленными и фальшивыми.

«Зачем вообще она? — думал он злобно и мучительно: — Зачем я около нее? И какой смысл имеет наша с ней совместная жизнь?»

Сегодня он был особенно беспокоен. Он посматривал на дверь, прислушивался

ся к открытому окну и почему-то нервничал. Пил чай и забывал о чае. Нечаянно ловил взглядом жену и не видел ее. Она радостно отдавала ему свои глаза, но они бессильно и безнадежно тонули в слепых глазах мужа.

— Николай, я вижу... с тобой это впервые... ты волнуешься...

Он привычно взглянул на нее с удивлением, как будто не понял ее вопроса.

— Это тебя не касается, Рита. Тебе это не нужно знать.

— Что ты говоришь, боже мой! Почему ты не чувствуешь, как мне страшно?

И глаза ее замутились в слезах.

— Но зачем же слезы, Рита?

— Почему ты такой, Николай? И почему я должна в страшном одиночестве выносить эту пытку?

— Устрой свою жизнь как тебе угодно.

— Без тебя я не могу устроить своей жизни. Зачем ты мне это говоришь?

— Больше я тебе ничего не могу сказать.

— Ты переживаешь какую-то драму, Николай, а я не знаю. И не узнаю, очевидно, никогда.

— В твоих словах—фальшь. Драма! К чему это?

— С тобой невозможно говорить.

— А ты не говори.

— Понимаешь ли ты, Николай, как ты жесток? Каждое твое слово для меня—удар, оскорбление. Ведь ты же для меня—все. Мне больше нечем жить.

— Человек должен жить всем. Жить бесконечно малым—значит превратить себя в пьявку, в солитера, в полип.

— Почему же ты не оторвешь и не отбросишь от себя вон эту ничтожную пьявку?

Рита с ужасом в глазах встала и, шатаясь, вышла из комнаты. Кряжич, страдая и раскаиваясь, изнуренно посмотрел на то место, где сидела жена, и пошел с газетой в руках в свой кабинет. На столе остался полый стакан крепкого чая.

«Глупо, гнусно, отвратительно! Я горю о культуре, о какой-то иной жи-

зни, но сам несу в себе варварство. Надо что-то развязать, что-то изменить и устроить жизнь по-людски. Мне больно, я виноват, но почему я не могу преодолеть самого себя? Пусть едет куда ей угодно. Зачем я ее удерживаю?»

Он с газетой пронесся к ней в комнату и увидел ее за столиком. Она вздрагивала плечами и плакала беззвучно. Голова лежала на руках и пылилась волосами под лампой.

Ему стало жалко ее, и в душе у него заныла гнетущая тоска. Все казалось ему нелепым и ненужным: и Рита, и он сам, и ее слезы, и их совместная жизнь, и все последние годы его слепого существования. Он робко обнял ее и сразу же почувствовал, что делает это насильно.

— Рита, ты извини меня: я к тебе несправедлив. Отдохни от меня... вообще отдохни... Поезжай, куда тебе хочется — в Москву, в Детское Село, в Крым... Освежись, подкрепи себя...

— Я никуда не поеду... никуда... оставь меня...

— Но ведь ты же сама хотела. Я понял, что ты права.

В голосе ее не было слез: он был равнодушен, бесцветен — пустой какой-то.

— Я никуда не поеду... и мне некуда ехать... Для слепого уже нет солнца...

Кряжич молча выбежал из ее комнаты, спасаясь от самого себя: в этом тусклом равнодушии Риты он опять до боли почувствовал фальшь.

«Нет, этому надо положить конец...»

И не знал, чему и как положить конец и что, собственно, его мучило: она ли, Рита, или собственная его душевная смута.

Короткий, рваный звонок. Кряжич выбежал из кабинета и застыл посреди комнаты, точно его отшибла какая-то сила. Прислуга шла навстречу, испуганная и скрюченная.

— Вас спрашивает... какой-то... Бубликов, кажись...

— Просите! Проведите ко мне.

И он так же быстро убежал обратно, оглядываясь раз за разом, и почему-то крепко захлопнул за собою дверь.

Он не знал, зачем обещал зайти к нему Бубликов, но чувствовал в его словах что-то тяжелое и зловещее. Как только он услышал в телефон его голос и твердые слова, он сразу же до галлюцинации увидел его наркотические глаза. И этот телефонный—далекий и близкий—голос мгновенно наполнил душу его смятением. Так он весь день до последнего мига и жил этим предчувствием необычайной встречи. Он ждал Бубликова каждую секунду, опираясь рукою на стол и не отрываясь смотрел на дверь, но, когда Бубликов внезапно появился в его комнате, телесный и обычный, с искристым ежиком, с наркотическими глазами и квадратной бородой, Кряжичу стало легко, и он неудержимо, с улыбкой на губах, шагнул ему навстречу.

— Вот редкий гость. Садитесь. Очень рад.

— Не думаю.

— О?

— Не думаю, что рады: вы ведь гостей не любите, живете волчком, честно, пунктуально, с любовью выполняя свой труд.

Бубликов насмешничал, но был до суровости серьезен.

— Да. Именно честно и, вероятно, с любовью. Меня не в чем упрекнуть. Разве вы без интереса работаете на своей площадке?

Бубликов пристально, пытливо и молча осмотрел Кряжича—его лицо, голову, грудь и руки. Сел и почесал бороду двумя пальцами.

— Комната у вас без украшений: ни картин, ни портретов, ни книжных шкафов. Вы меньше всего думаете о своем гнезде.

— Наоборот: у меня — *gemütlich*... Бубликов впервые сдержанно улыбнулся.

— Я к вам, Николай Николаевич, пришел на самое короткое время—поставить крепкую точку над «и». Не знаю: возможно, что кое-кому из нас опасно ходить по ночам, опасно спать в своих квартирах и, вообще, опасно существовать.

— Не понимаю, Бубликов, — Кряжич дрожал нутром от нахлынувшей мутной волны.—Мне нечего и некого бояться. Я спокоен за свою судьбу.

— Будто бы?

Бубликов опять ощупал Кряжича наркотическими глазами и усмехнулся, как человек, который видит перед собою тонкого хитреца. Кряжич раздраженно фыркнул и бросил газету в сторону. Смятый лист крылато отлетел к ногам Бубликова. Газету Бубликов отшвырнул башмаком, и она скоробилась у стены.

— Не хитрите, Кряжич, не наивничайте.

— Слушайте, Бубликов. Я же — не преступник, не политический заговорщик, чтобы постоянно ожидать изоляции или возмездия...

Бубликов медленно и раздумчиво закурил папиросу и долго смотрел на огонек спички. Он поискал пепельницу на столе, не нашел и бросил уголек в угол.

— Возвратите мне, пожалуйста, ту бумажку, которую я передал вам на заседании технического совета.

— Какую бумажку?

— Ну, помните же... Вы спрятали ее в карман, в правый. Это—относительно консистенции бетона и способа его кладки на бычках.

— Ах, да!..

Кряжич торопливо, с лихорадочным беспокойством, как виноватый, заелозил обеими руками по всем карманам. Бубликов терпеливо, с пытливой усмешкой, изучал Кряжича и очень уютно сидел в кресле, раскинув руки на локотниках.

— Ну, так что же, Кряжич? Вы воспользовались моим советом относительно форсирования кладки до предельного рекорда? В формуле консистенции надо изменить один из членов, именно тот, на который я вам указывал. И главное—форсировать. Завод должен работать сверх своей нормы. Не забудьте, что этого требует новая встречная цифра, которая предъявлена нам организациями. Мы должны идти им навстречу.

— Я не понимаю, Бубликов: вы смеетесь и и злорадуетесь?

— Ни то, ни другое. Шлиппе и Стрижевский—ещительны против встречно-

го плана организаций. Это—их дело. Я лично иду рука об руку с организациями и с Балеевым. Вам все равно не отбориться: вы должны подчиниться решению технического совета и ни в коем случае не противодействовать воле организованных масс. Иначе вы будете биты, и вас объявят вредителем.

— Какая ерунда, Бубликов! Иностранная консультация уже наложила veto на это решение.

— Наивный вы человек, Кряжич. Неужели вы думаете, что вопросы политики и хозяйственного плана решает иностранная консультация? Этой консультации дадут по шапке, если она будет вмешиваться в наши внутренние дела. Ее роль—скромная: экспертиза. Если будут соблюдены все ее указания и всякие условия в процессах стройки, ей наплевать и на сроки, и на нас с вами. Ну, так нашли вы мою бумажку?

— Нет. Не могу придумать, куда она делась. Вы не беспокойтесь—я найду ее: вероятно, она где-нибудь в бумагах.

— Ну, нельзя же быть таким растяпой, Кряжич... Извольте найти сейчас же...

Бубликов встревоженно и озлобленно бил глазами Кряжича. Он весь как-то вытянулся к нему, и руки его будто похудели от судорожного напряжения. Кряжич только сейчас, вглядываясь в Бубликова, понял, что утраченная бумажка несла в себе ту огромную опасность, которая тревожила Бубликова. В тот миг, когда Бубликов подсунил ему этот листик из блокнота, Кряжич испугался нелепости формулы. И потому, что он увидел в ней нелепость, он быстро забыл о ней, но образ Бубликова все время тревожил его и пугал своей назойливостью. И только сейчас вспомнил он, как Бубликов шептал ему за столом:

— Сейчас будет битва русских с кабардинцами. Представители масс будут требовать мировых рекордов. Не протестуйте. Поддерживайте самым решительным образом.

И потом на бумажке Кряжич прочел: «Консистенция бетона при проведении мировых рекордов».

— Позвольте, позвольте, Бубликов. Я рассматривал вашу бумажку, как шутку, как нелепость, которой можно доказать глупость и невежество людей, выбрасывающих дикие лозунги. Но, как видно, вы придаете ей серьезное значение?

— Очень серьезное, Кряжич. В моей формуле нет ничего нелепого. Вы же меняли консистенцию бетона месяца два назад?

— Я? Никогда в жизни. Откуда это вы взяли?

— Не притворяйтесь, пожалуйста. Чем же объяснить порчу бычков в левом протоке?

— Я не могу этого понять. У меня вышло гяжелое столкновение с немцами. Я твердо проводил их формулу — вернейшая формула, а они меня обвиняли в том, что я не следовал их указаниям. Тут, очевидно, все дело в недоброкачественных замесах и плохой кладке сезонниками. Немцев я прижал к стенке: они извинялись.

— У вас работают люди, которых я знаю хорошо. Ведь консистенция бетона может меняться согласно указаниям руководящих лиц.

— Послушайте, Бубликов... Я ничего не понимаю. Всякие указания могут исходить только от меня.

— О, разумеется, Кряжич! Только от вас.

Бубликов степенно вынул из бокового кармана толстый конверт и положил его на письменный стол.

— Вот. Здесь две тысячи. Расписки не беру.

Кряжич ошалело следил за руками и лицом Бубликова, а Бубликов привораживал его к месту наркотическим взглядом—взглядом удава. Кряжич, с обожженным лицом, подскочил к столу, клюнул носом пакет и жадно, в ужасе, попохал оттопыренный треугольник конверта. Ему подмигнула из треугольника восковая добротность гербовой бумаги—красота тонкого рисунка, гравированного на стали,—цифра «10» в радужном, волнообразном овале. Кряжич очарованно, с судорогой в лице, онемевший, в страхе смотрел на конверт, и ру-

ки его, панически отлетевшие за спину, беспомощно хватали пальцами воздух.

— Это... что же такое? Бубликов?

— Вы же не слепы, кормилец? Деньги. То, что вам следует получить за ваши труды. То-есть, это—лишь часть гонорара. На-днях я вручу вам остальные две тысячи, плюс аванс на проведение дальнейшего плана.

Кряжич оглох, и сердце у него замерло, а потом рванулось к горлу и оборвало дыхание. Ему даже почудилось, что Бубликов размахнулся и ударил его по лицу. И страшная боль, и брызги крови в глазах, и ощущение стремительного падения в бездну... Визгливый крик внутри—во всем теле, в мозгу, в конечностях. Миллионы острых иголок в руках, на лице и на спине. Плеснулось в груди стон задавленного человека и вырвался вздохом, и с этим вздохом он отпрянул назад. На мгновение увидел, как Бубликов смотрел на него с тревожным беспокойством—не то с испугом, не то с брезгливой усмешкой. И это уверенное, немного исковерканное лицо Бубликова, с жестким ершиком, который казался отравленным, и опять этот полуоткрытый наглый пакет вдруг заорали во всем Кряжиче бешенством и иступлением сумасшедшего. Слепой, смертельно бледный, дрожащий, он схватил со стола пакет и швырнул его на пол, к ногам Бубликова. Коверкалось лицо улыбкой боли. Всматриваясь в Бубликова, он сказал глухо, с занозой в горле, сказал тихо, даже спокойно, буднично:

— Вы, Бубликов... как же вы... как же вы смеете являться ко мне с этой грязью?.. с грязью и позором?..

И у него оборвалось дыхание. Он схватился за стол, цепко, с угаром в глазах: так и казалось, что он упадет сейчас на пол в припадке эпилепсии.

Бубликов брезгливо смотрел на него и курил, уютно погружаясь в кресле.

— Кряжич, вы это... бросьте истерику. Вы же—не барышня. А еще инженер с всероссийским именем... Имейте в виду, что мы вас очень ценим и возлагаем на вас исключительные надежды.

Кряжич рванулся от него с гадливостью и бешенством. Его лицо уже было разбухшим и красным. Оно обливалось потом. Рубашка была тоже мокрая. Он сразу успокоился и фыркнул презрительно. Глаза его были залиты слезью. Он засмеялся и хрипло закричал:

— Кто это—вы?.. И какие это исключительные надежды?..

— Я требую, Кряжич, чтобы вы не орали...

Кряжич ударил кулаком по столу:

— Нет-с, я буду орать! буду!.. Вы думали, что я — подлец, продажная тварь, нуда?.. Ха, вы нарвались, любезнейший...

У Бубликова вздрагивали руки и быстро трепетали морщинки около глаз. Но держал он себя попрежнему ровно и невозмутимо.

— Вы еще не отошли, Кряжич? Может быть, вам дать водицы? Это же смешотворно!.. Слушайте внимательно. Я должен сообщить вам, что вы состоите... активным членом... в таком своеобразном ИТР'е... Как бы вы ни бесновались—вычеркнуть свое имя вы не сможете. И ни перед кем не оправдаетесь. Если случится, паче чаяния, провал, вы будете схвачены ОГПУ одним из первых, как организатор и генерал. Ну?

Кряжича потрясал смех и нестерпимая ярость. Бубликов дробился в его глазах, кувыркался, как кукла, и Кряжичу хотелось броситься на него и вцепиться ему в горло. Разрывая смехом слова, он кричал, точно в бреду:

— Да неужели?.. Да кто это оказал мне такую честь? Какой же дурачок, этот Кряжич!.. растаяли у него глазки от денег... Ах, как верно рассчитал этот бездарный шантажист Бубликов!..

И ударил кулаком по столу.

— Да ты знаешь... идиот ты... ведь я сейчас же пойду к Балееву и сообщу ему все...

— Что это—все? Ребенок вы этакий!.. очнитесь!..

— Да-с, я сообщу о вас, о вашем подлом предложении... о деньгах...

— Хо, как вы глупы, Кряжич!

Бубликов выпрыгнул из кресла и толкнул Кряжича грудью.

— Кряжич, не ор-раты! Извольте владеть собою. Нас слышат и стены и бабы...

Кряжич судорожно оттолкнул его ладонью, и сам отшагнул в сторону.

— Уходите сейчас же, Бубликов... пожалуйста, уходите... иначе... иначе я...

Бубликов сделал вид, что внимательно прислушивается к нему и ждет того слова, которое должен наконец произнести Кряжич. Он ковырял спичкой в зубах и с любопытством ловил глазами и голову, и плечи, и руки, и даже губы, и нос Кряжича.

— Что — иначе?.. Ничего не может быть иначе... Бредите вы, Кряжич... Откуда у вас такая истерика, не понимаю?.. Неужели вы думаете, что мы так простоволосы? Вы погибнете первым, а нас не уловит никакая сила. Почему вы уверены, что Балеев не член нашей партии? Кормилец, не я, а вы предложили мне вступить в некую преступную организацию. Не я, а—вы. У нас ведь много средств и приемов борьбы, вплоть до уничтожения отдельных мало надежных индивидов.

Кряжич чувствовал, что он слабеет быстро и безнадежно. Точно пойманный, раздавленный страшным капканом, парализованный, он пал духом и весь опустился, обмяк, онемел.

— Так вот-с, Кряжич. Я ухожу. Завтра вы мне дадите ответ. Отдохните. Идите, ложитесь, а то упадете. Только... бумажку, бумажку...

И брезгливо ухмыльнулся.

— Какой же вы мягкотелый и безвольный человек! А еще инженер — дельный и знающий.

И опять строго и повелительно дернул его за плечо.

— Предупреждаю, Кряжич...

Этот голос опять взорвал Кряжича гневом. Неожиданно он схватил Бубликова за воротник и, теряя сознание, заорал:

— Мерзавец! ведь я же никогда не буду пред-дателем своего д-дела. Понятно, наглец?.. Не получишь бумажки. Нет-с! К чорту!..

И отшвырнул его от себя с такой силой, что Бубликов грузно отлетел к стене и ударился головой.

Как раз в этот момент отворилась дверь, и в ее распахе показалась Рита, испуганная, дрожащая, с застывшим страхом в глазах.

— Николай!.. что тут происходит, ради бога?.. Как это ужасно!..—И, вцепившись в косяк, простонала:—Там... ворвалась какая-то девица... Она сейчас же требует свидания... Что за тревога такая сегодня?..

Она увидела растрепанные фигуры мужа и Бубликова, их искаженные лица, и обморочно открыла рот с застрявшим криком в горле, точно она в этот миг ждала смертельного удара.

Бубликов уже оправился и учтиво поклонился Рите.

— Фрау Кряжич, не волнуйтесь напрасно. Мы вели с Николаем Николаевичем только деловую беседу. Но он слишком экспансивен: он настоящий ребенок. Разрешите мне уйти, фрау Кряжич.

Он уверенно и твердо пошагал из комнаты, откидывая плечи назад и выщелкнув бороду. Рита задыхалась. Вот-вот она упадет сейчас на пол.

— Николай!.. Что произошло, Николай?

Кряжич порывисто повернулся к ней спиной.

— Ничего не произошло, Рита. Можешь идти спокойно. Не произошло ничего. Не волнуйся.

Рита медленно тянула за собою дверь, не отрывая застывших глаз от мужа.

XXXVI

Дверь всосалась в косяк и замолкла, но мгновенно опять оторвалась от стены, и в комнату смело, без всякого смущения, вошла Татьяна.

— Николай Николаевич! прошу на меня не сердиться. Я непременно должна была сейчас зайти к вам.

Кряжич юрко повернулся к ней и невольно отпрянул назад. Татьяна быстро подошла к нему и опалила его своими горячими ресницами. Но лицо ее было холодное, чужое, строгое,—прекрасное лицо женщины, которая знает, что пришла во-время.

— Разрешите сесть?

— Прошу, Татьяна Ивановна...—Кряжич пробежал по комнате.— Почему вы так поздно? Какая-нибудь экстренная неурядица?

Татьяна села на стул, и ресницы ее дрогнули от изуловимой улыбки.

— Вы негостеприимны, Николай Николаевич.

— Извиняюсь. Я немножко взволнован.

— Я знаю. Вы не только взволнованы, вы—в панике.

Он испуганно остановился и стал ощупывать себя обеими руками.

— Вы знаете? Что вы знаете? Что вы можете знать?

Татьяна усмехалась, но на него не смотрела.

— Какие же у вас основания, Николай Николаевич, отказывать мне в праве наблюдать за людьми?

Она скользнула ресницами по полу и на миг задержала их на разорванном пакете, из которого выбивались лоскутья червонцев.

— Я знаю, Николай Николаевич, что вы не прочли моей работы. Рукопись мне срочно нужна. Возвратите ее сейчас. Она затребована в центр.

— Вы пришли за рукописью?

— Да.

— Хорошо. Я сейчас найду ее. Она у меня где-то в ящике стола. Вы правы. Я не прочел ее. Я виноват перед вами.

И он поспешно бросился к столу и завизжал выдвигом ящичков.

— Но я не только—за рукописью, Николай Николаевич...

— Так-с? Интересно, ну, ну?

Он выпрыгнул из-за стола с расплавленными глазами, с прыгающей бородкой.

— Вы знаете, что я несколько лет была беспризорницей?

— Как? как? Что-то там говорили... но я не охотник слушать всякие пересуды...

— Я прошла, товарищ Кряжич, желую школу опыта. Я привыкла ничего не бояться: я узнала, что, собственно, в жизни бояться нечего. Всякие трагедии — от трусости: люди не имеют смелости переступить через грани и препятствия. А это так просто. Обычно так называемая трагедия, это—иллюзия. Дерзость разрушает всякие иллюзии, Николай Николаевич. Достоевский создавал тьму трагедий, но все это—плод бредовых видений. Надо быть реалистом, а Достоевский,—какой же это реалист? Вам не доводилось держаться на весу под вагоном пассажирского поезда? Именно тогда, когда он мчится со скоростью 60—80 километров в час?

— Это—ужасно.—Кряжич дрогнул плечами.—Но вопрос ваш очень страшный...

— Ничего нет ужасного...—Татьяна насмешливо взметнула на него глазами. Они у нее были мягки и тихи, а длинные ресницы делали их печальными.— Я передвигалась так очень часто. Привыкла. А то вот—среди оголтелых жиганов разного возраста—одна. Беззащитная. До насилия только один шаг, один жест...

— Ну, и... так, так?..—Кряжич подвигался к ней жадно, украдкой, точно готовился к прыжку.

— Я умела быть свободной. Главное—не ослепнуть, не струсить, не впасть в панику, не осложнить момента, и на всякое событие глядеть очень просто, как на самый будничнейший факт. Простота и спокойствие делают человека непобедимым. Был случай, когда я верным ударом выбила финку из руки спеца по мокрому делу и спокойно бросила в реку. Но были часы настоящей безнадежности и отчаяния, и я поняла, что глупо включать отчаяние в будущее. От этого—ужас, страдание, сумасшествие...

— Позвольте, позвольте, Татьяна Ивановна...—Кряжич насторожился и повернул к ней голову, как глухой.— Я не понимаю немного... Это вы, собственно, по поводу чего?

Татьяна выпрямилась с недоуменным упреком.

— То-есть, как это по поводу чего? По поводу вашего возбуждения... вашего отчаяния... Я же вам сказала,—помните, на плотине? — что я вас наблюдаю...

— То-есть, держите на прицеле? — Кряжич вспыхнул от гнева и готов был взорваться ревом.—Устраиваете слежку, филерствуете?

Татьяна равнодушно, совсем небрежно откинулась от него и сказала рассеянно:

— Мои слова, кажется, ясны. Я вас наблюдаю... как человека наблюдаю и изучаю,—человека. очень для меня ценного и интересного. Поняли?

— Да. Но почему? Зачем это нужно? — Кряжич смущенно улыбнулся.

— Просто потому, чтобы в решительную минуту притти вам на помощь. Вы же ведь не были беспризорником. Вы в некоторые моменты, как сейчас вот, можете растеряться и погибнуть от паники.

Она встала, подошла к нему так близко, что он вдохнул влажную теплоту ее тела. И от этой ее теплоты и ощущения ее близости он почувствовал мутное наслаждение внутри.

— Николай Николаевич! — глаза Татьяны стали глубокими и проникновенно-ласковыми.—Николай Николаевич, вы эти деньги спрячьте пока. Завтра я найду им место. Ваше столкновение с этим... я нечаянно услышала в окно...

— Вы... вы...—лепетал Кряжич растерянно и жалко:—Вы... знаете, да?.. Слышали, да?..

— Я же вам сказала: нечаянно. Не только слышала, но и видела.

— Это было ужасно, Татьяна Ивановна!..

— По-моему, самый простой житейский случай. Только... почему вы так беситесь? Скрипнут дверью, а вы уж—в исступлении. Отсюда и нелепые трагедии. Помните наш спор? Наша культура—иная. Мы—откровенны и прямы. Мы честны и смелы и поэтому ничего и никого не боимся.

Она впервые осмотрелась и быстро протянула руку.

— Ну, до свидания.

— А рукопись?

— Найдете завтра и возвратите.

Кряжич схватил ее руку и наклонился над ней. Но она быстро ее вырвала.

— Это—не годится, товарищ Кряжич.

Она решительно и твердо пошла из комнаты. У двери она оглянулась и улыбнулась ему свежо и дружески.

— Татьяна Ивановна!..

Кряжич рванулся и протянул к ней руку, как ребенок, которому страшно остаться в одиночестве.

— Ну?

— Подождите. Я хочу рассказать вам все, что произошло со мною...

— Нет, это—потом. Сейчас не нужно. Только не оправдывайте себя и постарайтесь посмотреть на действительность настоящими глазами.

И распахнула дверь. Она прошла через столовую, и Кряжич видел, как Рита пристально, молча, проводила ее паническими глазами. И как только хлопнула выходная дверь, она медленно, с большим усилием отдирая ноги от пола, подошла к Кряжичу.

— Это—она? Да?

— Что значит—она?

— Какая она красивая!..

Кряжич погладил ее по плечу и, насилая себя, мягко подтолкнул к ее комнате.

— Ну, иди к себе, Рита. Какая у тебя слабость к мелодрамам!..

Она, слепая, обрадованная его лаской, торопливо пролепетала:

— Я... иду, Коля... я иду... не сердись на меня...

XXXVII

«... Умны мы или глупы? Мы—сила и жизнь. Всякая жизнеобразующая эпоха—это всеобъемлющий идеал и подавляющая цель. Наше время—время больших форм. Всякая новая культура жестока и самолюбива. Форма—в коллизии с формулой. Смелость разума—в столкновении в догмой. Есть много людей в наших рядах, которые чувствуют, что ни одна их мысль, ни одно дея-

ние не вспыхнет без окрика карательной скрижали. Может быть, это закон всякого организованного движения, что буре возрождения всегда сопутствует тень великого авторитета? Индивидуальность — анархична, капризна, своевольна, а коллектив суров».

Цезарь сидел за столом над тетрадью в клеенчатой облатке с красным обрезом и строчил неразборчиво фиолетовыми чернилами. Ученическая ручка, маленький, уродливый пузырек с бронзовыми потоками и каплями застывшего химического раствора. На столе—книги и бумаги. В простенке над его жидковолосой головой прищиплены портреты Ленина и Энгельса. Оба они смотрят в стороны, а не на Цезаря. Он такой одинокий и маленький человечек, что они его не заметят и не узнают никогда. Жил он на верхнем поселке, в новом корпусе, в молодой зелени бульвара и палисадника. Дом был одноэтажный, с открытыми верандами по бокам, а веранды—в гириандах кудрявых вьюнков и пышной листве дикого винограда. Эти дома тянулись по обе стороны мостовой—все стандартного типа. В его доме—две квартиры по четыре комнаты. В одной половине жил инженер-путеец Дугин, в другой две комнаты занимал прораб Шепель, а в смежных двух ютились: он, Цезарь, и геолог Борзый. Цезарь и Борзый не мешали друг другу.—обе их комнаты безгласны и кротки. Семья же Шепеля тоже была тиха: их девочка лежала или сидела покорно и ясно. Бестелесная, с тонкими руками в синих жилочках, беспокойными, жадными до движений, с большими бледными глазами, пристальными, знающими что-то такое, чего не знали все эти окружающие ее люди, и лукавыми до притворства, точно эти младенческие глаза грустно смеялись над ними: «Эх, вы, наивные старики! ведь я вас всех и каждого вижу насквозь. А вот вы меня не знаете и не узнаете никогда». Мать—тоже худенькая женщина, с тревожным, виноватым голоском, быстрыми, услужливыми жестами и испуганными глазами. И от того, что она была конопатенькая, казалась особенно жалкой. Тесного

общения между Цезарем и геологом не было; отъединялись они также и от Шепелей, точно боялись стеснить их. Только каждый вечер оба они, обычно порознь, заходили к Анечке, целовали ее ручки и улыбались ей, и она улыбалась. И спрашивали не они ее, а она их, и они должны были отвечать ей четко и вразумительно на все вопросы. С Борзым она говорила о науке, а с Цезарем обо всем. И Цезарь всегда с удовольствием чувствовал, что он с этим умным и пристальным ребенком говорил, как с собой, и открывал в себе такие неожиданные вопросы и мысли, которые приводили его в смущение. Беседы эти он почти каждый день записывал в свою тетрадь. Иногда Анечка звонко звала их из своей квартиры:

— Дядя Борзый!.. Крот!.. Землеройка!.. Иди ко мне!.. Я забыла тебя спросить очень важное...

Или:

— Цезарь! Ты слышишь? Дятел носом—тук да тук... Это про тебя сказано?.. Ты очень похож на дятла... Пожалуй-ка сюда! Я забыла, кто это сказал: «Исследуем!..» У меня есть один вопрос... исследуем!..

Виновато вмешивалась мать и с робким упреком тревожно спрашивала, как маленького ребенка:

— Анечка, не надо бы?.. Может быть, они заняты?

— Мамочка, и Цезарь, и дядя Борзый всегда же говорят мне искренне: «Анечка, я занят...» или: «Анечка, ты неумеренна в вопросах...»

Но и Цезарь, и Борзый, как бы они ни были заняты, всегда приходили к ней, и она сама прогоняла их от себя.

К отцу она относилась сухо и холодно. Вопросы задавала ему строго и очень деловито. Она хорошо знала строение и действие машин и следила каждый день за результатами их работы. Отец обязан был каждый вечер давать ей отчет в цифрах. Знала она хорошо геологию, палеонтологию, мироздание, а из общественных наук почему-то интересовалась только историей. Читала по целым дням только художественную литературу. Однажды она удивила Цезаря:

она встретила его стихами из «Мцыри» — взволнованно, с криком в глазах:

...О, я, как брат,
Обняться с бурей был бы рад.
Глазами тучи я следил,
Рукою молнии ловил...
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы так вы мне взамен?..

И она прочла ему наизусть целых три главы, потом взяла его руку и долго не выпускала ее.

— Если бы ты знал, Цезарь, дружок, как это... ведь сердце замирает!..

Перед сном Цезарь сидел над своей тетрадью и заносил в нее свои мысли и наслоения дня. Это он про себя называл «голосом в будущее». Это был не дневник, не повесть о жизни и делах Цезаря и не хроника строительных будней. Это были просто фрагменты неизвестного целого — обрывки мыслей, выводов, характеристики людей, афоризмы, которые записывались торопливо, точно автор боялся, что, если он не запишет их, не закрепит на бумаге, они растают, угаснут, уйдут невозвратно. Цезарь работал в парткоме, проводил совещание по политработе, разрабатывал планы учебы, агитации, собирал пропагандистов, но был мало разговорчив: больше слушал, изучал их, следил за их делами и характерами, не обгонял и не хлестал их, а только наводил, направлял их работу, редактировал их объяснительные записки и программы. И все чувствовали в нем деликатного, немного замкнутого человека, который в молчании тушил свое лицо, а когда смотрел на товарища, глаза его под бледным лбом мягко и тепло светились. Когда же он говорил, лицо вдруг вспыхивало и сгорало ярко и горячо.

Каждый вечер он перелистывал свою тетрадь между делом, которое он должен был выполнить на дому и приготовить новое к следующему дню, задумывался, ходил по комнате, а потом вдруг садился к столу и близоруко исписывал одну или две странички. Иногда заносил он только одну мысль в трех-пяти строках и удовлетворенно прятал ее в ящик стола. И после этого лицо его оживлялось, здоровело, и гла-

за блестели тепло и радостно. Ходил он по комнатке много и думал о чем-то основательно и самозабвенно.

Перелистывая тетрадь, он любил перечитывать старые записи, но поправок не вносил, — считал, что мысли вчерашнего дня имели свою форму проявления, свое воплощение, которое соответствовало состоянию мозга и реальной действительности именно вчерашнего дня. Исправлять, видоизменять запись — значит насиловать факт, произвольно изменять мысль, хотя бы она и не отвечала системе мыслей сегодняшнего дня. Он перечитывал свои записи и с волнением замечал, что он развивается, движется, видоизменяется, что в нем происходят такие внутренние процессы, которые неуловимо, но напряженно совершают великую работу человеческого жизнестроения...

«... Противоречия двигают мир. Великая стройка вызвала к жизни и расстрясла первобытные силы. Большие формы жизни, поглощая малые, сами прорастают ими. Но этот процесс удивительно своеобразен: деревня, обыватель, торгаш проявляют вдруг невероятную жизнедеятельность. Мужичья масса приходит в движение и миллионными потоками несется по железным дорогам, водным путям и на телегах в города. Город начинает дышать деревенским духом. Мужичьи привычки, мысли, чувства, слова начинают буйно водворяться в корпусах и цехах заводов, на улицах, в городе, в одежде горожан и пролетариев. То же и в деревне. Своеобразная общественная диффузия. Дикая трава прорастает между камнями мостовой и во дворах заводских гигантов. Быт пролетария — новый быт коллективиста и общественника — покрывается плесенью. В цехах и на улицах гуляет густой мат. Этот отвратительный стервятник, каркая, летает свободно среди людей, призванных строить социалистическую жизнь, и гадит на самое дорогое для нас — на высоты, завоеванные кровью и страданиями.

«В Москве, в Ленинграде, в ведущих пролетарских городах, не умеют создать

улицы (не умеют общественно ходить, а нагло, слепо, торчком преграждают путь), не умеют организовать общественный быт, достойный гордости революционного класса. Пролетарий замучен деревенской местечковой анархией и не замечает этой проказы. Если бы пролетарий, строящий социализм, вдруг увидел жизнь улицы своими глазами, он немедленно бы пришел в страшный гнев и объявил бы революционный поход против торжества этого мракобесия в своем быту.

«Застарелая, трудно излечимая язва наших дней — это хвастовство и грубая похвальба грязью, как чисто пролетарским атрибутом. Иллюстрация:

«Немецкие коммунисты-рабочие прислали фотоснимок своей группы нашим рабочим в знак братской солидарности (шла переписка между ними декларативного порядка). Картон рассматривали после заседания ячейки ЦММ. Один рабочий долго смотрел на фотографию, угрюмо, недоверчиво, а потом щелкнул по ней пальцем. Он был в прозодежде, чумазый, с изуродованными руками.

— Обман это, други милые! Гляди, какими буржуями выпятились. Щляпы, тросточки, пальты на руках. Крахмало. По рукам сужу — чистые руки, приличные. Разве такие рабочие бывают? Я двадцать лет у станка, и вот мои руки: култыхи. И грязи в них столько, что скребком не счистишь, а мозоли — как орехи. Жена утюжит каждодневно все эти двадцать лет: «Рыло, говорит, хоть бы разок отмыл, что ли. С тобой выйти в люди гацко, не то ли что лежать». Попа, мол, видать и в рогоже, старуха. Нам, пролетариям, грязь счищать не к лицу, а мозоли — наша привилегия. Это — наша чешуя. Я бы эту карточку в сортир бросил: смущение одно для рабочего человека».

Молодые рабочие и кое-кто из стариков мололи его несколько дней. А он только озлобился.

Цезарь перечитывал эти очень мелко списанные странички и думал:

«Это — рудименты прошлого. Это не характеризует всего рабочего класса нашей страны. Мирон, Чумалов, Васяй,

Байкалыч — вот пролетарии, которые определяют эпоху и весь класс в целом. Они и олицетворяют нашу борьбу на фронте культурной революции. Их — меньшинство. Но дело — не в большинстве. Для движения в его целеустремлении типично не большинство, а именно жизнедеятельное меньшинство».

И опять садился и перелистывал страницы.

«... Культура только тогда — факт, когда она — быт. Лозунги культурной революции — пустая фразеология, если они не будут дыханием масс. Чем громче звучат эти лозунги, тем они бессодержательнее. Культурная революция! Культурная революция! А массы еще не имеют элементарных культурных навыков. Культура — это чистоплотность в быту и в отношениях к себе и другим. Это — высота сознания и человеческого достоинства. А у нас испытывают наслаждение в том, чтобы загаживать уборные, писать на заборах и на стенках мерзкие слова, всячески гадить друг другу. Хамство, склоки, демагогия, кружковщина, самоистребление, подхалимство... А ведь живы мы тем, что мы создали нового, — тем, чем проросли в будущее. Жизнь — это высшее качество. Но качество наше так еще ничтожно. Мы трагически живем прошлым в нашем быту, и в мыслях».

«... Крикливый героизм — фальшь: это — один из отвратительных видов карьеризма. Подлинный героизм — невидим, потому что скромнен: он — стыдлив. Героизм, это — вдохновение. Самые героические люди у нас — водолазы. Зимой этого года нужно было тщательно обследовать дно и основание перемычки среднего протока. Была замечена деформация дна. Река покрыта толстым льдом. Приказ: двое водолазов должны погрузиться на дно и провести обследование и, если будут найдены дефекты, устранить их. Наш старейший водолаз Егоров, огромный человек, похожий на циркового борца, добродушно (у него — женский голос) улыбнулся.

— Да ведь, товарищи... Чего нас уговаривать-то... На сем ведь деле и стоим.. обязанность... Конечно полезем...

Прорубили широкою полынью, спустили лодки, и Егоров с другим своим товарищем, Макиным, молчаливым, всегда почему-то сонным парнем, спустились на дно. Макин дал сейчас же тревожный сигнал. Его вытащили, сняли скафандр. Он едва дышал — совсем застыл от холода. Когда отдохнул и отошел немного, потребовал, чтобы его спустили вторично. Егоров же работал около получаса. В этот же день он заболел крупозным воспалением легких».

«... Вы, люди будущего, счастливые дети свободы! Знайте, что мы строим наш новый мир с большими страданиями и лишениями. Мы — не только творцы, но и ассенизаторы. Мы во имя будущего человечества взяли на себя все болезни и муки переходной эпохи. Грязь, кровь, пороки пережигаем мы в себе и собою. Самоотвержение — это то, что когда-то энтузиасты-мечтатели, римские рабы, выразили очень крепко: «...воскреснет, смертью смерть поправ».

«Людам свойственно жить рефлексами прошлого: новое всегда страшно, потому что необычно. Привычная вонь милее аромата новизны. Этот аромат воспринимается, как нашатырный спирт. Он бьет по мозгам. Он разрушает покой. Осокин — в своем домашнем быту. Мирон Ватагин — весь из противоречий. Его биография — сплошная борьба с самим собой и бытом. И я вижу, что эта борьба дается ему нелегко. Каждым своим шагом он стремится стать на новую ступень и делает это мужественно. Он не боится ничего, а это — все для человека. Победить себя — это истребить в себе страх. Бесстрашие должно быть органическим свойством нашего человека. В этом — цельность борца. У Ватагина это проявляется сурово, почти аскетически. У Чумалова — это свойство его горячего темперамента. Чумалов чувствует боль в борьбе, он часто доходит до бешенства. Ватагин умеет боль превратить в холодное бездушие. И я думаю, что ему мучительнее жить,

чем Чумалову. Боль, загнанная в нутро, растворяется в крови. Она живет до могилы. Боль, которая вырывается в бешенстве, перегорает быстро. У такого человека всегда свежая кровь. Такой человек жаждет опьянения».

«... Тот, кто часто к делу и не к делу кричит о диалектическом материализме, — лицемер и трус. Это — приспособленец, подхалим. Прекрасный образ, повторенный без надобности и смысла много раз, превращается в пошлость — от него начинает тошнить. «Диалектический материализм» в устах карьериста звучит досадно и неуместно. Это — заклинание. Оно — орудие для самозащиты. Больше всего меня мучают этим заклинанием Шалнин и Самородов. Этот Самородов — любопытный тип, как будто немислимый в наших условиях, в эпоху строительства социализма, но удивительно легко приспособляющийся. Он вращается в наше бытие, как осот в хлебное поле. С каждым он говорит его языком: он как бы становится искомверканным отражением собеседника. Чумалову он сплетничает на Шалнина, Шалнину — на Чумалова, Ватагину — на Балеева, Чумалову — на Ватагина и т. д. — бесконечная цепь лжи, сплетни, наговоров, сочинительства, невероятного обилия слов и смакования. Все знают ему цену, но он не смущается. Все знают его, но ценят, как дворовую собаку. Шалнин — бесподобный трус и подхалим и, как все подхалимы, подозрителен и смятен страхом. У обоих с языка не сходит «диалектика», и у меня чешутся руки — уши им нарвать. Первый хорошо поет тенором, а второй ловко играет на гитаре. Они сходятся вместе по вечерам, сплетничают, льстят друг другу и устраивают интимные концерты. От Ватагина и Байкалова я очень редко слышу эти сакраментальные слова. Зачем им произносить их всуе, ежели это — их натура?»

«... Я часто переживаю какое-то смутное чувство обреченности (ночью, во сне, утром, при пробуждении, или когда остаешься один), точно до самой

смерти я должен нести на своих плечах целый мир. Я понял, что это такое: мы живем в царстве необходимости, и судьба наша — действительно судьба Атласа. Люди будущего — люди царства свободы — никогда не узнают нашей трагедии. Ценою собственной крови и подчинения целому мы несем им безграничный мир, чуждый принуждения. Наш коллектив — это диктатор: коллектив — все, личность — это бесконечно малая дробь. Поэтому законы наши ударны, дисциплина — мочуца. Это — не рабство, но самопожертвование. А личность скорбно смотрит вдаль, за горизонт настоящего, и только предчувствует великий рассвет. Иногда мне хочется побыть опять ребенком, нет птиц, которая летает в вышине. Может быть, для нас, современников, абсолютная свобода — могила?»

«... Прорыв. Почему? От неумения создать систему подвижного хозяйственного взаимодействия. Разрывы звеньев. Деревня бьется в горячке: там форсируют темпы, и рьяные местные герои упрощенно загоняют мужика в рай. Паника. Уничтожается животина, бросаются насиженные гнезда... Загибы, извращения, свистопляска... Селянин, очертя голову, бежит, куда глаза глядят. Тревога — на стройке: потоки — в деревню, потоки — из деревни. Нет жилищ, острый недостаток продовольственного снабжения. Мы не можем питать людей по-человечески. Столовые, это — кошмар, это — издевательство над народом. Я бываю на фабрике-кухне, и меня тошнит от одного вида гнусного ядева. Я бываю на участках работ — туда пища привозится в термосах. Эта синяя болтушка смердит трупом и выгребной ямой. Рабочие предпочитают только хлеб с водой. Но два последние дня — перебои в доставке хлеба. Мало этого: основное зло — хлеб не выдается по утрам, он не выдается и по вечерам. Хлеб можно получить только в разгар работы. С кооперацией мы в изнурительной борьбе. Вчера хлеба не было. Сегодня — тоже. Сезонники бунтуют на комбинате. Унизительно

и позорно мы работаем. Социализм — это развитое чувство связи с живыми людьми. Живой человек грозен, когда он охвачен гневом».

Эту запись Цезарь настроил в один присест. Он прошелся по комнате и хотел сесть опять, чтобы занести в тетрадь что-то важное: в его глазах сияло волнение.

«Очевидно во мне трепещет беспокойная жилка литератора. Но я не творю, — я только заносу в реестр обрывки мыслей и фактов. Это — мое интимное. Но может ли и должен ли большевик нашей эпохи отходить в интимное? Говорят: большевик должен на всю жизнь отрешиться от себя, от своего личного. Разве наша партия истребляет человека? Как еще много в наших мозгах полицейщины! Я боюсь только одного: бессилия записать главное — то, что обжигает меня. И бессилие, и неумение — самая ужасная пытка. Все выходит мелко и жалко. Явно, что я — не писатель. Мысль кажется значительной и глубокой, а на бумаге — чепуха».

XXXVIII

На улице было темно, и над рекой, за сквером, звездилось зарево огней. В саду стонала духовая музыка. В сквере, во тьме, играл девичий смех. В комнате Борзя было тихо — спал он или, по обыкновению, работал? Но — стук в запертую дверь, которая соединяла их комнаты. Голос Борзя, взволнованный, но насмешливый (очевидно, на носу у него — очки для дальнозорких):

— Цезарь Семеныч! Рекомендую просмотреть толстые книги шлисельбуржца Морозова. Любопытно, дерзко... Старик с юношеским характером забяки. Он — подумайте только! — отрицает весь древний мир. Он опрокидывает всю историю. И, по-моему, очень основательно требует пересмотра основ хронологии, установленной теологом Скалигером в шестнадцатом столетии. Я просматривал его книгу по геологии — смело, остроумно, мудро.

Очень много спорного и, пожалуй, нелепого, но это еще более возбуждает мысль. Старик борется с вечностью. Хорошо. Он — враг секунды, которая стремится к господству. Вы не знаете, где он проживает?

— Пока — на земле, под солнцем.

— Добро. Я во время отпуска поеду к нему в гости. Уж очень люблю дерзновенные мысли. Вы, кажется, безнадежный холостяк?

— Как и вы же, Петр Иванович. Мы с вами обездолены любовью женщины.

Из-за двери — сердитый и добрый голос философа:

— У Иисуса, сына Сирахова, сказано: «Приобретающий жену полагает начало стяжанию». А стяжание есть та секунда, с которой я борюсь всю жизнь.

Опять — стук, но где-то далеко. Это — в выходную дверь. Легко, мягким полетом, тревожно пробежала мимо Вера Сергеевна, и по ее бегущим шагам слышно было, что она испугана. Сам Шепель был дома: его спокойный, но ласковый, какой-то заискивающий голос баюкал тишину. Это он докладывал о своем рабочем дне Анечке, которая по обыкновению сидела перед ним в тележке.

— Ой, папка, какой же ты скупой на слова!.. — голос Анечки жизнерадостно и истерпеливо смеялся за стеною: — ты поярче расскажи о музыканте на кране... Приведи ко мне этого музыканта... обязательно приведи...

— Кто там? — робко и певуче вздохнула у двери Вера Сергеевна.

И в ответ ей глухо, где-то за окном комнаты Цезаря, в пустоте, смущенно и будто обидчиво откликнулся строгаватый голос:

— Это — я, Балеев.

В смятении вскрикнула Вера Сергеевна, без слов, пораженная внезапностью. Вскрикнула Анечка в тревоге и любопытстве:

— Папка. беги!.. ведь мамаха упадет там от ужаса... Ну, беги же!.. Накинь мне на ноги простыню...

Шаги Шепеля — тверды, но торопливы. Ненужный кашель, точно у него запершило в горле.

Щелкнул ключ и брякнула предохранительная цепочка.

— Ну, здравствуйте! Вы еще не спите? Не потревожил я вашу девочку? — голос Балеева был необыкновенно ласков и задушевен. Он улыбался.

Вера Сергеевна, раздавленная, растерянная, чуть не плакала от потрясения.

— Пожалуйста, Викентий Михайлович... Как это неожиданно... и как хорошо!..

Шепель, очевидно, отстранил жену, и голос его был почтительно официален и почти бесстрастен. Но ломался от скрытого волнения. Шепель изо всех сил самолюбиво старался сохранить свое достоинство.

— Очень, очень рад, Викентий Михайлович! Прошу вас!.. Вы извините — мы не готовы к вашему посещению.

— Ну, что вы в самом деле, Шепель. Я — запросто. О чем вы говорите? Я — на минутку.

— Чаю, Викентий Михайлович? Вера приготовит закусить.

— Да, да!.. я сейчас... что есть... Какая жалость!.. Можно ведь было кое-что закупить...

— Нет, нет!.. Я не могу... Я — на минуту... Ничего не надо, прошу вас. Дайте мне слово, что ничего не будете подавать на стол... Я прямо из управления... Пешком, знаете... Люблю ходить пешком... Вы, кажется, — тоже?.. Ну, ну, знакомьте меня с вашей девочкой... Где она у вас скрывается?

И совсем непринужденно и весело крикнул из комнаты звонкий голосок Анечки:

— Сюда, сюда! Я — здесь. Я уж вас давно знаю...

— Ого, какой победоносный крик!.. Сильная женщина...

— Вы уж извините, Викентий Михайлович... — Вера Сергеевна сконфузилась до изнеможения. — Анечка у нас — всегда одна... не видит людей... и не сдержана...

— Очень хорошо!.. великолепно!.. Вот мы сейчас с ней схватимся... Издали слышу, что встретит с боями.

Шепель сдержанно, со скромной гордостью, доложил Балееву:

— Она у нас каждый вечер, когда прихожу домой, непременно требует доклада о ходе работ на моем участке. Она — в курсе дела.

И почтительно склонился к лицу Балеева. Просительным шопотом:

— Только... ради бога... не говорите с ней о ее болезни...

— Ты, папка, забыл о Цезаре и о дяде Борзые. Почему только — дела? Мы ведь спорим по всяким вопросам...

Балеев вошел в комнату и увидел взрослую, неподвижную, на коляске Анечку с вытянутыми ногами? Вся она утопала в белом. Она смотрела на него широко открытыми, лукавыми глазами, изучая его остренько и откровенно. Лицо ее, бледное, очень хорошенькое, с белокурыми волосами, все трепетало от радости. Она очень была жадна до новых впечатлений. Викентий Михайлович вошел обычными, быстрыми шагами, сразу же подлетел к ней и почему-то смутился. Он взял ее тощенькую ручку и поцеловал.

Он сел на стул перед нею, и оба они пристально и доверчиво пощупали глазами друг друга. Суровость расстаяла на лице Балеева, и волчьи волоски на щеках, на носу и ушах дышали добродушно и умиленно.

— Я знаю: этот мой папаша доложил вам так: «Викентий Михайлович, у Анечки — туберкулез лег. Она — всяма страдает. Машина, если в ней дефекты, требует такого же внимания, как больной человек». Он у меня — такой. Человека и машину связывает в один узелок.

И она очень искусно и быстро перевоплотилась в отца. Вышло это у ней просто и смешно.

Улыбался Балеев, смущенно улыбался и Шепель. Мать стояла за ее спиной и продолжала еще трепетать от необычайного события.

— Моя мама... вы видите?.. горит, как свечка... ее колеблет всякий ветерок. А передо мной всегда будто виновата... Мамочке недостает гордости...

Балеев нахмурился и строговато перебил ее:

— Вы, должно быть, неумеренно много читаете и думаете. Это непосильно для ваших лет. Это вас может искорверкать.

Анечка встрепенулась, в глазах ее вспыхнула веселая насмешка.

— Это — почему? Жить интересно не тогда, когда ешь, пьешь, спишь, а когда узнаешь и думаешь. Не то, что голо перед глазами, а то, что скрыто от глаз. Солнце в глазах — маленькое, а на самом деле оно — необъятное. Ведь глаза видят только то, что близко. Я вот вижу вас, а вы — не такой, какой вы кажетесь. Вы вон какую стройку возводите!.. страшно большое дело!.. Значит, вы не просто глазами живете. Ежели бы вы были слепой, вы делали бы несколько не хуже.

Шепель недоволен, но деликатно врезался в ее взволнованную речь.

— Анечка, ты слишком много говоришь. Ты не даешь сказать Викентию Михайловичу.

Анечка досадливо и возбужденно отмахнулась от отца. Отмахнулся и Балеев.

— Ах, папка, нужно же нам познакомиться друг с другом. Он — не доктор, а я — не больная.

Викентий Михайлович оживился и, не отрываясь, смотрел на девочку. На его лице с каждым словом Анечки вздрагивало изумление, точно он впервые в жизни увидел что-то странное и новое. Он чувствовал, что здесь, около этой девочки, он стал иным, не будничным, и в душе его запели какие-то давно забытые голоса.

— Позвольте, Аня. Мне кажется, что вы стараетесь видеть в вещах больше того, что они содержат. Вы творите вещи, а не воспринимаете их такими, какие они есть. Ваше восприятие больше, чем сам предмет.

Анечка смеялась глазами и жадно следила за Балеевым. Она как будто даже кокетничала с ним. Она была первая, кто несколько не боялся его. Он не давил ее, несколько не стеснял: она чувствовала себя равной ему. Было мгновение, когда Викентию Михайловичу почудилось, что Анечка взглянула

на него снисходительно, с сознанием своего превосходства.

— Так ведь, Викентий Михайлович... конечно же всякая вещь больше и глубже, чем мы ее считаем. И человек, и вещь всегда скрыты. Вот как увидеть и узнать секрет состава воды? Дядя Борзяй... Вы ведь хорошо знаете дядю Борзяя?.. Чудный, замечательный человек! он у нас живет... вот здесь, за стеною... и Цезаря знаете?.. он — тоже здесь... Ну, как вот дядя Борзяй много говорил мне по химии... ну, и вот вода... Аш два О... А как постичь и увидеть, как это два Аш и одно О срослись в обнимке?.. Знать — одно, а представить — другое... Вот и вы... Мне кажется, вас никто не знает... А я вот... пускай творю... но вы, по-моему, очень добрый, очень одинокий человек, как я же...

Викентий Михайлович совсем стал простым, подвижным, поневшим. Он засмеялся и порывисто подвинул к ней стул. Быстро схватил ее ручку и потряс ее ласково и нежно.

— Вы, Анечка, очень проникновенны. Будьте такой, какая вы есть. А вот выздороветь вам надо совсем и навсегда.

Анечка тревожно и испуганно взглянула на него и на отца и почувствовала, что она будто внезапно упала куда-то с высоты. Лицо отца было замкнуто и недовольно. Ему не нравилась болтовня дочери.

— Я не выздоровлю. Я никогда не помню, чтобы ноги у меня были здоровы. Я уже привыкла... сжилась. А так хочется двигаться... носиться... Это бывает со мною только во сне...

— Ну, мы вас вылечим. Завтра пригласим врачей и посоветуемся. Если нужно, отвезем вас в Москву, если можно здесь лечить — будем лечить здесь. А потом пошлем вас учиться.

Анечка замолчала и ушла в себя. Она уже безразлично и скучно смотрела на Балеева и думала о чем-то своем.

— Хорошо, — сказала она покорно и тихо, будто самой себе: — Я — готова ко всему. Может быть, жизнь уже будет не такой... все изменится... а как изменится — не знаю...

Вера Сергеевна вдруг оторвалась от спинки тележки и упала перед Анечкой на колени, жадно и бурно хватая ее за руки, за грудь и лицо.

— Да, да, Анечка!.. родная моя!.. душа моя!.. жизнь будет иная... Ты встанешь на ноги... ты пойдешь... ты вырвешься на солнце... Это будет прекрасная жизнь...

— Ах, мамочка!.. Ты всегда волнуешь меня своими неожиданными порывами...

Шепель стоял поодаль и изо всех сил старался быть невозмутимым, но лицо его подергивалось едва уловимыми судорогами.

Викентий Михайлович встал и глубоко вздохнул. Он молча наклонился над Анечкой, взял ее голову в руки и посмотрел ей в лицо. Потом очень осторожно поцеловал ее в лоб.

— Вы, Анечка, разрешите мне зажаивать к вам?

— Да, да, Викентий Михайлович. Я очень, очень рада. Я вас познакомлю с дядей Борзяем и Цезарем. Их тоже никто не знает. Почему это люди не хотят знать друг друга по-настоящему?

— Это потому, Анечка, что люди взяли на себя слишком много дел.

— Это же нелепо и глупо, Викентий Михайлович. Общие дела и мысли — это же сами люди.

— Эти проблемы мы будем потом разрешать совместно. А теперь давайте отдыхать. Завтра я обязательно приду к вам.

Она протянула ему обе руки, и из ее широко раскрытых глаз плеснула на Балеева горячая волна радости. Это Викентий Михайлович испытал впервые в своей жизни и был взволнован.

Он торопливо вышел из комнаты, совсем непохожий на того Балеева, которого Шепель встречал на работах и в управлении. Он точно расплавился, и лицо его светилось каким-то внутренним изумлением и восторгом.

Цезарь слышал все, что совершалось в квартире Шепелей и сейчас же записал это в тетрадь, подробно и любовно. Это была первая запись, такая круп-

ная и живая, и он закрепил ее концовкой:

«Иногда сама живая жизнь выражается удивительно ярко: она выливается, как художественное произведение».

Он постучал в дверь к Борзяю, и там вздохнул бодрый голос навстречу стуку.

— Вы не спите, Петр Иванович?

— Я сплю только в особые часы покоя. Педагог Ушинский утверждает, что для восстановления бодрости организма достаточно нескольких минут глубокого сна. Со мною происходит нечто подобное. Я сплю глубоко, но очень мало. Я встаю в пять утра, ложусь в два. Передышки в дневной работе тоже погружают меня в глубокий сон на полчаса.

— Вы слышали, что происходило у Шепелев?

— По-моему, лечить девочку не нужно: она, здоровая, будет глупее. В ее положении она мудрее своего быта.

— У вас нет человеческого черепа на столе?

— На столе у меня — цветы из нашего цветника, коллекция очень любопытных минеральных пород и ожерелье красавицы неолитической эпохи. Я живу в вечности.

Они оба шутили через дверь и чувствовали дыхание друг друга, и от этого дыхания и дружеских их голосов дверь казалась прозрачной, как стекло.

— Череп на столе — этоemento mori. Я же живу под лозунгомemento vive — помни о жизни. Секунда, преобразованная в бесконечность, это между прочим — страсть, воплощенная в мысль.

— Я, Петр Иванович, предпочитаю другое — мысль, воплощенную в страсть. Наша эпоха — эпоха напряжений, эпоха могучих целеустремлений.

— Согласен, Цезарь Семеныч, аплодирую. Но, голубчик, мне кажется, что вы лично эти целеустремления только выражаете, как идею, а страсти в вас нейтрализуются размышлением. Вы — человек умозрительный. Рефлексия у вас предшествует акту непосредственной борьбы. Ибо борьба — не столько мысль, сколько бурная эмоция, то-есть

страсть. Не было ли в вашей семье искателей — сектантов и начетчиков?

— Мой отец — крестьянин, выбитый из деревни нуждой. В свое время я тоже рыскал по России, как подпольщик, пока не был изловлен и не водворен в тюрьму. Меня для успокоения выслали в Сибирь, но оттуда тоже убежал и скитался до самой революции.

— Это видно. Вы растратили силы непосредственного борца и превратились в мыслителя.

— К сожалению или к счастью, это не так, Петр Иванович. Я только скромный работник по отделу культпропаганды.

— Так. Но вам нужно быть поэтом. Это — ваше призвание, родной. Кстати, обратите внимание на Кряжича: ему нужно помочь. Он переживает трагедию и может погибнуть.

— Мне кажется, Петр Иванович, что он весь опутан колючками. В нем нет фальши, как противоядия.

Дверь на мгновение замолкла и опять стала мертвой и непроницаемой. Не заснул ли Борзяй, стоя? Но дверь дрогнула и опять стала прозрачной. Она мутно улыбнулась Цезарю и тепло отразилась тенью Борзяя.

— Фальшь — от нищеты мысли и скудости чувств, голубчик. Такие люди — обидчивы и мстительны. Ваши Ватагин и Чумалов — прямодушны и простодушны в своей борьбе и, как вы сказали, в целеустремлении. Умная страсть кажется жестокостью.

— Но ведь то же самое можно сказать и про Балесва, Петр Иванович.

— Нет, не совсем. Он — центростремителен, а они — центробежны. Ему кажется, что он велик для людей, а на самом деле до смешного ничтожен.

— Мне кажется, Петр Иванович, что ваша мудрость слишком интуитивна. Ваша геология — слепа по отношению к людям. Вы признаете законы диалектики?

— Поскольку мне известно, Цезарь Семеныч, законы диалектики не отрицают интуиции.

И замолк. Цезарь услышал шаркающие шаги за дверью, и дверь отвердела и оттолкнула его от себя.

Эту беседу Цезарь тоже записал в своей тетради.

XXXIX

Кряжич не спал всю ночь. Было душно, глухо, давили стены комнаты, воздуха уже нехватало для дыхания. Казалось, что тени Бубликова и Татьяны еще реют в плесенной мгле (это от зеленого абажура). Трудно было ходить: ноги казались тоненькими и дрожали от изнурения. А сидеть было неловко, мучительно, страшно: замирало сердце, и голова мутилась от бредовых криков и галлюцинаций. Нечаянно посмотрел на окно: оно было наглухо закрыто. Он удивился: ведь окно все время распахивалось наружу, и закрывал он его только тогда, когда ложился спать. Днем комната гоже дышала зелеными роями теней — это от густых зарослей лип и ясеней в саду, а ночью крылатые ветви тянулись к огню, в распах окна, и влажный запах цветов и травы всегда полыхал мягкими волнами. Он любил свою комнату за тишину и воздушный покой. И в окно он вероятно взглянул потому, что чувствовал невыносимую тяжесть твердых стен и глухую спертость воздуха, испорченного дыханием и табаком. Кто же запер наглухо это его окно? Когда? Рита не заходила сюда. Прислуга только по утрам убирает комнату. Это было странно и тревожно. Бубликов вошел и сразу же сел в кресло. Татьяна сидела поодаль, у узкой грани стола, спиной к окну. А сам он не мог этого сделать: это было нелепо.

Он прошел к окну и хотел распахнуть его. Но из-за стекла его потянуло ничто — тьма без измерений, и только огненные листья лип трепетали, как ночные бабочки. Впрочем, по стеклу, в лихорадочной дрожи крыльев, жадно, панически ползал седой огромный шелкопряд.

«Почему он в ужасе? — мелькнуло в мозгу: — кажется, что он сейчас закричит в смятении. А может быть, он пламенеет от счастья?»

Почудилось, что в законной тьме продымила, приближаясь и удаляясь,

тень Бубликова, и Кряжич инстинктивно, в страхе отпрянул в сторону.

«Что такое? — презрительно фыркнул он на себя: — Я верю в призраки? Уж подлинно: у страха глаза велики. Недоставало еще душевного расстройства...»

Он неудержимо потянулся опять к стеклу — не давал покоя лихорадочный фосфорный шелкопряд.

«Как он осмелился... нет, как он смел явиться ко мне?.. И почему так уверенно?»

И он дрожал от оскорбления и бешенства: весь облик Бубликова кошмаром давил его — застывало нутро, душила тоска. Кряжич носился по комнате, курил непрерывно, ощущая что-то в роде горячего жара во всем теле. Он бесильно опирался плечом о стену и не мог двинуть ни одним мускулом. Потом опять долго метался, как ушибленный.

«Так может поступать только негодяй,—в изнеможении и отчаянии думал он: — Если он так развязно залез мне в душу без всякой предварительной разведки, значит, он был уверен, что я — подлец уже готовый. И деньгами... деньгами!.. сребренниками хотел меня обезоружить... А ведь Братцева видела.. знала... Давно уже следила за мною...»

И он вспомнил ее слова на плотине: «Я не верю в вашу правду... и вам не верю...»

«Она имела на это право...» — усмехнулся он и до треска в суставах сжал кулаки. Скулило и стонало сердце.

Татьяна тоже вошла к нему уверенно и бесцеремонно, но она явилась, как его совесть, — жестоко и больно. Он сидела вот здесь и смотрела одними ресницами. Он не видел ее глаз, но она смотрела через него, как через прозрачную тень. Что она говорила? Вспомнить очень трудно. Но он готов был и выгнать ее, и упасть перед нею на колени, — упасть, ползать перед нею и целовать ей руки и платье. Если бы она не ушла так внезапно, а осталась с ним на всю ночь, он был бы и несчастен, и безмерно счастлив.

Шелкопряд так надсадно трепещет серебряным бархатом крыльев и ножек. Он рвется в комнату сквозь непонятную прозрачную преграду. А за ним — тьма и ужас безмерности. И навстречу этому шелкопряду где-то глубоко в крови трепетала в тоске визгливая боль.

«Значит, в глазах этого гнуса я — тоже бацилла? В этом — мое назначение, моя судьба? Почему он издевался надо мною, когда я назвал имя Балева? Неужели — все?.. Неужели каждый из них играет в лойальность, даже в преданность, а сам — разрушитель и самоубийца? А Шепель? этот фанатик своего дела? и Стрижевский, и Шлиппе? Неужели и Борзый?..»

И ему почудилось на мгновение, что он до сих пор жил в такой же вот тьме, как за окном, и так же трепетал, как этот шелкопряд, бесконечно одинокий, и так же рвался куда-то, к смутному свету сквозь непроницаемую прозрачную среду. Было ощущение, что он — в мире всем чужой, обреченный на бессмысленное существование. Как проклятый, он принужден был проводить работы, связанные с его профессией. Для чего? Во имя каких целей? ради чьего благополучия? Он знал и видел только процессы труда, корпел над близкими и голыми чертежами, формулами и выполнениями планов и заданий и жил только календарем совершающихся работ. И что особенно странно: он сливался с процессами этого своего труда, гордился их своевременным и хорошим выполнением. Он впервые в жизни возводил эти никогда невиданные громады и не мог не жить ими, как художник, как мастер своего дела.

Два года назад он был командирован в Америку и долго изучал там технику и опыт стройки гидроэлектростанций. На него смотрели там немножко свысока, но с предупредительным гостеприимством, как на контрагента, которого нужно обхаживать и приручать. Понравилась ему там организация труда, но рабочие массы были безгласны в производственных процессах, как немая мускульная сила. Он это отметил, хотя и вскользь, но очень четко и, к досаде

своей, совершенно невольно сказал в беседе с инженерами на электростанции Савиней:

— Мы хотели бы перенести всю эту вашу слаженность в системе работ в наши советские условия. Но живая механическая сила ваших рабочих — не для нас...

— Вы хотите сказать, мистер Кряжич?..

— Я отмечаю факт, что наши рабочие в производстве прежде всего — сами хозяева и организаторы.

Инженеры промолчали на это его замечание и перевели разговор на другую тему. Он почувствовал, что он вел себя в эту минуту неприлично. Он уехал с уверенностью, что на него посмотрели эти деловые и примитивные (именно примитивные) люди, как на агента большевиков.

Однажды ему в Чикаго задали вопрос:

— Если бы мы вам, мистер Кряжич, предложили остаться работать у нас?..

И опять он очень торопливо и неприлично ответил (это был несомненный шокинг):

— О, нет! В моей профессии очень нуждается наша страна. Она с готовностью приняла бы ваши услуги.

И он после полугодового пребывания в САСШ и в Канаде с жадной тоской рвался домой. «И дым отечества нам сладок и приятен...» — думал он, когда уже плыл на океанском пароходе, и не жалел об Америке: она казалась ему бездушной, скудной людьми, утилитарно-однобокой в культуре. Она отразилась в нем, как страна спекулянтов и подрядчиков.

А когда он возвратился сюда, сразу почувствовал, что опять попал в какую-то человеческую тюрьму, и в этой тюрьме нет ему той жизни, о которой он страдал в мечтах, но которой представить не мог.

«У меня очевидно нет идеала, как у лермонтовских героев... Я не знаю, что мне нужно, но чувствую одно: у меня нет тех прав, которыми обладают коммунисты и рабочие, что я — жертва, ба-

трак, что я во всякую минуту могу исчезнуть по одному слову и капризу какого-нибудь Ватагина. Я не могу быть на одной и той же высоте и на равной доске с ними, и я в их глазах — чужой и презренный наймит. И даже не наймит, а — враг. И мне, как оглашенному, нет доступа к их алтарю... Я — нищий. Я — под постоянным конвоем. Я принужден пользоваться только крохами с чужого стола. Но — чорт же возьми! — этот стол в такой же степени мой, как и их...»

Ах, этот назойливый шелкопряд! Он рвется на свет, но не может пробить прозрачное средостение.

Бубликов хочет алтарь этот свалить и, может быть, уничтожить. Ни вам, ни нам. Он — тоже под конвоем. Он строит, но он притворяется, что строит: он коверкает и разрушает. Он вместо торжественного стола хочет сделать бочку Данаид — нелепость, которая обратит дерзновенных умников в идиотов. Он хочет торжествовать, как Геростат. Он сознательно борется, как преступник. А преступник действует тайно, обманом, в маске: днем он созидает, как честный работник, а ночью уничтожает и уродует, как злодей. Он приучил себя не любить плодов своих рук, он уже отрицает самую идею творчества. Это свое творчество он направляет с другого конца: творчество превращается в истребление. Он уничтожает не только себя, но и Кряжича, и Шепеля, и Балеева, и многих тысяч людей, которые надрывают свои силы в лишениях, чтобы возвести великие храмы новой жизни, именуемой ими социализмом. Он уже уверенно и зловеще наложил руку на работу его, Кряжича: он уже действует и распоряжается, как имеющий власть. Он ворвался к нему, как бандит, — с угрозой и деньгами. Он хотел парализовать его и подчинить себе подкупом и насилием. Если бы он говорил с ним дружески и интимно, он, Кряжич, поборолся бы с ним честно и добросовестно. Но он одно знал очень хорошо и твердо: он никогда не пошел бы на преступление. Да, он создает, у него есть своя профессиональная

гордость, и он скорее погибнет, чем позволит себе разрушить собственное произведение. Борзый прав: он, Кряжич, не может без собственной гибели превратить свое дело в прах. Его дело, его работа — это он сам. «Стройте себе на здоровье... — Как хорошо сказал это Борзый!.. — Это только от вас зависит, Николай Николаевич... только от вас...»

Два человека стоят около него — Бубликов и Борзый: один — чорт, опасная сила, несущая гибель, а другой — друг, милый, наивный мудрец, который живет в нем, как добрый голос совести. Вот и Ватагин так же сказал ему в лицо, сурово и прямо: «Ваша работа зависит только от вас. Вас заело личное, а торжествовать должно не личное, а личность». Борзый в этом Ватагине не видит врага: в нем он чувствует что-то такое, чего нет ни в нем, Кряжиче, ни в Бубликове, ни в тех, кто стоит вместе с Кряжичем в одном ряду. Да. Братцева. В ней строгость и непреклонность человека, который хорошо и четко знает свой путь. Она пришла к нему в нужный час и встряхнула его сильной рукой. Он сейчас в ее власти: она может его погубить, может и охранить от беды. Эта девушка — скромный техник под его руководством. Она, в сущности, ничтожная деталь в производстве, но почему она так неизмеримо сильна? Почему он готов отдаться ее силе и ползать перед ней, как ничтожная тварь? Страх перед ней? Он пойман ею с поличным, как вор? Нет. Ему нечего перед ней оправдываться. Она и без того знает ему настоящую цену. «Это — она?» — спросила Рита с ужасом в глазах. Да, Рита, это — «она». Ты, Рита, насыщаешь это слово чисто женским значением, а для меня оно — жизнь и, может быть, ответ на вопрос. Она живет вон там, за деревьями, и окна ее смотрят в его окно. В ее окнах уже нет огня, но она сейчас думает о нем. Это он чувствует на расстоянии.

Кряжич распахнул окно, и навстречу ему ухнула тьма, и огнем брызнули ветки липы и ясеня. Шелкопряда уже не было: он исчез. Нет, вот он бьется и трепещет под абажуром в лихорадо-

ной жажде сгореть в ослепительных нитях вольфрама.

Кто же закрыл окно? Ни он, ни Бубликов, ни Рита... Ну, конечно же — она, Братцева. Она же сказала: «Я не только слышала, но и видела...» Она делает все спокойно и осмотрительно. Удивительная девушка. И как только образ ее вспыхнул перед ним — живой до иллюзии, — опять в сердце его плеснулась густая волна наслаждения. Это — она. Что значит — «она»? Беспризорица. Если бы она приказала ему в последний миг: «Уйдите из этого дома!», он сейчас же, не рассуждая, как очарованный, пошел бы за нею, безвольный и безгласный. И все же он трепещет перед нею, как пленник, как жертва, жизнь которого находится в ее руках. Он уже не господин себе, он уже не может крикнуть так, как кричал на Бубликова. Он не может даже говорить с ней так, как говорил когда-то на плотине. Она уже каждый час, каждый день непрерывно будет стоять перед ним, как некий грозный и властный образ — сила, которую не превозмочь. И как-то совсем неуловимо, внезапно, через этот ее образ — твердый и прозрачный, как хрусталь, — он совсем ясно увидел образы Фени, Ватагина, Чумалова и каждого рабочего из тысяч народа. Все они были похожи на Братцеву, и все они с их суровой убежденностью и слишком человеческой силой и верой в себя, слишком простой независимостью и целеустремленностью, стали вдруг понятными и подавляющими. И перед ними он такой же слабый, одинокий, беспочвенный, безыдейный, голый, как перед Братцевой.

«Против чего я иду? Против чего встаю? Во имя чего жалко бунтую, как полишинель?»

И он не нашел ответа на эти вопросы. Какая-то невнятная тень прошла во тьме двора, за деревьями, мерцающими призрачным светом.

«Я страдаю галлюцинациями...»

И ему уже не было страшно. Была только изнурительная, тупая слабость — странное равнодушие к себе, к жизни, ко всему...

XL

Лиловый туман дымился над холмами, над стройкой, над поселком. Рассвет красным облаком горел над правым берегом — над вышками комбинатов, над зданиями города, и в этой жирной сиреновой мгле корпуса общежитий, водонапорная башня железнодорожного узла и ажурные лесов казались плоскими силуэтами, легкими и прозрачными, как видение. Листья деревьев щебетали по птичьей и отряхались от сна. Свистела очень мило какая-то птичка в густых зарослях лип. А по улице артельно дребезжали несносные воробьи.

Кряжич вышел на улицу, совсем беззвучно затворил за собою дверь (английским ключом). Он вышел без кепки, в одной рубашке, по-домашнему, даже в туфлях. Бессознательно осмотрел часы на руке. Сначала ничего не понял, а потом назойливо начал вспоминать, сколько же было времени. Большая стрелка стояла, кажется, на двух часах, часовая — на четырех. Да, пятый час — начало пятого. Не все ли равно. Впрочем, куда он идет? Все равно, лишь бы идти. На улице было пустынно и необычно: она была совсем другая, чем днем, — она тоже горела в далах, в кудрявых зарослях палисадников сиреновой глубиной. Уже гуляли куры на дороге и пылили на лошадиных кучах. И, когда он проходил мимо, петухи сердито задирали пламенные головы, с бессмысленным удивлением всматривались в него золотыми глазами и встречали его злым окриком:

— Это еще что такое?.. Пр-роваливай!..

Кряжича разбирал смех.

— Вот дурак, куриный шут!..

... Окна домика, где живут Братцева и Отдушина. Станные девушки. Такие знакомые и такие, таинственные! Он постоял около их палисадника, но черносиреновая муть за стеклами молчала покоем и глубоким сном. Он привалился бедром к ограде и не мог оторваться от окон. Было мгновение, когда он вдруг растворился в каком-то певучем небытии и вынесен был куда-то в пернатую

высь, точно он лежал где-то в гулкой и тяжелой глубине и сильным плавным ударом вышвырнут был на поверхность. И сразу же он очень телесно, очень близко, замирая от счастья, увидел лицо Татьяны, которая смеялась ему, как любимая женщина.

«Неужели я задремал?» — с наслаждением переживал он замирающие удары сердца.

— ... Бубликов, да, да... Бубликов, это — кошмар... А может быть, и Бубликова не было, а было только сновидение?.. Может быть, я тяжело болен?..

И он опять ослабел и почувствовал себя обреченным.

Он не заметил, как поднялся на холм, как прошел мимо здания управления, как хрустел туфлями по гравию сквера. Смутно чувствовал только сиреневый огонь от земли до неба и видел рой лучистых огней на плотине и далеко, на комбинатах. Огни уже таяли и утомленно дышали в далеких россыпях. Стремительно летали над головою огненные голуби и фыркали крыльями, а над ними, очень высоко, реял, тоже огненный, коршун, без взмахов крыльями, как недостижимый аэроплан. И внезапно впервые услышал натруженные свистки паровозиков.

Стройка. Вон там, в берегах на бычках, таких голубых и несокрушимых в вздыблении, в этих шныряющих паровозиках, в этих взлетающих стрелах кранов — он весь тут... это — он, это — его дыхание и судьба. Все это — позади, в таком же сиреневом прошлом. А вот наступающий день — страшный, непреодолимый перевал в туманы будущего. Для него новый этот день начался этой ночью, а жизнь — без горизонтов, без зовущих целей, муть пустоты... Он, как автомат, только способен жить велениями какой-то посторонней силы, которая совершенно обезличивает его, лишает воли, языка и личных радостей. Осталось у него только одно — прирожденная честность... но эта честность пустая, как свойство его характера и только. Если бы он сейчас безвольно отдал себя в руки Бубликова, его измена себе и последующие

его дела тоже были бы бесцельны и нелепы, как пустоцвет. Но он никогда не пойдет наперекор своей честности: это все равно, что если бы он вместо пожатия руки Борзяну стал бы бить его по лицу. Совесть? Пусть — совесть. Достаточно того, что это неотделимое свойство его характера, как его облик есть только сам Кряжич.

Борзян..

Вот странно: навстречу ему по-работному заботливо и по-утреннему угрюмо шел Шепель. Почему так рано шел Шепель? Ведь он мог бы пойти и в восемь часов. Он — тоже честен. Как знать? А вдруг он, как Бубликов, идет на какую-нибудь подлую работу, когда его никто не может поймать на месте преступления?..

— Доброе утро, Николай Николаич! Что это вы... в таком виде?..

— Вы, тёзка, встали не во-время...

— Нужно, Николай Николаич. С вечера заканчивался монтаж того жесткого деррика, который должен обслуживать два последних бычка среднего потока. Надо осмотреть и проверить.

— У вас какая-то одержимость, тёзка, насчет механизмов...

Шепель загянул папиросой и с недоумением в деловых глазах обшупал лицо Кряжича. Он не понимал его слов.

— Называйте это как хотите, Николай Николаич. Я только хочу, чтобы все было хорошо и выполнялось без всяких перебоев. Механизация не любит халатности. Это — математика и ритм.

— Ваши машины не вредили вам?

— Машины не могут вредить. Вы знаете это не хуже меня, Николай Николаич. Машины вредят тогда, когда вредят им люди.

— Вы — честны и пунктуальны, Шепель. Я — тоже честен, но не знаю, что это такое: проклятие или счастье?

Шепель оставался спокойным и бесстрастным.

— Честность, это — преданность делу, Николай Николаич. Я так думаю. А преданность — любовь к своему труду. Я хочу достигать совершенства. В этом — мое движение вперед. Во имя

этого я и работаю. В этом — мое удовлетворение. А всякие цели ясны... Всего доброго, Николай Николаич. К девяти часам я жду вас на своем участке.

И Шепель уверенно и твердо пошел по дорожке сквера. Лопатки его сильно двигались под рубашкой, и правое плечо упрямо работало шатуном двигателя. Кряжич смотрел ему вслед и думал:

«Как просто у него... как убежденно! Я не чувствую того, что чувствует он. Ведь он этим живет. И если бы пришел к нему Бубликов, он убил бы его... Или скрутил бы его по рукам и ногам и деловито позвонил бы начальнику ОПУ. Бубликов был бы прежде всего его личный враг».

Окно у Борзя было открыто настежь, и в черной пустоте летали большие мухи. Одна муха, бронзовая и шустрая, села на подоконник и пристально уставилась на него виноградными полусариями глаз, угрожающе потирая передними лапками, точно дерзко спрашивала его:

— Зачем ты сюда пришел? что тебе здесь угодно?

Муха со звоном сорвалась с места, и в окно высунулись белые плечи и серебристая голова Борзя.

— А я, Николай Николаич, о вас думал... Легки на помине. Не спалось что-то. Должно быть, очень душно. Дождей не было давно, и воздух такой сухой и пережженный. Поддержите меня: я к вам — через окно. Скоро будут поливать газон и клумбы — освежит немало.

Он прыгнул с окна без помощи Кряжича, пружинно и молодо.

— Пойдемте, голубчик, пройдемся, а потом возвратимся и попьем чайку. Впрочем, у меня арбуз есть замечательный... первой с'емки... прислал вчера директор совхоза... славный парень... весь живет своим делом... Большой совхоз... его создание... В два года сделал много чудес... Человек, Николай Николаич, всегда должен делать чудеса, — в этом его жизнь. Вам тоже душно, что не спите?

— Эта ночь была для меня ужасной, Петр Иванович. Ко мне приходил Бубликов...

— Разве Бубликов способен создавать ужасы? Я этого не предполагал в нем. По-моему, он очень примитивен. Должно быть, эти ужасы вы создали в себе сами?.. Вы склонны к некоторому душевному беспокойству.

Они медленно шли по дорожке сквера к фонтану, который пылил молочными брызгами в пустынной неподвижности молодых лип, тополей и березок. Оба — домашние, измятые ночью. близкие и дружески интимные.

Борзя первый подошел к фонтану, нагнулся над бассейном и пополоскал в нем обеими руками.

— Хороша и удивительно радостна вода ранним утром. Умойтесь, Николай Николаич.

Он полными пригоршнями начал черпать звенящую воду и выплескивать на лицо, на голову, на грудь.

— Очень хорошо! очень хорошо!..

Серый гравий с одной стороны бассейна глубоко темнел влажным полумесяцем.

Кряжич стоял рядом с Борзием, и ему было грустно и приятно с этим человеком, душа которого была ясна и глубока, как эта вода в бассейне или как этот сиреневый воздух, тающий в густой синеве неба. Подчиняясь очень доброму, немного дряблему голосу Борзя, Кряжич тоже заплескался в воде. Оба они утопали в огненных брызгах и всплесках и наслаждались прохладой воды в запахах реки и болотца.

— Ну, так какой же ужас мог натворить этот Бубликов?

— Он нагло оставил мне деньги... А я их швырнул ему в рожу...

— Вы подумайте... — Борзя изобразил притворный страх на лице, точно он слушал не Кряжича, а ребенка. — Деньги?.. А зачем вам деньги?

— Я швырнул ему эти деньги... Я же говорю вам... Но он ушел, а деньги остались.

— Я не пойму, голубчик, при чем же тут деньги? и при чем этот Бубликов?

Кряжич зло, с надрывом, засмеялся.

— Бубликов дерзко посмел положить мне на стол две тысячи... Но мало этого: он нагло грозил мне... понимаете?

У Кряжича затряслись губы, и он махнул рукою.

— Но вы же к этому не причастны... Я же знаю, что вы на это не способны... Как же он мог оставить?.. Какой дурак! взял, да и оставил...

— В том-то и дело...

Борзый с мокрым лицом несколько мгновений смотрел на восток, на горизонт за комбинатами, где в жирной громадине облаков, мутно огненных, прорывалось кровавое солнце.

— Обратите внимание, Николай Николаич... какой чудесный восход!.. Как счастлив человек, что имеет глаза, чтобы наслаждаться!.. Все простое очень гайнственно и прекрасно...

Кряжич удивился и взволновался: этот старик прозрачен и невинен, как младенец. Вот Кряжич сказал ему страшную вещь, которую он не мог бы сказать никому, а он, Борзый, и не почувствовал ничего в его словах — не заметил ни его смятения, ни дрожи в голосе.

— Какой вы странный человек, Петр Иванович!..

— Чем же? Ах, да, это — насчет Бубликова?.. А вы, голубчик, плюньте на это. Мало ли шарлатанов и озлобленных людей на свете. Созданное вами не погибнет, и никакие вредоносные силы не способны помешать вам быть творцом и человеком. Только, родной, по-утреннему глядите на мир, вот как сейчас. Великая, трогательная красота! Я вот так часто выпрыгиваю из своей скорлупы в эти огромные пространства нашей планеты и потрясаюсь от необычайности человеческих свершений во вселенной. Кто может помешать непрерывному движению земли во всех его процессах — в физических, биологических, социальных и так далее? Назовите-ка мне такого кулика, который бы угасил этот мой восход солнца... Он сам способен голько жалко и судорожно дышать этим вот воздухом на своем боло-

те. А отнимите от него это болотце и этот воздух, и это величие красоты солнечного восхождения и заката, — он погибнет, и никто этого его ничтожного исчезновения и не заметит. Все эти кулички-Бубликовы до грусти смешны, Николай Николаич.

— Вы, Петр Иванович, уговариваете меня, как ребенка.

— Нет, родной, я только делюсь с вами моими ощущениями от собственной жизни на земле. Надо видеть эту жизнь такой, какая она есть, а не навязывать ей личных, болезненных особенностей. Вы страдаете аберрацией чувств, но вы — здоровый человек. Знаете, в природе, несмотря на борьбу за существование и видовой отбор, все совершается, все движется на одной основе — на величайшей, абсолютной согласованности. Это — всеобщий закон космического жизнестроения. И всякое творчество человеческое — это только отражение и преобразование стихийных процессов мира в наших головах и в нашей воле.

— А кровь?.. а принижение человеческой личности?..

— Ну, так ведь, голубчик, Николай Николаич, вы же не слепой крот: вы же ведь хорошо знаете, что всякая фация той или иной эпохи, не приспособленная к новым условиям, отлагается в пластах земли как невозвратимая формация.

— Значит, приспособляться? откапываться от самого себя? поступаться своими идеалами?

Борзый ласково взял Кряжича под руку и тепло прижал ее к своей груди.

— А у вас, милый, какие же идеалы?

Кряжич смутился и промолчал. Молчал и Борзый, ожидая ответа. Они опять пошли обратно к дому: один — измученный ночью, с угаром в глазах, другой — свежий, ласковый, с наслаждением подставляющий лицо свое солнцу.

— Но как же с деньгами и с Бубликовым, Петр Иванович? Ведь я же — в капкане.

— А вы сожгите их и улыбнитесь. Хорошенько позавтракайте и спойте веселую песенку, в роде такой: «Чижик-пыжик, где ты был...»

— Шутник вы, Петр Иванович. Вы как будто совсем даже не способны страдать, мучиться от напастей...

Борзый почти сурово дернул его руку и строго сказал:

— Всеякие муки, Николай Николаич, должны иметь смысл. Самоистязание — не мука, не страдание, а болезнь. Последнее — от упадка сил, а первые — от напряжения в борьбе за достижение целей. Бодритесь, бодритесь, родной: вы — здоровый человек.

Опять помолчали и прислушались друг к другу. Кряжич чувствовал, что он начинает успокаиваться: ему стало легко и приятно около Борзья, точно он баюкал его, как любимый друг и отец. В этот миг ему казалось, что он рядом с этим чудаком дышит по-иному — глубоко и бодро, и никакие невзгоды и опасности не беспокоят его, точно Борзый озонировал собою воздух и опечаленным своим лицом, с улыбкой мудреца, отгонял от него все призраки ночи.

И удивительно: жизнь Кряжичу вдруг представилась совсем не мрачной, совсем не той тюрьмой, как он ощущал ее в прежние дни, и совсем не было того состояния обреченности, которое обессиливало его и отравляло страхом. Внутри у него запели какие-то невнятные голоса невнятной радости, и это утро в горящих облаках, и эти дымы стройки, и крики паровозов на плотине и на вокзале, и птичьи флейты в сквере, в молодых зарослях, — все это внезапно заволновалось забытыми радо-

стями детства. Даже сердце его дрогнуло ребячьим слезным восторгом.

— Петр Иванович, об этих деньгах знает Братцева — девушка, техник, которая работает у меня на плотине. И Бубликова видела. Она говорила со мною так же, как вы...

— Ага. Ну, вот и чудесно... Она решительная девушка.

— Но... ведь Бубликову же не сдобрать... Это же значит — предать его.

— А разве вы не хотите жить, Николай Николаич?

Он неожиданно остановился, обнял Кряжича и поцеловал, горячо и любовно. Это вышло смешно, наивно, но очень сердечно. Кряжич даже вздохнул от волнения.

— Милый Николай Николаич! Знайте, я вас очень люблю и ценю. Я не допущу вас до напрасного и ненужного умирания. Вы — весь в жизни, весь — в творчестве. Вы скоро выздоровеете. Не забывайте ни на минуту, что я — ваш друг. Пойдемте, поьем чайку. А то взрежем арбузик.

Глаза у Кряжича засветились слезами.

— Нет, нет, Петр Иванович. Я пойду. Вы правы: я немножко болен душой. Я пойду, отдохну...

— Ну, идите, идите, голубчик. Вы бы сейчас на реку прошли, выкупались бы... освежились бы... а потом уж отдохнули... После купанья хорошо спят...

(Продолжение следует)

Лирика

ПЕТР ОРЕШИН

1

Полюбил я степи и равнины,
И ромашки белые, как снег.
Все мы в жизни рубимся, как льдины,
И недолог наш рабочий век.

Но, пока я не покинул края,
Где я прожил сорок с лишним лет,
Буду петь я, крыльями играя,
Буду жить, как птица и поэт!

2

Пестры луга, края оврага,
Просторно мысли и глазам.
И я бреду неспешным шагом
По необкошенным полям.

И тень моя по желтой ниве
Идет, ломаясь и скользя.
И жить я не хочу счастливей
И не могу, да и нельзя!

3

Заблестели рельсы вправо,
Мимо рощ и луговин.
Ничего от глаз лукавых
Не осталось на помин.

В небе месяц засветился,
В поле роща да вокзал.
Мил уехал, не простился,
До свиданья... не сказал!

4

Ночлег в степи хорош до удивленья,
Над степью звезды дико мчатся вкось.
День был тяжел, и тело теплой ленью
И вялостью, и сонью налилось.

Но всё еще в беседе трактористы
Подсчитывают жатву, трудодни.

И по дорогам звездности лучистой
Глазами путешествуют они!

5

Мой трактор в веселых буграх и равни-
нах

Похож на большого цветного жука.
Пашу я, усевшись на жирную спину.
На жесткий хребет моего толстяка.

За нами блестят черноземные крепи,
Как полосы черной узорной парчи,
И все к нам привыкли — и люди, и
степи,

И мелкий кустарник, и даже грачи!

6

Сейчас в полях поют моторы,
Гудят следы стальных колес,
И блещут изумленьем взоры
Степных ромашек и берез.

Я гул машинный без натяжки
Приемлю, не противясь дню,
Но и березке, и ромашке
В любви вовек не изменю!

7

Лучистый ветер тих и ласков.
Мой трактор весел и упрям.
Смотрю, и кажется мне сказкой
В степной глуши аэроплан.

Он стал едва приметной точкой,
Потом пропали и следы.
И трактор мой давно по кочкам
Ушел к оврагу с борозды.

—Эй, эй!—кричат мне из бригады —
Чего тебя несет в овраг?—

И ржут, и все чему-то рады,
И степь, и солнце, и прутняк.

8

Себя давно мы разлюбили,
И каждый ржавый в хате гвоздь,
Который мы когда-то вбили,
В нас ныне вызывает злость.

Но эти рощи и овражки,
Пруды, леса, степная гладь...
Да разве можно, чтоб фуражки
Пред красотой такой не снять?

9

Мне нравится степная просинь,
Цветущий мальвами ложок
И пестрота бригад в покосе,
И теплый дождь, и солнцепек.

Я здесь вполне, вполне на месте,
И всем знаком, и всем родня.

И ласковой косилкой песня
Жужжит под сердцем у меня!

10

Я в отпуске и шляюсь по овражкам,
Где каждый куст приветлив и тенист.
Жуки в траве сияют, как стекляшки,
Бабайки облюбовывают лист.

Но даже здесь не в силах я забытья.
Мне как-то стыдно бить впустую дни,
Когда народ в косьбе, и даже птицы
Под говор тракторов молчат в тени.

Я не сдержал, и сам через неделю
Ушел в поля с бригадой косарей.
Сияли дни, и ветры шелестели,
И степь цвела всё ярче, всё пестрей!

Баррикады

Повесть

П. ПАВЛЕНКО

(Окончание)

Эдуард Коллинс. — Из письма брату.

Несмотря на то, что я в Париже всего шестой день, недоедание уже дало себя знать, я чувствую себя чрезвычайно слабым. Мой обед состоит из тарелки супа и маленькой порции какого-то другого блюда. Голод только усиливается от раздражения пищей, вследствие этого я очень мало хожу и почти никого не видел из числа старых знакомых. Вчера я послал посыльного с запиской к Андре Лео. Она ответила, что ждет меня через час в церкви св. Амвросия, где у нее предстоит небольшое заседание представительниц женских трудовых объединений. Мне пришлось спешить на улицу Попинкур, о которой я до того ничего не слышал. Здание церкви, ставшее пролетарским клубом, поразило меня своей будничностью. Ближе всего оно напоминает манеж, увенчанный нелепым куполом и обезображенный боковыми пристройками.

Президиум заседал на алтарном возвышении. Деревянная статуя отрока Христа была опоясана красным шарфом. Установившая тишину, председательница Катерина Лефевр, швея, звонила в колокольчик, употребляемый в утренних богослужениях. На одной из последних скамей я увидел фигуру русского социолога Лаврова, его изумительная голова резко выделялась среди женских. Андре Лео встретила меня в про-

ходе между скамьями и увела в ризницу, украшенную гобеленами, откуда можно было наблюдать за тем, что происходит в зале. Она тотчас стала называть мне имена наиболее выдающихся революционеров. Она показала мне Дмитриеву, русскую эмигрантку (прекрасное, умное лицо, полное той внутренней чувственности, которая всегда выдает людей необузданного интеллекта), еще одну русскую, фамилия ее я не запомнил, и обратила внимание мое на двух героинь—Гортензию Давид и Клару Фурнье, — лучших канониров сенской флотилии. Крутые тела их вбирали в себя одежду, как тесто вбирает ставшую тесной форму, и грубый костюм местами казался цветными складками кожи. Они громко хохотали, ударяя себя по ляжкам. Лео была очень разочарована, что я так мало знал о парижских женщинах. Конечно она спросила меня о том, что я слышал в Англии о ее журнальных успехах, и затем, не замечаю ли я необычайных достижений, которые сделала революция.

Я воспользовался случаем, чтобы расспросить ее о старых знакомых, и узнал, что Виктор Ожеро, мечтавший о всемирном анархистском бунте, работает у версальцев, Ланглау бежал на юг, Луиза Безансон вышла замуж за бельгийского художника и собирается в Брюссель, Буиссон же пропадает неизвестно где и даже самая судьба его была ей неизвестна. Я назвал имя Дантеса, барона Геккерна. Лавров, давно

¹⁾ См. «Новый мир», кн. 6 с. г

уже подошедший к нам и с любопытством прислушивающийся к беседе, ответил, что убийца Пушкина (величайшего русского поэта) 22 марта был в главе демонстрации порядка, рассеянной Национальной гвардией. Я удивился смелости этого труса.

Настоящее имя Андре Лео — Леодиль Бера, а по первому мужу де-Шансе, муж ее умер лет десять назад, оставив на ее руках двух сыновей — близнецов Андре и Лео. Отсюда ее псевдоним. Начиная с 63-го года она опубликовала ряд романов, направленных против буржуазных предрассудков. О них, как мне сама она с удовольствием сообщила, много писали в России Писарев и Ткачев. Лео издавна поддерживает тесные связи с феминистками этой страны. Пока мы разговаривали, в ризницу вошел пожилой священник, он молча нам поклонился и присел в кресло, переждать митинг, когда он смог бы начать свою мессу. Дым от папирос слоями стоял в воздухе, румянясь и желтея от разноцветных стекол церкви. Это был горький фимиам новой литургии, которая свершалась на наших глазах. Орган на хорах играл время от времени марсельезу и «Песнь отправления», последнюю с большими ошибками. Я задал священнику вопрос, остается ли отрок христос в красном шарфе, когда начинается церковная служба.

— Это (он подразумевал шарф) и это (он кивнул на плакаты) находится в ведении сторожа. Мерия приплачивает ему за обслуживание собраний.

— Так же, как и органисту? — спросил я.

— Повидимому, — ответил священник и углубился в чтение какой-то божественной книги.

Как раз в это время Лефевр предложила внести в коммуну проект — замечать нехватку мешков для песка сорочка тысячами поповских тел. Церковь загудела от радостного рева. Органист заиграл «Песнь отправления». Я не выдержал и рассмеялся.

На кафедру взлетела Дмитриева. Она была в черном плаще, из-под кото-

рого виден был красный шарф, закрывавший ей грудь, и револьвер на поясе. Черные вьющиеся волосы, черные глаза, легкий след усиков на верхней губе — она была поразительна и вызывающе красива. Она была настоящей героиней, немножко даже невероятной в сегодняшних условиях Парижа.

Эдуард Коллинс. — Запись в блокноте.

Для статьи

Вечером я посетил Р. в отеле «Бельгия». Р. — маленький, борогатый старик, член бланкистской группы в Америке. Его познания в области революции поразительны. Ему около семидесяти лет, но он не пропускает ни одного заседания Совета коммуны или ЦК Национальной гвардии. В семь часов утра он встает и идет из одного конца города в другой, чтобы организовать ичностранцев, читать им лекции о революции и добиваться объединения их вокруг коммуны. Это — настоящий делегат внешних сношений. Его связи в иностранных кругах Парижа колоссальны, чему, повидимому, способствует его личная интернациональность. Он — гражданин САСШ, немец по крови и парижанин по взглядам и привычкам. Он был очень разочарован, что я не привез никаких английских газет, и очень жаловался на недостаток транспорта. Парижские книготорговцы, сказал он, наладили благодаря личным связям с посольствами получение иностранных и провинциальных газет и устроили настоящие читальни в лавках. Там творится что-то невообразимое, так как биржевики и коммерсанты толпятся возле газет с утра до ночи. На всякий случай я записал адрес книжной лавки Тибо, место встреч литературного общества. Р. мне рассказал несколько отвратительных историй с писателями, которые в выражении своих отрицательных чувств к коммуне дошли до возмутительной низости. Многие из них изо дня в день информируют Версаль о военных приготовлениях в Париже и одновременно поддерживают приятельские отношения с редакто-

рами революционных газет. Р. находил политическую ситуацию великолепной, хозяйственную же—очень скверной. Если где-либо и был хлеб, то его трудно было доставлять в город из-за немецкого обложения на севере и востоке и версальских патрулей с юга. Эти хозяйственные затруднения должны были рано или поздно повлиять на политическую ситуацию. Он рассказал мне также о немецких военнопленных: солдаты были привезены в Париж, где им выдали особые разрешения, с которыми они имеют право жить совершенно свободно. Многие из них не вернулись в Германию после перемирия. При получении первых известий о попытках братания прусских солдат с парижскими национальными гвардейцами в Сен-Дени он поехал туда с двумя бывшими военнопленными и одним шведским журналистом. Свидание с «врагами» однако устроить не удалось. Узнав о братании, генерал Фабриций велел сменить весь полк и послал на этот участок наиболее верных офицеров. Зато в Венсенне, сказал Р., удалось организовать встречу трех бывших военнопленных с представителями кавалерийской бригады. Разговор шел глазным образом об условиях жизни рабочих в Париже, о мероприятиях коммуны по рабочим вопросам и о настроениях, которые господствовали в прусской армии. В конце разговора представители бригады предложили Р. и бывшим с ним военнопленным поехать в штаб бригады и там еще поговорить с товарищами. Один из кавалеристов, офицер, дал Р. пропуск в расположение бригады. Р. усомнился в его действительности и сказал кавалеристам, что без дальнейшей инструкции из Парижа он не может им воспользоваться. Когда стемнело, стали расходиться. Прусские офицеры сказали военнопленным: «Как, вы разве с нами не пойдете?» Те решительно покачали головами и ответили: «Нет, спасибо».

Встреча

Я узнал в своем отеле, что кто-то на-днях хочет покинуть Париж, чтобы

ехать в Бордо. Очевидно я мог получить теперь вторую комнату. Фамилия уезжающего была Лафарг, я слышал о нем, это, говорят, один из самых крупных вождей генерального совета МОР в Лондоне. Я послал ему свою визитную карточку и позднее зашел познакомиться.

Он подбежал к двери приветствовать меня, как если бы хотел вытолкнуть меня в коридор. Все его движения как будто рассчитаны на то, чтобы оттолкнуть от себя окружающие его вещи. Его манера говорить напоминает актера, который проходит роль на разные голоса. Он может одновременно смеяться и угрожать и с удивительным умением не отвечает ни на один задаваемый ему вопрос.

Я присидел у него около двух часов, едва успевая отвечать ему. Он говорил с удивительным знанием революции и большим резкостью. Погом он подверг меня настоящему допросу относительно настроений в Англии и английских кругах Парижа и почти вынудил у меня обещание зайти в здешнее английское посольство, чтобы узнать о его позиции в отношении коммуны. Хотя мы расстались очень тепло, я был рад вернуться к себе в комнату. Мне совсем не улыбалось занять место агента информации при этом неистовом Лафарге.

Самой заметной чертой характера его является, мне кажется, совершенное неумение что-либо хвалить. Он бывал наиболее блестящ как раз тогда, когда разражался площадной руганью по адресу своих политических врагов. С удивительным изяществом мысли он чрезвычайно ловко сочетал самые невозможные выражения, доказывая мне, со ссылками на своего духовного шефа д-ра Маркса, что его партия была настроена против восстания в настоящее время. Он называл Прудона романтически настроенной свиньей и поносил Бланки за его теорию революционной борьбы.

— Нужна партия коммунистов, ее нет,—рычал он, придвигаясь ко мне,— постараемся создать ее в ходе сражения.

Нельзя отрицать того, что в Париже царствует голод. На улицах развелось великое множество коршунов, они следуют за провиантскими обозами почти безбоязненно. Вчера я видел, как стая ворон налетела на тележку с козиной. Человек яростно отгонял их палкой, но птицы были настолько голодны, что это не пугало их. Бывали случаи, когда изголодавшиеся вороны влетали в комнату гостиницы через форточку, чтобы подобрать крошки на полу.

Что думают в Версале

Наконец-таки я решил выполнить давнее намерение посетить супругов Ежиковых в русском посольстве. Меня встретили как старого друга и усадили за стол, чтобы угостить всем, чем располагал дом. Господин Пьер Ежиков, — возможно я не совсем правильно пишу его фамилию, но мне трудно ее усвоить — занимает должность экономического наблюдателя при русском посланнике. Господин фон-Штакельберг, посланник Царя, переехал вслед за правительством Тьера в Версаль, и в посольстве остались первый секретарь. Ежиков и несколько низших служащих. В то время как высший персонал посольства бездельничает в Версале, Ежиков едва справляется с работой.

По личному распоряжению посланника он занят сейчас всесторонним изучением экономического положения столицы и хозяйственного законодательства коммуны.

Ежиков рассказал мне, что левые депутаты Национального собрания, из которых многие состоят мерами округов Парижа, потребовали, чтобы собрание дало Парижу право муниципальных выборов и выбора офицеров Национальной гвардии. Они выразили мнение, что эта мера даст партии порядка моральную опору, которая могла бы привести к усмирению бунтовщиков. Палата в согласии с правительством приходит к мысли дать частичное удовлетворение желаниям этих депутатов, однако, сказал Ежиков, не надо создавать иллюзий относительно того, что может принести эта мера. Если коммуна найдет

выход из экономического мешка, прибавил он, то борьба затянется, и ее исход может быть неожиданным. Я спросил, какими денежными средствами располагает коммуна. Оказывается, в ее руки попали деньги сберегательных касс и отчасти военного ведомства, что же касается правительственных сумм, хранящихся в банке, то они пока не тронуты. Вы знаете, если бы я был на их месте, сказал мне Ежиков, я бы начал с экономических мероприятий. Они (коммунары) будут непобедимы, если наложат руку на частные и правительственные капиталы. Но к счастью среди них нет ни одного хорошего экономиста, добавил он. Я заметил, что на стороне восстания — такой выдающийся социолог и экономист, как Маркс, который, если понадобится, не оставит коммуны своим советом. Ежиков сделал невольное движение, чтобы записать себе это имя в тетрадку, но удержался и ответил, что он несколько раз уже слышал это имя, но ничего не знает о его носителе.

Потом мы стали говорить о Версале. Под глубоким секретом Ежиков сообщил мне последнее донесение русского посланника своему императору, посланное через английского курьера. Г. фон-Штакельберг заявлял в нем, что считает Национальное собрание совершенно беспомощным в подавлении мятежа. Он возлагал единственную надежду на помощь графа Бисмарка. Международный кредит Франции подорван, писал он, правительственный аппарат дезорганизован. Пессимисты без большого неудовольствия предвидят, что иностранцы займут столицу. Ежиков передал мне также, что Тьер принимает все меры для подкупа вождей коммуны. Секретарь главы исполнительной власти почти ежедневно бывает в Париже (это несмотря на военные действия) и связан с группами военных и с чиновниками, работающими по снабжению. Я сказал свое мнение постороннего наблюдателя, что коммуна является при всех ее недостатках самым честным правительством за последнюю четверть века. Я сделал характеристики некоторым ее

вождям. Это правильно, ответил мне Ежиков, но честность так близко граничит с глупостью, что ничем от последней и не отличается. Хорошему правительству нужны иные качественные критерии.

Глубоко за полночь госпожа Ежикова отвлекла нас от деловой беседы. Мы вспомнили Лондон.

Из рассказов Коллинса в кафе «Одеон» Сто пятьдесят способов спасти Париж

Совет коммуны должен был начать заседание в девять утра. По наивности я думал, что французы под влиянием военной опасности изменили свои привычки. Прихожу в десять — зала еще пуста. Через час пришел Делеклюз. Он мигал глазами и шел согнувшись. Старое, поношенное пальто, маленькая черная фетровая шляпа, руки заложены за спину, вид расстроенный, такой, точно он боится, чтобы его как-нибудь не оскорбили. Это осталось еще, повидимому, от каторги. Он ведь только-что из Кайенны. Вбежал Вермеш, один из редакторов популярнейшего «Пер Дюшена». Он выглядел очень свежо. Губы его были в масле. Делеклюз сказал ему, сморщив губы, будто оскорбляя или прикалывая, что в Германии раздаются влиятельнейшие голоса за признание коммуны, и, не ожидая ответа, прошел в залу заседаний.

Он занял место за столом президиума, скрестил руки на груди и устремил немигающий взгляд на пустые кресла. Я как раз собирался спросить Френкеля, будет ли он выступать, как подошел Лафарг и с увлечением потряс толстой папкой. «Вот—сто пятьдесят проектов спасения Парижа,—закричал он.—Промомотрите их, и вас взволнует эта наивная чепуха». Он пересказал несколько предложений, поступивших в научную делегацию. Некто Огюст Венгюк уведомлял например, что изобрел воздушный шар, который может выбрасывать на землю всякого рода взрывчатые и горючие вещества при посредстве заводного механизма, что дает возможность уничтожить не только версальскую ар-

мию, но и всех пруссаков и англичан. Рено предлагал золу почту, громадный воздушный баллон, который должны будут приводить в движение сто пятьдесят два быка. Потом Лафарг круто оборвал свою речь и громко спросил меня, был ли я в английском посольстве и исполнил ли его просьбу. Я был рассержен такой неуместной экспансией и сухо ответил, что зайду в посольство, когда явится в том необходимость лично для меня. Он взглянул на меня удивленно и, кажется, не понял моего тона. Неожиданно в дверях появилась фигура прихрамывающего Домбровского. Он подошел ко мне очень обрадованно и сразу же напомнил, как мы пробовали фаршировать чесноком итальянские макароны.

Не давая мне опомниться, он спросил, где я живу, что делаю, когда бываю дома, и пригласил к себе в главную квартиру. Мне кажется, я ничего не успел ответить. Тут его отозвали в сторону, и я пожалел, что не сунул в карман его мундира клочка бумаги с моим адресом. Наконец на возвышении для президиума произошло движение. Слово предоставлено Делеклюзу. Его речь была обзором философских становлений революции. Он говорил несколько яснее, чем обычно, но все же глухим голосом чревоушателя или умирающего. Он никогда не знал искусства возлагать менее важные вопросы на своих друзей и тем облегчать свою работу. Он всегда переутомлен до крайности. Кажется жестокостью здороваться с ним, когда его встречаешь: всем своим обликом он как будто бы умоляет оставить его в покое.

Окна скрипнули в рамках, и пол мягко шевельнулся на один миг. Тишина пропустила сквозь себя щелк барабана. Полк женщин проходил под командой седоусого офицера. Шарль Амуру, секретарь Совета коммуны, открыл окно и, волнуясь, пересмотрел телеграммы.

Северо-западный фронт
«Со стороны Сен-Клу накапливаются колонны версальцев.

Анрьё».

«На люнете Бланки масса трупов. Ракеты взорваны. Полковник... искажено... преувеличено известие о том, что перебито много наших».

«Водопроводный редут занят версальцами».

«Версальцы штурмуют лит. Б.».

«Разрушения на капонири заваливаются мешками, нехватает транспорта, предупредите военного делегата».

«Перед левой крайней каморой головного капонира версальцы сделали галерею, устье которой величиною в два квадратных аршина забрасывают бомбочками. Самая камора полуразрушена. В верхние отверстия наши бросают бомбочки. Необходим инженер».

«Шлем коммуне свой боевой привет, обещаем честью выполнить до конца свой долг».

Группа кавалеристов отряда Зоологического».

«Собрание школьных советов, назначенное на пять вечера, переносится на восемь. Категорически ждем представителя Совета».

Амуру прогнусавил: «Раззл, даззл, хоббл, доббл» — и отбросил папку.

— А как на южном фронте? — спросил он дежурного. — Нет ничего?.. Чего-нибудь такого.

Тот протянул ему папку:

«Близ Вильжиуиф замечены люди, замечены люди в малиновых мундирах. Кто это может быть? Сообщите».

Помощник мера».

«Версальцы траншеями подвигаются вперед Биланкуру».

— А чего-нибудь такого, особенно-го?

«Ниже Витри па Сене села на мель барка с зерном. Организуем отряд спасения условием десяти процентов».

«Неприятель сильно беспокоен. На западе Медона большое движение».

«Доводим до сведения для принятия мер через Красный крест. С высот Шатильона батареи сильно обстреливают дорогу к Монжуру. Стреляют даже по одиночным людям уже десять дней. По поручению собрания Верни».

«По дороге в Мон-Валерьен прошло 150 носилок с их ранеными».

«В квадрате 20 четыре большие палятки, повидимому, для начальства».

Прищурив глаза, Амуру осторожно взял из груды сообщений телеграмму о хлебной барке. Он сделал это со вкусом, как выбрал пирожное.

Дверь в коридор, когда он пытался открыть ее, чтобы выйти на заседание, кем-то была придержана извне.

— Ну-ка, сделайте тут что-нибудь, — неопределенно произнес Амуру, повертев рукой в воздухе.

Дежурный, отчаянно разбежавшись, ударил ногой в дверь. Она едва поддавалась. За нею, конечно ее подпирая, делегат финансовой секции Журд бранился с Виаром, делегатом продовольствия. Их беседа напоминала ритмический танец, потому что, обнимаясь, отгалкиваясь, тыча друг друга в грудь, похлопывая по плечам, они занимали собой громадное пространство. Их все обходили стороной, чтобы не получить случайного толчка в бок. Делегаты мяли друг друга с ожесточенным увлечением. Амуру передал им телеграмму о барке.

Прошло десять. Кто-то крикнул по коридору: «Члены Совета! На заседание!» В буфетной оставалась лишь небольшая группка людей, прокурор коммуны Риго, делегат просвещения Вайян и третий неизвестный. Журд, Виар и Амуру подошли к ним. Вайян любезно и очень торжественно произнес в сторону неизвестного:

— Гражданин Вашберн, посланник Америки.

Американец очень легко и непринужденно поклонился и тотчас стал продолжать свою прерванную речь.

— ... Вопрос о работе всего более занимает теперь умы и потому представляет всего более опасности. Между затруднениями, с какими сопряжено решение этой благородной специальной задачи, есть, господа, одно, которое проистекает от странного заблуждения.

Американец оглядел окружающих. Он сделал даже это не глазами, а всем своим серым вытянутым лицом, будто

просто-напросто показывал каждому фас свой, совершенно серый и совершенно покойный, с одной живой и блестящей точкой — золотым верхним зубом невѣроятной, прямо нарочитой величины.

— ... Плагают, что в обществе находится особый класс, называемый рабочим или трудящимся, и это-то мнение порождает недоумение, зависть и гнев. Надо бы внушить, господа, миролюбивым людям (он скороговоркой прибавил), — а вы знаете мое отношение к вашему делу, господа, и ко всем вам как истинным обеспечителям мирного равенства, — надо бы внушить им, что мы все не что иное, как трудящиеся под различными видами, и что между нами (я говорю как социалист) все интересы общие, все обязанности одинаковые.

— А права?

Вопрос принадлежал, повидимому, Риго. Как бы не расслышав, американец продолжал:

— Господина Бланки очевидно должно назвать трудящимся. Да и всякий, кто, подобно ему, возделывает поле мысли, — не трудящийся ли? Не трудимся ли мы все, пока существуем? — Он опять показал всем по очереди свое лицо. В улыбке его сверкнуло золото.

— Некоторые сделали из организации труда какую-то утопию. Эта утопия может превратиться в важнейшую из опасностей нашего общества. Да, да, господа. Лучше обращаться к практическим вещам (я говорю как друг), изучим действительные потребности, узнаем истинные условия труда, не станем разделять людей ненавистными разграничениями, а соединим их взаимными обязанностями, любовью к ближнему...

— Члены Совета! На заседание!

— Я откланяюсь, господа. Вас зовут к решению важных дел. Лишу себя надеждой еще встретиться с вами.

Члены коммуны, толкаясь друг с другом, пожали его длинную громоздкую руку.

— Конечно заходите, конечно, — весело и почти гостеприимно несколько раз под ряд произнес Риго. — Заходите, поспорим.

Потом, когда американец скрылся за углом коридора, Риго вдруг крикнул, пенсне подпрыгнуло у него на носу и, ринувшись вниз, закачалось на черном шнурке, он добродушно захохотал и шепнул Вайяну:

— Единственное, что я извлек из его любви к ближнему, — это то, что надо обязательно сделать поголовный обыск в городе. Я тебя уверяю, — воодушевленно сказал он, трясая Вайяна за борт сюртука.

Равэ был одним из тех, кто уверен был, что заседают с восьми утра. Люди собрались сюда отовсюду. Они принесли с собой новости, недоумение, ошибки, победы и всем этим тут же обменивались, стоя по углам коридора или сидя на подоконниках и не прибегая к старому академическому порядку стройного и строгого заседания. Работники трудовых примирительных камер шептались с Френкелем, хохотали и топали ногами женщины, собравшись гурьбой в читальне. Вдруг вылетал кто-нибудь из залы и окрикивал коридоры: — Предлагается обязательное отчисление в пользу раненых! Согласны? Что? Ну, прекрасно! — и снова исчезал в зале. Военные ноносили стратегию.

Когда Равэ попал в залу, было четверть двенадцатого. Несмотря на страшный шум разговоров, шаги переходящих с места на место людей, когда в зале не было, кажется, и десяти человек, занятых одним делом, — все наиболее важное доходило до всех. Никто не интересовался оратором, которого мог слышать один лишь президиум, и однако все знали, что происходит. Стенографистки фиксировали не то что каждое слово, но даже каждый вздох, раздающийся в зале.

Предстояло заслушать последний проект воззвания коммуны к французскому народу. Начало декларации торжественно потонуло в реве голосов и аплодисментах.

«Восемнадцатое марта открывает новую эру экспериментальной, позитивной научной политики...»

— Научной политики!... Ах, черти, черти, — шептал Равэ, глотая слезы. — Ах, черти родные.

«... Это конец старого правительственного и клерикального мира, конец милитаризма, бюрократизма, эксплуатации, ажиотажа, монополии, привилегий и всего того, чему пролетариат обязан своим рабством, а родина — своими бедствиями и страданиями... Наш долг бороться и победить!»

Равэ вскочил на скамью:

— Да, да, да, да, да, — закричал он отчаянно. Он почувствовал себя великим, мужественным человеком, развязывающим мир от его прошлого. Физически это чувство сказалось в том, что он узнал себя выше любви и дружбы к ближнему, выше обязательств, идущих от привычки существовать ради того, чтобы умереть, когда придется, лишь бы не преднамеренно, то-есть как бы совершенно случайно. Сознание величайшей независимости прохватило его легкою, приятной дрожью. Ему хотелось бросить всего себя в круговорот событий, жить в нем, страдать, наслаждаться и гибнуть. Любое невозможное мог бы он сейчас сделать с чрезвычайной легкостью. Лишь бы это не называлось ни жертвой, ни преданностью. Никто не отступает, потому что все верят. Жертв нет, налицо естественный образ действий...

Молчаливый жест, сделанный подошедшим служителем, выбросил Равэ в боковую комнату. Он опустился на софу, чувствуя, что устал бесконечно... Он никогда не мог подумать, что можно падать так долго. «Это наверно головокружение» — подумал он успокоенно и смело сказал высокому худому ученому, который бесцветно предстал пред ним: «Я все-таки проголосую за бюст Антиноя. Его отлично можно вынести вон. Статую римлянина-оратора тоже. Честное слово, зачем им торчать в музее? Вот это «Раненый галл»? И его. На нашем Монмартре пропасть чудных углов, где их поставить. И «Боргесского льва», будьте добры. Нет, нет, «Боргесского льва», а не «Гомера». — И он тотчас уехал в провинцию.

Впрочем ощущение, что он все еще остается на софе, его не покидало. Но оно и не портило развития поездки. Орлеан оказался точно таким, каким он знал его лет восемь назад. По столикам кафе «Жорж» бегало солнце, как в тот час когда он отдыхал там от голода, молодости и обиды на жизнь. Он не знал что с собой делать (как и тогда). Но в душе была молодость, только лишь более мудрая, перед ней все стало проходить в хаосе любимых воспоминаний — обиды, недоедание, надежды, имена лица, память об ощущениях. Пошли воспоминания часов и минут, они являлись сразу во всем своем содержании линейно, в одной плоскости, лишенные перспективы, дом рядом с пролетарским именем рядом с беседой, беседа рядом с толпой. Он все рассматривал в себе без содействия слов, они не угнались бы за тем, что предстало, и упустили бы в своем пересказе все самое главное.

Поздним вечером он проснулся. В комендатуре долго не выпускали его наружу, и пришлось передать позорное свое поведение на заседании Совета чтобы выскочить на улицу, получить в догонку несколько пожеланий крутой солдатской заварки.

Ночь. Ей открыты все окна. Она шарит в настесь открытого ей городе, как одна волна в изгибах и щелях берега, смывая с него пыль и травы и мешая их вместе, и путая, и отбрасывая, соединив в одно, к соседним берегам и в глубины.

Ночь. Ей открыты все окна. Ночь шарит в настесь открытого ей городе и все находки соединяет в одну. Она тем но-проста, без деталей, без частности она — как громадная точка в конце угмительной дневной фразы.

Вот подойти бы к окну, за белой занавесью которого слышны голоса, одернуть невесомый тюль и сказать несколько слов или запросто прислушаться к разговору, просмеяться чужой шутке или кивнуть глазами в ответ на печальные рассуждения, — и не будет это ни странным, ни оскорбительным. Ночью частное не имеет значения.

Мостовые гулки. Они далеко разносят шаги пешеходов и цокот конских копыт. Они так гулки, что по ним движутся одни звуки движений, фигур же движения незаметно, — они далеко. Свободной тишины ночи не нарушает даже грохот по небу: это высоко к небу вздымается и в него бьет эхо канонады. От нее вздрагивают облака.

Но почему приснилась вдруг ему молодость? Если верить приметам, то молодость — путь. И почему Орлеан? Незаметно для самого себя он избирает кратчайший путь к перестрелке. Он идет, отбрасывая ногами брызги звуков. Он не шадит теперь ночи. Если ей открыты все окна, если ночь шарит и настезь открытому ей городе и все находки соединяет в одну, — пусть она бросит в окна клубок настроений из тишины, шагов одинокого пешехода в дальней канонады за стенами Парижа — тишину, шаги, канонаду, — и пусть из этого сегодня возникнут все сновидения спящих, все надежды бодрствующих, все опасения малодушных, все бреды умирающих.

Путь не запоминается. Улицы подхватывают Равэ сами собой и быстро, не запинаясь, передают его переулкам, пассажам, площадям и следующим за ними, как бы ожидающим его новым улицам. Едва улавливает он их состояние — безлюдность, темноту или освещенность. Откуда-то сбоку налетает слабая зыбь музыки. Она кажется случайно продолжающейся ото дня, в роде запертого на ночь водопроводного крана на площади. За звуками музыкальной мелодии вырастают другие. Звуки разбредаются на ночлег, как загулявшие хулиганы. Топот ног твердо проходит по воздуху, скользит вместе с уличным ветром беседа — слово здесь, слово там, а конец улетает в джель, скрип метел кривляется, подражая вину волны у океанского берега, и щипки у товарных депо играют в перестрелку под руками торопящихся дружок. Удар топора по сухому звонкому бревну прохаживается, как уличный сторож, и будто бормочут в голодном сне беспризорные — бормочет булыж-

ник, кайлом вырванный из мостовой и сыпаемый в кучи.

Равэ заблудился. Все в нем устало, все бредит — и слух, и глаза. Он долго приглядывается: ага, вот оно, что, город давно уже на исходе, концы его последних улиц небрежно сливаются в общие пустыри. Равэ ориентируется. Воздух полон тихой тряски от дальних выстрелов.

Пусть убивают! Нам наплевать!

Едва успеет умереть, мы снова рождаемся поколением страшнее прежнего и сильнее. (Он сказал «мы» конечно не о себе и не о чередке отдельных существований, но о всех бунтарях, известных человеческой памяти). В его крови — так чувствовал он сейчас — текла родовитая кровь смутьянов, зачинщиков, поджигателей. Никакая даль истории не отделяла этих ощущений родства, и в гербе его рода могла быть помещена дубина или дикий камень — оружие первых бунтовщиков. Он чувствовал в себе наследственность мужества, упорства и пафоса. Они были его состоянием. Победа была узко личным вопросом. При нем или нет? Увижу или, может быть, не успею? Но что она будет — в этом не возникало сомнений. И пусть убивают! Нам наплевать!

— Не бросайте мешки, осторожно, спускайте их на веревках.

— Считайте лук! Мы имеем сорос мест лука... Сколько моркови? Тридцать? Тринадцать? Пересчитайте морковь!

Несколько человек, высоко задрав головы, грузили мешки на ручные тележки, впрягались в них и медленно уволокивали в глубь улиц. Они работали совершенно молча, лишь иногда пощелкивая пальцами, когда им приходилось расходиться друг с другом в узком пространстве перекрестка.

Равэ остановился и в удивлении долго пытался объяснить себе эту таинственную сигнализацию. Он сам оглушительно щелкнул пальцами, когда один из грузчиков направился в его сторону, и он крякнул от сдержанного

смешка, увидев, что тот быстро остановился, даже покачнувшись от резкости своего движения, и, пощелкав пальцами протянутой вперед правой руки, будто он звал этим звуком куда-то забегавшего пса, взял другое, уже верное направление. Равэ щелкнул еще — и другой грузчик отпрянул в сторону, озираясь недоуменно. Захочотав, Равэ быстро вошел в самую гущу работы, щелкая обеими руками. Впереди него все смешалось. Побросав мешки, люди пятились в разные стороны, наталкиваясь друг на друга и еще больше увеличивая так неожиданно возникший хаос.

— Кто это щелкает? — раздраженно крикнул один из грузчиков. — Дайте там ему в морду.

Все закричали:

— Александр! Александр! Тут кто-то валяет с нами дурака. Посмотри-ка, в чем дело!

Все стояли теперь, не двигаясь с места и лишь изредка посылая в воздух один-два легких щелкающих сигнала.

— Послушайте, вы! Какого действительно чорта!

Равэ увидел, что на него двигается громадного роста мужчина. Голова его была далеко вытянута вперед. Он шел, часто проводя рукой по лбу.

— А что? — спросил Равэ, уже начиная смущаться, так как почувствовал непонятную вину за происшедшее.

— А то! — угрожающе сказал тот и отстегнул от пояса палку, прикрепленную, как палаш. Он рассчитал свои движения так, что должен был запереть Равэ в узком простенке между домом и соседним заборчиком. Палка уже кружилась в его деятельной руке.

— А то! — сказал он еще раз. — Когда мы работаем, нам никто не мешает. Так у нас принято. Зрячие должны помогать, а не портить. Идиот вы!

— Зрячие? — Равэ отскочил в сторону, так как палка почти коснулась его. — Послушайте, вы смеетесь! — Он шлепнул себя ладонями обеих рук по лицу.

Человек с палкой тотчас остановился, спросив:

— Что это? Слушайте, что вы там еще вытворяете?

Но Равэ уже понял. Он стал на четвереньки и, крадучись, пополз мимо человека с палкой.

— Что там с вами случилось? — опять спросил тот. — Эй, вы! — он раздраженно разводил в стороны руки и озираясь, морща лоб.

Равэ был далеко в стороне.

— Исчез, — сказал человек с палкой. — Подумать только, сколько он хлопот нам наделал. — Он стал протирать руки, будто что-то от себя отодвигая. — Где вы там? — спросил он своих.

Те ответили тихим сигналом пощелкивания. Он вслушался в эти сигналы. Мозг его сделался чем-то в роде громадного уха.

— Ничего, — сказал он, — сейчас мы это наладим.

Ступая на носках, Равэ прыгнул в дверь бара.

Желающие перебраться через городскую стену составили очередь у стойке этого подслеповатого, при одной керосиновой лампе, питейного заведения. Безногий Рони сидел на углу стола, как большая дрессированная лягушка.

— Что это такое? — спросил Равэ.

— Это артель «Самопомощь». Вот Рони, старший. Спросите его.

— Их привез из Аньера машинист Ламарк, это — нищие войны, — сказал почтальон. — Они, видите ли, организовались.

С крепостной стены продолжали спускаться мешок за мешком.

— Тихо, дьяволы, не мните морковь, — приказал Рони. — Кто собирается за город? — спросил он. — Десять франков с носа, прошу вносить Командированный коммуной бесплатно.

Почтальон потребовал, чтобы ему было оказано внимание прежде всех, и, когда Равэ помог ему взвалить на спину ранец с почтой, он сказал:

— Ребята, нас сегодня двое.

По узкой лесенке почтальон и Равэ взобрались на гребень стены и на ве-

ревках соскользнули во внешний ров.

— Тише, — сказал им кто-то, невидимый в темноте. — Здесь вот порей, зройдите там.

— Завтра у нас будет замечательный зеленый торг, — сказал почтальон, когда они выбрались в поле, и спросил: — Ты куда же?

— Во Францию, — ответил Равэ. — Я во Францию.

— Ну, вот тебе она.

Они шли по темному полю между холмами Иври и Бисэтр. Инвалиды тащили в город мешки и корзины с зеленью. Они возвращались к Рони с требованием подкреплений, потому что штурм заброшенных хозяевами парников у Вильжуифа, которым руководил Дэээ, терпел неудачу.

— Вот, когда я возвращаюсь в город, тогда мне бывает здорово тяжело, — сказал почтальон. — Несу, брат, по тридцати килограммов зараз. Пишут и вишут. Франция! — добавил он уважительно и довольно. — А то еще, знаешь, другой раз, людей наберу. Едут, как же. Такие дела творятся. С детьми, понимаешь. Иностранцы. Или там наши крестьяне. Тогда ползком, ползком, ничего не поделаешь, километров пять на животе, на коленках, потом бегом, — тяжело. Хорошо еще, вот эти уроды помогают. С ними, брат, не продашь никогда, до того отчаянны. Сколько людей доставили, — не сосчитать.

Равэ молчал. Он шел, часто оглядываясь на город.

Почтальон по-своему объяснил его настроение и заметил успокоительно:

— Дойдем до Тиэ, свернем к кладбищу, там переправимся через Сену и будем благополучны, — сказал почтальон.

Но у харчевни «Бахус» заставы Дэээ остановили их.

Горбун стоял у дороги, заложив руку за борт военного мундира. На голову его был надет красный колпак образца 93-го года.

— Где Рони, этот трусливый идиот? Видели вы его? — спросил он. — У меня тут все прахом идет. Нищие с правого берега захватили парники и

подняли такой шум, что надо ждать с минуты на минуту версальских разъездов. Он взглянул снизу ввехо на почтальона и сказал с внушительной ясностью. — Пройдите-ка на разведку, служивый. А вы, — он обратился к Равэ, — подождите вашего друга возле меня.

— Тридцатого Тьер назначил новые выборы по всей Франции. Надо им всем там сказать, что происходит в Париже.

Дэээ кивнул головой.

— Это верно, — сказал он. — Когда хотят, чтобы собака повернула назад, лучше всего наступить ей на хвост. Мы вас проводим, — и он величественно отвернулся.

Здесь кончается связанная история дальнейшей жизни столяра Шарля Равэ. В конце повести мы найдем лишь несколько строк, позволяющих предположить конец его жизненных странствий, но предположить в неясных и спорных очертаниях.

Тьер, глава версальской исполнительной власти, не был тем человеком, который мог спасти Францию зажиточных сельчан и парижских лавочников от парижской социальной революции. Человек, трусливый по природе своей, а следовательно неустойчивый в мнениях и до крайности беспринципный, он держался у власти благодаря тому, что ему было решительно все равно, что ни защищать. Он с совершенной серьезностью мог бы принять для себя характеристику, данную Марксом французской буржуазии времен Наполеона III «Еще только воровство может спасти собственность, только клятвопреступление — религию, только прелюбодеяние — семью, только беспорядок — порядок».

Друзья его называли это качество гибкостью ума и высокой дипломатической тактикой, а враги — дьявольской хитростью. На самом же деле Тьер был далеко не умен; все, что составляло силу его природы, укладывалось в одно определение — продажность. Она была у него поистине великой, всепроникающей и гениальной. А так как в характере буржуазного общества продажность заложена в качестве ведущей черты и яв-

ляется той самой струной, которая все-му дает тон, то Тьер бессознательно владеет тайной понимать вещи своего мира глубже, действительнее и точнее, чем все государственные люди его эпохи. Ничто не застило ему чутья—ни уважение к людям, ни уважение к принципам. Он был свободен от этих недостатков жиз-непонимания, свойственных некоторым его современникам, соприкоснувшимся со здоровыми влияниями встающей на но-ги демократии.

Парижские события 18 марта заста-ли его врасплох. Он только-что запро-дал себя умеренным республиканцам Бордосского национального собрания, Бисмарку и бонапартистам, обещав со-хранить республику и в то же время вос-становить империю, заплатить полмил-лиона немцам и не платить немцам ни одной копейки, повысить пошлины на английские товары и, наоборот, не по-вышать их. Восстание 18 марта застало его врасплох, так как сразу путало все его планы.

Первый вопрос, который задал шефу полиции, когда, запыхавшись, вбежал в покои, ему отведенные в Версальском дворце, был: «Кто они?»

— Список!—кричал он.—Вы—шляпа, гнилая тыква, а не шеф полиции! Дайте мне список главарей.

Главарей не было. Действительно, главарей первое время не было. Шеф поли-ции стал называть наудачу.

— Может быть, Феликс Пиа, госпо-дин президент...

— Ах, это старое заячье дерьмо я давно знаю, нет, не он, дальше!..

— Флуранс, Ранвье, Варлэн. Чорт возьми, Вермеш конечно.

— Если конечно, то где же вы были? Если конечно, значит, вы знали, подо-зревали, догадывались, предполагали?.. Идите вон! К утру доставьте мне точный список зачинщиков и вдохновителей.

Но и через пять дней, когда ему по-дали подробный список предполагаемых вдохновителей, положение не стало бо-лее для него ясным. Конечно виноваты были и прудонисты, и партия Бланки, и демократическая печать, и Федераль-ный совет Интернационала, и бездарные

наполеоновские генералы, проигравшие войну и потом не сумевшие отстоять Париж в дни осады; виноват был Гари-бальди, разжегший патриотический пыл, виноват был Рошфор, искренно путав-шийся в дела обороны, виноваты были польские и итальянские эмигранты, про-возгласившие восстание делом чести и доблести всех трудящихся мира. С дру-гой стороны, были виноваты его собст-венные министры, известные главным образом своим примитивным жульниче-ством и бездарностью, виновата цер-ковь, английские шпионы и еврейские банкиры.

Когда маршал Мак-Магон явился к нему с предложением своих услуг по подавлению мятежа, Тьер продержал его в приемной часа два, но выскочил не пересидев своего бешенства, и, вста-на носки, затыкал слабой желтой ручов-кой в маршальский мундир.

— Морда! — кричал он. — Вы, мар-шал мой,—изрядная морда. Так распу-стить! А! Так дезорганизовать! А! Я подотрუსь вашим предложением, вот что! Да-да! — Он отскочил от него, как мяч от стены, и указал рукой на дверь.— Я позову вас, маршал, когда дела рес-публики того потребуют. Не извольте рассуждать.

Потом он стал вызывать генерала за генералом и вести с ними длительные бе-седы. Убеждаясь с каждым днем в их абсолютном военном невежестве, он стал подумывать о помощи немцев. Он боял-ся лишь одного, что потеряет благодаря этой мере влияние среди мещанской ча-сти Национального собрания. Потом он боялся еще англичан. И русских тоже боялся. И все это так в конце концов его расстроило, что он никак не мог на-метить единой системы подавления рево-люции. Сначала, по инициативе париж-ских меров, ему предложили компромис-сный выход—соглашение с коммуна на основе принятия им некоторых реформ Тьер отказался, так как хотел сам даро-вать эти реформы и еще потому, что боялся новых выборов собрания, которое должно было последовать за согласи-ем. Генералы предложили штурм горо-да,—он им не поверил. «В 1809 году французам пришлось бомбардировать

Сарагоссу в течение сорока одного дня, — сказал он осведомленно. — И в конце концов, чтобы выбить испанцев, пришлось минировать каждую улицу».

Отвергнув предложенные способы, он остановился на том, который выдумал сам, — на подкупе. Его агенты, по их собственным утверждениям, платили этому не лень. Они представляли ему расписки коммунальных генералов, редакторов, рабочих лидеров и ведомственных чиновников. Они утверждали, что все подкуплены и готовы сдать главе исполнительной власти, но версальские «таки отбивались с прежним диким ударством, а газеты выходили каждый день с лозунгами, все более непримиримыми.

— Они проиграют на своем интернационализме, — сказал он наконец. — Парижанин не захочет драться, если это оказывается делом английского или русского пролетария. Русские проблемы у нас никого не интересуют.

Он дал указания провоцировать интернациональную политику коммуны. Его агенты кричали на всех перекрестках, что дело, затеянное Парижем, «оказывается даже не его, парижским, делом, а русским, английским, польским.

И однажды секретарь российского императорского посольства Обрезков ознакомил главу исполнительной власти с неожиданными результатами его агитации.

— Знаете ли, господин президент, — сказал он, — что рудный бассейн Севера и Па-де-Кале пользуется у вас трудом поляков, Нормандия и побережье Средиземного моря — трудом китайцев, стекольные заводы в Бордо — трудом чегров, железные рудники Брие — трудом итальянцев и немцев, Лион — трудом греков; что джутовая и лесная промышленность в Пиренеях держится на испанцах и что все сезонные рабочие Севера Франции — бельгийцы. И знаете ли вы, господин президент, о том, что интернациональная политика парижских инсургентов весьма положительно воспринимается всеми этими некоренными группами рабочих.

Через три дня после этого разговора Тьер позвал Мак-Магона.

— Штурм, подкуп, экономическая блокада. Так мы их быстро возьмем, — сказал он бодро.

Неуверенный в способностях маршалов, он сам ежедневно посещал стрелковые занятия, ревизовал снабжение армии и присутствовал на политических занятиях офицеров. Если бы в его распоряжении было время, он избрал бы не способы прямой и открытой войны, а, наоборот, систему косвенных ударов, игру на голоде, на партийно-групповых разногласиях в коммуне, на неопытности ее вождей и неверности многих военных специалистов. Он предпочел бы столкнуть лбами якобинцев с бланкистами, прудонистов со сторонниками Интернационала, чтобы на двадцать лет вперед рабочие Парижа закаялись верить всем этим господам из копеечных газетных листков. В его планы не входило сначала намерение физически уничтожить рабочих Парижа, нет, он рассчитывал добиться подчинения восставших более «мирным» путем, вселив в них уверенность в продажности своих вождей, ужас перед всемогуществом буржуазии и сознание своего собственного общественного бессилия. Но обстановка требовала быстрых решений. Выборы тридцатого апреля были не в его пользу. Бисмарк день ото дня становился требовательнее, Париж — день от дня организованнее, национальное собрание в Бордо — день от дня непослушнее. В начале мая он решил твердо, что будет штурмовать город со стороны Биланкура. Ворота Сен-Клу и Пуан-дю-Жур были намечены точками его генерального удара. У начальника прусского штаба генерала Фабриция он добился согласия помочь Версалю в блокаде города, и на Сене у Шарантона возникли заградительные заставы. Высшая интеллигенция города была предупреждена, что глава исполнительной власти внимательно следит за ее отношением к революции и не сочтет нормальным никакое участие в начинаниях коммуны. Единственно, кого он поощрял оставаться на своем посту и работать, не покладая рук, это сотрудников министерства иностранных дел и французского банка. Пока коммуна не рискнула опубликовать диплома-

гические архивы и не захватила долговой книги банка, он мог оставаться спокойным за конечный исход войны.

Североамериканский посол Вашберн при свидании с ним в Версале одобрил все начинания Тьера. Вашберн остался в Париже и был в курсе решительно всего, что происходило. И даже того, что должно было произойти.

— Не жалейте их, дорогой президент,—говорил он,—не сулите им пощады. Платите чеками смерти. Эта валюта всегда хорошо идет.

И Тьер еще раз подтвердил свой план прорыва в Париж через Пуан-дю-Жур. Он назначил Мак-Магона пребывать вблизи фронта, в Сен-Клу, и сам стал проводить там четыре дня в неделю и однажды рискнул даже осматреть переправу Биланкура, проявив, как потом писали газеты, упорное мужество. Впрочем в тот день на фронте было спокойно.

В конце апреля об'явился таковой—Ле Мер де-Бюфон, отставной флотский офицер, бывший губернатор Кайенны. Он решил парализовать коммуны посредством ловких маневров, вызывая ошибки в управлении и расстраивая работу общественных учреждений. Его помощниками были банковский служащий Ларок и отставной офицер Ланье.

Двадцать восьмого апреля коммунары оставили форт Исси.

Весна только начинала шевелить реку. Вода теплела медленно. Забившись под мосты, ветер целыми ночами рыл в воде ямы и срывал с привязей лодки. Запах дегтя, который возникает всегда над здоровой, работающей рекой, долго не появлялся над Сенной. Она вела себя так, будто навсегда потеряла движение, и, никуда теперь не желая течь, бесцельно болталась у пристаней, заигрывала с пароходами у их зимних причалов и задумчиво перебирала на своей волне вещи, которые бросал ей город. С заходом солнца она затихала, как в зиму. Утро водворялось на ней с трудом.

Выпив нагощак чашку горячего кофе как рекомендовал санитарный комитет в виде предохранительного средства против влияния утренних туманов, Кларе Фурнье вышла на палубу канонерки.

— Неумолимый господь какой, — сказала она, — и солнца у него не выразишь. — Клара собралась сойти на берег в бульонку — заказать парочку арлекинов¹⁾.

— Станьте к вашей мортуре, Кларе Фурнье, — сказал ей командир. — Мы отходим.

За мостом-виадуком Отей крепостные стены левого и правого берегов по пояс спустились в воду, будто хотели вброд перейти реку и наглухо замкнуть ее ход. У острова Биланкура канонерку «Эсток» нагнала пловучая батарея Обойда остров правым протоком, судясь разделились. Батарея избрала мишенью Медон, «Эсток» стала пристреливаться к окраинам Биланкура. Провинциальный вид Сены в этих местах смешивал команды.

Осыпь берегов, дырявые корпуса лодок на мокрых и грязных отмелях, кусты чахлого ивняка, коровы, по брюхо стоящие в воде, вызывали искреннее удивление. После величавого спокойствия Сены в черте Парижа эта Сена казалась преднамеренно раскосмаченной перепуганной, несерьезной. На «Эстоке» пробиты склянки как ни в чем себе бывало. Их гулкий звон напомнил деревенский церковный колокол. На крыше высокого дома по Биланкурской набережной засуетились красные флажки версальского сигнальщика. На «Эстоке» командовали огонь.

Медон прямо торопился загореться от края до края. От одного снаряда, куда бы ни попадал он, вспыхивали строения в самых разных местах. Теряя вагон локомотивы бросились наутек в сторону Версаля.

Биланкур казался гораздо устойчивее взрывы снарядов терялись в гуще его строений, почти не причиняя ему вреда. Лишь у переправы перед Биланкуром затеялась веселая суматоха. Снаря-

¹⁾ Остатки жаркого, сбываемые ресторанам дешевым бульонкам.

ды балованно разбросали здесь мешки с мукой и бочки с солониной. Солдаты разбегались по берегу, лошади рвали постромки и в щепы разносили телеги. Берег вставал песочным фонтаном и крошил землей реку.

Клара возилась у своей mortarы, как у домашней печки. Засунув юбку меж ног и прижав ее коленями, чтобы не мешала движениям, Клара даже не успевала поскрести голову. Дух разрушения схватил ее резвой озабоченностью. Нутром угадывала она, куда послать порцию своего балованного железа, и нервничала, когда не попадала. Людей уже не было видно на берегу. Она послала снаряд к палаткам и скомкала их четкий четырехугольник в грязную, дымящуюся кучу. Она ударила по муке. Смех душил ее. Еще раз по муке. Снаряд закачивался в белой мучной туче и суетился в ней, как живой. Мука неслась над рекой, беля палубы батареи.

Тогда перевозчик на пароме в паническом героизме ударил топором в днище своего ковчега и обрубил канат. Следующим снарядом Клара освободила реку от судорог этой прогнившей посудины. Она еще хотела ударить по веревке за переправой, но «Эсток» повернула назад, зовя за собой батарею. От Медонского леса карьером неслось орудие. Клара отошла от mortarы и справила юбку.

— Напекла, сколько могла, — сказала она, широко вздыхая.

Быстро прошли остров, и вот уже видук покрыл их своей сетчатой тенью. У пристани ждали мальчишки, готовые принять канат.

Спустя час Клара танцевала в бульенке. Она бойко переставляла ноги и тружила юбкой, стряхая с себя блох. Тут рассказали, что у одной убитой версальским снарядом девочки в кармане оказались очки и бумага, утверждающая, что она сиделка и что ей сорок лет.

Клара едва не захлебнулась смехом:

— Неумолимый господь, — просипела она сквозь смех, — какие штуки среди белого дня.

Потом рулевой Аристид купил ей в подарок шесть арлекинов из дичи, и они

двоем вернулись на батарею. Аристид пел модный романс: «Если сердце твое крылато, назови его именем птицы!»

И Клара всерьез ответила ему за этот учтивый комплимент:

— Если хочешь со мною дружить так далее, я прямо скажу — сердце у меня, как нырок. То оно есть, то его нет. Имей в виду, Аристид, я люблю самое лучшее обращение.

Третье мая.

Буйссон

Картина, которую задумал написать Буйссон, не укладывалась на полотно. Он перепробовал тысячи комбинаций. То хотелось ему написать все, как было: тот самый дом, который тогда пробивали, фонарщика; командира Бигу, бульвар с оторванными ветвями и лейтенантский шкаф на «Луизетт». То приходило в голову изобразить нечто отвлеченное, символистическое, чтобы в самых красках, в манере воспроизведения движений и света была новизна и подлинная революционность. Его давно обвиняли в недостатке психологичности, и сейчас это его встревожило, хотя он всегда придерживался золотого правила Курбэ, что «воображение в искусстве состоит в том, чтобы найти наиболее полное выражение существующей вещи, но отнюдь не в том, чтобы предположить или выдумать эту вещь».

Тем более никогда не пытался он предполагать столь обязательную психологичность изображаемого, считая, что в искусстве как дисциплине математической психологизм — не прием, а коэффициент всех приемов, и нужна лишь правда, только правда и ничего, кроме правды.

Работая над картиной, он написал около десятка набросков. Сейчас ему пришла мысль их выставить.

Он отобрал «Реквизицию пустующих картин», написанную кистью, без применения шпателя. Мазки с бороздками выступали здесь в живописи лиц, обстановка комнаты дана без излишней материальности деталей, а материальность достигалась самым весом тел, мощностью движений и тоном черной

умбры, на котором контрастирующие желтое и синее вспыхивали лишь небольшими точками, как разложение удара основного светового пятна. Он написал этот холст что-то в три или четыре дня после того, как по мобилизации мерии обошел свой квартал с группой уполномоченных по вселению семейств национальных гвардейцев. Женщина робко и настороженно входила в громадную комнату, обшитую темным дубом. Она озиралась кругом, ожидая засады. Федерат, разваливаясь на турецком диване, со смехом глядел на ее нерешительность. Он любовался своим превосходством. За юбку матери держались двое ребят, нагруженных деревянными ружьями, клочками красного ситца и «патронными сумками» из-под папиросных коробок. В глазах детей копошился беспредельный восторг перед массой новых вещей в комнате, которые им вскоре предстояло переломать.

«Эвакуацию жителей Нейи» он — после небольшого раздумья — тоже отложил для выставки. На общей компоновке этого полотна с несомненной и потому для него особенно неприятной очевидностью сказались влияния «Похорон в Орнане» Курбэ. «Эвакуация» была сделана похожей на фреску. Фоном служило зеленое небо, передний план занимали портреты: пять членов коммуны — Бержере, Жоаннар, Уде, Фортюне и Эд — приветствовали представителей беженской группы. Женщины держали на руках детей синего цвета, у старух были синие десны, голубые щеки, мужчины были вывалены в навозе, как быки.

Это он писал с натуры 25 апреля, в день перемирия.

К этим холстам он прибавил с десятков карандашных и акварельных набросков — баррикаду «Луизетт», портрет капитана Лефевра, лоток торговца на ярмарке с грудой пряников в виде горбуна Тьера, серию «Обысков» и растабуна версальцами федерата 185-го батальона у Бель Эпина.

Поручив сынишке консьержа отнести картины в магазин Тибо, — улица Турвон, 15, — он вышел налегке, чтобы по

дороге еще успеть забежать к Курбэ. Старика не было ни в ратуше, ни в совете художников, ни даже в швейцарской пивной.

Бульвар Севастополь

На рассвете воза цветов тянулись к центральному рынку. В розовых бутонках, упавших с телег, копошились голубые воробьи. Орхидеи распускались на перекрестках, розы цвели во всех киосках, резеда и гвоздика — в каждой петлице. Между разноцветными флаками аптечной витрины — фиалки, между овощами зеленой лавки — маргаритки. С отъездом буржуазии исчез крупный покупатель цветов, их стало расхватывать улица, их вдруг стало не естественно много, город был убрыв цветами, как покойник.

Афиша на углу бульвара Пуассоньер и улицы Фобург. Мажарг рядом с пивной.

Граждане, желающие возделывать огороды на городских пустырях и во дворах бесхозяйских домов, приглашаются на заседание аграрной комиссии в ратушу, комната 94, сегодня, в 8 часам вечера.

Разговор старых женщин в сквер Клюни

— У нас в Париже, которому нынче в модах уже ни одна земля не повинуется, который через свои сумасбродства потерял всю свою власть вкуса и изящества над Европой, у нас одна теперь главная, великая, всеобщая мода — ни-ше-та. В истинно изящном свете все вообще новые парижские выдумки возбуждают недоверчивость и даже открытое сопротивление. Возьмите например новый фасон шляпок, очень маленьких, очень срезанных и вынутых надо лбом. Он, я скажу вам, встречает сильнейшую оппозицию. Да и в самом деле, фасон безобразен: шляпка изрядно походит на чепчик.

— Демократизация? Может быть. Но красивого в этом мало. Или вот, что же это такое? В виду кровопролитных драк и, наверное, на случай холеры моделиеры выставили модели очень милых трауров

Невозможно, говорю вам, представить себе ничего печально-кокетливее.

Погода

Она не могла остановиться ни на чем определенном. Солнце энергично отбрасывало грозовые тучи к окраинам, и над кладбищем Пер-Лашез шел дождь. Вдоль Сены дождь пробежал по одной-двум улицам, но многие площади, даже по линии его бега, были сухи и пылили отчаянно, так как в надежде на дождь их не поливали с утра.

Буиссон садится в омнибус

Оказалось, что Курбэ в пивной Гофмана. Буиссон помчался туда. Слава богу, у версальцев отобрали форт Исси. Командир 3-го батальона сообщал, что подростки из воспитательного дома, обслуживавшие орудия 5-го бастиона, гибли во множестве, но твердо держались на месте. Чорт их возьми, за всем этим не уследишь, написать всего невозможно.

Курбэ вышел с Камелиной от Гофмана сосредоточенно-шаткой походкой. На нем был долгополый синий сюртук, вымазанный в краске, и пестрые брюки с полукрытой прорехой.

— Вот это я и называю искусством, — сказал он, вспомнив дообеденный разговор. — Верно, Камелина?

Он возымел страшную охоту остановиться и развить свою мысль. Не то что он выпил, а пиво стало намного хуже, чем раньше.

— Художник должен быть способен десять раз стереть и переделать свою лучшую картину. Чтобы доказать, — воял! — что он не раб случая или нервов.

— Это верно, — сказал Камелина. Он придержал Курбэ за локоть и предложил. — Пойдем ко мне на Монетный. Ты еще не был.

— А верно, пойдем, — радостно согласился Курбэ. — Я обязательно тебе что-нибудь посоветую там.

Ему ни за что не хотелось остаться сейчас одному.

— Ты в высшей степени серьезный человек, Камелина, — сказал он растроганно.

Они долго пробивались сквозь строй телег, двуколок, ручных тележек и навьюченных лошадей с реквизированными ценностями, занявших внутреннюю площадку Монетного двора. Тут их догнал Буиссон.

— Вот, чорт возьми, вот она, революция, — кричал Курбэ. — Он брал с телег подсвечники, люстры, перебирал их руками.

— Где ваш мольберт, Буиссон? Ах вы, молодой дьявол! Отчего бы вам не написать такой натюрморт, смотрите! Что за чорт-эта природа! Нет, вы смотрите, вон там из серебряного ведра старик поит свою клячу. Видите? А как блестят церковные люстры! А вот это! Вот где она, революция!

Он забыл, что только-что советовал выставляться, и, ударяя кулаком по плечу Буиссона, твердил:

— Вот, говорю вам, сядьте вот тут и пишите. Что вам искать? Бросьте все, что вы сделали и начните заново с этого.

Старик был похож на курицу, которой мешают снести яйцо. О нем было сочинено столько анекдотов, что ему никогда не удавалось выйти из их порочного круга. Он жил, переходя из анекдота в анекдот, даже не варьируя их.

Сейчас, обводя двор прихмуренным взглядом и ворча возбужденно: «Ну вот оно какое... да-с! Вот отсюда и начинать!.. Вот отсюда и начинать, я вам говорю... Революция вся здесь, берите!...», он напоминал себя из анекдота времен 49-го года, когда он вместе с Веем писал деревушку Морей. Кисть его только-что положила на холст какой-то сероватый тон. «Пройдите, посмотрите, пожалуйста, что попало мне под кисть» — говорит он Веею. Предмет был далеко, и Вей не мог его рассмотреть. Он взглянул на картину и увидел вязанку хвороста. Что за чорт! Он прошел ближе к предмету, и — действительно — то была вязанка хвороста. «Мне незачем было это знать, — сказал Курбэ, — да-с, я сделал то, что видел. — Он встал, отошел от холста и сказал удивленно: — А вот, видите, ведь и в самом деле хворост».

Буиссон любовался им. Курбэ тяжело дышал, грузный подбородок его часто мотался из стороны в сторону.

— Серебро на возах.—произнес он,— я никогда ничего подобного не видел.— Он громко, пошловато причмокивал губами, как актер, играющий старого сладострастника.

Буиссон говорил ему в плечо:

— Я знаю, революция управляет млею рукой. Я знаю. Но помогаю ли я революции? Нужен ли я ей, как художник? Чем?—понимаете,—чем я ей нужен? Это меня мучает. Я не вижу себя.

Курбэ, причмокивая, говорил:

— Вот садьте тут и пишите. И не надо никогда выбирать, будто бы вот отсюда революция, а оттуда не революция, или здесь она есть, а там вот нет. Совершенная чепуха. Напишите-ка, дружище, эту замечательную историю.

Буиссон говорил ему:

— Я не знаю, куда девать руки и ноги; все тело, кроме сердца, кажется мне несносной обузой. Я весь счастлив этим изумительным беспокойством. Что делать? Я иногда думаю, писать ли? Может быть, просто взять винтовку и итти в батальон.

Курбэ обернулся и, еще щуря глаза, как он всегда делал, высматривая уголков жизни для картины, сказал беспечно и очень убежденно, сразу ответив на несколько сомнений Буиссона:

— А чем угодно! Пишите хоть той же винтовкой!

Он быстро пошел вслед Камелине, волооча за собой Буиссона.

— Бойтесь? А чего вы бойтесь? Совершенная чепуха. Я скажу так: сердце у человека одно. Если его нет в работе—нет нигде. Вы не преувеличиваете насчет своего сердца?—строго спросил он.—А то, может, вы ни во что и не верите,—добавил он неуважительно и, прекратив говорить, бесцеремонно оперся о плечо Буиссона, так как одышка мешала ему итти.

Курбэ, Буиссон, Камелина
и Файзулла Франсуа

К ним подбежал ювелир Файзулла Франсуа, еврей, феллах и турок од-

новременно. С его лица скатывался мелкий медленный пот, делая лицо похожим на кусок свежего сыра.

— Господа, пропадают неповторимые вещи,—сказал он шопотом.—Послушайте, вот вчера... Моиз!

Бедно одетый старьевщик подскочил к нему.

— Моиз, расскажи господам артистам твоё вчерашнее происшествие.

Голос Камелины прервал его сообщение:

— Довольно орать!—крикнул он агентам мерий, требовавшим срочной приемки привезенного ими добра.

— У меня не свалка, ребята. Мне надо золото и серебро. Что не возьму, забирайте обратно. Ясно?

— Гражданин директор Камелина, я имею предложить вам немножко золотых денег,—сказал Франсуа Файзулла.—Я заплачу вам хорошими золотыми за вещи, которые не имеют для вас значения.

— Мы ничем не торгуем.

— Вам нужно золото,—прервал его ювелир.—Я вам дам золото. Зачем же уничтожать прекрасные вещи? Агенты мерий понасобирали бог знает чего. Обыск, вы думаете, это—экспертиза?

— Все, что найдется ценного, граждане, оценщики отберут для передачи в музей,—сказал Камелина.

— Я уже знаю, что они отберут,—спясть заговорил ювелир.—Все хорошие вещи за последние двадцать лет не мывали вот этих моих рук. Но я-то ведь знаю, что такое революция, гражданин директор. Слава моему стаюму богу, я уже имел их три раза в жизни.

Он ухватился за сюртук Курбэ.

— Революция не сохраняет вещей, дорогих, как воспоминание. А что такое вещь, Камелина? Вы же старый бровзовщик, зачем вы с меня смеетесь? Есть вещи, которые стоят, и вещи, которые заслуживают цены. Ну, хорошо, чаши работы Пеги вы отдадите в музей. подсвечники бросите в тигель, и что вы сделаете например с серебряным крестиком весом в 50 граммов? А за подобный крестик, если он мне подойдет.

я даю вам сто франков золотом, даже двести, что бы вы еще раз не делали большие глаза.

— А качество, качество? — спросил возмущенный Курбэ.—Качество вас не интересует?

— Мосье артист, меня интересует заработать! Вы говорите, как самый маленький мальчик. Ну, вот возьмем обыкновенную солонку 100 граммов весом, с рисунком моего мастера, она будет стоить одно, а солонка Вальдека Пеги будет стоить другое, с инициалом бывшего императора — впятеро, а если у вещи есть хороший наследник, он даст за нее и в десять раз больше.

— Отстаньте, Франсуа,—сказал Камелина и позвал художников во внутренние комнаты.

Ювелир, не отпуская Курбэ, прошел в дверь, охраняемую часовым.

— Патриоты ежеминутно приходят ко мне с известиями о невероятных сокровищах, которые им удалось обнаружить. Иногда я посылаю с ними служащего. Чаще всего лампы из накладной позолоченной бронзы. Но Тюильри дал Монетному двору целый склад благочестия. Я вам сейчас покажу.

Они спустились в литейную.

На столах перед печью рассыпаны были вороха вещей, приготовленных для расплава.

Ювелир схватил за руку Бунссона.

— Вот например за эту дешевую безделушку я даю тысячу франков золотом.

Он поднял в руке фигурку обнаженной женщины, когда-то служившей ручкой для печати.

— Вы знаете, что это? Двадцать лет назад я приводил в порядок печать маркизы де-Берни...

Камелина выхватил у него фигурку и бросил мастеру. Тот поймал ее на лету и отправил в котел.

Файзулла вытер с лица пот ладонями обеих рук.

— Это значит дешевое отношение к своему делу,—сказал он.—Вы могли бы иметь в пять раз больше золота.

Камелина позвал его к следующему столу.

— Вот пойдите-ка сюда лучше, посмотрите на эти штучки.

— Ты когда-нибудь видел мощи, Франсуа?—спросил ювелира мастер.— Вот к примеру святая Бригитта.—Мастер взял в руки золотой ковчежец и ковырнул его шилом, как раскрыл устрицу. Из ковчежца вывалился черный сустав пальца. Потом он сделал два движения рук, слитых в одно, и ковчежец полетел к тигелю, а палец в ящик у ног.—Теперь посмотрим св. Дениса.

Ювелир отвел его руку.

— Камелина!—сказал он и оглянулся, ища поддержки своему отчаянию.

— Вы, Камелина, попрежнему такая же скотина, как были раньше, когда работали у меня. Я предлагаю вам настоящие деньги. Я даю двадцать тысяч франков за каждый ларчик, если он не открыт. Вы оглохли? Господин Курбэ, вы же великий мастер, скажите ему. Это же невежество, на чем свет стоит, что вы делаете. Я даю вам—глухой вы!—двадцать тысяч за каждый кусок этого дерьма в золотой коробке ценой в пятьдесят франков.

— Куда вы их денете, хотел бы я знать.

— Ах, мосье, об чем беда. Ну, возьму, вывезу в Англию. Вам жалко? Или в Италию.

Камелина кивнул надзирателю.

— Своди-ка его к Ферре. Насчет миллионов подчеркни особо. Надо бы поискать, по-моему.

— Камелина, это же был частный разговор,—сказал ювелир.—Это было просто идеи.

Тут мастер свистнул и подмигнул Камелине.

— Смотри-ка, директор!

— Да... Слушай, Курбэ, иди-ка сюда. Видел ты что-нибудь подобное? Прочти-ка вслух.

— Ах, чорт их возьми! Кусок крайней плоти христовой,—восхищенно прочел Курбэ.—Ну, вот что. Камелина. Давай, это мы с тобой обязательно сохраним. Знаешь что, дай это мне в виде брелка на жилет. Идет?

— Так, как вы думаете, выставляться мне?—еще раз спросил Бунссон.

— А что вы пишете?—строго и неанакорично вдруг спросил Курбэ.

— Я написал несколько сцен борьбы.

— Пафос? Героизм конечно?..

— Да, примерно.

— Как сделан пафос?

— То-есть?

— Да очень просто: надо знать, что из чего делаешь.

Буйссон с раздражением взглянул на художника. Умный, талантливый человек, подумал он, но с оттенком несомненной глуповатости в житейских поступках.

Пробило четыре часа. Церковные куранты перекликнулись с горнистами

Расставшись с Курбэ, который спешил на собрание, Буйссон остался один. Мысли его были неясны, их нельзя изложить. Он вспомнил: когда кошка наедается, а пища еще осталась, она скребет ногтями по полу, будто закапывая остатки в землю, впрок. Так делали ее предки, и так она сама делает, чтобы успокоить алчность, приостановленную насыщением, и наметить своеобразное табу над оставшейся пищей. Но пища, конечно открыта, и кошка знает об этом и сторожит ее возле, несмотря на предельный обряд. Если бы однажды он проследил себя до конца, то увидел, что между ним и кошкой разница так невелика, что похожа на сходство, и тогда ему захотелось бы прощупать в себе человека от сердца до пяток. Но идеи входят к человеку так же, как посыльные бюро справок или адресного стола. Это хорошо, надо полагать, еще понимал некий древнеперсидский мудрец, когда выходил молиться богу за околицу своего селения: «Если я буду дожидаться всемилосердного у себя дома,—говорил он,—то ему придется раньше, чем достигнуть меня, пройти мимо соседей и набратись всех дурацких обо мне сплетен». Идеи не проникают в дом с неба, они идут тем же путем, что и данный человек, возвращаясь к себе со службы,—и Буйссон думал о своих буднях так, будто сегодняшний день был для него тем самым, ради которого он хотел жить.

— Да, Курбэ прав,—повторял он с досадой,—надо точно знать, что из чего

производишь, потому что и искусство проходит по тем же улицам, по которым ходишь ты сам.—Ему не казалось смешным, что человек, начав думать по-новому, может переменить друзей или переехать в другую страну.

Или проблема мазка. В 1793 году революционер Гассенфранц как-то сказал: «Я буду говорить откровенно: по моему талант художника в его сердце, а не в руке; то, что может быть усвоено рукою, есть сравнительно неважная вещь». Ему ответил Неве: «Надо же обращать внимание на искусство руки».—«Гражданин,—сказал ему Гассенфранц,—искусство руки—ничто; не надо основывать своих суждений на ловкости рук».

Или вопрос мастерства. Он уже знал по себе, как не волен художник произвольно обновить свое мастерство, как бесплодны попытки отыскать новое посредством механического изменения привычных представлений о вещи, что новое в искусстве есть каждый раз новое качество, а не просто лишняя вещь по счету. И вот в сумятице ложных и правильных выводов, в неизмеримо малых величинах самоуничтожительного анализа стали проступать первые очертания познанной до конца действительности.

Или проблема мазка. Даже по естественной нужде своей человек ходит не только по требованию желудка, но и еще под влиянием встреч, разговоров, радостей и неудач своего дня. Слух и зрение играют тут роль не меньшую, чем состояние кишечника, и трезвильно дропящая карманьола может вызвать боли в печени или, наоборот, улучшить кровообращение.

Итак, проблема мазка. Он ассоциативно восстановил в памяти технику написания «Реквизиции». Было утро. Выбравшись из дырявого туманного мешка, солнце со звоном ударило о стеклянную крышу его мастерской. На улице было тихо. В комнате рядом ворчливо копешилась хозяйка, возвратясь с рынка. Внизу, под окном, табачник благодушно хохотал за прилавком. Таков был первый ряд впечатлений, непосредственно окружавших работу. За первым рядом угадывался второй. Звон стекол вызы-

зал представление об отзвуках дальнейшего боя, бой ощущался простым и удачным, и в кварталах не били тревоги, никого не торопили в траншеи. Достав конину, хозяйка довольно напевала мотив шестой фигуры кадрили, названной карманьолой. Третий ряд явлений, если бы он докопался до них, определялся так:

Ночью Домбровский смелым налетом отбил передовые части противников. Утром орудия федератов закрепляли ночной успех вылазки, и потому на фронте было спокойно. В ларьке табачника рассказывали об этом сумасшедшем полкае со скифским именем: «Генерал,— крикнул ему вчера ночью командир бригады,—вы мешаете нам своей храбростью». — «В тылу гораздо страшнее, говаривают», — ответил Домбровский. Вчера же вечером рабочие клубы отобрали мужественных и преданных коммунистов и послали их в очереди у лавок — поддерживать бодрость у трудящихся и рассеивать вредные сплетни перепуганных злопыхателей. Уполномоченные клубов в ту же ночь появились у безногого Рони, который ждал, раздраженно ползая по полу, возвращения горбуна. Три дня шли у них переговоры с нищими и калеками из Кламара о совместных полевых действиях. Вчера наконец горбун убедил их. Он примчался к Рони, весь мокрый от своего красноречия, и немедленно вывел за стены три тысячи человек, включая детей и женщин.

Огороды и парники вокруг города взволновались шумом. Шла драка за оводы на протяжении добрых десяти километров. Возле Фонтне-о-Роз, под самым Мати бонским фортом, нищие затеяли драку с агентами рыночных спекулянтов. Библись насмерть. Кавалерийский отряд герсальцев безуспешно пытался очистить поле от этой страшной драки голодных людей. После того, как капитан приказал применить оружие, стороны сообщались на кавалеристов. Безногие прыгали на руках или, притаясь за кустами, будто выглядывая по пояс из земли, швыряли камни руками, сосредоточившими в себе силу ног, которые они заменяли. Однорукие пытались биться, насканивая головами, хромые

пускали в ход костыли и, переломав их, прыгали на одной ноге, как ребята во время игры. Швыряя друг друга под копыта коней, дрались дети и женщины.

На заре захваченные кони очутились в мясных, две трети — в муниципальных, треть — в частных. Об этом тоже шли разговоры в очередях и на улице.

Четвертый ряд, отправной для всех впечатлений, окружавших работу художника, был прост, — революция не сдавалась. В этот день Буиссон много думал о мастерстве, но не преднамеренно и не специально, а исподволь, между всеми прочими впечатлениями, данными днем.

Рейд и Коллинс встречаются в Пале-Рояле

— Мои впечатления сводятся к тому, что правительство коммуны уже пережило период внутренней борьбы и теперь все силы отдает созидательной работе, поскольку это возможно при войне со всех сторон.

— Я говорил третьего дня с Варленом. Вы знаете его, Коллинс? Он один из самых дальновидных политиков. Так вот он думает, что мы вступили в период революции, которая может продолжаться лет пятьдесят, до тех пор, пока не восторжествует по всей Европе и вообще в мире.

— Очень возможно. То же самое думает и мой старый знакомый Р. Это старый энтузиаст сейчас носится с идеями международной связи. «От нас исходит зараза», — кричит он, — сейте ее, сейте по всему миру». И так как он знаком с половиной Парижа, ему почти ничего не стоило собрать вокруг себя десяток таких же восторженных людей, как и сам. Понимаете, Рейд, он приходит к вам в дом и спрашивает вас написать письмо о коммуне своим приятелям на родину. Хорошее мужественное письмо. Вы бы не могли ему в этом отказать. Рейд? Ну, так вот таким образом он усадил за писание писем чуть ли не всю русскую колонию. Один цирковой артист, русский эмигрант даже вызвал в Париж известного на его родине публициста Глеба Успенского.

— Я что-то слышал об этом. Мне это нравится.

— Сегодня я видел письмо одного гимназиста из Тифлиса, знаете, на Кавказе. Он обязуется ознакомить с делом коммуны все школы города. Но оригинальнее всего, Рейд, что ответ гимназиста счастливо избежал царской цензуры и проник в Париж. Теперь этот маленький Джабадари—герой дня у русских дам.

Пасси-Булонь

Батальон федератов отходил в траншею за крепостную стену. Домбровский бегом догнал его и остановил среди улицы.

— Когда сражаешься, надо, знаете, побеждать,—укоризненно сказал он батальонному командиру и обратился к бойцам.—Сходи-ка еще раз, товарищи.

Случай в Трокадеро.

Человек в больших синих очках отер с лица пот, растерянно вздохнул и спросил, где он находится. Ему назвали авеню Гош. Он спустился к скверу у русской церкви, обошел площадь Этуаль и неожиданно для самого себя присел к столику кафе на улице Виктора Гюго. Было видно, что у него нет намеченного пути. Присев к столу, он повернул голову в сторону Булонского леса, от которого шла гроза оружейных выстрелов. В лицо его били послеобеденный жар, пыльный городской ветер и толчки воздуха. Проходящие мимо люди оставляли тени на его лбу. Он каждый раз резко отодвигался в сторону. Просидев довольно долго, но так и не добившись спокойствия на сердце, он расплатился и пошел вдоль левой стены улицы. День был так звонок и подвижен, что ничего не воспринималось как следует. Это был первый день, что человек в синих очках вышел в город один. Ему хотелось проверить себя, но однородный и постоянный шум, который был нужен ему, чтобы воспринимать препятствия, отсутствовал вовсе. Множество звуков несло вокруг, не имея своей постоянной неподвижной точки образования, на которой он мог бы ориентироваться в пространстве. В хаосе страшного звона, треска, сквозняков и скопленный запахов ныряли и проваливались

даже звуко-запахи, исходящие из неподвижных мест.

Он был взволнован и недоволен не определенностью своего одиночества.

«Это пройдет, я просто давно не был один»—думал он.

Палка сообщала ему неровности дороги, вытянутое вперед лицо ловило неровности воздуха, уши шевелились, как обрубки рук, нащупывая расстояния. Он дышал ровно и внимательно, изредка широко раскрывая ноздри, чтобы попробовать воздух на вкус.

В его сорок четыре года поздно было думать, что неожиданно чудесная операция может вернуть ему зрение, потерянное пяти лет отроду. Но иногда по ночам, приходили сны или воспоминания. Они были настолько удивительны, что он отказывался им верить, хотя сознание и утверждало, что все это— правда и она бывает у зрячих и когда то была у него. Он не любил и боялся этих снов о возвращенном свете, считая их больной фантазией нервов.

Начало своей слепоты он потерял в памяти. Никогда впоследствии не мог он восстановить процесс того крайнего медленного напыливания нового самоощущения, в котором постепенно исчезали зрительные ощущения и вырастали слуховые, осязательные и мускульные. Став взрослым, он нашел, что осязание есть основное чувство, из которого произошли все остальные, и что оно обладает свойством пространственности, большим чем зрение, потому что последнее, являясь осязанием на расстоянии, приучает лишь к поверхностному общению с окружающим миром.

Если можно говорить о гордости слепого, то она у него была. Он чувствовал, что знает мир тоньше и глубже зрячего. Сознание своей силы и полноценности утвердилось в нем в особенности после знакомства с Брайлем, слепым ученым, и прочтения биографии лейтенанта Джемса Хольмана, слепым совершившего путешествие из Лондона в Иркутск. Стало казаться, что нет ничего невозможного для человека с крепкими, здоровыми мозгами. Он стал тренировать себя.

Но тут жаркий и влажный шум уда-

рил в уши. Лоб будто распух моментально от предощущения громадного препятствия впереди, и короткий, сильный удар в плечо отшвырнул его в сторону. Только падая, он сообразил, что на него налетел экипаж.

Невысокого роста толстяк схватил его за руку и извлек из опасности.

— Эх, угораздило вас попасть в такой кавардак. Вы что, потеряли, что ли своего провожатого? Откуда вы?

— Спасибо,—сказал слепой.—Ничего, ничего. Я только вот потерял направление. Мне—в сторону Трокадэро.

— Пойдемте.

Толстяк взял слепого под локоть и бережно повел сквоз толчею.

— Так откуда вы?—еще раз спросил он.—Вы этого дела не оставляйте, непременно обжалуйте. Теперь низший персонал всюду до того разбалован, что дальше некуда.

— Мне не на кого жаловаться. Я вышел один,—ответил слепой.—Мне хотелось испытать себя.

— Ну, чего там еще себя испытывать в эдаком положении,—с соболевающей укоризной заметил толстяк.—Сидели бы дсма. Вы из приюта?

— Нет. Я староста Страсбургской артели слепых. Меня зовут Александр.

— А-а слышал, слышал,—мягко и внимательно ответил спаситель.—Вы где-то недавно здорово отличились, верно? Знаете, я не поверил сначала: слепые и вдруг работают лучше зрячих, чуть ли, говорят, не воюют.

— Моя артель существует двадцать лет,—сказал Александр.—У меня есть механики, математики, музыканты. Правда, сейчас они месят тесто в булочных и возят тачки, но... вот вы например никогда не возили?

— Никогда. Вы думаете—буду жалеть? Я чертежник, и неплохой. Левой, левой немного. Вот так. Кто—что, а я веду себе свою линию,—сказал он с намеком на невольную игру слов, одновременно называющих и профессию, и поведение его.

— Линии, это—очень хорошо,—сказал Александр.—Ни один зрячий не знает, как хороша линия, контур, форма.

— Но, ведь и вы, простите, не можете знать.

— Я? О, я-то как раз и знаю, что значит форма.

Держа за локоть своего спасителя, Александр с увлечением рассказал историю своей службы в антикварном депо Самуила Смэйльса. Благодаря развитой памяти рук он храбро поддерживал порядок в витринах и шкафах антиквара в течение семи месяцев. По ночам, оставшись один в каморке позади магазина, он растягивался в кресле и, закинув голову высоко вверх, подолгу шевелил пальцами, в которых остались воспоминания об утренних вещах. Это занятие было для него музыкой линий, когда каждая точка предмета раздражала какую-то соответствующую точку чувств. Он отлично запоминал линейный образ вещи и любил повторять его в одиночестве. Однако очень часто от напряженной усталости за день он терял в осязательной памяти пространственность понравившегося предмета и никогда, пожалуй, не знал большего раздражения, чем то, которое охватывало его в эти минуты. Тогда указательным пальцем он начинал обводить в воздухе полузабытый контур, обводил, бросал, сызнова начинал свой рисунок. Кончик указательного пальца как бы вырастал до пределов вспоминаемой вещи.

— Нет, нет, вы, зрячие, не знаете, что такое форма. Вы берете ее зрением, т.-е. издали, наспех, и, повидимому, прежде всего вам бросается в глаза цвет ее, потом весомость, функция, и для ощущения чистой формы вам не оскается времени. Вы посмотрели и будто потоогали. Но это не одно и то же.

Толстяк, не отвечая, шел рядом. Ему не хотелось спорить на тему, в которой мог разобраться лишь он один. Поэтому, когда Александр замолчал, он заметил мечтательно:

— В наши страшные дни ваша слепота—прямо роскошь. Инвалидов, таких, как вы, ни один чорт не тронет. Можете быть спокойны.

— Вы думаете? Впрочем это верно. Но вот чувство некоторой безопасности и позволит мне сделать что-нибудь такое, для чего не годится зрячий. Ска-

жем, мне вот иногда хочется убить Тьера.

— Ну-ну, не кричите так.

Они вошли на сквер Трокадэро и присели на первую же скамью. Александр отер пот с лица и несколько раз вздохнул с беспокойной глубиной.

— Вы коммунары?—спросил толстяк и, разглядывая Александра, вынул гребенку и расчесал усы и бороду.—Ну, а я нет. Я просто человек. Единственная партия, которой я держусь,—это мое я.

— Значит, вы за Версаль?

— Почему значит? Я—за себя. Я могу ужиться с любым режимом, не делая ему вреда и даже принося пользу. Вы курите? Угощайтесь. Даже принося пользу, милый мой,—повторил он почувствованно.

Ему приятно было откровенно поговорить с человеком, который не мог его видеть.

— Единственно, чего я боюсь,—это переворотов, скажу вам прямо. А как только переворот завершен—я спокоен. Я не краду, не врежу нарочито, как вот, скажем, в управлении...

— Где? — тревожно спросил Александр.

— Все равно, это неважно. Половина всех чиновников на содержании Тьера, это для вас не секрет.

— Где, где?—настойчиво переспрашивал Александр.—Я вас задушу, слушайте,—сказал он.

Но толстяк быстро отодвинулся и замолк.

— Простите меня, я пошутил,—сказал Александр.—Я все забываю, что я слепой и беспомощный человек,—сказал он с притворной улыбкой.—Но мне странно, что вы так равнодушны к революции, вы, скромный чиновник, трудящийся, неимущий.

Толстяк недоверчиво и раздраженно разглядывал Александра. Чувство приятной безответственности, которое явилось у него в начале беседы, сейчас усилилось, переходя в сознание своего духовного и социального превосходства. Он с удовольствием ощущал, что сейчас доступна легкая и веселая безнаказанность откровенности.

— Видите, дорогой мой,—сказал он,—я, может быть, и был бы более за

коммуна, если бы увидел, что у нее получу то, чего никогда не получу у других. Но ее реформы и даже эти житейские меры меня не касаются...

— Но отсрочка квартирной задолженности и векселей...

— Если бы я был кому-нибудь должен, да, но я чист...

— Ах, так.

— Пенсии вдовам убитых меня не интересуют, завтраки в школе тоже. А то, что я получаю за свой труд,—я очень приличный чертежник,—дадут мне везде и всегда. Чертить-то ведь надо, а? Я и черчу. Коммуна? Черчу. Версальцы? Черчу. Придут англичане, я по-прежнему буду чертить.

— Какая вы тварь!

— А-а, то-то. Завидуете, слепец дорогой. Я с вами откровенен до неосторожности, друг мой, но вы для меня как бы не существуете, вы—призрак собеседника, собеседник без поступков. И не притворяйтесь, слушайте, идейным. Жалкий вы, больной человек. Перестаньте дрожать. Я вам скажу, только слушайте меня внимательно, среди ваших главарей есть такие деляги, что... Нет, я знаю достоверно, не отмахивайтесь. Хотите? Вот хотя бы Камилл... Он, вы скажете, не берет. А этот, ах, черт, забыл его имя, что он не состоит в переписке с Версалем? Вы знаете, что подготавливается?

В приступе дикого издевательства он храбро придвинулся к Александру.

— Коммуна продержится еще месяц. Так надо. За это время один из ваших вождей успеет разослать письма в провинцию всем своим соучастникам. Прнезжайте, мол, к нам сюда скорей, поддержите, вместе отстоим завоевания революции. А тут-то их—р-раз!—и накроют. Одним ударом—всех. Поняли?

— Имя! Имя!—закричал Александр и бросил все свое тело по направлению дыхания, суетни и неясного шопота.—Имя!—Он схватил человека за горло с такой силой, что больше не мог разжать пальцев.

... В собравшейся толпе происшествие было быстро расчленено на отдельные частности. Нашлись очевидцы несчастья со слепым на площади Гюго, и сенса-

дия охватила сквер Трокадэро—спасенный слепой задушил своего спасителя. И, несмотря на то, что полиция уже прибыла и труп был уложен в биржевой фиакр, слепого нельзя было вывести из плотного любопытствующего окружения женщин, детей и зевак. Полицейскому пришлось обстоятельно рассказать несложное показание убийцы. Потом посыпались вопросы. Их было так много, что, переключаясь один с другим, они вырастали в угрозы. Полицейский четко заблокировал вокруг себя и слепого цепь крепких сторонников. Когда начинал говорить Александр, толпа смолкала.

— Кто кричит на меня? Мелкие трусливые гады вы! Я убил вошь, что вы хотите. Ну-ка, посмотрите там друг на друга, кто из вас честный трудящийся, а кто—дрянь. Душить! Прямо на улицах! За горло—об землю!

Тогда какой-то в форме офицера коммуны легко раздвинул локтями толпу, бросая по сторонам на упреки в толчках очень важно и со значением: «Простите, по должности»—и подошел к Александру. Он стукнул слепого пальцем по лбу.

— Немного поторопились, гражданин. Был бы ты зрячим, ох, и дал бы я тебе за это по шее. Не в тех местах, видно, ум держишь, где принято.

И под смех первых рядов любопытствующих быстро усадил Александра в экипаж, крикнув кучеру адрес комиссии общественной безопасности.

Вечер Последние фразы на улице.

Те тучи, что с полдня собрались на Мисмарте и потом проползли над всем городом, к ночи поредели, подсохли. Будто в полувыбранной из воды сети, в них бились рыбешки звезд. Бессонница одолевала птиц в парках. Они стаями копошились в деревьях и суматошно вскрикивали.

— Слышали новость? Человек вытащил слепого из-под ландо, а он в благодарность за избавление через полчаса задушил его?

— Ну, уж если слепые стали...

— Да, а вы знаете причины? Тот был агентом версальцев.

— Надо больше расстреливать. Нечисто вывести эту сволочь. Молодец слепой, а?

— Молодец.

— Слышали? Красная горячка какая-то.

— И про расстрелы?

— И про расстрелы.

— Ну, знаете, не всегда тот бьет, кто больше убивает.

— Тсс.

— Что?

— Не надо раздражать этих такими афоризмами. Если они начнут щелкать, как версальцы, и мы с вами не уцелеем. Уж те, вы знаете, до чего дошли?

— Пойдем, пойдем, за нами кто-то следит.

Дневник Коллинса за тот же день

Почти весь день я провел на воздухе, исколесив половину города, и вернулся совершенно разбитым. Я почти приготовился лечь в постель, как в дверь комнаты постучали, и вошел мистер О., мой соотечественник. Мы знали друг друга по клубу «Атений» в Лондоне, но знакомы не были. Мистер О. — негодник большой культуры, он был одним из немногих в Англии энтузиастов Международной парижской выставки 67-го года. Без долгих предисловий он объявил, что приехал ко мне прямо с поезда. «Мне необходима ваша поддержка,—сказал он.— Дело в том, что я приехал в Париж не только по торговым делам. У меня есть устное поручение доктора Маркса некоторым французским революционерам. Я возвращаюсь в Лондон через три или четыре дня, захватив ответы».

Меня очень удивило посещение мистера О., но я тем не менее выразил готовность быть ему всячески полезным. «Положение коммуны делается день ото дня безнадежнее, — сказал он, — катастрофа почти неминуема. Нам нужно быть готовым к спасению хотя бы некоторых из наших друзей». Я совершенно не ожидал такой постановки вопроса. Разговор наш был вообще очень странен, и если бы мистер О. менее был мне известен, я предпочел бы не продолжать беседы.

«Не преувеличиваете ли вы опасности?» — спросил я. «Нисколько, — ответил он, — речь может идти лишь о сроке». Из дальнейшего разговора выяснилось, что мистер О. хотел знать, не согласуясь ли я, во-первых, достать несколько английских паспортов, а во-вторых, не смогу ли я предоставить убежище тем из членов коммуны, которые не будут в состоянии выехать из Парижа. Я ответил ему полным согласием по обоим пунктам. Мы были очень кратки. Он просидел у меня не более двадцати минут. Все было понятно.

После его ухода, раздумывая относительно сказанного мистером О., я по неясной ассоциации вспомнил недавнюю встречу с другим своим соотечественником, владельцем фабрики кожаных изделий. С начала франко-прусской войны он почти не покидал Франции и исколесил ее вдоль и поперек в поисках кожаного сырья. Вскоре ему пришлось на ум приобретать шкуры убитых в сражениях лошадей, а также испорченную и подлежащую выписке в расход амуницию и снаряжение. Он стал поклонником кавалерийских сражений и завел обширнейшие знакомства. В каждой кавалерийской части у него были свои негласные агенты, на обязанности которых лежало обдирать мертвых коней и собирать искверкачные седла и порванную сбрую. О кавалерийских атаках он говорил, как поэт, проявляя при этом необычайную осведомленность в чисто военных вопросах. Об атаках Галифе он рассказывал волнуясь. Пятьсот коней за два с половиной часа. Конечно шкуры вышли не первого сорта, но зато их себестоимость прямо-таки поразительна. «Впрочем, — говорит он, — Галифе далеко до Стюарта, кавалерийского начальника конфедератов в американской войне 1862—64 гг. Тот был гениальный заготовщик убойны».

Он пытался развить мне идею утилизации сырья войны и, фантазируя, рисовал картины будущих сражений, когда непосредственно за траншеями будут функционировать передвижные фабрики мыла и костяной муки, а громадные депо тряпичного, кожаного и ме-

таллического лома займут место рядом с полевыми арсеналами. Накладные расходы на войну при таких условиях могли бы быть снижены до минимума, так как во многих случаях удалось бы заготовлять не только вышедшее из строя свое добро, но также и неприятельское. «Нет ничего кошунственного, — сказал он мне, — в том, чтобы использовать войну также и в качестве заготовителя научно-педагогических пособий. Так например трупы неприятельских солдат могли бы быть использованы для получения скелетов. Спрос на последние со стороны университетов и музеев необыкновенно велик, и цены стоят отличные. с твердой тенденцией к повышению».

Сейчас он занимался тем, что скупал собачьи шкуры и кожаные чемоданы. Он рассказал мне, что за время войны он заработал столько, сколько не заработал бы в течение десяти лет, при чем, — подчеркнул он с гордостью, — он не торговал оружием и не занимался поставками интендантству. Теперь он только и мечтает о будущих войнах. «Эта коммуна сама по себе для меня неинтересна, — сказал он, — но она — чувствуется — вызовет какие-нибудь события в Испании и России. Так говорят у нас на бирже».

Я попросил его рассказать мне, как живет английская колония в Париже. «Они покупают» — ответил он мне. И так как я не сразу понял, в чем дело, ему пришлось объяснить мне, что во времени осады, когда франк упал очень низко, нет ничего прибыльнее, как приобретать вещи. «Если вы хотите, чтобы каждый ваш франк потерял назавтра только четверть своей цены, купите сегодня что-нибудь. Франк, который переночует у вас в кармане, превращается на утро в двадцать сантимов». Я обратил внимание, что он зашел ко мне с большим пакетом. «Не покупки ли это?» — спросил я. Он ответил, что у него оставалось немного карманных денег, и, чтобы не оставлять их у себя до завтра, он купил несколько матерчатых кукол художественной работы, тарелку с инициалами Луи-Наполеона и подержанную бархатную подушку для дивана. «С

утра я все это пошлю к старьевщику и заверное получу вдвое».

Я попросил его сказать мне, не знает ли он адресов некоторых видных военных начальников бывшей императорской армии, так как они могли бы дать мне сведения о тех сражениях, в которых я военным легом принимал участие как военный корреспондент. Он ответил, что многие остались в Париже, как например главный интендант армии Мак-Магона и еще кое-кто, и что они охотно дадут мне любые справки за вознаграждение провиантом. Потом он хлопнул меня по колену и предложил мне копии всех приказов императорской ставки за время войны, если я устрою ему небольшой договор с комиссией благоустройства. Я просил его отложить этот разговор до другого случая. Уходя, он сообщил мне, что собирается написать книгу «Война по впечатлениям коммерсанта». Мне было страшно сейчас подумать, что в рядах одного общественного слоя могут быть столь непохожие люди, как этот кавалерийский купец и мистер О. — посланец Маркса.

Улица Турнон, 15

В книжной лавке Тибо действительно было шумно. Она походила на оживленное биржевое кафе в день особенных биржевых операций. Бросая на конторку заранее приготовленные сантимы за читку газет, непрерывным потоком входили новые посетители, хотя к столу с газетами давно уже нельзя было проглотнуться.

— Читайте вслух! — кричали человеку, овладевшему «Таймсом».

— И не подумаю. С какой стати!

— В какой цене «Компания Конго»?

— Я прошу составить мне список фрактов, — говорил человек в коричневом цилиндре старшему за прилавком, — по Гавру, Лиону, Марселю. Я — Кинг. Что? Вы передайте-ка вашему хозяину, что с ним хочет говорить Кинг.

Из-за тонкой перегородки, за которой ютилась каморка для особо важных бесед и приемов, старик Тибо мог легко все слышать.

Он произнес недоумевающим шопотом:

— Кинг?

Сидевший рядом с ним критик сказал:

— Тибо, господь с вами. Кинг — владелец самой крупной мореходной компании... Выйдите к нему.

Старик Тибо раздраженно отмахнулся обеими руками:

— Он никогда не был моим клиентом. И, знаете, друг мой, это дело мне начинает надоедать.

Книжная лавка Тибо принадлежала к числу самых почтенных и хорошо начатых предприятий. Она знала в числе своих постоянных клиентов лучшие имена Франции. Она гордилась ими, как колледж лауреатами, и не без внутренней гордости записывал старик Тибо в свою записную книжку горькой удивительной книжной премудрости, которой он питал таланты Парижа. Он мог бы подсчитать, сколько знаний, оригинальности, осведомленности или душевности вложил он в то или иное произведение своего прославленного клиента, он просто мог бы разложить любого из современников на отдельные составные элементы из старых книг и старых имен, одно перечисление которых произвело бы переворот в науке и творчестве.

Портреты великих писателей украшали стены лавки. Портреты были с надписями. Они похожи были на заводские модели, получившие премии на выставках. На полках кабинета покоились деловые книги хозяина, одни были посвящены бухгалтерским записям, другие являлись биографиями редчайших книг, третьи вели счет интересам видных клиентов. В них были страницы Золя, Флобера, Гонкуров. Последняя строчка на листе, отведенном автору «Ругон-Маккаров», заполненная 10 апреля, гласила: «Он недоволен все одобряет. Подбирать брошюры нынешнего толка. Афиш не собирает».

Книготорговля Тибо дорожила старыми служащими. Приказчики работали поколениями, отец приводил сына

подростком и через десять-двенадцать лет сдавал ему свой отдел. С таким, как Габриэль Бонне, ведущим отдел возрождения, охотно беседовали академики. Подручные при лавке в пятнадцать лет знали больше самого прилежного бакалавра, в девятнадцать они уже выступали (правда, тайком от Тибо) в качестве рецензентов, а после прохождения военного сбора становились профессиональными критиками. Как только в лавке появлялся новый мальчик, кто-нибудь из почетных завсегдатаев, чаще всего Зола, говорил хозяину:

— Старина, это что же такое, опять на нашу голову? Что бы вам выпускать поэтов, а? По крайней мере они никому не вредят.

— Этот славный малый уже меня обшупывает, — бурчал Флобер. — Честное слово, он пишет книгу «Знаменитые встречи» и в ней рассказывает, что мы за дураچه, когда сидим у Тибо и пьем гренадил. Он потом будет говорить, что я с ним полемизировал и сказался конечно битым.

Но к Габриэлю Бонне заходили академики, а Жан-Поль Марат (тезка великого человека) из года в год поставял примечания к «Словарю академии», и аббаты охотно выслушивали соображения самого Тибо о литературе гебразма. Старик был страшно невежествен, но знал всех. Ни один ученый не мог бы обладать его эрудицией, так как она выходила за пределы знания, и он сам про себя говорил с легкой иронией: «Ученый не тот, кто все знает, такого нет; не тот, кто и много знает, — тут нет границ; ученый знает, что нужно знать и чего можно не знать в данный момент, другими словами, который знает, до каких пределов он знает, потому что немногие знают пространство своего незнания». Старик Мишу ведал греческими и римскими поэтами, он знал их всех наизусть, помнил, когда, где и как они были изданы, кто собирает их, кто исследует, и каждый раз, как появлялась в печати новая статья о Горации, Эпикуре или Сафо, шел на дом к автору, подозрительно с ним знакомился и громогласно отчитывал за

невежество, пошлость или спекулятивность взглядов.

У Тибо был сын. Лавка служила ему детской, потом классной комнатой, потом чем-то средним между дискуссионным клубом и лекционным залом колледжа. Молодой Тибо не собирал книг, не мечтал стать исследователем, не задумывался над лаврами критики, и так как он еще к тому же был сыном хозяйина, то каждый шеф отдела увлеченно вводил его в самые глубочайшие тайны своего ремесла. Римских и греческих классиков он знал с детства со слуха. Это были его первые сказки, о которых невозможно потом рассказать, были ли они прочитаны, услышаны или выдуманы самим. Классиков и ересиархов гебразма отец цитировал дома запросто, как предсказания календаря о погоде, а Бонне, рассказывая о происшествии на рынке или скандале в кафе, подкреплял изложение соответственным анекдотом из эпохи людей возрождения. Французские энциклопедисты были единственными людьми, на которых он мог ссылаться, почти не задумываясь. Марат любил говорить только справками, примечаниями.

Все происходящее в мире, если оно не поднималось в своей принципиальной значительности до включения в «Словарь академии», нисколько не занимало его.

В двадцать лет молодой Тибо знал все, что было в книгах человеческой цивилизации. Было непонятно, чем он займется. И потому дома сочли совершенно естественным, что он робко заинтересовался искусством. Его познакомили с десятком молодых живописцев, еще не имеющих имени, чтобы он попробовал себя в тренировке. Ему предстояло создать или разрушить несколько репутаций, и, каким образом он это проделает, никого уже в лавке не интересовало. Он выбрал себе псевдоним — Анатолий Франс, но все в лавке были уверены, что псевдоним никогда не понадобится молодому хозяину. Если бы тогда сказали старику Тибо, что его сын станет знаменитым писателем, он лишь недоверчиво пожал бы плечами. Возможно

что молодому Тибо еще хотелось заняться историей. Отправляясь, бывало, в очередь за петролем или садясь в омнибус, он стал брать с собой томик Плутарха. Иногда он перелистывал записки Цезаря или засыпал, покрыв лицо от мух Титом Ливием.

Потом все в лавке стали обращаться к нему как к резерву общей лавочной памяти. Он был молод, свободен, и в голове его было просторно. В конце концов на него возложили прием почетных гостей за перегородкой. Здесь рассказывались события, еще не вошедшие ни в одно примечание, упоминались люди, не состоящие ни в одном словаре, произносились вслух мысли, еще не втиснутые ни в одну книгу. За перегородкой шла жизнь, чужая лавке, потому что она еще не была издана.

Размахивая скомканной газетой, как большим носовым платком, размахисто входил за перегородку Эрнст Додэ.

— Ах, боги жаждут, — кричал он, хрипя от одышки, — наши боги все жаждут, — и прочитывал сводки с фронта, сообщения об арестах и угрозы скрытым врагам.

За прилавком в ответ на восклицание шефы обменивались тихими репликами.

— Фраза из Карлейля, — оживленно произносил Марат.

— Прошу извинения, это формула объявления войны у африканских племен...

— И не из Карлейля, друзья мои. и не формула, — перебивал старший Мишо, — это сказано о нашей колониальной политике. Шестнадцатый том «Ежегодника министерства иностранных дел».

Флобер вбежал, как переодетая в театральный костюм ведьма. Его бархатная куртка была в мелу, необыкновенный жилет цвета солнечного заката отбрасывал отражения, белая шляпа на голове не позволяла взглянуть ему в лицо, так резок был ее свет, так много было на ней солнца.

— Меня можно убить легко, — говорил он, — пусть только прикроют «Одеон» — и я мертв. Сегодня уже морковный кофе. вы понимаете? Бриоши исче-

зли. Шо-ко-ла-да не будет. И это на всю жизнь! Навсегда!

Или входил, вежливо сторонясь от каждого встречного, суетливый человек неясных лет. Концы его усов и острой бородки, заостренные с помощью косметик, имели вид трех жал, стерегущих губы от нападений. Было известно, что он переписывается с Гюго и многое может. Его ненавидели, презирали, боялись, но конечно больше всего ему завидовали.

— Ваш уважаемый мэтр в силах повлиять на многое, — говорил ему кто-нибудь шопотом. — Давай же, напишем ему сообща.

Или, обнимая и целуя сквозь жала усов, говорили в слезах:

— Напишите учителю, — его письмо к немецкому народу лучше, что знает наша литература. Выше этого нет ничего

А когда этот человек уходил, замечали непринужденно:

— Если старик имел смелость огюгда сбежать, надо найти и честность не вмешиваться отныне в дела Парижа.

— Вы не совсем правы. Он уехал, чтобы получить свободу высказываний. Он предпринял множество мер для правдивого освещения парижских событий.

Имя Гюго раздражало всех всегдашних лавки. Они забывали, что всегда раболепствовали перед ним, подражали ему, учились у него. Теперь они жили только завистью к тому, что Гюго вне Парижа.

— Что он поделяет там, в Брюсселе? Ах, да, он переиздается конечно.

— Он пишет роман. Вот тот, с острыми усами, ежедневно отправляет ему кипы здешних газет и письма по двадцати страниц с характеристиками всех нас. Понимаете, ему нужны анекдоты и характеристики.

— В конце концов он прав, — говорил Дюма-сын. — Для хорошего исторического романа главное — правдивый пейзаж. Из анекдотов рождается фабула, точные внешние характеристики придают невольную глубину персонажам.

Дюма говорил с едва заметной иронией, как старший о младшем, хотя был

обязан Гюго всей своей литературной карьерой.

— Что он пишет? — небрежно и будто незаинтересованно осведомлялся Дюма.

— По некоторым слухам, что-то о девяносто третьем годе в Вандее.

— Вандея! — Дюма выкрикивает это слово, как Колумб, увидевший землю. — Чорт возьми, конечно Вандея. На опыте нашей коммуны можно написать все: и пожар Рима, и распятие христиан, и борьбу католиков с гугенотами. — Успокоившись, он нравоучительно повторял: — Но главное, господа, — это пейзаж.

Он носил такое громкое литературное имя, что как бы соединял в себе опыт нескольких писательских поколений, и это впечатление опытности многих обманывало. Его отец, а потом и он сам написали так много, что легко было спутаться, что же кому принадлежит. На чей-нибудь робкий вопрос, кто автор «Кристины» — Александр Дюма-старший или его сын, — он отвечал с небрежной барской ласковостью:

— Да, это наше. Это все мы. Дюма — это уже направление, господа.

И правда, он, как и отец, писал произведения острой сюжетности, сплошь из движений, на материалах уличных хроник, но с пафосом старого сказочника. Вечернее приключение любой горничной превращалось у него в отрывок из «Шехерезады», он придавал ему смысл ловкого вымысла, вырывая ткань рассказа из жизненной обстановки и делая все чувства возможными, все поступки легко доступными. Ничего не существовало в природе — ни железных законов эксплуатации, ни бедности, ни пороков, ни невежества, одно лишь мужество желаний. Чувства его героев не знали противоречий. Внутренняя борьба была им неизвестна, и единственное, что их опрокидывало, — это недостаток мужества или нахальства.

Но человеку с таким именем потомственного писателя, как Дюма, нельзя было отказать ни в уме, ни в таланте, хотя многое из того, что написали оба

Дюма, было низкой халтурой. Он сам это знал и даже иногда говорил вслух о халтуре, но с таким достоинством и иронией, что никто б не задал вопроса, зачем же он делает это. Такой человек, как Дюма, все имел право делать. Он даже рискнул жениться на старой московской «львице» с такими дикими манерами, что им никто не находил достойного определения. Он все мог.

Но в лавке Тибо его не любили за глупость и еще за то, что он отчаянно покупал редкие книги, ничего в них не понимая. Он закупал их сразу сотнями, исчерчивал поля карандашом, вырезал страницы, вклеивал их в свои рукописи, почти не исправляя, и слухи о его проделках и судебных процессах никогда не переводились среди букинистов.

Но вот вваливалась в лавку какая-нибудь половина Эркмана-Шатриана. Даже в самом Париже многие считали Эркмана-Шатриана за одно лицо и не предполагали, что автор «Истории одного крестьянина» — это двое тихих и работающих эльзасцев, полуфранцузов или полунемцев, из которых Эркман до сих пор был известен как публицист, а Шатриан даже прописан был у консьержа как сельский учитель.

Они редко появлялись вместе, и чаще всего вылезал в свет Шатриан. Дюма издавна считал его и Эркмана своими опаснейшими конкурентами. Эльзасцы действительно выпускали роман за романом в темпах, свойственных только покойнику Дюма-старшему, они изготовляли решительно все — стихи и рассказы, повести и пьесы, но с такой добротностью, которая ничем иным не могла быть названа, как только идейностью. «Историю одного крестьянина» подозрительно вычитывал вечно недозвольный Золя, в ней как раз было то, что он сам собирался делать в отношении жизни города, — хроника ветвистого мужичьего рода, проникшего своими щупальцами в армию, мелкую промышленность и церковный мир в годы Великой революции. После «Марсельских тайн», романа, написанного под влиянием Дюма, Золя искал новые методы обработки человеческого матери-

ала, намеки на новое он раздраженно находит в «Истории одного крестьянина».

И вот лишь только половина автора «Истории одного крестьянина» пропикивалась в дверь лавки, Дюма раздражался шумной театральной фразой:

— А-а, Шатриан, вы очень кстати. Да, именно вы, мой друг. Скажите на милость (вы-то ведь должны же знать, вы, так сказать, близки к теперешним сферам), каким баснословным совокуплением павлина и утки, из каких половых противоречий, из какого жирного выпотения могла народиться эта вещь...

Его фраза покрывала шум в лавке и звучала в нем, как в оркестровом аккомпанементе.

— ... которую зовут господином Густавом Курбэ? Под каким колоколом, с помощью какого навоза, из какой смеси вина, пива, едкой слизи и раздутых волдырей могла вырасти эта звонкая и мохнатая тыква, это эстетическое и бессильное я? Ну-те, скажите мне.

— Честное слово, мосье Дюма... Мы — добрые патриоты, и с этим Курбэ... м-м-м-м-м... как бы вам сказать... мы просто с ним незнакомы, мосье Дюма. Мы абсолютно далеки от того, что происходит...

— Мне казалось всегда наоборот. Так вы ничего не знаете?

Широкая барская грудь Дюма, на которую плавно спускалась белая шея с пухлой и сытой головой, всхрипывала, как мех.

И он, продолжая театрально посапывать и разводить руками, оживленно рассказал об отвратительной, кошмарной, дикарской выходке этого Курбэ, о которой с чувством стыда и бешенства говорит весь Париж (впрочем он сам о ней услышал только-что).

— Друг мой, они решили вынести в клубы и на площади города лучшие скульптурные вещи Лувра. В вонючие клубы каких-нибудь сапожников или золотарей — «Боргесского льва», к прачкам — «Венеру на короточках», к мидиеткам — «Римского оратора». На улицы, на площади, к писсуарам! В клубы, чтобы о Венеру тушили, окурки! В скве-

ры! Чтоб спину «Раненого галла» покрыли грязные надписи влюбленных... — Буиссон открыл дверь и рассек фразу: — ... пожарных!

— Это было только предположением, — сказал Буиссон, никого еще не успев разглядеть.

Молодой Тибо, сидевший на гребне передвижной лестницы, махнул ему книгой.

— Еще бы это свершилось! — патетически крикнул Дюма. — Еще бы, молодой человек!

На площадь Согласия мчались пожарные части, и бегом собирались саперные роты. Земля была так изрыта для баррикад, что снаряды противника разрывали канализационные трубы. Стояли мутные лужи. Шла вонь.

Притянув к себе за ворот куртки Марата, Дюма спросил его:

— Этот вот, что пришел, — шпик?

— Друг нашего молодого. Художник. В скорости будем выставлять его работы.

— Ах, вот как, — облегченно и покровительно произнес Дюма, — ну, молодо-зелено. Правда?

За окном, на улице:

C'est la canaille,

Et bien! l'en suis!

— пропели школьники. Несколько шустрых голов прильнуло к стеклу входных дверей. Одна из них, рыжая до неправдоподобия, высунула язык сидящим в лавке. Другая пропищала взволнованно: — Они, как рыбы в аквариуме. Смотри, вот этот прямо же сом.

Они захохотали, не стесняясь продолжать свой саркастический осмотр.

— Эй, лангусты, омары, эскарго свежие! — прокричал рыжий, подражая голосу знакомого рыбака.

— И это — дети, — с печальным бешенством сказал Дюма. — Вы слышали их?

— Ты каким образом здесь? Я не ожидал тебя, — сказал Буиссон молодому Тибо.

— Случайно и ненадолго. На день, на два. Послушай, Буиссон, с'ездим поглядеть одну очаровательную библиотеч-

ку? — спросил молодой Тибо. — Там, кстати, и с десяток полотен.

— Все равно, — кивнул Буиссон и прошел поздороваться за перегородку со стариком и узнать, как дело с его картинами, которые были в лавке уже не сколько дней.

— Ты знаешь, вопрос мной решен, — сказал ему старик. — С воскресенья прекращаю эту идиотскую читку газет. Какая-то биржа. Что? Да, и конечно не мое это дело.

Тут Мишю вошел доложить о сделанных в лавке поутру предложениях. — Принесли бумаги Ламбера, — сказал он, — того, что убит при Бюзенвале. Проект путешествия на Северный полюс.

— Вот это наше дело. Это купить, — распорядился Тибо.

— И предлагают этюды к «Саломее» Реньо, тоже, который убит.

— Купить, купить, — сказал хозяин. Молодой Тибо и художник вышли на улицу.

— Посоветуй-ка отцу купить все материалы и вещи искусства, осиротевшие после Бюзенвала, — сказал Буиссон с тяжелым и злым увлечением. — Это будет удивительная коллекция. Альбомы Реньо с набросками новых картин, незаконченные исследования Ламбера, стихи Бильярета, тетрадка открытий по физике какого-нибудь расплющенного бомбой ученого, симфония нового Вагнера, которому штык выпустил кишки.

— Коллекция не принесет ни одного су прибыли.

— Зато она покажет, что такое наша цивилизация.

— А, да, это, может быть. Но ведь ты знаешь, у нас с отцом нет существенных возражений ни против войны, ни против гильотины. Убийство — естественное право, и смертная казнь вполне законна. Война тем более. Однако, — молодой Тибо движением плеч сбросил с себя на руку накидку, — у меня, должно быть, извращенные инстинкты, потому что мне все-таки противно видеть протитие крови.

Школьники прошли толпой на осмотр музея.

Раззл, дазл, хоббл-доббл!

Сис! Бум! А!

Викториал! Викториа!

Pal Pal Pal

— В этих непонятных словах весь героизм революции, — сказал молодой Тибо. — Pal Pal Pal Ты что-нибудь понимаешь?

Буиссон, не отвечая, спросил его:

— Это что, твоя статейка обо мне в «Свободных суждениях»? Она подписана очень безличным именем «А. Франс», но я сразу угадал тебя по ушам.

Тибо улыбнулся без всякого впрочем смущения.

— Вот что. Статьика конечно дурацкая. Но можешь приписать себе честь моего превращения — я сегодня ухажу в Национальную гвардию, — добавил Буиссон.

Он помолчал.

— Все мои куски, что на выставке у вас в лавке, прошу великодушно, очень прошу, сердечно, прими для той коллекции. Вот. И можешь мне не кланяться с этого момента. Понял?

— Едва ли мы встретимся, — сказал Тибо, — я уезжаю. И ты совершенно зря злишься, Буиссон.

Но Буиссон круто повернул в сторону и оставил его одного.

Моиз дождался освобождения Франсуа Файзуллы, несмотря на поздний час. Квитанция финансовой комиссии в приеме залога упала на грудь ювелира, как букет цветков, брошенный поклонником.

— Сколько я стою? — не глядя на бумажку, спросил Файзулла.

— Ай, это ж случайность, — Моиз конфузливо отделался от ответа. — Это такая случайность, как в комиссионном депо. Не надо волноваться.

— Не то, Моиз, я вижу, таки купил меня, — растроганно и, пожалуй, даже обиженно сказал ювелир. — Сроду ты не имел такой покупки, Моиз, не будем об этом сомневаться.

В кордегардии нужно было расписаться в трех или четырех местах. На улице, у дверей, стояло развесистое, кудрявое, в завитушках, ландо. Старые лошади, едва поднимая ноги, степенно били копытами о мостовую, повторяя

смолоду усвоенный жест молодцеватости и щегольства. Но лошади были стары и только и могли, что куражиться стоя.

Вводили новых арестованных. Освобожденные выходили скучной походкой ничем не удивленных людей, любезно, но с достоинством раскланиваясь с персоналом кордегардии.

Старик в полувоенном костюме оставил ювелира.

— Франсуа Файзулла, и вы здесь? — спросил он.

— И я. Что странного?

— Ну, как же. Все, кто были угнежены при старом порядке, составляют сейчас сливки общества. Нехристи и аморалисты главенствуют. Может быть, вы здесь в качестве хозяина, Франсуа?

— Ай, бросьте, генерал. У меня от всех этих дел (между нами, пусть и господь не услышит) мороз по коже.

Он схватил генерала за руку.

— Дорогой комендант, что бы там ни было, а я всегда был другом христианства, не правда ли?

— Подождите-ка, мой милый, я что-то не совсем понимаю вас...

— Ах, дорогой комендант, я шучу, я конечно шучу. Что остается делать старому дураку? Ай, Моиз, ты помнишь, какую чашу подарил я «Воскресению Христа», этой жалкой церквушке, а? Слушай, а дароносительницу! Ее я заказал самому Мерхелю. Нет, что вы там ни говорите, а я всегда давал хорошую обстановку вашему богу. Ну! — он покивал генералу рукой и вышел, гихонько сплунув три раза.

— Чтoб нам не бывать в этом доме, Моиз, — сказал он с чувством.

Ландо тронулось порознь разными своими частями. Сначала задвигались колеса, несколько секунд позже примкнул к движению передок с кучером и наконец, заскрипев украшениями, двинулся и центр.

— Моиз, это же для смеха, такой экипаж. Подумают, что с того света вернулся покойник-король. Ну, оставим нервы однако. Будем думать, Моиз. Я буду первый думать. И вот тебе вопрос: что ты думаешь за то, чтобы выехать

из Парижа? Как говорится — храни вас бог, остающихся.

Глядя на пули

«Мы увидим: это пригодится для нашей родины».

Чернышевский

В парке Нейи пули мчались, шумя знакомо, как деревья в сильную летнюю грозу. В воздухе чувствовалась сырость, хотя все прекрасно знали, что это картечь. Невольно рука поднимала воротник шинели и нахлобучивала кепи на самые глаза. Шла спокойная низкая пыль. Скрежещущий гудок панцирного локомотива одиноко и растерянно возникал за парком. Прихрамывая, Ламарк с трудом добрался до помещения штаба первой армии. Нужно было пройти глухим двором какой-то растрепанной усадьбы без крыши, с вырванными окнами и дырявыми стенами, войти в кирпичный сарай и еще спуститься по винтовой лестнице во внутренний погреб. Удушливо пахло иодоформом, вином и плесенью сырого, заброшенного подземелья. Шаткий свет керосиновой лампы вверх и вниз вылизывал стены низкой подвальной камеры, где среди корзины с вином, ящиками с хозяйственной дребеденью и бочонков с овощными соленьями, прислонясь к стене, стоя, спал начальник штаба Фавы. Он поднял воротник мундира и засунул руки в карманы, став похожим на бродягу под городским мостом, ожидающего событий ночи. Адъютанты сидели на ящиках, боясь шевельнуться от усталости. Один из них глазами указал Ламарку на перевернутую вверх дном корзину. Ламарк с удовольствием подумал о том, что будет иметь четверть часа совершеннейшего покоя. Нога мучила его раздражительно. Боль, которую едва можно было перенести, выходила в виде злости, и, чем больше он чертыхался и свирепел, тем ему было легче. Конечно ему следовало бы немедленно лечь и не двигаться, но нервы были настолько напряжены, что уже не выносили никакого покоя.

Это случилось третьего дня на его знаменитом панцирном локомотиве, на

правом берегу Сены за Аньерским мостом. Локомотив с двумя вагонами, крытыми железом, став под прикрытие моста, бомбардировал окраины Аньера. Батареи версальцев молчали. Мост им был нужен для переправы на левый берег, и они не отвечали на огонь панцирного поезда. Пожары на краю Аньера вставали коротким дымным огнем, он терялся в вечерней пестроте света. Бомбардиры поезда теряли пристрелку. Нужно было ждать ночи. Ламарк совершенно не мог передать теперь, как все случилось. Он дал приказ прекратить на время стрельбу, и Отто Шумахер вылез из своей железной клетки. Они набили трубки и закурили. На темнеющем небе ползли первые звезды. Большая человеческая земля сжималась в сплошное темное дно веселой, полмира охватившей ночи.

— Сингапур, — сказал Отто, указав трубкой на шевелящиеся звезды.

Ламарк согласно кивнул головой. Оба они были когда-то моряками и многое видели. Оба они проделали немало рейсовых петель вокруг земли.

— Гонконг?

Ламарк презрительно вскинул губу.

— Стамбул, — сказал он внушительно. — Галата, мастика, кайк, матушка.

— *O! Das ist colossal!* Галата, мастика, кайк, матушка, — он повторил эти слова совершенно восторженно и одобрил Ламарка.

— Стамбул. *O!* — и он выставил вверх оттопыренный большой палец.

Так беседовали они долго, не уставая от разговора. Ружейная стрельба почти прекратилась. Похоже на птиц по свистывали впереди разведчики.

Ламарк спросил, вскипятили ли чай.

— Сейчас, — домовито ответил голос из-за его спины. — Сейчас все будет готово.

И кто-то тихо и конфузливо произнес:

— Ах, хорошо бы рыбу теперь половить.

— Ну, что ж. Вот отойдем на ночь за мост, дозоры вышлем, тогда можно и рыбку половить. Рыбку, друг, хочешь половить? — спросил Ламарк

немца, тот не понял и рассмеялся сердечно, как ласковой шутке.

И вот тут что-то произошло. Кто-то закричал или прыгнул, может быть. Потом, блеснув горячим светом, плеснувшись жидким громом, что-то прожгло их насквозь. Сразу все вспыхнуло. Все загорелось. Расширяясь, захватывая все, огонь вдруг качнулся и послушно побежал к мосту. Ламарк готов доклясться, что он видел, как похожий на издыхающую молнию горящий поезд промчался по мосту и завопил о помощи, а он, стоя на насыпи, глядел ему вслед. Рядом, потрескивая, догорал немец. Но в то же время он сам, оказывается, довел локомотив до станции и упал, когда струя воды одеревянила его ногу, будто отрезав ее.

Ночью разведчики натолкнулись на немца. Он сидел маленький, как облупившийся негритенок. Значит, он сгорел сидя.

— Интересно знать, на чью голову все это обрушится в свое время, — сказал Левченко, — и этот панцирный поезд, и эти нефтяные бомбы.

— Так вот значит так, — приоткрыв один глаз, сказал Фавы. — Следовательно мы уговорились. — Он довольно кивнул головой, будто давно уже вел содержательный разговор, и Ламарку теперь все понятно, чего от него хотят. — Тебя уже ждут у Пуан-дю-Жур. Возьми резервный состав. Прямо к командующему второй, Ля-Сесилиа. Валяй. Он передернул плечами и закрыл глаза.

— Если б не старость, — сказал Ламарк, — старость заела, вот что страшно.

...Третьего дня его принесли домой с почестью, как покойника. Поутру, еще не проснувшись, он почувствовал в себе гнилой воздух комнаты. Со страхом открыл он глаза, жена сидела на полу, и маленький играл ее лохмами. Было утро, и пахло неряшливыми детьми. Клопы задумчиво бродили по одеялу. Старший мальчик, вздрагивая от этой мучительной тишины, смотрел в окно. Худое тельце его неясно копошилось под вяло обволакивающей его одеждой. Ли-

цо как-то вогнулось внутрь и прилипло к костям, он подергивал себя за щеку, будто отдирал ее от костей.

— Мария,—позвал Ламарк. — Если я здесь умру, Мария, значит, революции не было. Запомните это.

— Мама не отвечает. Мама сошла с ума, — тихо отозвался сын.

Тогда Ламарк сказал:

— Вот что, мальчишка, нашему брату надо умирать либо там, либо в господских хоромах. Поди там скажи, чтобы меня забрали.

И пока сын ходил, он лежал, отвернувшись к стене. Крепко сжал глаза, когда его уносили.

— Женщину с маленьким куда-нибудь приберите, — сказал он сквозь зубы. — А мальчишку со мной...

Это произошло четвертого дня, но казалось давно пережитым и, может быть, даже совсем не происшедшим в действительности.

Он поднялся с корзины, чтобы отправиться к Ля-Сесилиа.

Есть законы, все могущество которых в том, что они не могут быть исполнены. Их сила в том, что они провозглашены. Их действие неограниченно, потому что касается не человеческих поступков, а человеческого воображения. Законы, которые заставляют работать чувства. Именно таким был декрет о разрушении часовни на месте убийства генерала Бреа. Коммуна об'явила, что, разрушая часовню, она амнистирует гражданина Нурри, содержащегося вот уже двадцать два года в Кайенне за казнь изменника Бреа¹⁾. Коммуна освобождает его, как только окажется возможным.

Ламарк носил при себе лоскуток газеты с этим декретом и повторял его как молитву. Иногда он видел во сне каторжника Нурри, отсидевшего двадцать два года. Ламарк, коснись это его, не пережил бы освобождения. Вот вдруг бы из Индии пришла весть: «Ламарк, Индия предоставляет вам отдых

¹⁾ Генерал Бреа был убит 25 июня 1848 г. за жестокую расправу с повстанцами, взятыми им в плен у Пантеона.

на старости, как только представится это возможным», или: «Ламарк, в Испании ждуг тебя, потому что ты беден и честен». Такие сны поражали невероятностью, но невероятность была реальна.

Это был конечно один из самых романтических законов, которые издала коммуна. Нурри из человека вырастал в символ, и уже просто не верилось, что он есть и что он заключен в Кайенне, и что может настать момент, когда он вернется, скромно сославшись на полузабытый номер декрета.

«Коммуна освободит меня, как только окажется возможным»—часто повторял про себя Ламарк. И Нурри вырастал из человека в людей, в целую армию Нурри, старых и малых, сидящих по своим Кайеннам. Нурри выражал как бы судьбу всего своего класса, он был символом трудящихся всего мира, которых коммуна освободит, как только окажется возможным. Он завидовал Нурри. Просидеть, как он, двадцать два года в заточении и вдруг узнать, что на родине образовалась власть, которая сказала, что он свободен, которая вспомнила о нем.

«Коммуна освободит и меня, как только окажется возможным»—думал он часто. Близость этого освобождения им ощущалась реальнее вне своей старой надоевшей каморки и даже, пожалуй, вне семьи. На баррикадах, на улице, на своем локомотиве он чувствовал себя иначе, чем дома. Если бы ему пришлось теперь попрежнему водить поезда из города в город, он согласился бы лучше переменить профессию. Он требовал, чтобы революция обязательно что-нибудь изменила в его трудовом распорядке, придала бы новые функции, показала новые горизонты.

Ля-Сесилиа, не считая Домбровского, был одним из самых дельных командиров коммуны. Лицом и фигурой он очень походил на грузина (многие всерьез говорили, что его предки носили фамилию Соселия и были родом из Гурии). Длинный горбатый нос, жесткие темные усы, круто свисающие вниз, глаза с томной поволокой, беспечно одетое на ухо кепи, мягкая раскачивающа-

яся походка. Он был полон хитрой настороженной сонливости. Даже его известная всем храбрость была так невыразительна, что никем не запоминалась. Он был храбр незаметно, как самоубийца.

Когда при штурме Исси отряды франк-тиреров бросились на его глазах в рукопашную, Ля-Сесилиа только сузил глаза и взял пожевать в рот сухой и длинный свой ус.

— Скажи что-нибудь, Ля-Сесилиа! — кричали командиры отрядов и члены коммуны.

И этот бывший учитель математики крикнул с веселой беспечностью:

— Да здравствует смерть!

Он произнес это с такой простотой, что всем стало весело, потому что радости смерти никто не поверил, скорее в его словах пронеслось неверие в смерть, сомнение, что смерть легко добывается.

В эту ночь командующего второй армией не было на фронте, и Ламарк вернулся к своему локомотиву, когда густой воздух поздней ночи покрылся синими, красными, белыми и зелеными пятнами, — это проступили в нем первые плоскости города. Мальчишка спал у котла.

Ламарк взглянул на него посторонним, усталым взглядом. «Потомство» — важно мелькнуло у него в уме. Он посмотрел на него, будто пришел наниматься, а хозяин-то и есть — этот тощий парнишка, дрыгающий ногами во сне, и теперь все будет от него зависеть, как он распорядится. Ламарк никогда раньше не отделял сына от своей судьбы и жизни, и теперь ему стало от этого страшно. «Эх, рано, рано» — сказал он и, сказав, сам не понял, к чему это. Рано умираем? Или что — рано начали? Или ребятам еще рано учиться борьбе? «Рано умрем, — определил он. — Не будут хозяевами. Не наберутся ума. Неоткуда».

«Коммуна освободит меня, как только окажется возможным!» — сказал Ламарк шопотом, и слеза жалости, любви и уважения к себе заюлила у него по щекам. Он оперся локтем о локомотив и заплакал надолго, не сдерживаясь, и, чем больше плакал, тем веселее и муже-

ственнее становился. Что-то вспоминалось и никак не могло вспомниться. Он теперь плакал, чтобы полностью прожить стершееся воспоминание. И он сразу ничего не сообразил, когда увидел себя крохотным мальчишкой в дни забастовки 35-го года. Все мужчины валили толпой к ратуше. Бабы бежали за ними, голоса. Они ревели и кричали ребятам: «Мальчики, миленькие, собирайте камни. Вырывайте их, вот так, вот так!» Его мать нагнулась и выдолбила из мостовой железной скобкой несколько булыжников. Она клала их в фартук и подвигалась, не разгибаясь, как на огороде. Ламарк держался за ее юбку. Вдруг фартук треснул, камни посыпались, его стукнуло по ноге. Он заревел. Ах, как обидно было. Набрали ведь столько камней, и все они рассыпались и еще его же ударили. Но тут мать подхватила его и помчалась вперед, так как с мужчинами что-то случилось. «Молчи, маленький, помолчи» — шептала она и сунула ему в руку очень складный булыжничек. Отец увидел их издали и закричал оглушительно: «Смотрите, вот вырастил молодца, смотрите: на руках у матери, а уж держит камень в руке. Держи его крепко, соплячок, держи, не выпускай до времени». И все оглядывались на него, подмигивали, как взрослому, и смеялись. «Дайте мальчишке место, пускай привыкает. Мать, тащи-ка его вперед, дай-ка мне на спину, на спину, на спину сажай».

И теперь он плакал, как тогда, и слезы сомкнули возрасты. И было просто и понятно жить.

«Так всегда было, — думал он. — У отца тоже булыжник служил первой игрушкой и у деда, а теперь вот у его мальчишки».

Он хитро сказал: «Привычка». Сказал и оглядел коричневую, крупножильную руку. Конечно привычка к борьбе была как наследственность интересов. И воспоминание о детстве опровергло недоверие к сыну. Он стал будить его...

— Вставай, вставай, — сказал он. — Заспался, чертенок.

Эдуард Коллинс.—Дневник

Я читал в газетах, что какой-то член американской комиссии в Париже на основании того, что театры и увеселительные заведения переполнены, вывел заключение, что французы не голодают.

Несомненно, что в Париже царствует голод, но театры так переполнены и спрос на театральные билеты так велик, что барышники продают их у дверей театра за двойную и даже за тройную цену.

Интерес к театру в Париже всегда был очень повышен, но за это время, кажется, он еще более увеличился. Здесь открыты театральные студии, где проходят все, что касается театра, начиная с самых простых плотничьих работ и кончая самыми сложными театральными теориями.

Я пришел в Лирический театр послушать «Гугенотов» Мейербера. Из ложи, почти рядом с оркестром, мне отлично была видна сцена и зрительный зал. Конечно все сильно изменилось за время революции. Парижское капиталистическое общество исчезло. Вместе с ним почти исчезли нарядные платья и фраки. Все были одеты в простые рабочие костюмы. В театре было много солдат. Видно было, что некоторые из мужчин пришли прямо с работы. Музыканты оркестра были одеты в самые разнообразные костюмы, дирижер во фраке производил впечатление человека другой эпохи. Я осмотрел внимательно публику, которая занимала первые ряды партера при новом режиме, и понял, что произошло перемещение интеллигенции с галлерей в партер. Те, кто раньше собирал каждую копейку и долго ждал в очередях, чтобы получить место на галлерке, теперь сидел на местах тех, которые приходили раньше в театр только затем, чтобы переварить здесь свой обед. Что касается внимания зрителей, то трудно себе представить публику, перед которой было бы приятнее играть. О представлении я могу сказать очень мало. Кроме разве того, что бедная одежда и пустые желудки не повлияли ни на оркестр, ни на актеров.

Возвращаясь домой глубокой ночью, я не встретил ни одного вооруженного человека. Улицы были полны празднующими. Мне кто-то рассказывал, что нарядные дамы в колясках ездят смотреть на разрушения и следы отчаянных сражений у ворот Нейи. До чего все-таки привык город к военным тревогам, если даже нищие не покидают своих углов под огнем артиллерии и идущие в атаку федераты наскоро подают им милостыню.

Народное просвещение

Вальян, делегат просвещения, только недавно, уже в дни перемирия с немцами, вернулся из Тюбиигена. Ложный патриотизм не застит ему глаза, он с увлечением рассказывает о системе народного воспитания в Германии и мечтает насадить во Франции нечто еще более грандиозное. Я зашел к нему на дом, чтобы провести с ним несколько часов, но не успели мы разговориться, как Асси прислал с мальчиком-посыльным записку, что Вальяна ждет внизу экипаж и что он должен ехать в клуб Никола-на-полях, чтобы говорить о международной солидарности рабочих. Тогда Вальян предложил мне поехать с ним, если я хочу продолжать разговор. Через несколько минут в маленьком кэбе мчались мы в церковь, недавно превращенную в клуб.

Когда мы приехали, собрание уже началось. Вальян должен был выступать третьим или четвертым по счету. Мы имели в своем распоряжении около полчаса.

«Главная задача комиссии просвещения. — сказал Вальян, — это не только создание новой школы. Нам нужно раздвинуть ее стены, чтобы суметь охватить несколько поколений рабочих. При недостатке педагогов наиболее эффективным будет, пожалуй, массовое внешкольное просвещение — в клубах, театрах и на предприятиях». Он добавил, что самой значительной задачей момента является сейчас вовлечение рабочих масс в руководство органами власти. «Это как нельзя более просвещает» — сказал он со смехом. Подошедший Френкель, делегат комиссии труда и обмена,

один из самых интереснейших людей коммуны, немедленно вступил в наш разговор. С этим человеком чувствуешь себя положительно в курсе всех дел. Он занят разработкой трудовых законов, но знает мельчайшие подробности работ комиссии просвещения, продовольственной и военной. Он говорит цифрами, употребляя их в качестве метафор.

Френкель с беспокойством сказал мне, что интеллигенция до сих пор продолжает бойкотировать коммуну. «Не всегда однако тот бьет, кто больше убивает, — произнес он с мрачным оттенком, — мы обрушимся на реакцию не только оружием, но и распространением новых учебников, составленных согласно последней революционной доктрине, мы сплотим вокруг себя массы своей государственной программой, программой социализма. Собственность — не воровство, как сказал Прудон (это очень уж уголовное-мелочно), собственность — контрреволюция». — «Нашу победу решат дети, — сказал Вальян. — Я заставляю голодать весь город, но дети у меня будут сыты. Я организую государственное питание школьников, дам им новые книги, поверну их мозги как следует, и никто не вырвет их из рук нового режима».

Френкель тут же подтвердил цифрами, что число школ увеличено вдвое против прежнего. Дети имеют выборные школьные комитеты. Образование же будет строиться на принципах профессиональной универсальности. Труд должен быть главной дисциплиной в школе.

Террор

Через мадам Валлес я познакомился с Ферре. Он и Рауль Риго ведают комиссией общественной безопасности, прокуратурой и полицией. У меня произошел с ним знаменательный разговор в квартире Толэна, члена Интернационала, справлявшего какой-то неуловимо таинственный домашний праздник. Толэн был старый холостяк, но сегодня роль хозяйки играла моя старая знакомая Андре Лео. Я не удержался, чтобы не спросить ее, не имеет ли она непо-

средственного отношения к празднику. Она очень неловко избежала прямого ответа, сказав, что революция умеет превращать в праздники самые печальные события, и привела несколько примеров из Великой революции 93-го года. Я отошел и заговорил с Ферре. Он очень обрадовался тому, что я — буржуазный литератор. «Мне прямо не с кем отвести душу, — признался он, — а ведь вы наверное сделаете все возможное, чтобы выдвинуть меня». И тут же он спросил меня, хочу ли я знать ближайшую программу действий его комиссии. Террор, только террор, ничего, кроме террора!

— Мы не призваны собрать плоды революции, мы призваны быть палачами прошедшего, казнить, преследовать его, узнавать его во всех одеждах и приносить в жертву будущему, — сказал он. — Нам нужно погубить его в идее, в убеждениях. Уступок делать некому.

— Инквизиция? — спросил я.

— Ничего общего, — ответил он. — Как вы можете сравнивать. Там борьба метафизики с метафизикой же, там выбивание догмы, установление схоластических принципов методами схоластики, а я говорю о переделке человека ради прекрасного будущего. Мудрено ли жертвовать ненавистным? Но в том-то и дело, чтобы отдать дорогое, если мы убедимся, что оно неистинно, следовательно неужно, следовательно вредно. В этом — наше действительное дело.

— Террор отдалит от коммуны многих ее друзей, — заметил я.

— Это не страшно, — ответил он. — Революции делаются не подчиненными и не друзьями, а последователями.

«Казак Жан» ранен на баррикадах!
У цирка стояла разочарованная толпа. Лоточник негромко покрикивал:
— Купите казацкие пряники! Вот они! Самые любимые казацкие пряники!

Тот никогда не жил и ничего не знает о жизни, кто не лежал на мокрой земле, вшивый, рваный, с винтовкой, примерзающей к пальцам, с глазами, которые не открываются от голода, и

в то же время не думал, что мир прекрасен.

Ему всегда снились незнакомые люди, непосещенные места. Что-то географическое. И это было здоровье. Это была бодрость. А теперь второй день стояла в глазах Россия. Это было беспокорство, мучение, злоба. Россия прельщала, как перезрелая женщина, разными униженно покорными ласковостями, поднимала на ноги молодость, гнала перед глазами день за днем из тех, что когда-то запомнились, гнала событие за событием. Смогри, смотри, разве все это было так уже плохо? Разве ты не любил всего этого? Не жил этим? Смотри, смотри, это же твоя молодость, твои первые надежды, твое раннее счастье. Не закрывай глаз! Смотри! Это все тебе дала я. Родина. Не закрывай руками лица. Отбрось руки. Смотри! Я войду в тебя, если ты станешь сопротивляться, я войду в тебя и все покажу изнутри, через сердце.

— Занавесьте окно, — хрипел он. — Не оставляйте меня одного.

Но в том углу цирка, за лошадьми, где лежал он, и так водилась давняя запустелая темнота. Конюхи-негры молча посасывали трубки. Рау-Шнейдер — «Сила, красота, грация и здоровье» — нес в зубах на табурете кассиршу.

— Ну тебя к чорту, — кричала она. — Он меня еще уронит, ребята.

Негр Бу-Ру из акклиматизационного парка пришел сообщить новости.

— Лео сдох, — сказал он. — Все сдохло — и Лео, и его супруга, и детеныш, а медведя мы вчера съели. Нам теперь будет плохо.

— Есть еще один какой-нибудь медведь? — спросил старший конюх, бывший зуав.

— Если ты будешь резать, так есть. Только волк.

— Идем.

Ему показалось, что это сон, хороший, географический, и он спокойней вздохнул. И как только он раскрыл сырые горячие глаза, валом пошла Россия.

— Облейте меня холодной водой! — закричал он.

Валом пошла Россия. Зима была еще прочна, но она шла как-то сама по себе, без всякого присмотру. Воскресенье же выдалось по-весеннему шустрое, по-весеннему безалаберное.

Вся деревня собралась вокруг церкви. Девки смеялись оглушительно и до того непривычно для зимы, что на них все растерянно оглядывались, парни же голосисто толковали о пахоте, о лошадях, о сохах, в их разговорах сквозила не столько рачительность молодых хозяев, сколько ухарство неисчерпанной силы, которая искала себе доказательства перед этим лукавым наблюдательным полчищем девушек и молодых. Он (Владимир) был полон того радостного покоя и уверенности в хорошем, которое безотчетно овладевает молодостью в начале весны. Он стоял у самого амбона. Ждали приезда Сибиряковых. Дым из кадила кувыркался над людьми синевато-розовой легкой струей. Солнечные зайцы желтой паутиной лазали по лицам, и их хотелось смахнуть рукой. День заглядывал в окна и орал за дверью, топтал, ахал, скрипел санями и бил в стены церкви копытами передравшихся лошадей, погавленных под внешними боковыми навесами, будто здесь, внутри церкви, решалась его судьба, и он хотел быть немедленно впущен, чтобы вмешаться в суждения. Фу, чорт, я задыхаюсь. Какая мерзость! И потом его волокли по рыжему снегу, опасливо выламывая руки, и урядник, прыгая рядом, кричал умоляюще: «Не принимайте позору, господин прапорщик. Согласитесь на положение вещей». И сквозь дикий шум голосов он услышал — он понял, — как Сибиряков небрежно произнес, наклоняясь к дочери: «Если не ошибаюсь, это и есть твой прапорщик, Надюшка. Крепко волокут его, — и тотчас добавил испуганно и уже добрее: — Тут ничего не поделаешь. Агитатору не место в рядах офицерства. Хорошо, Надежда, пусть его подвезут на наших лошадях. Урядник!..» Мерзость, мерзость! Да, это правда, это глубокая, своим горем поня-

тая правда, что внутри человека есть беспощадный Фуке-Тенвиль и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпает, гильотина ржавеет, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимает голову, обживается, и вдруг какой-нибудь дикий удар будит оплошный суд, дремлющего палача, и тогда начинается свирепая расправа, — маленькая уступка, пощада, сожаление ведут к прошедшему, оставляют цепи. Выбора нет: или казнить и идти вперед, или миловать и запнуться на полдороге.

С круга доносился растрепанный великогерцогский марш. На Левченко музыка всегда действовала, как погода, и марш утеплял его. А ночью приехала Бартенева, как всегда хлопотливая, с ахами, охами, и сейчас же переругала негров и выскочила звать фиакр, и тут же вернулась и заплакала немощно и раздраженно.

— Владимир, голубчик, нас так мало, а вы еще такое разводите. Это что же? Конюшня!

— Ничего больше не хочу, — сказал он. — Ничего не выдержу, не трогайте.

Она как-то по-бабьи взмахнула руками.

— Это у всех так. Это горячка. Живы будем, голубчик, еще раз пригодимся. Мне тут как-то один баск, умирая хорошо сказал: «От первой пули, мам, обидно умирать».

— Ерунду вы говорите, Бартенева. Ну, еще неделя, ну, две, а там все равно конец. Всем конец.

— Ну, что ж, ну, что ж, — всхлипывая, говорила она, будто не соглашась, — так ведь надо ж. Лизочка получила письмо от Маркса, — сказала она, сморкаясь, — недоволен он нами, недоволен, бранит нас.

— Да, восстание проморгали, — сказал он сухо. — Традиции 48-го года разгромлены. Так ведь и следовало, Бартенева, ожидать. Вы не демократка ли? То-то. В нашем поражении есть исторические итоги — демократия разгромлена навсегда. Ее роль окончилась, отныне во главе революции встанет сам пролетариат. Это была героическая дискре-

дитація демократии, вы же видели это сами, Бартенева. Они хотели и не могли. Пытались и отступали в отчаянии. А рабочие? Чорт возьми, это наша вина, что они еще не готовы. Но вы же чувствовали, а? Вы чувствовали, как они выпирают плечом говорунов и демагогов? — он раздражлся и от этого вел себя бодрее.

— Пролетариат ни черта не поражен, — продолжал он. — Ему конечно пустят кровь, но позиции-то за ним. А демократии набили морду, она разбежится. Лучшие помрут вместе с нами, худшие предадут. Поняли? Когда пролетарий создаст свою партию, он этих демократических псов не подпустит к себе на пушечный выстрел.

Бартенева слушала его, двигая руками и беззвучно раскрывая рот.

Она раздражала его, потому что вместе с ее ахами и слезами подымалась волна делового бешенства. «Чего она плачет, — думал он. — Бойтся, наверно».

— Вы чего, вас не убьют, — сказал он. — Ну, познасилюют маленько, только и всего. Бросьте плакать, мне тяжело.

— Владимир, голубчик, если мы выживем, у нас будет страшная жизнь, — сказала она, задыхаясь. — Разве сможете вы делать что-нибудь, кроме мести за сегодняшнее.

Он перебил ее с грубой презрительностью.

— Меня вынес какой-то художник, чорт его, забыл имя. Я дал ему ваш адрес. Он вам расскажет мою просьбу. Сделайте, прошу вас.

— Ах, Владимир, голубчик, — она закрыла лицо руками. — Какие мы все одинокие, бездомные. А там-то что? — сказала она. — Вы иногда вспоминаете Россию?

Опять она навалилась, Россия. Он охнул.

— Чернышевский сидит, Глеб Иванович Успенский того и гляди с ума спятит, Салтыков-Щедрин — под надзором. Уж лучше тут умереть, чем там прятаться от каждого дворника. Ах, измучилась я, издергалась. — Она вста-

ла. — Я страшно жалею тех наших, что остались дома.

— Вот и выходит, по-вашему, что жалость к кому-нибудь — это страх за себя, — сказал он, не глядя на нее. — Это представление себя в нем. Очень занято.

— Нет, не то, ты не понял меня, Владимир. — Она опять села и пыталась объяснить, что именно с точностью она хотела сказать, но он перебил ее.

— Честные люди поэтому чаще всего — жестокие люди. Они знают, что могут, чего не могут, им нет нужды подставлять себя в чужие положения.

Он крикнул ей, боясь, что она может сейчас ничего не услышать или все позабыть:

— Главное, чтобы вы жили. Вас едва ли будут расстреливать. Поняли? Пусть насилюют, это, говорят, забывается. Сделайтесь любовницей какого-нибудь старого буржуа. Ну, сошлют, может быть, поняли? Пять, десять лет, это — чепуха. И потом все опишите! За такие минуты ненавидят десятки лет, мстят всю жизнь! Горе тем, кто прощает такие минуты! Помните, как это у Герцена отлично сказано? В Женеву! — закричал он, — в Женеву пишите, Бакунину, Утину, Беккеру. В Россию пишите, поняли? Всем, кому попало. А нет, так вместе с нами к стене! Поняли? К стене! Страшно? А-а! То-то. К стене, я вам говорю!

Лошади беспокойно зафыркали за перегородкой. Конюх-зуав, рыгнув во сне, заторопился проснуться. Пискнули какие-то робкие зверьки.

Она засуетилась, как застигнутая любовница.

— Владимир, мальчик, родной мой, успокойтесь. Я сейчас вернусь за вами, я заберу вас к Лизе. Ну, тише, ну, мальчик мой. Я всегда с вами. Ну, к стене конечно! ах, боже мой, конечно.

Она вскочила и, волоча за собой мантилью, бросилась к выходу. Темнота долго удерживала ее в тупиках цирка, было слышно, как она билась в полотняные стены его, громыхала ведрами, падала и незаметно исчезла.

Двадцать шестого мая все казалось конченным. Острый, с рассвета разбушевавшийся дождик прохватывал до костей, как ветер. Из-за его шумного зуда не слышно было воздуха над городом. Все тонуло в легкой стукотне капель и отзвуков их на крышах и стеклах. Как обморок, дождь заглушил слуховые связи окраины с окраиной, предоставив людям умирать или спасаться каждому на своей лад.

Все, кто сражались, очевидно, уже погибли, последние остатки коммунаров сходились на уцелевшие баррикады — к простой неразговорчивой смерти.

Невиданная энергия овладела Буиссоном маниакально. Она была от желания утомиться, устать, обессилеть перед смертью, потому что слабому, утомленному умирать почти незаметно. Буиссон сосчитал бочки с порохом — двадцать. Пушек не было ни одной.

— Жаль, что их нет, — сказал Жеразм, из XII мерии. — Мы бы тогда...

— Стоит только спуститься в XI округ, в парк, нам их выдадут, сколько надо, — ответил Клавье.

Буиссон только представил себе, как легко и жутко было бы пробежать сейчас по дороге от улицы Амадье до высот Меньльмонта, к парку, за пушками. В нем было энергии на три, на четыре таких пробега, воли — на целое сражение, бодрости — на всю жизнь. Он пошел вместе с шестью, среди которых находился его командир Либертон. На площади Вольтера они завернули в меррию — получить разрешение на переброску орудий.

— Знаете, что мы теперь сделаем? Мы зайдем в гости к Джеккеру, — сказал, подмигнув, Клавье.

Тюрма Ля-Рокетт была действительно рядом. Джеккер сидел в ней вторую неделю.

— Правильно. Заберем-ка его с собой. До парка.

Все шестеро вошли в канцелярию тюрмы.

Франсуа, начальник тюрмы, пристал с расспросами. Когда вошли в город версальцы? Пять дней назад? Здорово! Пять дней! Где же они?

— Дай нам сюда Джеккера, Франсуа, — сказал Либертон.

— Вы хотите его... — Франсуа щелкнул пальцами у виска. — А ордер?

Либертон вынул пистолет и показал. Надзиратель, не ожидая распоряжения Франсуа, вышел во внутренний коридор.

Буйссон переступал с ноги на ногу, будто ему до смерти хотелось мочиться. Что-то щекотало десны.

Джеккер вышел в наглухо застегнутом сюртуке, стянутом в талии, волосы на голове были коротко подстрижены, и седеющая, с медным отливом борода тщательно подправлена — волосок к волоску.

— Где ваши деньги, Джеккер? — спросил Клавье.

— Ничего, — подняв плечи, ответил Джеккер. — Ни сантима. Я беднее любого из вас.

— Тогда пошли, — сказал Клавье, как будто от этого именно ответа зависело остальное.

— Пошли, — сказал Джеккер. Он на минуту вернулся в камеру, чтобы взять пальто.

— Куда вы, далеко? — спросил начальник тюрьмы Франсуа, когда все спускались с крыльца.

Джеккер недоумевающе поднял плечи.

— В парк des Partans, — сказал Либертон безразлично. — Забираем оттуда пушки.

Они пошли улицей Ля-Роккет до кладбища, потом бульваром добрались до улицы Амадье, похожей на старческую челюсть с редкими и гнилыми зубами, — она состояла из огороженных пустырей и домов между ними, грязных стен, разметанных садилов, несладко торчащих фабричных труб и широких просветов воздуха, колыхающего дальние очертания предместий.

Они шли, разговаривая, будто ничто их не торопило. В том, что они собрались делать, крылся приятный обман спокойствия. Они говорили о пушках, о баррикаде на площади Тропа, о минах, которые Гальяр собирался расставить в подземных ходах города.

Восстание было умерщвлено, они это понимали. Хаотичность версальской победы еще позволяла отдельным коммунарам бредить мужеством и спокойствием. Делеклюз, Мильтер, Домбровский перестали существовать. Кто имел возможность спастись — тот спасался.

Буйссон вспомнил ночь похорон Домбровского. Солдаты Национальной гвардии, добровольцы, гарибальдийские стрелки, таборы женщин валили страшным полчищем, горланя песни и выкрикивая мрачные обещания. Впереди гроб везли митральезы, и охрана шла с ружьями наперевес, так как дорога на кладбище была опасна: версальцы копошились в городе. Толпа валила валом, останавливая все встречное движение, воинские части примыкали к процессии, как к штурмовой колонне. Оркестры играли каждый свое.

Крик стоял над толпой, как в стачку. Тело Домбровского было обернуто красным знаменем. Гроб несли высоко над толпой, на вытянутых вверх руках.

Из всех публичных торжеств революции особенное впечатление всегда производят похороны. Прах Мирабо (в ту, Великую революцию) нес в Пантеон весь народ вечером, при свете факелов, под грозные звуки неизвестных инструментов, изобретенных Госсеком. Тело Лепеллетье де-Сен-Фаржо выставили обнаженным, чтобы все видели рану. Похороны Марата напоминали грозный карнавал. Похороны же Домбровского были страшны. Еще когда его тело лежало в ратуше, ассоциация музыкантов прислала струнный оркестр, исполнивший «Похоронную и триумфальную симфонию» Берлиоза. Гроб военным шагом вынесли на площадь, и скрипачи и виолончелисты начали героический марш Сен-Санса.

Они едва попевали за гробом.

Никто не видел, чтобы на скрипках играли во время ходьбы. Вскоре музыканты остановились и играли стоя. В промежутках между пьесами они бегом догоняли гроб.

Поляки всех легионов объединились в единый хор. Гарибальдийцы, у которых Домбровский был в свое время полков-

ником, пели особо. Ораторы, чтобы произнести несколько слов, должны были занимать балконы квартир, выходящих на путь процессии, так как на мостовой задерживаться было опасно, — толпа раздавила бы всякого остановившегося, даже не заметив такого несчастья.

Это был последний массовый праздник коммуны.

Буйссон впервые подумал о Джеккере. Еще сегодня утром он мог считать себя спасенным — пять дней назад в город вошли версальцы, горел Лувр, горел Тюильри, горела набережная; федератов расстреливали на каждом углу. И вот не будь Клавье...

— Какой сегодня день? — спросил Джеккер.

Ему назвали.

— Какая поздняя весна, — произнес он печально.

— Напротив. Дни были жаркие хоть куда.

— И сыро, — сказал он, не слыша реплики, и быстро, без волнения, спросил: — А город горит, а? — он несколько раз оглянулся в сторону города.

Иссиня-черные тучи дыма или страшной грозы низко залегли над крышами.

— И Пантеон, и Дворец правосудия, все? — заинтересованно спросил Джеккер.

Либертон молча кивнул головой в ответ.

Улица des Partans началась узкой, крутой тропинкой между буграми и рытвинами свалочного поля.

— Однако это здорово далеко, — сказал Буйссон. — А что, если вот тут, а?

Все остановились, разглядывая месность.

— Дойдемте уж до конца, — ласково сказал Джеккер. — Все равно вам идти до парка.

Он поспешно двинулся первым.

Молча свернули на Китайскую улицу. Парк открывался верхушками худых тополей в самом конце ее. Показались первые фигуры людей.

Отсюда, с холма, катилось вниз, на город, утро. Дождь вобрал в себя солн-

це, как краску, и шел разноцветною массой — то желтой, то серой, то блестящей, как свежие медные опилки.

— Ну, вот тут, — сказал Либертон и показал на канаву, прикурнувшую между улицей и стеной.

— Спускайтесь, — распорядился Клавье.

Джеккер сдернул пальто и неумело, чуть раскорячась, сбежал на мокрое дно ямы.

Какой-то парень мчался со стороны парка. — Стойте, стойте, — кричал он. — Я тоже. Подождите.

Быстро зарядили ружья.

— Ну, желаю вам никогда не вспоминать об этом, — отрывисто сказал Джеккер. — Он поднял глаза к небу, но быстро опустил их и стал взволнованно разглядывать дула ружей. Он поморщился.

— Не вспоминать? Напротив, напротив... — сказал кто-то.

Все оглянулись на Буйссона. Он однако не соображал, сказал ли он что-нибудь. Ему казалось, что он не раскрывал рта, хотя молчать было действительно страшно. Надо было говорить много, хорошо, убежденно. Рассказать всю свою жизнь, развернуть свою растерянную душу, заглянуть туда самому и понять, как и почему все это вышло.

Джеккер досадливо дернул губой. Он хотел сунуть руки в карманы. Вынул их и занес на спину. Пальцы рук конвульсивно металась, он не мог сжать руку в кулак.

Тут они все вшестером выстрелили. Хал Залп отдался прямо в кишках.

— Ну, пошли, пошли, — заторопился Клавье, — у нас еще тысяча дел.

Последняя страница в дневнике Эд. Коляенса

Несмотря на предупреждение мистера О., я никогда не думал, что конец так близок. Самые замечательные события произошли с быстротой, поистине необъяснимой. Говорят, что в день, когда версальцы ворвались в город через ворота Сен-Клу, Домбровский был у себя дома, на улице Вавэн, 52. В пе-

реполохе его даже забыли известить об опасности. Когда в четыре часа дня он появился в штабе в Ля-Мюэтт и выслушал доклад с тем щегольским спокойствием, которое появлялось у него в самые критические минуты, он тотчас распорядился послать за батареей седьмого калибра в морское министерство и вызвать 19-й и 69-й батальоны.

— Я буду командовать сам, — обнадеживающе сказал он.

Тотчас, говорят, он посылает депешу комитету общественного спасения — она идет три часа — о необходимости послать части для занятия ворот Отей. Федераты окапываются у виадук и у начала бульвара Марата. Баррикадируют набережную на высоте Иенского моста. В понедельник, 22-го, Домбровский около двух часов ночи, бледный, расстроенный, контуженный осколком камня в грудь, появляется в ратуше. Он рассказывает о бесплодных попытках остановить бегущих.

Накануне, в воскресенье, коммуна заседала последний раз. Она собралась в этот день, чтобы судить уже давно арестованного генерала Ключере. В момент прений Бильорэ, член комитета общественного спасения, вбежал в залу и попросил слова для важного сообщения. Он прочел рапорт Домбровского, что версальцы вошли в Париж и что он переходит на вторую линию защиты.

Валлес, бывший председателем собрания, тихо спросил:

— Комитет общественного спасения больше ничего не имеет нам сказать? В таком случае слово принадлежит гражданину, который его просил для прений.

Один из членов коммуны, вздремнувший на заседании, узнал о вступлении версальцев, только покидая собрание.

На стенах домов появились надписи мелом и углем: «Прочь жалость!» — и афиша Делеклюза к национальным гвардейцам.

Батальоны бросились к своим кварталам. Армия Домбровского распалась, но Ля-Сесилиа и Врублевский еще держатся. В этот момент, требующий величайшей централизации руководства, коммуна постановляет, чтобы ее члены

отправились для защиты районов. Центр перестал существовать. Каждая улица дралась за себя, без надежд на помощь соседней. Вечером 22-го секретарь комитета общественного спасения Анри Биссак распорядился муниципалитетам округов бить без перерыва в набат во все церковные колокола.

Я вспомнил, что по свойственной мне небрежности так и не запасся охранным свидетельством от английского посольства и что не только не смогу приютить кого-нибудь из коммунаров, но и сам подвергаюсь большой опасности. Я вышел разыскать кое-кого из знакомых, но вернулся, никого не найдя. Всюду возводились баррикады. Только за одну эту ночь их возведено около шестисот. Всякое движение, кроме пешего, прекратилось.

Двадцать третьего утром я выбежал, даже не завтракая, так как сидеть в комнате было жутко. Признаться, я никак не мог решить, что предпринять. По своим политическим убеждениям я не был категорическим защитником коммуны, но, с другой стороны, многое, чему я стал свидетелем за последнее время, сблизало меня с коммунарами. Мне хотелось и выбраться из города, перейдя через немецкие посты, и приходило в голову встать в ряды защитников Парижа. Но для меня, журналиста, защищать значило описать. Правдиво описать все, что имело место. И все-таки я колебался. Я выбежал из дому и, ничего не соображая, погруженный в свои мысли, прошел несколько кварталов. Ко мне вернулось внешнее сознание, и я смог ориентироваться, когда находился где-то в самом центре. То, что я увидел, меня поразило еще больше, чем свое собственное состояние.

Я увидел трогательную мирную демонстрацию школьников. Они шли, распевая марсельезу, на торжество открытия какой-то новой школы. В полутора километрах отсюда версальцы уже расстреливали пленных. Гудел набат. Многие дома в центре города украсились иностранными флагами. Наивная предосторожность! Я ходил, почти не присаживаясь, до самой ночи.

Шли бои по всей юго-западной части города. На бульваре Орнано федераты оспаривали каждый метр. Домбровский смертельно ранен на улице Мира. На площади Бланш дерутся женщины под командой Луизы Мишель и Дмитриевой. Версальцы врываются на Монмартр, предательски незащищенный, и громят оттуда Шомон и кладбище Пер-Лашез. Вечером начались пожары. Горит весь левый берег Сены. Я трижды навелся к Р. Его нет дома. Русское посольство наглухо закрыто. Никто не ответил на мой отчаянный стук. Я не знаю, что будет со мной завтра, и спешу записать виденное.

Ночью пожары усилились. Отступая, федераты поджигали здания. Казалось, что Париж скручивается в громадную спираль пламени и дыма. Двадцать четвертого федераты сами очистили N-й округ. Делеклюз был в мэрии XI, и я помчался туда.

Спокойный, как в министерстве финансов, Журд сидел со шкатулкой денег и выплачивал жалованье батальонам. Рядом с ним Ферре невозмутимо допрашивал шпионов. Он говорит: «Надо послать двух мерзавцев к Риго, — и гут же виновато вспоминает:—Ах, да...» Рауль Риго расстрелян. На площади Жанны д'Арк Вроблевский отбивает атаки целого корпуса. Гудит набат.

Я провел ночь, дремая у костров на улицах. Утром, едва проснулся, узнал, что расстрелян Мильер, и федераты в отместку казнили пятьдесят заложников. Где-то кто-то еще сражался, но ничего путного выяснить не удастся...

Мне пришло в голову, что единственная цель моего пребывания в городе — это спасение кого-нибудь из оставшихся в живых главарей коммуны. Опыт ее должен был получить немедленное освещение, не повторив судьбы восставших 48-го и 51-го годов, материалы о которых до сих пор безмятежно хранятся в архивах ратуши. Мне кажется невозможным продолжать свои записи. Рука не повинуется мне. Событий так много, что они перестают задевать сознание.

Кажется, что ничего не происходит, кроме расстрелов. Расстреливают на каждом углу. Сегодня уже дважды останавливали меня версальские патрули, однако английский паспорт вырывает без труда. Но я не в силах ни вернуться в свою комнату, ни отдать себя под покровительство офицера «порядка». Конечно здесь, среди этих, тоже много интересного. В сущности я, быть может, единственный из журналистов брожу сейчас между линиями огня. Я твердо решаю — идти на Пер-Лашез. Там, на высотах кладбища, между памятниками, дерутся последние федераты.

Я еще хочу записать лишь одну мысль. Я — не федерат. Но я сейчас чувствую, что сила исторических событий сильнее моих личных взглядов и выгод. Для меня нет другого выхода, как стать рядом с последними коммунарами. Никакого другого выхода нет. Быть может, в этом мое несчастье.

Почти не видя ничего, что творилось вокруг, Коллинс очутился на набережной, у Менового моста. Река несла на себе глухой, ворчливый гул и отдаленные крики.

Озноб рассеянного возбуждения, как после гимнастической тренировки, пробежал по коже, щекоча ее и увлажняя потом.

Семьдесят два дня призрак коммунизма стоял над старой Европой. Он был, как комета, видим отовсюду. Гадая по этой сулящей войну и кровь комете о своем будущем, отставные офицеры собирались к Дагомею, эльзасцы, семья за семьей, тянулись в Алжир разрабатывать фосфор, банкиры записали конторы.

«Франция приобрела эту коммуны в припадке рассеянности» — говорили на бирже. События блокировались одно с другим, как беженцы при посадке в поезд, открывая вдруг общие цели и взаимные интересы в самых неожиданных подытоживаниях.

Глубоко местным звучал вдруг где-нибудь в Америке или в Сан-Доминго декрет коммуны, и воззвание Тьера благоговейно читали люди в Москве

или Санкт-Петербурге, относя его к своим личным судьбам.

Теперь сходились в одно такие, казалось, разные вещи, как замысел Дизраэли о создании Великой Британии в Азии, и путешествия Чарльза Динка, как покупка французским консулом в Каире городка Обока за пятьдесят тысяч франков у султана Сомоли, и появление в Нубии некоего Махди, обещавшего вырезать христиан, как фраза маркиза де-Плек, вице-директора Французского банка: «Деньги стали что-то плохо питаться во Франции», и рост внимания к путешествиям и открытиям рынков. Путешественники и географы стали поэтами европейских банкиров. Все было брошено на торги. Водопады Южной Африки, быт австралийских племен, экзотика индийских фруктов и кустарных китайских вещей. Путешествия и открытия стали каталогами этого чудовищного торгова.

Так, бродя в самом себе, Коллинс вышел на площадь Сен-Мишель. Еще нескоро покончил бы он с мучительным приведением в ясность своего настроения, если бы его не окрикнули.

— Гражданин! Ваш булыжник!

Девушка в черной кофте и розовой ситцевой юбке, смеясь, потрясла его за плечи.

— Булыжник, булыжник, а то не пропущу вас. Видите?

Она показала на баррикаду, заставленную пустыми и набитыми камнем фашинами. Каждый прохожий должен был принести камень. Десятки людей в котелках, кепи, шляпах и картузах долбили мостовую. Он нагнулся рядом с ними и выломал три громадных бруска. Бросив их в корзину, он вернулся подобрать еще парочку, потом, ободряемый взглядами девушки, наметил доверху наполнить ближайшую к нему фашину.

— Я все-таки тороплюсь, — сказал он вслух. — Спешу на Пер-Лашез.

Копотившийся в камнях рядом с ним человек шепнул ему:

— Это Елена Рош. Какая была женщина, помните? И вот до чего докатилась.

— Если вы ищете кладбище и безразлично какое, так оставайтесь здесь, — сказал командир федератов. — Миральезы! Внимание! — крикнул он.

Тут площадь вздрогнула. Ее судорога длилась много секунд. Треск гранаты от удара по камню больно резанула слух. Земля подсакивала и горбилась под ногами.

— Вот вам и Пер-Лашез, — страшно улыбнувшись, прокричала девушка в черной кофте. — Ах, боже мой!

«Она умрет, чтобы поддержать жар своих метафор» — подумал Коллинс. И вспомнил какую-то сцену, какие-то песни о свободе и революции, фигуру ее с наброшенным на плечи знаменем. Какой-то шумный вечер в апреле. Улицы. Толпы.

Все сейчас в этой женщине выступало с подчеркнутой красотой. Каждое движение ее тела было самым красивым, слова — самыми значительными из тех, которые она знала за всю свою жизнь. Это было несколько театрально, но так наедине играют самих себя, то-есть какими они хотели бы быть, умные, но замученные и не собой живущие люди. Как будто все, что происходило, предназначено было для нее и ради нее одной.

Лопнули канализационные трубы, проходившие неглубоко под брусчатой одеждой площади, и грязные липкие лужи всплеснулись вверх, обрызгав людей за фашинами. Улицы гудели от мух. Они слетались к сражениям, как на свалку.

Из окна дома напротив прыгнул вниз ребенок. Дальше вспыхнула штора. Булыжник в фашинах подсакивал, как горюх в решете, люди прижались к мокрой вонючей земле, не дыша. «Жив, жив» — крикнули о ребенке. «Воды. Иначе задохнемся». Две женщины пробежали, потешно горбатясь, поперек площади. Одна из них быстро прошла вприсядку и упала на спину. Это было до смешного страшно.

«Если я буду убит, это принесет пользу, — подумал о самом себе Коллинс. — Я буду убит как английский буржуазный корреспондент в рядах ком-

мунаров. Такие вещи запоминаются. Ничто так не красноречиво, как смерть».

В это время на холмах Пер-Лашез капитан Лефевр укладывал остатки своего батальона за прикрытые надмогильных плит. Это был сектор бедных могил без часовен и памятников.

— Поднять плиты! На дыбы их! — распорядился Лефевр, и кладбищенский участок стал дыбом. Ля-Марсельез, одиноко бесясь около двух орудий, носился от одного к другому с горящим фитилем.

Белораморный ангел с распростертыми крыльями укрыл за своей спиной Левченко. Сражаться он был не в силах. Он смотрел. Рядом дрались в рукопашную. Тусклые следы давних встреч проступали у всех в памяти, как единственные воспоминания. Даже казалось неожиданностью, что люди могли раньше встречаться. Все было необъяснимо знакомым друг с другом.

Вот маленькое лицо с взъерошенной серой бороденкой мелькнуло невдалеке.

— Равэ! — крикнул Левченко. Но грохот воздуха был так силен, что никто не услышал его крика. Повидимому, это был Равэ. По-особенному суетливая фигурка озабоченно носилась возле орудий Ля-Марсельеза. Она махала руками, хлопала ими по бедрам, рупором складывала у рта.

— Это правильно, что он вернулся, — сказал Левченко.

— Ты знаешь, кажется, здесь Равэ, — сообщил он Бигу.

Воздух зазвенел, как огромное стекло, пробитое камнем.

Ах! Лейтенант отскочил длинным прыжком и упал, сопротивляясь всем телом. Коснувшись земли, он завозился, будто хотел особым движением мускулов поднять кости, потерявшие соединенность. Он несколько раз перевернулся, изгибаясь и скрючиваясь, и горячо, и шумно при этом дышал, будто злился. Елена подбежала к нему и обняла в обхват. Она жала его последние силы. Он раздраженно вздохнул и подчинился ее рукам.

Он был уже мертв, хотя неясные следы жизни, как отраженный свет солнца, еще кое-где копошились в его теле.

Еще глядели глаза, еще изредка вздрагивало сердце, еще рука пыталась сделать несколько движений, механически осмысленных и внешне сознательных. Рука искала.

Тогда Елена припала к этим страшно что-то ищущим пальцам и зарыдала. Она почувствовала на своей щеке слабое пожатие его пальцев и закричала, представив, что он ее любит и что многое должно было произойти в голубе умирающего, чтобы из всех последних движений выбрать одно — нежное прощание с нею. Но он был мертв еще раньше, чем поднялась и проползла по ней его рука. «Что делать? Боже мой, вы меня отравили, Гродзенский! — кричала она, вороша труп и оглядываясь кругом: — Гродзенский, где то, милый, где то, что вы говорили?»

— Это совершенно невозможная вещь! — и Коллинс рванул ее на себя за плечо. — Вы с ума сошли? — сказал он. — Это смерть! Поняли? Он умер. У него все кончилось.

Он прозацил ее за собой до угла дома, с озверелым чувством палача, сдирающего кожу с жертвы, он тащил ее грубо, будто нарочно делал ей больно, и, так как это была красивая и слабая женщина, он нашел нужным подумать, куда бы ее устроить. Просвист пуль над головой заставлял их удаляться от площади ближе к набережной. Здесь спокойно, сами по себе, загорались особняки. Огонь брал их лихо, с веселым дымным вывертом и жарким дыхом.

— Ну, вот так отлично будет, — говорили люди, сидящие на парапете набережной. Дома горели враз, и пожары были каждый сам по себе, и их сравнивали.

— Это слишком долго тянется, — сказала Елена Рош. — Какой ненужный антракт.

А Буиссону казалось, что вместе с Парижем гибнет цивилизация, что часть семьдесят первого года провалится во времени и только трещина в летоисчислении будет неясно напоминать о случившейся катастрофе.

«Мне мало сейчас умереть, — думал он. — Это незаслуженно мало». Он выдумывал себе что-то большее, чем смерть, чтобы остаться, не исчезнуть, выдержаться на краях трещины, и он твердо перенес бы любую боль, любое испытание, будь ему обещан этот исход. Просто остаться в живых ему было бы стыдно. Жизнь казалась невозможной после того, что произошло. «И какое там искусство, — думал он. — Гродзенский по-своему был прав, какое еще искусство может быть нужно в эти дни в человеческом обществе? Проблемы жанров? Скудоумное идиотство. Блажь. Какие проблемы? Все это рушится, все исчезает, с борьбой, со всеми радостями и печалью. Людей семьдесят первого года будут разыскивать археологи. В огне пожаров истлеет все, что волновало Париж и мир семьдесят два дня. Ничего не нужно революции, кроме рук, пока она не победила».

Так как он искал что-то большее, чем смерть, то он никак не мог выбрать себе, где ему находиться и что делать.

«Когда отдаешь себя революции, скажи себе, что ты уже мертв, — думал он, — и потом ничему не удивляйся, ни от чего не отказывайся, на все иди. Ты для себя уже умер».

Бигу несколько раз брал его за руку. — Гражданин художник, тебе, друг мой, нужен фонарик. Падаешь? Сегодня поддержать тебя некому будет, смотри.

Он вырвался из рук Бигу, не отвечая.

«Чепуха, чепуха, — думал он. — Я давно уже мертв, давно, давно».

Какая блестящая синь развевалась над городом! Какая особая непопуженность неба стояла над дымами и грохотом города!

«Не может быть написано то, что не победило в жизни. Такое проходит. Вместе с ним проходит написавший его художник».

«Где этот Курба, — думал он. — Хотел бы я видеть, хотел бы».

Кровь так напряглась в Буиссоне, будто сама искала выхода. Он боялся,

что она сейчас потечет из любого пореза. Она с болью неслась по артериям. Он негромко, почти про себя, стоял. Хороший удар свинца должен был вернуть ему волю.

Подвернувшийся Бигу столкнул его в склеп.

— Вот он, этот художник, — сказал он сидящим.

Ламарк оглядел Буиссона.

— Не выберется, — сказал он.

— Малая сила, не выберется такой.

И Бигу подробно посвятил его в плаш. Он сказал ему, что за юго-восточной стеной Пер-Лашез есть вход в подземелья Парижа. Длинным канализационным туннелем можно пробраться до Сены.

— Ну, мальчишка, теперь ты все видишь, — Ламарк сжал голову сына ладонями рук, — значит, так. Вот это и помни.

Он будто сдавал сыну свою жизнь.

Левченко стоял тут же, заложив руки за спину.

— Побеждает тот, кто убеждает противника в поражении, — глядя в землю, будто оправдываясь перед будущим, сказал он... — Мы разбиты не потому, что не правы. Нас мало. Твое поколение вернется к нашему опыту. Вас будет больше. У вас будет партия. Возьмите с собой этого мальчишку, — обратился он к Буиссону. — Позаботьтесь о нем. Вы слышите что-нибудь, что я вам говорю?

Страшный грохот, шедший сквозь землю, зашатал склеп. Он хрустнул в углах и стряхнул с себя штукатурку.

Когда голова Ламарка почувствовала на себе солнце, глаза открылись сами, без приказания мысли.

Высоко занесенным дымом клубилась тишина. Плоский, почти невидный труп Ля-Марсельеза будто наполовину вошел в землю. Факел в его наотмашь откинутой руке палил сухую затравешую землю между могильных плит. Она занималась исподтишка, но бойким и хлопотливым огнем.

Солнечный клад

Роман

АЛЕКСАНДР ПЕРЕГУДОВ

(Окончание ¹)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Медведев часто ходил на «страданья». В летние вечера зеленая поляна, пестрые платки, красные юбки, яркие занавески, голянки, ленты и бусы девок, визгливые выкрики частушек и песни напоминали ему далекое прошлое. Вот так же, должно быть, века назад славяне справляли свои языческие праздники: «Красные горки», «Радунницы», «Семики», «Русальные недели». Века изменили обряды и песни, но самое властное, самое волнующее осталось, — любовь, кружащая головы девок, наполняющая истомой тела парней, зовущая теплыми, звездными ночами в зеленые иерелески, кусты, нагретые теплом полуденного солнца.

Вечерами у барачков Медведев смотрел на Лушу, скромную и стыдливую, и думал: «Неужели и она ночами гуляет с парнями?» Он видел, как Дерюгин заигрывает с девушкой, что-то шепчет ей на ухо, и глаза его похотливо ощупывают девичьи ноги и грудь. «Любую девку песней уговорю» — вспоминал он хвастовство Дерюгина...

В ночь под седьмое июля, под Ивана Купала, девки разожгли костры, водили около них хороводы и прыгали через огонь. От костров на лица парней и девок падали алые отблески света, и лица людей казались бронзовыми, необыденно возбужденными. Но костры

горели недолго, — пришел Копнов и строго приказал потушить огонь.

— Разве можно на разработках разводить костры! Пожара хотите? Сейчас же залейте водой.

Девки неохотно подчинились. Костры, умирая, шипели и едко чадили.

Катька Самоплясова крикнула:

— А мы и без огня гужеваться будем!

— Это — ваше дело.

— Ты что такой сердитый, родимец? Сам, чай, молодым был?

Сергей Михайлович, не ответив, пошел к баракам. У крайнего барака под электрической лампочкой парни тянулись на палках. Они садились попарно на землю, упирались подошвами и по команде старосты Дубкова начинали «тянуться».

Ямщик Крутов побеждал всех. Был он неповоротлив и силен, как медведь, спокойно клал на палку огромные кисти рук и, усмехаясь, говорил:

— Держись.

И легко приподнимал противника.

Копнов остановился под лампочкой. Дубков, гордый тем, что в его артели имеется непобедимый силач, сказал торфмейстеру:

— Супротив Крутова ни один не выстоит — вот дьявол какой.

Торфмейстер сбросил пиджак и, лукаво поблескивая глазами, подошел к Крутову.

— Ну-ка, давай я попробую.

Ямщик усмехнулся:

¹ См. «Новый мир», кн.кв. 4, 5, 6 с. г.

— Не берись, Сергей Михалыч, — не совладать.

Копнов тяжело опустился на землю и взялся за палку.

Староста подмигнул торфяникам и махнул рукой:

— Тягай!

Ямщик, продолжая ухмыляться, потянул палку. Копнов сидел плотно и непоколебимо, как узловатый дубовый пень. Улыбка сползла с лица Крутова, на огромных кистях рук веревками вздулись жилы. Недоумевая, он смотрел на торфмейстера.

— Тяни, что же ты не тянешь, — спокойно сказал Копнов.

Лицо Крутова побагровело, плотно сомкнулись челюсти, и на скулах заиграли твердые желваки.

— Ванька, что же это? — всплеснул руками староста.

У Ваньки круто изогнулась спина, на плечах булыжниками вздулись мускулы, а Копнов продолжал сидеть, лукаво поглядывая на мужика.

— Ну, теперь я попробую.

И, качнувшись назад, приподнял ямщика.

Староста изумленно открыл рот, парни захохотали. Крутов, смущенно одергивая рубаху, говорил:

— Ишь ты... Вот, дьявол...

— Вот так Сергей Михалыч, — крикнула Самоплясова. — Ты этак всех наших миленков задавишь. Ну, тебя!

Торфмейстер накинул на плечи пиджак и медленно, вразвалку, ушел с поляны.

— Я его давно знаю, — заговорил Дерюгин, — он лошадь поднимает: подлезет лошади под брюхо, выпрямится и поднимет. С ним лучше не связывайся... Ну, что же, девки, песни, что ли, петь будем? Старинные. Будешь, Луша?

Луша кивнула головой, и Дерюгин, откашлявшись, заворожил необыкновенным своим голосом:

Не сиди, мой друг, поздно вечером,

Ты не жги свечу воска ярого,

Ты не жди меня до полуночи...

От песни хотелось плакать, песня уносила в далекое прошлое, когда жили добрые молодцы и красные девицы любили и тосковали, запертые в теремах. А за темными болотами под звездным небом горели звезды постройки, и оттуда доносился мощный гул работ.

Необычной была эта ночь для Медведева. Он видел, как Дерюгин пошептался с Лушей и повел ее в березовый перелесок. Луша, перебирая пальцами бусы и ленты на груди, шла медленно, опустив голову. Медведев почувствовал, как тревожно забилося его сердце, и, помимо своей воли, он пошел следом за ними.

Дерюгин и Луша скрылись в перелеске. Медведев остановился. Сзади у бараков пела гармонь, плескались голоса и смех. Болото дышало гнилью в вяжущим запахом торфа. От Красных гор тянуло дымом, и дым напоминал о непрерывной и упорной борьбе человека с глухоманью.

В перелеске тихо вскрикнула Луша. У Медведева пересохло во рту. Он метнулся к березняку, но по земле застучали быстрые шаги, и из синей туманной мглы выбежала девушка. Она бежала, согнувшись и закрыв лицо руками.

— Луша, — тихо окрикнул Медведев.

— Ой, кто-й-то, — остановилась девушка.

— Ты что, Луша?

— Да что же это такое!.. Проходу не дает! — Она громко заплакала и доверчиво прижалась к Медведеву. — Что же это такое?.. Мало ему Катьки, Сямки... Зачем же ко мне пристает?

— А ты не ходи с ним. Зачем пошла?

— Петь пошла... Пойдем, говорит, в лесок, споем там, никто не помешает.. А сам...

И опять задергались ее плечи.

Эта ночь была необычной для Медведева. До рассвета просидел он с девушкой на пнях у перелеска. Над сухя-

ми камышами, под опрокинутым ковшем Большой Медведицы тихо истлевала вечерняя заря. Она не успела угаснуть — навстречу ей вышла заря утренняя. Светлели болота, неподвижно лежали туманы. Осины чуть слышно лепетали листьями. В бледных отблесках зари лицо девушки казалось таким близким и милым. Медведев думал об одинокой своей жизни, и впервые в эту ночь мелькнула мысль: «Вот жениться на этой здоровой и красивой девушке, переломить свою жизнь и вместе с Лушей по-новому изживать будущие годы». Вот Копнов женился же на неграмотной рязанской торфянице. А теперь разве узнаешь, посмотрев на нее, кем она была раньше. И разве Луша не может быть такой же?

Он спросил:

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать. А што?

И вдруг, как бы очнувшись, всплеснула руками:

— Ой, батюшки! Рассвело совсем. Вот засиделись мы с тобой.

Она встала, оправила красную шерстяную юбку и, устало улыбнувшись, сказала:

— Пойду.

И быстро побежала к баракам, оставляя на серебряной росистой траве темные следы.



Детство Веры Кургановой прошло в отрядах пионеров, в комсомоле расцвела ее юность. Из детства вынесла она строгую дисциплинированность, любовь к коллективу и труду, трезвый, не затуманенный предрассудками взгляд на будущую свою жизнь. Будущее казалось простым и ясным: надо жить так, чтобы свои силы и знание отдать воспитавшему ее классу и вместе с этим классом в несчастьях и радостях, в обыденных днях и борьбе строить социализм. Социализм — это конечная цель. Она недостижима, если идти к ней не торопясь, вразалку; она приблизится неожиданно быстро, если напрягать все свои силы и свою волю в каждодневной работе,

если личную свою жизнь пожертвовать великому делу достижения этой цели. И Вера старалась жить так, чтобы ни один ее день не был пустым и бесцельным. В толстой клеенчатой тетради ежедневно записывала она, что сделано ею в ушедшем дне. Перелистывая страницы этой тетради, девушка видела: из ежедневного маленького ее труда слагалась большая и плодотворная работа. Дневник был строгим табельщиком ее жизни, он заставлял серьезнее относиться к каждому рабочему часу. И почти не было в дневнике пустых и неплодотворных дней...

Вечером в комнате Веры по-обычному были тишина и смолистый запах бревенчатых стен. И по-обычному за окном гудели Красные горы, будто где-то непрерывно и мощно шумел водопад. На столике в строгом порядке лежали книги, карандаши, тетради, над столиком знакомо и торопливо тикали повешенные на гвоздик часики. Но в этот вечер в обыденной и привычной обстановке было что-то раздражающее и ненужное. Что-то мешало сосредоточиться, обсудить прошедший день. Вера окинула взглядом комнату и в углу около двери увидела ореховую палочку. Девушка долго смотрела в угол, потом взяла палочку и начала внимательно ее рассматривать. На зеленовато-серой коре орешника был вырезан затейливый орнамент и цифры 22,6.

«Что это значит? — Вера нахмурила брови, и вдруг лицо ее вспыхнуло. Палочку принес сегодня Шахрай и цифры 22,6 напоминали о первом его поцелуе. — Фу, какое мещанство!.. Вот тоже!..»

И все же Вера продолжала рассматривать орнамент на коре орешника и вместо тщательно вырезанных узоров видела она темный вечер, туманы над болотами, и ей чудилось, что ее щеку жарко обдаёт дыхание Шахрая. Как могло это случиться?

Девушка отбросила палочку, резко тряхнула головой, поправляя спустившиеся на лоб волосы, и села за стол. Раскрытый дневник строго смотрел на нее, требуя обыденных отчетов. Вера

взяла перо, но не знала, что записать. Утром ходила в девичьи бараки, но говорила с торфяницами о пустяках. Потом стирала белье,—это не в счет. В предвечерье пришел Шахрай, принес вот эту тросточку и долго сидел, рассказывал, как два года назад жил он на Красных горах. Вечером опоздала на занятия с малограмотными, и ученики разошлись. День прошел бесцельно, пусто.

«Это безобразно!.. И всему виной Шахрай!.. Шахрай!..»

И перо написало на страничке дневника: Шахрай.

Вера сдвинула брови и раздраженно зачеркнула написанное слово. Под пером расплзлась жирная клякса, первая клякса в аккуратном и чистом Верином дневнике. У девушки навернулись на глазах слезы.

«Надо взять себя в руки!.. Надо, чтобы каждый из будущих дней был так же ценен, как и прошлые!»

Перелистала тетрадь.

18 июня.—Уговорила восемь торфяниц заниматься в школе ликбеза. Теперь в школе сорок шесть человек. Конечно этого мало, но я надеюсь довести число учениц до сотни. В этом мне помогает Луша Бокарева. Вот хорошая девушка, такая скромная и способная. Вечером готовила доклад: «Задачи женщины на путях к социализму».

19 июня.—Среди нашего технического персонала есть один инженер, который раньше был агрономом. Взяла его в работу. Сегодня он провел первую беседу в клубе. Я была очень рада, видя, что слушать его пришли степенные мужики и пожилые бабы, как раз те, которых не затащишь в школы и не заинтересуешь кино. Беседа прошла очень удачно, задавали много вопросов. Хорошо.

20 июня.—Я очень благодарна Шахраю,—он так много помогает мне в моей работе. В школе малограмотных он занимается почти один. Молодец парень. Честный и хороший товарищ. Сегодня с его помощью я составляла план работ на будущий месяц, и если все, что мы наметили, пройдет,—вот будет хо-

рошо: лекции, беседы, вечера самодеятельности...

21 июня.—Еще четырех девушек зашла в школу. На Красных горах рабочие прекрасно занимаются на вечерних курсах по подготовке на рабфак в вуз. Видно, что они серьезно хотят учиться. Ими не приходится руководить, они сами требуют, что им нужно. А вот на Моховых болотах трудно раскатать сезонников. Лениво посещают школу и клуб. Я решила проводить некоторые беседы в бараках. Если сезонники к нам не идут—мы придем к ним. Сегодня была первая беседа на антирелигиозную тему в бараке № 8. Прошла очень оживленно. Много спорили, и я заметила: мужики и бабы попов не любят, но за религию стоят крепко. Надо будет на этом фронте приналечь. Послала в Москву требование на антирелигиозную литературу и журнал «Безбожник».

22 июня.—Сегодня пришли ко мне две торфяницы и просили организовать школу кройки и шитья. Многим девушкам хочется научиться шить. Прекрасно! Послала в центр письмо с просьбой выслать хотя две швейных машинки. Кто же будет преподавать? На Красных горах и Моховых болотах не найдется ни одной портнихи. Придется мне самой показать им, что знаю. А потом подыщем руководительницу. Днем составляла стенгазету «Болотный комар». Это уже третий номер. Шахрай дал несколько шаржей на наших работников. Стенгазета получилась хорошей. До самого вечера возилась с этой работой, так что даже заболела голова. Пошла с Шахраем гулять. Вечер был необыкновенно тих и тепел. Мы долго сидели на пнях...

Несколько строк были аккуратно заклеены узкими полосками бумаги.

Вера опять сурово сдвинула брови, перебрала несколько страниц и написала:

10/7. — Я должна твердо исполнить то, что мне поручили комсомол и партия. Ничто не должно мешать моей работе. Никто не должен становиться на моем пути. Нужно быть решительной в

сильной. Сегодняшний день прошел бесцельно. Я ничего не сделала. Стыд и позор. Больше таких дней у меня не будет. Я объяснюсь с Шахраем. Что он от меня хочет? Чего он ждет? Он сказал, что любит меня. Глупости. Не верю. Не хочу верить. Не хочу быть мешанкой. Не хочу коверкать свою жизнь. Решительно и твердо покончу с этим. Даю себе в этом комсомольское слово.

Девушка резко поднялась с табурета, переломила палочку и выбросила обломки в фортку.



Первым заболел ящик Крутов. Он лежал в бараке, покрытый одеялом и сермягой и мелко стучал зубами. Огромное его тело тряслось на скрипевшей койке.

В окна барака ярко светило солнце, в солнечном свете жужжали мухи и тонко пели комары.

Приподнимая веки, Крутов видел: койки в пестрых одеялах и цветных подушках прыгали на полу, дробно стуча деревянными ножками. И, как сквозь марево, колыхались бревенчатые стены. Пустой барак казался необычно большим, необычно тихим и немного жутким. Крутов думал:

«Ушли земляки, бросили меня... Испить подать некому... Подохнешь тут, домой не вернешься».

Он устало закрывал глаза и начинал думать о родной деревне. Вот знакомый горбатый мостик через маленькую речонку. У мостика растут березки, а за речонкой до самого горизонта разостлались желтые одеяла полей. На полях бабы и девки жнут рожь. И странно: день такой солнечный, жаркий, а он, Крутов, дрожит от холода, как в лютые морозы. Он быстро шагает по пыльному проселку. Вот сейчас за мостиком встретит его жена и радостно всплеснет руками: «Ой, батюшки, приехал! — И закричит звонко на все поле: — Митя, где ты запропастился?! Тятка приехал, гостинцев привез!» Крутов ускоряет шаг. Под ногами прогибаются, дрожат гнилые доски мостика, и нет конца им... Марья улы-

бается, ждет. В руках у ней ведро со студеной водой. Испить бы... Марья!..

Открывает глаза: огромный неуютный барак, прыгают койки, дробно стуча по деревянному полу. Мужик крепко стискивает челюсти. Койки продолжают прыгать, но уже не слышно их дробного стука.

«Это я зубами выколачиваю, — соображает Крутов, — лихоманка меня трясет». И опять устало опускает веки. И опять знакомый мостик, а под березками сидит пастух, дед Назар. Коровы лениво бродят по берегу речонки: рыжие, черные, пестрые, как одеяла на койках. Назар прижался спиной к белому стволу березы и лениво играет на рожке. Знакомые звуки плывут над полями. Так ясно слышны они, как будто над самым ухом поет рожок.

Открыв глаза, Крутов видит: над головой в золотой полосе солнечного света тонко поет комар. Комар кажется таким близким, безобидным. «Комар на ногу ступил, все суставы раздавил» — вспоминаются слова песни, и мужик улыбается комару и не сгоняет его, когда он неслышно опускается на руку и наливается кровью.

Приходит со смены артель. Барак наполняется голосами и шумом. Солнце теплее греет, и Крутов вылезает из-под одеяла.

— Что, Ванька? — спрашивает староста Дубков.

— Ничего, на людях легче.

— Поесть хочешь?

— Не... Испить бы.

И жадно припадает к ковшу с холодной водой.

— Подожди, чаю принесу, — говорит секарь Митька. — Докторша сырую воду не велела пить.

Крутов облизывает пересохшие губы, улыбается:

— Что нам сделается.

— Ты поправляйся, — староста лаеково хлопает мужика по плечу. — Теперь работать во как надо!.. Пономаревская артель опять на нас насадет. А еще мы договор подписали с красногорскими рабочими, чтобы больше

горфу наработать... Без тебя туго. Не валяйся долго-то.

Мужик чувствует себя виноватым.

— Я что ж... Я ничего... Вот завтра выйду к машине.

К вечеру он чувствовал себя совсем здоровым, смеялся, много ел за ужином и на утро выходил на работу. А через день опять лежал под одеялом и дрожал от озноба.

Через неделю в мужских бараках лежало четырнадцать больных, а в женских не выходили на работу двадцать шесть девок.

Доктор, Мария Васильевна, беспокоясь, говорила Копнову:

— Малярия... Даю больным хину, но многие не пьют ее — горечь. Надеются, так пройдет. Многие не верят, что малярийные комары разносят сразу.

Копнов опасался, что эпидемия может сорвать намеченный план работ. Он пришел в клуб и сурово сказал Вере Кургановой:

— На торфоразработках малярия. Мужики и бабы невежественны, не хотят лечиться. Надо объяснить им, отчего происходит эта болезнь. Организуйте в бараках лекции о малярии, выпишите кинофильм, наверное есть такой... Одними лекарствами эпидемию не поборошь, а если ее не заглушить вначале, то после с ней не справишься. Упустишь огонь — не потушишь.



Невидимым, жутким призраком бродила на Моховых болотах малярия. Она таилась в стоячих водах, в зарослях камыша, в карьерах и затонах, она дышала сырими туманами, гнилью трав, затхлостью испорченной воды. И здоровые, сильные люди желтели и вяли в липких ее объятиях. Уменьшилась добыча торфа, и на вечерних «страданиях» не было прежнего веселья.

Вечерами в бараках Мария Васильевна проводила беседы, слесарь Малинкин играл на гармонии, но мужики, бабы, парни и девки хмуро слушали доклад, и любимая гармонь не развлекала их.

Вера Курганова на дверях каждого барака, в клубе, конторе, складах вывешивала плакаты:

«Комары разносят малярию, — боритесь с комарами».

«Не пейте сырой воды».

«Принимайте хину, — она вылечит вас от болезни».

«Идите к доктору, — он поможет вам».

«Малярия излечима, не запускайте только болезни».

Гнилую воду в затонах и карьерах поливали нефтью и керосином, убивая личинки комаров.

Но плохо слушали в бараках то, о чем кричали плакаты, плохо верили словам доктора и, смотря, как льют ведрами керосин, говорили:

— Зря добро пропадает. Лучше бы нам в деревню послали.

О лихорадке в женских бараках бабка Лукерья рассказывала:

— При море Черном стоит столп каменный; в столпе сидит святой апостол Сисипий и видит: взбунтовалось море до облаков, и выходят из него двенадцать жен простоволосых — окаянное дьявольское видение. И говорили те жены: «Мы трясовицы, дщери Ирода царя». И спросил их святой Сисипий: «Окаянные дьяволы, зачем вы пришли сюда?» Они же отвечали: «Мы пришли мучить род человеческий». И помолился богу святой Сисипий: «Господи, господи... Избавь род человеческий от окаянных сил дьяволов». И послал ему господь двух ангелов: Сихайла и Аноса и четырех евангелистов. И начали бить трясовиц четырьмя дубцами железными, давая им по три тысячи ран на день. И взмолились трясовицы: «Святой великий апостол Сисипий и Сихайло, и Анос, и четыре евангелиста Лука, Марко, Матвей, Иоанн! Не мучьте нас. Где ваши святые имена слышим и в котором роду имена ваши прославятся, того мы роду бегаем за три дня, за три поприща...»

Лукерья говорила тихо, нараспев, как заученную молитву. Девки и бабы жадно слушали ее. Им казалось: бабка знает больше доктора, каждую из двенадцати трясовиц перечислить может:

— Первая — Тряся... Другая — Огня: как печь смоляными дровами раскаляется, так Огня жжет тела человеческие. Третья — Ледея, как лед студеный, знобит род человеческий, и не может от нее человек и в печи согреться. Четвертая — Гнетя, ложится она у человека на ребрах и взвивает утробу, блюет от нее человек. Пятая — Грызнуша, ложится она у человека в грудях, и голову ломит, и тот человек глух бывает. Седьмая — Ломеня, ломит у человека кости и спину, как буря сухое дерево. Восьмая — Пухня, пускает отек на род человеческий. Девятая — Желтя, как желтый цвет в поле. Десятая — Коркуша, та всех прокляте: смыкает ручные жилы и ножные вместе. Одиннадцатая — Глядея, и та всех прокляте: в ночи человеку сна не дает, и бесы приступают к тому человеку, и в уме он мешается. Двенадцатая — Невя, сестра им старейшая, плясовица, которая усекнула главу Иоанна Предтечи, и та всех прокляте: поймает человека, и не может тот человек жив быть.

Лукерья потихоньку, чтобы не узнал доктор, заговаривала лихорадку, а лихорадка больше и больше косила людей. Две машины уже работали в одну смену. Торфяники были хмуры, обеспокоены. Однажды, входя в барак, Копнов услышал, как кто-то в темном углу возбужденно говорил:

— Бросать работу надо, домой бежать!.. Всех, проклятая, замучает!



Когда Катька Самоплясова почувствовала себя беременной, то все, что раньше казалось веселым, — гармонь, «страданья», частушки, — что ежедневно радовало, — восход солнца, роса на траве, бодрый холодок раннего утра, — стали вдруг тоскливы до тошноты, и мир как будто потускнел, затих в предчувствии какой-то огромной беды. Ночью она плакала на своей койке, и большой барак, наполненный спящими подругами, казался ей пустым и враждебным. Ей чудилось: из темных углов

надвигается на нее что-то бесформенное, зловещее, она прятала голову под одеяло, и свой страх и отчаяние старалась заглушить воспоминаниями о прошлых — радостных и легких — днях. В эти минуты милее и ближе всего казалась ей родная деревня, старуха-мать, двенадцатилетняя сестренка. Катька думала о них и, обливаясь слезами, шептала: «Родная моя маменька!.. Ой, что же мне делать-то?.. Ой, куда же мне идти?..» Разрывая думы о родине, вставал перед ней Яков Семенович и, приглаживая реденькую бороденку, посмеивался. Знакомый приторно-ласковый шопоток его сочился в уши: «Разлапушка ты моя, касаточка... Пойдем посидим в лесочке...» Катька сбрасывала одеяло и, приподняв голову, всматривалась в темноту. В темноте рождались и умирали сонные вздохи и шопоты девок, где-то у печки неугомонно трещал сверчок, ветер тихонько плакал в трубе. И опять зловещее надвигалось на Самоплясову. «Ой, маменька!» — вскрикивала она и закрывала лицо руками.

Рядом на койке проснулась Луша Бокарева, тихонько окрикнула:

— Ты что?

Катька не ответила.

Луша слезла с койки и подошла к Самоплясовой.

— Ты что, Катя?

— Маменька померла, во сне сгребла... Ой, испужалась как...

— А я думала — захворала ты.

Луша опять легла на скрипевшую койку и скоро спокойно и ровно задышала.

Катька забылась на рассвете, уже начали зеленеть широкие окна бараков. Утром встала она с головной болью, с посеревшим, осунувшимся лицом. Рамочница, бабка Лукерья, подозрительно взглянула на нее, но ничего не сказала. На работе в этот день все казалось ненавистным: и бурое полотнище «полированной земли», на которой «рамка» ворочала кирпичи, и веселые, беззаботные подруги, и десятник, который, казалось, больше всего придирался к Самоплясовой.

— Эй, Самоплясова, ты что целой доской ворочаешь? — окрикивал десятник.

Доской назывались четыре кирпича, слепленных вместе, так, как они лежали на доске по выходе из мундштука.

— Эй, Самоплясова, как ворочаешь!

Катька сердито смотрела на десятника и молча разделяла «доску», переворачивала кирпичи торфа так, чтобы они лежали вверх той стороной, которой раньше прикасались к полю.

С ворочки торфа «рамку» перебросили на «кладку пятков». Должно быть, от бессонной ночи, от гнетущего сознания надвигающейся беды Катька уставала больше обычного и чаще отдыхала. Стоя с опущенными руками, она видела, как ее подруги, согнувшись, быстро работали обеими руками: хватали из рядов два кирпича, клали их рядом с небольшим промежутком, на них—еще два и сверху—один. Подруги были веселы, часто смеялись, вполголоса пели частушки.

«И чего их разбирает»—думала Самоплясова, забывая о том, что несколько дней назад она больше других смеялась и пела. Иногда Катька замечала на себе подозрительные взгляды «рамочницы», — тогда она тоже заводила частушку и, согнувшись, хватала огрубевшими пальцами тяжелые кирпичи торфа. Но больше всего в этот день думала она о Дерюгине, думала с ненавистью, и, чем ближе надвигался вечер, тем сильнее разгоралась в ней ненависть и желание чем-то отомстить своему «миленку».

Вечером после ужина Катька ярко наругивала щеки, подвела углем брови, напудрилась, надела три шерстяных юбки, голубую кофту и поверх ее канареечного цвета голянку. Волосы густо смазала маслом и заплела в тугую, негнушуюся косу. Играя бедрами, стараясь казаться обыденно спокойной и веселой, пошла она на поляну за бараки. Было еще рано, на поляне на пенках сидели девки, поджидая гармониста. Прошла толпа парней, горланя несуразную песню. За складами тонко свистел паровозик и в промежутках меж-

ду свистами тяжело пыхтел, будто тащил непомерную тяжесть. Самоплясова долго сидела на поляне, но без гармониста не налаживались «страданья». Темнело. Приходили и уходили девки, частушками заманивая «синпагий». Не дождавшись Якова Семеновича, Катька пошла к складам. По дороге ей встретился Медведев. Она знала, что Медведев живет вместе с Дерюгиным, спросила:

— Кладовщика не видал?

— Видел.

— Иде он?

— Во втором складе что-то делает.

У склада Катька оглянулась — не подсматривает ли кто за ней — и отворила широкую, как полотнище ворот, дверь. Из склада пахло дегтем, запахом свежих корзин и веревок. Над конторкой тускло светилась маленькая электрическая лампочка. За конторкой на высоком табурете сидел Яков Семенович и сосредоточенно писал в толстой книге. Услышав скрип петель, он, морщась и закрывая лодонью лампочку, взглянул на дверь.

— Кто там? — и вдруг заулыбался, соскользнул с табурета.— Вот нежданно... Ох, ты, разлупушка моя, сощурилась?.. Притвори дверь-то поплотнее.

Самоплясова быстро подошла к Дерюгину и плюнула ему в лицо.

— Тыфу, бесстыжие твои бельмы!.. Што ты со мной наделал, паралик тебя расшиби!

Яков Семенович оторопело шархнул в сторону, вынул из кармана красный, в белых горошинах, платок, вытер лицо.

— Што ты со мной наделал? — заплакала Катька, прикинув головой к конторке.— Что мне теперь... Ой, маменька!

— Та-ак-с, — протянул Яков Семенович, — понятно-с... Была дура — дура и осталась. Другая по чести все рассказала бы, а она в морду харкает.

Девка опустила на пол и, охватив руками ножку конторки, стукалась о нее головой, причитая:

— Ой, батюшки!.. Ой, родные мои!.. Ой, что мне делать?..

— Затяжелела? — нагнулся над ней Дерюгин.

— От тебя, сатана проклятая!

— Есть о чем сокрушаться. От этого средств сколько угодно. Я тебя научу — живой рукой все пройдет.

Катька смолкла, подняла голову и пристально смотрела в глаза Дерюгина. Губы ее дрожали, и высокая грудь порывисто поднималась и опускалась.

— Пойдем в уголок, — вон туда... Ну, вставай...

Щелкнул выключатель. В складе сразу стало темно, как в погребке. Яков Семенович, нащупав Катькину руку, помог ей подняться и, прижимаясь к ее груди, зашептал:

— Возьми хины порошков двадцать, а то — тридцать, размешай в горячей воде и выпей. Потом в баню, на полчок, парься, пока силы хватит, и пройдет все. Поняла?

Катька молчала, тяжело дыша.

— Теперь много народу лихорадкой хворает, хину легко достать... Вот и действуй. Ну, что, встала?.. Иди.

Обняв девку, он толкал ее к стене.

Крутов считал себя виноватым перед своими товарищами: они под полящими лучами солнца, в сыром карьере копают торф, а он — самый сильный из них — валяется на койке, ничего не делая. Он слышал, как торфяники, проходя с болота, говорили о невыработке нормы, он видел настороженный и — как ему казалось — неприязненный взгляд старосты и, оправдываясь, говорил:

— Вот, нелегкая, привязалась... Скорей бы опять на работу.

Староста не отвечал, Крутов закрыл глаза и притворялся спящим. Он чувствовал себя ненужным человеком, обременяющим артель.

Иногда утрами, когда торфяники собирались на работу, к его койке подходил Дубков, спрашивал:

— Ну, как — не легчает?

И однажды, превозмогая немощь, Крутов поднялся с постели.

— Пойду, надоело лежать.

Над березняками золотым караваем стояло солнце, и в солнечном свете необычно яркими показались березняки, постройки, трава на поляне и сарайчики торфяных машин на болоте. В солнечном свете лица товарищей попрежнему были грубовато ласковы и близки.

— Ну, пойдем, пойдем, — добродушно улыбался староста... — На работе разомнешься.

Крутов чувствовал слабость, кружилась голова, но он старался идти бодро, не отставать от артели. Как и прежде, он сошел в карьер и на полный штык воткнул лопату в бурю массу, как и прежде, подмигнул Мишке Широкову, — самому слабосильному, — сказал:

— Ну, Мишка, держись.

Но первая же глыба торфа на лопате показалась очень тяжелой, а через полчаса рубаха Крутова взмокла от пота, ослабли ноги, и он, не глядя на работающих, отошел в сторону.

— Отдохну маленько.

Мишка Широков усмехнулся:

— Сдаешь?

Сидя на берегу карьера, ямщик смотрел вниз на земляков, на движущуюся цепь элеватора, слушал пыхтение локомотива, лязг вагонеток, мягкое шлепанье досок, перебрасываемых приемщиками из-под мундштука на вагонетки, стук ножей секаря Митьки, и все эти звуки сливались в одно непрерывное гудение, кружащее голову и вызывающее тошноту. Отдохнув, он спустился в карьер на свою «нивку» — уступ в торфяной залежи — и забрасывал в элеватор сырые, тяжелые куски массы. Его колени дрожали, ныла поясница, но он продолжал работать, напрягая последние силы.

Перед обедом с запада надвинулась свинцовая туча, поглотила солнце: в ней сверкали голубые вспышки молний и глухо рокотал гром, будто за далекими березняками сбрасывали с горы тяжелые камни. Болото потемнело. От березняков полосой шел дождь, похожий на спущенную с неба стеклярусную занавесь. Она приближалась с шипящим шумом.

мом, дымилась у земли водяной пылью, а сверху рвали ее изломанные ножи молний и не могли разорвать. Люди бежали от дождя, разбрызгивая лаптями лужи, громко смеясь и гогоча.

— Двигай к обеду,—сказал староста.

Торфяники быстро пошли к баракам. Крутов шел последним. Ветер и дождь знобили его, он стучал зубами от холода, и мокрое, посиневшее лицо его казалось еще более осунувшимся.

Через день ямщик уже не мог встать с койки. Кто-то позвал бабку Лукерью. Бабка пришла вечером, когда торфяники ушли в столовую ужинать и барак был пуст. Неслышно подошла она к больному и села на койку. Крутов лежал на спине неподвижно, и только грудь его с хрипом поднималась и опускалась.

— В грудях теснит? — спросила Лукерья.

Мужик простонал в ответ.

— Это—Грызнуша... Ну-ка, господи, благослови. — Бабка быстро зашептала, кивая головой: — На горах Афонских стоит дуб мокрецкий, под тем дубом сидят тринадцать старцев со старцем Пафнутием... Идут к ним двенадцать девиц простоволосых, простопоясых. И рече старец Пафнутий...

Шопот старухи походил на шелест опадающих листьев, напоминал осеннее ненастье, и от него тоскливо сжималось сердце, закипала злоба на кого-то. Крутов в трудом приподнялся на койке и тяжелой рукой толкнул бабку в плечо.

— Уйди!

Бабка отшатнулась.

— Уйди, гадюка!.. Не верю я в это!

— Что ты?.. Господь с тобою...

Старуха изумленно и испуганно пятилась от койки, шепча молитву.

Мучась от тоски и непонятной злобы, мужик свесился с койки, нащупал табурет и, напрягая все силы, приподнял его и грохнул о пол. Потом, задыхаясь, откинулся навзничь и долго, как худыми кузнечными мехами, хрипел грудью.

В тот же вечер пришел Копнов и прежде всего обругал старосту:

— Почему доктора не зовешь? Эх, бить-то вас некому!.. Все на авось надеется. Митька, беги за доктором!

— Слышь-ко, Михалыч, — шептал Крутов,—нагнись-ко, шепнуть хочу...

Торфмейстер наклонился над больным.

— Плохо... Дышать не под силу... Слышь-ко... Ежели чего—не оставь... Деньги мои заработанные перешли бабе... Чую — не сдобровать... Сергей Михалыч...

— Ну, ну, запел панихиду, — сурово оборвал Копнов. — Мы с тобой еще на палках потянемся.

Ямщик слабо улыбнулся.

В барак торопливо вошла Мария Васильевна, сунула подмышку Крутова термометр и, завернув рубаху мужика, начала ослушивать его широкую грудь. Мужик стыдливо закрыл глаза.

— Повернись спиной.

Ямщик повернулся на заскрипевшей койке.

Ослушав больного, Мария Васильевна хотела взять термометр, но Крутов, тоскливо смотря на доктора, попросил:

— Подожди, не бери палочку, с ей легче мне.

— От палочки не поможет, а вот собирайся-ка в больницу... Ну-ка, кто-нибудь отведите его.

Подошли Мишка Широков и староста. Дубков, улыбаясь, мягко заговорил:

— Снаряжайся, Ванька, в больницу тебя в два дня справят.

Крутов послушно натянул сермягу и, прежде чем отойти от койки, окинул взглядом барак, свой зеленый, обитый светлыми жестяными полосками сундучок, пестрое, сшитое из ситцевых лоскутков одеяло и тихо сказал:

— Прощайте, братцы... Ты, Мишка, присмотри за именем...

— Ну, шагай, шагай, — сурово-ласково понукал староста.

Выходя из барака, Копнов спросил у Марии Васильевны:

— Что с ним?

— Воспаление легких... Говорят, он совсем больным на работу пошел, под дождь попал — и вот результат.

Впереди, наклонив голову, тяжело и медленно шагал Крутов. Дубков и Широков поддерживали его с обеих сторон. Ямщик был на целую голову выше их, казалось: маленькие людишки пленили великана и ведут его, израненного и беспомощного.



Вера Курганова несколько дней не видала Шахрая, а сегодня она узнала, что Шахрай болен, и весь день думала о нем.

«Лежит, должно быть, одинокий в своей комнатке, и некому его навестить... Надо сходить к нему... и кстати поговорить с ним обо всем...»

Но, когда Вера увидела техника в постели с похудевшим и пожелтевшим лицом, она вдруг почувствовала странное смущение и решила в этот вечер не расстраивать больного.

— Вера!.. Вот спасибо, что навестила. Я сейчас всгану. Выйди на минутку.

— Лежи, лежи, что еще за глупости.

Пододвинула к постели табуретку и села.

— Ну, как?

— Малярия. Четвертый день лежу.

— А на болотах что делается — беда. Мария Васильевна и фельдшера с ног сбились.

— Смертных случаев нет?

— Ну, что ты!.. Конечно нет. А больных больше сотни.

Шахрай устало закрыл глаза. При свете электрической лампочки его лицо на белой наволочке подушки казалось постаревшим. Небритые щеки сильнее оттеняли худобу. Вере вспомнилось лицо Шахрая в тот вечер, когда, нагретые за день, теплыми были кусты, когда болото курилось туманом, мерцали в небе звезды... Как не похож он сейчас на прежнего, веселого и бодрого Шахрая. Вера почувствовала жалость к больному и ласково погладила его руку.

— Я давно навестила бы тебя... Я не знала, что ты болен, думала уехал в командировку.

— Спасибо, Вера, я так рад, что ты пришла. Ты ведь знаешь, как я люблю тебя.

— Не надо сейчас говорить об этом.

— Ты в последнее время странная какая-то, будто сердиться на меня.

— Вовсе нет, просто занята работой.

— Может быть, я обидел тебя?

— Чем?

— Ну, помнишь... тогда вечером.

Шахрай приподнял с подушки голову и пристально смотрел на девушку.

Преодолевая смущение, Вера заговорила притворно строго.

— Пожалуйста лежи... А то я сейчас уйду. Вот честное комсомольское слово... Хину пьешь?

— Пью, — тускло сказал Шахрай.— В ушах от хины шум и голова какая-то пустая. — На лице его скользнула бледная улыбка. — А в бараках пьют хину?

— Пьют. Сначала отказывались, а теперь сами просят.

— Больше женщины?

— Да, больше женщины. В этом они оказались сознательнее мужчин. Мария Васильевна уже опасается: хватит ли хины.

— А тебе известно, для чего девки берут хину?

Вера покраснела.

— Слышала в бараках, только не верю этому... Чепуха.

— Не чепуха, а правда.

— А если правда, так ведь это же безобразие! Мария Васильевна каждый порошок считает, а тут...

— Она-то должна бы знать... Ты предупреди ее.

— Меня удивляет эта распушенность на торфоразработках. Как с этим бороться?

— Культурно-просветительной работой.

— Знаю!.. Да ведь «страдания» милее им...

— Организуй лекции для женщин. Пусть доктор расскажет им об аборте, о физиологии женщины. Выпиши диапозитивы, кинофильмы, сделай так, чтобы все это было бы интереснее «страданий».

Вера раздраженно тряхнула головой.
— Знаю!.. Легко тебе говорить. Сра-
зу их психику не переделаешь.

— Постепенно, сразу ничего не де-
лается.

Шахрай опять улыбнулся.

— Любовь, молодость... Разве зна-
ешь, когда придет любовь?

— Тут не любовь, а распутство.

— Ну, это не совсем верно. Распут-
ных женщин на болоте единицы, по ним
нельзя судить о всей массе.

Вера вспомнила Лушу Бокареву и
мысленно согласилась с Шахраем: по
единицам нельзя судить обо всех. Луша
хорошо учится в школе малограмотных
и после занятий часто заходит к ней в
комнату. Они читают Некрасова и по-
долгу, как подруги, беседуют о дерев-
не, городах, строительстве, о старом и
новом быте. Бокарева хорошо поет ста-
ринные песни. Ее мать была знамени-
тая «плакальщица», ходила «причитать»
по умершим, знала множество старин,
духовных песен и сказок. От нее Луша
и научилась петь. Но любовь к стари-
не не мешает Бокаревой по-новому ус-
траивать свою жизнь,—торфяница уже
не ходит на «страданья» и мечтает
уехать в город, работать на заводе и
учиться. Кургановой захотелось расска-
зать об этом технику, но он неожиданно
положил свою руку на ее колено и тихо
сказал:

— Вера, а ты мне ничего не ответила
в тот вечер.

Девушка нахмурилась.

— Честное, слово, я уйду, если ты
заговоришь об этом. Вот поправишь-
ся—обо всем поговорим, а сейчас не хо-
чу.

— Вера.

— Что ты меня злишь?

Шахрай замолчал, иронически усмех-
нулся.

— Пожалуйста не дуйся!.. Давай
пить чай. Где у тебя чайник? Я схожу
за кипятком. Ну, что же ты не отве-
чаешь? Слышишь, Шахрай?.. Да ведь
это же...

Вера порывисто поднялась с табуре-
та и, сухо простучав каблучками по по-
лу, выбежала из комнаты...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Медведев, ежедневно встречаясь с
Лушей, с каждым днем сильнее при-
вязывался к ней. И все чаще прихо-
дила к нему мысль жениться на этой
девушке. Он представлял будущую
свою жизнь крепко налаженной, напол-
ненной трудом и семейными радостями.
Он не уедет с Красных гор, ему обеспе-
чена служба и после окончания строи-
тельства. «Согласится ли Луша? —
задавал себе вопрос Алексей Петрович
и, не колеблясь, отвечал:—Согласится.
Разве в деревне лучше? Со мной она
будет читать, учиться и через несколь-
ко лет не узнаешь в ней торфяницу».

Почти каждый вечер Медведев ухо-
дил на берег Дикого озера и ждал там
девушку. Он слышал, как гудок возвещал
окончание работ на болотах, он
представлял себе, как Луша приходит в
барак, моется, переодевается в чистую
рубашу, новую юбку и занавеску,ужи-
нает в столовой, потом торопливо идет
к нему на берег озера. Приходит она
всегда по одной и той же тропинке,
пробитой в пышных мхах, и он смотрел
на эту тропинку, ожидая, что вот-вот
в густой зелени мелькнет ее красная юб-
ка и голубая занавеска. Луша подходи-
ла быстро, неслышно ступая лаптями
по мягкой земле. Ее походка была осо-
бенная: девушка мелко переступала но-
гами, колыхала бедрами и высокую, не-
тронуемую грудь гордо выставляла впе-
ред. Девушка издали улыбалась, а по-
дойдя, говорила просто:

— Заждалси ты меня, позадержал-
ся я...

Садилась рядом, доверчиво прижима-
ясь к его плечу.

Однажды Медведев спросил ее:

— Вот кончится сезон, что ты бу-
дешь делать?

— В деревню уеду... Чего же еще?

— А потом?

— Весной — опять на болото, если
замуж не выйду.

— А ты собираешься замуж выхо-
дить?

— Выдадут, — вздохнула девушка.—
У нас в деревне не засиживаются. —

Помолчав, сказала тихо: — Отец в дом хочет парня взять.

— Как в дом?

— Братьев у мене нет, сестренки две с отцом живут... Работников нету. Ну, вот какой-нибудь бедняк женится на мне и в нашей избе жить будет. — Опять помолчала и опять сказала тихо: — А мне на фабрику хочется. Вера Курганова хорошо про фабрики рассказывает. Там не по-нашему живут.

— Выходи за рабочего замуж и на фабрике жить будешь.

— Иде уж нам, — усмехнулась Луша. — Гулять с торфушками — гуляют, а жениться — не больно женятся.

— А пошла бы?

— За хорошего человека отчего не пойти.

— Вот за меня пошла бы?

— Ну, ты не смейся, — нахмурилась девушка и отодвинулась от Медведева.

— Я правду говорю.

Девушка пристально посмотрела на Алексея Петровича и поднялась с земли.

— Пойду. Обещалась ноне к Вере зайти.

— Что же ты мне не ответила?

— Чего?

— Пойдешь за меня замуж?

— А ну тебя! — досадливо бросила горфяница и быстро зашагала по тропе. В ее голосе, твердой и быстрой походке чувствовалась невысказанная обида, и было понятно Медведеву, что Луша не поверила в искренности его вопроса и подумала, что он насмехается над нею.

На следующий день девушка не пришла к Дикому озеру. Поздно вечером Алексей Петрович встретил ее около клуба. Она неторопливо шла к баракам.

— Луша! — окрикнул Медведев и пошел с ней рядом. — Что же ты вчера на озеро не приходила?

— А ты что надо мной смеешься?

— Я не смеюсь. Почему ты не веришь мне? Разве я когда-нибудь обманул тебя?

— Чудно, — усмехнулась горфяница, — ни с того, ни с сего — жениться. Разве тебе такую жену надо?

— Мне лучше знать, какую надо... А вот если ты хочешь изменить свою жизнь по-новому, работать и учиться, я всегда буду помогать тебе... Приходи завтра к Дикому озеру, и мы обо всем поговорим.

Алексей Петрович остановился. Луша, наклонив голову, продолжала медленно идти к баракам.

Откуда-то неожиданно вынырнул Дерюгин и по-петушину, бочком, подскочил к Медведеву.

— Поругались с девичей-то?.. Хи-хи-хи... Ишь, пошла и не оглянулась, — с норовом. Напрасно от меня ее отбивали, я бы все-таки своего добился. Не таков я человек, чтобы с первого отпора отступать.

Медведев тупо посмотрел в лицо Якова Семеновича и, не отвечая, зашагал к дому. Кладовщик не отставал от него, продолжая говорить:

— Вы не обижайтесь на меня. Я попросту говорю, как думаю, так и говорю. Хитрить не умею... Я сегодня в расстроенных чувствах. Беда на меня надвигается. Что делать — ума не приложу... И так все это неожиданно...

Дерюгин старался итти в ногу с Медведевым, но шаги его не совпадали с шагами Алексея Петровича, и часто кладовщик припрыгивал и мелко семенил ногами, пытаясь поймать утерянный ритм шага.

— И так все неожиданно, так неожиданно... И посоветоваться не с кем. Ближе вас у меня здесь человека нету. С вами я под одной крышей живу. Посоветуйте мне, как беду мою от меня отвратить. Разрешите к вам заглянуть на минутку.

— В чем дело? — недружелюбно спросил Медведев.

— Дома скажу-с... О таком деле на улице не говорят. Не откажите.

— Хорошо, заходите, — согласился Алексей Петрович и тут же пожалел об этом: после того вечера, когда Луша убежала из перелеска от Дерюгина, неприятен был кладовщик Медведеву.

До конторы шли молча. Дерюгин часто вздыхал, тихо и непонятно шептал

что-то. Алексею Петровичу показалось, что кладовщик пьян. В комнате, щелкнув выключателем, Медведев внимательно оглядел Дерюгина. Толстые губы Якова Семеновича были влажны, глаза мутны, на лбу мелким бисером выступили капельки пота.

Кладовщик положил свою фуражку с засаленным суконным козырьком на постель, отчего Алексей Петрович брезгливо поморщился, сел на табурет около стола, усмехнулся.

— Морщитесь?.. Заметили, что я выпимши... Да-с, выпимши и поверьте: первый раз в жизни. Думал, горе мое заглушу, а оно сильнее наружу лезет. Кричать о нем хочется. Не вам, так другому кому рассказал бы. Не удержать мне горя моего.

— Говорите скорее, что случилось, — уже поздно, пора спать.

— За что вы меня не любите? — развел руками Яков Семенович. — За Бокареву если, так это не вам, а мне обижаться следует: вы ее у меня отбили... А я терплю... «Нет, так не надо — другую найдем» — помните, как ухарь-купец поет... Эх, песни, песни, не до вас уж теперь! Верьте совести: петь бросил, больше недели пением не услаждался... Тоскливо, куда ни посмотри — везде тоскливо. Жизнь везде одинаковая стала, скушная жизнь. На одном теперь люди помешались — на стройке. Куда ни поехай — везде строят. А что толку? Вот хотя наше место взять: ну, строят электростанцию, ну, построят ее, ну, фабрики новые недалеко построят, ну, в деревнях вместо коптилок электрические пузырьки засветят — да разве в этом суть жизни? Для души-то где здесь успокоение и радость? Буйству-то где тут разгуляться? По стройкам, что ли, — так ногу сломишь... Вот разбойники-то все перевелись, настоящих-то праведных разбойников нет уже и не будет... Вот вы на меня смотрите и глазки щурите, в роде как бы брезгуете мной, а души-то моей вы не видите... И все так... А в душе-то, может быть, я герой, каких на свете не бывало, может быть, мечта моя разбойником праведным быть, с посвистом да петухом

красным помещиков грабить, в лесу у костра песни петь... Такие песни, чтобы деревья от жалости сотрясались... Можно это теперь или нельзя?.. Вот то-то и оно!.. — На глазах Дерюгина блеснули слезы. — Опоздал я родиться, годиков на сто поране бы — наделал бы я делов. Набрал бы в Гуслице товарищей верных и загулял-загудел бы на всю Россию-матушку... А в наше время и думать об этом нельзя, в наше время и России-то не осталось... Сейчас, сейчас, не торопите, сейчас о горе своем скажу...

Яков Семенович налег грудью на крышку стола и шопотом выдохнул:

— Ребеночка жду.

— Какого ребеночка? — машинально спросил Медведев.

— Санька подвела... В прошлом году на Толокновском болоте она работала. До ноября месяца там жила. Рамки-то все в конце сентября раз'ехались, а она уборщицей осталась работать. Ну, вот я с ней и побаловался, да неудачно: забеременела она. В деревню уехала, хотела там что-то сделать и обманула. Ничего не сделала, беременная на Моховое болото приехала...

— Что вы пустяки говорите, — прервал кладовщика Медведев, — всех женщин по приезде на болото осматривает доктор, и беременных на работу не принимают.

— Ой, насмешил! — всплеснул руками Дерюгин и, не улыбаясь, пылливо посмотрел в глаза Алексея Петровича. — Да разве трудно доктора обмануть. Выкрикнули по списку Саньку, а вместо нее другая девка вышла. Все они одеты одинаково и одна на другую похожи... Ее и сейчас не разберешь, что она беременная: перетянет живот веревками, наденет четыре юбки и ходит, как миленькая... А уж ей срок приходит. Грозит она алименты с меня взыскать, осрамит на все болото, свидетелей уж подыскала. Может, и ложно, а все же свидетельствовать в ее пользу будут... Вот беда-то! Денег набрать бы согни две, сунуть ей, и уехала бы она... Она дура, — ее на все уговорить можно. Сто четырнадцать рублей у меня име-

ется. Не одолжите ли вы мне сотенку. Уплачу с благодарностью...

— Убирайтесь-ка вы отсюда! — Медведев привстал с табурета и сурово сдвинул брови. — Ваши гадости я прикрывать не желаю, и никогда вы мне о них не говорите... И ко мне в комнату больше не заглядывайте...

Дерюгин отшатнулся от стола, приподнял руки, как бы защищаясь от удара, потом, убедившись, что бить его не будут, осторожно взял с постели свою фуражку и отошел к двери.

— Простите Христа ради — прогневал я вас... А насчет Саньки-то не верьте — выдумал я... Узнать хотел, можно ли на вас в беде положиться... Не было Саньки, ничего не было... И совсем про другое сказать вам хотел. Торфяники шумят в бараках, завтра на работу не хотят выходить, расчет гребовать будут. Помер ночью вечером Крутов из дубковской артели, ну вот и струхнули... Всех, говорят, лихоманка прикончит. Есть там смутьяны... Ну, спокойной ночи, приятного сна. Не обесудьте.

Яков Семенович отворил дверь и бочком неслышно вышел из комнаты.

Медведев долго не мог заснуть, думал о Луше, о завтрашнем свидании с ней, о смерти силача Крутова и о необычайном посещении Дерюгина.



Утром шесть артелей не вышли на работу. Торфяники собрались около мужских бараков и расселись кучками на пожелтевшей, выжженной солнцем поляне. Высокий, сухой сезонник с бельмом на левом глазу переходил от одной кучки к другой и, размахивая длинными руками, кричал:

— Затасшили нас на погибель!.. Вся болота заражена... Лихоманка людей валит. Много ль в артелях народу осталось?.. Расчет давай! Кончай работать!

Кое-кто из сидевших на земле коротко выкрикивал:

— Расчет!

— Кончай работы!

— Копнова сюда!

Другие угрюмо и молча смотрели за бараки, на изрезанное карьерами болото.

Пришел старший десятник и, стараясь казаться обиденно спокойным, спросил:

— Что случилось? Почему на работу не пошли?

Поляна, как сухой костер, встыхнула ругательствами и криками:

— Гони его!

— Пушай Копнов приходит — с ним говорить будем!

— Готовь теплушки — уезжаем!

Мимо бараков шла на болото «рамка» бабки Лукерьи. Несколько парней бросились к девкам и, вырывая из их рук корзины, злобно говорили:

— Не ходи на работу!

— Садись с нами.

Лукерья не отдавала своей корзинки, ухватившись за нее обеими руками, хрипела:

— Уйди, разбойник!

— Отдай, — настойчиво требовал парень.

— Уйди, нечистый!.. Ох, братики!..

Парень, перекосив губы, рванул корзинку, и бабка с размаху хлопнулась на землю. Ошеломленная, некоторое время лежала неподвижно, потом медленно приподнялась и села. Трясущимися руками она опраивала сбившийся повойник, ее лицо жалко сморщилось, а из глаз закапали мелкие слезинки.

— Пошто бабку обижаешь?! — крикнули из толпы, и парень, все еще возбужденно и тяжело дыша, мирно ответил:

— А што она не отдает.

— Сладил, леший.

Лукерья встала с земли, отряхнула с паневы пыль и негромко сказала:

— Пойдемте, девки, что на них, озорников, глядеть.

Торфяницы подняли разбросанные корзины и пошли за бабкой. Их никто не остановил.

Десятник спросил одного из старост:

— Что машину бросил, Иван Матвич?

Староста, — рыжебородый мужик с медно-красным веснушчатым лицом, — отводя в сторону глаза, ответил:

— Артель не работает, и я не работаю.

— Причина-то какая?

— А вот их спроси.— Рыжебородый кивнул на бараки.

Сезонник с бельмом на левом глазу, обходя сидящих и лежащих на поляне торфяников, быстро, зигзагами, двигался к десятнику и издали кричал:

— Не пойдем работать! Никто не пойдет! Расчет давай! Вся болота заражена лихорадкой. Всех скрючит, вон, как его!.. Вон посмотри.

Он протянул длинную руку и корытым, темным пальцем показывал на молодого парня в коричневой сермяге. Парень сидел согнувшись, засунув в рукава кисти рук, и мелко дрожал. На его сером, болезненно-худом лице лихорадочно блестели большие выпуклые глаза. Он часто смежал тонкие синеватые веки, будто тушил горячий блеск темных зрачков и не мог затушить его. Нижняя челюсть парня прыгала, и зубы сухо и дробно стучали. Пытаясь остановить этот дробный стук, он сжимал челюсти так, что на скулах вспухали желваки, но очень быстро желваки пропадали, будто таяли, и снова щелкали зубы.

— Вот посмотри!.. Вот до чего довели. Можно тут работать? А в бараках что делается! Ты в бараки загляни. Не будем работать! Расчет готовы! Копнова давай сюда! Он нас нанимал — с ним и толковать будем!

— Копнова! — подхватили десятки голосов.

— Копнов уехал на разведку, вернется завтра вечером.

Ничего не добившись, десятник ушел.

Торфяники постепенно разбредались по баракам и там валялись на койках, пили от нечего делать чай, играли в карты, а некоторые собирали в сундучки и мешки свои вещи, готовясь к отъезду.

В парткоме на экстренном совещании было решено провести вечером общее собрание торфяников. За Копновым послали нарочного с наказом во что бы то ни стало разыскать торфмейстера.



Может быть, потому, что вышел Копнов из среды торфяников и сам с детства работал «на торфу», многие годы скептически относился он к механизации добычи торфа. Ему казалось, что самая добросовестная и продуктивная машина — это артели рязанских торфяников. И везде, — на каких торфоразработках ни служил Копнов — количество и качество добываемого торфа зависело почти исключительно от опытности и продуктивности артелей. «Да и что здесь можно сделать? — думал Сергей Михайлович, смотря на глухие болота. — Какую машину придумаешь, чтобы она отбирала пни, а массу забрасывала в пресс? Чем заменишь вагончики и стлбщиков? Как облегчишь труд женщин?» — Он знал, что и сами торфяники уверены в том, что их труд ничем заменить нельзя, и уверенность в этой незаменимости крепко спаивала членов каждой артели и артели каждого болота.

До революции на торфоразработках работали по навыкам и методам, установившимся десятилетиями, и лишь после Октября, когда за временным затишьем семнадцатого и восемнадцатого годов торфяная промышленность начала быстро развиваться и в 1921 году уже превысила довоенный уровень, старые с большой трудоемкостью способы добычи торфа оказались несостоятельными. Приходилось спешно улучшать и изменять их или изобретать новые. 21 апреля 1918 года Совнаркомом был издан декрет о создании Главного торфяного комитета, и вскоре научно-технический отдел Главторфа приступил к работам по исследованию торфяных залежей, усовершенствованию некоторых способов торфодобычания и использованию торфа в разных направлениях. В 1921 году на болоте «Галицкий мох» начались работы по организации торфяной опытной станции, а весной 1926 года был организован научно-исследовательский институт—Инсторф.

Копнов из глухой провинции следил за развитием молодой науки о торфе. Он читал все, что печаталось о ней в

газетах, журналах, брошюрах и отчетах Главторфа. Его волновало и казалось особенно ценным то, что Советская страна первая поставила ряд торфяных проблем и настойчиво трудилась над их разрешением. В то время как нефтяная и каменноугольная промышленность заимствовала новейшие заграничные достижения в области добычи, транспорта и использования каменных углей и нефте-торфяной промышленности почти нечего было взять за границей, и перед Инсторфом стояли задачи огромнейшей трудности. Нужно было создать методу изучения природы торфа, как для разработки его на топливо, так и для извлечения из него разных продуктов; нужно было всесторонне изучить природы торфяных залежей, по-новому организовать торфяное хозяйство, разработать и проверить наиболее совершенные технические и выгодные экономически способы добычи и наконец организовать работы по рационализации сжигания и использования торфа — и все полученные достижения внедрять в практику торфяной промышленности.

Сергей Михайлович, внимательно следя за работой Инсторфа, применял на своих болотах все, что можно было применить из достижений научно-исследовательского института.

Прибыв на Моховые болота, Копнов хотел по последнему слову техники наладить торфяное хозяйство. Машинно-формовочный способ добычи торфа казался ему далеко несовершенным, слишком дорогим и трудоемким, и все же начать работу на новом болоте можно было только элеваторными установками. Работая по-старинке, Копнов готовил болото к новому. На втором участке за Белым озером подготавливались поля для добычи фрезерного торфа. На фрезерный торф возлагались большие надежды, предполагалось, что этот способ добычи будет наиболее дешевым и что его можно целиком механизировать.

В тот день, когда шесть артелей бросили работу, Копнов ушел с торфоразработок. Ему хотелось посмотреть на

подготовку второго участка, потом пройти на разведки, которые производились разведочной партией в шести километрах от Безымянного озера.

Рано утром Сергей Михайлович вышел из своей квартиры и, неторопливым шагом обойдя Дикое озеро, направился к Белому. Солнце поднималось из-за Волчьей Гривы, и голубой воздух, недвижимо застывший над землей, был по-ночному свеж. На траве и мхах крупным бисером рассыпалась роса; там, куда падали теплые пятна солнечного света, роса быстро таяла, и вскоре над землей закурилось марево и за ним дрожали далекие перелески, заросли камыша, зеленовато-бурые кочки.

Скоро Копнов вошел в редкий сосняк. Невысокие чахлые сосенки умирали в неравной борьбе со мхом. Мох толстым одеялом окутал землю, задерживая влагу, не пропуская к корням воздух. Кое-где на полянках и под сосенками пышно разрослись кусты гонобобеля и баговника. Несколько раз недалеко от Сергея Михайловича с тревожным квохтаньем срывались тетерки и, шумно хлопая крыльями, мгновенно исчезали. Копнов с загоревшимися глазами смотрел на птиц, чувствуя, как возбужденно бьется его сердце и охотничьей дикой страстью наливается тело. Потом, успокаиваясь, срывал с куста сизые ягоды гонобобеля и медленно жевал их.

Терпко и дурманно пахло баговником, и этот запах, глубокие мхи, птицы, погибающий чахлый лесок говорили о нетронутой еще первобытности. «Что будет здесь через два-три года?» — подумал торфмейстер и вспомнил грандиозные Шатурские торфоразработки, разбросанные на местах, где еще недавно была такая же, как и здесь, глушь. Этот чахлый лесок и мхи до мельчайших подробностей напомнили тот вечер, когда он ехал на моторной дрезине от Шатуры до Соколей горы.

Копнов присел на пышную кочку, закурил и, вдыхая запахи табака и моха, закрыл глаза, мысленно пробегая путь по Шатурской узкоколейке.



Медленно проплыло огромное здание электростанции с тремя эстакадами, по которым стальные тросы поднимали вагонетки, груженные торфом, слева куском голубого неба, упавшего на землю, сверкало Черное озеро, справа застыло озеро Муромское. Над ним летали белые чайки. За озером и по обеим сторонам узкоколейки—зеленые березняки и бурая поверхность торфяного массива, изрезанная валовыми и картовыми канавами. И только эти березняки, пахнувшие свежестью, напоминали Копнову о недавнем, но кажущемся таким далеким, прошлом, когда здесь были непроходимые места, дичье царство. А все остальное — желтая насыпь узкоколейки, моторная дрезина, высокие столбы с проводами, по которым бежит ток высокого напряжения, — говорили о новом, о колоссальной проделанной работе, о мощи и воле рабочего класса.

Дрезина сердито гудела, подталкивая спереди платформу с тяжелыми моторами и таща сзади прицепную платформу, груженную лесом.

Темная туча широко распласталась на западе, в ней изредка вспыхивали бледные молнии и глухо рокотал гром. Справа уходили в лиловую синь вечера и сливались на горизонте с тучей огромные пространства торфоразработок. Тысячи — а может быть, десятки тысяч — столбов в строгом порядке стояли на бурой земле, раскинув над ней тугие струны проводов. На темнеющем небе допотопными чудовищами маячили гидравлические и пеньевые краны. Они подняли вверх железные шеи и как бы слушали перекаты грома и между ними влажную тишину июньского вечера. Изредка железные шеи медленно поворачивались, наклонялись и снова замирали. Было похоже: у озер пасутся медлительные ихтиозавры и динозавры и что только они могучие властелины этих болотных пространств. Смотря на них, Копнов думал о гидроторфе и о том, что этот способ торфодобычания всецело разработан группой русских инженеров в тяжелых условиях военного времени и в первые годы революции. За отсутстви-

ем железа целые машины приходилось изготовлять им из дерева вручную. Скептики говорили, что из нового изобретения ничего не выйдет, что это лишь трата времени и средств. Изобретатели во главе с Классоном доказали полную возможность работ по новому способу.

На следующий день Копнов вместе с заведующим участком ходил по торфоразработкам. Они начали осмотр гидроторфа с «Ярмоло-озера», около которого под навесом стояли три насоса низкого давления, приводящиеся в движение моторами.

Сергей Михайлович все, что казалось ему интересным, заносил в свою записную книжку, и на этот раз он записал:

«От озера до «насосной» прорыт канал в 200 метров длины и 4 метра ширины. Из этого канала насосы ежечасно берут 1.200 кубометров воды и по двум широким трубам подают ее в распределительную канаву. Канавы тянутся на 1.200 метров, потом сворачивает под прямым углом и снова на полкилометра разрезает торфяной массив. От «распределительной» идут водоподводящие канавы, по одной к каждому крану. На каждой водоподводящей канаве установлена своя «насосная», нагнетающая воду под давлением до 25 атмосфер. Вода сначала бежит по железным 8- и 5-дюймовым трубам, потом по гибким рукавам доходит до брандспойтов и вырывается из мундштуков широкими струями в 10 атмосфер давления».

Сергей Михайлович внимательно и долго смотрел на торфососный кран, грузно стоящий на рельсах, потом залез на его платформу и осмотрел растиратель и четыре мотора. Один из них приводил в движение механизм, поднимающий и опускающий торфосос, два обслуживали торфосос и растиратель и четвертый служил для передвижения всей установки.

По обе стороны крана у брандспойтов стояли двое рабочих, одетые в брезентовую одежду и сапоги, и, держась обеими руками за рукоятки, направляли стремительно рвущиеся струи в карьер. Вода с хлопаньем и свистом размывала глян-

цевито поблескивающую торфяную залежь, ударяясь о пни, вздымала облака брызг. Торфосос, подвешенный к движущемуся крану, походил на исполинскую морду допотопного чудища. Опустившись в карьер, он жадно пил темно-бурую жидкость. Рядом с ним на отдельной платформе вращал железной шеей пеньевой кран. На его конце привешены массивные челюсти грейфера; размыкаясь, они захватывали пни, выдирали их и складывали в огромные кучи.

Заведующий участком, считая Копнова новичком в торфяном деле, подробно объяснял:

— Работаем мы в три смены, день и ночь. Норма производительности крана в сутки равна трем тысячам кубометров залежи или тремстам тоннам воздушно-сухого торфа. Это в четыре раза больше того, что может дать машинно-формовочная установка при работе на ней двух смен. В действительности же мы превышаем норму. Были дни, когда кран № 12 давал 5.865 кубометров залежи... Теперь пройдемте дальше. От кранов гидромасса поступает в аккумулятор— круглый котлован, диаметром около пятидесяти и глубиной до двух метров. Емкость котлована — 5.000 кубометров.

Сергей Михайлович записал все цифры.

Аккумулятор до краев был наполнен густой и темной, похожей на нефть, гидромассой. В центре котлована на деревянном помосте установлены три насоса. Они выкачивали гидромассу и нагнетали ее по магистрали—железной трубе в три четверти метра диаметром — на поля разлива.

— Магистраль тянется на четыре километра, — говорил заведующий. — Если же подача массы производится на большее расстояние, то в 2—3 километрах от аккумулятора мы ставим вспомогательный насос, «толкач». По обе стороны магистрали лежат поля «разлива», подготавливаемые года за два. Подготовка полей заключается в сводке леса, корчевке пней, рытье канав и в полировке, то есть в мотыжке, уборке хвороста, баговника и в тщательном разравнивании

площади. Поля разлива разделены на «карты» размером 300 на 25 метров. Каждая «карта» окружена канавкой и валиком.

По магистрали, как по железной спине сказочного морского змея, Копнов дошел до «разлива». Рабочие, одетые в сапоги, брезентовые куртки, штаны и рукавицы, переносили отдельные куски трубопровода и укладывали их на «карте». Они работали торопливо и споро. Молодой парень, забрызганный с головы до ног ржавыми пятнами торфяной жижи, кричал в трубку походного телефона:

— Скоро будет готово! Минут через десять!.. Да! да, через десять минут.

Потом, отложив трубку, повернулся к работающим:

— Торопись, ребята... На Кобелевском участке в одном месте трубу провало, и массу пустили в наш аккумулятор.... Скоро он будет переполнен.

Железный трубопровод быстро нарастал, и, когда он был тщательно уложен, парень опять схватил трубку и прокричал:

— Готово! Давай!

Прошло немного времени, и из щелей между фланцами трубопровода брызнули фонтаны бурой жидкости. Очень скоро они уменьшились и совсем прекратились, гидромасса залепила все отверстия и широкий поток хлынула из конца трубы. Масса разливалась по «карте» ровным слоем толщиной в 250 миллиметров. По мере того, как заполнялась «карта», рабочие откатывали трубы, пока «разлив» ни подошел вплотную к магистрали.

— Стой! Прекрати! — прокричал в трубку телефона парень.

Один из рабочих закрыл заслонку у крестовины.

Залитая «карта» напоминала темное, отполированное зеркало.

Заведующий пояснил, что гидромасса будет подсыхать дней семь-восемь, после чего начнут цапковать торф. Цапкование торфа Сергей Михайлович видел недалеко от поселка. На каждой подсохнувшей «карте» восемь девушек, выстроившись в строгую прямую линию, медленно пятились, взмахивали цапками —

легкими железными лопаточками, насаженными на длинные рукоятки, — разделяя сплошной покров торфа на куски и одновременно переворачивая их.

Спутник Копнова продолжал свои объяснения:

— Цапкование считается наиболее трудной работой на гидроторфе. Постепенно эта ручная работа заменяется машинной—формирующим автомобилем специальной конструкции. Автомобиль не только разделяет горфяную массу, но и формирует кирпичи определенной формы. Автомобиль с шофером и помощником в течение восьмичасового рабочего дня обрабатывает 20.000 квадратных метров, что соответствует 200 тоннам воздушно-сухого торфа. Формование торфа машинным способом обходится вдвое дешевле цапкования... Цапкованный торф подсыхает дней восемь, после чего складывается в шестерки и по истечении 8—12 дней — в клетки, в которых лежит от 12 до 15 дней. Весь период сушки гидромассы в зависимости от погоды колеблется между 40 и 60 днями. Сухой гидроторф, как и машинно-формовочный, складывается в штабелы.

Ночью Копнов стоял у клуба на краю суходола. Суходол был похож на остров, вокруг которого темным морем расплеснулись торфоразработки. Ночь прикрыла их тьмою, рассыпала над ними звезды, и под звездами, так же, как и в полдень, шла работа. Сергею Михайловичу захотелось посмотреть на гидравлические краны, и он спустился с суходола вниз и дошел до «Ярмолозера». Шум воды, вытекающей из труб в распределительную канаву, был слышнее, чем днем, и, как будто, напряженнее и громче гудели моторы насосной.

Железные сооружения кранов были залиты электричеством. Два прожектора бросали широкие снопы света в карьер. Серебряные струи воды, вырывающиеся из брандспойтов, размывали залежь. В голубом электрическом свете водяная пыль и брызги сверкали перламутром. Рабочий в брезентовой одежде, будто вылитый из бронзы, стоял на краю карьера и, ссутулясь, поворачивал за ру-

коятки брандспойт. Яростная струя, повинувшись движениям рук, била в рыхлую массу, будоражила и вспенивала воду карьера, шипела, свистела, хлюпала.

Необычно это зрелище—ночь, звезды, тысячелетнее болото и на нем железные чудовища, полосы и пятна голубого света—напоминали Копнову феерию или кадр из фантастического кинофильма. И во всем—в машинах, в напряженных позах людей у брандспойтов, в рокоте моторов — почувствовал старый торфмейстер ритм новой жизни и надвигающуюся коренную ломку старых способов добычи торфа. Взволнованный, он до рассвета бродил по Соколей Гриве, проходил мимо аккумулятора, темных силуэтов людей, при свете фонарей «летучая мышь», разливающих на «картах» гидромассу, и под смолевыми шатрами сосед на краю суходола долго смотрел на темное, рассвеченное тусклыми и яркими огнями, пространство болот. Над ними курились туманы. В туманах яркие электрические фонари казались одуванчиками с золотой сердцевинкой. За болотами на горизонте сверкало и переливалось созвездие огней—Шатурская станция имени В. И. Ленина, первенец советской электрификации.



Папироса потухла в толстых пальцах Копнова. Он бросил окурочек и продолжал сидеть на моховой кочке, вспоминая Соколей Гриву. Как будто вчера вернулся он из поездки, — так выпукло и ярко врезалось в памяти все виденное там: железные чудовища-краны, змеи трубопроводов, котлован с темной гидромассой, размывающая карьер струя воды, напор которой так силен, что может убить человека. И люди свежо сохранились в памяти: суетливый заведующий участком, принявший Копнова за сотрудника уездной газеты, молодой парень с трубкой походного телефона, моторист на дрезине. И знакомое волнение, которое испытал торфмейстер, смотря ночью на работу гидравлического крана, снова охватило его. Сергей Михайлович тяжело поднялся с кочки и торопливее пошел к участку № 2. Он ду-

мал, о том, что вот всю эту площадь, простирающуюся на многие километры к северу от Безымянного озера, было бы хорошо превратить в механизированные торфоразработки. Там, где лежат небольшие, неимеющие названий озера, можно установить гидроторф, а западнее, где уже началась подготовка полей на участке № 2, — организовать на большой площади добычу фрезерного торфа. Участок № 1 будет давать машинно-формовочный торф. От этого трудоемкого способа торфодобычания нельзя отказаться в течение ближайших лет. Можно вводить новшества, облегчающие труд торфяников: коленчатые элеваторы, транспортеры и другие.

Восхищаясь пылкостью и упорством человеческой мысли, постепенно заменяющей труд людей машинами, Копнов в то же время чувствовал какое-то смутное сожаление об уходящем. Когда на болотах вместо артелей и «кранок» будут работать машины, исчезнет привычное, десятилетиями вошедшее в жизнь: тип торфяника, своеобразный его быт, вечерние «страдания», предвесенний наем сезонников в глуши рязанских районов, — все, что с детства воспринимал и в чем всегда жил Копнов. «Уйдет поэзия болот» — мелькнула мысль, но сейчас же ее сменила другая: «А, может быть, придет иная поэзия, которую мы еще не предполагаем, — поэзия машин, поэзия иного, облегченного и красивого груза человеческого». — «Может быть» — внутренне согласился Копнов и замер: почти из-под самых ног, из куста баговника с треском вылетел сине-черный косач, метнулся вправо, взмыл над невысокими сосенками и долго был виден на голубом фоне неба.

Птица испугнула и перепутала мысли торфмейстера. Сергей Михайлович закурил и, глотая дым, пытался вспомнить, о чем только-что думал. «Ах, да, о поэзии... Все может быть: придет новая, пока еще неизвестная нам поэзия и красота... Все может быть».

На участке № 2 в прошлом году были прорыты главная магистраль, валовые и картовые канавы. Копнов уже получил задание дать в будущем сезоне пятьде-

сят тысяч тонн торфяной крошки. Предполагая, что каждый гектар может дать за сезон пятьсот тонн и принимая во внимание потери площади под канавами около 4 проц., под валами — 8 проц. и под железной дорогой и караванами до 5 проц., Сергей Михайлович подготовлял на низинном болоте площадь, равную 117 гектарам. Там заканчивали сводку леса, корчевали пни и снимали очес — верхний, мало разложившийся слой торфяного болота.

Копнов шел берегом валовой канавы, через каждые ророк метров ему попадались картовые канавы, и торфмейстер тяжело и неуклюже перепрыгивал через них. Одна из канав показалась ему шире других и, вынужденный метр, он промерил ее. Размеры оказались правильными: глубина — 1,5 метра, ширина сверху — 1 метр и по дну — 0,3 метра.

«Хорошо бы эти канавы заменить дренажем, — подумал торфмейстер. — Тогда машинам было бы удобнее работать. Дренам здесь можно дать значительный уклон, а дренаж проложить жердьевой или фашинный, а еще лучше — деревянный, Бутца».

Он вынул книжку и записал:

«Выяснить в Инсторфе и на ТОС'е о замене дренажем картовых канав».

Копнов собирался через несколько дней поехать на опытную торфяную станцию и там подробнее ознакомиться с фрезерной добычей торфа. На Моховых болотах работы были налажены, и заменить торфмейстера в течение недели мог его помощник.

Обогнув клин березового леса, Сергей Михайлович вышел на «карты», с которых снимался очес. Два трактора с прицепленными сзади фрезерами медленно ползали по огромной поляне. От них голубым газовым шлейфом расстилался над поляной легкий дымок. Торфяницы собирали снятый фрезерами очес и корзинами относили его за пределы полей фрезерования. Караваны очеса протянулись длинными зеленовато-серыми холмами. За караванами широкой трубой поднимался густой дым, а перед ними — там, где был снят очес, — «карты» лежали, как туго натянутые

темнокоричневые скатерти; глядя на них, не верилось, что еще этой весной здесь торчали пни и кое-где рос молодой березняк.

Техника Щапова, заведующего участком № 2, Копнов нашел за караваном, из-за которого поднимался дым. Там сжигали очес. Две торфяницы корзинами таскали подсохший зеленовато-бурый мох и сваливали его в костер. Третья торфяница, шурясь от жары и дыма, длинной палкой мешала в костре. Из-под палки взлетали снопы желтых искр и быстро гасли.

Подойдя к костру, Копнов пожал руку технику и, вытирая платком пот с гладко обритой головы, сказал:

— Жалко.

— Что? — не понял техник.

— Вот очес жжете, — жалко.

— Ничего не поделаешь: здесь его ни на подстилку скоту, ни для изоляционных плит не употребишь. А вывести — невысказано.

— Невысказано, — согласился торфмейстер. — А все-таки жалко, когда добро попусту пропадает... Ну, как фрезера работают?

— Ничего. На «Ланце» мы в среднем за восьмичасовой рабочий день два, а на «Сименсе» 1,7 гектара обрабатываем.

— А не подсчитывали, сколько каждый на один гектар горючего берет?

— Почти поровну: 28—29 килограммов.

Копнов спросил о простоях машин, о том, как выполняется намеченный план подготовки полей и какие затруднения встречаются в работе. От костра полыхало сухим жаром, сверху пекло солнце, над болотами струилось горячее море, и казалось: перелески, караваны, тракторы и сама земля плавятся от жары и медленно растворяются в душном воздухе.

Мимо торфмейстера от караванов к костру с корзинами очеса ходили торфяницы. Их лица были красны, кофты на спинах взмокли от пота. Девки дышали, широко раскрыв рты, и были похожи на запаленных лошадей.

— Отдохнули бы, куда гоните, — сказал им Сергей Михайлович.

Одна из торфяниц, утирая рукавом потное лицо, ответила:

— На урок взялись. Сожжем вон ту кучу и домой пойдем.

Другая внезапно замедлила быстрый шаг, качнулась и выпустила из рук корзину.

— Ты что, Санька? — спросила ее подруга.

Девка не ответила, медленно опустилась на землю и ткнулась лицом в горячий и душный мох. Ее подняли и отнесли к каравану в тень. Торфяница хрипло дышала, и в углах ее губ пеной вскипала слюна. На лбу набухали крупные капли пота и бежали по запыленному лицу, промывая розовые полочки.

Щапов выкопал из-под моха бидончик с водой и намочил голову лежащей. Торфяница открыла глаза и пыталась встать.

— Вздохни, вздохни, — толкнула ее в грудь подруга. — Говорила тебе: не ходи ноне на работу.

— А что с ней? — спросил Копнов.

— А кто ее знает? Утром рвало, сейчас, — видишь, опять занедужилось.

— В больницу надо, — сказал техник.

Санька приподнялась и, смотря испуганно на техника, отрицательно качала головой.

— Не пойду в больницу... От солнца это... В барак пойду.

— Дойдешь одна-то?

— Дойду... Испить бы.

Она надолго и жадно припала к жестяному бидончику, потом, тяжело вздохнув, поднялась и медленно пошла к баракам, блестящим новыми бревнами на опушке березового леса.

Далеко за полдень, обойдя участок и побывав на просеке, где вели от Красных гор узкоколейку, Копнов пил чай в женском бараке. Сидя у раскрытого окна, с расстегнутым воротом рубахи, он неторопливо утолял жажду. В окно были видны постройки второго поселка и за ними — густозеленый березняк. Где-то над окном пыталась петить маленькая птичка. Ее голос был так нежен и звонок, что торфмейстеру захотелось уви-

дать певунью. Он высунулся в окно, но птички не увидел, увидел другое:эт участка к баракам по широкому расчищенному полю быстро двигался человек в розовой рубаше, а за полем, над узкой сиреневой полосой далекого леса, поднимался высокий столб белого дыма. «Опять, должно быть, лес горит, — подумал Копнов и плеснул в стакан из жестяного, покрытого бархатной кошотью, чайника.

Барак был пуст, только на одной койке, укрытая до подбородка пестрым ситцевым одеялом, лежала заболевшая девка. Она пытливо следила за торфмейстером и, если замечала, что Сергей Михайлович смотрит на нее, закрывала глаза и притворялась спящей. Уловив ее взгляд, Копнов кивнул головой:

— Ну, как, болящая, полегчало альacet?

Девка сбросила одеяло и поднялась с койки. Удерживая дрожь непослушных губ, заговорила шопотом:

— Сергей Михалыч, тяжело мне... Что делать — не знаю... Научи-ко, научи меня, дуру... Тебя я сколько годов знаю, тебе сказать можно...—Санька боязливо оглянулась. — Слушь-ко, подойти сюда...

Копнов встал с табурета, но в это время в сенях застучали торопливые шаги, распахнулась дверь. В барак вбежал парень в розовой рубаше, от порога крикнул:

— На первом участке артели бастуют, расчет требуют!.. В семь часов общее собрание торфяников назначено!.. За вами меня послали!

Торфмейстер торопливо шарил по койке, ища фуражку. Фуражка лежала рядом на табурете. Схватив ее, он молта и быстро зашагал к двери.

Медведев долго ждал Лушу: на Красных горах прозвучали вечерние гудки, мутно-зеленые сумерки легли на лес а воду, а она все не приходила. Алексей Петрович нетерпеливо ходил по мягкой, пробитой во мхах тропе, стоял на берегу озера, и ему казалось, что этим вечером сильнее, чем когда-либо,

он томится ожиданием, сильнее, чем когда-либо, хочет видеть девушку. В небе вспыхнули звезды, и бледные отражения их заиграли на темной поверхности воды.

«Не придет, должно быть, на собрании задержалась... А может быть, не захотела притти»—подумал Медведев и, неудовлетворенный, предчувствуя что-то нехорошее, пошел на Моховые болота.

Недалеко от бараков перед открытой сценой на деревянных врытых в землю скамьях, по бокам и сзади их, сидели и стояли торфяники. В туманной сини вечера их фигуры и лица сливались в одну огромную, темную массу. Она смутно шевелилась, гудела, иногда вскипала криками, ругательствами, угрозами.

Алексей Петрович издали услышал громкий возбужденный голос:

— Никто на этом болоте работать не будет!.. Зараза! Людей лихоманка круочит, пожелтели, день и ночь трясутся... Поколевать здесь!.. Вон Крутов Ванька помер. Здоровше всех был и то не выдержал.. А мы што—железные?

Говорил знакомый сезонник с бельмом на левом глазу. Он стоял около помоста открытой сцены и размахивал длинными руками. Свет электрических лампочек ярко заливал сцену и сидящих за столом: председателя месткома, секретаря партийной ячейки, старосту Дубкова и врача Марию Васильевну.

— Будя, поработали! — торфяник шагнул к помосту и ударил кулаком по суфлерской будке. — Будя!.. Расчет давай!

Масса дружно подхватила:

— Расчет!

— Давай расчет!

— Не будем работать!

Кричали все по обычаю, установившемуся десятилетиями: «Галдеть, так всем галдеть», по старым своим пословицам: «Артелью города берут», «Один горюет, а артель воюет». В гуле сотен голосов чувствовались упрямство и крепкая спайка.

Высокий сезонник еще раз злобно крикнул: «Расчет!»—и спокойно сказал: — Я кончил, пусть другие скажут.

— Мне! — выкрикнул из темноты звонкий голос. — Мне давай слово!

— Кому? — спросил председатель месткома.

— Головастикову Ефиму!

— Говори... Тебе слово.

— Я тоже спрашиваю, — заговорил невидимый Головастик, и казалось: у темной расплывшейся перед сценой массы открылся один маленький ротик, и из него звонко и быстро полетели слова:—Я тоже спрашиваю... А вы ответьте. Вчера в столовой горелую кашу давали. Ее никто есть не стал... И масла в ней не видать... А на дверях мюни вывешены: каша с маслом. Какая же это каша? Я спрашиваю, а вы ответьте... Почему тех мюней не дают, которые вывешивают? И еще да счет мяса. Воруют его, что ли, повара. В чашке плавает жербеечик, а по норме разве столько надо? Вы должны давать норму специально нормированную...

Председатель тряхнул колокольчиком.

— Товарищ Головастик, говори по существу. На повестке дня у нас стоит вопрос об артелях, бросивших работу. Мы обсуждаем нетоварищеский, антисоветский их поступок, а ты говоришь о столовой.

— А что же, о столовой говорить нельзя?.. Что ты мне рот затыкаешь... Ежели в столовых плохо кормить будут—организма ослабеет, и человек пуще болеть начнет. Я предлагаю больше таких ненормальностей не делать. А то через это у рабочего два нерва выходит: один — что полагается, не дают, другой — дают испорченное.

Звонкий голосок стих, и в наступившей минутной тишине было слышно дыхание сотен людей. Тишину властно разбил твердый, слегка хриповатый, голос:

— Я хочу сказать, Аким Нефедов. — И, не дожидаясь разрешения председателя, гулко заговорил: — Наша артель не первый год работает и не хуже других считается, а сегодня она тоже бросила работу. А почему? Сейчас объясню... Вот уже сколько годов мы на Толокновском болоте работали, а на

этот сезон Копнов нас сбил сюда приехать. Насулил разных разностей. Дескать, и заработаете вы больше, и бараки хорошие, и продовольствие... Оно, по правде сказать, заработать здесь можно не хуже, чем на другом болоте, бараки очень даже хорошие и продовольствие ничего... А вот про лихорадку нам Копнов ничего не сказал. Выходит: обманул он нашу артель... Выходит, что все хворыми мы отсюда уедем и дома не работать, а лежать будем. Тогда все наши заработки в убыток нам обернутся. Чего же нам здесь дожидаться? Ничего. Чем больше мы здесь живем, тем больше хворых. Уехать надо скорее. Давайте расчет, мы и уедем.

Темная масса опять всколыхнулась и вскипела криками:

— Уедем!

— Где Копнов?

— Давайте его сюда, дьявола!

— Убежал!

— Обманул нас!

Председатель долго звонил колокольчиком. Тишина наступала медленно, затихали и снова раздавались выкрики и гул, похожий на рокот морского прибоя. И когда затихли голоса и рокот, сзади кто-то звонко выкрикнул:

— Вон он идет!

Сразу всколыхнулась темная, расплывшаяся перед сценой масса, сразу окреп гул и яростнее полетели выкрики:

— Идет!

— Копнов идет!

— Вон он, головастый чорт!

— С такой головой давно расстрелять пора бы!

— Охмуряло!

Мимо Алексея Петровича торопливо и тяжело прошагал торфмейстер. Наклонив голову, он не смотрел по сторонам и будто не слышал, что кричали ему торфяники. Его фуражка была сбита на затылок, пиджак на спине взмок от пота, сапоги измазаны тиной и грязью. Поднявшись на сцену, он сел на табурет, протянул короткие, толстые ноги.

— Ишь, запарился, — добродушно сказал пожилой сезонник.

— Его каждый день так погонять бы,—отозвался молодой парень,—добрее стал бы.

Несколько человек засмеялись. Гася смех, прозвучал холодный и злой голос:

— Чего смеетесь? Тут не в бабки играют! Завезли нас на это проклятое болото на погибель. Нигде такой хвори не было, как здесь. Невозможно работать! Люди помирать начали... А вы ржете... Вот председатель сказал, что на этом собрании нас судить будут: хорошо или плохо мы сделали, что работу бросили. Врет он! Мы не на суд сюда пришли. Мы пришли требовать расчет, наши заработанные деньги. Отдайте нам их, мы и уедем по-хорошему. Кто хочет работать — пушай остается. Только, я думаю, вряд ли кто останется.

Говоривший замолчал.

— Кто еще хочет сказать? — спросил председатель.

— Пушай Копнов скажет!

— Что он молчит, как идол!

— Он нас нанимал, он и говорить должен.

Председатель взглянул на торфмейстера.

— Я могу сказать,—Сергей Михайлович встал и подошел к суфлерской будке.

— Тише!—крикнули в толпе, и толпа затихла, насторожилась.

Несколько напряженных минут Копнов стоял у рампы, потом тихо заговорил:

— Я очень извиняюсь, товарищи, что опоздал к началу собрания и слышал голько двоих из выступавших...

— Громче! — сердито крикнул кто-то на задних скамьях.

Не повышая голоса, торфмейстер продолжал говорить:

— Тише сидите — все услышите... Так вот, двоих слышал я: Акима Нефедова и Матвея Топорова. По голосу опознал. Правильно?

— Правильно! Угадал! — отозвались в толпе.

— И тот, и другой обвиняют меня в том, что я будто бы сознательно завез артели на малярийное болото, что будто

бы малярия с каждым днем разрастается и от нее уже умирают люди. Так это или не так? Вы говорите: «так». Я говорю: «не так». Я знаю это болото больше двух лет. Малярии здесь не было, ее вероятно завезли сюда, и здесь она попала на благоприятную почву. Заболевания малярией встречаются почти на каждом болоте, а здесь благодаря вашей халатности — я это подчеркиваю — заболевания приняли широкие размеры. Вы не соблюдаете предписаний и советов врача, вы не принимаете хинин и лечитесь заговорами, а некоторые женщины — это мне доподлинно известно — выманивают порошки у больных и употребляют их как средство против беременности. Возьмите рабочих на постройке электростанции, — там больных значительно меньше, чем на Моховых болотах. Вот здесь находится доктор, он вероятно сделает вам доклад...

— Уже делал!

— Говорила!

— Ну так, значит, вы лучше меня знаете, в чем дело, и панику разводить не будете. Знаете, что Иван Крутов умер не от малярии, а от воспаления легких и что за последние две недели малярия значительно сократилась. Стало быть, выступавшие здесь товарищи говорили неправду... Теперь дальше... Меня обвиняют в том, что я обманом завез артели на это болото. Товарищи, это очень тяжелое обвинение... если ему поверить... Я же не верю ему. Не верю, что Нефедов и Топоров всерьез это говорили. Они сказали это в запальчивости, они и сами не верят этому... Больше половины сидящих здесь — мои ближайшие земляки. Среди них есть люди, которые помнят, как я работал ящиком в карьере. Вот за столом сидит Дубков,—Копнов показал пальцем на старосту. — Скажи, Ерофей Семеныч, работал я или не работал в твоей артели?

Староста неуклюже поднялся за столом и смущенно заулыбался:

— Чего говорить-то?.. Все знают, что работал. В моей артели впервые на торф ходил...

— Так... Спросите еще у старых торфяников — Ходакова, Бокарева и других, — работал я с ними или не работал. Ответят: «работал». Спросите их, знающих меня более двадцати лет, — обманул ли я хоть раз артель? Пусть сейчас они встанут и скажут, где и когда это было.

Торфмейстер сделал паузу и окинул взглядом молчавшую толпу.

— Знаю, не скажут, потому что никогда этого не было. Теперь дальше... Я говорю с вами, как с сознательными гражданами Советского Союза... Сегодня несколько артелей не работали, сегодня страна недополучила топлива, сегодня в налаженной и строго распланированной нашей работе образовалась трещина. Кто-то смутил вас, запугал несуществующими страхами, и вы пришли требовать расчет. Что ж, силой никто вас здесь держать не будет. Расчет вы можете получить, но знайте, — Копнов поднял вверх палец, — каждый покинувший работы в разгар сезона совершит экономическую контрреволюцию, подорвет в какой-то мере благосостояние нашей страны, затормозит наше общее дело... Я ни минуты не сомневаюсь, что вы, как сознательные граждане, останетесь на Моховых болотах до конца сезона и не только выполните, но и перевыполните намеченный план добычи торфа.

В толпе засмеялись:

— Заговаривай зубы!

— Наводи тень на ясный день!

Сергей Михайлович упрямо кивнул головой:

— Будьте покойны, товарищи: я знаю, что говорю. У меня имеются ежедневные сведения о выработке каждой артели. По ним я вижу, что после заключения договора на социалистическое соревнование с красногорскими рабочими выработка торфа значительно возросла. Правда, малярия много испортила, но с малярией мы беремся и будем бороться. Болезнь идет на убыль, и от вас самих зависит ликвидировать ее окончательно...

Медведев обошел вокруг скамей, пытливо рассматривая немногие жен-

ские фигуры, но среди них Луши не было. Остановившись около сцены, так, чтобы видно было всех подходивших от барачков, он смотрел на толпу сезонников. В толпе красными точками тлелись цыгарки, изредка вспыхивали спички, освещая бороды и коричневые кисти рук, сложенные ковшичком. Над толпой в недвижимом воздухе висело облако пахучего махорочного дыма. Недалеко от Алексея Петровича кто-то сказал:

— Три часа галдим, а ни с места. Кончать пора.

— Правильно, — отозвался Копнов, — мелева много, а помолу нет... Я предлагаю: прогульщики должны отработать в ближайший выходной день...

— Ишь ты, на чужом горбу к обедне съездить хочешь! — крикнул Головастикиков.

— Не будем работать!

Опять всколыхнулась и загудела масса, опять председатель долго звонил колокольчиком, водворяя тишину.

К Медведеву подошла невысокая девка с густо нарумяненными щеками и, толкнув его локтем, шепнула:

— У Лушки-то несчастье какое, плачет-разливается...

— Где? — оторопело спросил Алексей Петрович.

— В барачке... Она ноне получила...

Не дослушав, Медведев быстро зашагал к поселку.



Луша Бокарева лежала на койке, уткнув лицо в подушку и плакала навзрыд. Ее темные волосы растрепались по розовой наволочке, плечи крупно и равномерно вздрагивали, как под ударами невидимого кнута. Вокруг койки тесно сбились все жившие в барачке девки и многие пришедшие из других барачков. Одни стояли, плотно сомкнув губы и сурово сдвинув брови, другие с мучительным любопытством, забыв обо всем, смотрели на Бокареву. Большинство из них плакали, утирая слезы рукавами кофт и подолами занавесок в голянок. Катька Самоплясова — соседка по койке, — наклонившись над Лушей и сама горько плача, утешала:

— Товарочка, перестань... Ой, да перестань, подруженька!

Бабка Лукерья, сидя на краю постели и подперев ладонью щеку, качала головой и что-то неслышно шептала.

Медведев протискался к постели и, положив ладонь на вздрагивающее девичье плечо, спросил:

— Луша, что случилось?

Девушка оторвала от подушки голову, вскинула обезумевшие от горя глаза на толпу подруг и, всплеснув руками, протяжно и жалобно закричала:

Порастроньтесь, люди добрые,
Я послушаю, несчастная,
Ночь не стонет ли сыра земля...

Подруги сильнее заплакали. Катька Самоплясова, захлебываясь от рыданий, толкала Бокареву в спину, упрашивая:

— Не надрывайся, подруженька... Ой, смотреть на тебя нет моченьки!

Лукерья сурово отстранила Катьку, сердито шепнула:

— Уйди, непутная... Пусть причитают, пусть горе выплакивает: и ей легче будет, и мы послушаем...

Медведев стоял ошеломленный: растерянно оглядываясь, он видел красные, с распухшими веками, со следами смытых румян лица девок, высокие, бурно поднимающиеся под кофтами груди, желтые, синие, оранжевые, зеленые, лазоревые занавески, пестрые платки; слышал вздохи, выкрики и рыдания. Ему казалось, что все живущие в бараке сошли с ума и бьются в припадке. Спокойнее всех была бабка, и к ней обратился Алексей Петрович:

— Что тут случилось? Что с Лушей?

Лукерья встала и, отойдя на шаг от койки, негромко сказала в ухо Медведеву:

— Ноне пошта приходила, письмо Луша получила... Отец у ней помер, одна теперь осталась, круглая сиротинка, с двумя сестренками малыми.

— А чего девки тут глядят?.. Погнала бы их.

— Нельзя. У нас всякое горе обчее, все друг за друга печалимся. Вон Катька пуще Бокаревой разливается... На

чужбине и чужое горе близко... Тебя она спрашивала, Луша-то, а теперь ровно в беспамятстве...

Бабка взяла Медведева за руку и полезла сквозь плотное кольцо девичьих тел. От девок полыхало жаром, остро пахло потом и дешевой пудрой. У двери барака бабка остановилась, сказала громче:

— Тебя, говорю, спрашивала Бокарева-то... Ты постой за дверью: утих-нег маленько — я ее к тебе вышлю... Вон опять завела.

Лушин голос, прерываемый рыданиями, забился в слабо освещенном баракке:

Возбужайте, ветры буйные,
Со всех ли четырех сторон,
Разметите вы сыру землю,
Вы ударьте в большой колокол,
Разбудите мово батюшку!..

Лукерья нагнула набок голову, внимательно слушала. Когда рыдающий голос затих на протяжной и жалобной ноте, сказала:

— Мать у ней бесценная плакальщица была... Далеко Луше до нее. Ту, бывало, по всей округе звали по покойникам голосить. С утра до вечера причитать могла и все новое. Всю жизнь покойника причитаниями рассказывала... Ну, ступай... Немного погодя выйдет Луша...

Медведев долго стоял у крыльца, смотрел и слушал теплую ночь. Где-то пела гармоника: то протяжно и жалобно, будто почитала по ушедшей радости, то бесшабашно и буйно, точно ушедшая радость снова возвращалась. На густосинем небе, скрывая звезды, темнели прямоугольники и ромбы крыш. Под ними кое-где красновато светились широкие окна барачков. Слеза на горизонте ярким созвездием горели тысячи электрических фонарей на постройке станции, и оттуда долетал, приглушенный расстоянием и туманами, гул стой и однообразный гул, похожий на звук плохо натянутой басовой струны. Неожиданно — сначала тихо, потом громче и ближе — послышались голоса. Из ночи выплывали кучки людей, проходили мимо крыльца и скрывались в той стороне, где стояли мужские ба-

раки. От одной из кучек отделился высокий человек и, мягко ступая лаптями, подошел к Медведеву.

— Спички есть, товарищ?

— Есть.

— Позволь закурить.

— С собрания идешь?

Человек, закуривая, промычал в ответ и утвердительно кивнул головой.

— На чем порешили?

Торопливо затянувшись, высокий ответил:

— Единогласно постановили: с завтрашнего дня все по-старому работают, а которые артели нынче прогуляли, — те свое в отгульный день нагонят... Секретарь партийной ячейки так дело повернул. После его речи кой-кому стыдно стало за свою несознательность...

Сезонник, пыхнув трубкой, ушел в синюю тьму, а Медведев, недоумева, пытался разобраться в странной психологии рязанских торфяников. Сегодня утром некоторые из них, потрясая кулаками, требовали расчет, не пошли работать и сидели на полянке озлобленной и страшной толпой. Сейчас, возвращаясь с собрания, они добродушно переговариваются, смеются, грубовато шутят. Завтра попрежнему трудолюбиво и упорно они будут копать торф и гонять вагонетки. Чем объяснить все это? Простою и непосредственностью их натуры? Или чем-то иным, чего еще не постиг Медведев, но что должно быть понятно и просто Копнову?

Голоса проходивших с собрания загляди, замолчала далекая гармоника. В тишине закрипели ступени. Алексей Петрович оглянулся и увидал Лушу. Она медленно сходила с крыльца, держа за перильца. На нижней ступеньке остановилась и вдруг порывисто бросилась к Медведеву, крепко охватив руками его шею.

— Ой, что же мне делать, сиротиншке?

Алексей Петрович, обнимая вздрагивающие плечи девушки, шептал:

— Не плачь... Не останешься ты одинокой, вместе со мной жить будешь...

— А сестренки, — всхлинула Луша, — куда они денутся?

— И сестренки твои с нами жить будут.

В эти минуты, обнимая доверчиво прижимающуюся к нему девушку, Медведев чувствовал себя простым, грубоватым парнем, одним из тех, что копают солнечный клад на Моховых болотах. В эти минуты он не думал о том, что надо много работать над Лушей, учить и развивать ее, чтобы сделать культурным человеком, он думал о будущей совместной их жизни и верил, что эта жизнь будет всегда бодрой и радостной.

Луша крепче прижалась к нему, шепнула, удерживая рыдания:

— Нерасставанный мой.



На следующий день Бокарева уехала на родину. Полученные за работу деньги она бережно свернула в платочек и спрятала на груди, тщательно уложила в мешок и укладку белье, бусы, ленты, полотенца. Она не плакала больше, но дожидаясь, когда разгрузят прибывший с полустанка автомобиль, печальная и молчаливая, сидела у склада. Яков Семенович Дерюгин пытался заговорить с ней, но девушка, не отвечая, отворачивалась от него. Заметив подходившего Медведева, Дерюгин ушел в склад.

Алексей Петрович, прощаясь, сказал Луше:

— Скорей управляйся с делами и возвращайся сюда. Сестер с собой бери, мы их тут учиться устроим.

Когда тронулся грузовик, девушка успела шепнуть:

— Тяжело мне с тобой прощаться.— Ее глаза затуманились, губы дрогнули, и Медведев скорее почувствовал, чем услышал, знакомые волнующие слова:

— Нерасставанный мой!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Этот вечер врезался в памяти Веры Кургановой до мельчайших подробностей. Стоило только закрыть ей глаза, и она видела: суровую стену Волчьей Гривы, залитую красным светом заходящего солнца, над соснами — лазоревое, уже тронутое предвечерней нежно-

стью небо, на дороге — мутно-розовое облако пыли, взвихренной с земли прошедшим автомобилем. Сзади, внизу, синели Моховые болота, и осколками разбитого солнца вспыхивали стекла в окнах барачков; впереди на Красных горах под Волчьей Гривой в алом свете — будто освещаемые бенгальским огнем — высились крыши и трубы мастерских, а над ними, над пышными шапками сосен в лазоревой ясности неба четко отпечатывался голубовато-серый, украшенный ажурной резьбой лесов прямоугольник строящейся электростанции. И узловатые корни, перепоясывающие лесную дорогу, и звонкую песенку какой-то птички, и запах созревшего и уже чувствующего близкое увядание лета запомнила Вера, ибо в этот мучительно-радостный вечер она вдруг почувствовала, что любовь существует. Было радостно воспринимать это, ощущая тревожное биение сердца, и в то же время было мучительно и стыдно сознавать, что все, к чему стремилась она всю свою жизнь, — учиться, учить других, бороться и работать, отказавшись от личного счастья для великой цели, — что все это расплывается, тускнеет, заслоняется иным чувством.

Вера быстро шла с Моховых болот домой, размахивая желтым портфеликом, в котором лежали тетрадки, брошюры и карандаши. При каждом шаге девушки от никелированного замка портфелика прыгал на дорогу золотистый зайчик, исчезал и снова появлялся. На мостике, перекинутом через небольшой ручеек, Курганова неожиданно встретилась с Шахраем и, не сдерживая своей радости, звонко крикнула:

— Шахрай, милый!

Техник остановился у розовых от солнца перил и холодно сказал:

— Здравствуй. С занятий возвращаешься?

— С занятий... Как я рада, что ты здоровел.

— Разве? — насмешливо бросил Шахрай и криво усмехнулся. — Мне кажется: для тебя это безразлично.

— Все не безразлично... Чего ты такой сердитый? — Вера повернула свой портфелик и навела зайчик на лицо техника. Техник досадливо поморщился и откинул голову.

— Да что с тобой?! — Вера ближе пододвинулась к перилам и с молчаливой заботливостью смотрела на Шахрая.

Он отодвинулся от девушки, сказал:

— Ну, до свиданья.

— Ах, так!.. — Курганова гневно передернула плечами и хотела сказать что-то язвительное, но не находила нужных слов. — Ах, так... Ну, что ж... — Гордо тряхнула головой и, круто повернувшись, быстро пошла, почти побежала прочь от мостика. Пройдя немного, оглянулась. Шахрай шел медленно в розовом облаке пыли. Через полсотни шагов девушка остановилась. Техник, не оборачиваясь, продолжал идти к Моховым болотам.

«На что он сердится? — Вера закусила нижнюю губу и сдвинула брови. — Не хочет даже говорить... Пожалуйста, не очень нужно... — И в то же время испытывала страстное желание остановить уходящего и смехом, лаской вызвать на его лице милую, такую милую, такую близкую и нежную улыбку...»

Придя домой, Вера бросилась на койку и долго лежала, не зажигая огня. В окно, медленно густея, вливалась темнота, и вот уже нельзя различить отдельных бревен стен, расплылся и будто повис в воздухе столик, растаяла табуретка у дверей, и кровать сделалась похожей на узкий плот, медленно качающийся на темной воде. В полудреме девушке мерещилось лицо Шахрая, розовые перила моста, солнечный зайчик на пыльной дороге. Она старалась не думать об этом, но не могла уничтожить всплывающие перед глазами картины.

За стеной что-то стукнуло, послышались голоса в комнате Марии Васильевны. Вера быстро поднялась и села на краю постели.

«Какое мне дело до Шахрая? Чего я волнуюсь? — Но эти мысли рвались, как гнилые нитки, и на смену им вскипали другие: — Наверное Шахрай пошел на «страданья»... Наверное шу-

тит, смеется с торфяницами... А я хочу, чтобы он был со мной... На что он обижается?

Девушка метнулась к темноглазому прямоугольнику окна, распахнула форточку. Из фортки подуло ночной смолистой свежестью. — Пойду! — решила Вера и выбежала из комнаты. У клуба она внезапно остановилась, будто наткнулась на невидимую преграду. С крыльца спускались Шахрай и Катька Самоплясова. Техник, нагнувшись, что-то шептал Катьке, и на его лице была близкая и нежная улыбка. Они прошли мимо Веры, не заметив ее.

— Шахрай! — шепнула девушка и крепко сжала губы, удерживая подступающие к горлу рыдания. Сердце торопливо и сильно билось в груди, во рту холодело, горели щеки, и глаза под сдвинувшимися бровями упорно и строго смотрели, как двое уходили в темноту.

«Шахрай!.. Шахрай!..» — мысленно кричала девушка, и ей казалось, что немой этот крик умоляюще и нестерпимо громко звенит над землей.



Едва слышно задребезжало стекло окна. Яков Семенович Дерюгин приподнял с подушки голову и прислушался. В комнате и во всем доме была тишина, только где-то чиркал сверчок да за стеной тикали «ходики». Опять чей-то настойчивый и нетерпеливый палец постучал в стекло. Яков Семенович вскочил с кровати, на цыпочках подбежал к окну и, прижавшись лбом к холодному переплету рамы, увидел за окном кудлатую темную голову. Голова резко дергалась, будто приглашала Дерюгина выйги из дома. Кладовщик шопотом выругался и отошел к постели. Снова задребезжало стекло, и Яков Семенович, торопливо напялив штаны и пиджак, вышел из конторы. У крыльца ждал его невысокий широкоплечий человек.

— Господи боже ты мой, да разве так можно, — заговорил кладовщик, подходя к человеку. — Ты, Петухов, все дело провалишь.

— Иди, иди... Ребята собрались, монаха требуют.

— Нет у меня монаха.

— Ну, три бояна возьму.

— Разве можно так... Такое дело опаски требует, и ты напролом лезешь. В склад итти надо. Увидит сторож, остановит... Узнает, кто идет. Зачем кладовщику ночью в склад итти? Чего ему там понадобилось? Пойдут разговоры. Комиссия нагрянет склад проверять и наткнется на что не надо.

— Да иди же скорей!

Тяжело вздохнув, Дерюгин засеменял к складу. Сзади тяжело ступал Петухов и хрипато говорил:

— Спасибо мне сказать должен, что я тебя на такое дело надоумил, а ты ворчишь, как пес. Много ль на строительстве заработаешь, а тут мы с тобой озолотеем... Сто процентов наживаем.

— Да помолчи ты ради бога.

Яков Семенович отпер тяжелый, пехожий на калач замок и осторожно отворил заскрипевшую дверь.

— Ты покарауль здесь, я вынесу, — и юркнул в склад.

В темноте он привычно прошел мимо тюков, ящиков и, нащупав у стены кучу пакли, вытащил из нее три литра водки. Он чутко прислушивался к малейшим звукам, и руки его дрожали.

«Вот Санька окайная до чего довели, — думал Яков Семенович, осторожно обходя тюки и ящики. — Вот чем заниматься стал, только бы ее болота выпроводить. Господи, прость ты мое согрешение.»

Отдавая Петухову бутылки и беря от него деньги, Дерюгин раздраженно шептал:

— Не таскайся ты ко мне по ночам. Бери днем. Днем склад отперт, никакого подозрения не будет...

— Ладно, ладно, — Петухов сунул бутылки в мешок и быстро зашагал от склада.

Яков Семенович запер склад, по привычке подергал замок — не щелкнул ли ключ впусую — и, повернувшись, замер на месте. Перед ним стояла темная фигура.

— Ой, кто-й-то! — тихо воскликнул кладовщик и машинально перекрестился. — Господи Исусе!

Фигура приблизилась, и Дерюгин, узнав в ней Веру Курганову, облегченно вздохнул:

— Это вы, товарищ Курганова?.. А я даже испугался: кто, думаю, у склада ходит, не вор ли.

Казалось, Вера не слыхала, что говорил Яков Семенович, спросила о другом:

— Вы не знаете, Шахрай дома?

— Должно быть, дома, где ж ему быть... Зачем это он вам так поздно понадобился?

Курганова продолжала молча стоять.

— А я, знаете ли, склад проверял. Беспокоюсь о государственном имуществе, каждую ночь выхожу и замок щупаю, — цел ли. Ну, спокойной ночи, приятных снов.

Яков Семенович неторопливо и уверенно зашагал к конторе.

— Товарищ Дерюгин! — окликнула Вера. — Скажите Шахраю...

— Что-с? — остановился кладовщик.

Девушка молчала.

— Что-с? — повторил Яков Семенович.

— Ничего... Идите... Я завтра сама передам ему.

Она метнулась в сторону и скрылась в темноте.

— Так, — вслух сказал Дерюгин. — Везет парню... А тут вот мучайся, беспокойся... — и, вздрогнув от ночной свежести, трусцой вбежал на крыльцо конторы.



Инженер Батуров дольше обычного задержался на постройке. Уже темнело, а он все стоял наверху, облокотившись на перила. Впервые смотрел он отсюда, как на землю шел вечер. На западе тускнело багряное небо, с востока надвигались тени, земля расплывалась и тускнела, будто уходила вниз. Верхушки деревьев сделались похожими на клубы лилового дыма, черным обрывом встала стена Волчьей Гривы, туманы затопили болота. И вот уже ничего нельзя различить внизу, и только звезды электрических фонарей, разбросанные во мгле, горели ярким голубым светом.

Спускаясь сверху, Батуров слышал, как в провалах под ногами грохотало и гудело. Свет, пробиваясь в щели между досками, полосами ложился на серые стенах, кирпичах и бетоне.

Во тьме басисто заревел гудок. Кончилась смена. Инженер шел к дому мимо мастерских. Навстречу ему попадались кучки рабочих, направляющихся в столовую. Вздывая облака пыли, протарахтал пожарный автомобиль. Высокий старый рабочий что-то крикнул шоферу. Не замедляя хода, шофер ответил:

— Потушили!

— Что потушили? — спросил у рабочего начальник.

— Пожар. За Березовыми выгорами сухостой загорелся. Сушь стоит, за все лето один дождь выпал. Земля, как порох.

— Да, да, — машинально ответил инженер, думая, что завтра же нужно вызвать начальника пожарной охраны, узнать, в каком порядке находятся паровые машины и какие противопожарные меры принимаются на строительстве.

Дома Батуrowа ждали чай и обычная вечерняя работа. Начальник сел к столу, положил в стакан кусок сахара и выдвинул ящик стола. Он не успел взять из ящика нужные бумаги, тихо отворилась дверь, и в комнату вошел Терентий. Не притворяя двери, он остановился под притолокой, почти подперая ее головой.

Начальник повернулся в кресле.

Терентий трясущимися руками гладил себя по груди и вдруг медленно, сгибаясь, опустился на колени.

— Николай Иванович... товарищ начальник... не трожь, не тревожь покойников.

Батуров изумленно смотрел на лесника.

— Сделай милость, заставь вечно бога молить... Ведь грех-то какой. — Старик стукнулся лбом о пол.

«Сумасшедший» — подумал инженер, и торопливо спросил: — В чем дело? Что случилось?

— Сделай милость...

— Да ты вставай, садись на стул

Дед поднялся с пола, но на стул не сел, стоял у двери. Его лицо показалось инженеру очень похудевшим, глубокие изборожденным морщинами. Волосы на голове поседели, а борода пожелтела, спуталась. Глаза, глубоко ввалившиеся, были мутны, с белками, изузоренными кровавыми жилками. Лесник порывисто и шумно дышал и все гладил широкими ладонями свою грудь.

— Ну, расскажи толком, в чем дело.

— Канаву ты велел рыть... По могилкам канавка пройдет... Прикажи свернуть в сторону.

— Какую канаву?—Инженер уже не сомневался, что имеет дело с сумасшедшим.

— Канаву от Дикого озера к Белому... Недалечко от сторожки канавка пройдет... Там, в лесочке, отец у меня зарыт и жена тоже... Мне рабочие говорили: вырывают покойников. Я толковал им: «Обойдите могилки», а они смеются.

— Ах, вот ты о чем: о канале.

— Во... во... о канаве... С десятником я беседовал, а он к тебе послал. Говорит: «Начальник прикажет, мы хоть за версту обойдем, наше дело маленькое...» Прикажи, сделай милость.

Инженер заговорил негромко и медленно:

— Этого нельзя сделать... Канал должен быть прямым, как по линейке, потому что... — и запнулся, не зная, как объяснить лесному деду необходимость прямизны канала. — Видишь ли... как бы это тебе растолковать...

— Ты не толкуй, ты прикажи свернуть... Десятнику прикажи... Уважь старика. Воде все ровно течь: хошь—прямо, хошь—дугой.

Терентий улыбался дрожащими губами, а глаза его смотрели испуганно и настороженно.

— Не могу я этого сделать, пойми... Я тоже подчинен. Мне дали план и приказали делать так, как в нем обозначено.

— Не можешь? У кого же заступы просить, кому пожалиться?

— Никто тебе в этом помочь не может.

Терентий беспомощно опустил руки, мелко закачал головой.

— Так... так.. О, господи!.. На заказе жизни моей што претерпеть придется... меж людей я, как зверь загнанный.

Лесник в упор посмотрел на инженера, и в его взгляде Батуров увидал безысходную тоску и муку. Внезапно он вспомнил, как несколько лет назад, сходя с поезда, он наткнулся на перерезанную колесами собаку. Издыхая, она жалобно скулила, и глаза ее были полны вот такой же тоской и мукой. Николаю Ивановичу захотелось чем-то утешить старика, но Терентий уже уходил из комнаты, шаркая по полу подошвами босых ног.

Леснику казалось: жизнь ушла от него, а все окружающее и дни, скользкие по этому окружающему,—не явь, а долгий, мучительный сон. Все было чужим, странным и страшным: невиданные машины, огромное здание электростанции, поселки, выросшие на суходолах, электрические огни, автомобили. И люди были иные, будто пришедшие из неведомого и жуткого мира. Эти люди не боялись леса и топи. Этим людям подчинялись страшные машины. «Колдуны»—думал о них лесной дед и сторонился ото всех. Торфяники на Моховых болотах, в лаптях и сермягах, больше походили на людей, встречавшихся в жизни Терентия, но и к ним с опаской подходил лесник. Торфяникам же казалось необычным то, что пугало и удивляло деда.

Вечерами около открытой сцены иногда натягивали большое белое полотно, перед ним на скамьях садились красногорские рабочие и сезонники, шутили и смеялись. И вдруг за их спинами в маленькой будочке что-то начинало трещать, и из небольшого отверстия вырывался голубой сноп света и падал на полотно. И полотно оживало: на нем появлялись улицы, поля, горы. По улицам, полям, горам ходили, скакали, ползали люди, лошади, коровы, незнакомые звери. Это было страшно, в этом

чудилась колдовская, греховная сила. Старик, шепча молитву, отходил от пологна.

Еще больше пугали его черные воронки, прикрепленные высоко на столбах. Однажды вечером Терентий проходил мимо клуба, и кто-то крикнул ему:

— Слушайте! Слушайте!

Старик оглянулся: около клуба ничего не было.

— Говорит Москва!—прокричал голос сверху, и, подняв голову, дед увидел на столбе черную воронку. Воронка говорила громким человеческим голосом. У Терентия похолодело во рту. «Свят, свят, свят, господь бог Саваоф» — прошептал он и быстро пошел от клуба. Черная пасть заиграла, запела, будто в ней были запряжаны десятки гармонистов и песельников.

— Что это?—спросил старик на следующий день у двух проходивших рабочих.

— Чорт,—ответил один.

Другой сердито посмотрел на товарища:

— Брось дурака валять.—И пояснил деду:—Это радио. Из Москвы передают. В Москве говорят, играют, а здесь слышно.

Терентий обиженно сказал:

— Не смейся, парень, я постарше тебя... До Москвы отсюда на лошади в две недели не доедешь.

И ушел, уверенный в том, что первый рабочий сказал ему правду, а второй посмеялся над ним.

С того вечера прошло больше года, и все же, проходя мимо черных воронок, лесник испуганно косился на них, а слышав громкий голос и музыку, ускорял шаги.

Одно только связывало старика с тем местом, где он провел всю свою жизнь: почерневшая, покосившаяся сторожка и родные могильные холмики в березовом перелеске. Но и до них добрались пришельцы. Кто-то сказал Терентию, что сторожку сломают и на ее месте построят большой дом.

«Всего лишают»—подумал лесник и как-то, встретив Медведева, пожаловался ему:

— На старости лет из родной закуты выгоняют. Не думал я, что доживу до этого.

Медведев успокоил деда:

— Неправда, сторожка твоя останется. Начальник приказал не трогать ее: пусть люди видят, что здесь было когда-то и что теперь настроено.

Особенно же угнетал и мучил Терентия широкий канал, который вели люди от Дикого озера к Белому. С каждым днем канал приближался к перелеску, где были зарыты отец и жена старика. Уже звенели топоры о белые стволы берез, и березы с глухим шумом покорно падали на землю.

После того, как начальник отказал в просьбе Терентия пощадить перелесок с могилами близких, старик почти не выходил из сторожки, целыми днями лежал на лавке и думал о прошлом. Как безмятежно и тихо было это прошлое! Какое очарование таилось в нетронутых чащах, как жутки и непроходимы были топи, какую радостью сверкали незатуманенные дымом ранние утра! Ворочаясь на лавке, лесник старался в мечтах вернуть ушедшее. Вот сейчас выйдет он из сторожки и увидит, почувствует тишину и мир. Знакомая полянка изумрудным блюдечком ляжет у перелеска, справа от нее, в туманном мареве, в щетинах камыша, протянутся болота, и на окрайке их зачернеет гнилая гать. Солнце теплее и ярче обласкает землю, и запахи тины и смолы заговорят о топях и соснах Волчьей Гривы. Но за окном голоса людей, гудки паровозов, стуки и грохоты властно кричали о другом, и не мог старик уйти мечтами в прошлое.

На болотах, в лесу уже созрели брусника, гонобобель, черника. Иногда Терентий брал берестяной туесок и шел в лес собирать ягоды. Под елями и соснами он искал знакомые тропы, но они затерялись во многих других тропах, проложенных пришельцами. Любимой ягодой лесника была брусника, может быть, потому, что она напоминала о первой его встрече с женой на брусничном болоте. В сторожке на столе в большой деревянной чашке ярко адели эти яго-

ды. Глядя на них, легче было вспомнить пережитое.

Когда над родными могилами застучали безжалостные топоры, старик задумался: куда же перенести, где сохранить кости умерших. Везде ломают, строят, изменяют лицо земли. Где же спокойно могут лежать останки близких? Ему вспомнились слова Медведева: «Начальник приказал не трогать сторожку» — значит вблизи сторожки сохранится то, что некогда было его отцом и женой.

Вечерами старик выходил из избы и гупой, ржавой лопатой рыл могилу под старой плакучей березой.

Однажды в сумерках в сторожку прибежал парень и сказал:

— Там могилы разрыли!.. Десятник к тебе послал...

Терентий, не дослушав, взял приговоренный мешок и пошел к каналу.

На берегу канала на взрыленной, асфальтовой в сумерках, земле белели сложенные небольшой кучкой кости. Пюверж костей, будто увенчивая костяную пирамидку, лежали два черепа. Вокруг стояли рабочие, а внизу, в канале, скрежетали, стучали машины, поднимали вверх ковши с влажной землей.

— Давно померли? — спросил старика молодой рабочий и ладонью покачал по одному из черепов.

Терентий не ответил. Он бережно сложил в мешок кости и отнес их к могиле под плакучей березой. В этот вечер лесник не слышал и не видел окружающего. Как во сне или в бреду, он высыпал кости в яму, а два черепа взял в руки и долго смотрел на них. Какой из этих черепов принадлежал жене? Долго размышляя над этим, он почему-то решил, что череп в правой руке должен быть черепом жены. Он принес его в сторожку и положил на стол. Уже было темно. Шаря по столу спички, старик толкнул деревянную чашку и рассыпал бруснику. Наконец он зажег в свечке лучину и сел на лавку. Перед ним в красноватом, неровном свете лучины пожелтевший череп скалил зубы. Старик до боли ярко вспомнилась румяная, сильная девка, темные ее во-

лосы, растрепавшиеся по зеленому моху, и алые капли крови на своей прокушенной руке. Он даже почувствовал боль в том месте руки, куда впились острые зубы девки, а спелая брусника рассыпанная по столу, показалась разбрызганной кровью. Но вместо испуганных девичьих глаз смотрели на старика мертвые глазницы черепа. Терентий взял со стола ягоду и машинально опустил ее в глазницу черепа. Ягода тихо стукнула о стол и выкатилась из-под челюсти. Старик опять взял ее и опять опустил в глазницу. Потом долго сидел, поставив локти на стол и склонив на ладони голову.

Лучина догорела и погасла. Тускнел будто умирал, красный уголек в свечке

— Что с тобой, Вера? — спросил инженер Батуров Курганову.

— Со мной? Ничего, — ответила девушка. Она стояла на крыльце клуба и наклонив голову, внимательно рассматривала сучки и трещинки на деревянных избитых ступенях.

Батуров видел, как жарко горели ее щеки, раздувались ноздри и едва заметно дрожали плотно сомкнутые губы.

— Ничего, — тряхнула головой Вера и шагнула с крыльца.

— Подожди, — задержал ее начальник строительства. — Ты куда идешь?

— Домой.

— Нам по дороге, я тоже иду домой.

Несколько минут шли молча. Девушка торопливо шагала, будто хотела уйти от Батунова. Николай Иванович, смотря на Курганову, тихо заговорил:

— Ты что-то скрываешь, Вера... Я еще вчера заметил. Что случилось?

Вера пожала плечами и не ответила.

— Какие-нибудь неприятности в работе?

— Нет, все благополучно.

— Ты не хочешь мне сказать правду... Это конечно твое дело... Но мне всегда казалось, что ты доверяешь мне несколько больше, чем другим людям. Мы знаем друг друга почти восемь лет. Мы жили в одном доме два года. Я был

тогда слесарем, а ты вожатым пионером. Помнишь, я решал тебе задачки?

— Ну конечно помню.—Вера мельком взглянула в лицо инженера и бледно улыбнулась.

— А помнишь тот вечер, когда ты вступила в комсомол? Мы возвращались вместе домой, остановились у крыльца...

Курганова порывисто схватила Батузова за руку.

— Николай Иванович, не надо!.. Не говорите сейчас об этом... Я знаю: вы относитесь ко мне как... как будто я вам близкий, родной человек... И я... я тоже... Я уважаю вас, считаю необыкновенным человеком... Николай Иванович, живой, поверьте: когда у меня случится горе, несчастье, я приду к вам за советом, помощью... К вам одному. А сейчас... не говорите со мной...

Голос девушки взволнованно дрожал, а из глаз, как из переполненных голубых чаш, быстро бежали крупные слезы.

— Вера, ты плачешь? — изумленно спросил инженер.

Не отвечая, она резко повернулась и быстро пошла, почти побежала от начальника строительства.

В своей комнатке девушка умылась холодной водой, заварила крепкого чая в села к столу. Разложив тетради и брошюрки, она старалась сосредоточиться на докладе, к которому готовилась последние дни. Но мысли плохо ловиновались ей, улетали от тетрадей в библиотеку клуба. Устремив неподвижный взгляд на маленькую стеклянную чернильницу, Курганова видела библиотечный прилавок и разложенные на нем цветные обложки книг. Одна обложка заинтересовала ее, девушка протянула руку, чтобы взять книгу, но кто-то подошел сзади и сказал:

— Здравствуй, Вера.

Обернувшись, она увидела Шахрая и почувствовала, как вспыхнули ее щеки.

— Здравствуй, Вера.—повторил техник, и в его словах была прежняя дружеская ласка.

Девушка хотела улыбнуться, но внезапно вспомнила горбатый мостик над

ручьем, пыльную дорогу, красные от заходящего солнца стволы сосен, вспомнила темный вечер, Катюку Самоплясову, вместе с Шахраем выходящую из клуба, и, не сдерживая волнения, быстро отошла от прилавка. Техник шагнул за ней.

— Вера, давай поговорим спокойно.

Она выбежала из клуба и столкнулась с начальником строительства.

«Милый, милый»—думала Курганова о Николае Ивановиче, но в ее воображении всплывало не сухое, энергичное лицо Батузова, а молодая, ласковая улыбка Шахрая.

В дверь осторожно постучали. Вера вздрогнула и повернула голову.

— Кто?

— Можно? — тихо спросил знакомый голос, и девушка вскочила со стула. Она стояла у стола, прижав ладони к груди, чувствуя, как тревожно бьется сердце. Растерянно смотрела на дверь и не знала, что ответить.

— Вера!

Шагнув на середину комнаты, сказала:

— Войди.

И твердо встретила пылкий и, как ей показалось, печальный взгляд Шахрая.

Притворив за собой дверь, техник кивнул на окно.

— Посмотри, какой вечер. Как тебе хочется сидеть дома. Идем гулять.

Она все еще стояла посредине комнаты, молча смотря на вошедшего.

— Ну, идем же, Вера!

Девушка хотела сказать, что она никуда не пойдет, будет готовиться к докладу, но вместо этого подошла к столу, прибрала тетради и брошюрки и робко улыбнулась:

— Идем.

В лесу уже расплывались зеленые сумерки, на болотах рождались туманы, тускло небо, за мохнатыми шапками сосен пламенел закат. Курганова не замечала ни влажной свежести леса, ни пышных мхов под ногами, ни багряных отблесков заката на желтых стволах деревьев. Она испытывала незнако-

мое, тревожное и радостное чувство, она позабыла обо всем: о докладе, строительстве, о своей цели — работать, учиться, учить других, отдавать свои силы и знания великой перестройке мира. Ей казалось: она переживает жуткую, может быть, неповторимую радость и что ее любовь к Шахраю выросла до страшного предела, и нет сил бороться с огромным и неотвратимым.

На берегу Белого озера Шахрай остановился.

— Давай посидим здесь... Где-то горят леса. Чувствуешь, как пахнет гарью?

Не отвечая, она покорно села на мягкий моховой ковер.

— Зачем мы друг друга мучим?—заговорил техник.

— Это ты...—вспыхнула девушка.

— Нет, это ты... Я люблю тебя, я готов для тебя отдать все... За твою улыбку, за твоё счастье...

Он обнял девушку. Курганова испуганно отшатнулась, но Шахрай крепче сжал ее плечи и, наклонившись, горячо шептал:

— Верка... Верка...

— Пусти, я упаду...

И, падая, увидела над верхушкой сосны на противоположном берегу голубую искру звезды. Закрyla глаза, и звезда угасла, и все как будто исчезло, провалилось в небытие: и озеро, и лес, и небо...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Как ваятель, нанося первые удары глыбе мрамора, уже видит статую, которую воплотит в жизнь его творческая фантазия из этой глыбы, так и начальник строительства Батуров вместо бесформенной громады, опутанной лесами, переходами, тросами, видел мощное здание, воздвигнутое в первобытной глуши. Подходя к станции, он до реальности ясно представлял себе грандиозный серый прямоугольник ее фасада с огромными окнами, гранитным подездом, строгими дверями. Тяжелые двери отворяются легко и бесшумно, за ними—просторный вестибюль с блестящим паркетом, матово-белыми стенами, okay-

мленными снизу дубовыми диванами. Из вестибюля уходит вверх широкая белая лестница.

Инженер Батуров поднимался по лесам, спускаясь в глубокие провалы и в хаос щебня, цемента, бетона, железа, дерева, в паутине проводов, цепей и канатов представлял себе провалы такими, какими они будут через два года. Вот этот провал, над которым вместо потолка голубеет небо, превратится в зал турбогенераторов, и тогда небо закроется двускатным потолком, поддерживаемым легкими фермами, а пробоины в стенах примут формы высоких, от пола до потолка, окон. Ниже потолка протянутся вдоль белых стен опоры и рельсы для мостового электрического крана,—кран будет нужен для переноски тяжестей во время установки машин. Под ногами вместо пыли, осколков кирпича, щепы лягут блестящие плитки пола, и на них на многие годы встанут турбогенераторы. Они будут рождать электрический ток, и спящая сила солнца, спрятанная в солнечном кладе Моховых болот, снова проснется и, послушная людям, умчится за сотни километров, заставит двигаться машины, станки, поезда, трамваи, зальет озерами света города и села.

В полу зала турбогенераторов зияет четырехугольное отверстие. Заглядывая в него, Батуров видел глубоко внизу, как в пропасти, еще больший хаос железа, дерева и бетона. Оттуда доносилось гудение моторов, стук молотков, лязг и звон железа. Это отверстие будет обнесено стальной решеткой, а провал внизу предназначен для зала конденсаторов. Он будет заполнен машинами и трубами. Под турбогенераторами на четырехгранных бетонных столбах поместятся исполинские бочки конденсаторов пара. У их подножия расположатся водяные насосы, электромотор и паровая турбина. К самому большому насосу будет подведена толстая труба, при помощи которой насос начнет засасывать из Дикого озера воду для охлаждения отработанного пара. Из трубок конденсаторов вода по каналу уйдет в Белое озеро, из него—в Безымянное и

снова—в Дикое. В пробоины стен второго этажа видно, как маленькие фигурки людей и большие машины роют, черпают, выбрасывают, отвозят землю, соединяя Дикое озеро с Белым.

Батуров медленно шагает по доскам, прогибающимся под тяжестью его тела. Он полон бодрого и радостного чувства, видя, как налаженно и бесперебойно идут работы. Каждый прошедший день прибавляет к постройке десятки тонн кирпича, бетона, железа, каждый прошедший день приближает срок завершения строительства. К начальнику подходят инженеры и техники, докладывают о ходе работ. Начальник внимательно слушает, делает распоряжения и снова идет в лабиринте лесов, и снова, оставшись один, мечтает о будущем.

Вот здесь расположится высокое, в несколько этажей, отделение трансформаторов. По стенам в три яруса протянутся балконы. Пол усыпан галькой, чтобы в случае аварии масло из трансформаторов или масляных выключателей могло впитаться в пол, — это предотвратит распространение пожара. Высокие столбы поддерживают гирлянды опорных изоляторов и прикрепленные к ним провода. В самом верху поместятся «шины», на которые собирается электрическая энергия со всех генераторов станции. Вдоль задней стены встанут железные шкафы трансформаторов. Они будут уменьшать силу тока и повышать его напряжение. Во время работы трансформаторы нагреваются, гудят. Масло охлаждает их и заглушает гудение. Если масло в трансформаторах перегреется, то в помещении распределительных щитов начнут реветь, извещая об опасности, кляксоны, похожие на телефоны старого типа. Посреди зала выстроится в ряд масляные выключатели, внешним видом напоминающие железные ящики, из которых рогами торчат вывода изоляторов и тянутся толстые провода.

Начальник забирается на самый верх постройки и долго смотрит вниз. Слева, приплюснутые, распластались мастерские, недалеко от них — клуб, почта, столовые, баня; от мастерских краем Волчьей Гривы и дальше, мимо неболь-

ших березняков, тянется к Моховым болотам темный поясик дороги. По нему букашками ползают люди, изредка большими жуками пробегают автомобили. Бараки поселка № 1 похожи на игрушечные домики, они встали двумя рядами недалеко от торфоразработок. Торфяное болото размахнулось почти до горизонта, кое-где на нем блестят, наполненные водой, карьеры и едва заметно дымят торфяные машины. Ближе к станции в зеленой рамке черномелье лежит Белое озеро. От него к Безымянному протянулась серебряная ленточка канала. Безымянное озеро почти скрыто Волчьей Гривой, и только там, где были сделаны порубки, осколками неба светится вода. От постройки на юг и юго-запад идут две прямые широкие просеки. По одной из них проложена к полустанку узкоколейка, другая предназначена для линии высокого напряжения. Последняя просека прорезает лесные чащи на полтора километра, на ней будут установлены железные фермы, поддерживающие провода, по которым побежит в города и фабрики электрический ток.

Инженер смотрит на север, где густо зеленеют нетронутые тысячелетние леса; такие же леса два года назад были на берегу Дикого озера и на месте поселков и мастерских. В памяти всплывает тот день, когда впервые попал он на Моховые болота, шел от полустанка к сторожке деда Терентия, переходил по гнилой гати топь, и день этот кажется ему десятилетиями отодвинутым от сегодня.

«Рабочий класс советской страны победителем идет в лесах, пустынях, горах,—думает Батуров.—Новыми методами труда — социалистическим соревнованием и ударничеством — он совершает невиданные победы». Вспоминая свое сближение с рабочим классом, начальник чувствует себя частичкой многомиллионного победителя. Он горд этим, он упруго и быстро сходит вниз. Ему чудится: напряженная работа сотрясает постройку, и постройка, дрожа, плывет над землей. Он сравнивает ее с кораблем:

«Корабли проплывают пространства, строящаяся электростанция плывет во времени: от глухоты семнадцатого века к двадцатому столетию, от потемков прошлого к социализму недалекого будущего».

Кузнец Хрущев в разорванной блузе, с намазанным грязью лицом шел мимо столовой и, пошатываясь, пел:

— Бы-ы... ва-а... ли дни ве... се... лые, гу-у... лял я, мо... ло... дец!

Афанасий Ветров, встретившись с ним, изумленно спросил:

— Хрущев, ты пьян?

Кузнец остановился:

— Афоня, друг!.. Я сегодня загулял... — И, показывая из кармана горлышко бутылки, предложил: — Хочешь черепушку? Угощу... Эх, милая, работаешь, работаешь и гульнуть захочешь! Верно?

Нахмурив брови, Афанасий строго смотрел на пьяного.

— Где ты взял водку?

— Это, брат, секрет... Секрет красоты, мыло молодости... Если тебе понадобится—достану. Только скажи—уважу друга... Что глаза вылупил? Уперся, как бык в аптеку.

Ветров молча продолжал смотреть на потное, с блуждающими глазами лицо.

Кузнец рассердился:

— А ну тебя к чорту!.. Я с ним поговоришься, а он начальством прикидывается.

Качнувшись, шагнул в сторону и снова запел:

— Не знал то-о... ски-кру-у... чи... луш... кн, был во-о... льный у... да... лец!

Из столовой вышел слесарь Бубенец и, остановившись на крыльце, провожал взглядом Хрущева. Когда кузнец скрылся за углом почты, Бубенец подошел к Ветрову.

— Видал?

— Я говорил с ним.

— Это уже не первый случай. На строительстве с каждым днем больше и больше встречается пьяных.

— Тут что-то неладно.

— Вчера в нашей бригаде двое с похмелья были: руки трясутся, работа не ладится. В результате невыработки нормы.

— Тут что-то неладно, — повторил Бубенец.—Кто-то здорово шинкует. Надо последить.

— Не привозят ли водку вместе с материалами или с продовольствием?

— Последить надо.

Весь день в мастерской и вечером в бараке Афанасий Ветров думал, как найти людей, спаивающих рабочих. Вокруг строительства, верст на пятнадцать, не было продажи водки, несомненно кто-то привозит ее. Кто? Он перебирал в памяти всех, живших с ним в бараке, знакомых из других барачков и не находил среди них преступника.

В бараке на койках и у столов лежали и сидели слесаря, читали газеты, книги, пили чай. На крайнем столе играли в шашки бригадир Корней Фомич Турыгин и комсомолец Сухов. Комсомолец, проигрывая, горячился, стучал шашками о доску, а Турыгин ласково посмеивался:

— Ходи, ходи, я тебя затащу, куда надо.

— Не затащишь!

— Плакать будешь, а пойдешь.

И, беря с доски запертую шашку, подносил ее к носу Сухова.

— А это что?

Рядом с ними два молодых токаря решали задачи, они готовились на рабфак и дорожили каждым свободным часом.

Взгляд Ветрова в десятый раз скользнул по койкам и остановился на неряшливой, небранной постели.

«Петухов!—обожгла жаркая мысль.— Каждый вечер он куда-то уходит и возвращается, когда все уже спят. Он недавно работает на строительстве и ни с кем не сошелся близко». Вспомнилось, как Петухов насмешливо говорил о социалистическом соревновании, и подозрение усилилось. «Вот за кем посматреть надо».

Перед сном он сказал о своих догадках Бубенцу.

На зеленом мху под темными, низко спустившимися рукавами елей, корчилась девка и глухо мычала. Рядом с ней сидела бабка Лукерья и, сухими руками держа девку за плечи, шептала:

— Скрепись... скрепись... Ох, госпо-ди, Иусе...

В двух шагах от ели, согнувшись и беспомощно опустив руки, стоял Яков Семенович Дерюгин. Его лицо было покрыто испариной, острая борода гтряслась, как в лихорадке. Стискивая челюсти, он старался удерживать дрожь, бившую тело. Жаркий и душный туман окутывал кладовщика, мешал дышать, расплавлял мысли, и Якову Семеновичу казалось, что он переживает мучительный сон. Порой ему чудилось: несколько часов стоит он в лесу, и не будет конца этой глухой и страшной ночи. Оглядываясь, он наткнулся на колючие лапы елей, испуганно дергал головой и, насторожившись, слушал. Вокруг было тихо, только под небом ветер играл верхушками деревьев и сыпал сверху густой шипящий шелест. Изредка, пугая ночь, доносились тонкие и острые, как иглы, свистки паровозиков. Эти звуки напоминали о Красных горах, и тогда с ужасающей ясностью Яков Семенович мгновенно вспоминал все, что случилось этой ночью.

Он ложился спать, когда громко задребезжало стекло в окне. Испуганно вскочив с кровати, он выбежал на крыльцо, думая, что пришел за водкой Петухов. Но под окном Дерюгин наткнулся на сидящую женщину.

— Кто тут?—с дрожью в голосе спросил кладовщик.

Женщина взмахнула руками и хрипло крикнула:

— Рожу!.. Девай, куда хочешь!

— Санька!—хотел сказать Яков Семенович, но только жадно вдохнул открытым ртом воздух. Его ноги сразу онемели, а в груди замерло, потом бешено заколотилось сердце.

— Что же ты тут под окном, окаянная! — злобно зашипел он, но девка валилась на землю, хрипя.

— Бабку... Лукерью скорее...

И, забыв обо всем, Дерюгин побежал в женский барак.

В бараке тускло светилась электрическая лампочка, разметавшись на койках, спали девки. Не думая о том, что его могут увидеть, Яков Семенович на цыпочках подбежал к Лукерье и растолкал ее. Бабка подняла голову. Манила ее рукой и кивая головой, кладовщик отступал к двери. Несколько секунд Лукерья ошалело смотрела на Дерюгина, потом, должно быть, поняв, что случилось что-то необычное, поднялась с койки.

— Сейчас, сейчас выйду...

Замирая от страха, колотясь от внутреннего озноба, Яков Семенович стоял на крыльце. Скрипнула дверь.

— Что по ночам шатаешься,—сердито сказала бабка, выходя на крыльцо.

— Санька родит... За тобой прислала...

— Где?—быстро спросила Лукерья.

— У конторы.

— Доигрался, непутевый...

Часто семена ногами, старуха трусцой побежала по дороге. Спотыкаясь, шагала за ней Дерюгин и беспомощно шептал:

— Увести куда-нибудь надо... Увидят... Скрыть надо...

Они подняли девку и повели ее в лес. Санька тяжело висла на руках, всхлипывала и мычала. Иногда она громко вскрикивала, и от каждого ее крика обрывалось сердце Дерюгина.

И вот сейчас все это кажется давно прошедшим, может быть, не бывшим совсем. Но, всматриваясь в темноту, Яков Семенович смутно видел оголенные ноги девки, слышал ее глухие стоны и стискивал челюсти, подавляя волнение и страх.

Неожиданно бабка поднялась с земли и сильно толкнула в плечо кладовщика.

— Уйди в сторонку, бесстыжий!

Яков Семенович отошел на несколько шагов и остановился. Ноги были непослушны и вялы, точно набитые ватой.

Опять потянулись минуты, нестерпимо длинные и жуткие. Из темноты до-

носился, успокаивающий шопот бабки и звериные стоны девки. И вдруг сонный шелест деревьев пронизали острые крики и смолки. Под елью прозвучал новый крик, похожий на писк щенка. В темноте хлопотала бабка, слышался треск разрываемой материи. Через несколько минут Лукерья подошла к Якову Семеновичу и, подавая сверток, шепнула:

— Неси... В сторожку к Терентью... Пока там схороним...

Дерюгин неумело взял сверток и на холодных своих ладонях почувствовал его живую теплоту.

Натыкаясь на стволы и ветви деревьев, кладовщик бежал по лесу. Ноги тоннули в глубоких мхах, сучья царапали лицо, но он не замечал ничего. Одна мысль, яркая, как вспышка молнии, и страшная, как смерть, пронизывала сознание:

— Все кончено... Завтра все узнается...

Он кружил по лесу, сворачивал вправо, влево и наконец вышел на берег Белого озера. Под ногами захлюпала вода. Остановившись на берегу, Яков Семенович блуждающим взглядом окинул черную, немую поверхность озера и злобно прошептал:

— Что же это, господи... За что мне такое наказание?

Он стиснул сверток ладонями, и в свертке пощеньячи жалобно пискнуло.

«Окаянный!»—подумал Яков Семенович и замер, выпученными глазами смотря на черную воду. Сердце почти не билось, в горле застрял и душил горький и твердый ком. Отвисшая челюсть мелко дрожала. Раскрытым ртом Дерюгин жадно хватал воздух, потом размахнулся обеими руками и, закрыв глаза, бросил сверток в озеро.



Вера Курганова шла в клуб на собрание сезонников Моховых болот. Она думала о том, что в последнее время пункт ликбеза и школа малограмотных плохо посещаются ученицами. Это происходило, может быть, потому, что

торфянк? сезон уже подходил к концу и торфяницы думали не об учебе, а о родных своих селах и деревнях. Может быть, были другие причины, которые необходимо выяснить на собрании. Нужно внушить сезонникам, что начатое дело необходимо довести до конца.

Навстречу Кургановой по дороге от Моховых болот бежали три девки. Они громко разговаривали, и лица их были возбуждены и красны.

— Что случилось?—спросила их Вера, когда они подбежали к ней.

— Санька с ума сошла!—выкрикнула одна.

— Волосы на себе рвет, бегаёт по баракам!—задыхаясь, сказала другая.

Третья испуганно смотрела на Курганову, и губы ее прыгали.

— Какая Санька? Где она?—оторепело спросила Вера.

— С фрезерного участка! В контору ударилась!

Девки опять побежали.

Курганова стояла на дороге, растерянно оглядываясь. От поселка № 1 к Красным горам двигалась пестрая женская толпа. Мимо мастерских быстро шли два милиционера. За ними семенил Петька, «секарь» дубковской артели и размахивал руками, показывая то на поселок, то на склады.

«Должно быть, и правда что-то случилось»—подумала Вера и по узкой тропке, наискосок через болотистую низинку, пошла к конторе.

У конторы толпились красногорские рабочие, торфяники, женщины. На крыльце стоял милиционер, и никого не пускал внутрь помещения. Он распахнул перед Кургановой дверь, шепнув:

— Вас Копнов сейчас спрашивал.

В большой комнате бухгалтерии Вера прежде всего увидела девку, сидящую на табурете у окна. Ее лицо, с полуоткрытым ртом, широко раскрытыми глазами, было до жуткости неподвижно и напоминало страшную маску. А крупное тело билось мелкой лихорадочной дрожью. Руки девки лежали на коленях, и пальцы быстро двигались, будто заплетали невидимую косу. Недалеко от нее стояла бабка Лукерья с испуган-

ным бледным лицом. У стола, широко расставив ноги и по-бычьи наклонив огромную голову, сидел Копнов и исподлобья смотрел в угол комнаты. Вера взглянула туда и увидела Якова Семеновича Дерюгина. Он сидел, вытянув шею, будто к чему-то прислушивался, часто закрывал глаза и снова с трудом поднимал веки. Казалось, ему смертельно хочется спать. Встречаясь взглядом с Копновым, Яков Семенович испуганно и быстро перебрасывал взгляд в сторону и втягивал голову в плечи.

Копнов, заметив вошедшую Курганову, тяжело поднялся с табурета и шагнул к ней.

Милиционер повернулся к Дерюгину:

— Значит, вы утверждаете, что ребенок родился мертвым?

— Что-с?—тихо переспросил Яков Семенович.

— Я спрашиваю: мертвый или живой был ребенок?

— Мертвый... Совсем мертвый-с...

У окна послышался глухой стон, и Вера увидела, как внезапно исказилось лицо девки. Несколько секунд девка, хрипя, дергала головой, будто проглатывала что-то застрявшее в горле, потом вскочила с табурета и бросилась в угол.

— Врет!.. Врет он!.. Живой был младенчик!.. Жив... жив... жив...

Слова комкались, обрывались, переходили в отчаянный вопль. Яков Семенович еще более с'ежился и закрыл глаза. Милиционер схватил девку, но она легко вырвалась из его рук и метнувшись в сторону, наткнулась на Копнова. Сергей Михайлович, как ребенка, приподнял ее и отнес на прежнее место. Строго сказал:

— Санька, сиди смирно. Лукерья, смотри за ней.

Бабка подошла к Саньке, прижала ее голову к тощей своей груди.

— Дитяtko мое горемычное.

Сергей Михайлович, грузно ступая, приблизился к Кургановой и тихо сказал:

— Через полчаса зайдите в партийный комитет, там небольшое совещание

будет по поводу случившегося.—Заметив недоумевающий взгляд Веры, пояснил:—Прошлой ночью Санька родился, а Дерюгин убил ребенка.

За стенами конторы нарастал гул голосов, из него, как искры из костра, вылетали звонкие выкрики торфяниц. К окнам прижались десятки лиц. Из-под платков и фуражек множество глаз смотрело с любопытством, испугом и злобой.

Вере Кургановой вдруг почудилось, что все эти глаза смотрят на нее, и что она совершила какое-то ничем неоправданное и жуткое преступление. С отчетливой ясностью вспомнила она зеленый вечер на берегу озера, погасшую звезду над темной верхушкой сосны, мучительные и радостные поцелуи Шахрая.

«Зачем, зачем все это произошло»—с тоской подумала Вера, и ей захотелось уйти от людей и выплакать свое горе. Слезы подступали к горлу, девушка крепко стискивала зубы, боясь разрыдаться.

Милиционер что-то спросил Дерюгина. Яков Семенович, помедлив, ответил:

— Значит, так богу угодно.

Опять Санька вскочила с табурета, и жуткий ее крик забился в комнате. Неожиданно она бросилась к окну и взмахнула руками. Зазвенели стекла, исчезли за окном лица, ярче обозначился тесовый сарай, будто мокрой тряпкой мгновенно стерли с него пыль.

— Товарочки!.. Бабьиньки!.. Что со мной сделали!.. — кричала Санька в разбитое окно и окровавленными, изрезанными руками рвала на себе кофточку.

Милиционер и Копнов схватили ее, она билась в их руках, крича и кусаясь.

И уже не сдерживая слез, Вера выбежала из конторы.



Инженер Батуров получил телеграмму, которой вызывали его в Москву для доклада о ходе строительства и для учреждения некоторых вопросов. От учреждения, в котором предстояло сделать

доклад, зависело многое, и поэтому Николай Иванович тщательно подбирал материал, делал наброски, просматривал сметы и отчеты о ходе работ. Он не сомневался в том, что его доклад заинтересует высшие инстанции и обострит их внимание к тому огромному делу, которое творится в глуши лесов и болот.

«Электрификация—вот что является ведущим звеном социалистической реконструкции народного хозяйства,—думал Батуров, укладывая в портфель необходимые для доклада материалы.—Без широкого применения электричества немыслима современная организация производства на новых технических началах. Электричество—это прочный фундамент под дальнейшую индустрию. Электрификация страны идет гигантскими шагами. В этом году мы вводим полтора миллиона киловатт новой электроэнергии, вводим такую электромощность, какую, по плану ГОЭЛРО, предусматривалось ввести в 10—15 лет. Полтора миллиона киловатт, это — двадцать Волховстроев!»

Николай Иванович выдвинул ящик стола и достал из него толстую клеенчатую тетрадь. Тетрадь напомнила ему те годы, когда работал он слесарем на механическом заводе и делал заметки и выписки, касающиеся электрификации страны. Перелистав несколько страниц, он нашел выписку из речи В. И. Ленина, произнесенную на IX Всероссийском съезде советов:

«... Я хотел бы сообщить еще некоторые данные об успехах электрификации. К сожалению крупного успеха мы пока не имеем. Я рассчитывал, что смогу поздравить IX съезд с открытием второго крупного электрического центра, построенного советской властью: первый—Шатурка, а второй — новый центр — Каширская станция, которую мы как раз рассчитывали открыть в декабре. Она дала бы и может дать 6.000 киловатт в первую очередь... Но тут целый ряд препятствий привел к тому, что в декабре 1921 года мы этой станции открыть не можем. Она откроется в самый короткий срок, не больше, чем че-

рез несколько недель... Если сложить 1918 и 1919 годы, то у нас в этот срок были открыты 51 станция с мощностью в три с половиной тысячи киловатт. Если сложить 1920 и 1921 годы, то открыто было 221 станция с мощностью в двенадцать тысяч киловатт. Если эти цифры сравнить с Западной Европой, то конечно они покажутся крайне мизерными, нищенскими. Но они показывают, как может идти вперед дело даже при наличии ни в одной стране невиданных трудностей...»

Батуров захлопнул тетрадь и откинулся на спинку кресла.

«От двенадцати тысяч киловатт за 1920—1921 годы к полутора миллионам киловатт в настоящее время—вот путь, проделанный пролетариатом СССР в деле осуществления величайшего завета своего учителя и вождя. По всей стране строятся и расширяются электростанции. Пущена Шгеровка мощностью в 88.000 киловатт. На Нигресе установлены два агрегата мощностью по 24.000 киловатт каждый. Ивгрэс увеличил свою мощность на 48.000 киловатт, Каширская станция—на 50.000 киловатт».

Николай Иванович подошел к огромной карте, висевшей на стене. На карте синими кружками были обозначены строящиеся электростанции и красными—построенные, дающие ток. Он окинул взглядом раскрашенное полотно: синие и красные кружки молчаливо кричали ему о необычайном размахе строительства. Вот Зуевская станция, где каждая из турбин по мощности равна работающему Волховстрою, вот Кузнецкая, Березниковская, Донсода, Яргэс, Дубровская, Бсбриковская, вот величайшая в мире гидроэлектростанция—Днепрострой! Уже не тысячами, а десятками, сотнями тысяч киловатт растет электрификация: в ближайшее время Центрально-Промышленный район получит 153.000 киловатт новой мощности, Донбасс—250.000, Урал—168.000 киловатт.

Батуров задержался взглядом на синем кружке, обозначающем строительство Красногорской станции. Кружок

лежал в зеленом пятне лесов и б лот. Этот синий маленький кружок изменит здесь поверхность земли, изменит веками сложившийся быт, синий маленький кружок в ближайшие годы обрстет несколькими точками—заводами и фабриками.

Мысли начальника строительства перекинулись на другую отрасль народного хозяйства, тесно связанную с электрификацией. Он подумал о котлах, турбинах, о сложном электрооборудовании:

«Все это еще недавно ввозилось из-за границы, а в настоящее время котлотурбинная и электрическая промышленность развернула у нас свое производство до изумительных размеров. Ленинградский завод «Электросила» уже выпускает турбины мощностью в 50.000 киловатт. Огромное количество сложного оборудования Красногорская станция получает непосредственно с наших заводов. Однако здесь не все благополучно. Ряд строящихся станций, в том числе и Красногорская, испытывает острый недостаток в строительных материалах, рельсах, вагонах. Заводы — поставщики оборудования — не должны задерживать выполнение заказов. Это путает намеченные планы, срывает сроки выполнения работ. Рабочая общественность этих заводов должна взять выполнение заказов для электростанций под особое наблюдение. Я скажу об этом в своем докладе. Необходимо также упомянуть о строительстве подстанций и электропередач. Построить станцию — это еще не все! Надо пустить станцию, то-есть довести до потребителя — завода или фабрики — ток по электропередачам и при помощи подстанций. А строительство подстанций и электропередач значительно отстает от строительства станций.—Николай Иванович вспомнил недавно прочитанную в «Известиях» заметку о том, что в Донбассе, где должно быть построено 129 подстанций и 1.200 километров электропередач, план выполнен меньше чем на половину. — Мы ни в каком случае не можем допустить, чтобы у нас электропередачи и подстанции находи-

лись в стройке, в то время как Красногорская станция уже будет готова... Если не будет задержки в необходимом, мы построим станцию в срок... Честное отношение к делу, социалистическое соревнование и ударничество — вот наши рычаги, вот что позволит нам встать в темпах строительства вровень с Америкой».

Батурову захотелось перед отъездом еще раз окинуть взглядом постройку, почувствовать напряженное творчество сотен рабочих, уловить в хаосе движений и звуков знакомый бодрый ритм труда. Он положил в карман блокнот, взял кепку и вышел из дома.

До ночи начальник строительства пробыл на постройке, поднимаясь на леса, спускаясь в глубокие провалы, делая заметки в блокноте. Он надолго задержался у левого крыла здания, от которого тянулись, постепенно уменьшаясь, каменные наклонно срезанные устои. На эти устои будут опираться сквозные опоры, поддерживая громадные помосты. Здесь кружевными мостами от верхнего этажа здания до земли перекинутся три эстакады. По ним на стальных канатах медленно поползут вверх вагонетки, груженные торфом. Вверху над котельной вагонетки сбросят свой груз в темные ямы бункеров, откуда топливо равномерно начнет поступать в топки котлов.

Недалеко от строящихся эстакад стояло одноэтажное кирпичное здание, в котором устанавливали барабаны, электромоторы, зубчатые колеса, — механизм, приводящий в движение бесконечные канаты.

«Отсюда двинется в станцию солнечная энергия Моховых болот,—подумал Батуров.—В котельной она отдаст свой жар, накопленный тысячелетиями, возрожденная, она превратится в электричество... Один и три десятых килограмма хорошего торфяного топлива дадут один киловатт-час электроэнергии... А сколько килограммов торфа хранится в Моховых болотах?»

Инженер улыбнулся: несоизмеримые величины — килограммы и огромные пространства болот, в которых, по пред-

варительному подсчету, природа заготовила топлива на двести лет.

Батуров обошел станцию и вышел на берег Дикого озера. Вдоль берега, примыкающего к станции, тянулась широкая каменная дамба. На ней стоял маленький в китайском стиле домик—приемник воды. В темной поверхности озера отражались звезды электрических огней. Едва заметно чернел противоположный берег, будто дымное облако, лежащее на горизонте. С озера тянуло сыростью, запахами гниющих трав и водорослей. Озеро было первобытно тихо, таинственно, а сзади, на каменной дамбе, в стенах, изузоренных лесами, сверкало, гудело, скрежетало...

Домой Николай Иванович возвращался не широкой убитой булыжником дорогой, а узкой тропинкой, прямым через лес. Он шел торопливо, вспомнив, что еще нужно повидать своего заместителя и сделать некоторые распоряжения. Недалеко от поселка на стволе поваленного дерева он заметил двоих, тесно прижавшихся друг к другу. Туманным пятном белела в темноте кофточка. Когда инженер подошел ближе, кофточка отделилась от мужской фигуры, быстро метнулась в сторону и спряталась за широкой елью. Легкость и быстрота движений убежавшей девушки почему-то напомнили ему Веру Курганову. Он досадливо передернул плечами, вспомнив милое лицо давно знакомой девушки, ее порывы и мечты о будущем.

«Нет, это была не Вера,—старался убедить себя начальник строительства и в то же время волнуясь.—Вера не будет по ночам обниматься с парнями».

Но эти мысли не успокаивали непонятного и странного волнения, затемнялись другими мыслями:

«А разве не может Вера любить?.. Молодость безрассудна... Да разве любовь слушается рассудка?»

И впервые за всю свою жизнь инженер Батуров подумал о том, что его молодость прошла без любви, что никогда не была ему близка ни одна женщина...

Копнов весь день ходил по торфоразработкам, балагурия с артелями и в то

же время внимательно следя за ходом работ. С тех пор, как на Моховых болотах началась добыча торфа, болота во многом изменились. Во всю толщу массива прорезались длинные, наполненные водой карьеры, на их берегах широкие поля «стилки» были заполнены шоколадными плитками торфа; сквозными бурными точками возвышались клетки кирпичей, и на всем протяжении разработок выросли сотни тщательно сложенных штабелей.

Сергей Михайлович перепрыгивал через картофельные канавы, по зыбким, поросшим травой «бровкам» ходил между карьерами, взвешивал на ладони торфяны, разбивал их о землю, опознавая качество и степень просушки сработанного торфа. Под вечер, чувствуя знакомую здоровую усталость во всем теле, он не спеша направился домой. Недалеко от почты, у маленького домика, где помещалась милиция, Копнов увидел толпу торфяников и торфяниц и, поровнявшись с ними, спросил:

— Чего ждете? Гостинцами что ли оделять будут?

— Какие от милиции гостинцы,—отозвался пожилой сезонник.—Сейчас злодея повезут, вот и пришли посмотреть.

Сергею Михайловичу за всю его жизнь приходилось сталкиваться со многими тысячами людей различных социальных прослоек, и ему казалось, что он уже научился разбираться в них. Преступление Дерюгина поколебало эту уверенность. Якова Семеновича Копнов знал более десяти лет и всегда считал его опытным и честным кладовщиком, скромным и услужливым человеком.

«Ошибся, здорового маху дал»—подумал торфмейстер, и ему захотелось увидеть Дерюгина и поговорить с ним наедине.

В канцелярии милиции за столом двое милиционеров играли в шашки. Сергей Михайлович спросил у них разрешения поговорить с Дерюгиным.

— Он ведь у вас работал? Можно,—сказал один милиционер.

— Полоумный какой-то,—отозвался другой, не поднимая головы от шашельницы. — Все утро нынче пел.

— Я ненадолго, мне только кое-какие служебные вопросы выяснить.

— В ту комнату пройдите. Вот ключ.

Копнов отпер дверь и вошел в небольшую с железной решеткой на окне комнату.

Дерюгин сидел на узкой деревянной койке, опершись ладонями на острые колени и склонив на ладони голову. Увидав вошедшего торфмейстера, он медленно перевел взгляд на окно.

— Здорово, — сказал Сергей Михайлович. — Отдыхаешь?

Кладовщик ничего не ответил.

Копнов придвинул ногой табуретку,сел напротив койки и несколько минут молча смотрел на Дерюгина. За два дня лицо Якова Семеновича похудело, глаза ввалились, покраснели и как будто глубже вдавились в лоб и щеки следы от оспы. Под левым глазом кладовщика билась голубая жилка, и он часто щурился этот глаз, точно подмигивал на «страдания» девкам.

Неожиданно Яков Семенович выпрямился и в упор взглянул на торфмейстера.

— Полюбоваться пришли моим несчастьем?

Не дождавшись ответа, жалко улыбнулся:

— Что ж, полюбуйтесь... Любопытно-с... — Его лицо передернулось, и в голосе зазвучали слезы. — Все равно-с души моей вы не увидите. Душа у каждого человека далеко запрятана... Непостижима душа человеческая... Вы на меня, как на каторжника, смотрите, а в душе-то я, может быть, разнезчастный человек... Что молчите? Утешьте на прощание своего работничка.

— Обманул ты меня, Яков, — раздумчиво сказал Копнов. — Поверил я тебе, в люди вывел, сюда прислал на хорошую должность, а ты — вон каков оказался.

— Не я обманул... Самого меня люди обманули.

— Считаю я тебя порядочным человеком, а ты вон что выкинул.

— Санька во всем виновата, она, проклятая, подвела. Ей бы ко мне притти, посоветоваться, а она по всем баракам

летала, скандалила... А чего скандалить: мертвому младенцу все равно где лежать: в земле или в озере.

— Не ври, Яков, — глухо сказал торфмейстер. — Ребенок живой был, это и Лукерья подтвердила, и доктор.

— А откуда доктор знать может?

— Нашли ребенка в озере, недалеко от берега был.

Дерюгин поежился, на его лице под левым глазом чаще забились жилка.

— Мертвый-с.

— Живой... Это уж доказано, заpiresтельство твоё не поможет.

— Мертвый.

Глаза Копнова потемнели.

— Разбойник ты, Яков.

Кладовщик усмехнулся:

— Какой я разбойник!.. Нешто в те-перешней жизни можно разбойникам быть? Для разбойников времена прошли... Чуркины, Аракчевы в наше время невозможны-с... Настоящие разбойники и на казнь с веселостью шли, с песней... Когда Аракчева на каторгу гнали из Гуслицы, он в Давыдовском кабаке песню пел: «Последний день красы моей»... Плакали все от этой песни. А я что ж?.. Слабый человек... Утречком вот вспомнил Аракчева и вздумал песней утешиться. Ничего не вышло-с... Душа ушла из песни, мертвая песня стала, не утешила...

— Смотрю я на тебя и не понимаю: мошенник ты или юродивый.

— Несчастный человек — вот кто я... За других тяжелый крест несу... За блудницу Саньку... Как она, позвольте полюбопытствовать?

— В больнице лежит.

— Говорил я ей: «Уезжай с болота, денег пришлю»... И прислал бы, не обманул. Деньги у меня были.

— О твоих деньгах тоже известно. С Петуховым шинкарством занимался, под видом материалов водку в ящиках получал.

— И это узнали-с?

— Слесаря раскрыли... Жалко, что Петухов скрылся, а то вместе вам посидеть не мешало бы: сапог сапогу — пара.

Дерюгин опять усмехнулся:

— Нет у вас жалости, Сергей Михалыч... В беде-несчастье человека всегда пожалеть надо, а вы шутить изволите.

Снаружи загрохотал подехавший грузовик, за стеной в канцелярии протопали тяжелые сапоги.

— За тобой приехали, — поднялся Копнов и вплотную подошел к Дерюгину. — Скажи мне по совести, Яков: как это вышло? И... и неужели тебе младенца не жаль было?

Яков Семенович, отводя в сторону глаза, тихо ответил:

— За других страдаю... А младенец, что же... мертвый был...

— Гадина! — побагровел торфмейстер и взмахнул тяжелым кулаком.

Дерюгин быстро вскочил с койки.

— Не троньте... Кричать буду.

Несколько секунд Копнов напряженно смотрел в маленькие глазки кладовщика, потом процедил сквозь зубы: «Мразь» — и вышел из комнаты.

Толпа у крыльца глухо загудела, когда милиционеры вывели Дерюгина. Звонкий женский голос выкрикнул:

— Казните его там, разбойника!

Яков Семенович забрался на грузовик и низко поклонился толпе.

— Прощайте, православные... Прости Христа ради...

Ему никто не ответил.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Катастрофа пришла неожиданно. Неделю назад на Красных горах и Моховых болотах была обычная жизнь: трудились и отдыхали люди, дымили локомотивы, стучали, рокотали, скрежетали машины, станки, бетономешалки, камнедробилки. На постройке, в мастерских, в карьерах люди старались выполнять, выполняли и перезыполняли намеченный план, и казалось, строго организованный, налаженный человеческий труд нельзя ничем затормозить, исковеркать, остановить. Но приближающаяся стихия тормозила, ломала, останавливала работы.

Стихия надвигалась с севера, из дремучих лесных массивов. С Красных гор было видно, как далеко на горизонте

над горбатыми спинами лесов поднимались черные и белые столбы дыма; они принимали причудливые формы, расплывались воронками, клубились теплыми облаками, грозовыми тучами лежали на краю неба. Люди беспокойно смотрели на север, с затаенным страхом говорили: «Горят леса» — и по величине дымных туч судили о размерах пожаров. И чудилось: на земле все изменилось, — лес казался сухим, зловещим, готовым воспламениться каждую минуту; над озерами горько пахнущим синим туманом навис дым; воздух из прозрачно-голубого превратился в мутно-лиловый и с каждым днем густел в удушливое пах гарью. Солнце померкло, оно медленно двигалось в жарком небе, тусклое, как яичный желток. Деревья и здания не отбрасывали теней, застыли в желтом, необычном и странном свете.

Ночами изредка показывались звезды, кроваво красные и тусклые, но скоро и они померкли в дыму и гари. На горизонте полыхали багровые сполохи, и было похоже, кто-то неведомый и жуткий разложил в темных далах исполетские костры, и они докрасна накалили край темной небесной чаши, опрокинутой над землей. Ночи не приносили успокоения и свежести, не выпадали росы, туманы были удушливы и теплы. Ночами так же, как и днем, небо дышало жаром. Днями, в движении и звуках работ, грядущая опасность мнилась далекой, в сумерках она ощущалась ближе, а ночами беспокойство людей возрастало, переходило в страх.

Лесные пожары вблизи строительства случались и раньше. Они вспыхивали от неизвестных причин, но им не давало распространяться, быстро заглушали. Теперь же огненная стихия с каждым днем расширяющимся полукругом грозно шла из неведомых далей.

На совещании партактива и администрации строительства было решено подсобных рабочих — канавщиков и пенциков — отправить в лес навстречу опасности. Под руководством партийцев они должны были вырубить и подобрать сухие, рыть канавы, преградить

дорогу огню. Людей разбили на бригады, каждой бригаде наметили определенный район, и ответственным начальником над всеми бригадами был назначен Медведев. Отец Медведева когда-то заведывал лесничеством в тех местах, где теперь строилась электростанция и раскинулись торфоразработки. Алексей Петрович вместе с дедом Терентием часто охотился тогда на Диком, Белом и Безымянном озерах, забирался в первобытную глушь и лучше других знал эти места.

Рано утром бригады двинулись в лес. Медведев, объяснив каждому бригадиру его район, пошел за Белое озеро. С ним шли тридцать человек канавщиков с топорами, железными лопатами, котелками, жестяными чайниками и запасом продовольствия в сумках. Лес был необычно тих, и в нем остро и горько пахнувшая гарь заглушала запахи смолы, грибов и перегнивающей хвои. Под ногами хрустел валежник и пересохший рассыпающийся мох. Сухие низинки и лесные полянки были покрыты голубыми одеялами дыма.

— Сухмень,—сказал один из канавщиков, закурил и бросил на землю горящую спичку.

— Ты что же это? — строго посмотрел на него Медведев. — Идешь тушить пожар, а сам огонь разбрасываешь. Посмотри.

От горящей спички затлелась хвоя, вспыхнул сухой пруттик. Крестьянин топорливо затоптал огонь. Идущий рядом с ним остановился и, мочась на обожженную землю, назидательно сказал:

— Ты, Фома, будь поаккуратней...

За краснолесьем потянулись заросли березняка и осинника. Березы и осины в это жаркое лето раньше обычного начали увядать. Сухие желтые, багряные, багровые листья пестрыми коврами лежали в перелесках.

Люди, с трудом пробравшись сквозь чащугу, вышли на окраину огромного болота. На болоте высокими щетками щетинился тростник, и кое-где яркими пятнами зеленели, затянутые ряской, бездонные колодцы чарус. У берега ржавыми измятыми шапками бугрились

кочки. Далеко за болотом в сизо-дымном воздухе едва различимо виднелась лиловая полоска мелколесья. Над ним лежала широкая туча пепельного дыма.

— Эта топь непроходима, — сказал Медведев, смотря на дымную тучу. — Обойдем ее стороной и там, у сосняка, начнем работать.

Долго шли окрайками болот. Сзади Медведева шагал Фома, коренастый, невысокий крестьянин, и рассказывал своему соседу о колхозе. До Алексея Петровича долетали обрывки фраз:

— Сначала не верили, а потом решили: попытаем... И попытали. Теперь у нас куда лучше прежнего дела идут... Без веры ничего не выйдет... В нашем деле без веры нельзя... А поверили — и вышло.

— Во всяком деле без веры нельзя,— отвечал сосед. — Без веры и аккуратности... Во всем аккуратным надо быть.

Ему очевидно очень нравилось слово «аккуратно», и он часто вставлял его в свою речь.

Обойдя болото, Медведев расставил людей в линию и распорядился:

— Рой канавку... Неглубоко рой, а землю пошире разбрасывай, чтобы огню схватить было нечего. Сорсенки и можжевельник около канавки вырубай, оттаскивай в сторону... Канавка вот так пойдет. Влево от нас должна другая бригада работать, к ней мы и двинем. Ну, начинай!

Он сам взял лопату и, расстегнув ворот рубахи, начал рыть.



Бригада Бубенца расположилась за Березовыми выгорами. Весь день люди рыли канавы, вырубали и оттаскивали в сторону сухие. Под вечер на поляне разложили костры, кипятили чай, варили в котелках похлебку. В дыму и гари вечер подходил незаметно, без зари и алых отблесков на верхушках деревьев.казалось: дым копотью оседает на небе, и небо быстро темнеет, как алюминиевый котелок над костром.

После ужина канавщики и пенщики долго пили чай из жестяных кружек, лениво разговаривали. У одного костра

пожилой крестьянин рассказывал о нечистой силе. Он сидел согнувшись, ковыряя палкой в костре, будто выгребал из золотых, тихо потрескивающих углей воспоминания.

— Вот такая же ночь была, сухая, душная... Шел я из Касьяновки от кума в свою деревню... А иттить надо было лесом. Иду. Дорога знакомая, на ощупь дорогу знаю... Все ничего, ничего, — лес тихой, темной... Дошел до оврага. Знаю: тут ежили вправо свернуть — наискосок ближайшим манером в деревню пройти можно... Вот только овраг перейти... Ладно... Спустился я в овраг и только на другой берег стал вздыматься — как надо мной загрегочет. Я так и обмер. Стою и шагнуть боюсь. И сразу у меня в мыслях: это «он»... Сотворил молитву, пошел дальше. Десяти шагов не шагнул — опять загреготал и ладонями захолопал. Я не останавливаюсь, иду... Затихло. Потом где-то под кустом ребенок заплакал. Жалобно так плачет и плачет. Тут я ополоумел, жалость разобрала. «Пойду, — думаю, — возьму ребеночка, может, в лесу заблудился...» Свернул в сторону, пошел. А он сзади плачет. Я — обратно, а он сбоку стонет. Вот, мол, какой ты ребеночек, — и уж напрямик пошел, не слушаю. Плакал он, плакал и опять как загрегочет, аж по спине мороз подрал. Я тороплюсь, запыхался, голова кругом идет. Смотрю: полянка, а на полянке «он»... Высокий, седой и руками размахивает. Обмер я, а потом озлился... «Ах ты нечисть!» — да прямо на него... Подхожу, а «он» в пень обернулся: Стоит высокий пень и никаких рук у него нету... А в лесу разные голоса играют. Я — туда, я — сюда, — нету дороги... Заплутался. Ходил, ходил, — измаялся. Упал и ничего не помню... Очнулся — солнышко встает, птички поют, и лежу я под сосной у самой дороги...

Пенщик помахал над костром загоревшейся палкой и бросил ее в огонь.

— А вот комсомолы у нас в деревне ни в чорта, ни в бога не верят... А я сам видал... Как мне не верить?

— А ты, дядя, от кума-то не пьяный возвращался? — спросил Бубенец.

— Маленько выпили, это правда.

— Ну, вот филина за лешего и привял.

Крестьянин недовольно засопел и ничего не ответил.

У другого костра дружно хохотали над похабной сказкой о попе, попадье и работнике Иване. Молодой парень, взвизгивая, валялся на животе а дрыгал ногами.

Пожилые канавщики, натаскав вороха еловых ветвей, укладывались спать.

Бубенец обошел костры, послушал немудреные крестьянские выдумки, сказал:

— Вы, ребята, спите, а я караулить буду. Под утро кого-нибудь разбуду на смену.

Костры угасали, покрывались серым пеплом. Затихли голоса и кое-где уже раздавался здоровый густой храп.

Бубенец прошел вдоль канавы, обошел спящих людей и сел на сухую землю, прислонясь спиной к стволу сосны. Перед ним продолговатым блюдом лежала полянка и за ней мутно-темной стеной стоял лес. Ветру не было, но лес однообразно и густо шумел. Изредка потрескивали в темноте сухие сучья, падала с дерева шишка, и откуда-то издадека чуть слышно доносился протяжный крик:

— Э-э-э-эй!

Слесарю сначала почудилось, что кричит зверь или птица, но потом он понял: кричит человек, должно быть, в одной из бригад, вышедших на борьбу с пожаром.

Лес гуще наливался дымом и как будто возбужденнее и громче шумел. Сухой необычный шум нарастал и креп с каждой минутой. Стена леса еще более расплылась, и внизу, под стеной, пластами лежал сизый дым. Неожиданно подул ветер, зашипела над головой хвоя, дымные пласты сломались, закрубились. За полянкой мелькнул огненный глаз. Бубенец быстро вскочил на ноги, напряженно всматриваясь в темнотную муть. Опять сверкнули огненные глаза, погасли; потом, словно из но-

ры, выскочили золотые мыши и разбежались в стороны.

— Вставайте! — закричал слесарь.— Пожар!.. Идет пожар!

На земле зашевелились, поднимались люди, недоумевая, смотря за канавку, где бегали юркие сверкающие ящерицы. Они спасались от красных ежей. Иглистые зверьки, подпрыгивая и брызгая искрами, катались на опушке.

— Скорей!.. Скорей!.. — торопил Бубенец.— Бери ветки, захлестывай огонь!.. Становись по канаве!

Красные ящерицы подбегали к свежеразрытой земле, останавливались на мгновение, потом сворачивали в сторону и бежали вдоль канавки. Люди били их еловыми лапами. Тихо потрескивая, ящерицы рассыпались, и на земле, где только-что бежали они, шевелились и умирали золотые личинки.

На Бубенца по сухой траве катился огромный огненный паук. С каждым мгновением он вырастал, изменял форму. Его лапы жгли траву, укорачивались и снова удлинялись. Бубенец перепрыгнул канавку и тяжелой еловой веткой ударил паука. Паук разлетелся роем сверкающих мух. Одна муха, прочертив над разрытой землей золотую ломаную линию, упала под можжевельный куст, и через несколько мгновений под кустом зацвели багряные и желтые маки. Люди бросились к можжевельнику, яростно топча ногами и сокрушая ударами ветвей огненные цветы.

Сзади сухо затрещала хвоя, и две белки, точно вынырнув из-под земли, неспеша запрыгали по клочкам пересохшей травы. Одну белку догнал и забил подошвами лаптей парень, что с вечера катался от хохота, слушая сказку про попа. Сейчас его лицо с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами было издуганно. Он долго топтался на месте, хотя под его ногами не было ни одной искры, потом внезапно остановился, смотря, как вторая белка, добежав до ели, скользнула вверх по стволу, метнулась на ветку, перепрыгнула на другую — и ель зацвела голубыми и оранжевыми огоньками. Парень шире разинул рот, словно собирался что-то сказать,

но не успел произнести ни одного звука — на него выбежали два пенщика, крича:

— Огонь сзади!.. Сзади идет!

— Спасайся!.. Живьем погорим.

Они побежали вдоль канавки, к ним, бросая топоры и лопаты, присоединялись остальные пенщики.

— Стой!.. Куда вы? — закричал Бубенец, но его не слушали. Тяжелый топот ног скоро затих в дымном лесу. Слесарь оглянулся. Недалеко от него стоял, разинув рот, молодой парень и смотрел, как в сотне шагов от них высоко над землей, между стволами и ветвями деревьев, перевивались, свертывались и снова расправлялись яркие флаги. Ветер трепал их, разрывал на клочки, бросал на землю, но множество невидимых рук снова раскидывало багряные, багровые, желтые полотнища.

Бубенец толкнул парня в плечо:

— Беги!

Парень шевельнул губами, тихо и восторженно сказал:

— Эх, как чешет.

— Беги, дубина! — крикнул слесарь и вместе с парнем побежал от ревущей, свистящей, стонущей стихии.



На строительстве и торфоразработках были прекращены все работы, в лесу и на торфяных массивах люди яростно боролись с пожаром. Позади станции валили сосны, рыли широкую канаву, преграждая дорогу огню. С каждым часом приближался и суживался огненный полукруг. Там, где горели болота и мхи, поднимались облака желто-белого дыма, а над лесными чащами лежали черные, дымные тучи. Люди с обезумевшими глазами, с лицами, покрытыми гарью и копотью, в одеждах, пропахших дымом, дни и ночи защищали созданное в глухомани. В клубе бесценно работал боевой штаб, руководимый секретарем парткома строительных рабочих. Штаб принимал донесения, отдавал приказы, перебрасывал людей с одного участка борьбы на другой. Над большой картой района, разложенной на двух столах, часто склонялись головы, и цвет-

ные карандаши делали отметки: красным — там, где наступал огонь, и синим, — где огонь задерживали.

На третий день, после того, как первые бригады были посланы в лес, в клуб прибежал комсомолец Сухов и возбужденно заявил:

— Пропала бригада Медведева!

— Как пропала? — спросил начальник штаба.

— Все бригады вернулись, работают на других местах, а Медведева нет.

Воспаленные от бессонных ночей глаза секретаря парткома в упор посмотрели на комсомольца, потом опустились на карту.

— Где был его участок?

— За Белым озером... Он прошел дальше всех.

Красные линии карандаша густо исчертили зеленое пятно карты позади голубого овала озера.

— Должно быть, огонь обошел бригаду.

— Ну? — опять поднялись на комсомольца глаза начальника штаба.

— Погибли... — И, не сдерживая дрожь непослушных губ, Сухов торопливо заговорил: — Ну, смотри... Вот смотри сам... Здесь — огонь, здесь — огонь, здесь — огонь!.. А бригада должна быть вот в этом месте... До сих пор бригада не вернулась. Ну, где она?.. Ну, что ты смотришь?

— Немедленно послать разведку.

— Куда послать? Дойдут до огня и вернуться!

— А вот здесь! — Палец секретаря парткома застучал в желто-зеленое пятно карты. — Что здесь?

— Здесь непроходимое болото, топь... неисследованное место.

— Может быть, они в болоте укрылись.

Комсомолец безнадежно махнул рукой.

— Послать разведку! Пусть они попытаются пройти вот здесь... Видишь: здесь огонь прошел. Пришли ко мне Бубенца, его бригада работала недалеко от Медведева...

Через час Бубенец с двумя рабочими отправился в лес. Проходя мимо сто-

рожки Терентия, он увидел лесника, сидящего на ступенях крыльца.

— Приятель твой пропал, — сказал старику слесарь.

Терентий молча посмотрел на рабочих.

— Медведев, Алексей Петрович.

Потускневшие глаза лесного деда оживились, он поднялся со ступеньки и, суетливо и ненужно одергивая рубаху, произнес:

— Ври больше...

— Искать его идем.

— Постой... Как же это? Алешка не такой парень, знает лес... Зря что-нибудь.

— Третий день с пожара не возвращается.

— А куда пошел он?

— За Белое озеро.

Терентий закивал головой:

— Так... так... За озером — топь, гиблое место... Пошто его туда понесло? Глупой... Ах, глупой... Пошто вы туда идете, не пройти вам. Вернитесь... Слышь, что говорю: вернитесь...

Старик долго смотрел вслед рабочим, потом тяжело опустился на ступеньку, положив на острые колени коричневые иссеченные морщинами кисти рук.

Лесные пожары всегда были для Терентия большим бедствием, они уничтожали, губили леса, — то, с чем сроднился он за долгую свою жизнь. Лес всегда казался старику непостижимо огромным, непобедимым, полным таинственной, еще неразгаданной человеком мощи. И когда налетали возникшие в неведомых чащах огненные вихри, жгли деревья, опаляли землю, — Терентий испытывал страх. С огненной стихией нельзя было бороться, она красным ураганом пронеслась в лесах, натыкалась на озера и болота, и сама постепенно затихала. Несколькими годами назад в леса и болота пришли люди и дерзостно начали борьбу с лесом и топями. Терентий смотрел на них, как на безумцев, но «безумцы» привезли страшные машины и победили глумань. У старика поколебалась вера в мощь и непобедимость леса, и все же он ждал, что произойдет что-то

необычное и сметет с лица земли созданное пришельцами.

«Бог повелел здесь тишине быть, — думал старик. — Люди пошли против бога, но придет время, и бог накажет дерзостных».

Теперь, как никогда раньше, горели леса, и в этом видел старик божие наказание. Он даже испытывал чувство какого-то удовлетворения: люди прекратили работы, суматошно бегали в лес и из лесу, собирались толпами, о чем-то возбужденно говорили. Ему казалось: все растерялись перед бедствием и не знают, что делать. Но, присмотревшись ближе к тому, что происходило в эти дни на строительстве, Терентий с изумлением заметил: человек пытается бороться со стихией. Бригады рабочих шли в лес навстречу опасности, иногда бежали от нее, иногда задерживали и заглушали огонь...

Старик посмотрел на мутно-сизое, закоптелое небо, на тусклое пятно солнца, раздумчиво покачал головой.

«Каки таки люди стали?.. Не поймешь их... На гибель лезут. Вон Алешка, куда, дурной, пошел...»

Внезапно с необычайной ясностью Терентий вспомнил, как охотился он с Медведевым в тишине и таинственности леса и как крепко и по-одинаковому любили они землю. Эти мысли сменились другими, взволновавшими деда:

«Алешка, должно быть, в топи укрылся, а может быть, на суходоле, за болотами, где я в последний раз за лосем ходил... Лось-то меня на суходол и вывел... Еще колышки я натывал на гряде, дорогу заметил...»

Лесник быстро встал с крыльца, шагнул в сени и взял в углу топор. Отойдя несколько шагов от сторожки, остановился, как бы не решаясь идти дальше, потом быстрее зашагал к лесу, над которым вздымались и опадали клубы желтого и черного дыма.



Загорелись торфяники.

Огонь быстро бежал по пересохшему мху, траве, и под опаленной поверхностью земли все время тлелась торфя-

ная масса. Невидимое пламя подтачивало корни, и перелески превращались в исполнинские кучи поваленных деревьев. В едком, удушливом дыму желтели белые стволы берез, корчились ветви, свертывались, испепелялись листья. Подземные пожары медленно ползли к горфоразработкам.

Артели торфяников и «рамки» торфяниц, защищая разработки, обрывали их канавами, пускали встречный огонь. У торфяных машин были поставлены бочки с водой, день и ночь дежурили люди. На северной стороне участка № 1, где больше всего была опасность, у локобилей снимали арматуру, электродные цепи — все, что можно было увезти. На полях стилки пересыхали кирпичи, разваливались клетки торфа, но сейчас за этим никто не следил.

Копнов дни и ночи проводил на болоте, руководил артелями сезонников. Его лицо осунулось, потемнело, глубже ввалились глаза, и на переноси не расходилась толстая складка от напряженно и озабоченно сдвинутых бровей. Он уже не балагурил с рабочими, сурово и отрывисто отдавал распоряжения. И голос его изменился, будто пересох, растрескался, звучал хрипло.

Сергей Михайлович с жалостью смотрел на штабели готового торфа. Сколько труда положено человеком на то, чтобы достать из недр земли, переработать, высушить, сложить это топливо! Сколько паровых котлов, турбин, машин и станков привело бы в движение добытое богатство солнечного клада! «Неужели все это погибнет?.. Неужели все это мы приготовили для того, чтобы сжечь? — думал торфмейстер, и в нем вспыхивала злорада на кого-то неуловимого и страшного. Пожары представлялись ему полчищами слепых и яростных врагов. Багряными и жаркими скопищами шли они со всех сторон, бессмысленно и жестоко губя все, что попадалось им на пути.

Копнов видел, как огонь уничтожил поселок на участке № 2, где подготавливались поля для добычи фрезерного торфа. Это произошло на четвертый день после прекращения работ на стро-

ительстве. Рано утром к торфмейстеру прибежал посланный от техника Щапова и сообщил, что поселок № 2 угрожает опасность. Сергей Михайлович на моторной дрезине помчался на участок. Навстречу ему по узкоколейке бежали толпы испуганных людей. Остановив дрезину, торфмейстер спросил:

— Почему бежите?

Не отвечая, люди пробежали мимо.

— Куда бежите?! — закричал Копнов. — Стойте, мать вашу!..

Он спрыгнул с дрезины и схватил за груды молодого, высокого парня.

— Куда бежишь?.. Стой!

Парень рванулся.

— Пусти!

Копнов тряхнул обезумевшего человека, до пояса разорвав его рубашку.

— Где Щапов?

Тяжело дыша, парень ответил:

— Не видал... Пусти жа, дьявол!.. Да что ты в самделе?!

Злобно скривив губы, он размахнулся, но его рука попала в пальцы торфмейстера. Парень согнулся и застонал от боли. В этот момент Сергей Михайлович увидел техника: Щапов последним быстро шел по узкоколейке. Пальцы Копнова разжались. Моторист обернулся и спросил:

— Обрато ехать?

Торфмейстер молча сел на дрезину.

— Обрато ехать?

— Подожди, спросим... — И тяжелым взглядом уперся в подходившего техника.

— Все кончено, — сказал Щапов, остановившись под насыпью. — Ничего нельзя было сделать.

— Поселок?

— Горит... Со всех сторон огонь... Двое рабочих чуть не погибли. Поезжайте обратно, Сергей Михайлович.

На щеках Копнова заиграли твердые желваки, взбухли на висках синие жилы. Качнув огромной головой, он сказал:

— Идите, а мы доедем до пожара... На обратном пути захватим вас... Трогай, Вася.

Дрезина затряслась, зафыркала, и снова замелькали по обеим сторонам на-

сыпи белые стволы берез, кривые, невысокие сосенки, бурые кочки и сложенные клетками шпалы. Деревья, кочки, землю обволакивала синяя кисея дыма. С каждой минутой дым становился гуще, до боли ел глаза.

За поворотом дрезина замедлила ход и остановилась. Навалившись грудью на спинку передней скамьи, торфмейстер жадно смотрел на широкое пространство земли, расчищенное от леса, изрезанное осушительными канавами. По коричневым, похожим на разостланные скатерти, «картам» медленно двигались кудрявые дымки, на канавах вспыхивали, гасли и снова возникали тусклые лоскутья огня. От длинных караванов очеса валил густой дым, изредка выбивалось пламя; там, где проползли густые дымные облака, караваны почернели, уменьшились, покрылись золотой пряхей. От них по ветру летели искры и пепел. На суходоле грещало и ревели краснолесье. В нем мегалось скопище багряных зверей. Они яростно грызлись между собой, катаясь огромными клубками; кое-где клубки рассыпались, и звери разбегались в разные стороны, припадая к земле и кидаясь на деревья. Копнов видел, как один мохнатый бесформенный зверь добежал до высокой сосны и забил по стволу красными лапами. Неожиданно он вытянулся змеей, скользнул по дереву и, снова раздувшись, запрыгал, закачался на пышной ветви. Дождем посыпалась сгоревшая хвоя, а багряный уже перекинулся на другую ветку, забирался выше.

Вверху, в шапках сосен, бились стаи огненных птиц, пытались и не могли улететь в небо. Птицы хлопали сверкающими крыльями, роняя на землю золотые перья.

Недалеко от сосен исполинскими кострадами горели два барака. Сбоку от них у длинного склада тускнела тесовая крыша; курилась голубыми струйками дыма и вдруг сразу в нескольких местах зацвела желтыми тюльпанами.

Моторист толкнул в плечо Копнова и показал на мелкую поросль краснолесья. Между невысоких сосенок и ку-

стов можжевельника бежали к узкоколейке горячие взбесившиеся звери.

— Нужно ехать, Сергей Михайлович, а то огонь отрежет дорогу. Вон, посмотрите.

Торфмейстер, не двигаясь и продолжая жадно смотреть на буйство огня, крипло сказал:

— Едем.

И всю дорогу тяжело дышал, будто нес на плечах непомерную тяжесть.



В начале июня в лесах и болотах появились мошкара и овод. Днями лось прятался от овода в темные, глухие чащи и до заката солнца не вылезал из зарослей осинника и березняка. Вечерами, когда заря окрашивала небо и землю багряными и алыми красками, когда овод исчезал до следующего дня, лось выходил из чащуги и бежал к лесному озеру. Фыркая и плескаясь, он долго купался в омутах и глубях, крепко прижав книзу уши, нырял под водой и, освежив искусанное свое тело, вылезал на берег. Стряхнув с себя воду, прислушивался и здесь же, на берегу, ложился до утра.

В чуткой дреме текли минуты. Крутой месяц плыл в небе, цепляясь рогами за сучья деревьев. Едва слышно плескались озерные волны, шелестели темные кусты, глухо шумел лес. Шорохи, шопоты, вздохи наражались, таяли и снова нарождались. А когда небо опоясывалось на востоке желтой лентой, лось поднимался на ноги, стоял несколько минут неподвижно, потом бежал кормиться на глухое болото.

В июле в лесах и болотах потянуло едкой гарью. В этом запахе, чуялись тревога и опасность, и лось бегал по земле, стараясь избавиться от него, но гарью пахло везде.

Однажды за Березовыми выгорами лось наткнулся на пожар. В душном мареве жаркого дня огонь полз по сухой траве, щелкая горячими зубами, пожирал кусты и валежник. Лось замер, ошеломленный, потом, заложив рога на спину, помчался в непролазных чащах, ломая сучья и на бегу перешибая но-

гами молодые березы и осинки. В этом безумном беге, наскочив на поломанный пенек, он жестоко поранил ногу.

С каждым днем ширились пожары, и в огненном кольце их метался измученный лось. Инстинктом спасаясь от опасности, он забрел на голый островок, исполинским караваем лежащий среди болот и топей.

Был вечер, тускло вверху небо, а на горизонте со всех сторон играли над землей желтые сполохи. Лось, прихрамывая, медленно шел по суходолу и вдруг тревожно фыркнул и остановился. На берегу островка под кустами сидели и лежали люди, неподвижные, похожие на темные пни. Один из них приподнялся и посмотрел на лося. Бык продолжал стоять, лоя ноздрями враждебный, раздражающий запах. Человек что-то сказал сидящим рядом с ним, и те зашевелились. Из кустов вышел высокий в белой рубаше и начал приближаться к животному. Лось зафыркал, скакнул в сторону и, припадая на разбитую ногу, неспеша пошел по краю суходола. Высокий вернулся к кучке людей.

— Товарищ Медведев! — окрикнули из-под куста. — Товарищ Медведев, никак сохатый?

— Сохатый. Должно быть, раненый, хромает.

— Вот бы изловить.

— Ишь, ловкий какой!.. Поди-ка, излови... — насмешливо откликнулся хриплый голос.

— Поаккуратней подойти.

— По-акку-ратней, — передразнил тот же голос. — У тебя все поаккуратней... Ты бы хлеб поаккуратней жул, а то второй день крошки не видим.

Один из лежащих быстро вскочил и, упиравшись руками в землю, громко сказал:

— Долго мы здесь сидеть будем?

Ему никто не ответил.

— Долго мы здесь сидеть будем? — повторил человек и тяжело поднялся на ноги.

— Завтра опять попытаемся найти дорогу, — спокойно ответил Медведев.

— Да что же это такое? Завел к ле-

чуть не погорели, то в трясине чуть не утопли!.. Что же это такое?! Куды ты нас завел?

— Не горячись, Матвей, криком делу не поможешь. Утром я пойду на разведку... Выберемся... Отчаиваться нечего.

Матвей стих, безнадежно махнув рукой, снова опустил на землю.

Наступила ночь. В темноте на болотах возникали странные звуки, похожие на глухие стоны, где-то булькала вода, сухо шелестел тростник. Медведев всю ночь не сомкнул глаз, сидел на выжженной солнцем траве, бродил у краинок топи. За топью жуткая тьма уходила в бесконечность, и где-то в этой бесконечности затерялась станция.

«Что там происходит? — думал Алексей Петрович. — Может быть, огонь уже спалил все, что мы создали в глухомани?.. А может быть, люди все еще борются с огнем... Вернулся ли из Москвы Батуров?»

Он представлял себе отчаяние инженера, когда тот, вернувшись, увидит сгоревшую станцию. Ему хотелось быть сейчас вместе с начальником строительства, вместе бороться со стихией. С Николаем Ивановичем связывала его давняя дружба. Когда-то они учились в реальном училище в одном из приволжских городов, потом дороги их разошлись. Прошло пятнадцать лет, и ранней весной, приехав из провинции в Москву искать службу, Медведев случайно встретил Батунова. С этого дня опять сошлись их жизненные дороги. Батуров предложил Алексею Петровичу работать на новом строительстве... Вспомнилось, как шли они от полустанка, от сторожки деда Терентия, как на Моховых болотах и Красных горах начались первые работы...

Медведев, задумавшись, долго стоял на берегу топи, потом медленно шагал к кучке людей. Справа — там, откуда вышла бригада, — все еще ликовало пламя. Красная, жаркая пила зубцами вонзалась в небо, над ней переливалось багряное зарево. Там захлестнули бригаду огненные вихри, и люди в панике бежали от них. Люди полезли в болото, по

пояс проваливаясь в вонючую тину, и наконец выбрались на суходол...

«Когда это было?.. Вчера на рассвете... А кажется таким далеким... Вчера подходил к нам лось... Нет, сегодня... Вчера... Сегодня...»

Голова кружилась от усталости, ломило виски, в темени ощущалась тупая боль. Мысли путались, обрывались, казались пропахшими гарью. Медведев прилег под кустом.

Из топей незаметно подошло к суходолу утро. Светлело небо, тускнела красная пила на горизонте. Ночь отступала к лесу, и там дымные тучи были похожи на испанские копны тьмы.

Проснулись люди; под кустами послышался полусонный говор. Алексей Петрович увидел, как один человек, пригибаясь, осторожно пошел по суходолу. Через несколько минут он вернулся и возбужденно сказал:

— Лежит... Недалеко лежит... Пойдемте.

Хриплый голос ответил:

— Что зря ходить-то.

— Загоняем, топорами зарубим... Животная замаялась, раненая... Пойдем, Матвей. Бери топор.

— Куда вы, ребята? — окликнул Медведев.

— За лосем.

— Бросьте, не подпустит... А если и подпустит, то все равно вам с ним не справиться, забудет...

— Толкуй!

Двое с топорами тихо пошли по островку. Впереди их за невысокими кустами вскочил лось и, отбежав, остановился.

— Поаккуратней подходи, — сказал один. — Заходи с той стороны.

— В топь не попадите! — крикнул им Алексей Петрович и подошел к лежащим. — Ну, товарищи, я пойду искагу дорогу. Найду — вернусь к вам. Вы никуда отсюда не уходите.

— Ступай... Только вряд ли разыщешь...

— Посмотрю.

Он поднял длинный шест и пошел краем суходола. У берегов лежала потрескавшаяся от жары тина, бугрились кочки, за кочками щетинился тростник,

и кое-где ярко зеленели покрытые ряской выгора и трясины. Медведев несколько раз пытался свернуть с берега и добраться до тростников, — может быть, за ними — сухая почва? У краев пересохшая тина выдерживала тяжесть тела, но дальше начинала коробиться, и в трещины просачивалась коричневая жижа. Алексей Петрович тыкал под ноги шестом, и шест глубоко уходил в землю. В одном месте Медведев провалился выше колен и с трудом выбрался, чувствуя, как топь засасывает ноги. Бессильно опустившись на кочку, долго сидел, склонив на ладони голову. Во всем теле была незнакомая слабость. В отуманенной гарью и бессонными ночами голове лениво всплывали и рассыпались, как пепел, бессвязные мысли. Больше всего думал Алексей Петрович о строительстве. Станция, мастерские, торфоразработки теперь казались ему самым близким местом на земле, и он чувствовал себя неразрывно связанным с ними.

«Попутчик рабочего класса...» Кто это сказал?.. Ах, да, Николай Иванович, когда приезжал на Красные горы в первый год начала работ... Нет, я уже не попутчик, я воспринял новое, поверил в победу рабочего класса. Видел... Видел, как люди корчевали тысячетлетнюю глухомань... Прокладывали новые дороги... Дороги из гнилой трясины... Дороги... новые...

Медведев поднял голову, вспомнив, что нужно искать дорогу от суходола и вывести людей. Люди шли за ним, и, если они погибнут, он будет виноват в их гибели... Тяжело, поднявшись, пошagal дальше.

Так ходил Алексей Петрович до полудня, и с каждым часом росла в нем тревога:

— Не выберемся... Придется ждать, когда затихнут пожары... А когда они затихнут?

Он до боли закусил нижнюю губу, безнадежным взглядом окинул непролазные болота, желтые тростники, зеленые пятна ряски и вдруг, подавшись вперед, замер на месте. В полкилометре от берега качались метелки тростников,

будто кто-то пролезал сквозь их чащу.

«Лось, — замелькали мысли. — Нет, лось был бы виден... Неужели туда забрался человек?»

Не веря этому и в то же время страстно желая верить, крикнул:

— Э-э-э-й!

Метелки тростника перестали качаться, и в ответ долетел глухой голос:

— О-го-го-о!

И Медведев ничего уже не видел, кроме тростника, где пробираясь неведомый человек. Не отрываясь, он смотрел в ту сторону. Сердце взволнованно билось, дрожали руки, горло перехватывало спазмами. Ему казалось: человек идет нестерпимо медленно. Иногда желтые метелки были зловеще неподвижными, и тогда Алексей Петрович, тяжело дыша, напрягал зрение. От жутких мыслей кружилась голова:

— Провалился... Попал в трясину...

В ушах звучали колокольные звоны, воздух плотнел, сизо-дымным туманом давил землю. Опять шевелились метелки, и опять легче становилось дышать. Вот уже слышно, как сухо шелестит тростник, вот уже темные пятна зарябили между желтыми стеблями. Прошла еще мучительно долгая минута, и из чащуги вылез Терентий. Он остановился, посмотрел на суходол и конкнул:

— О-го-го-о!

Медведев шагнул ему навстречу, но лесник погрозил шестом.

— Стой!.. Стой!.. Сейчас подойду.

Щупая шестом землю, он подходил к суходолу, сердито ворча:

— Эх, глупой, глупой!.. Куды тебя затащило?.. Учить-то некому...

И, вступив на берег, раздраженно плюнул.

— Тьфу!.. Замаялся с тобой, дураком.

Сел на кочку и отвернулся от Алексея Петровича.

— Терентий, друг ты мой милый!.. Как ты... Как ты добрался?—суетился около деда Медведев.—А мы... мы тертый день не можем отсюда выйти... Ну, что?.. Как там? Как станция?

— Отвяжись,—махнул рукой дед.—
Дай вздохнуть.

— Станция как?

— Станция, станция... Чего—станция?

— Сгорела?

— Пока цела... Ты моли бога, что сам-то выйдешь... Каки таки люди стали: лезут, куда не надо. — Дед погрозил кулаком. — Эх, Алешка!.. — Внезапно смягчившись, добродушно заговорил: — Года два назад лось меня на это место вывел. В болоте-то гряды твердая, по ней и шел... Я еще тогда колья на гряде наставил. Во-он один торфит, видишь? Привык я в неизвестных местах дорогу примечать, и тут приметил... Вишь — и пригодилось.

— Надо людям сказать.

— Каким еще людям?

— Со мной бригада пожар тушила, тридцать человек.

— Эх, дураки... пожар тушили!.. Нешто такой пожар потушить можно?.. Кругом горит. Ну, иди, говори, а я здесь отдохну... Пожар тушили!.. Эх, вы, тушители!.. Найдешь меня-то?

— Найду.

— Ну, ступай.

Когда ушел Медведев, дед навзничь лег на теплое берегу, и, шурясь, смотрел на мутное небо. Медной, тусклой тарелкой высоко над суходолом висело солнце. Не было слышно ни комариного звона, ни голосов птиц. В тишине недвижимо замерла земля. Тишина всегда напоминала старику давние годы, но сейчас, вспоминая о прошлом, Терентий не испытывал радости и успокоения.

«Все равно когда-нибудь и сюда забегутся люди,—думал он.—И здесь настроят деревень, и здесь что-нибудь придумают. Кончатся на земле тихие места».

Далекий, чуть слышный крик долетел до него.

«Идут... Эх, люди, люди, все ищут чего-то, все копошутся...»

Кряк, не смолкая, тревожил тишину. Лесник приподнялся. Кричали не в той стороне, куда ушел Алексей Петрович.

«Уж не отбилась ли кто-нибудь из них?.. В топь не забрел ли?.. Не выбеется».

Дед озабоченно нахмурил брови, прислушался, потом взял шест и пошел на голос. Крик то смолкал, то снова был слышен. На островке желтыми россыпями лежали пески, и по ним трудно было идти. Кое-где торчали маленькие сосенки, корявые с пожухнувшей хвоей. В пересохших низинках увядал березняк, медленно опадали с ветвей свернувшиеся листья и бесшумно ложились на землю. За березняком на песках Терентий увидал следы лося и отпечатки подошв лаптей.

«Ишь, ты, за кем шел... Глупой...»

Справа за кудрявой порослью ивняка опять раздался жуткий человеческий голос. В нем нельзя было разобрать слов. В протяжном, ниспадающем крике звучали смертельная тоска, отчаяние.

«Тонет!..»

Дед, спотыкаясь и шумно дыша открытым ртом, заторопился к ивняку. Шагах в тридцати от берега на круглой полянке, густо заросшей сочной травой, торчали голова и плечи человека. На искаженном ужасом лице выпучились глаза. Человек вращал ими во все стороны, будто искал, за что ухватиться и глухо мычал. Увидав старика, закричал: — Топну!.. Помо... моги!.. О... о... ох!..

Дед затыкал шестом, ища твердой земли, и осторожно начал приближаться к зеленой полянке.

Человек поднял покрытую жирной тинной руку, закачал плечами, и в грязном оконце вокруг него забублькали мутные пузыри.

— Тянет!.. Вниз тянет!..

— Стой смирно!—грозно окрикнул Терентий.—Эх, ядрена пень!.. Сейчас шест подам.

Лесник понял: человек попал в трясины, приняв ее за твердую землю, едва ли можно спасти его, и все же медленно двигался к погибающему. Под ногами прогибалась почва, и под зеленым травяным ковром ворчала и чмокала топь.

— Не пройти!—остановился Терентий.

— Дедушка!..—завопил человек.— Христа ради!.. Касатик... Как-нибудь»

поаккуратней... О-о-о!—и опять закачались его плечи.

Лесник пытался пробить шестом зеленый покров, пробуя крепость почвы, но шест, упруго ударяясь в землю, не пробивал травяного ковра.

«Может, пройду... Потом нарублю колья, накидаю... Вытащу...—Дед исто-во перекрестился и пошел дальше. — Ползком надо бы, доползти можно...»— Он остановился, и в этот момент с жирным чмоканьем расступилась под ногами земля, и Терентий по грудь провалился в трясину. Шест выпал из рук. Глухо вскрикнув, старик протянул к нему руки, скрюченными пальцами рвал траву, но не мог шевельнуть ногами. Ноги засасывала мягкая, холодная тина...



Бригада не нашла лесника там, где оставил его Медведев. Алексей Петрович долго кричал, но в ответ никто не отзывался.

— Ушел,—сказал рыжебородый каващик. Вишь, и шеста нет.

— Может, подождать? — нерешительно спросил Медведев.

— Чего ждать-то? Пойдемте.

— Он дорогу знает.

— Сюда пришел и отсюда выберется. Не пропадет.

И, видя нерешительность бригадира, люди злобно заговорили:

— Веди!

— Выводи к станции!

— Третий день не емши!

— Что ж ты: доканать нас хочешь?!

Медведев окинул взглядом возбужденные лица. Из толпы с ненавистью и злобой смотрели на него десятки глаз, хмурились брови, кривились пересохшие, истрескавшиеся губы.

— Ну, идемте... Я первый пойду, а вы поодиночке за мной.. Осторожнее!..

Он медленно пошел к тростнику, над которым торчал шест с привязанными метелками...

За ним гуськом двинулись люди...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

После доклада Николай Иванович Батуров долго ходил по улицам Москвы. Толпы людей, снующих по тротуарам,

грузные ревушие автобусы, звонкие трамваи напоминали ему движение и шумы Красных гор. Инженер был возбужден успехом своего доклада. К строительству станции отнеслись с исключительным и трогательным вниманием, во всем были обещаны поддержка и помощь. Завтра на заводы и фабрики, задерживающие заказы Красногорской станции, будут даны телеграммы и распоряжения о срочном выполнении заказа. И теперь Николай Иванович более, чем когда-либо, был уверен в том, что постройка станции закончится на несколько месяцев ранее намеченного срока.

«На несколько месяцев ранее! Это великолепно!»

Взволнованный, он остановился на Москворецком мосту и снял кепку. Ветер с реки освежал разгоряченное лицо, и в этом влажном ветре почудились Батурову знакомые запахи Моховых болот. За рекой на ясном небе четко рисовались зубчатые стены, башни и дворцы Кремля. Когда-то отсюда великие князья московские предпринимали походы, расширяя свои владения, сюда стекались богатства завоеванных земель и областей. Азиатской роскошью и пышностью Византии цвели палаты и храмы. А вокруг Москвы и дальше в лесах и болотах, в нужде и страхе жили те, кто завоевывали окраины, обрабатывали землю, ловили рыбу, били зверей для того, чтобы расцветить палаты и храмы сказочным богатством. Кремль всегда напоминал Батурову о стародавнем, но сейчас стародавнее заслонилось былью переживаемых дней. Инженер подумал о том, что теперь за седыми стенами и башнями в напряженной творческой работе бьется мозг страны. Невидимыми нитями неразрывно связан Кремль с городами, лесами, степями, и города, леса, степи не опустошаются, как столетия назад огнем и железом, а по-новому новую строят жизнь.

Грузовой автомобиль, басисто ревя, в'ехал на мост. Молодая девушка, пробегая перед автомобилем, уронила связку книг. Николай Иванович быстро шаг-

нул с тротуара и поднял книги. Девушка улыбнулась и кивнула головой. Книжки и клеенчатые тетради, перетянутые тонким ремешком, темные волосы и улыбка девушки напомнили Батурову Веру Курганову.

«Какая искренняя и честная девушка, эта Вера. Сколько в ней здоровой, нерасраченной энергии... И каким верным спутником жизни, хорошей женой может она быть».

Последняя мысль мелькнула неожиданно. Инженер досадливо поморщился. Что-то ползузабытое неприятно раздражало, и это «что-то» Батуров никак не мог вспомнить. Он старался восстановить в своей памяти то время, когда Вера была девочкой, вожатым пионеров... Пустырь около завода, ломаная шеренга детей, которых Курганова обучала шагать и поворачиваться по команде; маленькая комната, тетрадка с задачами... Он даже вспомнил задачу: в бассейн проведены три трубы... Международный день юности, демонстрация перед зданием уисполкома. Комсомольское собрание в клубе; Вера—комсомолка... Все это связано с его, Батурова, «началом»,—необычным вступлением в новую жизнь. В этих незабываемых днях было только хорошее. В чем же дело?.. Встреча на Красных горах. Курганова—председатель культкома, всегда оживленная, деятельная... И здесь не было ничего плохого. Отчего же неприятное раздражение?

Николай Иванович плотно нахлобучил кепку и пошел в гостиницу.

«Надо будет завтра купить Вере книг. Привезу ей целую пачку. Может быть, нужно еще что-нибудь купить?.. Как жаль, что перед отъездом я не видел ее».

И вдруг Батуров вспомнил. Вечером накануне отъезда он возвращался с постройки. В лесу, недалеко от тропы, на стволе поваленного дерева, сидели двое. Заметив его, они отшатнулись друг от друга, и девушка отбежала и спряталась за темной елкой. Ему показалось, что это была Курганова.

«Ну и что же? Мне-то какое дело? Вера свободный человек и может жить,

как ей хочется и как она находит лучшим».

Инженер сурово сдвинул брови и быстрее зашагал по тротуару.

В гостинице ему подали телеграмму. Поднимаясь на третий этаж, он прочитал ее. Перед глазами качнулись мраморные ступени, застланные темнокрасным ковром, белая стена потемнела и косо встала над лестницей. Инженер, пошатнувшись, ухватился за перила. Несколько секунд он стоял, преодолевая головокружение, потом быстро вбежал в длинный коридор. Ключ, дробно стуча о никелированную пластинку, долго не мог попасть в замочную скважину. Войдя в номер, Николай Иванович бросил на стол портфель и медленно опустился в кресло. Телеграмма выпала из похолодевших пальцев и лежала под ногами. Буквы строк распухали, росли, и, казалось, нестерпимо громко кричали в тишине номера:

«Горят леса, торфоразработки. Работы прекращены. Станция в опасности. Немедленно выезжайте».

«Станция в опасности... Может быть, она уже горит... Может быть, она уже сгорела...—Инженер стиснул руками голову и глухо застонал.—Горят леса, торфоразработки. Да ведь это же горят труд, энергия, воля, победа тысяч рабочих... Горит один из важнейших участков социалистического строительства...»

Батурову вспомнился тот вечер, когда впервые пришел он в глухомань, и он отчетливо представил себе старую гать, высокие сухие тростники, сторожку деда Терентия. Обрывками кинофильма замелькали в воображении картины борьбы с первобытным... Рытье котлована, закладка фундамента, сооружение дамбы на берегу Дикого озера... И станция... Станция, опутанная лесами, поднимается к небу... Вот уже стены ее вымахнули над вершинами сосен... Корабль, плывущий во времени, от потемков прошлого — в социализм недалекого будущего...

Батуров упруго вскочил с кресла и ткнул пальцем в розетку электрического звонка. Вошедшей горничной сказал:

— Я сейчас уезжаю... Дайте счет и принесите расписание поездов дальнего следования.

«Что еще нужно сделать?.. В Москве вероятно уже знают о пожаре станции... Написать несколько писем... Ах, да, послать телеграмму-молнию: выезжаю немедленно... Пусть вышлют к полустанку автомобиль... Что еще нужно сделать?»

Николай Иванович сел к столу и быстро начал писать.



Вера Курганова вместе с торфяницами боролась с огнем на торфоразработках. Она старалась не отставать в работе от крепких сезонниц, она напрягала всю свою силу воли, чтобы не свалиться от изнеможения. Ныли руки, поясница, ноги были тяжелы и непослушны. Но больше всего изнурял едкий дым, которым пропитались земля и небо. Огдыма восплалялись и слезились глаза, болела голова и часто шла носом кровь. Вечерами, измученная, Вера добиралась до своей комнатки и валилась на постель. Но и в комнате удушливо пахло гарью, и ночи не приносили успокоения и отдыха. Сны были тяжелые, жуткие, переходящие в кошмары. Ей часто снилось: горит дом, по стенам бегают языки огня, звенят и лопаются от жары стекла окон. Девушка испуганно вскакивала с постели. За окном в багровых заревах шевелилась ночь. Вдалеке кричали люди, с тревожным звоном колокола проезжали пожарные автомобили, слышались топоты ног и громы ханье колес. Иногда ее будили отрывистые вопли гудков. Это значило: где-то вплотную подо двинулась опасность. Гудки звали на помощь, и Вера торопливо одевалась и бежала из дому.

Бывали ночи, когда Курганова не могла заснуть ни минуты. Медленно тянулось время. Над постелью кузнечиком стучали маленькие часики. Сухими короткими звуками они отсчитывали какие-то доли секунды, торопились, гнали ночь, но были бессильны рассеять душную темноту комнаты. Такими ночами подкрадывалось и мучило то, что забывалось в суматохе дней. Вера думала о

Шахрае, о своей любви к нему и о своем будущем. Каким огромным и прекрасным казалось ей это будущее несколько месяцев назад! Как много можно было сделать в нем! Прежде всего нужно учиться, работать над собой для того, чтобы стать настоящим борцом за социализм и его строителем. Борьтсья и создавать — вот для чего нужно жить. Как все это было понятно и просто. А теперь?

Вера бессильно и жалко усмехалась.

Теперь светлая цель, которую с детства поставила перед собой Курганова, тускнела, заслонялась обыденщиной, Шахрай уверен, что Вера будет его женой, он не раз предлагал ей жить вместе... Семья, заботы о мелочах... Разменять свое будущее на мелочи...

«А разве нельзя трудиться и черпать знания, живя с Шахраем? Разве он не поможет мне?» — думала девушка и вспоминала, как однажды она сказала ему о своем намерении поступить в вуз. Шахрай промолчал, но по его лицу и по его молчанию было заметно, что он против этого. Он не хочет, чтобы Вера уехала от него.

В ночные бессонные часы в памяти часто всплывал тот вечер, когда на берегу Белого она отдалась технику. Как могло это случиться? Ее лицо вспыхивало румянцем, торопливее стучало сердце, пересыхали губы. Жарко дыша, Вера сбрасывала одеяло, стискивала руками подушку. Ей было мучительно стыдно, и в то же время в этом стыде было какое-то, никогда не испытанное ранее, наслаждение.

— Гадаа, безвольная девочка!.. Мещанка!.. Ты недостойна быть в рядах смелых и решительных... — шептала Курганова и до боли кусала свои пальцы.

Утром Вера поднималась с головной болью, слабостью во всем теле. Мельком заглядывала она в зеркало и видела похудевшее бледное лицо с большими, лихорадочно блестящими глазами. Быстро выпив стакан чаю, бежала на торфоразработки, чтобы там в работе, в разговорах с людьми позабыть тяжелую ночь.

Она видела, как на болотах, в лесу и около станции люди самоотверженно боролись с пожарами. Героизм рабочих передавался ей. Вера бросалась туда, где больше всего была опасность. В опасностях, в напряжении сил и воли забывалось все. Когда огонь заглушали или прогоняли в сторону от участка, девушка чувствовала себя победительницей. В эти минуты и Шахрай, и ее любовь, и то, что произошло на берегу озера, не волновало и казалось далеким. С пылающим лицом смсгрела она на дымящуюся землю, на бледные лоскуты огня, на возбужденных шумных торфяниц, и не было в эти минуты сомнений и неверия. Конечно она уедет в Москву, забудет о Шахрае и начнет создавать свое будущее.

А ночами опять приходило безнадежное и мучительное...

Вечером, на четвертый день после того, как на строительстве и торфоразработках были прекращены работы, Курганова почувствовала себя совсем больной. Кружилась голова, холодный пот мелким бисером выступал на лбу, из рук вываливалась корзина. Преодолевая приступы тошноты, Вера подошла к канаве и села на ее берегу. Впереди, выстроившись в ломаную линию, торфяницы сдирали цапками мох, корзинами относили его в сторону и сжигали. От бурых моховых куч валил густой желтый дым. Слева, далеко на краю участка, горели штабели торфа. Там огонь победил людей и буйствовал, размахивая багряными полотнищами. Справа над лесом, затуманенным мутно-сизой дымкой, возвышалось мертвое здание станции. В нем затихли движение и грохоты работ. А вокруг него днем и ночью сутились люди, защищая от огненной стихии будущий дворец электричества. Издали станция казалась скопищем тумана и дыма, принявших необычные формы. Ее стены дрожали в нагретом воздухе, и чудилось: налетит порыв ветра и развеет над зелеными шапками сосен этот легкий серый прямоугольник.

К Вере подошла бабка Лукерья и озаченно спросила:

— Ты что, касатка?

— Голова болит... Сейчас приду...

Девушка хотела встать, но, пошатнувшись, снова опустилась на землю.

Бабка замахала сухой коричневой рукой.

— Домой иди... На тебе и лица-то нет... Ишь вся обмякла. Нешто можно перемогаться. Иди, иди... Проводить тебя?

— Не надо. Может, пройдет.

— Ступай, ступай... Какая ты работница...

Лукерья помогла Вере подняться, и пошла с ней. Дорогой старуха говорила о пожаре, о скором своем возвращении на родину и о новостях, какие сообщали в письмах из деревни. Неожиданно она вспомнила о Дерюгине, спросила:

— Об Якове Семеныче не слыхать ль чего? Я его пять лет знаю, на одном болоте работали. Вот тоже каким злодеем оказался!.. А по виду глядя: тихонький, ласковый. Песни очень хорошо играл: заведет—не заслушаешься. Какие о нем вести? Суд-то был?

— Не знаю... Кажется, еще не был.

Вере хотелось остаться одной, а Лукерья все шла рядом и все о чем-то непонятно и надоедливо рассказывала.

У барачков девушка простилась с бабкой.

— Теперь я одна дойду.

— Дойдешь ли?.. Может, до дому проводить?

— Нет, нет, не беспокойся.

По дороге от Красных гор к Моховым болотам шли с ведрами и лопатами артели торфяников сменять работающих на болоте. Вздыхая облака коричневой пыли, проезжали грузовики с баграми, насосами, пожарными рукавами. На них сидели рабочие в брезентовых куртках, туго перетянутых широкими ремнями. Где-то за перелеском отчаянно звонил колокол, и на его звон короткими пугающими воплями отзывались гудки.

«Опять, должно быть, огонь подходит» — подумала Курганова и по привычке хотела бежать на помощь. Но перед глазами в багровом тумане завертелись зеленые круги, подломились ноги, и Вера упала. Сзади, грозно ревя и

сотрясая землю, мчалось на нее огромное бесформенное чудовище...

Очнулась Вера в своей комнате. Наклонившись над ней, стоял Афанасий Ветров и мокрым платком вытирал ее лицо.

— Что, племянница, скопытилась? — спросил он и, не дожидаясь ответа, быстро заговорил: — Вот на табурете стакан с водой, на столе — чай. Вот компресс на лоб... А я бегу... Что? Как сюда попала?.. Ехал я на автомобиле, гляжу — на дороге девка валяется... Племянница моя... Подобрал тебя и привез на место.

Ветров суматошно двигался по комнате от стола к постели, от постели к окну.

— Ну, оставайся... Я тороплюсь... Телеграмму от Батунова получили: едет. За ним на паровозике выезжаю. Автомобиль послали — вернулся: огонь дороге перерезал. По узкоколейке двину... Машинисты забоялись ехать... Распустил я всех, сам поеду. Ну, пошел! Скоро Мария Васильевна придет, постучи ей в стенку, ежели чего понадобится.

Афанасий выскочил за дверь и кому-то крикнул:

— Бегу!.. Один еду!

Вера закрыла глаза. Нестерпимо болела голова, в горле застрял сухой пахнущий гарью комок, хотелось пить, и не было сил протянуть руку к стакану с водой...



Николай Иванович Батунов стоял у окна вагона. Тусклый рассвет медленно шел на землю. В туманной мути мелькали железнодорожные будки с зелеными огоньками на стрелках, изредка проплывали лесосеки и полянки, — будто лес, как шубу, распахивал свои чащи, — и на полянках, и лесосеках голубыми пластами лежал дым. За одной полянкой на верхушки сосен нахлобучилась пушистая дымная шапка, а внизу, между желтыми стволами, играли красные языки огня. Поезд пробежал местами, где недавно прошел пожар. Опаленные деревья, обуглившиеся кусты, земля, покрытая пеплом, волновали Николая Ивановича.

«Что делается сейчас на строительстве? — думал он, и ему представля-

лись горящие мастерские и бараки, толпы людей, бегущих от огня. — Какая нелепость: восемь лет жить одной мечтой, вложить в нее всю свою энергию, победить, переделать глухомань для того, чтобы огонь уничтожил все!.. Не может этого быть... На строительстве тысячи рабочих, и разве они допустят, чтобы погибло завоеванное ими... Я создал проект станции, они воплощают его в жизнь, мы — равноправные строители, и нам одинаково тяжела гибель созданного».

Он успокаивал себя мыслью, что на Красных горах не произошло непоправимой катастрофы, но все же не мог освободиться от тяжелого предчувствия. Плотнo сомкнув челюсти, Батунов напряженно всматривался в горелый лес, в мелькавшие за окном плешины земли, синие полотнища дыма, нависшие над лесосеками. За несколько километров от полустанка он вышел на площадку вагона. Едкий запах гари окугивал поезд. Мутно-сизый ветер упруго бил в открытое окно. Прогромыхал под ногами мост через речонку. На речонке плавали белые гуси. От железнодорожной будки кинулась за поездом кудлатая черная собачонка. В лязге буферов, в стуке колес и свисте ветра не было слышно ее лая. Басисто заревел паровоз и, огибая закругление, начал задерживать стремительный свой бег. Инженер выглянул в окно. Впереди вырастали знакомое здание полустанка, длинные склады, товарные вагоны на запасных путях, груды бочек, красные клетки кирпича.

На платформе встретил Батунова Афанасий Ветров. Он подбежал к начальнику и, крепко пожимая его руку, заговорил:

— Ну, вот, наконец-то приехал! Я тут с вечера тебя жду.

Николай Иванович, быстро шагая по платформе, спрашивал:

— Как станция?

— Станция пока цела. — Ветров ожесточенно махнул рукой. — В жизни я не видал такого пожара! Со всех сторон чешет.

— А мастерские, бараки, паровая установка?

— Ремонтные мастерские сгорели. Поселок № 2 на фрезерном участке снесло вчистую. Торфоразработки горят... Имущество из них вывезли на Красные горы.

— Паровая?

— Паровую отстаивают... Отстоят, можно наверное сказать.

— Больница, клуб?..

— Вчера были целы... Там каждый час перемены... Самая жара теперь...стой, куда же мы идем?

— К автобилью.

— Я на паровозике за тобой приехал. Автомобиль послали—вернулся. Огонь по дороге чешет. По узкоколейке поедет.

У паровозика стоял стрелочник с зеленым флажком в руках. Он махнул флажком в ту сторону, где рельсы уходили в лес, и спросил:

— На строительство едете?

— Туда,—ответил Афанасий.

— Не проедете. По обеим сторонам лес горит. Вон как хлещет.

Над лесом ветер трепал черные космы дыма. Когда стихали порывы ветра, дым клубами поднимался вверх и снова, разорванный в клочья, падал вниз и темной дорогой тянулся по сизому небу.

Афанасий вопросительно взглянул на Батурова.

— Едем,—решительно сказал Николай Иванович и полез на паровозик.

— Смотрите, я вас упреждаю, — нахмурился стрелочник.

— Ничего, дядя, мы народ продиктованный,—ответил слесарь и быстро вскочил на паровоз. — Стрелка переведена?.. Ну, поехали! — Он говорил, посмеиваясь, но заметно было, что веселость его неестественна и что его беспокоит пожар на узкоколейке.

Над колесами зашипела струя пара, пронзительно вскрикнул свисток, и голова стрелочника в засаленной фуражке поплыла назад и скрылась за тендером. Вздрагивая на стыках рельсов и быстро увеличивая скорость, паровозик вбежал в лес. По обеим сторонам насыпи тянулись пересохшие, покрытые жухлой травой канавы. За ними торчали пеньки от

срубленного леса. Быстрее и быстрее неслись навстречу желтые стволы сосен, темнозеленые башенки елей, кудрявые кусты можжевельника. Впереди земля туманилась сиреневой мутью. С каждой минутой густела муть, и кое-где из кустов полз к насыпи голубой дымок. Темная дорога в небе, приближаясь, увеличивалась в размерах, и уже было видно, как чащи бросали вверх копыны дыма.

Афанасий, повернувшись к инженеру, сообщил:

— Вчера бригада Медведева вернулась, три дня в лесу пропадала. Думали, сгорели. Лесник Терентий вывел. Где-то на суходоле в топях люди сидели. А сам Терентий пропал. Еще кой-кого не досчитываются... Хотя сейчас не разберешь: все перемешалось. Может, и живы все...

— А настроение у рабочих какое? Не упали духом?

— Есть тут, когда падать, только поворачивайся!.. В клубе день и ночь боевой штаб работает. Люди сна не знают. Вчера, как за тобой поехать, на дороге племянницу подобрал. Лежит без памяти.

— Веру?

— Ее... Горячая девка, без удержу, везде хочет первой быть, ну вот и скопытилась.

— Я ей книг хотел привезть,—вспомнил Николай Иванович.—Не успел купить. Получил телеграмму и с первым же поездом выехал.

— Какие теперь книги!

Ветров помолчал, потом тихо и тревожно спросил:

— А что ежели того... сгорит все? Неужто прикончится строительство?

— Не может этого быть! Мы снова начнем строить.

— Я тоже так думаю... Ведь сколько труда-то, капиталу затрачено. — Афанасий кинулся к окну.—Смотри!

Инженер увидел широкую ленту огня, бежавшую по краю просеки. Затем все перемешалось в его сознании. На паровоз упало дымное облако, и сразу померк день. В дыму заиграли багряные пятна, закрутились желтые спирали.

Лес дыхнул нестерпимым жаром. По шапкам сосен с треском и воем неслись клубы огня. Порывы ветра рассеивали дым, и тогда было видно, как с ветвей сыпался на землю золотой дождь. Бесчисленным роем мух летали над узкоколейкой искры. Черные головешки, похожие на галок с огненными хвостами, металась в воздухе. Ветер бросал в дымное небо горящие ветви, они взлетали высоко над землей и, угасая, подстреленными птицами падали на рельсы. Одна сверкающая ветка упала на тендер, и под ней загорелись кирпичи горфа.

Слесарь оглянулся и крикнул:

— Заливай!.. Из шланга!

Инженер, задыхаясь от жары и дыма, расправил пожарный рукав и пустил в ход инжектор.

Афанасий раскрыл дверцу топки и быстро начал бросать в нее торф. Согнувшись, он что-то непонятно бормотал. Плавающие мухи залетали на паровоз, и одна из них опустилась на спину слесаря. Затлелась рубаха. Ветров выпрямился и, тяжело дыша открытым ртом, прохрипел:

— Воды..

Николай Иванович направил на него струю.

— Всего обливай!.. Спечемся!..— Он хватал воду пригоршнями, плескал на лицо и голову и глухо кричал.—И ты... У тебя пиджак дымится!..

Что-то больно куснуло Батурова в плечо. Лицо обжигало горячим воздухом, глаза выедал дым. Инженер выронил шланг и присел на корточки, закрыв лицо руками. Теплая струя воды оживила его, он приподнялся и взглянул в окно. Впереди на узкоколейке дымилась шпала, траву на канавах чесали огненные гребни. Огромным факелом полыхала на краю просеки покосившаяся сосна. Ветер сдувал с нее красную хвою. Внезапно сосна качнулась и, вздымая тучи пепла, упала на землю. Будто грохнулся и разбился исполинский улей, и из него вырвалось сонмище золотых пчел. Николай Иванович вскрикнул. Ему показалось, что дерево легло поперек рельсов. Он схватил за плечо Афа-

насия, но в этот момент паровоз уже промчался мимо сосны, и по его железному боку хлестнули и сломались горящие ветви.

— Воды!—крикнул Ветров.

И снова они начали поливать друг друга из шланга.

Лось остановился на краю суходола и, наклонив голову, бил копытом землю. Из-под копыта взлетали оранжевые искры. Медведев смотрел на лося, не решаясь идти дальше. Сзади кто-то повелительно и грубо сказал:

— Веди к лешему в закуту.

Беспомощный и дрожащий голос добавил:

— Как-нибудь поаккуратнее.

Алексей Петрович взмахнул шестом. Лось исчез и впереди высокой щетиной встали тростники. Люди шли в тростниках осторожно и молча. Под ногами чавкала топь. Над топью низко нависло душное небо. И всем — и Медведеву, и идущим сзади него — казалось, если ткнуть шестом вверх — можно продырявить это небо и тогда из неведомых высот в образовавшуюся дыру хлынет ослепительный, испепеляющий свет. И, чтобы не случилось катастрофы, Алексей Петрович обломил длинный свой шест и двигался, согнувшись, шупая обломком пахучую, жирную тину. Ноги дрожали от усталости, бешено колотилось сердце, а тростникам не было конца. Неожиданно сбоку вырос дед Терентий и укоризненно закачал головой:

— Куда зашел, глупой?.. Эх, бить-то тебя некому! Вот здесь иди, видишь вешки наставлены.

Медведев шагнул в сторону и сразу провалился в бездну. Голубой трещиной сверкнуло небо, из трещины с грохотом посыпались зеленые и красные звезды. Затем все померкло, заглохло в мертвой тишине...

Алексей Петрович открыл глаза и в первый момент не мог сообразить, где он находится. Вокруг не было ни тростников, ни топей, ни душегно, низко опустившегося неба. На знакомой стене над постелью висели ружье и охотничья

сумка. И, увидав это ружье и сумку, Медведев вдруг понял, что лежит он на постели в своей комнате, и почувствовал давно не испытанную радость. Это пробуждение напомнило ему детство. Вот так же просыпался он в родном доме, приехав на летние каникулы. Голова еще отуманена дремой, и тревожит мысль, что учитель математики влепит двойку за какую-то никому ненужную теорему. Лениво открываются глаза и вдруг видят: яркое утро, знакомую обстановку комнаты, лиловые кисти сирени за окном... И радость переполняет сердце: свобода, рыбная ловля, ночные костры, охота и скитания по лесам и болотам!..

Алексей Петрович бодро вскочил с постели. Часы «ходики» показывали без пяти шесть. Под часами висело маленькое зеркальце. Взглянув в него, Медведев увидел покрытое сажей и грязью лицо, щетину на подбородке, подсохшую даранину на лбу. Мальчишески подумал: «Хорош красавчик!»—и хотел бежать умыться у крыльца холодной водой. Он шагнул к двери и заметил лежащее на полу письмо; очевидно во время его отсутствия почтальон подsunул под дверь этот серый помятый конверт. Адрес был написан карандашом кривыми, крупными буквами!, штемпель на марке говорил о каком-то незнакомом почтовом отделении. Недоумевая приподняв брови, Медведев разорвал конверт, и первые же строки на вырванном из тетрадки листке обрадовали и взволновали его:

«Во первых строках моего письма пишу я вам, Алексей Петрович, что я все, как ты говорил, так и сделала. Избу продала, имение свое, чего нельзя взять с собой, роздала по родным, и сама после завтрая еду к тебе. Беру с собой двух сестренек, может, куда пристроим их учиться, девочки смышленные. Отца без меня схоронили, была я на его могилке и сильно убивалась. Какая-то моя жизнь будет. Одно меня успокаивает, что ты не бросишь меня, будем мы жить вместе, как ты говорил. Я доброту и ласку вашу все время вспоминаю, и эс-тался у меня только ты близкий человек на земле да еще сестренки. Шлю тебе любовь свою, нарастающий мой,

и кланяюсь низко. Еще кланяюсь Вере Кургановой, много помогала она мне, благодарность ей от меня большая. Еще кланяюсь баушке Лукерье. В дому у ей все благополучно, в колхозе тоже все хорошо. Сноха ее купила телка, на племя хочет пустить. Еще кланяюсь моим подруженькам. Дома их ждут с гостинцами, скоро уж конец сезона. Очень я по тебе скучаю.

Любящая вас на веки Луша Бокарева».

За кривыми, неуклюжими строками видел Алексей Петрович румяное лицо девушки, ее застенчивую и ласковую улыбку и думал:

«Это хорошо... Все хорошо: и то, что Луша приедет, и то, что я начну с ней какую-то особую жизнь, и то, что сноха бабки Лукерьи купила телка, не забыть бы сообщить об этом старухе»

Улыбаясь, Медведев вышел на крыльцо, и в это время у мастерских закричал тревожный гудок. Спустя минуту из пожарного депо, гулко ревя и рассыпая медный звон колокола, выскочил дежурный автомобиль и помчался по шоссе. От клуба бежал рабочий в брезентовой куртке, широко и часто размахивая руками. Когда он поровнялся с крыльцом, Алексей Петрович спросил:

— Что случилось?

— По узкоколейке огонь подходит! Из штаба послали снять от озера бригады, на железную дорогу бросить!

И, не успев умыться, Медведев побежал к узкоколейке. Там уже суетились человек пятьдесят с лопатами и топорами. Четверо рабочих тянули от озера, где стоял автомобиль, к мосту узкоколейки серые ленты пожарных рукавов. Шахай на ходу привинчивал к медным гайкам брандспойты. Рукава быстро уложили, и комсомолец Сухов замачал руками, крича:

— Готово! Пускай!

На автомобиле заработал насос, плетчатые ленты вздулись, и из брандспойтов с хлопанием и свистом вылетели серебряные струи воды.

Опять закричал Сухов:

— Хорошо! Кончай.—Заметив Медведева, он быстро сказал:—На всякий

случай: прорвется огонь к мосту — заливать будем. Вишь, как махает.

В полкилометре за мостом, справа и слева от узкоколейки, клубились красно-черные облака, и слышно было, как трещал огонь, будто хлопали крыльями тысячи птиц. На мосту, положив тяжелые руки на перила и наклонив огромную голову, стоял Копнов. Казалось, он позабыл обо всем и зачарованно смотрел на пламя. Медведев подошел к нему. Сергей Михайлович искоса взглянул на него и чуть заметно улыбнулся.

— А-а-а, пропащий явился... А мы уж похоронили вас...—И, опять смотря на пожар, раздумчиво и тихо заговорил:—Не могу я равнодушно видеть огонь... Есть в нем что-то непонятное для меня, жуткое и прекрасное... На охоте я целыми ночами просиживал у костра. В деревне, бывало, чуть где загорится—я первый бегу, первый в пламя кидаюсь... И ведь не люблю я огонь, и всегда мне с ним воевать хочется... Вот сейчас: шел на участок, услышал тревогу, прибежал сюда и смотрю, оторваться не могу... А жтти надо.

Сергей Михайлович медленно снял с перил руки, медленно повернулся, и широко расставляя ноги, грузно зашагал по мосту. Неожиданно он остановился и, подняв вверх палец, спросил:

— Слышали?

— Что?

— Мне показалось, кричит паровозик. Вчера за Батуровым паровозик ушел... Вот опять!.. Слышите.

Вытянув короткую шею, Копнов напряженно вслушивался.

И Медведев начинал различать в смутном хаосе звуков, долетавших с пожара, какой-то торопливый, нарастающий стук. Прошла минута, и уже не было сомнения: по желтой насыпи, по дымящимся шпалам и накаленным рельсам, в дыму и огненных вихрях мчит паровоз. Алексей Петрович стоял ошеломленный. — А что, если... — начал он и не договорил.

«А что если они уже задохлись?.. И свистки, которые слышал Копнов, были отчаянным и безнадежным криком о по-

мощи... И паровоз, никем не управляемый, несется к мосту».

От этих мыслей вдруг сделалось нестерпимо душно. Жадно глотнув ртом горький воздух, Медведев обернулся и посмотрел на конец тупика.

«Паровоз разобьется вдребезги... Нет, стрелка переведена... Паровоз пролетит дальше и разобьется о состав вагонеток у складов...»

Алексей Петрович прислонился к перилам, нмели ноги, глаза застилало туманом, будто вплотную пододвинулись красно-дымные облака пожара. И вдруг в этом тумане он увидел живое черное пятно, оно, вырастая, летело между двух огненных стен.

Вокруг закричали, забегали люди и плотной толпой сблизь у моста. Мимо Алексея Петровича пробежал Шахрай, мелькнуло его серое испуганное лицо, сбитая на затылок фуражка. Техник бежал навстречу паровозу, махая поднятой вверх рукой. За ним хлынула толпа, заслонила от Медведева узкоколейку. С трудом оторвавшись от перил, Алексей Петрович также хотел побежать и впервые в жизни почувствовал, как закружилась голова, в ушах загудело и мост качнулся под ногами.

«Этого еще нехватало»—подумал он и зашагал по насыпи.

Недалеко от моста стоял окруженный людьми паровоз. Что-то возбужденно и громко говорил Шахрай, комсомолец Сухов тыкал пальцем в тендер и толкал в плечо Копнова:

— Смотрите, краска спеклась!.. Ну и жара была!

За широкой спиной торфмейстера Медведев увидел Батурова и Афанасия Ветрова. Они стояли, жалко улыбаясь, рассеянно оглядывая толпу, будто не понимали, где они находятся и что с ними происходит. Их лица были неестественно красны, с темными полосами грязи, от их мокрой облепляющей тело одежды шел пар.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Стихия была побеждена человеком, но в лесах, болотах, на озерах и торфоразработках еще пахло гарью, и еще сла-

лись над карьерами дымные полотнища. Изредка кое-где, словно из-под земли, вымахивал огонь, но его быстро заглушали дежурные бригады.

Несколько комиссий, возглавляемые инженерами, обследовали раны строительства, нанесенные огнем, подсчитывали убытки. Было похоже: на Красные горы и Моховые болота внезапно и стремительно налетел неприятель, разрушил, сжег постройки, мосты, машины, опали землю и, побежденный, разбежался по лесным чащам. Победитель, возвращаясь на пепелище, видел груды черных бревен, дымящиеся кучи углей, закопченные остовы печей, на месте жилищ сотни поваленных деревьев, — смерть и хаос там, где недавно кипела жизнь и был строгий и точный порядок.

Но самое ценное осталось: громада строящейся электростанции все так же мощно воздыгалась над верхушками сосен. Отстояли от огня клуб, почту, столовые, паровозное депо, бараки рабочих и сезонников на машиноформовочном участке. Целы были паровая установка и мастерские, кроме небольших ремонтных, стоявших недалеко от торфоразработок.

В бараках, квартирах инженеров, в клубе и под открытым небом у обгорелых зданий рабочие, инженеры, техники горячо обсуждали будущее строительства. Многим казалось: катастрофа на далекое расстояние отодвинула срок завершения работ. На многих участках нужно было строить сначала, с первого кирпича.

Николай Иванович Батуров все дни молчаливо и быстро ходил по строительству и делал торопливые заметки в записной книжке. Плотно сомкнув губы и нахмурив брови, стоял над чадящими грудами углей, над исковерканными пламенем частями машин, трансмиссий, станков. К нему подходили инженеры и рабочие, но он всем говорил одно и то же:

— Пожалуйста, не мешайте мне...

И пытался улыбнуться, но улыбка его была горька и не выпрямляла нахмуренных бровей, не растопляла суровую холодность взгляда.

Каждый вечер Николай Иванович выслушивал доклады председателей комиссий, подолгу говорил со своими помощниками, а ночами у письменного стола напряженно думал о том, какие силы и темпы нужны, чтобы построить разрушенное и наверстать потерянное время. Он писал, подсчитывал, зачеркивал и снова писал. Так напряженно никогда еще не работал начальник строительства. Часто утро заставало его сидящим у стола. Не раздеваясь, ложился он на диван, три-четыре часа спал каменным сном и опять принимался за работу. Все знали: Батуров готовит доклад к общему собранию рабочих, и все нетерпеливо ждали этого доклада.

Накануне собрания Николай Иванович дописывал последние страницы. Ему ясен был прорыв и то, какими усилиями и временем можно создать потерянное.

За стенами дома была необычная тишина: в мастерских, на стройке, у канала молчали станки, машины, агрегаты. В открытую форточку плыл однотонный шум сосен. В раздробленной электрическими фонарями темноте изредка вскрикивали паровозики, и снова на Красных горах и Моховых болотах неторопливо и тихо двигалась ночь.

Откидываясь на спинку кресла, Батуров утомленно закрывал глаза и слушал многовековые песни сосен. Два года, в грохоте и движении работ, не замечал он этих песен, а сейчас они звучали попрежнему первобытно, напоминая нетронутую глухомань чащи и топи.

В прихожей коротко прозвонил электрический звонок.

Николай Иванович недовольно поморщился и поднялся с кресла.

— Что нужно?—спросил он, открывая дверь на крыльцо.

В темноте, на нижней ступеньке, смутно виднелась женская фигура.

— Что нужно?—повторил инженер.

— Простите, Николай Иванович, я не хотела вам мешать... Если вы заняты...

— А, это ты, Вера.

— Если вы заняты, я зайду после.

— Входи, входи... Я рад тебя видеть.

Курганова нерешительно поднялась по ступенькам.

— Проходи в кабинет.

Он шел за ней, недоумевая, зачем пришла она в такой поздний час. И с удивлением, и некоторой досадой он почувствовал непонятное волнение, то же самое, какое испытал, возвращаясь лесом с постройки перед поездкой в Москву, когда увидал девушку, спрятавшуюся за елкой; то же самое, что и в Москве, вспомнив об этой встрече.

В кабинете Вера растерянно окинула взглядом зеленый абажур лампы, раскрытую чернильницу, листы бумаги, исписанные мелким почерком.

— Вы работали, а я...

— Ничего, моя работа подходит к концу... Садись, рассказывай, что случилось.

— Почему вы думаете, что со мной что-то случилось? — бледно улыбнулась Курганова.

Ее улыбка быстро растаяла, а глаза пытливо и настороженно посмотрели на Батурова.



Днем около конторы толпились торфяники и торфяницы, получали расчет. Они медленно и тщательно пересчитывали деньги, завязывали их в платки и бережно прятали на груди или, крепко зажав в кулаке, шли в бараки и запирали деньги в сундучки и укладки.

У раскрытого окна конторы, рядом с кассиром, сидел Копнов, говорил и шутил с каждым, подходящим к окну.

— Ну, Головастиков, получай деньги. Ишь, какую кучу тебе отваливают. Куда девать будешь?

— Найдем, куда девать, ты об этом не сумлевайся.

— А ведь порядком получили за сезон-то?

— Получили, сколько полагается. Сам знаешь, как работали.

— Жаль только, сезон до конца не довели. Много беды пожар наделал.

— Это, двиствительно, жалко.

Пересчитав деньги, Головастиков широко улыбался:

— Жалко, водки здесь не достанешь, а то бы мы тебя, Сергей Михалыч, в гости завали, угощение тебе выставили.

— Это за что же?

— А так, по-товарищески... Никаких недоразумений у нас с тобой не было, все хорошо, все по правде... Ты заходи на прощанье в наш барак.

— Зайду... Следующий... А-а-а, потомственный почетный торфяник! Здорово, приятель. — Сергей Михайлович заглядывал в расчетную ведомость и озабоченно хмурил брови. — Неладно получается.

— Что такое? — испуганно спрашивал староста Дубков.

— Неладно... Из артели с тобой никого нет?

— Нету.

— Плохо.

— Да ты объясни толком, в чем дело.

— Боюсь, не унести тебе одному полочки: вишь, сколько тут на твою артель приходится.

— А шут ты задави!.. Я думал, правда, какая ошибка вышла.

— Ну, держи капиталы.

Нахмутив брови и послуявив пальцы, Дубков считал кредитки.

— На будущий сезон опять к нам?

Староста молча кивал головой.

— Что ты головой, как бугай, мотаешь? К нам или не к нам поедешь?

— Да подожди, не сбивай... Что ты какой?.. Вот опять сызнов пересчитывать надо. Помолчи пожалуйста... Ну, вот так... Благодарим. — Дубков протягивал в окно широкую загорелую ладонь и крепко жал руку Копнова. — Благодарим. А на будущий сезон непременно к тебе. Такую артельку подберу — ахнешь!

— Ну, ну...

Вечером торфмейстер обходил бараки, прощался с сезонниками, а когда померкло небо и болота опоясала желтая лента зари — ушел на торфоразработки.

На полях стилки в беспорядке валялись кирпичи торфа, разрушенные клетки; глубокие карьеры были тихи, и темными заброшенными домиками стояли на их берегах торфяные машины.

Наклонив огромную свою голову, Копнов ходил по мертвому пространству болот. Еще недавно здесь посвистыва-

ли локомотивы, звенели девичьи ча-
стушки, стучали на рельсах вагонетки, и
в карьерах ямщики бросали в элеватор
тяжелые куски солнечного клада. Де-
сятки тысяч тонн прекрасного топлива
было заготовлено в штабелях. Милли-
оны киловатт электрической энергии та-
или в себе эти запасы. Часть их была
вывезена, и теперь где-нибудь на фабри-
ках и заводах возрожденная сила солн-
ца приводит в движение станки и маши-
ны. Много штабелей уничтожено пожа-
ром. Пожар испепелил мох, прожег в
земле выгора и ямы, уничтожил не-
сколько элеваторных установок. Но под
опаленной землей, под слоем оранжевой
и серой золы лежат нетронутые пласты
солнечного клада.

«Мы взяли маленькую частичку из
богатства, накопленного солнцем, — ду-
мал Копнов, сидя на берегу карьера.—
Какую-то долю процента... А сколько
нам еще предстоит взять?»

Он старался утешить себя мыслями
о будущем, он представлял себе, как
весной, в березовой горечи перелесков,
в дни цветения пушицы и вереска, опять
оживут, загудят, загромяхают Мохо-
вые болота. Опять будет ходить он по
участкам, балагурить с торфяниками,
слушать звонкие песни девок, опять ис-
пытает знакомую радость, видя, как на-
лажено и бодро идут работы и как с
каждым часом растет богатство, добы-
ваемое из недр земли.

И все же суровые морщины не расхо-
дились на лице старого торфмейстера и
сердце побелело жалостью при виде раз-
рушения любимого.

Свесив короткие, толстые ноги в карь-
ер и тяжело опираясь руками о мягкую
землю, он смотрел на тускло блестя-
щую воду, на пни, черными, многолапы-
ми чудищами лежащие на берегах, и
тишина и неподвижность болот угнета-
ла его. Хотелось громко крикнуть, что-
бы прогнать эту гнетущую тишину.
Сергей Михайлович нащупал сухой ко-
мок земли и бросил вниз. Глухо бульк-
нула вода. Копнов тяжело вздохнул и
встал.

Справа над обгорелым перелеском
желтым изгрызанным караваем подни-

мался ущербленный месяц. Над боло-
том плыли туманы. Далеко на поселке
заплакала гармошка.

«Гуляют приятели, — подумал о
сезонниках торфмейстер. — Завтра на
родину уезжают».

И опять зачарованно смотрел на ту-
маны, на желтый месяц, на звезды, уже
по-осеннему крупные.

— Эх, если бы можно взять все сра-
зу, — вслух сказал он, протянув руки
над карьером, будто загребая все, что
находилось в нем. — Силы-то сколь-
ко!

Рядом огромным спрутом, растопы-
рив уродливые корни, лежал пень.

— Силы-то сколько, — подмигну-
л торфмейстер и толкнул его ногой.

Пень не шевельнулся. Торфмейстер
толкнул сильнее, и опять был неподви-
жен уродливый спрут.

— Что же ты, милый? — удивился
Копнов и облапил громадину. Глухо
крякая и тяжело дыша, он бормосал е-
пнем, пытаясь сбросить его в каювер.
Ему чудилось, что борется с каким-то
злым молчаливым чудовищем и что это
чудовище виновато в разрушении нала-
женного дела. Хрустели суставы, на
лбу выступили крупные капли пота.
Упираясь ногами в землю и навалива-
ясь грудью на пень, он приседал и под-
нимался, крепко вцепившись пальцами
в узловатые корни. Задышавшись от на-
пряжения, ворчал:

— Врешь, милый, посилю...

Пень дрогнул. Стиснув челюсти, Коп-
нов приподнял его и сбросил в карь-
ер. Громко ухнула вода и сноп брызг
ударил в лицо.

— Ага,—торжествующе сказал Сер-
гей Михайлович. — То-то...

Улыбаясь, подумал:

«Видали бы меня сейчас торфяни-
ки, подумали бы: торфмейстер с ума
спятил... Ишь, какой чорт, замаял...»

И, чувствуя, как спокойствие снова
возвращается к нему, медленно пошел
к поселку. Часто останавливался и по-
долгу не мог отвести взгляда от плыву-
щего в небе месяца, от посеребренных
туманов и уходящих к горизонту бо-
лот.



В беспредельности вселенной двигались солнца, планеты совершали извечный свой путь, в глубинах мироздания проносились туманности, кометы, умирали и возникали новые миры. Извечный свой путь совершала земля, и на земле где-то нарождалось утро, и люди начинали день трудом и насклием, слезами и радостью, надеждой и отчаянием...

А на Красных горах ночь раскинула темносиний, расшитый звездами полог; спали топи и лесные чащи, туманы ползли с болот.

Николай Иванович Батуров посмотрел вверх и сказал:

— Как ярко горят звезды... Я давно не обращал на них внимания и знаю: завтра я опять не увижу их, — весь уйду в работу... А сегодня мне хочется ходить по земле и смотреть на небо.

Курганова шла молча, опустив голову.

— Ты что-то притихла, Вера? Может быть, раскаиваешься в том, что пришла ко мне и рассказала о своей любви к Шахраю?

— Нет, не раскаиваюсь.

— В том, что произошло с тобой, нет ничего ужасного.

— Вы не сказали мне, что я должна делать. Я на распутьи. Куда идти?

— Я не беру на себя смелость советовать. Тебе самой нужно решить.

— Николай Иванович, помните, я как-то сказала вам, что, если со мной случится несчастье, я приду к вам за советом и помощью... И вот пришла, и все рассказала, и расплакалась, как глупая девчонка. Мне стыдно: вы заняты такой огромной и важной работой, а я отнимаю у вас время... Вы даже пошли провожать меня. Я так благодарна вам.

Вверху, в таинственности и тишине неба, сорвавшейся звездой вспыхнул метеор, прочертил в темносинем голубую ослепительную линию и упал за мохнатыми шапками сосен.

Вера тихо ахнула, восторженно смотря на небо.

— Ну, вот и твой дом.

— Так что же делать, Николай Иванович?.. Ну, скажите... Сейчас я говорю не с начальником строительства, известного почти всей нашей стране, а с товарищем Батуровым, с которым когда-то жила в одном доме... Вы всегда относились ко мне дружески... По какой дороге идти? Ну, как бы вы поступили на моем месте?

— Я начал бы сначала, с новыми силами... Помнишь пустырь около завода? Ты учила пионеров ходить и поворачиваться по команде. Дети не умели стоять в шеренге, поворачивались в разные стороны, а ты настойчиво добивалась своего и говорила: «Начнем сначала»... А помнишь, как стройно прошла колонна пионеров перед зданием уисполкома в международный день юности? Я видел, какая радость была на твоём лице и как уверенно и гордо ты выкрикивала: «Левой!.. Левой!..» А потом вечером мы возвращались вместе из клуба. Ты уже была комсомолкой. Я видел: тот день был необычен для тебя, он так взволновал тебя, что ты от волнения и радости заплакала у крыльца нашего дома и убежала. Помнишь? Мне понятно было твоё волнение, и тот день памятен мне потому, что, вернувшись в свою комнату, я не спал до рассвета и написал заявление в ячейку о моем желании вступить в партию. «Начнем сначала» — говорила ты пионерам... На твоём месте я сказал бы себе: «Начну сначала».

Девушка молча слушала. В темноте ее лицо казалось очень бледным.

— Жизнь каждого из нас не прямая, ровная дорога, она полна неожиданных поворотов, круч, ухабов... Это хорошо: ухабы и удары жизни закаляют нас, приучают к борьбе и лишениям. Надо смело и гордо идти по жизненной дороге, и свое будущее надо брать с бою.

Инженер говорил возбужденно и громко.

— Брать с бою!.. Всегда и во всем!.. В моей жизни было немало ухабов, я преодолел их и, не колеблясь, могу сказать: и в будущем я преодолю всякое препятствие на своем пути... Разве

не удар для меня, тебя и каждого рабочего то, что произошло на строительстве? Так что же ты думаешь: мы бесильно опустим руки, покорно согнем плечи?

Николай Иванович показал пальцем в ту сторону, где за соснами сверкала огнями станция.

— Вон, смотри... Там затихло самой ценное, самое любимое в моей жизни... Я восторженно создавал проект станции, я горел над ним... Для воплощения в жизнь этого проекта нужно два с половиной года напряженной работы, не только моей, но и каждого работающего на строительстве. Мне говорили перед началом: это невозможно. Но я знал, что со мной будут работать люди, на которых смотрит весь мир. Люди — творцы, победители!.. И я не ошибся. Ты сама знаешь, какие результаты дали у нас ударничество и социалистическое соревнование. И вот — пожар, прорыв... И многим кажется: срок окончания работ отодвинут на далекое расстояние. Да разве может это быть? Разве можно что-нибудь откладывать на завтра, когда для нас дорог каждый день, каждый час. Завтра на общем собрании я заявлю: станция будет построена в срок. Да, да, построена в срок! Социалистическое соревнование и ударничество сэкономили строительству полтора месяца. Это я знаю точно. Чтобы восстановить уничтоженное пожаром, нужно около четырех месяцев. И это я знаю точно. Можно ли наверстать два с половиной потерянных месяца в оставшееся до срока время? Можно! Это мое твердое убеждение, тщательно проверенное, обдуманное до мельчайших деталей. Мы выполним взятые на себя обязательства. Мы будем бешено работать!.. И я знаю, что завтра ответят мне рабочие.

Вера что-то хотела сказать, но он взмахом руки остановил ее.

— И вот ты... Жизнь потрянула тебя на ухабе, и тебе кажется: не выбраться из этого ухаба... А я не верю... Выберешься!.. Не сейчас, так через год, через два... Тебя не удовлетворит тихонькое мещанское бытие... Хотя, может

быть, ваша жизнь с Шахраем сложится как-то по-новому. Ты знаешь Шахрая лучше меня, и тебе судить об этом

Помолчав, тихо сказал:

— Одно прошу тебя запомнить: ты была и останешься одним из самых близких для меня людей. Будешь жить с Шахраем — заходите ко мне, не забывайте... Уедешь в Москву — обязательно пришли мне свой адрес. Я буду навещать тебя и, думаю, могу быть для тебя полезным.

— Николай Иванович, скажите честно: ваше отношение ко мне не изменилось после того...

— Не говори глупостей... Я был бы счастлив, если когда-нибудь моей женой была бы такая девушка, как ты.

Она испуганно посмотрела на инженера и заторопилась:

— Я пойду... Извините меня... И спасибо вам за все...

— Покойной ночи, Вера.

Батуров мягко пожал руку девушки и ушел в ночь, где в туманах голубыми одуванчиками светились фонари, шумели сосны и над соснами мерцали запутанные узоры звезд.

Через день снова загудели Красные горы. Ожила заглохшая громада станции, запели моторы, заскрежетали бетономешалки, камнедробилки, и клетки электрических лебедек бросали в небо кирпичи, цемент, железо.

На месте пожара люди разгребали горячие угли, оттаскивали в стороны обгорелые бревна, и рядом плескался торопливый говор топоров, хрипели пылы и звонкими дятлами стучали молотки.

Торопливо и споро работали люди, и прекрасен был творческий труд. Люди знали: вчера из деревянного небольшого здания почты в седые стены Кремля полетели слова телеграммы, где каждое слово было верой в победу и в каждом слове была сила победителя. Люди знали, что, может быть, в то время, когда на Красных горах сверкают в утреннем солнце топоры и смолистые щепки брызжут от желтых бревен, в Кремле читают:

«Мы, рабочие, инженерно-технический персонал и служащие Красногорского строительства, заверяем ЦК партии и Совнарком, что мы ликвидируем прорыв нашего строительства и обязуемся закончить постройку электростанции в намеченный срок...»

Вера Курганова с маленьким чемоданчиком в правой руке и связкой книг в левой быстро шла к паровозному депо. На ее лице светилась улыбка, и широко раскрытые глаза жадно впитывали в себя движения людей, взмахи лебедок, вспышки топоров под солнцем...

На узкоколейке девушка встретила Медведева и еще издали крикнула ему:

— Прощайте, Алексей Петрович!

— Куда это?

— В Москву, учиться.

— Почему же прощайте? Разве мы никогда больше не встретимся?

— Ну, до свиданья! — Она поставила на землю чемоданчик и крепко пожала руку Медведева. — Не забывайте меня, пишите. Адрес узнаете у Батурова. А вы не думаете уехать?

— Нет, я до конца работ останусь на строительстве. — И, лукаво улыбаясь, сообщил: — Я, знаете ли, теперь человек семейный, женился... Помните Лущу Бокареву?

— Слышала об этом... Желаю вам счастья.

— Спасибо. Не жалко уезжать отсюда?

— По правде сказать: жалко. Ко всему и ко всем я здесь привыкла... Но делать нечего, пора выходить на широкую дорогу.

— Ого!.. Ну и вам желаю всякого успеха. Учитесь хорошенько, чтобы года через три—четыре я вас инженером встретил.

— Так и будет!.. Да, вот еще что... — Улыбка исчезла на лице девушки, и глаза ее посмотрели на Медведева печально и строго. — Вот еще что... Передайте Шахраю, что я ему желаю всего хорошего... Я не видала его перед отъездом... И передайте еще: так лучше. Он поймет, что значит «так лучше»... Ой, не опоздать бы!

Курганова еще раз пожала руку Алексея Петровича и побежала к депо, где нетерпеливо и звонко вскрикивал паровозик.

Через десять минут она сидела на вагонетке, груженной торфом, и молча прощалась с высокими стенами станции, красными крышами мастерских, слушала затихающие шумы строительства. Быстрее и быстрее бежал по желтой насыпи поезд, качались вагонетки, и клубы дыма и пара, разорванные ветром, таяли в голубом утре.

За соснами исчезли постройки. Вера вздохнула и по привычке трянула головой. Ветер упруго ударил в лицо и, щурясь от ветра, девушка смотрела на желтую насыпь, на звонкие рельсы, уходящие в будущее...

1931—1932 гг.

Дулево, Московской области

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Героническая поэма «Мадур-Ваза Победитель», как явствует это из подзаголовка, представляет собою литературное заимствование. Поэма Мих. Плотникова «Янгал-маа» была напечатана в 1918 г. в «Сибирских записках», а в текущем году выходит отдельным изданием в издательстве «Academia», куда мы и отсылаем всех интересующихся этой стороной дела критиков и читателей. Сейчас же считаем необходимым сказать следующее:

Михаилу Плотникову выпало на долю большое счастье: он поднял с суровых и неприютных снегов сибирской тайги и тундры золотое руно чудесной народной сказки, притом родившейся в глубинных недрах народа настолько малочисленного (немного более пяти тысяч человек, живут по притокам Оби), настолько малокультурного (нет письменности), что появление труда Плотникова без всякого преувеличения справедливо можно почесть за большое открытие в области народного творчества, однако факт напечатания поэмы в «Сибирских записках» и статья того же Плотникова в «Сибирских огнях» за 1924 год, имеющая целью пропаганду и популяризацию этого открытия, не нашли должного отклика в печати ни в среде ученых исследователей, для которых, с нашей точки зрения, труд Плотникова представляет несомненный интерес, ни в среде критиков.

Мих. Плотников в своей статье о вогульском эпосе говорит о тех двенадцатилетних трудностях, в которых ему пришлось в царское время добираться до тайников маленького народца, затеря-

ного в непроходимых лесах Сибири, чудесным образом сохранившего в своей памяти всю свою судьбу и историю, преображенную народной фантазией в причудливые образы сказки, говорит о недоступности, скрытности этих лесных кочевников, лелеющих не одну сотню лет ненависть к царским порабощителям и прекрасную мечту о возмездии. Ныне, когда у нас за плечами пятнадцать лет Октябрьской революции, когда все малые народности вошли как полноправные братья в великую семью народов СССР на основах национального самоопределения, причин к этой скрытности от нас у них нет, исследователю открыт широкий путь, на котором энтузиасту-руноискателю ждет хотя и тяжелый, но увлекательный труд, а поэта и писателя — высокое и подлинное вдохновение.

Можно с уверенностью сказать также, что при разности исторических и политических условий вчерашнего и сегодняшнего дня в этих народностях, составляющих периферийное кольцо СССР, в наши дни несомненно должно идти органическое развитие народного творчества, не могущего не откликнуться и не взойти на тот крутой подъем, на который ведет революция жизнь народов и их историю.

Все это обещает в недалеком будущем прилив в развитии социалистического искусства СССР, ибо все эти вчера незримые и недоступные глазу реки и протоки, наполненные до краев чистейшими водами, освященными народным страданием, вольются ныне в единое великое русло советской поэзии.

Сергей КЛЫЧКОВ.

Мадур-Ваза Победитель

СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

(Вольная обработка поэмы М. Плотникова «Янгал-маа»)

Вступление

— На полянах янгал-маа,
На коврах зеленых тундры
Подымаются горбами
Безымянные могилы...
Из густой травы белеют
Кости тундровых оленей,
Возле каждого селенья
Их рога лежат горою,
И, промытые дождями,
Ребра белым частоколом
Встали около паулов!..
Как в таежный мор — позёмку —
Дружно падают олени,
Так от горя и болезней
Умирают наши манси —
Наши бедные вогулы!..

Под удары барабана
Мудрый ойка — старый Кукса —
Громко пел, а чуть поодаль
От него на инструменте,
Схожем с лебедем прилетным,
Что плывет по заводине,
Стройно шею выгибая
Над вспенённой волною, —
На своем старинном гусе
Ваза, юноша прекрасный,
Вторил старому шаману...

— В зимний край, на дальний север
Из тайги уходят звери,
Птицы тоже улетают,
Чтоб гнездиться, где поглуше.
Рыбы стало много меньше
В быстрых водах наших яя —
Наших рек и их притоков.
Обмелела наша Ас'я,

Обь — кормилица народа,
И Речной Старик — заботник,
Царь всех рыб больших и малых,
Позабыт и похоронен:
С головы его волосья
По курьям, по топким лягам
Проросли зеленой тиной,
И ресницы тальниками
Вдоль по берегу пробились.

Кто же знает, кто же помнит
Золотую бабу — Рачу,
Что при виде русских полчищ
То бросалась с кручи Ас'я,
То таинственно пред ними
От беды и поруганья
Исчезала из кумирни?

Все проходит, умирает
И рождается в новом свете
В царстве вечного Торыма!
Манси — вольные вогулы —
Полюбили сули — водку.
И за пазухою носят
На охоту и рыбалку
Флягу с огненным настоем,
С жидким пламенем бутылку.
Манси — вольные вогулы —
В праздник жертвы не приносят,
И разгневанные боги
Часто мстят им в темной эди —
В темной и беззвездной ночи.
Боги умерщвляют лили —
Души, полные тревоги, —
Лили наших бедных манси;
Насылают мор-позёмку
На оленей — наших сали,
И селения — паулы —
Замечают белым снегом,

Погребая под сугробы!
Мы уйдём, покинем землю,
Нашу землю — нашу маа,
Чтобы больше не родиться,
Не скользить на быстрых лыжах
За лисицей — за оксаром!

Мы уйдём, покинем тундры;
Наши утлые долбенки,
Лодки — хабы, как могилы,
На песках сгниют тоскливо;
Без оленей нарты — сани —
Зарастут густой осокой,
И в паулах опустелых
Будут жить лишь звери — уи!

Замолчал вдруг старый Кукса,
Не играет больше Ваза,
Все задумалось: упрямо
Смотрит вековая тундра!
Чернозобую гагарой
Пролетела эта песня
И запала в сердце манси,
Как великое проклятье
Дней прошедших и грядущих...
А в логу над темной падью
Смелшно было, как смеялся
Кто-то громко и протяжно
Над несчастьем и бедою
Позабытого народа.
Улыбнулся старый Кукса
И, блеснувши грозным взглядом,
Громким голосом воскликнул:

— Не печальтесь, не горюйте!
Знаю песню я иную,
Песню радости великой!
Пусть откроет каждый лила —
Душу, полную тревоги, —
И прислушается к песне:
Все в прошедшем, все в грядущем,
Все живет и умирает
И родится в новом свете
В царстве вечного Торыма!

Смолкнул мудрый ойка Кукса,
Что-то долго вспоминая...
Опершись о длинный посох,
Он держал в руке дрожащей
Бубен — пензер дальноокый...
По оленьей коже бубна,
Глянцевитой и прозрачной,
Из-за сосен луч вечерний
Еле слышимо для уха
Куксы — старого шамана —

Барабанил красной лапкой,
Лес шумел, и дятел где-то
По дуплу сосны столетней
Стукал мерно черным клювом;
Над рекой в седом тумане
Птица скорби и несчастья —
Чернозобая гагара —
Вещим голосом кричала...
Долго думал старый Кукса,
Не решаясь молвить слово,
Терпеливо выжидая
Время для чудесной песни,
И, тихонько струн касаясь,
Нежно гус обняв за шею,
Ваза — юноша прекрасный —
Был задумчив и печален,
Как осенний день без солнца.

— Это песня и загадка! —
Наконец промолвил Кукса, —
Кто откроеет смысл великий,
Полный вещего значенья,
Кто исполнит слово в слово
Все слова загадки-песни,
Тот укажет путь широкий,
Как весной река в разливе,
И в последний, в час прощальный
Без страдания и скорби
Вознесется выше леса,
Выше гор, покрытых снегом,
Что стоят за облаками,
В царство дальнее Торыма!

Слушайте, вогулы — манси!
В незапамятные годы
Старики так говорили:
В край суровый, непогожий
Мы пришли из стран далеких,
Где сияет вечно солнце,
Где весна, царица Туе,
Круглый год бесменно правит
Безмятежною землею!
Прибтели — и путь обратный
В это царство позабыли...

Горько смолкнул старый Кукса...
Опершись о длинный посох,
Он понизил головою.
В красном зареве заката
Опускалась ночь на землю,
Тени робкие бежали
От берез, осин и кедров...
Скоро ночь закрыла солнце
Тканью легкой и дрожащей,
На которой юный месяц

Вместе с звездами был выткан:
Месяц — золотом, а звезды —
Серебром и красной медью...

— Ночь пришла; пойдите в юрту,
Здесь не время оставаться:
Может дух подслушать песню,
Разгадать ее загадку
И разбить желанья наши! —
Так промолвил ойка Кукса,
А в логу над темной падью
Слышно было: кто-то плакал,
Кто-то радостно смеялся
И в ладоши громко хлопал,
Как плащмя веслом о воду...

Песня первая

Мейка

Тесным кругом у чувала
Собрались вогулы слушать
Сказку-песню ойки Куксы
О счастливом избавленьи
Позабывтого народа.

Долго думал ойка Кукса,
У костра склонившись низко...
Все кругом него молчали,
Все сидели без движенья,
Только лишь огонь в чувале
Чуть трещал и сыпал искры.

— Кто не знает ойки Мейки? —
Начал песню старый Кукса,
Вдруг ударив в звонкий бубен,
Быстро на ноги поднявшись. —
Кто не слышал, как он плачет,
По глухой тайге скитаясь,
У охотников под вечер
Из-под ног воруя тропки,
Заводя их в глушь, в трясину,
Где огни горят в тумане,
Где гнездо себе свивает
Птица вещая тагара, —
Там он губит их навеки!

Часто птицей черноперой,
На полнеба распластавши
Крылья с острыми когтями,
Подлетит он к дыму чумов
И в безмолвной темной эди —
Ночи темной и беззвездной —
Кличет смерть и шлет нам горе...

И напрасно наши амбы —
Наши верные собаки —
Лают, бегают проворно,
Как бы зверя настигая:
Лайки не настигнут Мейки —
Высоко над темным лесом
Бог коварный и суровый
Птицей смерти пронесется
И исчезнет в синих даях!

Чаще Мейга прилетает,
Больше падает леней,
Ночью крепче спят вогулы,
И во сне своем не видя,
Как по снегу сали-уи —
Волки — крадутся из чащи,
А у чума амбы-лайки
С тихим визгом, хвост поджавши,
В страхе трутся друг о друга.

Золотое было время,
Годы счастья и покоя.
В те года у бога Мейки
Не горело сердце мщеньем;
Мейка жил в ладу с народом,
Был ко всем сердечен, ласков,
Справедлив и прям душою...

В чаще леса векового,
У сосны, у попы-яи —
У священной светлой речки —
В тканях, золотом расшитых,
На зеленом возвышеньи
Жил он в капище богатом.
В год тяжелый и несчастный
Из-за гор, покрытых снегом,
Словно вешние потоки,
К нам вбежали вымим-яги —
Вторглись русские дружины...
Храбро выступили манси
Против крепкого железа,
Изрыгающего пламя,
С деревянными шестами
И со стрелами на луках.
Храбро бились, долго бились
За свободу дымных чумов,
Перед манси-храбрецами
Шаг за шагом отступали
Бородатые варнаки, —
Попадая в дебрь и топи,
Гибли злобно и бесславно.
Уж вогулы запевали
Песню громкую победы,
Но шаман, предатель Гузы,

Соблазнился на подарки:
 За расписанные ткани,
 За пиель — ружье с насечкой —
 Он тихонько от народа
 Вынул очи бога Мейки.

В тех очах, зеленых в полдень,
 Как тайга в своем наряде,
 Отражалась радость жизни,
 Радость светлого рожденья!..
 В тех очах, багрово-красных
 В час, как солнце заходило
 И ночная тьма спускалась,
 Были видны смерть и горе,
 Блеск кровавого заката
 Дня, ушедшего навеки!
 Слепленный ойка Мейка
 Не настиг шамана Гузы:
 Торым-Нума всемогущий
 Спрятал Гузы в царство тени...
 Грозный бог в отместку Нуму,
 Богу вечности Торьму,
 Выкрал в полночи оленей
 У хозяина вселенной,
 И разгневаные боги,
 Слуги Нума, дали кличку
 Ойке Мейке: вор олений!
 С той поры повел раздоры
 Мейка с Нумом и богами,
 Приближенными Торьма.
 Нам же, всем вогулам — манси,
 Как семье, родившей Гузы,
 Отомстил за все жестоко
 Ойка Мейка, бог суровый:
 Он зажег тайгу, паулы,
 Верхачом огонь пустивши;
 Местью черною пылая,
 Указал тропинки русским,
 Разорил в тайге кумирни
 И по ветру, что зимою
 Облетает каждый кустик,
 Каждый чум и юрту знает,
 Выслал мор — падеж на сали!

День сменялся тьмою ночи,
 Быстро мчался год за годом,
 Лист желтел и осыпался,
 И зима — нагая Тэли —
 На своих метельных крыльях
 Из холодной, мертвой тундры
 Над тайгою пролетала,
 Но забыть не может Мейка
 Поруганья и измены,
 И на быстрых сали летом

В черных тучах он несется,
 Громыхая длинной нартой.
 И, когда в ночи пронизет
 Змейка тучу над тайгою,
 Знай, что это сали Мейки
 Мчатся с нартой костяною,
 Это прыгают олени
 Со стремнины на стремнину,
 И рога их золотые
 Разрезают тучу блеском!

Пусть герой не устрашится,
 Пусть он хитростью иль силой
 Средь безмолвной, темной эди —
 Ночи темной и беззвездной —
 Пробрется в царство Мейки
 И, когда олени дремлют,
 Подойдет к ним незаметно
 И похитит головного
 Хора с длинными рогами:
 Это будет первый подвиг,
 Первый шаг к спасенью манси!

Если месяц на исходе,
 Пусть герой оставит юрту,
 Поменяет чум на нарту
 Злого бога ойки Мейки
 И несется вихрем в царство
 Старца Шубного — медведя,
 К дальним горам все на север,
 На истоки рек Оксара —
 Рек лисицы чернобурой —
 Путь свой светлый направляя.

Спать пора! — закончил Кукса. —
 Слышу голос, вам неслышный,
 Вижу духа на тропинке:
 Он идет подслушать песню,
 Он загадку разгадает
 И расскажет вору Мейке, —
 Завтра песню я dokonчу!

Побледнел и весь затрясся
 Старый Кукса и протяжно
 Прокричал: «Я вижу духа!»

Песня вторая

Шубный Старец

Солнце красное склонилось
 На зубчатые вершины
 Хмурых елей над увалом,
 И кровавые осины

Над притихшею рекою
Что-то грустно зашептали...

А когда над темным лесом,
Высоко под облаками
Крики стаи журавлиной
Скорбным стоном прозвучали,
Как последнее прощанье,
И когда у попы-яи —
У священной светлой речки —
Вспыхнул вновь костер смолистый:
Поначалу тихо-тихо,
А потом все громче-громче,
Потрясая барабаном,
Ойка Кукса песню начал
О медведе — Шубном Старце.

— В те года, что миновали,
Что не помнит даже Ортик —
Бог Обской губы и тундры —
В первый раз в тайгу явился
Бог медвежий — Шубный Старец —
Наказать людей по правде,
Рассудить раздоры манси
И сменять на лето зиму,
На которую когда-то,
Позабыв назад дорогу,
Манси Тве поменяли...

Среди гор, покрытых лесом,
На утесе, в темных кедрах
Чум себе поставил старец,
И к нему туда ходили
Недовольные судьбою,
Все обиженные долей...
Он судил дела по чести:
Ободряя невинных,
Трижды лапою мохнатой
Проводил он им по спицам,
И от этой страшной ласки
Только сладко ныло сердце
Да под кожаную паркой
Мураши бегли по телу,
А виновным той же лапой
Вместе с паркой и рубахдой
Заворачивал и кожу,
Присуждая за проступок
Меньшим братьям на с'еденье...

Братья меньшие — медведи —
При таком законе старца
Были сыты и ленивы.
Верст на двадцать по округе
Храп всегда стоял медвежий,

И никто их не решался
Братья вблизи владений Старца
Ни рогатиной, ни луком.

Проходил так год за годом,
Манси — вольные вогулы —
Жили в мире и довольстве,
И ни разу сердце ойки
Не склонилось на неправду,
И ни разу он, ни разу,
Разбирая спор вогулов,
Не терял в решеньях мудрость,
Как неопытный охотник
Верный след теряет, к юрте
Без добычи возвращаясь...

Много лет прошло счастливых,
Но ошибку сделал старец:
Допустил несправедливость,
Разбирая дело Ючо.

Кто не знал прекрасной Ючо?
Как огонь костра в тумане
Тянет путника с дороги
Отдохнуть и освежиться,
Так влекла и аи-Ючо
Старика и молодого:
Раз взглянув на аи-Ючо,
Раз послушав речь живую,
Уж никто порой ночью
Спать не мог потом спокойно!

Много юношей прекрасных,
Ловких, смелых, как шайтаны,
Предлагали аи-Ючо
Стать женою их навеки,
Но она в ответ смеялась
И на эти речи только
Отвечала им с улыбкой:

«Не хочу я, как другие,
Быть рабынею у мужа...
На недолгий срок приходит
Тве в тундру ледяную,
А любовь — в мужское сердце,
Скоро рядышком с любовью
Сядет хмурая забота,
А в заботе и в работе
Красота моя завянет,
Как цветок от дуновенья
Ветра северного тундры!»

Двадцать весен миновало,
Двадцать раз тайга меняла

Свой убор зелено-пышный,
 Но ни разу сердце Ючо
 Не откликнулось тоскою
 На тоску другого сердца.
 На томительные ласки,
 На любовь и обещанья
 Аи-Ючо повторяла
 С неизменною улыбкой:

«Не хочу я быть рабыней,
 Мне не надо ярких тканей,
 Серебра и бус янтарных,
 Я цветами украшаюсь,
 Мне к лицу меха простые,
 Не хочу я быть рабыней,
 Жить, как амба, в дымном чуме!»

Нет такого зла и горя,
 От которых втихомолку
 Умывались бы слезами
 Сердцем крепкие вогулы,
 Но от слов холодных Ючо
 У охотников отважных
 Часто-часто под глазами,
 От чего нивесть, мокрело
 И под ложечкой спирало,
 Как в берлоге под медведем...
 Не один из них, скитаясь
 По тайге без стрел и лука,
 Пропадал потом без вести,
 В злой тоске по аи-Ючо
 Спутав тропки и залысы...

Долго мучился тоскою
 И охотник Лач, — с касаем
 Иль с березовой дубинкой
 Выходил он на медведя,
 В тайне думая, что, может,
 Злой тоски его развязку
 Притаил владыка леса
 У себя в могучих лапах,
 Но медведь еще ни разу
 Не подмял его на землю,
 И, не видя избавленья,
 Лач ночами часто плакал
 И кусал зубами шкуры,
 Пред собою видя Ючо
 В мраке юрты одинокой.

Наконец решил он силой
 Оборвать цветок волшебный,
 Что хранила аи-Ючо,
 Что желал он больше жизни.

Темной эди — темной ночью, —
 Ночью темной и беззвездной,
 Он, как сали-уй голодный,
 Как голодный волк, прокрался
 В чум прекрасной аи-Ючо
 И, как рысь, напал, безумный,
 Диким и протяжным криком
 Торжествуя ночь победы.

Аи-Ючо отбивалась,
 В страхе бегала по чуму
 И молила нежно Лача:

«Лач, оставь меня, не трогай!
 Лач... не делай мне бесчестья!»

Но в ответ ей Лач смеялся,
 Он мольбы ее не слушал, —
 Бушевала в сердце Лача
 Страсть, как выюга в буреломе,
 И, когда устала Ючо
 Бегать по большому чуму,
 Он схватил ее в объятья
 И упал на шкуры с нею...

Как змея, скользнула Ючо...
 К двери бросилась проворно
 И, схватив соарб тяжелый
 С рукояткою из кедра,
 Рассекла им череп Лача.

Разнеслась молва повсюду:
 Темной эди — темной ночью, —
 Ночью темной и беззвездной,
 Аи-Ючо заманила
 В чум к себе беднягу Лача
 И во сне его убила!

Все кричали: «Стыдно, страшно
 И позорно нам подумать,
 Чтобы женщина мужчину
 Безнаказанно убила!
 Наказать убийцу Лача!
 Чтобы помнили все аи,
 Чтоб страшились наши эввы —
 Наши девушки и жены —
 Помышлять о страшном деле!»

Собрались со всех паулов
 Старики и молодые,
 Ючо с криками схватили,
 По рукам-ногам связали
 И снесли к Отцу-Медведю
 Для суда и наказанья.

«Смерти требуем!» — сказали
Манси все в единый голос,
Подошедши к юрте Старца,
Из которой доносился
Храп спокойный и довольный.

«Смерти требуем! — вскричали
Манси, в юрту дверь откинув, —
С роду рода не бывало
Дела страшного такого!»

Шубный Старец повернулся,
Сел на пенушек у входа,
Не расслушал дела толком,
Потому что был спросонья,
Поднял лапу и промолвил:
«Развяжите ай-Ючо!»

Десять ножииков блеснуло,
Ючо встала перед Старцем:

«Шубный Старец, ойка мудрый,
Я тебе скажу всю правду!»

«Смерть!» — вновь крикнули вогулы,
Заглушая голос Ючо.

Испугался Шубный Старец
И хотел махнуть уж лапой
В знак согласия с народом,
Вдруг с вершин лесных отрогов
Прокатился дикий хохот,
И на быстроногих сали
Мейка грозный появился.

«Стойте!» — он крикнул Старцу грозно.
На колени пали манси,
Зашатались гор вершины,
Заскрипели сосны, кедры,
И ручьи умолкли разом.

«Шубный Старец хуже бабы
И дела справляет плохо:
Продери-ка бельмы лапой,
Ничего уже не видишь
У себя, старик, под носом!
Вы хотите смерти Ючо? —
Обратился он к вогулам,
Обводя их грозным взглядом. —
Но скажите мне по правде
Вместе с ойкой Шубным Старцем:
Если кто средь темной эди —
Ночи темной и беззвездной —
Словно сали-уй голодный.

Как голодный волк, коварно
Нападет на чум в располхе,
То какое наказание
Тот заслужит по закону?..»

«Смерть тому!» — вскричали манси
И за ними — Шубный Старец.

«Смерть тому! — воскликнул Мейка —
Хорошо вы рассудили,
Но и вы достойны кары:
Вы, как дети в глупой ссоре,
Раскричались над невинной
И карать ее хотели
Лютот смертию, страшно смертию!»

«Мы не слышали, что скажет
Лач, убитый ай-Ючо?» —
Молвил Шубный Старец тихо,
Не посмеяв взглянуть на Мейку,
Бога, грозного, как буря.

«Я сказал!» — ответил Мейка.
И, ногой о землю топнув,
Трижды в сильном гневе крикнул:

«Лач! Иди, скажи им правду,
Пусть они тебе поверят,
Если Мейке нет здесь веры!»

Лач явился из могилы,
Поклонился низко в землю
И, к народу обратившись,
Скорбным голосом промолвил:
«В этом деле я повинен!»
И исчез, как на восходе
Исчезают над рекою
Тени легкие тумана.

Все поникли, замолчали,
Замолчал и Шубный Старец,
В содроганьи ожидая
Слова грозного и злобо.
Но суровый ойка Мейка
Сел в молчании на нарту,
Что он выточил из кости
Мамонта — быка Мухора —
Посадил с собою Ючо,
Плюнул старцу прямо в темя,
И, плевком отбив охоту
Старцу Шубному — Медведю —
Разбирать дела вогулов,
Тронул нарты костяные,
Покатил быстрее ветра,
Крикнув голосом веселым:

«Эй вы, ай! Эй вы, эквы!
Ючо будет мне женою!»

Шубный Старец с гор спустился,
Захватив тамгу Торыма —
Знак свободного прохода
В царство Мирры-Суснахума, —
И, женившись здесь на Мюсснэ, —
На речной волшебной ай, —
С ней ушел в свое жилище.

Пусть герой не усташится,
Пусть он хитростью иль силой
Средь безмолвной темной эди,
Ночи темной и беззвездной,
Проберется в царство ойки —
Старца Шубного — Медведя,
И в тот час, когда собаки,
Дремлют у его берлоги,
Распластав хвосты по снегу,
Украдет тамгу Торыма —
Талисман чудесный Нума —
Знак свободного прохода
В царство Мирры-Суснахума.
Это будет смелый подвиг,
Шаг второй к спасенью манси! —
Так закончил песню Кукса.

Песня третья

Роч-маа

Без кичиг, без звезд мохнатых,
Без рогов луны над лесом,
Встала третья ночь над Ксентой —
Над лесной таежной речкой,
Что блестела чуть из кедров,
Как стальной касай из ножен.

В третий раз сошлись вогулы
Слушать песню ойки Куксы
О счастливом избавленьи
Позабытого народа.

Посреди просторной юрты
Камелек трещал и сыпал
К бокарям оленьим искры.
От смолистых свежих щепок
Низко синий дым стелился.
Звуки нежные свирели,
Тонко сделанной из кости
Мамонта — быка Мухора, —
В дымке плавали по юрте,
И свирели еле слышно

На старинном гусе вторил
Ваза — юноша прекрасный,
Без движения, на шурах
Под себя поджавши ноги,
Все смотрели на шамана:
В горле Куксы клокотало —
Песня выхода просила.
Он дрожал, склонясь к чувалу,
Нагревая кожу бубна.
На груди его звенели
Вещим звоном талисманы,
И, как дух, стоял с ним рядом,
Чуть земли касаясь, посох.

Вот шаман вскочил, на пензер
Замахнулся колотушкой
И под стройный рокот гуса
Громко начал третью песню:

— В час, как тонет на закате
Солнце в зареве кровавом,
А навстречу солнцу сумрак
Выползает из расселин,
Торм великий в темном небе
Раздувает над землею
Жар костров из щеп смолистых,
Чтоб по ним вогулы-манси
Находили путь к паулам,
Прямо нарты направляя.
Духи ночи в эту пору
Вместе с сумраком выходят
Из воды, из старых дупел
Бурей сваленных деревьев,
Из глубоких нор барсучьих,
Скрытых в сучьях среди леса,
И крадутся незаметно,
Меж деревьев перебегая,
К огонькам паулов сонных,
Чтобы в души человекчи —
Лили, — полные тревоги,
Поселить вражду и злобу.

И когда зарница с неба,
Где в безмолвии пасутся
Тучи, как оленья стада,
В полночь ринется на землю,
Светом огненным сияя,
Про себя промолвит всякий:
«Птица Таукси спустилась,
Кто-то зло замыслил в сердце!»

Мы потом уже не видим,
Как, с лучами утра слившись
Золотистым светом крыльев,

Птица Таукси в тумане
Поднимается на небо,
Чтоб поведать старцу Нуму
О грехах минувшей ночи.

Только зоркие шаманы
Часто видят эту птицу,
Слышат трепыханье крыльев,
Тихий клекот, словно вздохи
Ветра южного в теснине.

В те года, что миновали,
Что теперь, как сон забытый,
Над рекой великой Ас'я,
В кедраче, в сырой низине
Птица Таукси гнездилась
В юрте маленькой из бревен.

Каждый год весной по Ас'я
С драгоценными дарами
Много лодок плыло к месту,
Где сидела чудо-птица.
Поровнявшись с Черным Яром,
Лодки боком приставали
К каменистому обрыву...
Пори — жертвоприношение —
Принести чудесной птице
Манси в капище спешили...
Их встречал шаман великий,
Вещий, мудрый предсказатель,
Принимал дары смиренно,
И для каждого вогула
Он имел и слово ласки,
И слова, в которых тайно
Скрыто вещее значение
Дней грядущих, дней прошедших,
Что он видел ясным взором
В царстве будущих деяний
И в угрюмом царстве ночи.

В темной полночи над Ас'я
На буграх костры пылали,
Барабаны до рассвета
Отбивали дробь, и тихо
Манси пели песнопенья,
У костров, в круги рассевшись,
А тайга, как рой шмелиный,
На ночном ветру шумела.

Но промчалась весть лихая,
Быстрой белкой пробежала
По ветвям от чума к чуму:
Рыщут по лесам вогулов
Выним-яги из Роч-маа —

Душегубы, лихоимы,
Лиходеи и варнаки
Из страны, где хон всеильный —
Белый царь сидит на троне
Из слоновой белой кости:
Пут-котел перед ним на углях,
В нем он варит сули-водку,
Семь шайтанов семирогих
На боку с семью хвостами
День и ночь толкут, как в ступе,
В золотой его короне
Зелье смерти — мелкий порошок...
Грозный хон собрал дружины
И послал их в нашу землю
Умертвить шаманов, биков
И охотников отважных,
Напоить нас крепкой водкой,
Обесчестить наших женщин
И заставить всех рабами
Век служить ему покорно...
Оттого-то в наших чащах,
Как тревожные виденья,
Рыщут страшные варнаки,
Хоронясь меж старых кедров
По тропинкам и зальсам:
За спиной у них пиели —
Ружья с длинными стволами —
Блещут вороненой сталью,
По бокам за поясами
Топоры и таразаны
В нитку вытянули жала,
И у каждого на шее
Амулет необоримый —
Крест — висит поверх кольчуги.

Взявши полные колчаны,
Манси бросились навстречу,
Барабаны скорбным стоном
Звали храбрых манси в битву.
В этот год костры над Ас'я
Не горели, осыпая
Искры с берега крутого,
Не гремели барабаны,
Песни манси не сливались
С шумом векового леса,
Только совы на деревьях
Громко шелкали гортанью
И кричали: «Горе! Горе!»

Птица Таукси, с шаманом
В темном капище среди кедров
Притаившись, в полуголос
Торопливо говорила:
«Слушай, ойка, слушай, слушай:

Взвесь ты все слова на сердце,
 Как крупинки золотые
 На морщинистой ладони.
 Не успеет ночь на землю
 Сбросить черные одежды,
 Как вбегут к нам выним-яги—
 Злые русские варнаки!
 Ты беги, не промедляя,
 Где-нибудь в лесу укройся
 И потом поведай манси,
 Что пришлось тебе увидеть
 Здесь, в лесу, у попы-яи —
 У священной нашей Ас'я.
 Ты скажи, что, улетаю
 В царство дальнее Торыма,
 Я тайги не покидаю:
 Темной ночью — темной эди —
 В лучезарном синем свете
 Я в нее спускаться буду,
 Чтоб следить за правым делом
 И наказывать виновных!»

Так сказав, взмахнула птица
 Золотистым светом крыльев,
 Взмыла кверху и над лесом
 Понеслась быстрее ветра,
 Как костер священной ночи,
 Улетающий от русских,
 От беды и поруганья.

А шаман, упав на землю,
 Плакал, горько причитая:
 «Горе, горе, нет защиты!
 Птица вещая, вернись:
 Не давай нас волку в зубы!»

И, в ответ на причитанья,
 На отчаянье и слезы,
 Услыхал служитель птицы
 В дальнем небе грозный толос:

«Встань, старик, не надо плакать!
 Встань, иди в паулы к манси
 И поведай всем о чуде!»

Старый ойка встал покорно
 И нетвердыми шагами
 Поплелся к Чихир-паулу,
 Где вогулы летневали.
 Подойдя к Чихир-паулу,
 Из-за кедров разглядел он
 Русских воинов в кольчугах,
 С таразанами кривыми
 И с большими топорами,

Страшных, словно привиденья,
 В красном пламени пожара.

Окружив паул, стреляли,
 Припадая на колени,
 Тени-воины из ружей —
 Из пиелей длинноствольных,
 И кругом шипели пули,
 Как шмели перед роеньем...
 Словно белки от пожара,
 Что идет, как вихрь, по веткам,
 Одиночками вогулы
 В смертном страхе разбегались,
 Оставляя лиходеям
 Жен, детей и все, что было
 Ими нажито веками...

Утром рано из урмана
 За туманом встало солнце,
 Безмятежным светлым окном
 Оглядело мир таежный
 И лучом золотокрасным
 Задержалось на увале,
 Где всегда Чихир виднелся
 С кудреватым дымом чумов...
 Но на этот раз дымились,
 Догорая, головешки,
 Пни чернели вместо чумов,
 И на серых грудях пепла,
 Руки в стороны откинув,
 Мертвецы плашмя лежали...

Кровь, как спелая брусника,
 В чаще кедровой краснела,
 А у берега, где раньше
 В хабах манси приставали, —
 Остроносые карбасы
 С парусами по середине, —
 Лодки русских колыхались,
 И от них шла рябь по Ас'я:
 В них полным-полно сложили
 Победители добычу:
 Вниз — домашний скарб, пушнину,
 Сверху — девушек и женщин,
 По-двое на мертвый узел
 Крепко связанных за косы.

Как желна, в тайге зеленой
 Молвь тревожная металась,
 И, как звери, в глушь и чащи
 Дети, женщины и старцы
 Втихомолку уползали.
 А навстречу злым варнакам
 Войско храброе вогулов

Грозной тучей подымалось
Из лесов, низин и топей...
Возле рек больших и малых
Манси, как в пургу олени,
В чащах дружно табунились
И великой ратью смело
Шли на злую смерть и муку.

В тот же год шаман великий,
Птицы Таукси служитель,
Был казнен в Сумгуте-воже
Вместе с нашими князьями,
И его душа на крыльях,
Так похожих на зарницы,
Улетела в царство Нума,
Где живет она поныне.
Пусть герой не устрашится,
Пусть он хитростью иль силой,
Средь безмолвной, темной эди —
Ночи темной и беззвездной, —
Выкрав быстрого оленя
Из упряжки ойки Мейки,
Захватив тамгу Торыма —
Знак свободного прохода
В царство Мирры-Суснахума, —
Пусть, все это смело сделав,
Мчит по мертвому ущелью,
Где живут умерших тени,
Пусть несетя гордым вихрем
По безжизненной пустыне
И в конце ее, у камня,
Что зовется Камнем Жизни,
Где таинственная птица
Охраняет дверь большую —
Вход широкий в царство смерти, —
На бегу рукой проворной
Из хвоста священной птицы
Пусть одно перо он вырвет,
Что горит, как яркий сполох,
И, ущелье освещая,
В'едет смело и спокойно
В царство светлое Торыма:
Это будет смелый подвиг,
Третий шаг к спасенью манси,
Шаг последний для героя! —
Так закончил песню Кукса.

Песня четвертая

Сон Вазы

Туча черная зловеще
Солнце светлое закрыла.
Зашумели гневно ели,

Загудели грозно кедры,
Пробежала рябь по речке
Серебристою чешуйкой...
Вдруг поднялся сильный ветер,
И валы, как струны гуса,
Зазвенели на приплеске...
Кулики с тревожным свистом
Замелькали над водою.
В небе, темном и угрюмом,
Как тамга, на сучьях ели
Змейкой огненной метнулся
Отблеск молнии проворной,
Гардарахнул гром с размаху
По земле из темной тучи,
Редкий крупный дождь посыпал.
Застучал по стенкам чума
Гулкой дробью барабана...
Где-то вяхирь скогогукал
И, забившись в чащу хвой,
Замолчал, слохматив шею.

Ваза, юноша прекрасный,
В забытии сидел глубоко
И не слышал даже грома.
Лайка, белая Снежинка,
Вазы верная собака,
Возле входа в чум лежала
И ушами шевелила,
Грохот слушая над чумом.
Но не видел Ваза блеска
Молний, освещавших юрту,
И не слышал, как по крыше
Дождь дрожащею рукою
Дробь неясно выбивает:
Словно это старый ойка,
Тяжело дыша, гадает
О своем конце печальном,
О конце концов великом,
Что зовут все люди смертью.

Буйный ветер над урманом
В туче весело проехал,
С озорства, надувши щеки,
Начал дуть на тучу с краю.
Туча дрогнула, разбухла
И, послушная дыханью
Ветра нежного с низины,
Тихо двинулась на север.

Ваза, юноша прекрасный,
В забытии сидел глубоко.
Он не слышал взмаха крыльев
Ветра нежного с низины,
Он не видел в небе солнца,

И не ведал он, что сети
В заводине рыбной Ксенты
Ветер сбросил с кольев в воду
И запутал о коряги.

На реке, где неподвижно
Лес янтарный отражался,
Солнце на покой клонилось,
Золотистой головою
Припадая к дымным кедром,
Обдавая лес и берег
Жарким, огненным дыханьем...
Не надолго тихий вечер,
Словно юноша влюбленный,
Робко в воду загляделся,
Где лучи зари сияли,
Где как будто улыбались
Из глубин речные аи
На щеках с густым румянцем,—
Скоро ночь немую птицей,
Круг сужающей в полете,
Опустилася на землю.
Краски алого заката
Потемнели, остывая,
Лишь пунцовая полоска
Там, куда упало с неба,
Словно срезанное, солнце,
Чуть заметно трепетала.

Ночь и тьма сошли на землю,
В небесах зажглись звезды,
Совы, филины, как тени,
Как отвергнутые души,
В темноте осенней ночи
Меж деревьев замелькали.
Где-то жалобно и грустно
Были волки — сали-уи, —
Лес шумел, на тихом ветре
Сонно ветками качая,
Ухал сыч и щелкал филин
На суку сосны высокой.

Ваза встал и мутным взором,
Слившим сон и пробужденье,
Разглядел чужал потухший,
Стены выгнутые чума,
Лайку — белую Снежинку —
С сонной мордою на лапах,
И, поправив сзади косы,
Потянувшись и зевая,
Снова сел на шкуру сали.
Снова сладкая дремота,
Тяжеля глаза и веки

Незаметно прикрывая,
Потекла по жилам Вазы.
Вдруг Снежинка заурчала,
Хвост свой вытянула палкой
И с заливым, звонким лаем
Побежала к дверям чума.
Дверь неслышно отворилась,
И, согнувшись, старый ойка
В чум вошел неторопливо
И промолвил: «Пайся, Ваза!
Пайся, Ваза, ойка рума!
Здравствуй, друг мой старый, Ваза!»
«Пайся!» — юноша ответил
С удивлением и страхом:
Он не ведал, что за ойка
В чум к нему в такую пору
Вдруг пришел, и сам, незваный,
Сел на шкуру у чувала,
Где огонь сейчас же вспыхнул,
Без кремня и без лучины,
И от щепок непривычный
Дым — цветов благоуханье —
Заходил по чуму Вазы.

«Ваза, Ваза, — молвил старец, —
Я все вижу, я все знаю,
Что ты думаешь, что скажешь...
Как охотник по пороше
Узнает, где лось жирует,
Так и я тяжелой думы
На твоём лице печальном
Вижу след, другим невидный...
Я в твоей душе читаю,
Как бояр по белой книге,
Но у русского бояра
Память мягкая, как тесто,
И походит он на волка
С головой лисы коварной.
Мне же хитрость и коварство
Только лишняя обуза.
Мне не надо белой книги:
Без письма я и без чтенья
Много помню, много знаю.
Много лет я жил на свете
И скопил годами мудрость:
Слушай, юноша прекрасный,
Вот стоишь ты на распутии,
Как олень дым чума ищет,
Верный путь ты ищешь тоже —
Путь прямой к отцу Торыму!
Слушай, Ваза, слушай, слушай!..
Сохрани ты в юном сердце
Все, что я тебе открою,
И потом, как храбрый воин,

Как потомок вольных манси,
 Снаряжайся в путь и робость,
 Страх, сомнение, нерешимость
 Навсегда из сердца вырви!
 Путь далек, тяжел и труден.
 Лучше спать на шкурах в чуме,
 Есть оленину парную,
 Запивая теплой кровью,
 Моксуна сосать с головки
 После доброго улова,
 Чем трусливо возвратиться!
 Это лучшее, что может
 Стать с трусом недостойным.
 Есть конец еще вернее:
 Трус погибнет — гневны боги,
 Страшной смертью погибает,
 Кто раскрыть дерзает тайну,
 Схороненную глубоко
 За пределами живущих!
 Слушай, Ваза, слушай, слушай:
 Первый подвиг — сали Мейки,
 Шаг второй — тамга Медведя,
 И последний подвиг, третий,
 Из хвоста перо златое
 Птицы Таукси «великой!»

Вещий старец встал и зорко
 Поглядел за двери чума.
 Ночь, безглазая, немая,
 Мимо юрты проплывала,
 Только сыч страшно ухал,
 Да в болоте выпь стонала,
 Как пред смертью шаманиха...
 Старец постоял, послушал,
 Снова дверь прикрыл неслышно
 И дрожащею рукою,
 Расстегнувши ворот, вынул
 Семь лучинок, камень белый,
 Стебельки травы сушеной,
 Положил их перед Вазой
 И, к нему склонившись низко,
 Зашептал скороговоркой:

«Слушай, Ваза, слушай, слушай!
 Если ты своручешь сали
 С нартой злого бога Мейки,
 Что он выточил из кости
 Мамонта, быка Мухора,
 То спеши скорее скрыться,
 Не промедли ни минуты.
 Если ж он увидит нарту
 И помчится за тобою,
 Брось тогда траву на землю:

Ты невидим будешь Мейке!
 Тут — на север, к снежным горам,—
 Путь держи неколебимо
 До истоков рек Оксаоа —
 Рек лисицы чернобурой.
 Там на берегу пологом,
 У сосны, разбитой громом,
 Ты найдешь большую юрту,
 Очень схожую с берлогой:
 Это будет юрта старца,
 Ойки Шубного, Медведя.
 В ней, у самого порога,
 Туго в щель тамга забита,
 Ты ее тихонько вынешь:
 В эту пору Шубный Старец
 Крепко будет спать с женою —
 С водяною эвкой Мюсснэ...
 Совершивши все в удачу,
 Ты садись скорей на нарту
 И спеши, спеши в дорогу!..
 Если ж старец вдруг проснется
 И в погоню за тобою
 Побежит по следу нарты,
 Брось на землю семь лучинок.
 Лес дремучий сразу встанет
 Беспроглядною стеною
 И тебя собой закроет!
 Ваза! Юноша прекрасный!
 Если все это удастся,
 То без страха путь чудесный
 Продолжай, как храбрый воин,
 Как потомок вольных манси!
 В этом подвиге тяжелом
 Ты не бойся страха смерти:
 Брось на землю белый камень,
 И тогда увидишь чудо:
 Белый камень, — мертвый камень,
 И бездушный, и безмолвный, —
 Станет птицею-сорокой,
 Наделенной даром речи.
 Полетит она пред нартой.
 Ты ж следи, не отрываясь,
 За полетом, направляя
 Вслед за птицею оленя!
 Птица, вещая сорока,
 Приведет тебя в низину,
 Где стоят леса в тумане...
 В ясный день, зимой и летом,
 И весной, когда с ручьями
 Сходит снег и травы шепчут
 Свой привет отцу Торыму
 И когда старушка-осень
 Плачет горестно слезами
 Об умершем внуке Ноши —

Лете, быстро промелькнувшем, —
 Тут во всякий срок сорока
 Приведет тебя к ущелью,
 Где живут умерших души...
 Там она тебя оставит.
 Там начало царства Нума,
 Дальше сали сами знают
 К Нуму верную дорогу...
 Дальше там на белом камне,
 Что зовется Камнем Жизни,
 Охраняет дверь большую,
 Вход широкий в Царство Мертвых,
 Птица Таукси бессмертно!
 Вот у этой чудо-птицы
 Из хвоста ее проворно
 Выхвати перо и дальше,
 С новой твердостью и силой,
 Освещая им ущелье,
 Путь держи в страну Торыма.
 Слушай, друг: ты близок богу!
 Бог велик, — ничтожны люди.
 Но кто первый из живущих
 Вместе с телом и душою,
 Вместе с нартой и оленем
 Сам заявится пред Нумом —
 Перед тем бессильны боги!»

Лес шумел... Внизу, в пауле,
 Громко лаяли собаки.
 Над урманами высоко
 Белоснежными комками
 Облака к востоку плыли.
 Там прозрачно-голубое
 Небо светом трепетало,
 словно невод с мелкой рыбой,
 Отливающей сквозь воду
 Чешуей и плавниками.

Этот робкий свет прокрался
 В юрту Вазы на увале.
 Он скользнул украдкой в щелку
 И на лучики разбился,
 Как на тонкие лучинки.

Ваза спал, дремала лайка.
 А на лавке у шайтанов
 Рядом с гусом и кодчаном
 Стебельки травы сушеной
 Колобком в углу лежали,
 Вместе с ними — камень белый,
 И на камне семь лучинок —
 Семь лучей зари — сияли.

Песня пятая

Ючо

На метельных, белых крыльях,
 Белоперой птицей с неба
 Тэли грозная спустилась,
 Синим льдом сковала реки,
 Белым мехом горностая
 Затянула землю-маа,
 И угрюмый старец-ветер
 Ледяной своей клюкою
 Застучался в двери чумов.

По утрам над мерзлой Ксентой,
 Над таежной тихой речкой,
 Что торчит из хмурых кедров,
 словно сизый хвост песцовый,
 Дружно струйками тянулся,
 Кудряшами завиваясь,
 Серый дым смолистых сучьев
 Из макушек острых чумов,
 От чувалов юрт, покрытых
 Серебристым белым снегом,
 словно лосной и пушистой
 Шкурой белого медведя.
 Только кожаная юрта
 Игрока на гусе, Вазы,
 На увале в темных кедрах,
 словно в зной июльский летом,
 Ненатоплена стояла.
 Рядом с юртою шунгура
 С низкой крышею амбарчик
 На шести кривых подножках,
 С дверью, запертою плотно
 На замок с запором хитрым,
 Сиротою позабытой
 Пригорюнился в сугробе.
 Не чернела тропка к юрте,
 Дверь шестом была уперта,
 Сбита лестница, и скобки
 Запушились мягким снегом...
 Видно было, что хозяин
 Далеко ушел от дома.

Белки с пышными хвостами —
 Ланги — в темной хвое кедров
 На увале, где жил Ваза,
 Где стрелял он в них из лука,
 Днем резвились без утайки,
 Лайки голоса не слыша,
 Ночью в дупла забирались
 И, свернувшись в мягких листьях,
 Засыпали сном спокойным.

Темной ночью, словно тени,
 Не имевшие приюта,
 Волки стаями бродили,
 Чужа запах человека,
 Дух смолистый дымокуров,
 Не решаясь отведать
 Крови мирного оленя...

Пробежав паул с увала,
 Сали-уи возле юрты
 Вазы, славного шунгура,
 Выли жалобно и долго,
 А внизу, в ответ, собаки
 В лад им дружно подвывали.

«Где наш Ваза?.. Что случилось?..
 Жив ли он?.. Когда вернется?..» —
 Часто думали вогулы,
 И с тревогою шамана
 Куксу, мудрого в гаданьях,
 Тайну выведают просили.

Но напрасно ойка Кукса
 Потрясал волшебным бубном:
 Дух полуночи ни разу,
 Не шепнул ему ни слова.
 Только раз на новый месяц,
 В час, когда все злые духи
 Близко к юрте не подходят,
 В юрте старого шамана
 Сами дробно застучали
 Разом все три барабана,
 Что над входом в чум висели,
 И в углах защелкал кто-то...

В страхе мудрый ойка Кукса
 Молвил голосом дрожащим:
 «Хос-хот, хос-хот, крылья Воя, —
 Птицы малой и великой,
 Птицы вещей и крикливой,
 Трижды, трижды — хурум, хурум,
 Не заденьте юрты Куксы!»
 Замолчали барабаны,
 И шаману кто-то тихо,
 Властно на ухо промолвил:
 «Не пытай, старик, напрасно!»

По полянам и низинам,
 Меж увалов, по болотам,
 Мимо юрт, зимовок манси,
 Безголосым мертвым лесом
 Мчался Ваза в царство Мейки
 День и ночь, как быстрый ветер.

И когда лишь сон могучий
 Закрывал глаза истомой
 Или вьюга застлала
 Их колючим, мелким снегом,
 Он отвязывал оленей
 И, стреножив медной цепью,
 Говорил Снежинке верной:

«Амба, белая Снежинка,
 Стереги моих оленей,
 Не давай волкам их трогать,
 А, когда тревогу ночи
 Победит предвестник утра —
 Луч, родящийся на ветке,
 Самой верхней ветке кедра, —
 Пригони оленей к нарте,
 Разбуди меня скорее!»

У костра, под крепкой нарчей,
 Ваза спал в такие ночи.
 А во тьме, как на камлании
 Ойки мудрые — шаманы,
 Волки щелкали зубами,
 Выли, плакались на стужу,
 И голодные глаза их,
 Как гнилушки на болоте,
 Светом призрачным горели.

Дальше там, за волчьим кругом,
 В мраке темной зимней ночи,
 Где угрюмый лес и небо
 Слиялись черною стеною,
 Звонким голосом дух ночи,
 Хохотал, в ладоши хлопал
 И кричал: «Трусилка Ваза,
 День пришел, всгавай, засоня!»

Ваза спал, лишь амба-лайка,
 Духа видевшая ясно,
 Хвост пушистый поджимала,
 Отвечая злым ворчаньем
 Каждый раз на крики духа.
 Но как только вестник утра —
 Луч, родящийся на ветке,
 Самой верхней ветке кедра, —
 Промелькнет над сонным лесом
 И дрожащею завесой
 Ночь опустится за чаши,
 Тонким, звонким лаем будит
 Лайка умная вогула.

Семь метельных полнолуний
 На оленях быстроногих
 Совершал свой путь великий

Ваза в царство ойки Мейки.
 Семь метельных полнолуний
 Он неведомой дорогой
 Вместе с лайкою Снежинкой
 Мчался день и ночь на нарте...

Наконец в луну восьмую,
 Что прорезалась на небе
 Золотисто тонкой бровью,
 Встретил он в лесу зеленом,
 На цветном ковре поляны
 Радость жизни — ай-Ючо.

Беззаботно напевая,
 Заплетая с тихой песней
 Маки красные в косички,
 Ючо в вышитой ягушке
 Средь густой травы сидела.
 На ягушке ай-Ючо
 По старинному зурю —
 Савем-ханч — гусак с гусыней,
 Широко расправив крылья,
 Снались клювами у сердца.
 На одной поле ягушки
 Шла медведиха вразвалку,
 И за ней смешно бежали
 Два лохматых медвежонка.
 На другой осетр хвостастый
 С золотыми плавниками
 Словно плавал по затону.

Ваза придержал оленей
 И окликул ай-Ючо:
 «Пайся, ай! Здравствуй, здравствуй!
 Не оставь меня приветом:
 Я — чужой, и здесь — впервые!»

Ючо молча обернулась,
 Улыбнулась и, поднявшись,
 Вазе молвила чуть слышно:
 «Пайся, пайся, ойка рума,
 Ты напрасно извещаешь,
 Что чужой и здесь впервые:
 Здесь одна лишь я из смертных!»

Ваза выслушал и молвил:
 «Ты скажи мне, кто хозяин,
 Кто владеет этим лесом,
 Где трава, цветы и птицы
 И лес: листвою душистой
 Что-то на ухо мне шепчут?
 Мне вот кажется, что вечно
 Здесь живет, благоухая,

Радость солнечного Ноши!..
 Посмотри-ка, там, где нарта
 След пролоснила по снегу,
 Где отметины чернеют
 От копыт моих оленей, —
 Там зима, холодный ветер
 Леденит нагие ветки,
 Небо серое без края,
 Грубым пологом накрыло
 Лес угрюмый и безмолвный, —
 Здесь же свет висит на ветках,
 Как запястья дорогие,
 И цветы благоухают!
 Может, это царство Понюнг —
 Сторона чудес и сказок?»
 Ючо грустно улыбнулась,
 Покачала головою
 И промолвила с печалью:
 «Это край, где лето — Ноши —
 Круглый год цветы сажает,
 Поливая их росой,
 Согревая светом солнца,
 И цветы благоухают,
 Никогда не увядая
 Под заботливым уходом...
 Напустил он птиц без счета
 В чащу с влажными ветвями,
 И они поют поутру
 Песню вечного веселья,
 Славя силу, юность Ноши
 И красу царицы Туе.
 Все же этот край — не Понюнг,
 Не страна чудес и сказок,
 Хотя и здесь чудес немало:
 Это царство ойки Мейки,
 И весна — царица Туе —
 Вместе с юношей Ноши
 Сколько лет ясак здесь платят
 Злому богу... Юный Ноши
 Платит подать жемчугами
 Крупных рос, теплом дыханья,
 Синевую глаз, а Туе
 Золотом косы пушистой,
 Что по вечеру, по утру
 Рассыпается на плечи
 Голубой ее ягушки...
 Редко к нам сюда заглянет
 Осень — старица глухая,
 Поглядит с лесной опушки
 На внучат своих веселых,
 Тихо постоит, поплачет
 Мелким дождиком на землю
 И опять уйдет надолго
 В хмурую тайгу и тундру

К морю сине-ледяному...
 Это царство ойки Мейки
 И никто еще из смертных
 Не ступал ногой на землю
 Средь владений злого бога:
 Поверни скорей оленей
 В царство Тэли белокрылой,
 Поспеши иль будет поздно:
 Он могуч и страшен в гневе,
 Он тебя сомнет, как мышку!»

«Помосинэ, помосинэ,
 Много раз тебе спасибо
 За совет-предупрежденье, —
 Отвечал ей гордо Ваза, —
 Как назвать тебя, не знаю.
 Чтоб полнее благодарность
 Мог я выразить словами,
 Я скажу тебе: Ты — солнце,
 Ты — цветок на хрупком стебле,
 Напоенный ароматом,
 Ты прекрасна, как богиня
 Из чудесной тернинг-ери —
 Сказки, всеми позабытой!
 Мне обратно нет возврата:
 Семь метельных полнолуний
 Я спешил сюда на нарте
 Неужели для того лишь,
 Чтоб назад ни с чем вернуться!»

«Храбрый воин, ты бессилен, —
 Грустно Ючо отвечала, —
 Ты погибнешь, ты погибнешь
 От руки злодея Мейки.
 Поверни скорей оленей
 В царство Тэли белокрылой.
 Возвратись, пока не поздно:
 Ючо зла не пожелает!»

Ваза спрыгнул с крепкой нарты,
 Помолчал одну минуту
 И потом сказал с тоскою:
 «Аи-Ючо, радость жизни!
 Я пришел сюда похитить
 Златорогих сали Мейки,
 Что он сам когда-то выкрал
 Из небесных стад Горыма:
 Эти сали сами знают
 К Нуму верную доогу!
 Я пришел похитить нарту
 Злого бога ойки Мейки,
 Что он выточил из кости
 Мамонта, быка Мухора,

И потом умчатся дальше
 В царство Шубного Медведя...
 Солнце жизни, аи-Ючо,
 В первый миг, когда я встретил
 Здесь тебя в лесу зеленом, —
 А кругом, ты видишь, Тэли
 Белым пологом накрыла
 Лес, поля, увалы, реки,
 Лишь оставила зеленым
 Царство злого бога Мейки, —
 Я подумал: это царство
 Молодой царицы Туе,
 Что идет ко мне навстречу.
 Красотой своей сияя!
 Аи-Ючо, радость жизни, —
 Продолжал печально Ваза, —
 Вот теперь, когда я понял,
 Что добра ты мне желаешь,
 Я скажу тебе: Спасибо!
 Помосинэ, помосинэ!
 Но напрасно, бесполезно
 И опасно возвращаться.
 Нет теперь пути обратно,
 Нет мне радости в грядущем:
 Я погиб, тебя увидев.
 И теперь гагара скорби
 Не покинет сердца Вазы:
 Радость сердца улетела!
 Ючо, Ючо, радость жизни,
 Ючо, мой цветок душистый!
 Я люблю тебя и знаю,
 Что любовь к тебе — страданье:
 В ней живет моя погибель!
 Я пойду навстречу смерти,
 Совершу, что я задумал,
 А потом вернусь обратно.
 Я вернусь, цветок прекрасный,
 Солнце жизни, аи-Ючо.
 И на смертный бой грудь с грудью
 Позову владыку Мейку!»

«Фу-бу, фу-бу» — громко крикнул
 Большеглазый, темный филин.
 На сосне метнулась белка,
 Испугавшись крика птицы,
 И забила в сучья кедра...
 Ветерок волной игривой
 Пробежал; в траве зеленой
 Встрекотал кузнечик звонкий;
 Ветка хрустнула сухая,
 Любопытный олененок
 На поляну робко вышел
 И, увидев нарту Вазы,
 Широко расставил ноги,

И за ним из-за деревьев
Показалась олениха...
Ваза ждал ответа Ючо.
«Кто ты, путник, я не знаю, —
Ючо молвила вогулу, —
Но кто б ни был, кто б ты ни был,
Я в ответ скажу: отныне
Ючо с радостью разделит
Все труды, весь путь тяжелый,
Что тебе на долю выпал!
Я люблю тебя, Случайный,
И большую нарту бога,
Что он выточил из кости
Мамонта, быка Мухора,
Помогу тебе похитить,
Заарканить трех оленей,
Что он сам украл когда-то
У хозяина вселенной —
Бога вечности Торыма,
Я спасу тебя от смерти
В этом подвиге опасном,
Но сама полна я страха,
Что моя любовь прибавит
Тяжесть новую на плечи,
И в твоей руке, мой воин,
Легкий лук отяжелеет!»

Ваза гордо улыбнулся:
«Ючо, белая березка,
Вазу, славного шунгура —
Игрока на звонком гусе —
Испугать никто не может!
Мне недавно старый Кукса
Пел над Ксентою в пауле
Песнь о Ючо, о Медведе,
О безумном, хитром Лаче
И о темном боге Мейке.
И тогда на страшной лапе
Старца Шубного, Медведя
Я поклялся встретить Ючо.
И теперь, когда мне, Вазе,
Довелось неожиданно встретить
Ючо в царстве злого Мейки
И из уст ее услышать:
«Я люблю тебя, Случайный». —
Разве страшен старый Мейка?..
Счастье страх из сердца гонит.
Ни налево, ни направо —
Я пойду прямой дорогой!»

Ваза маленькую Ючо
Поднял на руки и, долго,
Крепко к сердцу прижимая,
Целовал в глаза и щеки.

Песня шестая

Похищение оленей

Без зарниц, без звезд мохнатых,
Высоко под облаками
Ночь неслышно пролетала
Над зеленым царством Мейки.
Ни огня кругом, ни чума,
Лишь над лесом, шелестевшим
Нежной липкою листвою,
Гонкой ниточкой висела
Бровь луны новорожденной,
Предвещающей удачу.

С бичевой, крученой крепко,
На конце с тугой петлею,
По тропинке к чуму Мейки
Легкой тенью крался Ваза.
У ручья, где круглый камень
Преградил дорогу к чуму,
Ючо Вазу поджидала.
«Тончан, тончан! Осторожно!» —
Прошептала Ючо Вазе,
Наступившему на ветку.
«Эмас! Ладно!» — ей ответ
Ваза, нежно улыбнувшись...
И две тени тихо, тихо
Дальше шли, держась за руку
Вот, как молния из тучи,
Впереди рога блеснули
Из душистой хвои кедров,
И, сопя ноздрями громко,
Сали вышел на тропинку.
Ветка хрустнула сухая
Под ногой дрожащей Ючо,
Сали вздрогнул и, увидев
Вазу рядом с ай-Ючо,
Вздумал броситься обратно,
Но со свистом харитэас —
Бичева из кожи нерпы,
На конце с тугой петлею, —
Обвила рога оленя.

Сали прыгнул, но напрасно:
Как струна на старом гусе
Под искусною рукою
Зазвенела харитэас...

Задрожал олень, покорно
Опустился на колени,
Удивляясь человеку,
Что неожиданно появился
В царстве злого бога Мейки,
Сам по силе равный богу.

Три оленя заарканил
 Ваза из большого стада
 Злого бога ойки Мейки,
 Что паслось в лесу зеленом
 Без призора и охраны.
 Привязав их к толстым кедром,
 Обнял Ваза ай-Ючо
 И неслышными шагами
 Дальше с ней пошел тропинкой,
 Чтоб похитить нарту бога,
 Что он выточил из кости
 Мамонта, быка Мухора.

Мейка спал на нарах в юрте,
 Сап—суконный полог—плотно
 Закрывал его от ветра,
 Из полуоткрытой двери
 Храп его густой волною
 До тропинки доносился.
 Слышно было, как скрипели
 Нары толстые из бревен,
 Если грозный, старый ойка,
 Бормоча слова спросонья,
 С боку на бок повернется...

Высоко под облаками
 Ночь неслышно пролетала.
 Лес листвою чуть шептался,
 И в молчаньи темной ночи,
 Растянувшись, амбы-лайки
 С неподвижными хвостами
 На траве спокойно «спали.

Той порою смелый Ваза
 Разыскал большую нарту,
 Нагрузил ее на плечи
 И, под тяжестью сгибаясь,
 Тихо двинулся к оленям
 По тропинке проторенной,
 На которой ожидала
 Ючо, бледная от страха...

Опустив на землю ношу,
 Он сказал с тяжелым вздохом:
 «Ючо, свет и радость жизни,
 Грустно мне тебя покинуть,
 Грустно мне, и я не знаю,
 Суждено ли мне вернуться
 И тебя назвать женою!»

«О, мой воин, храбрый Ваза!—
 Ючо нежно отвечала
 Со счастливою улыбкой,—
 Совершив обет великий,

Ты ко мне вернешься богом,
 И тогда коварный Мейка
 Задрожит, тебя увидев!
 А теперь: взгляни на Ючо,
 Улыбнись ей веселее,
 И скорей, покуда ночью
 Тихой тьмой объята маа
 И старик храпит на нарах,
 Храбрый воин, сильный мадур,
 Светлый юноша, мой Ваза,
 В путь далекий отправляйся!»

«Эмас, эмас»—молвил Ваза,
 Крепко обнял ай-Ючо,
 Выпил с глаз ее слезинку,
 Уронил свою за ворот
 И проворными руками
 Отвязал и впряг оленей
 В нарту белую из кости—
 Все управил — и с тоскою
 Обнял вновь, держа за вожжи,
 Ючо, полную печали,
 И сказал ей на прощанье:
 «Ючо, свет и радость жизни!
 Ючо, мой цветок душистый!
 Тяжко мне тебя покинуть,
 Тяжко мне! Мое страданье
 Велико, как это небо!
 Об одном тебя прошу я:
 Вспоминай почаще в сердце
 Вазу, славного шунгура».

«Я клянусь тебе, мой воин,
 Пятерней Отца Медведя,
 Двадцатью его когтями,
 Старым кедром в роще ойки,
 Где спокон гнездится филин —
 Емы — вещий и священный,
 Чернозобую гагарой —
 Птицей горькой неудачи,—
 Я клянусь тебе, мой воин,
 Ждать тебя с любовью в сердце.
 Если ж вести донесутся
 О конце концов — о смерти,
 Я клянусь отцом Торымом,
 Что умру и в Царстве Мертвых
 Отыщу тебя, любимый!»
 Так поклялась Вазе Ючо
 Клятвой страшной, нерушимой.

«Эмас, эмас» — молвил Ваза,
 Уронив слезу за ворот.
 «Будь хорош!» — ему сказала
 Ючо, слезы утирая...

В тишине прошла минута.
Вот олених шест поднялся
И прошелся по заливкам.
Тихо скрипнули полозья,
Дружно дернули олени —
И прошла еще минута:
Вазы не было пред Ючо,
Только след полозьев узких,
Как две змейки, извивался
В тьму ночную, что висела
Черной, трепетной завесой.

Чуть забрезжил вестник утра —
Луч, родящийся на ветке,
Самой верхней ветке кедра, —
Мейка встал, зевая громко,
Натянул чулки и сонно
Оглядел большую юрту.
В этот час всегда косички
У высокого чувала
Заплетала ай-Ючо.
Пут — котел — шипел на углях,
И оленины готовой
Вкусный дух ходил по юрте.
Но на этот раз над путем
Не склонялась эква-Ючо,
Поворачивая мясо,
Чтоб оно не подгорало,
Угольки прикрыты были
Серой, стылою золою.
От чувала не струился
Синеватый дым в макушку,
И олениной не пахло.

Мейка полог-сап откинул,
Быстро выглянул за юрту
И со сна нескоро Ючо
Разглядел в густом тумане:
Уходя в глухую чащу,
Шаманиха-ночь покровы
За собою уносила,
Разрывая их небрежно
О кривые сучья кедров,
И в прорехи ярко било
Сверху золотое солнце.

Вся в слезах, с тревогой в сердце,
Ючо грустная сидела
На высоком белом камне
И молилась о спасении
Вазы, храброго вогула,
Всем богам тайги великой.

«Ты чего там? — крикнул Мейка,
С удивлением и гневом

Подходя к печальной Ючо, —
Сосны, что ли, тут считаешь?..
От безделья тоже дело!»
И, ответа не дождавшись,
Он затряс ее за плечи:
«Отвечай же без запинки:
Почему ушла из юрты,
По какому это делу?»
«Грустно мне! — сказала Ючо. —
Сон дурной мне снился ночью.
Я ушла сюда из юрты,
Чтоб тебя не беспокоить...
И не жми мне руку, ойка, —
Ты могуч, а я бессильна:
Стыдно богу мучить женщин,
Донимать напрасным гневом!»

«Гнев, как вешний снег: растает,
До земли не долетевши.
Ты ведь знаешь, что с тобою
Я хоть грозен, но отходчив, —
Тихо молвил ойка Мейка,
Глядя лапою лохматой
Руки маленькие Ючо. —
Ты не плачь: бессильны слезы!
Слезы портят только зренье.
Больше спи, а сны дурные
Не имеют вещей силы
В царстве бога ойки Мейки!»

«Кто здесь был? — вдруг грянул громом,
Грянул громом ойка Мейка,
Заглянув себе под ноги, —
Чьи следы?.. Кто этой ночью
Смел ходить в моих владеньях?»
Так сказав, взглянул на Ючо
Ойка Мейка грозным взглядом,
И, как чуткая собака,
Широко раздувши ноздри,
Свежим следом, осторожно,
Вышел прямо на тропинку.
Отыскав в траве помятой
Петлю длинную из нерпы
И следы борьбы упорной
Между сали и вогулом,
Шаг за шагом, шаг за шагом,
Он читал, как в белой книге
Русый хум читает были:
Что случилось этой ночью,
Как вогул поймал оленей
И запряг в его упряжку,
Из какой семьи он будет
И куда он путь направил...
Вместе с твердым следом Вазы

Ойка Мейка след увидел
Женских ног и сразу сметил,
Почему спокойно лайки
Спали этой темной ночью
И пустили вора в стадо...
«Эмас!—гневно молвил ойка,—
Не успеет солнце сгаснуть,
Вор наказан будет смертью!»
И сейчас же ойка Мейка
Изловил оленей-сали,
Быстро заложил их в нарту,
Легкую, как вешний ветер,
И, скрипя зубами в гневе,
Следом бросился в погоню...

Поднимая тучи снега,
Лесом темным, молчаливым
С диким криком мчался ойка,
Словно ветер в непогоду,
Подгоняя гневной бранью
Тройку дружную оленей.

Нарта прыгала в ухабах,
Как челнок в сердитых волнах,
Шест свистел, и звонко пели
Крепкорунные постромки...

Далеко слышал Ваза,
Что за ним идет погоня.
Он пустил быстрее оленей
Вниз — с крутого косогора.
Шест свистел и бил по крупам,
Густо пар валил, и пена
За ездю в пахи набилась,
Но усталые олени
Не могли поспорить в беге
С ярой тройкой злого бога.

Ближе храп, и ближе топот,
Все яснее хриплый голос
Долетает до вогула.
И прошло одно мгновенье:
Далеко, неясной точкой,
Показалась нарта Мейки.

И прошло еще мгновенье:
Словно выросли олени,
Словно выпрыгнула нарта
Из высокого сугроба:
Ясно, ясно видит Ваза,
Как, шестом махая, ойка
Подгоняет тройку сали.

«Стой! — воскликнул ойка Мейка,
С головы снимая шапку.

От которой пар клубился,
Как туманы от увала,—
Подожди, вогул, немного!
От меня, владыки Мейки,
Не угнать тебе оленей:
Лучше сдайся, вор трусливый!
Я тогда тебя скорее,
С одного удара в сердце,
Без мучения прикончу!»

Торопливо Ваза вынул
Белый сверток с талисманом
И, читая заклинанья,
Развернул рукой дрожащей.
Крепко сжал он в сильном страхе
Колобок травы сушеной
И, не глядя, бросил в Мейку,
А потом погнал оленей
Вниз — в равнину с косогора,
Ухватившись за постромки.

Вдруг исчезла нарта Вазы,
Стал невидим ойке Мейке
След оленей и полозьев,
Словно кто рукой незримой
На глазах его две ленты,
Что пролоснили полозья,
Быстро выхватил и спрятал,
Как и сам он делал часто,
По глухой тайге скитаясь,
У охотников под вечер
Из-под ног воруя тропки.

И напрасно он старался
Протирать глаза руками:
Вазы не было пред богом —
Ни вверху, на косогоре,
Ни внизу, где полог белый
Снежной, вымершей равнины
Уходил к увалам дальним.

Нарта белая из кости
Мамонта, быка Мухора,
Словно слилась с белым снегом,
Только близко на дороге,
На которой ойка Мейка,
Словно вкопанный, остался,
Из пушистого сугроба
Встали чахлые кусточки,
И меж ними вислоухий
Зяец в белоснежной шубке
Поперек бежал вразвалку.
Зная верную приметку,
Бог суровый, ойка Мейка,

Долго простоял в раздумьи,
Круто повернул оленей,
А потом махнул рукою,
И на всю равнину крикнул:
«Эй, Торым! Я знаю, знаю,
Знаю я твои проделки!
Но мое запомни слово,
Старый хрыч, обжора толстый:
Я с тобою потягаюсь!»

В это время Ваза мчался
В царство Шубного Медведя,
Оглашая лес печальным
Грустной песнею о Ючо,
О злодее ойке Мейке,
О тяжелых испытаньях,
Манси выпавших на долю.
А потом запел без страха
На высокий, звонкий голос,
Что окончит путь великий
И сюда вернется снова
И добудет радость жизни —
Свет души, цветков душистый,
Сон прекрасный — ай-Ючо!

Песня седьмая

Тамга

«Темный лес, зеленый старец,
Я тебе туманной ночью
Песню новую слагаю:
Под твоей ладошкой теплой
Наливается брусница,
Зреет желтая морошка,
Голубеет голубика,
По кудрям твоим зеленым,
По твоим зеленым пасмам
Скачут с пышными хвостами
Ланги-белки и куницы,
И в полуночи таежной
Свет луны висит меж веток,
Как натянутые нити
Пряжи тонкой, серебристой,
Между небом и землею!
Лес великий, полный тайны,
Лес, спаситель и хранитель
Наших юрт и наших чумов,
Помоги тамгу Торыма
И найти мне, и похитить,
Скрой меня от гнева ойки —
Старца Шубного, Медведя,
В этом царстве необятном!
Лес, хранитель наших чумов,

Наших лаек и оленей!
Я тебя прошу, великий,
Пособить в великом деле!»
Так молился Ваза ночью
Полнолуной, серебристой
Перед подвигом опасным.

Только день пути до юрты
Старца Шубного, Медведя,
День пути без остановки
До истоков рек Оскара,
Рек лисицы чернобурой,
Отделял его оленей.

Уж верхушки гор высоких,
Круглый год покрытых снегом,
Словно рядышком стояли.
К ним, как ветер, мчалась нарта,
И от гор навстречу Вазе
Резкий ветер пел и плакал
На рогах ветвистых сали.

Солнце встало в дымке желтой.
«Быть морозу!» — думал Ваза.
И, свистя шестом-хореем
Над ветвистыми рогами,
Гнал оленей, что есть силы,
Мимо кустиков талины,
Мимо ласковых березок,
Что приветливо ветвями
Вазе издали махали.
Путь неезженный был труден,—
Шел крутым подъемом в гору,
Утомились олени,
Тяжело дышала лайка,
Иглы острые мороза,
Подгоняемые ветром,
Щеки Вазы обжигали.

И, когда во мгле янтарной
Золотистой головою
Солнце к горам прислонилося,
Ваза был у юрты Старца—
Ойки Шубного, Медведя,
У сосны, разбитой громом.

В темный ельник, под увалом,
Спрятал он своих оленей,
Привязал собаку-амбу
К толстой ели за ошейник
На крученую веревку
И в молчании глубоком
Долго ждал захода солнца.

И, когда сошла на землю
Ночь — таинственная эди,
Ваза встал и молвил тихо:
«Амба, верная Снежинка,
Ляг и жди здесь до восхода,
Не урчи, не бойся духов
И от них хвостом закройся!»

Ваза ласково погладил
Амбу-лайку по загривку,
Отвязал ее от ели.
Лайка возле ног потерлась,
И, как комышек, свернулась,
В хвост свой белый и пушистый
Острой мордою уткнувшись.

Ваза взял соарб тяжелый
С рукоятью нарезною
И пошел между деревьев.

Бледный месяц встал над лесом,
Облачка как бы в испуге
Друг за дружкой побежали,
Месяц покатился в небо,
Обливая робким светом
Серебристые наряды
Вековечных стройных кедров...

Оглядевши лес дремучий,
Обронил он луч меж веток
На сосну, что сбила буря,
Путь указывая Вазе:
За сосною чуть виднелась
Юрта Шубного Медведя!

Громкий храп владыки леса
Сквозь бревенчатые стены
Зимней юрты с крепкой дверью,
Плотно пригнанной к запору,
Гулко в чаще отдавался
И пугал трусливых зайцев
В тальниках реки Оксара.

Ваза быстрыми шагами
Подшел к закрытой двери
И за кожаную петлю,
О дверной косяк упершись,
Дернул сильными руками.

С тихим скрипом отворилась
Дверь тяжелая на петлях.
Белый пар ворвался в юрту,
Чуть светивший тусклый сальниж
Закоптел и острым жалом

Змейкой вытянулся кверху.
Ойка Шубный с толстой Мюссне
Спал на нарах... Груды эквы,
Обточенные водою,
Сладко грели спину старца,
И раскинутые косы
Изумрудного отлива
В ноздри круглые струили
Прель речную и дремоту...
Крепко спал он и не слышал,
Как рукою осторожной
Ваза выдернул из щелки
Талисман — тамгу Торыма, —
И в молчаньи темной ночи,
Словно тень, неслышно скрылся...

Но забыл в раслохе Ваза
За собой прикрыть немного
Дверь тяжелую на петлях.
И, когда шаги затихли
Вазы, храброго вогула,
Хитрый ветер из низины
Громко хлопнул этой дверью.

Шубный Старец пробудился,
Растолкал жену в потемках,
Вздун огонь, поправил сальниж
И, вобрав глубоко в ноздри
Едкий запах человечий,
Вышел с оханьем из юрты.

В мгле морозной и туманной,
Под луною полнолицей,
На снегу следы вогула
Отдавали синим светом.

«Кто здесь был?» — воскликнул ойка.
И, вернувшись снова в юрту,
Захватил свою дубинку
Из березы с корневищем.
По двойным следам он быстро
Пробежал на четвереньках
В темный ельник, под увалом,
Где оставил Ваза нарту
Под призором белой лайки.

Хитрый ветер из низины
Путь указывал Медведю
По сугробам рыхлым снега.
И, когда вскочил на нарту
Ваза, крикнувши на сали,
Шест над ними замахнувши,
Лайка, белая Снежинка,
Залилась протяжным лаем,

С ветра тяжкий дух почуя
Старца Шубного, Медведя...

Покатился рев медвежий
Частым ельником, как буря.
Ваза бил шестом оленей,
А навстречу сильный ветер
Нес взлохмаченные тучи,
Заметал дорогу Вазе,
Бил в лицо колючим снегом
И слепил глаза оленей...

Долго мчались олени,
Шест тяжелый бил по крупам,
Больно тыкал им в затылки,
Но они дрожали в страхе
Каждой жилкою под кожей
И не двигались с места,
Заколдованные духом,
Другом старого Медведя.
Вот уж слышится ворчанье,
Шаг тяжелый ойки—Старца,—
И чернеют из сугроба
Лапы страшные с когтями,
Бурыми под бурой шерстью
И кривыми, словно крючья.

«Стой, воришка! — крикнул ойка, —
Знаю я твои проделки!
Не успел ты этой ночью
С перепугу ложь промолвить:
«Я тамгу не крал у ойки:
В том мои повинны руки,
Я же сам не отвечаю
Ни за руки, ни за ноги!»
Знаю я, когда вы братьев
На рогатину берете,
Бьете стрелами из лука,
Вы от страха задалеко,
Скинув шапку перед ними,
Извиняетесь лукаво,
А потом, когда сдерете
Волосатые доспехи,
Вы хороните на время
В землю вкусную свежину
Страшного владыки леса,
Чтоб не влез он снова в шкуру
И не мстил своим убийцам...
Знаю я, когда с охоты
Развоашаетесь в паулы,
Тондывеш — медвежьей маску —
Натянув себе на рыло,
Мойбер якты-пост — медвежьей
Рукавицы — на ручищи,

Вас поклонами встречают,
Чтоб умилостивить зверя,
Жены, девушки и дети...
В страхе перед павшим братом,
Пред хозяином таежным,
Вы сберетесь на поляну
К пори — жертвоприношению —
И клянетесь долго, лживо:
«Каракийя! Отрекаюсь!» —
Оглашая силным криком
Лес, задумавшийся крепко
Над безвременной кончиной...
Вы кричите: «Каракийя!» —
И, отрекшись, вновь беретесь
За рогатины и луки,
Отыскав в лесу берлогу...
Вашу ложь я знаю, знаю,
Я один из Шубных Старцев
Недоступный вашим стрелам,
А мои другие братья
Сколько лет ясак вам платят
Теплой и пушистой шкурой
И дают еще в придачу
Мойбер-сангт — медвежий череп!
Погоди, воришка глупый,
Я тебя зимой проквашу!»
Так смеялся Шубный Старец,
Догоняя нарту Вазы.

Семь лучинок Ваза вынул,
Далеко назад отбросил,
И великий лес стеною
Встал с земли, одетой снегом,
До небесных туч поднявшись,
И, укрыв собою Вазу,
Преградил дорогу Старцу.
Даже ветер из низины,
Взвившись к серым, хмурым тучам,
Вновь упал в бессильной злобе
Вниз, откуда он поднялся,

Отлегло на сердце Вазы.
Он легко вздохнул и снова,
Не оглядываясь больше,
Что есть сил погнал оленей
С звонким и веселым свистом.

Песня восьмая

Огненная птица

Снова дальняя дорога
Лентой длинной и печальной
Побежала перед Вазой.
Дальний путь лежал меж сосен,

Мимо гордых, стройных кедров,
По застывшим, мертвым речкам,
Над которыми березки,
Голенастые осины
Гольшом вдали стояли,
Ветки в небо заломивши...

Дальний путь, как сон печальный,
Что всю ночь до утра снится.
Но безвестная дорога
Не пугала больше Вазу:
Крепче спал он темной ночью
У костра, в медвежьих шкурах;
Меньше лаяла Снежинка,
Если ночью к стану Вазы
Осторожно сали-уи—
Волки — стайей подходили
Шагом робким и неслышным...
Рано утром, на рассвете,
Только солнышко ударит
В белоснежные верхушки
Стройных сосен, хмурых кедров
И в просветах на полянах
Разольется желтым блеском, —
Ваза тут как тут на нарте:
Уж спешит к Ущелью Мертвых,
К царству дальнему Торыма!
Солнце в марте—в ункер-тылис—
Круто к лету повернуло.
В эту пору плачет Тэли,
Что за мартом скоро будет
Месяц капель и сосулук,
Что повиснут, как сережки,
На нагих ветвях березы,
За апрелем — май, дающий
Веткам листья в изобилии—
Лыбыт-этты-тылис месяц, —
Тут конец зиме таежной
И начало в тундре лета.

В первый месяц — в ункер-тылис —
Ваза вынул белый камень
Из-за паухи и бросил
Этот камень на дорогу,
Сильно о землю ударив,
И тогда случилось чудо:
Мертвый камень, белый камень,
И бездушный, и безмолвный,
Стал вдруг птицей белоснежной,
Наделенной даром речи:
Птицей мудрою — сорокой!

Птица вещая, сорока,
Что спокон веков по свету

На хвосту разносит вести,
Поднялась с земли и села,
Трижды крыльями ударив,
На рога оленя Мейки
И такую речь держала:

«Храбрый воин, мудрый Ваза,
Много лет в плену тяжелом
Заколдованная Хаппо—
Злым саряты-ху, шаманом,—
Белым камнем неподвижно
Я на донышке лежала
Светлой яи—тихой речки.
Год за годом проносился,
День за днем летел на крыльях,
Что во много раз быстрее
Острых крылышков стрижиных,—
Я на дне лежала в тине,
И вода меня гранила,
Не давая мне покоя.
Подо мной жила сорога,
По весне икру метала,
Выводя мольков без счету.
Мы в ладу и дружбе жили,—
Но все рыбы глухи, немые,
И она не понимала
Ничего в моей беседе.
Так бежали дни и годы,
Я уже считать устала,
И меня наносным илом
Навсегда бы затянуло,
Если б я случайно в невод
Вместе с глупою сорогой
К рыболову не попала.
Рыболов-остяк подумал,
Что я белая натырма —
Промысловая примета.
Но не долго пролежала
В кузове я вместе с рыбой:
За несчастья в охоте
Отдал он свою натырму
Ребятишкам на потеху.
Долго дети мной играли
И чутьем души невинной
Воем-птицею прозвали.
Тут меня увидел старец,
Безызвестный закладатель,
И постиг коварство злое
Хаппо — хитрого шамана.
Дальше знаешь: темной ночью
В низкой юрте, на увале,
Он, мою судьбу с твоею
Навсегда соединивши,

Так сказал мне на прощанье:
 «Будет день, исчезнут чары
 Злого хитрого шамана,
 Если ты своим полетом
 Путь укажешь в Царство Мертвых,
 Приведешь к ущелью Вазу,
 Где живут умерших души,
 Там оставь его оленей,
 И, свободная от мести,
 Колдовства и чар шаманьих,
 Улетай, куда захочешь:
 Дальше сали сами знают
 К Нуму верную дорогу».

«Эмас, эмас!—молвил Ваза,—
 Хорошо, сорока-птица,
 Будь пособником и другом
 В этом трудном деле Вазе,
 А когда шунгур вернется
 В свой паул, тебя он вспомнит
 В песне нежной и прекрасной.
 Эта песня разнесется
 По лицу земли обширной,
 Будет жить она в народе
 Дольше насыпей высоких
 На могилах позабытых!»

Белоперая сорока
 Быстро крыльями махнула
 И открыла путь герою.
 Дружно тронулись олени,
 По колени утопая
 В ноздреватом, рыхлом снеге,
 На котором уж чернели
 Пней широкие плешины,
 Лысины высоких кочек...

Лайка, белая Снежинка,
 С визгом звонким и веселым
 Вскачь летела возле нарты...

Загорелась в сердце Вазы
 Вера, крепкая, как камень,
 Пламень-вера в избавленьи
 Позабытого народа!
 В день седьмой, на новолунье,
 Только месяц родился
 И взглянул из голых веток
 Тонкой бровью ай-Ючо,—
 Лес таинственный в низине,
 Как сказал когда-то старец,
 Безывестный заклинатель,
 В облаках морозной пыли
 Встал зубчатую стеною...
 Белки, юркие воровки,

Отряхая снег пушистый,
 На ветвях могучих кедров
 Развлекались в перебранке.
 А внизу следы лисицы,
 словно тонкая цепочка,
 По следам трусишки-зайца
 Впережку рассыпались,
 Пропадая четкой нитью
 На снегу, в кустах талины...
 В тихом сумраке, как тени,
 Обегая нарту Вазы,
 Крались волки стороною,
 Шагом волчьим, вороватым,
 По следам лосей тяжелых.
 Где-то в чаще отдаленной
 Волки, окружив лосиху,
 Чуть отставшую от стаи,
 Враз кидались на загривок.
 Сильный зверь их бил ногами,
 Разрывая им утробы,
 И они ползли по снегу,
 Оставляя след кровавый.
 Но кругом врагам числа не.:
 Где один упал—там двое
 Из сугроба вырастали,
 И в бою неравном грузно,
 Истекая алой кровью,
 Падал зверь перед врагами
 С перекушенной гортанью.

Проходили дни за днями,
 Нескончаемо тянулся
 Лес таинственный в низине.
 Снег рыхлел, яснее солнце
 В дальнем небе расцветало,
 С каждым новым днем все позже,
 Будто нехотя под вечер
 С неба скатываясь в чащу...
 И сомненье взяло Вазу:
 «Скоро Туе, где ж ущелье?..
 Нет конца тайге в низине!..»

«Птица, вещая сорока,—
 Тихо Ваза обратился
 С осторожной речью к птице: —
 Не сердись на любопытство
 И прости мне недоверье.
 Вот проходят дни за днями,
 Снег рыхлеет, на полянах
 Пни чернеют на припеке,
 Кочек лысины желтеют,
 Тяжело идут олени,
 Скоро Туе теплым ветром
 Оживит тайгу и тундру,

Зашумят ручьи, и реки
 Понесут снега на север,
 На осинах развернутся
 Листья липкие из почек,
 Свесят белые березы
 На концах ветвей бирюльки,
 И тогда мы поневоле
 Бросим нарту и оленей
 И в лесу с пути собьемся!..
 Ты поведай мне, сорока,
 Скорь ль кончим мы дорогу
 И увидим Царство Смерти?..
 Скоро ль будем мы у цели?
 Я измучился душою!»

«Скорю! — молвила сорока. —
 Подожди полудня, Ваза:
 Ты увидишь Царство Мертвых!»

И сбывшись слова сороки:
 Ровно в полдень нарта Вазы
 На конце лесной низины
 Распряженная стояла.
 Темной ямой, страшной пастью,
 Черной пропастью крошечной,
 Уходящей в землю-маа,
 Между кедров сиротливых
 Вход чернел в Ущелье Мертвых.

Чтоб олени не сбежали,
 Ваза быстро их стреножил
 И пустил пастись у кедров
 Под призором верной лайки.

Утром рано на востоке
 Солнце на ноги вскочило,
 Как заботливый хозяин,
 У которого по горло
 Дел скопилось под руками.
 Ваза с солнышком поднялась,
 Чтоб навеки попрощаться
 С птицей вещью, сорокой.
 Долго-долго за полетом,
 С грустью в сердце, одинокий,
 На краю лесной низины
 Он следил, не отрываясь,
 Как она крылом мелькала
 Над прозрачной кровлей леса.
 Грустно стало в сердце Вазы,
 Неприютно, но в минуту
 Он отвел рукою твердой
 Грусть и тайную тревогу,
 Быстро впряг оленей в нарту,

Потрепал их по загривкам,
 Поднял шест и громко крикнул:
 «Ну, сынки, вперед скорее!
 Путь открытый перед нами!»

Гулким звоном по ущелью
 Покагился стук копытный.
 Хитрый ветер пел протяжно
 Песни страшные о смерти...

Долго так во тьме застывшей,
 В тишине настороженной
 Мчался Ваза на оленях
 По ущелью Царства Мертвых.

Вдруг блеснул и снова скрылся
 Змейкой грепетной, далекой,
 Огонек на перепутьи,
 А потом, через мгновенье,
 Тьму прорезав острой стрелкой,
 Он метнулся, как виденье
 В мраке, призрачном и смертном,
 И зажегся синим светом,
 С каждым шагом разгораясь..
 И немного пробежали
 Быстроногие олени:
 Перед Вазой загорелись
 В свете дичного сиянья
 Семицветный хвост и перья
 Птицы Таукси великой.

На высоком белом камне,
 Что зовется Камнем Жизни,
 Птица Таукси сидела,
 Схоронивши клюв под перья,
 И за ней раскрыты были
 Настежь двери в Царство Смерти.

«Ой-я, ой-я!» — что есть мочи
 Ваза крикнул на оленей
 И, как вихорь, мимо птицы
 Прочмелькнул на белой нарте.

Птица Таукси вспорхнула,
 Вздрогнув, но уж было поздно:
 Как июньский яркий сполох,
 Из хвоста перо златое
 Трепетаю, улетая,
 За воротами Царства Мертвых.
 Освещая путь им, Ваза
 Мигом миновал ущелье
 И увидел пред собою
 В блеске золотого солнца

Бесконечную равнину:
 Это было Царство Смерти,
 Путь прямой к отцу Торыму!

Песня девятая

Царство Мертвых

Будьте милостивы к мертвым,
 Чтоб они без мук, без скорби,
 Там, за гранью, на Равнине
 Царства дальнего Торыма,
 Не нуждались в самом нужном:
 Вы снабдите их могилы
 Для еды посудой разной,
 Лукком крепким для охоты,
 Наготовьте стрел побольше,
 Дайте шило им в дорогу,
 Ниток из оленьих жил, обувку,
 Сети, верши для рыбалки,
 Если можно даже нарту,
 Чтоб друг к другу ездить в гости,
 Дайте звонкий гус и пензер,
 Табакерку, труг и трубку —
 Это все им пригодится!

Будьте милостивы к мертвым,
 Смерть и вас на перепутьях
 Караулит терпеливо...
 Все, рожденное, не вечно:
 Все живет и умирает,
 И рождается в новом свете
 В царстве дальнего Торыма.
 Все умрет, и день вчерашний
 Не придет и не вернется!
 Только сильные шаманы
 Возвращаются на землю,
 Но в другом уже обличьи
 И с другими именами!

Будьте милостивы к мертвым,
 Читайте память в даль ушедших,
 Помня то, что в царстве Торма
 Тени их живут и помнят
 Вас, оставшихся до срока
 В маа — временном приюте...
 Читайте память в даль ушедших,
 Поминайте в чумах чаще,
 И народ тогда не вымрет!

Мимо чумов молчаливых
 По немой равнине ехал
 Ваза-воин, сам не зная,

Сколько дней прошло с той ночи,
 Как вступил он в Царство Мертвых,
 Ибо солнце над равниной
 С той поры и днем, и ночью
 Незакатное стояло.

В стороне стада оленей,
 Без призора и охраны,
 Ягель — сладкий мох — искали,
 И рога их, как кустарник
 В сильный ветер, колыхались...

На большой поляне речка,
 Словно сонная, качала
 В берегах своих пологих
 Воды мертвые, в которых
 Синева небес высоких
 И зари густой румянец
 Никогда не отражались.

Возле этой мертвой речки
 Ваза в первый раз увидел
 Дым костра, в кустах талины
 Чум пустой, двух тощих лаек,
 Что у входа в чум сидели
 И на Вазу не лайнули:
 Шерсть их клочьями свалаясь,
 На боках и по хребтине
 Вылезла, как в голодуху,
 И глаза точили в землю
 Слезы мутные, собачьи...

В колебаньи легких теней
 Бубен, словно сквозь дремоту,
 Рассыпался тихой дрожью
 Под невидимой рукою.
 Кто-то пел тоскливо песню;
 Кто-то плакал и шептался
 Страшным шопотом могилы...

Вспомнил Ваза речку Ксенту
 С быстрой мутною водою,
 Вспомнил он тайгу, низины,
 Сумрак леса векового,
 Песни птиц и песни сосен,
 Чумы, лаек и вогулов...
 Вспомнил он невесту Ючо,
 Побежала кровь быстрее,
 Сердце в грудь заколотило,
 Поднял Ваза шест олений,
 Крикнул голосом могучим,
 Так, что трижды прокатилось
 По безжизненной равнине:

«Ну, сынки, вперед к Торыму!
Путь свободный перед нами!»

Снова мертвая равнина
Закружилась в быстром беге,
Отходя далеко в небо,
С небом вдалеке сливаясь
Белизной своей печальной...

В стороне леса стояли,
Потонув в густом тумане,
Но не слышно было в чащах
Ни залиvistого пенья
Звонких птиц, ни шума ветра,
Сосны, кедры и березы,
Как в дремоте, опустили
До земли сухие ветки:
Ни листа на них не видно,
Ни набухшей липкой почки
С изумрудною росинкой,
И от желтых игол кедров
Шел тлетворный дух могилы.
Проезжая вдоль опушки,
Ваза разглядел в тумане,
В кедраче табун сохатых,
Волки с впалыми боками
И горбатые медведи
На хребтах с седою шерстью
Сонно по лесу бродили,
Не глядя в глаза друг другу...
Чернобурые лисицы
Не гонялись по мшарине,
Распушивши хвост на ветер, —
Не играя, не мышкуя,
Возле пней они недвижно,
Словно тени их, лежали...
Только лишь страшливый заяц
Поднял трубочками уши,
Но не прыгнул от испуга
И из лапки не поднялся,
Чтобы в путника взглядеться,
Страх смешавши с любопытством...

Ваза раз за лук схватился,
В трех шагах увидя лося,
На рогах его, казалось,
Было больше ста развилок,
Вынул он стрелу большую
На конце с железным шилом,
Как пчела, стрела запела,
Отыскала сердце зверя,
Сердце, грудь прошла навывлет,
Но, встречая смерть, не вскинул

Зверь могучими рогами
И не грохнулся на землю...
«Что за диво! Что за диво!
Неужели я с дороги
Окривел на оба глаза
И впервой в такого зверя
Мог с прицела промахнуться?!» —
Так подумав, мадур-Ваза
Круто повернул оленей
И помчался напрямую
По безжизненной равнине...

Грустно Вазе было слушать
Тишину ее немую,
Он не мог смотреть подолгу
С нарты в пепельные дали,
Ваза в страхе громко гикал
И махал шестом-хореем,
Но и без того оленей
Вскачь летели по равнине,
Будто им самим хотелось
Поскреей умчаться дальше...
От могильного молчанья...

... И в молчании могильном
Мадур-Ваза вдруг услышал
Голос тихий и печальный:
«Мадур! Воин ясноглазый!
Придержи немного сали:
Мне за ними не угнаться!»

Вазе слышалось дыханье,
С тук копыт и храп оленей,
Словно кто-то за спиной
Невидимый и могучий
Мчался, Вазу нагоняя...

«Мадур, воин ясноглазый! —
Снова слышит Ваза голос, —
Придержи своих оленей:
Я прозваньем Кровь Большая —
Яный Келб, о прошлой жизни
Я хочу тебе поведать!»

Ваза вспомнил сказки дедов,
Были лет, давно минувших,
И, немного обернувшись,
Придержал своих оленей...

«Мадур-воин! — слышит Ваза, —
Это было в год тяжелый,
В год печальный и несчастный:
Из-за гор, покрытых снегом,

Словно вешние потоки,
 К нам вбежали вымим-яги,
 Злые русские варнаки!
 Вел их волк, старик железный,
 С белой, длинной бородой,
 Что до пояса кольчугу
 Белым снегом прикрывала...
 Вместе с ним монах угрюмый
 В длиннополой черной рясе,
 Что была чернее ночи,
 Беспроглядней тьмы осенней...

Как огонь еловой чашей,
 Словно мор оленьим стадом,
 Проходил бояр с дружиной,
 Оставляя за плечами
 Черный дым больших пожаров,
 Груды тел и рыхлый пепел
 На местах паулов людных.
 А монах над мертвецами
 На пожарищах молился
 И оставшимся живыми
 Говорил о новом боге:
 Будь он проклят, будь он проклят
 Трижды, трижды — хурум, хурум!

Против старого монаха
 И его слепого бога,
 Против крепкого железа,
 Изрыгающего пламя,
 Грудью встали на защиту
 Жен, детей своих и чумов
 Манси — храбрые вогулы...

Долго бились, крепко бились,
 Но измена средь народа
 Подточила наши силы:
 Старый волк с монахом тощим
 Взяли нашу землю-маа,
 Наши реки и угодыя,
 Облсжили наши дымы,
 Наши чумы тяжкой данью,
 Взяли жен, а мы рабами
 Стали им служить покорно.
 Вместе с ними к нашим юртам
 Смерть на корточки присела,
 Посылая нам болезни,
 Нашим сали мор таежрый...

Словно маа выпирала
 Бородатых лиходеев,
 Не сдержавши их в утробе,
 С каждым днем их было больше, —

Мы же падали и гибли,
 И народ редел, как чаша
 Под соарбом дровосека!

«Горе! горе!»—говорили
 Старцы, вещие шаманы,
 Испокон веков не помня
 Горя страшного такого...
 «Горе! горе!» — повторяли
 Грустным шопотом за ними
 Старики и молодые...
 «Горе! горе!»—лес шептался.
 «Горе! горе!» — пели птицы.
 «Горе! горе!» — зверь таежный
 Говорил нам непонятно
 На наречии зверином.
 «Горе! Горе! Горе!»—рыбы
 Забивались под коряги,
 Остроносые карбасы
 С парусами посередке,
 Лодки русские завидя...
 «Горе! Горе!» — я промолвил...

И однажды темной ночью
 На медвежьей лапе в чуме
 Страшным словом я поклялся
 Отомстить лихим пришельцам...

С той поры, не умолкая,
 Голос мой, как звонкий бубен,
 Бил тревогу неустанно,
 Призывая манси к битве.
 Потекли ко мне вогулы,
 Как притоки в нашу Ас'я
 Многоводною весною, —
 С каждым днем и каждым часом
 Умножались наши силы!

День настал.. У стен острога,
 Где засел бояр с дружиной,
 Наши стрелы зажужжали,
 Как стрекозы над водою.
 Из бойниц в ответ пушканы
 Загремели белым громом,
 С громким кличем черной тучей
 Манси двинулись на приступ
 Из болотистой низины
 В гору—к черному острогу;
 И с утра до темной ночи
 Мы дрались вверху на кручах...

Десять раз к острожным стенам
 Подходили наши силы.
 Десять раз они в низину

Без победы уходили.
 Смерть не миловала манси:
 Кровь с горы ручьем бежала.
 Мертвецы, разбросив руки,
 Шёвелились под ногами.
 И пошел в народе манси
 Ропот, ужасом рожденный:
 «Мертвых много, много мертвых!
 Не пойдем мы больше в битву:
 Нам давно пора в паулы!»

Голос мой, как детский лепет,
 Утонул в трусливом шуме,
 И никто меня не слушал...
 Наступили дни печали,
 Дни бессильного страданья,
 Но пришли на помощь боги,
 Порешивши на совете
 Дать вогулу Кровь Большая
 За его любовь к народу
 Талисман великой силы:
 Бровь-стрелу богини Таран,
 Матери огня и гнева!

С этим дивным талисманом
 С храброй кучкой героев
 Я поджег острог стрелою,
 Как в силки, словил варнаков,
 Вздернул их башки на колья,
 Взял в полон лису-баяра
 И к нему круче́ным лыком
 Привязал лгуна-монаха!

Но запомни, мадур-Ваза,
 Люди русские обиду
 Не прощают даже мертвым.
 Не уйти от них, не скрыться
 Никому на этом свете!
 Через зиму в нашу землю
 Страшный, белый хон Роч-маа,
 Где живут худые люди,
 Лиходеи, лихоимы,
 Душегубы и варнаки,
 Выслал новые дружины...

Впереди шел, за плечами
 С золоченою секирой,
 Воевода, князь Давыдка.
 Рядом с ним — монах ученый,
 С книгой и крестом подмышкой:
 Был он толст и очень грузен,
 И его тащили люди
 На большом щите червленом.

На реке, где мост из бревен
 Сделан был для перехода,
 Наши силы повстречались.
 Смерть не миловала манси,—
 Скоро дрогнули вогулы
 И, как мухи, разлетелись...

Только с кучкой небольшою
 Храбрецов, искавших смерти,
 Я за всех один держался,
 Окруженный плотной цепью.
 Бой неравный равен смерти:
 Много ль времени ей надо
 Сосчитать сердца героев!
 Пали все, и я остался
 На мосту, один над речкой,
 Красной от вогульской крови,
 Словно рдевшей на закате.

Русский воин — сын боярский,
 В позолоченной кольчуге —
 Длинной, острою секирой
 Замахнулся надо мною...
 Не сробел я, увернулся,
 И, схватив его за плечи,
 С места, скользкого от крови,
 Вместе с ним свалился в воду...

Тяжела была кольчуга,
 Крепки, цепки были руки
 У дородного бояра...
 Скоро мы на дно речное
 Опустились с ним навеки!

И теперь идет в народе
 Слух, что рано перед утром,
 У острога, над рекою,
 Чьи-то тени выплывают,
 Кто-то борется и стонет
 И зовет к себе на помощь...

Слушай, мадур, это правда;
 Это я борюсь с бояром
 И борьбу свою окончу,
 Если ты с великой вестью
 Возвратишься от Торыма.
 Я тогда опять воскликну:
 «Смерть вам, смерть вам, выимим-яги—
 Злые русские варнаки!»
 И, вернувшись вновь на землю,
 Поведу народ к победе!»

«Будь хорош!.. Пора в дорогу!» —
 Тихим голосом ответил
 Ваза призрачной и скорбной
 Тени Яный Келб — вогула,
 Храбро кончившего битву,
 И, в ответ, стозвучным громом:
 «Будь хорош!» — вдруг покатилося
 По простору Царства Смерти.

Песня десятая

Пенегезе

Бойко гнал оленей Ваза.
 Солнце падало на землю
 И, земли едва коснувшись,
 Снова в небо подымалось,
 Словно медленная чаша —
 Огневая, золотая
 Чаша вечности и жизни.
 За спиной широкой Вазы
 Расстилалось Царство Мертвых
 Белой призрачной равниной,
 И по ней лишь след от нарты
 Да следы копыт блестели.

Сколько дней так мчался Ваза?..
 Он и сам со счету сбился
 И в какой-то срок безвестный
 На заходе, там, где солнце,
 Как в раздумии глубоко,
 Неподвижное стояло, —
 В облаках увидел стену,
 Что в длину не знала меры,
 В вышину же уходила,
 Быстрых облаков касаясь
 Золочеными зубцами:
 Это было царство Нума!

У столбов, обитых медью,
 Где сходились наглухую
 На железных крепких петлях
 Половинками ворота,
 Ваза слез с точеной нарты,
 Потрепал уставших сали
 По намыленным загривкам,
 Быстро руку к сердцу сунул
 И достал тамгу Торыма —
 Знак свободного прохода
 В царство Мирры-Суснахума.
 Поднял он тамгу высоко,
 Подошел с тамгой к воротам,
 Постучал и громко крикнул:

«Отворите, кто здесь слышит?!»
 Но никто не отозвался
 За зубчатую стеною...
 Тихим звоном не звенела
 Цепь железная на крючьях,
 Не стучал запор гяжелый,
 И ворота не скрипели,
 Открывая путь герою...

«Отворите, кто здесь слышит?!» —
 Громче крикнул мадур в гнев
 И семь раз тамгой ударил, —
 Отворите, кто здесь слышит?!
 Отворите мне ворота!
 Отворите, отворите!»

«Если дух ты беспокойный,
 То зачем тебе ворота? —
 Кто-то Вазе отозвался
 Непреклонно и сурово, —
 Если ты, пришелец, смертный,
 Покажи тамгу Торыма —
 Знак свободного прохода
 В царство Мирры-Суснахума...
 Только смертным здесь не место:
 Никогда я их не видел,
 Этих грусов и лентяев,
 Недовольных и слезливых,
 Воссылающих молитвы
 В неземное наше царство!»

«Я похитил нарту Мейки! —
 Молвил гордо мадур-Ваза. —
 Я тамгу Торыма отнял
 У великого Медведа,
 У меня перо золотое
 Птицы Таукси священной!
 Я прошел на нарте Мейки
 Царство Мертвых, Царство Смерти.
 И теперь у царства Нума
 Три оленя золоторогих,
 На которых я свершаю
 Славный путь к отцу Торыму,
 Бьют копытами о землю.
 Позабудь пока о смертных,
 Здесь не место перекорам:
 Громко в третий раз тамгою
 Я стучу тебе в ворота —
 Отвори же, отвори же!»
 «Пайся, пайся, ойка рума! —
 Отвечал хранитель входов,
 Дух в обличьи человека. —
 Ты прости меня, пришелец,
 Будь ты в гневе так же краток,

Как ты краток в смелом слове.
Эти крепкие ворота
Никогда не отпирались
Перед слабым человеком,
И никто бы не поверил,
Что с тамгой подкатит мадур
И промолвит: «Отворите!»
Видно, мы с тамгой чудесной
Самого лентяя, ойку —
Старика, отца-Медведя, —
Столько лет напрасно ждали!»

«Пайся, рума, ойка рума! —
Отвечал учтиво Ваза
Отворившему ворота
И махнул рукой проворной
В знак сердечного прощанья: —
Будь хорош, хранитель входов,
Я спешу к отцу Торыму!»
«Берегись, вогул! — ответил
Дух в обличи человека. —
Берегись ты по дороге
Людоеда Пенегезе,
Великана и обжоры:
Он живет неподалеку!
Если он заметит нарту,
Разглядев ее спросонья,
То проглотит, не поморщась,
И тебя, и быстрых сали,
С белоснежною собачкой,
И в муку размялет нарту
Из костей быка Мухора.
Берегись же, Пенегезе!
Храбрый мадур, берегися!
А потом, — сказал привратник,
Дух в обличи человека, —
Если ты избежешь встречи
С людоедом и обжорой,
Великаном Пенегезе,
То в пути наверно встретишь
Молодую чаровницу..
Мадур, будь тут крепче камня,
Крепче синего железа:
Глубже спрячь под ребра сердце,
Не давай ему при встрече
Близко, крепко прижиматься
К сердцу нежному колдуньи.
Мадур, так она прекрасна,
Логарь — нежная колдунья!
С красотой ее бороться
В пору разве только Нуму,
Да и тот подчас бессилен
Устоять пред навождением:
Мадур, так она прекрасна!

Но запомни, друг мой юный,
Ты погибнешь в тонкой сети,
Что плетет она незримо
Из улыбок и объятий.
Ты пойдешь навстречу смерти!
Помни, мадур, помни, помни!
А теперь я пожелаю
«Будь хорош» тебе в дорогу!»
«Помосинэ, дух великий,
Много раз тебе спасибо
За хорошие советы.
Будь здоров, мой ойка рума!» —
Молвил Ваза, поклонившись,
И, махнув шестом тяжелым,
Словно лебедь в час заката,
Полетел к шаграм Торыма.
Под копытный стук оленей
В гордом, смелом сердце Вазы
Песня звонкая слагалась
Славы, счастья и победы:
«Скоро путь мой будет кончен,
Близок я к желанной цели!
Скоро, скоро в нашу землю
Я вернусь к родимым чумам,
На рогах моих оленей
Привезу я луч из царства
Бога вечности Торыма
К берегам Конды и Ас'я,
К берегам озер и речек.
К чумам, капищам и юртам
Я прибью три вещих слова
Славы, счастья и победы —
Три таинственных зарубки,
Сделанных рукой Торыма
На моем щите-хорее!
Я вернусь к родимым чумам
Вместе с нежною невестой —
С дорогою ай-Ючо!»
Не допевши до середины
Песню счастья и победы,
Мадур вдруг остановился
И увидел Пенегезе,
Великана и обжору,
На своем пути с дубиной.
Широко расставив ноги,
Пенегезе на героя
Пучил бельмы слюдяные,
По бокам железной шапки
Выбивались густо космы,
На плечах в хвосты свиваясь,
И на пальцах рук саженных
Под рысиной серой шкурой
Злобно когти шевелились.

Взвывала дайка, оцетинясь,
Залилась протяжным лаем,
Тройка сали быстроногих
В страхе в сторону метнулась,
И шунгур на крепкой нарте
Еле-еле удержался.

«Стой, парнишка, стой, хаплюга! —
Крикнул грозно Пенегезе. —
Ты зачем сюда явился?..»

«Уходи с моей дороги,
Комариное отродье! —
Отвечал бесстрашно Ваза
Великану Пенегезе, —
Видишь, вот тамга Торыма
Обвила мне крепко руку,
Вот перо священной птицы,
Вот мой лук, колчан и стрелы,
Вот топор — соарб тяжелый —
С топорщиком в полсажени,
Вот оттянутый, как жало,
Нож-касай, и, если мало,
Если большего ты хочешь, —
Проглоти меня и сали,
Костяную нарту Мейки,
А потом тебе я брюхо
Распорю ножом железным,
Засажу соарб меж ребер,
За которыми ты прячешь
Сердце, жадное и злое.
Хлынет черная, как сажа,
Кровь твоя, и ты подохнешь,
Враг живущих — Пенегезе!»

Скрипнул острыми зубами
В сильном гневе Пенегезе
И, махнув рукой мохнатой
В ноздри пенные оленей,
Диким смехом раскатился:

«Испугал меня, парнишка!
Испугал, хвостун трусливый,
Великана Пенегезе!»

«Отойди с моей дороги! —
Перебил без страха Ваза. —
Отойди, иль будет худо!
Знай, на этот раз никто уж
Не сожжет тебя, — тлетворный,
Едкий пепел твой на ветер
Не развеет, чтоб пылинки
По тайге необозримой
Разлетелись комарами.
Так разделался когда-то

С двойником твоим по крови
Хитроумный мадур-Итьте,
Богатырь из Паран-Пелек —
Стороны, где самоедин
В санках скачет на собаках...
Я справляюсь по-другому:
Я тебя зарюю в землю,
Придавлю могилу камнем
И на нем своим касаем
Четко вырежу на память
Слово тяжкое проклятья!
Отойди же, Пенегезе,
Комариное отродье,
Отойди с моей дороги!»
«Мадур ты среди младенцев! —
Прохрипел в ответ герою
Враг живущих, Пенегезе. —
Нагоняешь зря ты страху:
Я бессмертен, как все боги,
Как великие шаманы,
Что живут, не умирая,
В здешнем царстве ойки Нума!..
Ты украл тамгу Торыма
У слепого простофили,
Старца Шубного, Медведя.
В этом все твое спасенье!
Будь хорош... прощай, парнишка!» —
Так осек свою насмешку
Враг живущих, Пенегезе,
На таком последнем слове
Дикой злобой подавившись.

Великан ушел в ущелье,
Тяжело передвигаясь
На кривых ногах, а Ваза,
Проводив его глазами,
Молчаливо улыбнулся...
Соскочил он с крепкой нарты,
Из-под ног дрожавших сали
Быстро выправил постромки,
Вывел нарту на дорогу,
Поднял шест-хорей высоко,
Громко крикнул на оленей
И помчался быстрой тенью
В царство Мирры-Суснахума,
Полный радостной надежды.

Песня одиннадцатая

Логарь

Если падают олени,
Если волки сали-уи
Воют ночью у паула,

Если заяц торопливо
Из куста смахнет к дороге
И дорогу хитрой петлей
Обовьет и перережет, —
«Быть несчастью» — скажут люди.

Если сали выбивает
Ровный стук копыт по насту,
Если волки на опушке,
Разложив хвосты по снегу,
В ряд сидят на задних лапах
И, не двигаясь с места,
Только щурятся на сали, —
Если зайцы только ночью
Выбегают на дорогу,
Чтоб запрятать у талины
В норку теплую в сугробе
Хвост и уши от лисицы, —
Быть тогда удаче в деле!
Так гласят приметы старцев...
Если солнце алой кровью
Обольется в час заката —
Быть тогда бурану утром!..
Если солнце желтой медью
Полудит края у тучи
В тихий вечер на заходе —
Быть тогда морозу утром, —
Так приметы мудрых старцев
Учат сокровенным тайнам,
Строго, вечно, неизменно,
Как времен чередованье,
Как язык судьбы суровой.

Твердо помнил мадур-Ваза
Эти верные приметы,
Продолжая путь свой дальний —
Путь к отцу земли Торыму...
Твердо помнил мадур-Ваза,
Что большое испытанье
Ждет его в пути далеком,
Что нельзя его об'ехать,
И ему придется встретить
Ими-аи — молодую
И прекрасную колдунью!

Ровно в полдень на равнине,
Над заснувшей рекою,
Над бесшумной, мертвой речкой
С мертвой серою водою,
Где вовек не отражался
Облак, по небу бегущий, —
Он увидел чум богатый,
Он услышал переливный

Звон невидимого гуса,
Что к нему просился в сердце,
Сладко в сердце замирая...
Чей-то нежный, тихий голос
Пел задумчиво и страстно:

«Юный Ваза, храбрый воин!
Я тебя ждала с любовью,
Я тебя ждала, мой мадур!
Ты пришел на нарте Мейки,
Что он выточил из кости
Мамонта, быка Мухора,
И тамга Торыма крепко
Руку сильную обвила,
И в руке перо златое
Птицы Таукси великой
Блещет, как июньский сполох!
На твоём лице суровом
Не прочесть твоих желаний,
Ты — как дух, как бог из маа,
И с тобою рядом боги
И бессмертные шаманы,
Что живут в стране Торыма,
Никогда не умирая,
Меркнут в сердце аи-Логарь,
Как в восходе солнца звезды!..
Ты велик, шунгур мой Ваза,
Светлой юностью своею
И красой земли далекой,
О которой я тоскую...
Ваза, юноша прекрасный,
Ты стоишь передо мною
Хмурый, статный и высокий,
Словно кедр перед березкой, —
От тебя, от щек широких,
Опаленных вольным ветром
Тундры с мерзлою землею,
Как от майских зорь в урманах,
Тянет холодком и силой...
Я ждала тебя с любовью
Я твоя, мой победитель!
Я тебя люблю, как брата!»

Песня смолкла, струны гуса
Отгудели медным звоном,
Двери чума открылись,
И навстречу Вазе вышла
Логарь — в дорогих одеждах,
Тонко вышитых узором,
Много требующим ниток, —
Ханды-ханч, — где по проталам,
Под лучом зари неясной,
Кругом рябушки-полюшки

Друг за дружкой ходили,
 А средь круга черным шелком
 Вышит был черныш таежный:
 Пышный хвост свой в виде лиры
 Токовик высоко вскинул,
 Крылья в стороны отставил,
 И, уткнувшись клювом в землю,
 Веки красные прикрывши,
 Песню страстную зачатя
 Бормотал на всю округу.

Вышла Логарь на дорогу
 И ресницы опустила.
 Позади ее стояли
 Две служанки с угощением.

Нарта Вазы поровнялась
 С чумом аи-чаровницы.
 Лайка белая, щетинясь,
 Недовольно заворчала.

«Пайся, Ваза, пайся, мадур,
 Придержи своих оленей, —
 Нежным голосом герою,
 Вспыхнув радостным румянцем,
 Говорила аи-Логарь, —
 Придержи, стреножь оленей:
 Ты устал с такой дороги,
 Ты найдешь здесь владсть и вдоволь
 Свежий мед и много мяса,
 Много сладкой, теплой крови,
 Ты найдешь огонь в чувале
 И на мягких, теплых шкурах
 Отдохнешь с дороги дальней!»

«Помосинэ, помосинэ!
 Много раз тебе спасибо! —
 Отвечал учтиво Ваза,
 Придержав своих оленей: —
 Я спешу к отцу Торыму!»

«Вазал — громко перебила
 Логарь, ими-чаровница, —
 Ваза, ты меня не любишь!
 Знаю я, ты слышал сказку
 От привратника у входа
 В это царство ойки Нума,
 Но зачем же ты поверил
 Старцу, дряхлому и сердцем,
 И пустую головую?
 Ты не верь, не верь, мой воин,
 Этой басне недостойной.
 Ты не бойся, ты не бойся,
 Не страшись меня, мой мадур,

Будь мне братом и от чума
 Не гони своих оленей,
 Не отведав угощения!»

Логарь грустно замолчала.
 Тень легла на изумруды
 Под пушистые ресницы,
 Словно вечер непогожий
 Опустился к двум озерам...

Словно капли дождевые,
 Предвещающие ливень,
 Две слезы на грудь скатились,
 Что порывисто дышала
 Под ягушкой дорогою,
 Отороченною мехом.

«Ты меня не бойся, воин! —
 После долгого молчанья
 Логарь Вазе повторила. —
 Я давно ждала героя,
 Я тебя желала встретить!
 Часто утром на восходе
 Выходила я из чума
 И глядела на дорогу:
 Вот блеснут рога витые,
 Вот услышу громкий голос
 Подгоняющий оленей!
 Но вдали из года в годы
 Лишь одни лучи сияли,
 Надоевшие мне хуже
 Побрякушек и подарков
 Старца Нума и шаманов
 С их любовью застарелой
 И ломотой в поясице...
 Но вдали, сгоняя тучи,
 Только ветер откликался
 На тоску моих желаний!..
 Ваза, Ваза, ты не знаешь
 Ничего про аи-Логарь!..
 Ты не слышал сказок-песен
 О судьбе ее печальной:
 Их, наверно, позабыли...
 Я рассказывать не буду,
 Отчего я в царстве Нума
 И за что себе бессмертье
 Вместе с чарами колдуньи
 Получила я в награду.
 Я рассказывать не буду,
 Как старик сластолюбивый,
 Нум, отец наш и хозяин,
 У родных меня похитил,
 Соблазнившись красотой

Девы робкой и невинной...
 Я скажу лишь, что кончину,
 О которой каждый смертный
 В тайне думает со страхом,
 Приняла бы я за счастье...
 Что мне в том, что я бессмертна?..
 Я печальна, одинока,
 Одинока и несчастна!
 Часто вечером у чума,
 Только выскочит на небе
 Полумесяц, так похожий
 На молочный зуб младенца, —
 Опускаясь на колени,
 Я молилась на дорогу:
 «Приведи ко мне, дорога,
 Мужа сильного и друга:
 В одиночестве, в печали
 И в тоске своей суровой
 Я готова смерть-старуху
 Обласкать, как мать родную,
 Кровь смешать с твоею пылью,
 Вылить плоть свою на землю
 Царства Вечного Торыма
 И его закон бессмертья
 Злой погибелью своею
 На его глазах нарушить!
 Где же радость, где же счастье
 В этом холоде мерцанья
 Звезд в очах Владыки Света,
 В блеске золотого солнца,
 Что свои живые струи,
 Как недолгую награду,
 Шлет без счету и разбора
 За зубцы стены высокой!»
 Так бежали дни и годы,
 Я уж их считать устала,
 Но в душе, глухой и темной,
 Как звезда на дне колодца,
 Затаился свет волшебный
 Ожиданья и надежды:
 Как стрела перед полетом,
 Я тебя ждала, прекрасный,
 Как стрела с тугого лука,
 Я рвалась тебе навстречу!
 И случилось, что желалось:
 Ты пришел, но в миг счастливый
 Ты молчишь, и ты боишься,
 Ты боишься к аи-Логарь
 В чум войти гостеприимный,
 Выпить теплой, сладкой крови,
 Отдохнуть на мягких нарах,
 На пушистых теплых шкурах,
 Ты боишься, храбрый мадур,

Победитель людоеда,
 Великана Пенегезе,
 Ты боишься, ты боишься
 Одинокой слабой Логарь!»

Логарь смолкнула, а Ваза
 Улыбнулся и ответил:
 «Помосинэ, помосинэ,
 Много раз тебе спасибо
 За такое приглашенье!
 Ты не думай, что мне страшно
 Заглянуть в твой чум богатый,
 Что страшусь я ими-аи!
 Нет, не дрогнет сердце Вазы
 Перед чарами колдуньи!
 Ничего он не боится!
 Любит он свою березку,
 Мен-нен — верную невесту,
 Аи-Ючо, радость жизни!»

Ваза слез с высокой нарты,
 Шест воткнул глубоко в землю,
 Привязал к шесту оленей,
 Наказал их караулить
 Лайке, белянкой Снежинке,
 И пошел за Логарь в юрту.
 Снова сладко струны гусов
 Медным звоном загудели,
 Барабан веселой дробью
 Вторил в лад их нежной песне,
 А когда на нары мадур
 Сел с волшебницею Логарь,
 Две служанки за завесой
 Песнь запели о герое,
 Победившем Пенегезе:

«Он пришел из снежной тундры,
 Он пришел, бесстрашный воин,
 Долго, долго, дни за днями
 Ждали мы его прихода,
 Каждый день на барабане
 Мы гадали о герое,
 Каждый день пытали духов!
 Слово духов непонятно.
 Слово духов — шопот старцев,
 Лепет маленьких младенцев,
 Крики птиц, не спящих ночью,
 Голос зверя в темной чаще, —
 Слово духов непонятно!
 «Что ты видишь?» — мы пытали
 Духа ночи о герое...
 «Вижу я, — нам дух гнусавил, —
 Летний лес и круглый камень.

Под луной золотоокой
 Вижу зимнюю поляну,
 На снегу в большом сугробе
 Лапы шубного медведя.
 Лее, поднявшийся до неба,
 Преградил ему дорогу.
 Слышу свист и песню ветра
 Меж ветвей рогов оленьих.
 Вижу, к нам несется мадур
 На точеной белой нарте,
 Над быком оленьим — хором —
 Птица вьется белым пухом,
 У постромок громко лает
 Громко лает собачонка!»
 «О, скажи нам, мудрый ойка, —
 Мы испытывали духа, —
 То, что ждет, что не родилось,
 Но что будет и не минет,
 Что зовется днем грядущим, —
 Можешь ты об нем поведать?..
 О, скажи, открой нам тайну!»
 «Ближе, ближе слышен топот,
 Это он на тройке сали,
 Это он стучит в ворота, —
 Отвечал нам дух сердито: —
 Пенегезе точит зубы,
 Точит зубы Пенегезе,
 Кийя-юйя, кийя-юйя!..
 Пенегезе промахнулся.
 Верно целил Пенегезе,
 Но стрелу отдуло ветром!
 Выходите, ждите, едет,
 Собачонка лает громко,
 Едет, близко, юйя-кийя,
 Кийя-юйя: тут он, вот он!»

Смокла песня, и завеса
 Опустилась перед Вазой,
 Как оборванные листья
 Вьются осенью прозрачной,
 Закружились в честь героя
 В танце, легком и красивом,
 Две служанки аи-Логарь...

«Я не видел, — думал Ваза, —
 Этих странных танцев в тундре
 Ни у аи, ни у эква —
 Ни у девушек, ни женщин!»

Логарь знак дала служанкам,
 Смокла музыка и пляска;
 Десять слуг вошли подарно
 С угощением для героя...

Пышных шкур рукой касаясь,
 Слуги молча поклонились
 И ушли из юрты Логарь.
 Поклонились так же низко,
 Пышных шкур рукой коснувшись,
 Музыкантшики-шунгуры,
 Игроки на звонких гусах,
 На свирелях и на бубнах.
 А за ними ими-баба —
 Ветхой древности старуха,
 Нянька старая колдуньи
 И сама колдунья тоже —
 Вышла, только без поклона.

Логарь к Вазе чуть склонилась
 И расшитую ягушку
 Незаметно распахнула...
 Незаметно для героя
 Белой, пышною рукою,
 Как весенним хмелем, шею
 Загорелую обвила
 И раскрытыми устами,
 Где, как кипень на прибое,
 Зубы ровные белели,
 К сердцу Вазы потянулась.

Синий дым наполнил юрту,
 С нежной песнею сливаясь.
 Где-то музыка звучала.
 Ваза слушал эту песню,
 Слов ее не разбирая,
 В забытии не замечая,
 Как его целует Логарь,
 Как, обняв его колени,
 Ими-дева, аи-Логарь
 Ухо шопотом щекочет:

«Я твоя, твоя, мой мадур,
 Я твоя, мой муж любимый...
 Разве ты не видишь ласки
 И не чувствуешь лобзания?..
 Ваза, юноша прекрасный,
 Погляди в глаза мне прямо
 Улыбнись мне поскорее:
 Я в твоих глазах увижу
 Синий чум родного неба,
 О котором я тоскую!..
 Вижу, вижу: над землею
 Виснут дружными стадами
 Утки, тундровые гуси,
 Журавли с протяжным криком,
 Словно бисерные нитки
 И жемчужные цепочки,

Что весна — царица Туе —
 Оборвала с тонкой шеи
 И рукою шаловливой
 Обронила над тайгою...
 О, проснись, открой мне сердце!
 Я — твоя, твоя навеки!»

Синий дым ходил по юрте,
 Где-то музыка звучала,
 И в глазах суровых Вазы
 вспыхнул пламень, и по жилам
 Побежала дрожь желанья...
 Обнял он рукою железной
 Стан извилистый и гибкий,
 словно стебель, напоенный
 Соком буйного цветенья,
 И, губами губ коснувшись,
 Чуть закрыл глаза в истоме,
 Логарь к сердцу прижимая:
 Он забыл, что там, у Мейки,
 Ждет его с тревогой в сердце
 Ючо — верная невеста!

Целый день гостился Ваза,
 Целый день лежал у Логарь
 На груди ее душистой...
 Только к вечеру он вспомнил,
 что давно пора в дорогу.
 Вспомнив, быстро он простился
 С молодой чаровницей,
 Утомленную любовью.
 Быстро выскочил из чума,
 свистнул верную Снежинку,
 Гикнул громко на оленей:
 Сали Вазу у дороги
 Терпеливо ожидали,
 Опустив рога в дремоте!..
 Шест прошелся им по спинам,
 сразу с места взяли сали,
 сразу вскачь пошли, и скоро
 Логарь, выбежав из чума,
 Из-под ручки разглядела,
 Как далеко на закате
 В небе их рога сияют,
 Перевитые лучами.

Там, едва земли коснувшись,
 Как в раздумии глубоко,
 Солнце желтое стояло —
 Будто в мареве неясном
 Стены острыми зубцами
 Подымались над равниной...
 К ним на белой, длинной нарте

Мчался юноша прекрасный —
 Победитель страшной тайны,
 Храбрый, смелый мадур-Ваза.

«Будь хорош, мой гость чудесный! —
 Логарь тихо прошептала, —
 От твоих объятий нежных
 У меня ослабли руки
 И пропали злые чары:
 Все в глазах моих кружится!
 Будь хорош и помни Логарь!
 Я ж вовек не позабуду
 Вазу, славного шунгура,
 Глубоко под самым -сердцем
 Затаив его подарок!»

Ими села возле юрты
 И задумалась глубоко,
 Уронивши на колени
 Смолью пахнущие косы.

Песня двенадцатая

Торм

Белый ир в лесу над жертвой
 Означает благодарность
 Добрым духам за удачу,
 Черный ир — беду, несчастье:
 В черном, безысходном горе
 Кто-то робкою рукою
 Над дарами злому богу
 На сучок его повесит
 И уйдет с надеждой в сердце
 На конец и избавленье
 От злодейств шайтана злого.

Белый ир повесил Ваза
 Пред лицом отца Торыма,
 Окруженного богами,
 И, склонившись перед троном,
 Долго ждал его ответа.

Перед Вазой полукругом
 В два ряда стояли боги,
 Слуги—духи в покрывалах
 Из кудели полнолуния,
 А за ними ряд за рядом
 Ойки — жухи и шаманы
 В шкурах беличьих и куньих,
 В медных и железных шапках...
 Из-под шапок им на плечи
 Висли жидкие косички,

Пред собой они держали
Посохи и талисманы,
Что в руках у них звенели
Вещим и тревожным звоном.

Ваза слышал много сказок,
Много песен и рассказов
О богах, шаманах, духах,
Но немного было сходства
Между тем, что Ваза слышал,
И что видел пред собою.

Лишь шамана, старца Гузы,
Что когда-то соблазнился
На пиель — ружье с насечкой —
И у бога Мейки вынул
Из очей живые камни,
Мог узнать бы мадур-Ваза,
Но стоял он незаметно
И глаза от Вазы прятал
За спиною сильных духов...
Слуг же, духов, было столько,
Что они в глазах мешались,
И от них в глазах рябило.

Лишь в начале полукруга,
Не мешаясь с другими,
Слева страшная богиня
Таран в пламени стояла,
И у ней дрожали в веках,
Словно длинные ресницы,
Стрелы тонкие, прямые,
С золотыми остриями...

Да в начале полукруга,
Отступя направо, Рыба —
Вод, дождей и непогоды
Полновластная хозяйка —
Тяжко жабрами дышала,
Поводила плавниками,
Словно волны загребая,
И в ее дыханьи тяжком
Слышен был и гул, и рокот
Отдаленного прибора.
Слышно было издавека,
Как под панцырем чешуйным
Глухо билось рыбе сердце,
Словно это в дальнем море
Льды, на берег напирая,
С грозным грохотом ломались...
Из хвоста ее торчали
Две больших гусиных лапы,
И она смотрела сверху,

Стоя на такой подпорке,
На чудесного пришельца
Взглядом рыбьим и холодным.

В середине полукруга
На высоком, крепком троне
В тканых золотом одеждах
Восседал Торым-Владыка.
Он держал рукою посох,
На котором в изумрудах,
Еле видные для глаза,
Шли значки, изображенья
С тайным смыслом, Суснахуму
Лишь понятным и известным...
Дивным светом серебрился
Кудри пышные Торыма,
Отливая надалеко
Всеми радугами неба,
Словно маковка Урала
В блеске золотого солнца
Перед таянием снега, —
Как туманы по увалу,
Борода, свиваясь в кольца,
С высоты на грудь спадала.
Грудь его была широка,
И широки были плечи,
На щеках играл румянец,
И в глазах его прозрачных,
Синих, словно там за ними
Небо вечности синело,
Чуть заметная усмешка,
Еле зримая улыбка
Равнодушно появлялись
И мгновенно исчезали:
Жизнь и смерть поочередно
Из прозрачных глаз глядели
На чудесного пришельца...

В тишине большого царства
Посреди сияло солнце,
Как до края налитая
Светом огненная чаша.
Словно шкурка горноста, над
зубцом стены высокой
На ущерб луна белела,
И под ней костры дымились
Синим дымом благовоний.

«Пусть он встанет! — Нум промолвил,
Знак подавши приближенным,
Что бессмертный бог со смертными
Через духов приближенных
Повеет свою беседу: —
Пусть он встанет, молвит слово!»

«Встань, вогул! — вскричали боги: —
Молви слово, беспокойный!»

И, лица не подымая,
Отвечал им гордо Ваза:
«Не в укор скажу я слово,
Я прошу у вас прощенья,
Духи-братья, слуги Нума!
Я вам равен в этом царстве,
И отец, Торым великий,
Может речь держать со мною —
Слово к слову, сердце к сердцу,
Как ее он держит с вами!»

Зашептались слуги Нума
После дерзкой речи Вазы.
Все молчали, ждали слова.
Торма, грозного владыки,
Ждали гнева и изгнанья
Неучтивого бродяги.

«Белый ир, — сказал владыка
Всей земли и всех народов
После долгого молчанья, —
Белый ир не нужен Нуму:
Он не требует подачек!
Ты же, знающий законы,
Разве этого не знаешь?..
Нум, владыка всей вселенной,
Жертв земных не принимает,
Отдал он все жертвы слугам.
Убери свой ир, невежа,
Уходи, безумец дерзкий!»

Ваза встал и громко начал:
«Я законы твердо знаю:
Только белый ир оставил
Нум себе, — другие жертвы
Отдал слугам и шаманам.
Я законы твердо знаю
И скажу тебе, владыка,
Что стою здесь пред тобою,
Не как выходец из маа,
Не безумец и невежа,
А как бог, тебе подвластный,
И меня ты гнать не можешь:
Ты велик, ничтожны люди,
Но кто первый из живущих
Вместе с нартой и оленем
Сам заявится пред Нумом,
Перед тем бессильны боги:
Наше тело — это нарта,
Ноги — крепкие полозья,

Руки — гибкие постромки,
Ребра — кузов из талины,
Где уложена поклажа
Бед, болезней, меж которых
Редко спрятана надежда
На довольство и удачу, —
Наше тело — это нарта,
Мысль — хорей, и лили наша,
Лили, полная тревоги, —
Олениха с белой шерстью
И ветвистыми рогами:
Путь пред ней лежит недолгий
Сквозь страданья и лишенья
В тишину и сумрак смерти —
Так положено Торымом
В день создания вселенной!

Слушай, Нум, владыка света,
Я пришел к тебе на нарте,
Я привез на нарте тело,
Душу, мысль мою и правду
И теперь, сложив к подножью
Торма, светлого владыки,
Эти бедные подарки,
Я кричу тебе без страха:

Я — слуга, а не собака,
Я имею место в царстве
Нума, светлого владыки,
Как награду за лишенья,
За труды и за победы,
Что свершил я по дороге
В царство вечное Торыма.

Я пришел на нарте Мейки,
Что он вырезал из кости
Мамонта, быка Мухора,
На оленях, что когда-то
У тебя в ночи похитил.
Я прошел весь путь далекий,
Чтоб тебя увидеть, Торум,
И сказать тебе, что Ваза,
Победитель страшной тайны,
Знал законы мудрых старцев,
Был всегда правдив и честен,
Что принес тебе он горе
Умирающих народов,
Что принес тебе он правду,
Вкруг которой слуги Нума
Встали плотной загородкой,
И ее Торым не видит!

Два начала в нашей маа:
Уи-волки и олени,

Белый ир на ветке хрупкой,
 Черный ир на пне гниющем!
 Два начала в нашей маа:
 Горе, зло, страданья, скорби
 И добро, надежда, радость!
 Мейка темный и суровый,
 И Торым — владыка света!

День и ночь в борьбе роятся,—
 Так положено Торымом
 В день создания вселенной.
 День и ночь всегда в разладе:
 Зло с добром, как волк с оленем,
 На земле всегда враждуют!

Волка кормят волчьи ноги,
 Волчьи зубы, волчьи пасти
 Охраняют волчью нору, —
 Сали ж мирный беззащитен
 Без молитвы мудрых старцев,
 Без заботы добрых духов
 И охраны чутких лаек!

О всеильный Нум-владыка,
 Будь же милостив к несчастным,
 Помогите добру и правде
 Одержите над злом победу!..
 Я пришел к тебе от манси,
 Так похожих на оленей,
 Окруженных волчьей стаей,
 Рассказать о лютой доле
 И просить твоей защиты!

Там, в тайге, по мутной Ас'я,
 По большим и малым речкам,
 По озерам и протокам,
 По увалам и по сорам
 До поречий Кегкен-ас'я —
 Голубого Енисея—
 Все твои живут народы
 И зовут тебя — Великий,
 Мы, вогулы,—Торм и Торум,
 Остяки — Торым и Нума,
 Самоеды с гор Ялмала
 Нумом тоже именуют...

Слушай дальше, Торм великий,
 Невеселое сказанье:
 Это голос всех народов,
 Истомленных тяжелой ношей,
 Непосильною борьбою —
 Не за радость сытой жизни,
 Не за власть и угнетенье,

А за жизнь, покой и пищу,
 За свободу дымных чумов,
 За сохранность стад оленьих,
 За пески, тайгу и хабы!

Сам ты знаешь, Нум всеильный,
 Что пришли чужие люди
 В нашу землю, на низину,
 Покорили нас железом,
 Наложили дань на чумы,
 Подать тяжкую на души,
 Умертвили наших биков
 И поставили над нами
 Мичим-ягов — лихоймов,
 Хитрых сборщиков ясака —
 Суд творить, чинить расправу.
 И бесчестить наших женщин!

Мы терпели, мы молились
 Злым и добрым духам маа
 И не раз через шаманов
 Мы к тебе, Торым, взывали!
 Но напрасно, но напрасно:
 Духи наши жертвы брали,
 Как купцы долги по биркам,
 И ничем не помогали!
 Слышишь, там, внизу, великий,
 Звон лопат, удары кирок,
 Тодоров гуденье в кедрах?..

Погляди, в далеком море,
 В стороне, мне неизвестной,
 С диким воем пробегает
 По валам большая рыба,
 На горбу с трубой железной,
 Из которой дым едучий,
 Словно черный хвост шайтана,
 Прямо в облако завился:
 Путь ее лежит на север!

Погляди: внизу, великий,
 Избы русских на полянах,
 И вокруг них пни, как плещи,
 Где стояли раньше кедры
 Непрístupною стеною...

Видишь дым лесных пожаров:
 То горят леса вогулов,
 Уступая место пашням, —
 Словно полог похоронный
 На покойнике, чернеет
 Гарь пожарищ на увалах!
 Видишь бедность наших чумов,

Вымирание народа
От болезней и печали?

Торм великий! Слушай дальше
Невеселое сказанье,
Повесть грустную о манси:
Русый хум с огнем пушканов,
С топором и зельем смерти—
С мелким порохом зернистым—
На щите с монахом грузным
Вторгся к нам, в страну вогулов!

Злой бояр сжигал паулы,
Оставляя за плечами
Черный дым больших пожаров,
Груды тел и рыхлый пепел.
Лгун-монах крестил водою,
Имена давал чудные,
Непонятные вогулам,
И молот темно и долго
О каком-то новом боге,
Будь он проклят трижды—хурум!

В устьях рек, на тайных тропах,
Злой бояр построил стены
Городков своих с церквами,
Строжал черные остроги,
Отбирая наши земли,
Наши реки и протоки,
Наши промыслы, уголья,
Наши чумы и оленей
За медовую лепешку —
Тудым-нянь, что испечена
На угольях раскаленных,
За бутылку водки—сули,
Злой погибели вогулов!

О, Торым, Отец живущих,
Не гляди мне строго в сердце!
Сердце я тебе открою,
Я тебе открою душу!
В поздний час, над попы-яя,
Над священной светлой речкой,
Слышал я, как ойка Кукса
Пел старинное сказанье:
«Это песня и загадка.
Кто откроет смысл великий,
Кто исполнит слово в слово
Все слова загадки-песни,
Тот укажет путь широкий,
Как весной река в разливе!»

А потом я видел в чуме
На горе, под старым кедром,

Неизвестного мне старца.
Видно, был он вещий ойка,
Он сказал мне слово в слово:
«Первый подвиг—сали Мейки,
Шаг второй — тамга Торыма,
И последний подвиг, третий —
Из хвоста перо золотое
Птицы Таукси великой!»

Я исполнил слово в слово
Все слова загадки-песни:
Я украд оленей Мейки,
Я тамгу из щели вынул,
Я перо чудесной птицы
Из хвоста ее похитил,
Я прошел Ущелье Мертвых
И великую Низину,
Где живут умерших души;
Для меня открыли двери
В царство Мирры-Суснахума;
Пенегезе, злой обжора,
Отошел с моей дороги, —
И теперь перед тобою
С просьбой правой для народа
Я стою с надеждой в сердце,
Ожидая, мой владыка,
Справедливого ответа!»

«Все ли молвил, сын мой Ваза? —
Тихо Торм спросил мадур,
Чуть заметно улыбнувшись,—
Все ль сказал ты мне, бессмертный?»
«Все! — ответил мадур-Ваза,—
Все, хозяин нашей жизни!»

«Эмас, Ваза! Слушай, румал —
Продолжал печально Торум. —
Мой ответ готов, Счастливый...
Ты пришел из дальней маа,
От вогульского народа
Получить мою защиту,
От меня узнать три знака,
Три таинственные слова
Славы, счастья и победы?..
Ваза, мудрый, храбрый воин!
По пути в мои владенья
Ты видал Долину Смерти,
Где живут умерших души
Без врагов, нужды, болезней,
Без печали и страданий,
Отдыхая беззаботно
От земной тяжелой жизни?..
Там ты видел: чумы, лаек

И быков оленьих — хоров,
 Реки с чистой водою,
 Правда, смертному при жизни
 На питье совсем негодной,
 Слышал пензер у чувала
 Под незримою рукою,
 Видел сизый дым паулов,
 Лес, наполненный зверями,
 Души светлые ушедших,
 Погруженные в молчанье!
 Так иди, скажи народу,
 Передай такое слово:
 Суснахум, великий Торум,
 Обещает в Царстве Смерти
 За страданья и лишения,
 За земную боль и муку
 Всем великую награду —
 Тишину, покой-отраду
 И молчание навеки!»

«Нет, отец! — воскликнул Ваза. —
 Мне ответ такой не нужен!
 За такой ответ и глупый
 Надо мною рассмеется:
 Что им радость в Царстве Мертвых?!
 Что им поздняя награда?!
 Дай ты им иную долю,
 Если дать ее ты можешь!
 Царство Мертвых для живого,
 Как ясак отцу Торыму:
 Кто же эту дань и подать
 Уплатить тебе забудет?!»

«Что ты хочешь? — удивленно
 Перебил героя Торум,
 И за Тормом повторили
 Слуги-духи: «Что ты хочешь?»

«Я хочу, — ответил мадур, —
 Вместе с тенью Яный-Келба
 Крикнуть громко и победно:
 «Смерть вам! Смерть вам, вимим-яги,
 Злые русские собаки!»
 Я хочу, чтоб Торм-владыка
 Обещал победу манси
 Над жестокими врагами!»

Усмехнулся Торм вогулу
 И лениво молвил слово:
 «Завтра, мадур! Завтра, Ваза!
 Будь хорош: мне нужен отдых!
 Завтра, мадур! Завтра, Ваза!
 А теперь иди и выспись:

Ты устал с дороги дальней,
 Голова твоя туманна:
 Это видно по ответам!»

«Голова твоя туманна:
 Это видно по ответам!» —
 Слуги Нума повторили,
 Покачавши головами.

«Будь хорош! — Торым прибавил,
 Будь хорош, мой храбрый Ваза!»

Поклонился низко Ваза
 Ойке Торму и сидящим
 Слугам-духам приближенным
 И учтиво молвил слово:
 «Будь хорош, отец мой мудрый!»

С высоты к ногам мадура,
 Словно облак белоснежный,
 Опустился чум высокий,
 Возле входа в чум на шкуре
 Лайка, белая Снежинка,
 В полусне хвостом пушистым
 Чуть заметно шевелила,
 В стороне стояли сали,
 Опустив рога в дремоте,
 И хребты их надалеко
 В ярком северном сиянии
 Отливали синим светом...

Мадур-Ваза лег на шкуры,
 Сон об'ял его глубокий,
 Он увидел в сновидении,
 Что в макушку чума смотрит
 Ойка-месяц с полунеба,
 И ему нетрудно было
 Спутать свет его ущербный
 С сединсю старца Нума.

Песня тринадцатая

Атта-кег'е

Сарни-тут — огонь Торыма,
 Разноцветное сиянье,
 Что висит на зимнем небе,
 Словно хвост священной птицы.

Сарни-тут раскинул перья
 От небес до Паран-Палек —
 Стороны, где самоеды
 Скачут в санках на собаках.

Он одним концом уперся
В скалы северные Кеу —
В каменистый лоб Урала, —
А другой цветистой гранью
Наклонился к землям манси,
Где живут обские люди.

В час, когда на ближнем небе,
На зубцах стены высокой
Золотом сине-зеленым
Сарни-гут переливался,
В вышине раздался голос,
Словно это из-за тучи
Десять громов говорили,
Дружно слившись воедино:

«Пусть ко мне сюда, немедля,
Богатырь вогул приходит
Для последнего ответа!»

Богатырскую повязку,
Прикрывающую щеки, —
Йермак-охазам — надевши,
Ваза твердый шаг направил
В город с ободом из меди,
В медный город — патыр-вах-вуж —
И предстал перед Торымом
Для последнего ответа.

«Я пришел!» — промолвил мадур,
Став лицом перед владыкой.

В тихом царстве ойки Торма
Никогда не дуют ветры,
Все наполнено покоем,
Величавой тишиною,
Но от слов мадура-Вазы
Словно ветер запредельный
Пробежал по всей равнине,
Сарни-гут — огонь Торыма —
Многоцветными столбами
Сразу в землю опустился,
И, как дождь осенним утром,
Дождик огненных пылинок
Все наполнил яркой пылью...
Где-то крикнул в испугленьи
Дух невидимый за бусом —
За дождем огневой пыли —
Смолк, и снова стало тихо!..
Тихо и мертво, как в тундре
В вешний день, когда от солнца
На снегу играют блески,

Глаз слепящие до боли,
Но когда еще на небе
Не видать кривых цепочек
Стай гусиных, журавлиных,
И не слышно их привета...
В эту пору тал-хот-юрта —
Зимний чум, покрытый настом, —
Дым струит высоко в небо,
В эту пору набивает
Пену белую на лапы
Лежебок-медведь в берлоге,
Пойтэ-лук — глухарь — в урманах
Выбирает сук для тока.
Обо всем, таком далеком,
Но привычном и любимом,
Долго думал мадур-Ваза,
Молча стоя перед богом.

Слушай, мадур, эту сказку:
Тихим голосом хозяин
Всей земли и всех народов: —
Если ты постигнул мудрость,
Чтоб сюда ко мне проникнуть,
То поймешь слова простые
Немудреной детской басни,
Всем известной и понятной...
Слушай, мадур, эту сказку:

В зимний месяц, в полнолуние,
Проторенною тропинкой,
В час, когда посередине
Неба светит полный месяц,
Два пса рысцой бежали
И вели между собою
Разговор такой о людях;
«Почему, — промолвил первый, —
Нег капканов на дороге?»
А второй ему ответил:
«Эти люди-звероловы
От старухи, красной оспы,
Все повымерли, как мухи
От осеннего мороза.
Эти люди-звероловы
За бутылку крепкой водки,
За огонь прозрачно-жидкий,
Душу продали купчине!»
Дальше звери побежали
По реке в стране холодной,
Славно шкурки дорогие
Золотил им сверху месяц.

Звери так же любопытны,
Как и люди, и нередко

Любят тоже посудачить:
 «Помню здесь был белый камень, —
 Вновь сказал песец — наулбг, —
 Этот камень был священным:
 Камню жертвы приносились.
 А теперь не видно камня,
 Не видать и приношений!»

«Этот идол-лонх когда-то,
 Много лет тому, распался,
 Развалился с голодухи,
 Ибо стал народ скупенек,
 Пори—жертвы—не приносит,
 И в последний год случайно
 Лишь один из здесь живущих
 Потерял на этом месте
 Стертый ремешок от валок —
 Старой упряжи собачьей» —
 Так второй песец ответил.
 После этих слов печальных
 Разговор их прекратился,
 По реке в стране холодной
 Хорошо знакомым ходом
 Дальше звери побежали...

В час, когда так ярко светит
 Месяц с самой середины,
 На снегу следы считая,
 Два пса из хмурой тундры
 Добежали до горбатых,
 Низкорослых, черных елей.
 Здесь их встретил дух Пиунге,
 Преградил им ход привычный,
 Обратил песцов в речушки,
 И с тех пор песцов не стало,
 Только тундровые речки,
 Две печальные сестрицы,
 Огибая мыс высокий,
 Образуют ниже лягу —
 Под осокою болото.

Ты скажи мне, мудрый мадур, —
 Так спросил, закончив слово,
 Торм, владыка и хозяин
 Всей земли и всех народов, —
 Прав ли был тот дух Пиунге,
 Обратив песцов в речушки,
 И зачем он это сделал?..
 Укажи мне, мудрый воин,
 Смысл иной, но столь же ясный,
 Этой сказки немудреной!
 Дам тебе я время думать,
 И для этого раздумья

Срок тебе определяю:
 Думай столько, сколько надо,
 Сколько времени потребно
 Для кипенья обипута —
 Котелка с сырой водою!»

Но недолго Ваза думал,
 И сейчас же без заминки
 Отвечал отцу Торыму:
 «Эту детскую загадку
 Я толкую так, хозяин:
 Всем известно, что зимою
 Над землею солнце ходит,
 Высоко не подымаясь,
 День зимой короче шага
 Воробья или синицы,
 И его едва заметно
 Сумрак ночи застывает,
 В это время в нашей Ас'я
 Ржавый дух идет и губит
 Рыбу, если не успеет
 Отойти она в протоки.
 В это время манси ставят
 Гимги, нелих, юган-попы —
 Верши из талинных прутьев —
 Для большой и мелкой рыбы
 На курьях, где нет ржавины.
 Рыба вниз уходит к морю
 Или, дружными стадами
 Уплывая от замора,
 Входит в узкие живицы,
 В устьях маленьких речушек,
 Попадая в наши гимги.
 Прав был мудрый дух Пиунге,
 Обратив песцов в речушки!
 Два пса, хотя и рослых, —
 Прибыль очень небольшая,
 Ими только оторочить
 Можно женскую ягушку
 Или отдать купцу за сули —
 За бутылку крепкой водки,
 Злой погизели вогулов.
 Две же маленьких речушки
 Сколько остяков, вогулов
 До весны прокормят рыбой!
 Прав был мудрый дух Пиунге!» —
 Так ответил Торму Ваза.

«Мадур, ты ответил верно! —
 Улыбнулся Торм герою. —
 А теперь меня послушай:
 Ты сказал, что замирает

Под тяжелым льдом и снегом
От ржавца зимою Ас'я, —
В чем тут суть и где загадка?
Знаю я, что ты ответишь,
Но тебе я сам открою
Смысл, понятный лишь Торыму:

Как средь лютой зимней стужи
Перед радостной весною
Ас'я—Обь—река народа,
Тундр, урманов, гор и впадин —
Замирает от ржавины,
Так и все мои народы,
Что живут по Оби в чумах
В незавидной горькой доле
Перед радостным восходом
Погибают от несчастий
Под кнутом судьбы суровой:
Грозен лик богини Таран—
Матери огня и гнева!
«Горе, горе!» — вы кричите,
Приходя порой в смятенье,
И, как в нелих мелкий окунь,
Из беды в беду спешите!

Я великую награду
Обещал вчера народам
Тундры с мерзлою землею
И тайги непроходимой.
Мадур, ты ее отвергнул,
И теперь перед тобою,
Волк железный — карт-йиевра,—
Много новых испытаний!»

Торм, сказав слова такие,
Подав знак сидящим слугам,
И они неторопливо
Принесли кольчугу Вазе,
Богатырский меч и ножны.

«Вот тебе! — сказал хозяин
Всей земли и всех народов: —
Мадур, вот тебе кольчуга,
Недоступная ударам,
Ты надень ее на тело.
Атта-кег'е — меч тяжелый,—
Содып — ножны из железа —
Я даю тебе в придачу:
Вот тебе мои подарки!»

Вазе принял атта-кег'е,
Содып—крепкий и тяжелый,

На себя надел кольчугу
И, глядя в лицо Торыму,
Стал наказа дожидаться.

Долго думал Торм-владыка.
Дивным светом серебрились
Кудри пышные Торыма,
Отливая надалеко
Всеми радугами неба...
Присмирели слуги-духи
И сидели без движенья,
Чтобы шопотом нескромным
Мудрой думы не нарушить.
Запредельный тихий ветер
Шевелил седые кудри
Старца Мирры-Суснахума,
Погруженного в молчанье.
Из земли опять поднялся
Сарни-гут, все выше, шире
С каждым мигом расправляя
Хвост и огненные перья.

Долго длилось раздумье.
Наконец, Торым поднялся
И промолвил: «Мадур-Вазе!
Слушай: на пути коротком
Повстречаешь ты Иура,
Злое чудище морское:
Ты убей его, а когти,
Твердые, как обский камень,
Сохрани в мешке дорожном...
На пути еще увидишь,
Как копает берег яш
Зверь трехрогий, с толстой шкурой,
Яр отваливая в воду.
Он живет в подземном царстве —
Петлйм-емдер — и выходит
На свобсду по протокам:
Ты разделийся с ним так же —
Отруби рога Мухору
И укрой их в тайном месте!
Совершив все и исполнив,
Поверни своих оленей
В царство вора и бродяги,
Злого бога ойки Мейки,
И сейчас же, не робея,
В бой вступи; в твоей кольчуге,
С атта-кег'е богатырским
Ты не должен ведать страха:
Не щади его, не милуй,
Разори его владенья
И возьми себе в награду
Все богатства ойки Мейки!..

Нут и шар! Клянусь Медведем!
 Если это ты исполнишь,
 Весь народ тайги и тундры
 Будет, будет вновь свободен!..
 Оспа, красная старуха,
 Проходя по руским вужам
 С их высокими церквами,
 Разве годными для галок,
 Что над ними любят виться
 С криком глупым и убогим,
 Русых хумов переметит
 Раскаленной пятернею
 И в могилы спать уложит...
 Страшно будет: вы не бойтесь!
 Будет смерть, пожары, голод!
 Вы терпите, как терпели,
 Как терпеть уж научились:
 Вымим-яги—лиходеи—
 От старухи красной оспы
 Побегут опять за горы!

После этого наступит
 Время новое, иное:
 Ваши жены, ваши эквы,
 Как икранные налимь,
 Будут полны и плодливь...
 Лес платить ясак вам будет
 И пушниную, и мясом,
 Реки с мутною водою
 Рыб по берегу погонят,
 В нелих, гимги, юган-попы
 Напихают их по горло,
 А тайга и янгал-маа —
 Тундра с мерзлою землею —
 Столько выплодит оленей,
 Сколько игл на старых кедрах:
 Вы не бойтесь злой старухи —
 Мой народ она не тронет!
 И настанет снова время,
 Вновь великие шаманы
 Будут жить среди народа!»

«Будут жить среди народа!» —
 Слуги Нума повторили.

«По ярам, по попы-яя—
 По священным тихим речкам, —
 На протоках в щацах тала,
 На горах и на увалах,
 И в тайге, и в мерзлой тундре —
 Всюду, где укажут духи,
 Встанут идолы — сядан!»
 «Всюду, где укажут духи!» —

Так же тихо повторили
 Слуги светлого владыки.

«В тундру к вам вернется Ортжк.
 Бог Обской губы и тундры,
 К вам вернется, к вам вернется
 Золотая баба—Рача,—
 Принесет удачу, счастье,
 Долголетье и здоровье,
 И священная собака —
 Божья амба — Гаявая
 Побежит тайгой зеленой!
 Нут и шар! Клянусь Медведем!
 Все так будет! Все так будет!
 А теперь ступай обратно!» —
 Так закончил Торм—владыка
 Всей земли и всех народов.

Мадур-Ваза поклонился,
 Поднял меч, подвесил ножны
 И сказал одно лишь слово:
 «Я пошел!» — и удалился.

Путь был скор, не помнит Ваза,
 Как он вновь на белой нарте
 Вместе с тройкою оленей,
 С лайкой — беленькой Снежинкой —
 Очутился на поляне...
 Посреди поляны речка
 В берегах крутых юлила,
 Убегая торопливо,
 Как невестка от свекрови,
 Лед по берегу местами
 Отопрел, и там синела
 В полыньях вода, на солнце
 Золотым лучом играя...
 Позаодаль шла опушка,
 И с опушки сосны, ели,
 Голенастые осины
 И сутулые березы
 На ветру с лесной низины
 Низко кланялися Вазе...
 Но недолго Ваза думал
 О счастливом и чудесном
 Возвращении на землю:
 Соскочил он с крепкой нарты,
 Захватил глубоко в ноздри
 Вешний дух сосны и ели,
 Тронул рыхлый снег рукою
 И во весь могучий голос
 «Когош!» — три раза крикнул...
 Кто-то весело и громко
 Тоже трижды отозвался,
 Может — дух, а может — птица...

Ланги-белка с ближней ели,
 Что сошла с лесной опушки
 Погулять среди поляны,
 Перескакивая в чашу,
 Польшнула между веток
 Огненным хвостом, и Ваза
 Вскинул лук в одно мгновенье,
 И она на снег упала,
 На конец стрелы покорно
 Лапки хрупкие сложивши...
 «Видно всё-таки из лука
 Я стрелять не разучился!» —
 Только Ваза так подумал,
 Как пушистая Снежинка,
 Кровь лизавшая со шкурки,
 Потянула мокрым носом
 Ветерок и вдруг залилась
 Звонким и сердитым лаем.
 Мадур-Ваза обернулся
 И увидел человека,
 Был он стар и еле ехал
 На своих усталых конях,
 Что зовутся езы — лыжи...

«Вот так старая колода,
 Глух и слеп, как пень, наверно!
 Судя по его походке,
 Можно было бы подумать,
 Что здесь царство ойки Нума!» —
 Ваза весело присвистнул
 И окликнул человека:

«Пайся, пайся, ойка рума!
 Как зовется это место?..
 Далеко ль до речки Ксенты,
 Где стоят паулы наших?..
 Может быть, здесь царство Торма
 Иль великая Низина,
 Где живут умерших души?..»

И в ответ на эти речи
 Человек остановился
 И с улыбкою ответил:

«Вот уж нет, так нет, приятель:
 Здесь не царство ойки Нума!
 Как далеко речка Ксента,
 Право, тоже я не знаю...
 А зовется это место,
 Как звалось всегда и вечно:
 Сосс'я — речка горностаев!
 Будь хорош, прощай до завтра:
 На дороге тут, приятель,
 Пень большой стоит под снегом,

Не задень, брат, — с этим дурнем
 Пробеседуешь неделю,
 Но ни слова не добьешься,
 Хоть наверно он-то слышал
 Про великую Низину,
 Где живут умерших души,
 Где и мы с тобою будем
 Я пораньше, ты попозже.
 Будь хорош до нашей встречи!
 Видно, сказано не даром:
 Не суди людей по виду
 И не мерь ума годами!»

«Если я не в царстве Торма,
 То найду теперь дорогу!» —
 Так подумал мадур-Ваза
 И довольно рассмеялся
 На насмешку человека.

Песня четырнадцатая

Иур

На низу, в Обском заливе,
 Где угрюмый самоедин
 Скачет в санках на собаках,
 Где и днем горячим летним
 Льды лежат, не растопляясь
 От лучей скользящих солнца,
 Где и в солнечные ночи
 Между ярких незабудок,
 Желтых лютиков и маков
 Снег лежит, как шкурки зайцев,
 Что сушить перед продажей
 Разложил на солнце Вача —
 Сказочный стрелок, охотник, —
 Там, за дальнею рекою,
 В море сине-ледяное
 В незапамятное время
 Рыба-зверь Иур зубастый
 Переплыл из стран далеких
 И остался жить навеки.

Часто люди на Ямале
 Видят с берега Иура,
 Как он плавает по морю,
 Струи вод пускает вверх,
 Бьет хвостом по синим льдинам.
 От его ударов грозных
 Льды ломаются, как щепы,
 Волны с белыми гребнями
 Бьют о низкий берег тундры,
 Подбирают на приплеске
 Сучья, пни, стволы деревьев

И далеко их уносят
В море сине-ледяное...

И не день, не два бушует
Море — озеро большое:
Волны с белыми гребнями
По неделе к ряду ходят.
Ветер резкий и холодный
Закрывает тучей солнце
И на солнце, и на землю
В обе щеки дует, дует,
Словно устали не знает,
Уносясь от края моря
До великих гор и малых
На крылах непопыриных...
С ним несется сыр и сумрак,
Непогода и ненастье.

И нередко, спутав сроки,
Синеглазую царицу
С прядкой от косы пушистой,
Выпавшей из хмурой тучи,
Примешь неразумным сердцем
За горбатую старуху —
Осень с впалыми глазами,
Из которых днем и ночью,
Днем и ночью льются слезы,
Перемешанные с колкой
Изморозью, с белым пухом —
С ключьями открытой ветру
Седины тысячелетней...

С этой пасмури осенней
Люди тоже охмуреют,
Сложат сети на приплеске
И залезут, проклиная
Шквал морской и мокрый ветер,
В дымный чум, к огню поближе...
Станут думать ту же думу,
Что и прадеды и деды
Не додумали, сошедши
С ней в холодную могилу:
Не утих ли резкий ветер,
Скоро ль буря утихнет,
Долго ль ждать, чтоб бросить невод,
Накормить собак голодных,
Самому наестся вдоволь
И поставить на речушке
Перевес для ловли уток?!

Люди слушают, гадают,
На огонь глядят веселый,
Но не весело на сердце

В эти дни у них бывает.
Вал тяжелый хлещет в берег,
Бьет в него с тяжелым вздохом,
Выдыхая полной грудью
Глубину большого моря.
Мокрый ветер с белым снегом
Травы пухом засыпает,
Приминая их на землю,
И шуршит по коже чума.

«Пошамань-ка, — скажут люди, —
Отгони Иура-зверя,
Что хвостом и плавниками
Море-озеро взбуторил.
Ты уйми скорее, ойка,
Отгони далеко в море
Ветер злой и непогожий.
Ты достань свой вещей пензер
Вместе с нялы-колотушкой.
Ты нагрей его проворно
На дыму смолистых щепок.
Проведи по бубну пальцем,
Чтобы злой бродяга-ветер
Слышал, как над ним смеются,
Вою ветра подражая!»

Старый ойка скажет людям:
«Не настало еще время,
Подождем еще немного!»
И опять под кожей чума,
У огня, на мягких шкурах,
Отсыревших с непогоды,
Люди слушают, гадают,
Ждут, когда шаманить будет
Молчаливый, дряхлый ойка.

Вот пришел черед желанный,
Вот сошлись часы и сроки,
И шаман рукой дрожащей
Поднимает с полу бубен
И, прислушиваясь к ветру,
Нагревает над таганом
Пензер с лосной, звонкой кожей
Годовалого оленя.
Кожа бубна затрещала,
Попрозрачнела над светом,
Крепче в ободу стянулась.
Чернозобая гагара —
Грица вещая шаманов —
Близко к чуму подлетела.

Молчаливый, дряхлый ойка
Поднял нялы-колотушку
И, поставив на колено

Бубен с кожей разогретой,
 «Раз!» — ударил еле слышно.
 «Раз!» — откликнулся сейчас же
 Пензер старого шамана.
 «Два!» — ударил вещей ойка,
 Колотушку вскинув выше:
 Зазвенели тихим звоном
 Знак-тамга и клюв гагары.
 «Два!» — ответил вещей пензер.
 «Три, четыре!» — так удары
 Громче, чаще и протяжней
 Уносились в пропадину
 Беспроглядной, темной ночи,
 Где метался, выл и плакал
 Ветер с моря ледяного.

Вещий старец запыхался
 От тяжелого гаданья,
 Он глаза свои зажмурил,
 Чтоб нутром яснее видеть,
 И в руке его дрожащей,
 Как крыло, застыла нялы.

Вот он поднял колотушку
 И ее три раза бросил
 На четыре части света.
 Каждый раз народ покорно
 Подавал ее шаману.
 Гром гремел по темной юрте,
 Тени робкие скользили —
 Это духи вместе с ойкой
 Ворожили о грядущем!

«Слышу, слышу! — крикнул старец. —
 Слышу голос, вам неслышный...
 Вижу, вижу в темном небе,
 Что простым глазам не видно:
 Кто-то едет, кто-то скачет
 И поет победно песню,
 И гремит тяжелой нартой.
 Чьи олени, я не знаю,
 И кто он, не знаю тоже,
 Только вижу в темном небе:
 Путь его лежит к шайтану!
 Тише, тише! Люди, тише!
 Потушите сальник в чуме,
 Он мешает только светом
 Видеть ночь и тьму яснее!

Вот уж близко, очень близко!
 Не пройдет полкруга солнце —
 Вы увидите оленей,
 Нарту, путника и чудо!
 Он уж близко, он уж близко!
 Уберут твоих оленей,

Слышен топот быстрых сали,
 Слышен скрип полозьев нарты
 И слова чудесной песни.

Долго ждали наши деды,
 Ждали дети дедов наших
 Гостя дальнего из Понюнг —
 Из страны чудес и сказок!
 Я не знаю, я не знаю,
 Кто он сам и чьи олени,
 Но дождались мы, дождались:
 Он несет с собою чудо,
 Он везет нам избавленья
 От злодея, от шайтана,
 Зверя страшного — Иура,
 Что своими плавниками
 Море-озеро колышет
 И валы, как стадо, гонит
 На пологий, низкий берег.
 Он уж близко, он уж близко,
 Юйия, кийя, вот он, тут он!

Бубен с звоном покатился
 Повалился наземь старец,
 И народ пошел из юрты...
 Ветер злой гоняет тучи,
 Сылет мокрый снег на землю,
 Вал тяжелый с белым гребнем,
 Верным знаком непогоды,
 Подбирает на приплеске
 Сучья, пни, стволы деревьев
 И уносит их далеко
 В море сине-ледяное.
 Зверь-Иур пускает струи,
 Плавниками режет волны,
 Перевертываясь кверху
 Брюхом с медной чешуею,
 Трется о пологий берег,
 Обдирая мох и щебень,
 И захватывает в жабры
 С диким и протяжным воем
 Ветер мокрый и слуденый.

«Что сказал нам вещей старец?..
 Где олени, нарта, путник?..
 На земле, на море, в небе —
 Та же буря-непогода,
 В тучах низких и лохматых
 Скрылось ласковое солнце.
 По приметам, нам известным,
 В это серое ненастье,
 Если дуть так будет ветер,
 Нам придется долго в чуме
 Посидеть, поджавши ноги! —
 С головою теплой шкуррой,

Так сказал Хамыби-Худи,
 Самоеду из оленных,
 Старый Ярны-Окатэтто
 И потом еще прибавил
 После долгого молчанья:
 «Эта буря-непогода
 Долго, долго не утихнет!..
 Пусть шаман себе камлает,
 Ворожит пусть на здоровье,
 Спутав правду с небылицей,
 Но тебе скажу я, Худи,
 Он ведь может ошибиться:
 Путь души — не бег на лыжах
 По курье, ледком покрытой,
 За песком иль за оленем, —
 Это трудный путь немногих!»
 Не успел окончить слово
 Старый Ярны-Окатэтто,
 Как народ вдали увидел
 Костяную нарту Вазы:
 Мадур гнал своих оленей
 К черным чумам на пригорке,
 Мимо каменных сядеае —
 Мимо идолов из камня...
 К речке Юне подкативши,
 Ваза придержал оленей
 И сказал народу громко:
 «Ваш язык мне непонятен
 И места мне незнакомы.
 Вас зовут у нас в паулах
 Юран-Кум, народ олений!..»
 Речь свою мудрейшим словом,
 Помолчав, продолжил Ваза:
 «Все народы — дети Торма.
 Лишь один народ Роч-маа
 Да коварные зыряне —
 Коми, проклятые Нумом
 За измену и коварство,—
 Из семьи другой и чуждой!
 Я пришел с открытым сердцем
 Вам помочь в нужде великой:
 Умертвить морского зверя —
 Уя, страшного Иура!»

«Мы не знаем и не спросим,
 Кто ты родом и откуда, —
 Отвечал Хамыби-Худи,
 Самоедин из оленных,
 С малой речки Юна-Яга, —
 Заходи к нам в чум, хозяин,
 Сядь к огню, тебя накормят,
 Спать уложат и накроют
 Уберут твоих оленей,

А когда угодно будет,
 Сам ты скажешь — кто ты будешь
 И откуда ты приехал!..»

«Помосинэ! — молвил Ваза, —
 Буду гостем я недолгим:
 Я скажу вам без утайки —
 Кто я сам, какого роду
 И откуда к вам приехал!»

Ваза слез с точеной нарты,
 Снял широкие постромки,
 Наказал беречь оленей
 И пошел за старцем Худи
 В чум его гостеприимный.
 Здесь уселся он на шкурах,
 Без стеснения и с охотой
 Ел уху и мозг с хрящами
 Запивал оленьей кровью,
 А потом вздремнуть на нары
 Лег пред битвою с Иуром.

Освежившись сном недолгим,
 Он собрал к себе хозяев
 И сказал такое слово:
 «Я — вогул с далекой Ксенты.
 При рождении шаманом
 Был я назван Вазой — уткой.
 К вам на низ, на устье Ас'я
 Я приехал от Торыма,
 По его на то наказу:
 Умертвить морское чудо,
 Зверя страшного Иура!

Был я в царстве ойки Торма,
 Проезжал Ущелье Мертвых,
 Где живут умерших души,
 А до этого у Мейки
 Я похитил сали, нарту,
 Что он выточил из кости
 Мамонта, быка Мухора...

Я похитил, я похитил
 У слепого простофили,
 Старца Шубного, Медведя,
 Талисман — тамгу Торыма —
 И перо священной птицы,
 Птицы Таукси великой,
 Я держал своей рукою!

Я с собой несу свободу,
 Избавленье всем народам
 От владычества Роч-маа,
 Где живут худые люди,

Душегубы, лихоимы,
 Лиходеи и варнаки, —
 Нет в них совести и сердца,
 Даже сердце сали-уя —
 Сердце волка иль волчихи —
 Много мягче и добрее!
 Страшен грозный хон Роч-маа,
 Он сидит на белом троне
 Из слоновой белой кости,
 Пут-котел пред ним на углях,
 В нем он варит сули-водку,
 Семь шайтанов семирогих
 На боку с семью хвостами
 День и ночь толкут, как в ступе.
 В золотой его короне
 Зелье смерти — мелкий порошок...
 Грозный хон собрал дружины
 И послал их в нашу землю
 Умертвить шаманов, биков
 И охотников отважных,
 Напоить нас крепкой водкой
 И заставить всех рабами
 Век служить ему покорно...
 Но теперь я, мадур-Ваза,
 Победитель страшной тайны,
 Всем несу освобожденье —
 Всем народам рек великих,
 Малых рек, озер и речек!
 Будет, будет вновь свободен
 Весь народ тайги и тундры...
 Наши жены, наши эквы,
 Будут полны и плодливы,
 Как икряные налимы...
 Лес платить ясак нам будет
 И пушнину, и мясом,
 Реки с мутною водою
 Рыб по берегу погонят,
 В нелих, гимги, юган-попы
 Напихают их по горло,
 А тайга и янгал-маа —
 Тундра с мерзлою землею —
 Столько выплодит оленей,
 Сколько игл на старых кедрах!
 И настанет снова время:
 Вновь великие шаманы
 Будут жить среди народа!
 По ярам, по попы-яям —
 По священным тихим речкам, —
 На протоках, в чащах тала,
 На горах и на увалах,
 И в тайге, и в мерзлой тундре —
 Всюду, где укажут духи,
 Встанут идолы-сядаи!
 В тундру к нам вернется Ортик —

Бог Обской губы и тундры, —
 К нам вернется, к нам вернется
 Золотая баба — Рача, —
 Принесет удачу, счастье,
 Долголетье и здоровье,
 И священная собака —
 Божья амба — Гаявая
 Побежит тайгой суровой!..

Я свое кончаю слово
 И прошу вас дать мне лодку —
 Хабу крепкую — и весла.
 В ней по гребням волн сердитых
 Я поеду прямо в море,
 Я поеду в ней навстречу
 Ую — чудищу морскому —
 Толстокожему Иуру!»

«Нет у нас, людей оленных, —
 Отвечал Хамыби-Худи,
 Низко Вазе поклонившись, —
 Лодки крепкой для героя!
 Наши лодки для рыбаки
 Годны в тихую погоду,
 Наши весла слишком тонки
 И едва ль тебе сгодятся...
 Есть одна большая лодка
 Вон на том крутом увале,
 В старину ее когда-то
 Море выкинуло в бурю...
 Но об острые каменья
 Сорвала она обшивку,
 И у нас нехватит силы,
 Нам ее не снять с обрыва,
 Не скатить к воде по жердям,
 Если б даже с гор Я-мала
 Собрались мы всем народом,
 Запрягли бы всех оленей!»

«Может быть, мои олени, —
 Молвил Ваза самоедам, —
 Эту лодку стащат в воду?!»

«Но она лежала долго, —
 Повторил Хамыби-Худи, —
 От дождей и непогоды,
 От морозов, солнца, ветра
 По бокам она рассохлась!»

«Не беда, что бок дырявый,
 Были б только ребра целы! —
 Ваза весело промолвил. —
 Мы возьмем да и починим,
 Перетянем, серой смажем,

Свежим мхом затычем щели
И нашьем на дно заплаты
Из вареной в жире ксжи!»

Как сказал народу мадур,
Так и сделано все было:
Без труда олени Вазы
Лодку к морю подтащили,
Здесь ее легко и быстро
Самоеды починили;
Ваза сам с высокой сопки
Притащил весло с веревкой;
Упершись в корму тупую,
Сдвинул лодку носом в воду,
Ловко прыгнул и с размаху
По волне веслом ударил...

Вал поднялся от удара,
Захлеснул речонку Юну,
Потащил с собою в море
Лодки, сети самоедов
И погнал с прилесков в море
Сучья, пни, стволы деревьев...

«Егей! Ей!» — засуетились,
Закричали самоеды.
Но не слышал Ваза криков:
Далеко в открытом море
Он чернел чуть видной точкой.

То ныряя меж валами,
То на гребни поднимаясь
Волн седых с косматой пеной,
Лодка Вазы приближалась
К зверю страшному — Иуру.

Зверь давно заметил лодку,
Он нырнул под вал сердитый
И, набрав с водой илу,
Снова вынырнул на гребень.
Подняла волна большая
Лодку кверху острым носом
На косматую верхушку.
Зверь тогда метнул струю
Воду с илом и камнями.

С грозным свистом разлетелись
Струи, хабу покачнувши,
Но не дрогнул храбрый мадур:
Он рукою богатырской
Греб без-устали на зверя...

Острый нос тяжелой лодки
На-двоя валы большие

Рассекал, и за кормою
Вертуном вода бурлила,
Набивая шапкой пену.
Зверь, увидев близко лодку,
Заревел, оскалил зубы,
Поднял длинный хвост с зубцами,
Обгрененными, как жало,
И плашмя хвостом ударил.

Как в котле кипящем, море
Забурлило пузырями,
Льды тяжелые ломая.
Волны, словно в перепуге,
Друг на друга набегая,
Разбивались в пыль и брызги...

Тучи жмурые спустились
Низко-низко над водою:
Ночь настала в бурном море!
Зверь столкнулся с лодкой Вазы,
Поднял голову, ощерил
Пасть, клыками грозно скрипнул:
Он хотел за край схватиться,
Подгадать под вал и прямо
Опрокинуть Вазу в море!
Понял мадур эту хитрость:
Размахнувшись, он ударил
По ноздрям веслом тяжелым!

Зверь Иур нырнул под лодку.
Но, скользнув, она скатилась,
Словно нарта с мерзлой горки,
По спине его на волны.
Ваза вынул меч из ножен,
Размахнулся и ударил,
Сразу зверю перебивши
Плавники его и жабры.

Зверь взревел, нырнул глубоко,
След кровавый оставляя,
Снова вынырнул у лодки,
Ухватил весло зубами,
Расщепал его в лучину.

Но и тут не дрогнул мадур:
Он вскочил ему на спину
Вместе с крепкою веревкой,
В жирный бок морского зверя
Засадил тяжелый якорь,
Закрепил стальную кошку
И мечом отца Торыма
Враз проткнул кривые ребра,
Почки, сердце и печенку,
Разрубил пузырь зеленый,

Весь заплывший белым салом,
С желчью мутной и вонючей...

Страшный зверь хвостом ударил,
Натянул струной веревку,
Но напрасно: атта-кеге —
Богатырский меч героя —
Мозг ему рассек на части!
Смерть нашла Иура-зверя:
Словно толстая колода,
Вздрогнул он бугристой кожей,
Весь затрясся чешуею,
Пузыри пустил — и умер!

Тучи черные сбегали,
Небо словно распахнулось,
Чтобы видеть хорошенько
Небывалого героя,
Тьма рассеялась над морем,
Вал утих, и засверкало
Низко желтой медью солнце...
Ваза, путь свой направляя
К дальним чумам самоедов,
Запасным веслом работал.
Мертвый зверь Иур тащился
За тупой кормою лодки
На буксире в семь веревок.
Богатырь был рад победе:
Он был весел, как ребенок!

«Эт вам, вот моя добыча!» —
Крикнул Ваза самоедам,
На приплесок кинул якорь,
Бодро вышел он на берег,
И свисч мечом тяжелым
Отрубил на черных лапах
Когти страшного Иура.

«Люди храбрые Юраны, —
Обратился к самоедам
Ваза тихо и устало: —
Завтра утром я уеду...
После боя с этим зверем
Нужен мне покой и отдых,
А поэтому прошу вас:
В темном чуме с дымокуром
Дайте вдоволь мне наспаться!
Утром рано тройку сала
В нарту крепкую впрягите,
Дайте сала амбе-лайке
И мадура разбудите!»

Рано утром Окатэтто
В чум вошел и молвил тихо:

«Все готово, добрый мадур!»
Ваза встал с пушистой шкуры,
Натянул свою одежду
Не спеша, отведал мяса,
И, как требовал обычай,
Расставаясь с народом,
Попросил их всех на Ксенту
На своих чудных собаках
Как-нибудь потом приехать.

Песня пятнадцатая

Мухор-онгет

«Догорают головешки
Под седым налетом пепла,
Вынь скорее табакерку
И набей мне шарь-травою —
Табак — потуже трубку!
Скоро в утреннем тумане
Наш костер совсем потухнет,
И тогда о крепкий камень
Долго будешь бить огнивом,
Чтоб добыть для трута искру!» —
Так промолвил ранним утром
Добрый друг, бок о бок лежа
С верным другом на рыбалке.

«Хорошо!» — ответил другу
Друг давнишний по охоте.
Вынул трубку из кармана
И тавлинку с шарь-травою.
Шарь-траву набил щепотью
Над полой рубахи в трубку,
Чтоб на землю не просыпать.
Разобрал золу лучинкой,
Уголек достал руками
И, раздув его до искры,
Положил в чубук на зелье.
Синий дым струею тонкой
Полетел, чубук окутав,
Ус пропал в нем на минуту,
Ноздри шире разошлись,
Выпуская в оба бока
Чуть заметные колечки.

«Ты скажи мне, ойка рума,
Из чего ты сделал трубку?» —
Друг спросил, взглянув на друга...

Ойка рума улыбнулся
И, подумав, так ответил:
«Рума, друг мой, это знает
Каждый маленький ребенок:

Остяки все курят трубку
И касаем вырезают
Чубуки из мухор-онгет —
Желтой мамонтовой кости...
Но... взгляни на воду, рума.
Рано-рано мы проснулись,
Над рекой свежо, туманно,
Мы с тобой еще покурим!
Если хочешь, расскажу я
О великом звере, Весе,
О большом быке Мухоре,
Чтоб не шло в молчаньи время;
Попадем когда в могилу,
Мы успеем замолчаться!»

«Ойка рума, это верно! —
Другу друг ответил, трубку
И тавлинку доставая. —
Намолчаться мы успеем!..
Попадем когда в могилу,
Наш язык во рту на рыбу —
На линия или налима —
В кузову похожим будет!
Намолчаться мы успеем!
Да и я спросил про трубку,
Чтоб навесьть на разговоры.
Расскажи мне о Мухоре.
Ты рассказываешь складно
Эти сказки и преданья!..
Правда, нет у нас с собою
Сули-водки, без которой
Не рассказывают сказок!»

«Что же, рума: нет — не надо! —
Другу старый друг ответил: —
Обойдемся и без сули.
Близко мы сейчас от леса,
Тут же около опушки
Много панха-мухомора,
Панх и сули — все и то же:
Нету водки под рукою,
Семикратно панх отведай,
Если хочешь, чтобы слово,
Как вода под тяжкий камень,
Под язык не забегало
И свободно выливалось,
Так, чтоб рот не закрывался,
А другие б в удивленьи
Рты разинули, как дети!»

«Рума, рума, я за панхом
Побегу на перелесье!» —
Перебил нетерпеливо
Друга друг на этом слове.

«Нет, лежи себе спокойно
И потягивай из трубки:
Обойдемся и без панха —
Мы с тобой не на базаре!
Нас никто с тобой не слышит,
А туманы, лес и речка
Больше нас с тобою знают...
Обойдемся и без панха:
Чую я сейчас на сердце
У себя дыру большую,
Вижу славную прореху
Прямо в рот ко мне наружу, —
Я без панха и без сули
Расскажу тебе о Весе,
О большом быке Мухоре:

Под землей есть царство духов,
Царство Веса и Мухора,
Петлим-емдер это царство!..
Там, на дне, во мраке ночи,
Для которой нет начала,
А скончания не будет,
Так же, как сейчас ты видишь
На земле здесь перед нами,
Есть проходы, тропы, речки,
Реки с полою водою
И бездонные озера...
Там, внизу, в подземном царстве
Так же лес шумит дремучий,
Так же лютуют благоуханье
Травы, лютики и маки...
Петлим-емдер — царство духов,
Царство Веса и Мухора, —
Редкий видел из живущих:
Как подземными ходами
Из земли под яр выходит
Страшный зверь с семью рогами!

Даже сильные шаманы,
Что спускались в царство ночи,
Не могли смотреть без страха
На подземного владыку!

Каждый знает, каждый видел,
Что в илу, увалах, ярах,
Даже в мерзлой почве тундры
Отыскать всегда не трудно
Бивни, зубы, луки-ребра
Иль широкий черный череп
Страшного быка Мухора.

Каждый спросит, отыскавши
Рог большой, покрытый илом:
Как попал он в нашу речку?..

Так же спросит и нашедший
Зуб большущий — с детский локоть
Будет он величиною...

Вес-Мухор в подземном царстве
Бродит торными тропами
Вдоль по руслам наших речек.
Бродит он в проходах тесных,
И, когда его наружу
Приведет под яр дорога,
Он, увидев свет и солнце,
Слепнет, бесится и воет,
Кручи берега рогами
Бьет и осыпает землю,
На ночь логово под яром
Выбивая над рекою...

Так, слепой, он долго бьется,
В царство темное под землю...
Потеряв назад дорогу...
А потом, как гром в июле,
Упадет подрытый берег
И навеки похоронит
Зверя сильного — Мухора.

По весне снега растают,
Быстриной ударит в берег,
Ил, песок вода размочит
И откроет рыболову
Кости желтые Мухора...

Поплывет остяк на лодке
Мимо яра на рыбалку,
В желтом берегу увидит
Мухор-онгет — кости зверя,
Страшного быка Мухора,
Тоже желтые от ила,
Заприметит это место
И опять сюда вернется,
Откопает, сложит в ветку —
Лодку из сырой бересты,
Привезет домой, распилит
И начнет точить со скуки,
Чтобы время проходило
Веселей да поскорее,
Табакерку, черен к шилу,
Трубку, кольца, ложку, ножны...
Если кости слишком много,
Он продаст ее на водку
И напьется шибко пьяным,
Будет пить, кричать, ругаться
И рассказывать несвязно
О большом быке Мухоре!»

Люди молча покурили,
Были оба рыболовы,
Значит — оба табакёры,
Остяки из Ильби-Горта.
Первый звался Печ Солиндер,
А второй — Тамбури Ямпик...
Покуривши, взяли сетки
И пошли под берег к лодке.

На обрыве оба друга
Вдруг застыли, как сяди.
Кто-то их позвал и крикнул:
«Тончан, тончан! Подождите!»
«Кто бы мог, — подумал Ямпик, —
В эту пору быть из наших?»

«Егей! Егей! Кто там будет?» —
Отозвался Печ Солиндер.

«Егей! Егей! Подождите!» —
Из молочного тумана
Вместе с лайкою Снежинкой
Вышел Ваза к ним навстречу
И держал к ним речь такую:

«Проезжая мимо яра,
На приплеске тихой яи,
Сквозь туман молочно-белый
Я услышал хрипый голос
И рассказ о страшном Весе,
О большом быке — Мухоре.
Правда, нового немного
Я узнал из разговора.
Доводилось раньше слышать
От людей мудрей и старше,
Но сейчас мне не рассказы
И не сказки надо слушать,
Потому, услышав голос,
Я подумал: это, верно,
Рыбаки из Ильби-Горта
Дожидаются погоды.
Оттого, под'ехав ближе,
Я и крикнул: «Подождите!»

«Мы немного испугались, —
Робко Ямпик отозвался: —
То ли это над рекою
Отдается очень гулко,
То ли ты кричишь, приятель,
Твердым на ухо старухам!»

Печ Солиндер улыбнулся,
Оглядел вприщурку друга
И сказал недружелюбно:

«Если трут или огниво
 Потерял ты на дороге,
 Получи без разговоров!
 Каждый знает, что на голос
 Человек идет за зверем,
 Человек идет за птицей
 И за лайкой на охоте!
 Так к чему же разговоры?
 Пусть болтают языками
 Наши бабы и сороки!
 Мы же, рума, мы — мужчины!»

«Мы — мужчины, это верно! —
 Осмелевши, вставил Ямпик: —
 Может быть, у вас, не знаю,
 Есть такой чудной обычай,
 Чтоб мужчины, как ребята,
 Вместе с бабами болтали
 О шитье, стряпне, лепешках!..
 Может быть, у вас мужчины
 Нитки скут из жил оленьих
 И на бабьей скрипке — шиэ —
 Хорошо играть умеют:
 Может, любо им быть бабой?!
 Может быть, у вас мужчины
 Няньчат в онтаб — берестянках —
 Годовалых ребятишек,
 А прабабки промышляют
 На яск пушного зверя,
 Ловят уток перевесом,
 Кормят вас и бьют ремнями?!»

«Может быть, у вас в паулах
 Есть еще такой обычай?» —
 Подхватил насмешку снова
 Печ Солиндер, улыбаясь.
 Но не мог он слова кончить:
 Ваза взял его за косу,
 Сцапал Ямпика за ворот
 И обоих кинул в воду...

Закричали рыболовы:
 «Пайся, пайся, ойка рума!»

Печ Солиндер из речушки,
 А за ним Тамбури Ямпик,
 Слово мокрые сабаки,
 С плачем вылезли на берег
 На карачках и сказали:
 «Не сердись на нас, бессильных,
 Стариков стогодовалых,
 Богатырь с рукою длинной!»
 «Замолчите! — крикнул Ваза, —
 И послушайте, что скажет

Вам, трусливым зубоскалам,
 Мадур-Ваза — победитель
 Зверя страшного — Иура.
 Здесь я знаю, близко место,
 Где глубокий ход есть в землю —
 В Петлим-емдер — царство Веса,
 Зверя сильного Мухора.
 Укажите дверь под землю:
 Я иду войной на зверя!»

«Страшно нам! — ответил Ямпик,
 Вазе низко поклонившись. —
 Вон под тем большим увалом,
 Где зимою — снежной Тэли —
 Из-под снега даже в стужу
 Бьет ключом родник горячий,
 Где стоит, разбитый громом,
 Старый кедр, в кустах рябины,
 Есть глубокий ход под землю
 В царство ночи — Петлим-емдер!
 Кто проходит мимо ямы
 Слышит шум, подземный топот,
 Крики громкие народов
 На наречьях неизвестных,
 Языках, нам непонятных!»

«Отпусти нас, ойка рума, —
 Вставил слово Печ Солиндер,
 Также низко поклонившись: —
 Ямпик выложил всю правду,
 Больше мы о черной яме
 У ключа с водой горячей
 Ничего сказать не можем.
 Если ж больше знать ты хочешь,
 То найдутся в Ильби-Горте
 И годами много старше,
 И мудрее головою!»

«Хорошо! — ответил Ваза. —
 Уходите, уходите!
 На дорогу вам, мужчины,
 Дам совет, который помнит
 Каждый маленький ребенок:
 Кто приходит к дыму чума,
 Иль найдет костер потухший
 В поле, в тундре или в чуме,
 Будет гостем, — добрым словом
 Угощением и едою
 Должен быть сначала встречен!
 Если хочет, пусть расскажет —
 Кто, откуда и зачем он...
 Если нет, никто не должен
 Гостя спрашивать: откуда,
 Чей ты будешь, незнакомец,

За каким идешь ты делом?
А теперь добром ступайте,
Расскажите в ваших чумах,
Как под старость вы учились
Обхождению с гостями
У проезжего вогула!..
Ну, прощайте, казым-гуи:
Остяков за версту видно!»

Так закончил Ваза слово
И, махнув им на прощанье,
Погонул в густом тумане.

«Каково?» — спросил тут Ямпик.
«Получил ты по заслугам!» —
Отвечал ему Солиндер.
«Разве ты со мною не был?»
Не возился на приплеске,
Как линялый гусь в болоте?» —
Отвечал с обидой Ямпик.
«Он меня лишь взял за косы!»
«А меня он взял за ворот:
Я давно хотел помыться!»
«Поубавить вшей под шапкой
Он помог тебе на славу:
Много раз ему спасибо —
Помосинэ, помосинэ!» —
Засмеялся громко Ямпик.

Печ Солиндер рассердился,
Обругал Тамбури «бабой»,
После этого немного
Два приятеля подрались.
В это время мадур-Ваза
Натянул себе на тело
Золотистую кольчугу,
Вынул острый меч из ножен,
Атта-кеге — меч героя, —
И пошел к быку Мухору.

Песня шестнадцатая

Мухор

Старики в былые годы,
Что прошли и не вернутся,
Часто внукам говорили:
«Видишь, рума, яр высокий.
Каждый год, в большую воду,
Осыпаясь, он уходит
Дальше в лес, в густой рябинник...

В годы прошлые, седые,
О которых не осталось

Даже памяти у старцев
Под седыми волосами,
До владычества Роч-маа,
На яру, над тихой лягой —
Над руслом, теперь заросшим, —
Был причудливый, чудесный
Пахтыр-вах-вуж — медный город —
Князя Сумара-Матуги.

Сумар был из рода биков.
Он несметные богатства
Получил себе в наследье
И построил этот город,
Чтобы после смерти в людях
Память долгую оставил
И себя в священной роще
Темных вековечных кедров
Упокоить под курганом.
Вывел он дворцы и башни,
Что намного были выше
И стройней высоких кедров,
Крыши золотой резьбой,
Талисманами украсил,
В кедрах выстроил кумирни
И кадиланицы поставил
Всем богам тайги и тундры.
Их подножья янтарями,
Крупным бисером усыпал,
А от вражеских набегов
Оградил себя стеною
С ободом из красной меди,
Что зубцами доставала
Кедров вековые сучья.

Мы не знаем, это было
Так ли все на самом деле,
Но предание толкует:
Сумар жил на этом свете
Сто пятнадцать лет с немногим,
Молодость провел в весельи
И в довольстве встретил старость.
Люди тоже с князем жили
В полном мире и согласии.
Но случилось так однажды,
Что старейшие из рода
И мудрейшие шаманы
Сон увидели: приснился
Журавлиной светлой ночью
Всем им сон один и тот же...

Днем они совет собрали,
Долго думали, гадали
И решили на совете
Обо всем оказать Матуге.

«Бик! — сказал из них мудрейший: —
 Журавлиной светлой ночью
 Все старейшины, шаманы
 Сон увидели — приснился
 Всем нам сон один и тот же.
 Сумар, ничего яснее
 Наяву нельзя увидеть:
 Страшный бык с семью рогами,
 Вес-Мухор, земли владыка,
 Подошел под крутоярье,
 Подобрался к городищу!..
 Мы решили на совете,
 Что пройдет три круга солнце,
 Город Сумара-Матуги
 Будет сброшен прямо в воду
 Вместе с рощею священной!»
 Бик сидел в дворце высоком
 И с любимую женою
 Пышно праздновал рождение
 Девятнадцатого сына.
 Он еще не кончил чаши
 И, не мало не подумав,
 Так старейшинам ответил:
 «Пусть пройдет три круга солнце.
 Солнце правит путь свой в небе,
 Бики мудрые в народе:
 Их никто не остановит,
 Им никто не поперечит.
 Пусть пройдет три круга солнце,
 Мы тогда увидим ясно,
 Мы тогда узнаем точно:
 Упадет ли яр высокий
 Вместе с городом Матуги
 И его священной рощей!»

Недовольные ответом
 Бика Сумара-Матуги,
 Прозорливые шаманы
 Покачали головами,
 Но ни слова не сказали.

И прошло три круга солнце:
 Ночью светлой, журавлиной
 Яр высокий обвалился
 Вместе с городом и рощей.

Уцелели только люди —
 Мыгдя-тай-ах, голь нагая, —
 Что в землянках проживали
 Под высокою оградой...
 Только люди земляные
 Уцелели... долго, слезно
 Эти люди горевали
 И кричали над обвалом:

«Что нам делать? Где защита?
 Бика Сумара не стало!»

«Видишь, рума, — заключали
 Старики рассказ правдивый, —
 Вещий сон как много значит...
 Вещий сон откроет двери
 К тайне, за семью замками
 Скрытой даже от шамана,
 Обо всем без слов расскажет,
 Что не слышит наше ухо
 В тишине времен грядущих!»

Яр уходит с каждым годом
 Глубже в лес, где нет рябины...
 С каждым днем мелеет ляга,
 Пырь-травую зарастая
 И затягиваясь илом,
 И об ней в народе память
 Пропадет, как о Матуге,
 Как о городе чудесном,
 С медным ободом по стенам,
 От которого остались
 Только вглубь провал и бездна —
 Это выход зверя Веса,
 Семирогого Мухора
 Из земли на свет наружу».

Крутоярдем, где рябины
 Над обрывом шелестели,
 Где черемуха с калиной,
 Словно две стыдливых ай,
 С шопотком склоняясь друг к другу,
 В воду мутную смотрелась,
 Чуть заметною тропой
 Ваза шел неторопливо
 С белой лайкою Снежинкой.

Тропка меж кудрявых сосен
 Вниз спустилась по обрыву
 И в логу в траве зеленой
 Затерялась, оборвавшись
 Средь густых кустов талины...

«Яма близко!» — думал Ваза,
 Подбравши выше ножны,
 Подтянувши крепче пояс
 Из скрепленных на цепочке
 Наговорных талисманов,
 Медячков с изображеньем
 Птиц, зверей и разных духов.
 Амба лаять перестала,
 Хвост пушистый поджимая.
 Где-то еле слышно хлюпал

Ключ в траве... над старым кедром
 Развелись чьи-то иры —
 Зяки жертвоприношенья.
 Странно, глухо, отдаленно
 И для слуха непривычно
 В стороне был слышен говор,
 Не людской и непонятный.

Ваза вынул атта-кег'е —
 Богатырский меч героя,—
 Нож охотничий подправил
 И сказал своей собаке:
 «Амба, верная Снежинка,
 Вот теперь настало время
 Мне свиститься в Петлим-емдер.
 Не сиди тут, дожидаясь
 И без пользы тратя время:
 Ты беги и на опушке,
 Где стоят мои олени,
 Догляди пока за ними...
 Если ж мне судьба судила
 Света белого не видеть
 После мрака Царства Ночи,
 То иди, куда захочешь,
 И хозяина другого
 Отыщи себе по сердцу!»
 Ваза потрепал Снежинку
 По пушистому загривку,
 Почесал у ней за ухом,
 Лайка в нос его лизнула
 И пропала за кустами,
 Что стояли тесным кругом,
 Далеко оставив ветви,
 Распушив их над землею,
 Словно что-то прикрывая
 От приметливого глаза.

Ваза молча улыбнулся
 И пошел неторопливо
 В чашу к черному провалу,
 На груди его кольчуга
 Тихо кольцами звенела,
 Брякал на ходу железный,
 Тяжкий содып на цепочках.

Подойдя к норе Мухора,
 Ваза бросил круглый камень
 И прислушался к паденью.

Долго слушал храбрый мадур.
 Наконец глубоко где-то
 Он по дну норы ударил...

«Много времени для камня
 Надо, чтоб по ляжке стукнуть

Страшного быка Мухора:
 Пятьдесят шагов по лесу
 Можег сделагь хромоногий!»—
 Ваза весело подумал.

Снова бросил камень мадур,
 Снова слушал он паденье,
 А потом сказал: «Довольно!
 Ясно все и все понятно!»

Ваза взял соарб тяжелый
 С нарезною рукоятью,
 Повалил сосну большую
 Поперек норы Мухора,
 Задолбил два клина в землю,
 Ободрал на вербе лыко
 И кружить веревку начал
 В пятьдесят шагов длиной,
 Толщиною в восемь пальцев.

«Ты боишься, бедный мальчик,
 Этих сумрачных потемок
 В эту пору огневую,
 В час, когда выходят духи
 Из воды, из старых дупел
 Бурей сваленных деревьев,
 Из глубоких нор барсучьих,
 Скрытых в сучьях среди леса...
 Ты боишься, бедный мальчик!
 Мать с утра ушла далеко
 Собирать в лесу сараны —
 Корни, годные для пищи...
 Ты боишься, бедный мальчик,
 Тени трепетной от кедра,
 Что стоит у входа в юрту,
 Ты боишься шума ветра,
 Что шуршит по коже чума,
 С кедра иглы осыпая!
 Мать с утра ушла далеко,
 Ты не бойся, бедный мальчик,
 Черной тени от чувала
 И не плачь в глубокой люльке,
 Мальчик милый, неразумный,
 Желторотыч мой утенок!»—
 Так негромко мадур-Ваза
 Песню детскую над ямой
 Пел, о детстве вспоминая,
 Заплетая крепко лыко.

Вот он маленьким парнишкой
 Вместе с псом лохматым — Пакой —
 Ставит кривду на проточке,
 Комары его кусают,
 Пес стоит в воде по брюхо
 И хватает жадно воду,

Вытянув язык лопаткой.
Где-то громко на увале,
В кедрах голосом протяжным
«Ко-го-шу» вызывает кто-то:
Может — дуж, а может — птица...

Страшно маленькому Вазе.
Он готов бежать к паулу,
Бросить кривду на проточке,
Но как раз рукой он чувствует,
Что в мотню попала рыба.
И, не слушая уж больше
Когошуканья лесного,
Тянет кривду он на берег
И хватает торопливо
Ручкой склизкого налима.
Но налим скользнул меж пальцев
И обратно булькнул в воду.
«Айя!» — крикнул и заплакал
Рыболов, парнишка Ваза,
Взявший толстого налима,
Не под жабры, а за брюхо.

Вот в лесу он вместе с Пакой...
Спелой, масляной брусничкой
Солнцепок покрыт, как кровью.
Низко, томно опустили
Ветки вековые кедры,
На поляне мох пушистей
И теплей оленьей шкуры...
Спозаранок оба друга —
Ваза и лохматый Пака —
Убрели сюда без спроса.
Будет мать и старый ойка
Драть за волосы гулену!
Это каждый раз бывает,
Если Ваза из паула
Удерет с лохматым Пакой.
Но кому какое дело,
Если он не хочет в чуме
Под ногами баб толкаться:
Он давно уже мужчина!
«Эмас! Эмас!» — молвил Ваза,
Кончив песню, и веревку
Завязал в тройную петлю,
Обмотал сосну на яме,
А другой конец веревки
Опустил на дно колодца.
«Ну, теперь пора в дорогу!» —
Прошептал он, поклонившись
Солнцу, севшему за лесом,
Стройным соснам, темным кедрам,
И спустился в Петлим-емдер —
В царство ночи под землю.

Разом сосны зашумели,
Меж собой заговорили,
Кедры ветками качнули,
Слобно пожелав удачи
Вазе, храброму герою...
Чем он глубже опускался,
Тем теплее становилось,
Тем дышать труднее было.
Белой тряпкой — белым иром —
Знаком счастья и победы —
Там, вверху, над головою,
Чуть виднелся узкий выход.

Скрылся свет, пахнуло дымом,
Стены каменные сжались,
И из тьмы, переливаясь,
Гул немолчный доносился
Страшным ревом водопада:
Царство ночи было близко!

Стены черные вплотную
Наступали на героя.
Ваза раз, другой схватился
Вперебор, спускаясь ниже,
И достал конец веревки.

«Коротка! — подумал Ваза,
Как паук на паутинке,
В темной бездне повисая:—
Возвратиться разве наверх,
Довязать до дна веревку?..
Но герою же зазорно —
Дважды делать то же дело!..
Прыгнуть вниз на дно колодца —
Камни встретят остриями...
Если ж камни грудь минуют,
Так обратно не вернешься —
Стены скользки и высоки:
Я не орлан и не филин,
Не шаман, чтоб обратиться
В птицу, зверя или духа
И опять назад вернуться!» —
Так раздумывая, Ваза
Долго духом колебался,
Как паук на паутине,
В черной бездне повисая.
Вспомнил он, как мудрый ойка,
Безызвестный заклинатель,
Наставлял его в дорогу:
Никогда не возвращаться
И не ведать страха смерти!
Также вспомнил он, как в детстве
Лазил в норы за стрижами
По крутым, сыпучим кручам

Желтокаменных откосов.
Вспомнил — и ему на сердце
Стало веселей и легче...

«Не сломает Ваза онет —
Рог сияющий героя!» —
Ваза шопотом промолвил.
И, руками упираясь,
Прижимаясь плотно грудью
К стенам черного колодца,
Стал спускаться ниже в пропасть.

Вот бокарь мадура-Вазы
Камня гладкого коснулся...
Дальше были три ступеньки.
Ваза с них без страха прыгнул
И стоял через минуту
Перед входом в Петлим-емдер.

«Эмас!» — тихо молвил Ваза.
Вынул меч свой — атта-кег'е —
Богатырский меч героя, —
Нож охотничий ослабил,
Подтянул потуже пояс
И вошел в ущелье зверя.
Где-то, бурчалы напучив,
В темноте на камне сядя,
Плакал филин-передатчик,
Смерть предсказывал герою:

«Бедный мальчик, воротися,
Ты бледнеешь и трясешься:
Смерти ты идешь навстречу!
Вспомни мать свою родную!
Вспомни, как она плясала,
В дорогой своей ягушке
Мехом беличьим обшитой!
Как ее мелькали ноги
В бокарях с цветным узором
Из пяти цветных полосок,
Мелких бусок и нашивок!
Вспомни, как она плясала!
Как невестою в рубашку
Из крапивы нарядилась,
На которой против сердца
Были вышиты: охотник,
Хитрый зверь таежный—соболь,
Хвоя сосен и лисицы...
...Как за пологом расшитым
Зачала тебя на горе!
Бедный мальчик, воротися!»

Но не слушал мадур-Ваза
Песню детскую о танцах

И о горестном зачатый
Баловливого утенка,
Что пропел ему печально
Хитрый филин-передатчик.

Твердым шагом, не сгибаясь,
Шел, как опытный охотник,
Ваза в темном подземельи.
А ему навстречу грузно
Мамонт двигался проходом,
Приближаясь с каждым шагом.
Так сошлись: Мухор подземный
И герой могучей силы
В темном каменном ущельи!

Засвистел, как буйный ветер,
Заблестел огнем палящим
Атта-кег'е — меч героя.
Зверь Мухор взревел от боли,
Топнул толстыми ногами
И, как хор, почуя хора,
Словно бык быка почуя,
С наклоненными рогами
Грузно бросился на Вазу.

Ваза ловко увернулся
И, как мышь в нору большую,
Юркнул между ног Мухора,
Быстро выскочив, и сзади
По резную рукоятку
Засадил свой атта-кег'е.

Замычал Мухор от боли.
В узком каменном проходе
Гул пошел от рева зверя,
Отдаваясь в уши Вазы
Каменным тяжелым звоном,
Но, не медля ни минуты,
Не страшась и не робея,
Ваза бил мечом тяжелым
Ноги, зад, бока Мухора:
Кровь, как речка в половодье,
Залила подземный выход
На две полные ладони.
Зверь храпел, лягался, бился,
Задом пятился на Вазу,
Но напрасно: он увидел,
Как погибель черным оком,
Смерть незрячими глазами
В темноте ему мигает...
Что есть духа, по ущелью
Дальше в землю Петлим-емдер
Зверь Мухор, земли владыка,
Побежал быстрее лайки,
Побежденный человеком!..

Ни на шаг не отставая,
Ваза гнал его по следу,
И от бега их дрожали
Земли дальние народов.

Долго бег их продолжался,
Долго маа колебалась...
Наконец Мухор споткнулся:
Истекая темной кровью,
Обливаясь красным потом,
Он упал на дно ущелья.
Тут бесстрашный мадур-Ваза
Прыгнул на спину Мухора
И с размаху в три удара
Отрубил три страшных рога.

Зарычал Мухор, забился,
Приподнялся на колени,
Но опять, как глыба, рухнул
И уж больше не поднялся.

Ваза взял три крепких рога,
Повалил себе на плечи
И пошел на выход к яме,
Где кончается ущелье.
Емы, филин, птица ночи,
Пел шутливо вслед герою:
«Бедный мальчик, я ошибся!
Бедный мальчик, ты не умер!
Старый ойка, вещий старец,
Ворожил тебе на бубне
С кожей лосной и прозрачной
Годовалого оленя;
Привязал тебе удачу
Вместе с шариком из меди
К онтаб-зыбке из бересты;
И теперь перед глазами,
Из которых смотрят юность,
Храбрость, сила и бесстрашие,
Впереди тебя по тропам,
По тропинкам и дорогам
Светит онет—рог героя:
Всюду ждет тебя удача
И везде встречает счастье!»

«Вот и выход! — с легким вздохом
Ваза радостно воскликнул: —
Смолкни, филин, птица ночи!
Я и сам тебя не хуже,
Может, даже веселее
Песни петь, играть умею
На моем старинном гусе...
Но теперь мне не до песен:
Тяжелы рога Мухора,
Коротка веревка Вазы!»

Только Ваза это молвил,
Как, невидимый, незримый,
Кто-то ухватил руками
Победителя Мухора
И, как птицу, «верху вынес.

Песня семнадцатая

Смерть Мейки

Каждый день с надеждой в сердце
И в больших глазах с печалью
Выходила ай-Ючо
Рано утром на дорогу.

Каждый день она, вставая,
Говорила: «Вазу встретит,
Может быть, сегодня Ючо!»
Каждый вечер повторяла,
Перед сном собирая косы:
«Если ночью не придет
Мой жених, мой светлый Ваза,
Может быть, он мне приснится!»

Проходили дни и ночи
В ожиданьи и печали.

«Он придет, не придет? —
Часто так гадала Ючо
Темной, позднего порою: —
Отвечай скорее, пензер,
Из налимьей кожи сшитый!»
Но молчал упорно бубен
На вопросы грустной Ючо.
И однажды только, ночью,
Он чуть слышно так ответил:

«Долго ждать желанной встречи!
Встреча будет, но не скоро
И не здесь, на этом месте.
Где ты встретишь — я не знаю.
И не спрашивай ты больше:
Пензер большего не знает!»

Дни за днями проходили,
Осень на зиму сменялась,
Тут зиму заставляла
В смене дней, летящих к Нуму,
Вслед за Туде, белой ночью,
Прилетало лето-Ноши,
Натянувши в чистом небе
Лук упругий с тетивой
Журавлей, летящих нитью.
И потом опять слезливо,

Как старуха-шаманиха
У потухшего чувала,
Осень по лесу бродила
И на пенушке сидела
Средь опушки оголенной.
Увядали грустно травы,
Облетали снова листья
Золотых лесных нарядов!

Сколько дней, не знает Ючо,
Провела она с тоскою,
И однажды в тихий вечер
Как-то вышла на тропинку,
Где последний раз прощалась
С женихом своим прекрасным:
Здесь она остановилась
И задумалась глубоко...

Долго так сидела Ючо
В забвении, ей непонятном,
В темноте, в оцепенении,
Толк в которых лишь шаманы,
Жизнь прошедшие в гаданьях,
Понимают, но, очнувшись,
Аи-Ючо увидала:
В старой парке из оленя,
С облысевшей оторочкой,
В сильно ношеной одежде
Старушонка-шаманиха
С бубном, посохом и в шапке
Чуть плетется по тропинке —
Вся горбатая, кривая,
Как крючок для рыбной ловли!

«Здравствуй, бабушка! Откуда
Ты пришла сюда в ненастье!» —
В удивлении спросила
Аи-Ючо шаманиху.

«Здравствуй, дочка аи-Ючо! —
Отвечала ей старуха,
Рот раскрыв пустой, беззубый,
Как дупло гнилой осины. —
Я пришла тебя проведать
Рассказать тебе о деле,
О котором ты давненько
Знать все в тонкости хотела!»

Прозвевев шаманьим бубном,
Опираясь на посох,
Подошла старуха к Ючо
И сказала ей с усмешкой
Незаметной, что повисла
На ее кривых морщинах,
Как на ветках паутина:

«Если слезы на ресницах —
Значит, плачешь о далеком,
Значит, грусть владеет сердцем!..

Кто ушел, сказав: «Вернусь!» —
Может, сдержит это слово,
Кто сказал ему: «Дождусь!» —
Потеряет только время...
Я скажу тебе о прошлом:
Я — старуха-шаманиха,
Я жила, не знаю сколько,
Но цветом душистый, нежный,
Что зовется аи-Ючо,
Много раньше распустился,
Чем родилась шаманиха!

Если б годы сосчитала
Я по маленьким лучинкам,
То немало я, немало
Нащепала бы лучины.
Если б вздумала ты, Ючо,
Счесть все годы, что на свете
Прожила ты, не заметив,
То такую кучу-кучу
Накидала бы под ноги,
Что и мне не перелезти:
Ты жила уж в царстве Мейки,
Я же даже не родилась!
Ючо, Ючо! Ты не знала,
Что такое значит старость!..
Что такое за кошолка —
Горб, сгибающийся в погибель, —
Вырастает за спиною
К этой старости с годами!..
Ни горба ты не видала,
Ни судьба на лбу и щеках
У тебя не прочертила
Долгой, пройденной дороги:
Тяжелы морщины, Ючо!

Ты не знала, что к живущим
По обычаю земному
В срок негаданный, но верный,
Смерть стучится в двери чума!

Но не бойся, Ючо, мрака,
Ожидающего смертных,
И не думай о болезни:
Ты умрешь цветком прекрасным
На заре весенней ночи,
Без икоты и страданья!»

«Ах, оставь меня, старуха,
Злобный дух, губитель жизни! —

Ючо громко закричала. —
 Не пугай меня ты смертью:
 Я бессмертна в царстве Мейки!

Если ж ты незрячим оком
 Видишь в будущем дороги,
 То скажи мне, шаманиха:
 Скоро ль Ваза возвратится?..
 Был ли он в далеком царстве,
 Коим Нум от века правит?..
 Где теперь стучит он нартой?..
 Может, близко он, за лесом?..

«Он вернется в царство Мейки, —
 Отвечала шаманиха, —
 Он стоял перед Торымом,
 Чтоб узнать три вещих слова,
 Три таинственные знака
 Жизни, счастья и победы.
 Он сюда вернется с ними
 И прибьет их к дымным чумам,
 К берегам озер и речек.
 На рогах своих оленей
 Привезет он луч из царства
 Бога вечности Торыма.
 Только вот сама ты Вазы
 Не увидишь, не дождешься:
 Ты умрешь, когда услышишь
 Голос Вазы в этом царстве!»

«Уходи, колдунья злая!
 Не желаю я поверить
 И не верю я ни слову
 Злого, черного гаданья!
 Или ты того не знаешь,
 Что, когда бы смерть-старуха
 В чум ко мне зашла с дороги
 И пупок мне развязала
 Костяной своей рукою,
 А мою любовь и мысли,
 На загорб-сложив в кошколку,
 Унесла бы в Царство Мертвых,
 То и там железный мадур
 Отыскал бы ай-Ючо
 И водою — хатта-инком —
 Оживил бы это сердце,
 Что навеки полюбило
 Вазу больше, больше жизни?!
 Если же вода живая —
 Хатта-инк — не помогла бы,
 Он нашел бы хатта-нер-ем —
 Прут живящий отыскал бы.
 И, как строгий муж стегает
 В кровь жену свою, рабыню,

Так и Ваза отстегал бы, —
 Может быть, еще сильнее, —
 Не жалея, ай-Ючо,
 Но ее вернул бы к жизни!
 Уходи, колдунья злая!
 Не желаю я поверить,
 И не верю я ни слову
 Злого, черного гаданья!
 Уходи скорей отсюда,
 Встанет Мейка — худо будет:
 Он тебя замет, как мышку!» —
 Так закончила со злобой
 Непривычной ай-Ючо,
 И когда остановилась,
 То увидела: старуха
 Словно в землю провалилась!..

С той поры тяжелый камень
 Лег на сердце ай-Ючо,
 И слова чудной старухи
 Из ума не выходили.
 Так же молодость сияла
 Из очей глубоких Ючо,
 И по щекам разливался
 До висков густой румянец,
 Но коварный ойка Мейка
 Разглядел пытливым взглядом
 Грусть и скрытую тревогу.

Как-то встал он рано утром,
 Недовольный и сердитый,
 Потянулся, расправляя
 Кости с долгого лежания,
 И сказал с кривой усмешкой:

«Я все вижу зорким глазом,
 Я все знаю духом духа:
 Мало ешь — скорбишь о чем-то;
 Спишь тревожно — есть забота;
 Вниз глаза — печаль на сердце!
 Все я вижу, все я знаю.
 Отвечай, о чем забота?..
 Отвечай, где корень скорби?»
 Эква-Ючо без движенья,
 Как застывшая, сидела
 У холодного чувала
 И на едкую насмешку
 Не ответила ни слова.
 Ойка Мейка сел с ней рядом
 И опять сказал тягуче:

«Вместе с горем и тоскою,
 Как вьюнок на пне осины,
 Вьется робкая надежда.
 И в твоих глазах печальных

Я незримым глазом духа
Вижу робкую надежду.
Отвечай мне, эква-Ючо:
В чем живет твоя надежда?
Отвечай, где спрятан корень?»

И на этот раз ответа
Не дождался ойка Мейка,
И опять сказал с ухмылкой:
«Знаю я, когда воришка
Залучил моих оленей,
Рядом с твердым следом вора
Видел я другой, неясный,
Женский след какой-то бабы!
Может быть, воришка глупый
С бабой ездил для повадки,
Спрятав в маленький мешочек
Вместе с шарью и огнивом
Эту хрупкую балушку?
Может быть, ты мне ответишь
На вопрос последний, третий:
Чей был след?.. Кто эта баба?»
«Слушай же, — сказала Ючо,
К старику не повернувшись, —
На вопрос последний, третий,
Я задам тебе вопросы —
Может быть, тогда без злобы
Скажешь мне: «Без слов понятно,
Я не требую ответов!»
«Хорошо! — сказал коварный
Ойка Мейка, багровея. —
Будем слушать сплётку бабы,
Хоть положено законом,
Что должна ты мне ответить,
Не испытывая мужа!»

«Первый мой вопрос немудрый,
Начала спокойно Ючо, —
Будет сделан по закону,
О котором ты хлопчешь:
Если женится мужчина,
Он несет калым-тан-менек,
Шлет дары своей невесте.
Так, скажи мне по закону?..»

«Совершенно!» — дух ответил,
«А второй вопрос, — сказала
Ючо, глазом не моргнувши, —
Будет очень прост для духа:
Если дар его не принят,
Не понравился невесте —
Мен-нен, гордой и прекрасной,
То куда идет от юрты
Глупый сват, жених печальный?»

«В этих случаях обратно
Стправляется бедняга,
Чтоб на шкурках в одиночку
Отоспаться с неудачи» —
Отвечал охотно Мейка,
Не поняв, к чему же Ючо
Клонит эти разговоры.

«А теперь — вопрос последний, —
Тут сказала гневно Ючо: —
Может дух, закон нарушив,
Быть судьёй, как Шубный Старец,
Тот, которому когда-то
Ты плевком отбил охоту
Разбирать дела вогулов?..
В прошлый день далекой встречи
Ты меня увез на нарте,
На оленях золоторогих:
Ты спросил на то согласие
У меня, у мен-нен Ючо?..
Может, я бы согласилась
Лучше смерть принять и муку!..
Точно так же и воришка
Ночью выкрал сали, нарту,
Даже слова не сказавши.
Много ль, мало ль вор ворует,
Все равно: он — вор, разбойник!»

Помолчав, ответил Мейка:
«Хитрость эквы и лисицы
Лисьим шагом не измерить!
Это сказано разумно...
Помню я, судья лохматый,
Испугавшись криков манси,
«Смерть!» — сказал и лапу поднял
В знак согласия с народом...
Дальше было б очень худо,
Если б я не вызвал Лача
Для правдивого ответа!

Я увез тебя на нарте,
Легкой, словно вешний ветер,
Что я выточил из кости
Мамонта, быка Мухора,
В этот край, где вечно Ноши
На лугах цветы сажают,
Поливая их росой,
Согревая светом солнца,
И цветы благоухают,
Никогда не увядая,
Под заботливым уходом, —
Где заботы ты не знаешь
О питье, о вкусной пище;
Из большой узорной чаши

Мясо ешь оленей жирных,
 У которых кость налита
 Не водой, а сладким мозгом
 И хрящом тугим и нежным...
 Так ли это эква-Ючо?..
 Я сказал одну лишь правду,
 А теперь ответь мне прямо,
 Слов не путай с волосами
 Кос, до пят тебе упавших,
 Не старайся быть похожей
 На лукавого Оксара,
 Что следы хвостом пушистым
 Заметает по пороше,
 Ты скажи одну лишь правду:
 Прав я был, закон нарушив,
 По примеру старца Нума,
 Пред которым втихомолку
 От меня ты жгешь куренья, —
 Прав ли был я, взявши в жены
 Без ее на то согласия
 Девку смертную, вогулку,
 Коль жениться мог на равной?»
 «Мейка! — вымолвила Ючо,
 Не смутившись перед богом. —
 Я тебе скажу всю правду:
 Мне осталось жить недолго, —
 Так старуха мне сказала!»

«Что ты мелешь!.. Что ты мелешь!
 Закричал в испуге Мейка, —
 О какой такой старухе
 Говоришь ты небылицы?..
 Если это шаманиха —
 Смерть с беззубым ртом, похожим
 На дупло гнилой осины,
 То она без разрешенья
 Проходить по царству Мейки
 Не могла ни днем, ни ночью!..
 Ючо, Ючо, я не знаю,
 Про какую же старуху
 Говоришь ты, не подумав?»

«Мейка! — вымолвила Ючо,
 Поглядевши с тихой скорбью
 В очи жадные и злые: —
 Мне осталось жить недолго, —
 Так старуха мне сказала.
 Кто она была — не знаю,
 Да и сам ты вот не знаешь!..
 Мне осталось жить недолго!
 Много лет я в этом царстве
 Прожила, забот не зная,
 Но однажды гордый мадур

К нам пришел с речушки Ксенты
 На простой вогульской нарте,
 Чтоб похитить наших сали,
 Нашу нарту костяную,
 Что ты выточил из кости
 Мамонта, быка Мухора.
 Мадур взял у эквы сердце, —
 Сердце ж выкрасть очень трудно, —
 Взял навеки ее душу,
 Обещая возвратиться!
 Я клялась ему дожидаться,
 Я клялась ему быть верной
 Страшной клятвою вогулов:
 Пятерней отца Медведя,
 Двадцатью его когтями!
 Я клялась ему за гробом
 Отыскать его средь мертвых
 В царстве ночи под землею!
 Много дней прошло в тревоге,
 Я ждала, но, видно, мадур
 Никогда не возвратится!»

Ючо руки уронила
 На колени, ойка Мейка
 Тяжело дышал и грозно
 На нее глазами ворочал.
 Вдруг по лесу лай раздался.
 Сразу сосны зашумели
 И закланялись ветвями
 Тонкоствольные осины
 С говорливою листвою:
 «Аи-Ючо! Радость жизни!»

«Аи-Ючо! Аи-Ючо!» —
 Еле слышно повторили
 Листья, иглы зов веселый,
 Что донес до юрты Мейки
 Ветер вешний и проворный.
 «Аи-Ючо! Радость жизни!» —
 Снова крикнул лес зеленый.
 На сосне проснулся филин.
 Заморгал незрячим оком
 На свету дневном и ярком,
 Хлопнув крыльями, поднялся
 В небо сине-золотое
 И оттуда вдруг заухал:

«Ух ты, ух ты, старый ойка!
 Брось ты, ойка, слушать бабу!
 Басни бабу очень длинны.
 Приготовься лучше к драке:
 Драка будет из-за бабу!
 Ух ты, брось-ка слушать бабу!
 Мадур-Ваза возвратился,

У него твои олени!
Ух ты, брось-ка слушать бабу!
Косы бабы очень длинные,
Но еще длиннее басни!»

Мейка выглянул из юрты
И сердито крикнул птице:
«Замолчи, слепень безглазый!
Это знаю я без емы,
Что длиннее, что короче:
Филин богу не указка!
Лучше ты скажи, где Ваза,
По какой дороге едет,
Да и скоро ль здесь он будет?»

«Ух ты, ух ты, старый ойка!
Как бы не было напасти:
Он сейчас неподалеку! —
Ухнул филин, опускаясь
На сосновый сук над юртой. —
Он приехал. Пайся, Ваза!
Старый Мейка с Ай-Ючо
Ждут тебя давно за полог!»

Как листок на тонком стебле
В первый утренний зазимок,
Ай-Ючо задрожала,
Голос филина услышав,
И сказала ойке Мейке:
«Ойка мой, не трогай Вазу!»
Но не слушал Мейка Ючо.
В страшном гневе бог суровый
Лук схватил семисаженный,
Из колчана выдрал стрелы,
Что, как изгородь, торчали
У стены просторной юрты,
Взял тяжелый атта-кеге
Меч зазубренный злодея,
И, спеша, навстречу вышел
С диким криком: «Огекейя,
Берегись теперь, воришка!»
Мадур-Ваза, улыбаясь,
Твердой, медленной походкой
Подошел к злодею Мейке,
Чешуей своей кольчуги
Весь сияя и блистая,
Словно месяц в полнолуние,
И, подняв свой атта-кеге —
Двусторонний меч героя, —
Крикнул Мейке: «Защищайся,
Старый вор, лесной бродяга,
Поедатель стад оленьих!»

«Эмас! Эмас! — вскрикнул Мейка. —
Ты получишь по заслугам

За оленей и за нарту!»
И, взмахнув мечом тяжелым,
Он ударил по кольчуге.
Меч скользнул, как лыжа с горки,
И зарылся по крыжину
В землю твердую у юрты.

«Эмас! — громче крикнул Мейка. —
Шуба крепкая надета
На твое пустое брюхо,
Но крепки и зубы кеге:
Он прокусит эту парку,
Эту медную одежду —
Он добудет твое сердце!»

Меч поднялся до вершины
Покачнувшегося кедра
И с размаху повстречался
С кладенцом мадура-Вазы.
Как две молнии блеснули,
Как два грома прогремели —
Два удара... Бой начался
Между мадуром и ойкой...
Беспрерывным светом искры,
Как из кузницы, летели,
Как трясина на болоте,
Маа, твердая, сухая,
Колебалась под ногами
Двух бойцов... С землею вместе
Лес вершинами качался,
Отряхал на землю шишки,
В небе вьюгою зеленой
Листья липкие кружились,
Старый филин-смехотворец,
На сосне высокой сидя,
Трижды падал от трясения,
Трижды снова подымался,
Выбирая сук потолще
И покрепче для сиденья!

Много раз бойцы сходились
В этой страшной, грозной битве.
Много раз и расходились,
Отряхая пот кровавый
На изрытую ногами
Землю, мягкую, как пепел.

Длинный день пошел на убыль,
Солнце спряталось в низину,
И низинный синий сумрак,
За собой скрывая духов,
Обволакивал урманы,
Скоро вышла на дорогу
Эди в черном покрывале,

В дальнем и глубоком небе
 Солнцу брат — веселый месяц —
 Вылез медленно из юрты
 И пошел бродить по небу,
 Сверху вкось глядя на землю...
 Бой не стих; бойцы сражались
 С прежней силою и злобой,
 Сея искры и проклятья.
 Бой не стих и темной ночью;
 Два бойца, две черных тени
 Продолжали эту битву
 До рассвета, до рассвета...

Солнце ночь уже сменило,
 В чум ушел веселый месяц —
 Битва так же продолжалась!
 Ровно в полдень, оступившись,
 В первый раз споткнулся Мейка,
 В первый раз беду почуял.

«Плохо! — мрачно он подумал, —
 Силы старые уходят:
 Далека моя победа!»
 Прыгнул Мейка на верхушку
 Кедрового у юрты,
 Натянул свой лук упругий
 И послал стрелу тугую,
 Метя прямо в сердце Вазы.

Стукнула стрела в кольчугу,
 Словно в страхе, отскочила
 И ушла глубоко в землю.
 Задрожал в испуге Мейка
 И пустил наудалую
 Томар-леп — стрелу с железной
 Острой вилкой на головке...
 И опять стрела упала,
 В землю мягкую воткнувшись.

Рассердился мадур-Ваза
 И, порвав ремни у ножен,
 Бросил их со страшной силой...
 Как рука у великана,
 Перебитая у локтя,
 Сук сломился посередке,
 И в испуге ойка Мейка
 Обронил и лук, и стрелы,
 Крепко сук схватив руками.

«Видно, смерть не за горами!» —
 Про себя подумал Мейка
 И, как волк, завыл на кедре:
 «Подожди, довольно драки! —
 Обратился он к герою, —

Можно миром дело кончить:
 Надо сали — дам две тройки,
 Бабу надо — дам и бабу!
 Все бери и убирайся,
 Не тревожь ты старость Мейки!»

«Нет! — сказал на это мадур. —
 Мир плохой с таким злодеем!
 Лучше снова будем драться:
 Ну, слезай сюда обратно,
 Подними свои доспехи,
 И давай начнем сначала:
 Будем драться до могилы!»

«Ваза, ты еще теленок
 Против Мейки-великана!
 Много дел ты храбрых сделал,
 Но еще их очень мало,
 Чтоб со мною потягаться,
 Если я возьмусь взаправду!..
 Слушай лучше, мадур-Ваза,
 Что тебе сейчас открою,
 Что я выложу по правде
 Про беспутного Торыма...
 Если хоть одним бы ухом
 Терпеливо ты послушал,
 Что тебе расскажет Мейка,
 То и сам не захотел бы
 Продолжать со мною драку:
 Поломал бы меч и стрелы
 И злодею ойка Мейке
 Руку подал бы с улыбкой!»

Но не слушал Ваза больше
 Речь коварную злодея.
 Он схватил свой лук упругий,
 Глаз зажмурил, целясь в сердце,
 И послал стрелу большую,
 На конце с железной вилкой.
 Вскрикнул громко ойка Мейка,
 Пораженный прямо в сердце,
 И упал с верхушки кедрового,
 Как глухарь, ломая сучья,
 К бокарям кровавым Вазы.

Ваза сильною рукою,
 Замахнул над головою
 Богатырский атта-кеге,
 Рассадил на части Мейку,
 Отвернулся и промолвил:

«Торм, отец мой, Нума светлый!
 Твой наказ я весь исполнил!»
 Но Торым из грозной тучи
 Не дал знака никакого.

Заложивши в рот два пальца,
Ваза трижды громко свистнул,
И у ног его Снежинка
Взмыла белый хвост трубою
С громким и веселым лаем...

Песня восемнадцатая

Смерть Ючо

«Аи-Ючо! аи-Ючо!» —
Трижды вскрикнул мадур-Ваза,
И не знавший раньше страха,
Таран вет хут вет уйдем —
Очи пламенной богини
Таран видевший и Рыбу,
Победивший все стихии,
Ваза дверь откинул в юрту,
Полный страха и тревоги
За судьбу любви и счастья.

«Аи-Ючо! Радость жизни!» —
Молвил тише мадур-Ваза
И, дрожа, рукой откинул
Сап сукоинный — толстый полог, —
За которым, по закону,
При приходе посторонних
Ожидать должна бы Ючо.

Чуть дыша, белее снега
На постелях соболиных,
Косы черные раскинув,
Перед ним лежала Ючо,
Мен-нен — верная невеста!
«Ючо, Ючо! — снова молвил
Волк железный — мадур-Ваза, —
Отзовись, скажи мне слово:
Что с тобою, что с тобою?
Неужель ты испугалась
Криков старого злодея
И мечей тяжелых звона?
Встань, проснись, взгляни на Вазу:
Мадур-Ваза воротился!»

И прошло такое время,
За которое с водою
Может пут — котел на углях —
Стать пустым и накалиться,
Снова молвил мадур слово
Тихим голосом печали:

«Хос хот, хос хот! Крылья Воя —
Птицы черной и крылатой,
Птицы вещей и крикливой,

На ногах с семью когтями!
Ге-ге! Ге-ге — Лапа зверя,
Старца Шубного, Медведя.
Пятерня с пятью когтями!
Очне пенег, зуб медвсрый,
На дороге — хос хот, хос хот, —
Семь шаманов, — ге-ге, ге-ге:
Оживите аи-Ючо!»

И прошло такое время,
За которое поставить
Можно пильчары — навесы, —
Чтоб ловить пролетных уток,
Починить большую нарту,
В нарту впрячь оленей тройку,
Много дел еще поделать, —
Аи-Ючо все лежала,
Как подстреленная ланги —
Белка с шкуркою пушистой —
На тропинке в царство ночи!
И тогда немного громче
Молвил слово заклинаний
Волк железный — мадур-Ваза:
«Торр-журавль и ойка Шубный!
Я прошу: скорее дайте
Хатта-инк — живую воду!
Аи-Ючо умирает!
Аи-Ючо умирает!
Я прошу скорее бросить,
Положить у двери чума
Хатта-нер-ем — прут живящий:
Как жену свою, рабыню,
Строгий муж стегает в юрте,
Отстегаю я до крови,
Не жалея, аи-Ючо,
Но верну ее с дороги
В царство ночи — Петлим-емдер!»

Встала ночь у юрты Мейки,
Старый филин видеть начал, —
Торр и ойка не сказали
Слова нужного герою.

И тогда, пылая гневом,
Крикнул Ваза в исступленьи:
«Торм, я требую ответа!
Торм, ты должен слышать Вазу:
Отвечай скорее, Торум!»

И в ответ на зов к Торыму
Вздрыгнула и всколебалась
Маа, словно лодка-хаба
На гребне волны высокой.
Грянул гром, поднялся ветер,

Сосны, кедрь закачались,
Меж собой заговорили,
В страхе закричали птицы,
Звери спрятались в норы,
Налегла на землю туча,
И из тучи Торм ответил
Строгим голосом герою:

«Что кричишь ты, рума Ваза,
Как ребенок без игрушки!
Как ты смеешь беспокоить
Сон приятный старца Нума?..»

«Стой, великий! — гневно крикнул,
Не дослушав речи, мадур. —
Не теряй слова напрасно:
Слово золота дороже!
Я, слуга твой верный, Ваза,
Я, шунгур, игрок на гусе,
Так давно свой гус сменявший.
На железный атта-кег'е,
Говорю тебе: великий,
Оживи мою невесту —
Мен-нен Ючо, ай-Ючо!..
Кто убил злодея Мейку?..
Кто в далеком царстве Торма
Пенегезе не поддался?..
Кто в стране снегов и выюги
Умертвил Иура-зверя?..
Кто спустился в Петлим-емдер,
В царство Веса-великана?
Кто срубил рога большие.
Страшного быка Мухора?..
Это сделал мадур-Ваза!
И за это я в награду
Лишь одно прошу, великий:
Жизнь для мертвой ай-Ючо,
Жизнь моей невесте — мен-нен!»

Снова гром вдали ударил,
Снова туча пробежала
Над зеленым царством Мейки,
И, оплакивая Ючо,
На ветру шумели кедрь
И вершинами клонились.

«Все нам подвиги героя
Хорошо давно известны! —
Вновь раздался голос Торма. —
Ты за подвиги, утенок,
Получил свою награду:
Стал ты равен ойке-жуку
И тебе готово место
В царстве вечного Торыма:

На седьмой день после смерти
Встанешь ты, высокий, сильный,
Во втором ряду шаманов
Пред лицом владыки света.
Твой народ, забытый всеми,
О котором ты горюешь,
Обойден не будет тоже:
Всех, кто жив еще остался,
В Царстве Мертвых ожидает
Радость вечного покоя,
Гордость мудрого молчанья!
Ты же, ставший равным жуку,
Ты, недавний победитель
Злого бога ойки Мейки,
Вдруг теперь над мертвой бабой
Плачешь горькими слезами,
Просишь, сам чего не зная?!
Речь моя к концу подходит:
Кто убил красотку Ючо?..
Я тебе отвечу прямо:
Ты все сделал, длиннорукий!
Ты убил злодея Мейку,
Вместе с ним и мен-нен Ючо
Умертвил своей рукою!
Так зачем теперь ты плачешь,
Как ребенок неразумный
Над поломанной игрушкой,
И словами, столь пустыми,
Отдых Нума нарушаешь!»

Не сдержался мадур-Ваза,
Не дослушал он ответа
И Торыму гневно крикнул:
«Старый пес, лисица неба!
Значит, прав был ойка Мейка,
Говоря мне перед смертью
О беспутстве старца Нума!
Да, теперь вот я пожал бы
Руку старого злодея,
Если б были эти руки
Не отрублены по локоть!
Слушай ты, обжора толстый!
Я отказываюсь ныне
От награды быть бессмертным
И от званья ойки-жука.
Мне теперь не надо места
Во втором ряду шаманов
Пред твоим престолом, лодырь!
Я желаю только смерти,
Я желаю только встречи
С мен-нен — верною невестой, —
С ай-Ючо, с ай-Ючо!
Вот на все четыре ветра
Я кричу, пусть каждый слышит:

Кара-кийя! Кара-кийя!
Навсегда я отрекаюсь!»

И Торым на эти речи
Гневно мадуру ответил:
«Ты отрекся! Ты отрекся!
Это слышали все духи.
Ты отрекся от награды,
Ради старой дряхлой бабы!
Пусть так будет! Пусть так будет!»

Навалилася всей грудью
Туча черная на землю,
Буря-смерть неслась над лесом,
Звери спрятались в норы,
Духи скрылись под землею,
И столетние деревья,
Что стояли на увалах,
Головой касаясь неба,
С гулом с мест своих срывались,
Словно в страхе перед бурей
Убежать они хотели.
Но глубоко в землю корни
Кедров, сосен уходили.
И они, свалившись набок,
Только иглами дрожали,
Заломивши корневища,
Словно ноги великаны.

Заглушая голос бури,
Мадур крикнул ойке Нуму:
«Кара-кийя! Отрекаюсь
От всего, к чему стремился!
Я клянусь и обещаюсь
Лапой Шубного Медведя,
Двадцатью его когтями
Возвратить с тропинки мертвых
Мен-нен — верную невесту!
А пока тобою данный
Меч железный, — атта-кег'е, —
Меч героя двусторонний,
Будет спать в тяжелых ножнах!»

Так сказавши, он откинул
Далеко и меч, и ножны
И склонился на колени
Перед Ючо со слезами.
Долго, безутешно плакал
Мадур-Ваза, как утенок...
Если б пут ему подставить,
Он бы полон был с краями...
Но когда он с мокрой шкуры
Чуть поднялся, чтоб на Ючо
Пред разлукой наглядеться,
То вскочил от удивленья

И глазам своим не верил:
Перед ним была не Ючо,
Не его невеста — мен-нен;
Перед ним была старуха
Древних лет, с сухою кожей,
По которой шли морщины,
Вкривь и вкось переплетаясь,
Как удача и несчастье,
Как бывает в нашей жизни
И с любовью, и с разлукой...

Мадур-Ваза не поверил,
Что цветок его прекрасный,
Ючо, милая невеста,
Вдруг в старуху превратилась!
Но все те же, те же косы,
Черные, как смоль, тугие,
Заплетенные в косички,
И у губ, уже холодных,
Бессловесных и застывших,
Та же робкая улыбка
Чуть светилась из морщинок,
Как из голых веток леса
Свет зари зимой холодной
Золотится перед ночью.

«Аи-Ючо! Аи-Ючо!
Свет души, цветок душистый,
Сон прекрасный, аи-Ючо! —
Молвил Ваза с тихой скорбью. —
По недоброй воле Нума,
Не простившего обиды
Человеку в лютном горе,
Ты теперь лежишь старухой.
Видно, прав был ойка Мейка,
Хоть и прожил век злодеем!
Пройден дальний путь без цели:
Нет мне радости в грядущем,
Я теперь пойду за Ючо!»

Он склонился на колени
И за бурей не слышал,
Как безвестный заклинатель,
Старый ойка-незнакомец,
В чум вошел неторопливо
И неслышно сап откинул.

«Мадур-Ваза, скорбный мадур! —
Он промолвил, положивши
На плечо героя руку: —
Много лет с тех пор минуло...
В низкой юрте над речушкой
Ксентой мы с тобой сидели,
Темной ночью говорили.
Помнишь, Ваза, семь лучинок,

Колобок травы сушеной,
И безгласный белый камень,
Превратившийся в сороку?..
Знаю я, ты это помнишь;
Тою ночью на распутии
Убегающих тропинок
Ты стоял в раздумьи грустном,
Ты печалился о манси,
О родном своем народе,
Ты ему желал свободы!
А теперь ты полон скорби:
Совершив свой путь далекий,
Вновь стоишь перед дорогой.
Но куда, ответь мне, Ваза:
Не обратно ль, длиннорукий?!»

«Мудрый старец! — молвил Ваза,
Головы не подымая: —
Часто, вспоминая в мыслях,
Я тебя, вогул безродный,
Называл отцом родимым...
Снова в горе я, и снова
Ты пришел меня утешить!»

«Я пришел тебе напомнить, —
Прошептал старик герою, —
Что с собой ты нес надежду
Для народов позабытых,
А поэтому за Ючо
Нет тебе дороги, Ваза!
Погреби скорее тело,
Положи его в колоду,
Закопай глубоко в землю,
Земляной могильный холмик —
Мыга-хат — построй над Ючо,
Из большого кедра сделай
Анкет-вош — с резьбой узорной
Столб, — чтоб видели все люди,
Чтобы люди понимали,
Что под ним зарыта в землю
Аи-Ючо, мен-нен Вазы!
Сам же встань и отряхнися,
Подними свой атта-кеге
И подправь свою кольчугу!
Руку в черной рукавице,
Руку сильного героя,
Дай мне в старческую руку:
И неезженной тропюю
На оленях быстроногих
По паулам бедных манси
Мы с тобою, мадур-Ваза,
Победитель страшной тайны,
Будем ездить неустанно!
Громким голосом обвалов —

Крутояров над рекою —
Робким людям в драных чумах
Принесем мы весть такую:
«Вст теперь настало время
К знаку веЩему вогулов,
На конец стрелы певучей,
Прикленить перо Орлана
И её без страха вставить
В лук упругий, лук клееный
Из семи пород деревьев,
Что растут в урманах наших!»

«Нет! — светил грустно Ваза: —
Нет, старик, я полон скорби,
Я бессилен, как ребенок:
Этот путь мне не по силам!
Ты скажи, ответь мне, старец,
Разве солнце остановишь,
Как оленя в быстром беге?..
Разве Ас'я ты запрудишь
И заставишь течь обратно?..
Ты скажи мне, миг короткий,
Миг ушедший возвратится?..
Нет! — ты скажешь мне на это,
Я тебе отвечу так же,
И другого нет ответа!..

Наши боги вместе с Тормом
Обманули бедных манси,
Наши боги вместе с Нумом
Оказались бессильны
Перед лицом судьбы народа:
Навсегда он и навеки
Потерял родную землю,
И какая же награда
За великую потерю?..
Ты скажи, какая радость
В горькой мудрости молчанья,
Что его, по слову Нума,
Ожидает в Царстве Мертвых?..
Там леса стоят в тумане,
Но не слышно в них ни песен
Звонких птиц, ни шума ветра,
Звери бродят там, как тени,
Позабыв про лук и стрелы,
И луна висит над ними,
Перекошенная набок,
Словно тусклый глаз тетери,
Что в недвижном мраке смерти
Из силка глядит на землю.
Там в ползгах руслах речки
С мертвой, серой и бесцветной,
С неподвижною водою,
На питье совсем негодной:

В ней вовек не отражалась
 Синева небес глубоких
 И зари густой румянец! —
 Поглядишь в нее: ни тинки,
 Ни кувшинки возле края,
 И на донышке рыбёшка
 Не блеснет, встречая солнце,
 Серебристую чешуйкой,
 А печальные поречья
 Даже не окинешь глазом,
 И лежат они от века
 Под сыпучими песками,
 Словно под остывшим пеплом:
 Уж не пот, не кровь ли наша,
 Что мы пролили на землю
 За века ляхой неволи,
 В эти реки Царства Мертвых
 Собралась к подножью Нума?
 Там у рек пустые юрты
 Наших прадедов и дедов,
 И на каждой на макушке,
 Словно призрак долгого,
 В неподвижности застывший,
 Дым смолистый от чувала,
 Возле входа амбы-лайки,
 Потерявшие и зренье,
 И чутье свое, и голос:
 Подойдешь — они посмотрят
 Взглядом неживым, незрячим,
 Не лайнут тебе навстречу
 И носами не потычут
 В бокари твои и полы!
 В юртах тишина, безмолвье,
 Лишь загробный рокот гуса
 Слился с шопотом могилы!..
 Что ты скажешь, мудрый старец,
 Слыша, может быть, впервые
 Эту горестную правду?..
 Нет? — и я ответу так же,
 И другого нет ответа!..»

Буря-смерть неслась над лесом,
 Ветер выл, стонал и плакал
 В пропадину черной ночи,
 Звери спрятались в норы,
 Духи скрылись под землю,
 В заповедной чаще ели,
 Сосны, кедры и березы,
 Продираясь на опушку
 Из лесной, глухой чащобы,
 В смертном страхе и смятеньи
 Били сучьями друг друга...

Вещий старец-заклинатель
 Оперся о длинный посох
 И поникнул головою...
 «Ты скажи, ответь мне, старец! —
 Снова вскрикнул мадур-Ваза, —
 Что за прок и мне в стояньи
 Пред лицом владыки света
 Во втором ряду шаманов?..
 Что мне в гордости и славе
 Довременного покоя
 Без земной любви и счастья?..
 Аи-Ючо не проснется
 От могильных сновидений,
 Я просил отца Торыма,
 Я кричал ему на небо,
 Но отец Торым всеильный
 Вместо жизни аи-Ючо
 И веселого румянца
 Бросил щедрою рукою
 На лицо ее морщины,
 Мне же в любящее сердце
 Грусть негаданной разлуки
 И отчаянье навеки!..
 Ты ведь слышал: я отрекся!
 И теперь я отрекаюсь:
 Пройден дальний путь без цели,
 Нет мне радости в грядущем!..
 Отрекаюсь — кара-кийя!»
 После этих слов мадура
 Долго длилось молчанье,
 Наконец его нарушил
 Старец, мудрый заклинитель:
 «Дай мне руку, сын мой Ваза,
 Руку сильного героя
 В длинной жесткой рукавице
 Дай мне в старческую руку:
 Больше нам теперь не нужен
 Богатырский атта-кег'е,
 Закопай свою кольчугу
 Вместе с ножнами поглубже...
 ...Путь далек, но мы вернемся,
 Мы найдем живую воду,
 Хатта-нер-ем — прут живящий —
 Мы отыщем... мы отыщем!»
 Рано утром мудрый ойка
 Вместе с мадуром печальным
 На горе под шумным кедром
 Схоронили: аи-Ючо,
 Меч тяжелый в тяжких ножнах,
 Золоченую кольчугу
 И ушли... куда?.. Не знают
 ...И никто о том не знает!..

Черный консул

Историческая повесть в трех частях

А. ВИНОГРАДОВ

(Продолжение¹⁾)

ГЛАВА VII

Берегись, минутная стрелка
твоего брегета режет тысячи
голов на циферблате истории.
(Бомарше. — «Часовщик»).

Король низложен. Десятое августа
обновило и закончило революцию.
Не нынче-завтра король будет
под судом».

На острове Сен-Луи, в одном из глухих кабачков Парижа, эти события обдумывал молодой остролицый человек, все манеры которого указывали на принадлежность к военному сословию.

«Что произошло за какие-нибудь полгода? — думал он: — Началась война, за войну были Бриссо, Верньо, Кендорсе, вся жиронда. Против войны — Робеспьер и крайние якобинцы. И вот самое замечательное, король оказался тоже на стороне войны! Так или иначе, война объявлена!» — думал молодой человек, но мысль его прервал удар по плечу. С ним рядом сел за маленький изрезанный и изрытый от времени деревянный столик новый посетитель кабачка. Поздоровался, потребовал вина, яичницу с луком. Трактирщик, зная одного, с любопытством воззрелся на другого единственным уцелевшим глазом. Отошел, ворча про себя:

— Богатые люди всегда могут заказывать себе богатые кушанья. Господа

офицеры не боятся, что после богатого ужина их ограбят в переулке.

Молодой человек, о котором трактирщик говорил, как об офицере, облокотился на стол и подбородок положил на ладони. Спокойные и успокаивающие холодные глаза он устремил на своего соседа.

Вошедший действительно заслуживал внимания: с бронзовым лицом, с профилем римского сенатора, с черепом, почти обнаженным, с горбатым носом и горячими глазами, в которых порода была ключом, заливая индивидуальное сознание своего представителя, он сидел перед офицером с выражением робости. Он тускло улыбнулся в ответ на пристальный взор офицера.

— Я принес чертежи, — наконец произнес он и вынул из-под плаща папку с кипой иллюминированных кроки, на которых были занесены десятки планов, чертежей жилищ, расположения этажей. Все это безмолвно выкладывалось перед молчаливым офицером.

— Во сколько оценен вот этот? — спросил офицер.

— Вы знаете, что правобережные ценятся дороже. Со времени декрета все дома подорожали, я могу вам устроить перепродажу любого из тех, что вы видите перед собой, все зависит от того, насколько вы обеспечите меня самого.

— А как думаете вы, граф, — вдруг резко перебил собеседник, — во что

¹⁾ См. «Новый мир», кн. кн. 4, 5, 6 с. г.

ценятся собственные ваши имена? Уверю вас, что не больше вашего титула, господин граф де-Сен-Симон.

Сен-Симон вспыхнул слегка, откинулся назад, но потом, быстро овладев собой, сказал:

— Послушайте, лейтенант Бонапарт! Я неоднократно просил вас воздерживаться от свойственной корсиканцам грубости. Если вы хотите пользоваться моим бедственным положением, если вы применяете мои силы, мои старые связи для улучшения ваших коммерческих дел, если вы скупаете за бесценок и продаете за баснословные цены дома моих друзей и моих родственников, если вы сдаете купленный у меня дом гениальному актеру Тольма и запрещаете мне самому ходить в этот дом, то это вовсе не значит, что я бесконечно способен сносить ваши унижения, встречаясь с вами по кабакам и притонам Парижа.

Молодой Бонапарт холодно улыбался. Через минуту он спокойно произнес:

— Я позабыл, что нельзя вас называть. Но не тратьте много слов. Я выбираю вот эти четыре дома. Сколько вам сейчас нужно на расходы?

Потомок герцогов, граф Анри Сен-Симон наспех, как старый буржуа, делал вычисления на бумаге и показал листок Бонапарту. Тот метнул быстрым взглядом, проверил цифры и спрятал листок в кожаную сумку. Достал пачки ассигнатов.

— Не давайте корсеты,—сказал Сен-Симон:— Эти несчастные пятилировые ассигнаты теперь ничего не стоят.

— Они мне стоят столько же, сколько вам,—возразил Бонапарт жестко:— Прощайте!

Не проверяя, Сен-Симон быстро спрятал деньги и, не прощаясь, отошел от стола.

Офицер Бонапарт допил кружку вина, оставил деньги под опрокинутым стаканом и вышел спешащей, гневной походкой, свойственной ему лишь недавно. С двадцатого апреля 1792 года, т.е. со дня объявления войны герцогу Брауншвейгскому, обещавшему сечь

Париж, эта походка стала модой армейских патриотов.

Было второе сентября, ясное небо перед закатом просвечивало сквозь аллеи, на острове Сен-Луи до самого моста, по мостам Мари и Порт-о-Бле почти не было движения. Приказчицы из магазинов, парикмахеры и девушки ночных профессий плясали под звуки уличной музыки. Несколько насмешливых словечек было брошено в сторону мрачного человека в черном плаще, вошедшего на мост.

Занятый своими мыслями, Бонапарт не заметил и не ответил на насмешливые возгласы девушек. Темносиние, лиловые облака принимали самые причудливые очертания. Там, где над западом Парижа, казалось, кончался мир и в зеленоватом небе плавали острова далеких роцц, безветренный вечерний день парижской осени был полон тишины. Солнце, деревья, улицы и дома сияли спокойной ясностью, никак не отвечая на то, что тревога была у каждого сердца, на то, что где-то на границах Франции захватили Лонгви, что соединенные войска европейских монархов вместе с армиями принцев врезались клином, не нынче-завтра угрожают подступом к Парижу. И тот проклятый королевский двор из четырехсот семей, и тот проклятый дворянский строй и тридцать тысяч дворян снова начинают впиваться в тело двадцатипятимиллионного народа, выпивая девять десятых того, что сделано его крестьянами и его ремесленниками, его деревенскими и городскими руками. Не лучше ли смерть, чем такая покорность судьбе.

Но солнце не было с этим согласно, не были согласны с этим птицы, не были согласны с этим облака, таявшие над краем земли. Они безразлично смотрели и на тревоги каждой личной судьбы, и на массовую тревогу клокочущего Парижа.

Бонапарт взглянул на часы. Скоро заходит солнце, итти в кафе «Манури» не безопасно, ходить по улицам утомительно, возвращаться домой, где бестолковый Бессьер опять начнет рассказывать о выступлениях Робеспьера в Парижской

коммуне, — это скучно и утомительно. Что из того, что, помимо Законодательного собрания, избранного «всей Францией», существует Коммуна, избранная парижскими ремесленниками в сорока восьми секциях, а центральные советы и секции ведут свою парижскую политику и стремятся навязать ее всей стране. Эта борьба продлится долго. Коммуна гордится тем, что ее вмешательство решило участь короля, однако вооруженный ремесленный Париж не осмелится тронуть Легислативу. Ремесленник оказался зачарованным пением жирондистских соловьев.

Бонапарт тихо засмеялся:

— Сбивается миф: под музыку Орфея волки ложатся с овцами и тигра с телятами. Хватит ли духу жирондистам-музыкантам закончить мелодию.

Вдруг вспомнил по дороге, что вечером предстоит большой платеж кредиторам. Предложение обедневшего графа на перекупку одного из богатых эмигрантских домов совершенно нарушило план. Что-нибудь одно: или совершится перепродажа дома, тогда бедному офицеру в Париже можно будет полгода существовать сносно, осуществить кое-какие затеи; или надо пойти расплатиться с кредиторами. Тогда снова весь барыш прошлой недели вместе с дымом камина улетит в трубу. Решение было мгновенно: «Что из того, что эти два ргостовщика Жозьер и Цюбала подождут еще три-четыре дня, — разве они не берут сатанинских процентов?!»

Высокий, массивный портал Нотр дам де Пари вырисовывался впереди. Бонапарт остановился около берега Сены в раздумьи. Не нынче-завтра отъезд в армию, не нынче-завтра продвижение союзных войск в направлении Верден—Париж, и все это в день, когда безумие охватило Францию, когда заколебались прочные достатки, земля переходит из рук в руки, ни знатность, ни богатство не спасают человека.

За решеткой, среди желтеющих листьев сквера Нотр дам, там, где в каменном шестиугольнике возвышается готическая башенка со статуей мадонны внутри, два человека оживленно разго-

варивали, прогуливаясь взад и вперед по тропинкам, заросшим травой. Запущенный сквер был одним из тех пустырей, которыми изобилуют сады и церковные дворы Парижа.

Бонапарт остановился около решетки и прислушался к разговору. Одного из говоривших он знал, это был юноша в круглой шляпе с узкими полями, в светлоголубом сюртуке с большим жерным бархатным воротом, ботфорты с желтыми крагами, серые штаны и хлыст в правой руке. Черты лица необычайно правильные, похожие на барельеф греческой медали, глаза мечтательные и нежные, совсем не мужественные, — поэт Андре Шенье.

Он говорил горячо и громко, сбивая хлыстом головки чертополоха. Рядом шел спокойный старичок маленького роста, без шляпы, в сером парике, держа кожаную книжку, зажимая указательным пальцем недочитанную страницу.

— Вот какой этот доктор! — подумал Бонапарт, услышав, как поэт Шенье обратился к своему собеседнику, называя его «уважаемый доктор Гильотэн».

Доктор и поэт очевидно спорили давно. Старик, не разжимая маленькой книжки, указывал ею на головки чертополоха, падающие под ударами хлыста. Он говорил:

— Они гораздо милостивее вас. Ваше поэтическое движение хлыстом сшибает головки ни в чем неповинного чертополоха, а моя машина режет головы тому бурьяну, который растет на человеческой ниве. Вы вашим ударом надламываете стебли, а моя машина режет быстро и чисто. Я уверяю вас, что страх смерти, это—глупый и нелепый страх, ибо моя машина дает человеку секундное ощущение освежающей пролады, не причиняя при этом ни малейшей боли.

— Вы чудовище, — говорил Шенье. — Тратить так много времени на отвратительную машину можно, только нося в душе ад. И если бы я знал, что мои стихи, как вы говорите, были вам отдыхом в промежутках вашей варварской работы, я никогда бы не написал ни строчки. Я чуждался встречи с вами.

— Вы неблагодарны,—сказал Гильотэн, — я сдал один чертеж машины в Национальное Собрание 28 ноября 1789 года. Я никогда не занимался этим вопросом специально. В одной старой миланской хронике я нашел чертежи скотобойни герцога Сфорца. Они были хорошие мясники, прекрасные ломбардские скотоводы, я только улучшил чертежи старой миланской машины. Национальное Собрание не обратило должного внимания на мой чертеж, людей кадили прежним варварским способом. Теперь для спасения отечества нам нужно или открыть школу палачей великанов, или пускать в ход мою машину, с которой справится малый ребенок.

— Не говорите мне этого, — кричал Шенье,—второй раз встречая вас в сквере Парижской богоматери, я чувствую себя отравленным вашим присутствием. Вы хвастаете вашим адским изобретением, а между тем молва приписывает вам страшные неудачи. Ваши ножи мяти человеческие тела, давили из них кровь вместо того, чтобы облегчать человеку переход в иной и лучший мир.

Собеседники вдруг остановились, глядя друг на друга. Гильотэн улыбнулся кроткой и застенчивой улыбкой.

— Здесь вы правы, — сказал он, — столяры, плотники и кузнецы — ненадежный народ: в ущерб своей собственной пользе они очень плохо исполняли первую машину, в декабре она была построена на конюшнях Шарля Ламета. Действительно, она работала плохо, она прекрасно остригла голов тридцать баранам, но только задушила огромного негра, от которого тайком захотел отделаться господин Ламет. Это уж не моя вина, у этого чернокожего позвонки оказались крепче стали. Потом, когда господин Ламет пожелал испробовать мою машину над головой быка, животное разорвало путы, сорвало станки и испортило мне все дело. Но если бы не пробовали негра и быка...

— Остановитесь,—закричал Шенье,—я не могу вас больше слушать.

— Однако вы в раздражении сбиваете головки чертополоха! Вы знаете, господин Сильвестр де-Саси вместе с мо-

лодыми арабскими учеными утверждает, что растения имеют душу.

— Меня не интересует душа чертополохов, — ответил Шенье.

— ... Да, кроме того, — продолжал доктор, — секретарь хирургической академии, мой товарищ доктор Луи, внес в конструкцию значительные улучшения. Вместо плоского, длинного ножа он посадил на шарниры тяжелый треугольный топор, с тех пор дело пошло как по маслу, и вы сами знаете, что 24 мая этого года бандит Пелатье был казнен так чисто, что, по-моему, он успел только облегченно вздохнуть.

Шенье вздрогнул и с невольным поворотом в сторону Гильотэна положил свою левую ладонь себе на затылок.

— Вот почему вашу машину зовут Луизеттою, — сказал Шенье.

— Зовут по-разному, парижские остроловы назвали ее гильотиною.

Бонапарт прошел дальше. За последний месяц он с жадностью впитывал в себя впечатления Парижа. Ненависть к французам, возраставшая в нем с каждым днем, перешла в чувство холодного любопытства. Он как наблюдатель носился от решетки Тюильрийского дворца к площади Каруссель. Он с жадностью прислушивался к говору парижской толпы, он холодно вычислял, сколько выстрелов и в каком направлении нужно было сделать в час осады королевских покоев и ареста Людовика XVI для того, чтобы водворить спокойствие.

— Какой дурак! — восклицает Бонапарт, увидя, как Людовик XVI появляется в красном фригийском колпаке. Десятки верных патриотов подозрительно посматривают на этого офицера с холодными глазами, железным лицом, ввалившимися желтыми щеками и длинными космами волос, падающими на плечи.

Так чужими глазами оглядел он все потрясающие зрелища революционного Парижа, пробегая из кофейни в кофейню, врываясь ночью в притоны на улице Луны, толкаясь в клетки домов подозрительного вида, взбираясь по лестницам, замыкающимся небольшими

решетками, или, запасшись хорошим спутником, он часами выслеживал в так называемом «Дворце чудес», в этом при-tone старинного ищущества, как продавцы рыбы, солонины, доходя до поножовщины, играли в карты, наполняя воздух руганью, запахом пота, пьяной икотой и политическими сплетнями, внезапно, как молния, освещавшими перед Бонапартом истинную картину настроения простолудин.

Этому человеку с чужими глазами, с ненавистью к Франции за порабощение родной Корсики, с безумным клокотанием горячей итальянской крови в жилах и с холодным расчетом математически устроенного, четко работающего мозга предстояло принять командование французским огрядом где-то на северо-востоке Франции, защищать интересы той самой революции, которая вызывала в нем простое любопытство. Идти, когда революция кончится, упорно подготавливаться к власти над людьми.

Ибо, «что такое теперешняя Франция, как не блистательная арена борьбы за жизнь и власть?»

С такими мыслями Бонапарт вошел под своды собора, по левой боковой лестнице стал подниматься на свинцовые парапеты и галлерей, с которых открывалось зрелище вечернего Парижа. Зрелище, действительно, способное увлечь даже самого равнодушного человека. По правому и левому берегам Сены теснились здания, позолоченные лучами вечернего солнца, затихающие шумы и стуки, пыль, словно одно дополняло другое, вместе подымались над кровлями домов в вечеряющем воздухе, производя единое впечатление сизого, дымчатого, играющего голубоватыми, розоватыми тенями и ползувуками облака.

Бонапарт перешел на северную башню, стал над свинцовой складчатой кровлей гигантского недостроенного собора. Перед ним была узкая башня, длинным шпилем уходящая к небу. Короткие загнутые обратно шипы на отдельных коньках на ребрах тонкого шпиля производили впечатление шипов чертополоха на тонкой, острой, жалящей небо

игле. Слева и справа на ступеньках, на маленьких готических пьедесталах, неуклаже обращаясь в разные стороны, стояли неподвижные продолговатые фигуры старинных святых, смотрящих на Париж с огромной высоты под дождем, снегом и зноем пяти столетий.

На балюстраде соседями корсиканского офицера были чудовищные птицы в монашеских капюшонах с горбатыми носами, выпуклыми глазами, во много превышавшие человеческий рост, застывшие в вековечном каменном сне. Впиваясь каменными когтями в свинцовые и каменные балюстрады, эти химерические видения безумцев XIII века устремляли свои мертвые каменные зрачки на беспредельный Париж, полукрыв уродливый рот с отбитой каменной челюстью, с горбатым носом ястреба и с нелепой застывшей идиотической улыбкой полуживотного-полуптицы под монашескими капюшонами. Каменная чешуя крыльев, каменные перья хвостов, растопыренные каркающие птичьи пасти, и в безумном сарказме закинутые за спину птичьи головы, на которых безумному скульптору удалось выдавить из камня идиотический хохот птичьих голов, смотрящих на площади Парижа. А дальше чудовища с голыми ребрами и космами волос на груди, с вывихом вместо плеч и локтей, с перепончатыми лапами вместо рук, с озлобленным оскалом, хищными улыбками, с длинными, острыми ушами, с глазами, посаженными на виски, с длинными, острыми мордами, с носом, упавшим на верхнюю губу, и дико закрученными хвостами. На самом углу, рискуя выпасть из пилястра,—исступленный монах, закуганный с головы до ног, с шапочкой в роде тамбурина на затылке, закатыв глаза под самые брови, лежа в полтуловища над Парижем, раскрыл огромный рот в застывшем над столетиями безумном крике, и только птицы, прилетая, касаясь верхних зубов этого монаха-гиганта, садились ему на нижнюю челюсть.

Дальше горгоны, крылатые пантеры, пумы и леопарды, кошки и тигры с крыльями коршунов, с подбородком, уходя-

щим в самую глотку, а еще дальше—Задумчивый Дьявол, смотрящий на Париж. Уродливый, мрачный с печатью злого и таинственного гения на отвратительном, но умном, недобром и грустном лице. Ухо изваяния отбито недавно, камень в свежем остром ударе производил впечатление более свежей породы, чем поверхность всей статуи.

Кое-где погасала красная черепица, внизу, над самым собором, подымая клубами пыль, проезжал эскадрон Драгун свободы. Ехали по-трое, и перед каждым отделением в двенадцать человек, несколькими шагами впереди, выделяясь серебром аксельбантов, ехал начальник. Зоркий глаз Бонапарта, совсем слившегося с химерами, смотревшими на Париж, увидел при повороте отряда в переулок, навстречу солнцу, как засверкали серебряные аксельбанты и погоны на мундирах молодых людей. Это было в тот день, когда Коммуна издала строжайшее распоряжение о том, чтобы офицеры Национальной гвардии и Драгуны свободы не позволяли себе никаких лишних украшений.

Бонапарт не улыбался, положив подбородок и щеки на обе ладони, облокотившись на широкую балюстраду, почти легши на нее совсем, этот недавно окончивший военную школу офицер Оксоннского гарнизона, погрузился в молчаливое созерцание Парижа, который стал городом его личной судьбы. Почти безродный офицер думал сейчас о тяжелой судьбе наиболее родозитых офицеров, не без презрения вспомнил он своего отца, Карла Бонапарта, и всю его родню — бесконечную вереницу нотариусов и синдиков разных корсиканских местечек и городов. С холодным любопытством он стремился воспронести и понять черты характера своей матери. Летиция Рамолино, — мелочная, расчетливая, как крестьянка, чуждая какой бы то ни было красоты и утонченности, почти неграмотная, — носила своего сына под сердцем в самый разгар французского нашествия на Корсику. Под угрозой неожиданного нападения и расстрела, беременная, она с ребенком в утробе, верхом, спасалась от ружейных

выстрелов в гористых ущельях и в самых диких местах острова.

«А потом, — думал Бонапарт, — тридцать тысяч французов, которых эта поганая страна изрыгнула на наши берега, залили потоками крови престол корсиканской свободы! Вот героический побег моей матери в Боканьяно, где я родился! Паоли, тот, кто мог бы спасти корсиканскую свободу, был выдавлен головой, и, увы, его адъютант, мой отец, был в числе тех, кто с оял за мир и за передачу Корсики французам!»

Бонапарт обдумывал свои чувства, как всегда, стремясь расплавленную лаву своего возмущения перелить в отчетливую и сжатую формулу, пригодную для действия.

Что было потом? Потом военная школа и королевская стипендия, испрошенная Карлом Бонапартом, а потом все докатилось до 10 августа этого года. Побег того самого короля, на деньги которого Бонапарт был в школе. Что было за это время? В избирательном собрании корсиканский депутат Буттафуоко, тот самый, который привел к порабощению Корсики, получает от Бонапарта письма, полные ненависти и сарказма. В то же время изгнанник аббат Рейналь получает от того же Бонапарта восторженные мальчишеские письма по поводу его прекрасной книги о полгижке европейских учреждений в обеих Индиях. И вот он делит весь свой досуг между военными занятиями, бешеным изучением математики в приложении к артиллерии и каким-то страстным блужданием со свечей в одной руке, с карандашом в другой по огромной английской карте, разложенной на полу в антресолях школьного дортуара. Среди всего этого колоссального напряжения мысли, когда каждая минута суток посвящена науке и тщательному изучению военного искусства, географии и коммерции, когда усталый и пожелтый, с воспаленными веками, он встречал утреннюю зарю над Парижем, гасил свечу и вымерял циркулем расстояние между реками и горными хребтами, между городами и вершинами гор, прикидывал в уме всевозможные комбина-

нации атак, нападений, месяцев осады и долгодетных оборонительных войн, в минуту, когда на заре после бессонной ночи смежались веки, он находит свой отдых в новой работе.— он писал «Историю свободной Корсики». Перед ним лежали письма аббата Рейналя. Старик ободрял его побуждения к работе и выражал согласие принять посвящение книги молодого автора. Если бы аббат Рейналь знал, что делает пятнадцатилетний мальчишка, если бы он прочитал все восторженные тирады, в которых красноречие Руссо лишено сентиментальности, безудержная многоречивость рейналевской тирады окончательно лишилась своих берегов! Как посмотрел бы этот атеистический аббат, этот проповедник колониальных восстаний цветных и черных рабов, на своего молодого ученика из Бриеннской военной школы, на королевского стипендиата, сына корсиканского нотариуса Бонапарта?!

— Что будет с Францией? — думал Бонапарт. — Откуда я буду брать деньги, когда все это полетит к чорту? Хотя бы поскорей настала власть Робеспьера.—И вдруг сразу ясная, хорошая, деловая мысль. В Ницце, на Лазурном берегу, при сильном морском ветре, он был по командировке Парижской военной школы, там он впервые увидел Робеспьера старшего, его сестру Шарлотту и Максимилиана Робеспьера младшего, нынешнего диктатора Коммуны, по собственной вине не попавшего в Лигислативу и однако вместе с Маратом страшного всему Парижу. Братья уехали, Шарлотта осталась в Ницце. Все произошло страшно быстро и просто, он получил Шарлотту без отказа на морском берегу. Но, никогда не позволяя себе проводить с женщиной в постели больше получаса, он через неделю принужден был скрываться от Шарлотты Робеспьер.

«Если теперь задержать ее на лишние полчаса в объятиях? — думал Бонапарт:—то...»

Но тут его мысль оборвалась, он понял, что игра не стоит свеч.

Переходя от балюстрады к балюстраде, он увидел скопление народа на дальних улицах, ему казалось, что это ремесленники собираются у булочных и пекарен для получения вечернего хлеба, но толпы были слишком плотны, а от улицы, ведущей к Дворцу правосудия, они загрохотали целый квартал. И вдруг в осенней тишине замирающего вечера ударил гулкий, низкий, усталый и матовый колокол, ему ответили сразу в тринадцати кварталах Парижа, и через мгновение все сорок восемь секций гутели, переключаясь переливчатым, судорожным, бубнящим и наполняющим волнами гула звоном. Волосы на голове Бонапарта вдруг зашевелились, все задрожало над ним и кругом. Вдруг он понял, что над головой и рядом запел могучим басом колокол Нотр дам де Пари. Повернувшись, он увидел в оконце, как в кожаных фартуках шестнадцать кузнецов били тяжелым молотом в колокол Нотр дам и понял, что не церковное празднество заставило этих людей с разъяренными лицами выйти на улицы Парижа, наполненного звоном и гулом бешеного набата.

Бонапарт почувствовал знакомый огонек любопытства и холодящий ледок на сердце. Над Парижем надвинулась буря, гулко звенели колокола, набат призывал секции предместий. Нужно было спускаться и вмешаться в толпу.

В этот час граф Сен-Симон, раздевшись на чердаке и зашив в подушку деньги, полученные за комиссию от продажи домов, беспокойно спрашивал единственного оставшегося друга, старого слугу Диара:

— Послушай, Диар, в честь какого святого так бесшабашно раззвонился наш старый Париж?

— Измена! Господин, измена! Новые хозяева Парижа испугались предательства бывших людей. Говорят, что генерал открыл границы, говорят, что в Париже по тюрьмам сегодня избивают всех заговорщиков. Внизу, у кузнеца, пруссаки убили сына, отец, надевши кожаный фартук и взявши молот, час тому назад пошел, сказавши, что будут «чистить тюрьмы».

— Ошибаешься, Диар, — возразил Сен-Симон. — Ты не понимаешь, друг, что наступило новое столетие и что если я, потомок герцогов и графов Сен-Симон, все принес на алтарь свободы, равенства и братства, то это не значит, что кто-то выдумал свободу, равенство и братство по своему капризу. Знай, старый друг, что пути истории жестки и прямолинейны. Клио — это такая муза веков, на которую обижаться могут только глупцы. Сдержись, мой друг, быть бедняком нисколько не позорно.

— Но очень неприятно, — сказал небритый Диар, разводя руками перед неопленной печкой и держа перед графом Сен-Симоном противень с угольной пылью. — Вы думаете, дорогой господин, что вы сделали большое дело, отказавшись от титула? Знаете ли, там, в зале ипподрома, заседает Законодательное собрание, ораторы говорят беспрерывно до тех пор, пока у них на председательском столе не погаснет последняя свечка. Там господин Бриссо, господин Верньо произносят прекрасные речи, о которых мы читаем в «Дебатах» или в «Монитёре», они, глупцы, не знают, что всеми делами ворочают двое, — Диар понизил голос и сказал, — если хотите, двое, если хотите, четверо, если хотите, пятеро, Парижем управляет парижская городская коммуна, выбранная всеми: ремесленником в кожаном фартуке, слесарем с щипцами и молотом, сапожником с шилом и ножом, виноделом из предместья, извозчиком со двора Мессажера, все они идут за этой тройкой, четверкой, пятеркой.

Сен-Симон потянулся на скрипящей кровати, закрыл глаза и отвернулся к стене. Диар продолжал:

— Всем этим ремесленным людом Парижа вертят господа Сен-Жюст, безногий Кутон, витающий по улицам Парижа в кресле на колесах, Дантон, головастый, огромный, лобастый, как племенной бык, а потом, — тут Диар заговорил шопотом, — господин Марат и самый страшный господин Робеспьер.

Сен-Симон повернулся и, с усмешкой смотря на Диара, сказал:

— Дорогой друг, вот ты говоришь, что эти люди вертят ремесленным Парижем, а я смею тебя уверить, что ремесленный Париж заставил этих людей говорить лучшие слова, которые когда-нибудь слышала земля. Будь справедлив, ибо если ты ошибаешься, то получишь ущерб, хотя будешь прощен, а если ты обманываешь, то помни, что историю обманывать нельзя.

Диар не унимался, а Сен-Симон, жестом останавливая его, говорил:

— Помни, что если бы не было высоких духовных качеств Робеспьера, то он не мог бы не только вооружиться доверием, но и быть проводником затаенных желаний и прекраснейших мыслей, которыми наделила природа сословие угнетенных тружеников. Они только теперь, поднимая голову, начинают говорить языком человеческого достоинства. Трудящийся — тот, кто волю превращает в труд и жизнь превращает в созидание, это — благородное сословие, которое когда-либо создавалось человеческими обществами. Говорить от его имени — это высокая честь, и не всякий чувствует себя ее достойным. Вот почему, несмотря на такие уговоры, я отказался быть мером, когда весь наш округ избрал меня на эту почетную должность. Но я не тоскую, — еще недавно владея миллионами, я стал бедняком, за пять лет военной службы в войсках Нового Света я получил патент полковника, а вернувшись, я был комендантом крепости Меца. Знаешь, Диар, не обижайся, я сделал ошибку, выбрав Редерна вместо тебя поверенным во всех делах графского рода, этот негодяй разорил меня. Пусть я живу в нищете и перебиваюсь чем угодно, если бы ты был на месте Редерна, я, может быть, остался бы богачом. Теперь с потерей миллионов золота я получил миллиарды идейных сокровищ.

— Попробуйте поджарить картофель на ваших сокровищах, — проворчал Диар, бросая противень перед печкой. — И неужели же вы не могли при мне не вспоминать негодяя Редерна, а то, что вы хвастаете потерей титула, так вот вам: почтенный герцог Орлеанский, по-

забыв свое имя и титул «высочество», написал неведомо ради чего письмо в Парижскую коммуны с просьбой дать ему новое имя. Ну, те ему ответили, что господин герцог Орлеанский будет отныне называться гражданином Филиппом Эгалите. Извольте-ка радоваться, хорошая фамилия «Равенство». Портной сделал ему черную одежду, будто для клерка, а парикмахер подстриг его так, как теперь стригутся приказчики парфюмерных магазинов Сент-Онорэ.

Римское, бронзовое лицо Сен-Симона вдруг исказилось гримасой ярости и гнева, он даже слегка привстал:

— Послушай, Диар, зачем ты сравниваешь меня с разными дураками, что общего между мною — потомком Карла Великого, явившегося мне совсем недавно во сне и сказавшего мне, что я буду так же велик в человечестве трудящихся, как он в своем мире рыцарей и героев, — что общего между мною и этим несчастным капетингом, родственником Людовика Капета? Что он говорит о «Равенстве»? Плоха эта его новая фамилия, как есть плохое равенство: если недавно говорили — каждому по рождению, то теперь говорят — каждому по способности, я сказал бы: пусть каждый получает по потребностям, а потом настанет время, когда народы земли создадут такое общество, в котором каждый будет иметь по количеству доброй воли, внесенной в общий труд и по количеству своих достижений. А сейчас я хочу спать, Диар, прекрати свою ворчню, хотя колокола, врываясь голосами во все щели, все более и более меня тревожат. Да вот, не забудь, Диар, что сегодня воскресенье, второе сентября, значит...

— Значит? — сказал Диар, — повашему, значит, а по-моему, не значит. Уверю вас, что сегодня вовсе не воскресенье, а всеобщая парижская смерть, и, судя по тому, как разгорается зарево, боюсь, что сон ваш будет беспокойный...



Парижские толпы двигались по улицам и вдруг остановились перед окнами Пале-Рояля. На балконе появился

герцог Орлеанский, получивший теперь фамилию Эгалите. Любовница герцога Орлеанского, мадам Бюффон, и несколько собутыльников спокойно ужидали, невзирая на колокольный набат. Когда герцог и его любовница появились на балконе, раздались крики толпы, и над головами людей в красных колпаках, в кожаных фартуках с пиками, кольями и топорами, с молотками, щипцами и дубинами высоко на пике на уровне балкона показалась голова принцессы Ламбаль — известки герцога Орлеанского. Любовница герцога отшатнулась в полуобморочном состоянии, вошла в комнату, в то время как герцог с невозмутимым видом приветствовал толпу парижан, разгневанную слухом о происходящих изменах, мятущихся в стремлении спасти Париж от внутреннего взрыва контрреволюции. В своем хаотическом движении эта мстящая, напуганная парижская толпа, боявшаяся за жизнь своих детей, за свои собственные головы, которым угрожали пуля и штыки герцога Брауншвейгского, боявшаяся за свои жилища, которым грозил пожар и уничтожение по манифесту контрреволюционной армии, эта парижская толпа убивала, не желая убивать, судорожно сдавливая пальцы на горле своих многочисленных жертв и стремилась возможно скорее очистить тюрьмы, в которых явные изменники и предатели в силу подкупа и защиты Легислативы были пощажены одновременно с несколькими случайными посетителями страшных парижских тюрем. Судорожное движение толпы, несмотря на страшную разъяренность каждого входившего в ее состав, производило впечатление напуганной самозащиты больше, чем нападения.

Мадам Бюффон сказала своему любовнику:

— Вот так понесут мою голову на пике.

Герцог сел за стол и мрачно сказал:

— Бедная женщина, если бы она мне верила, ее голова попрежнему была бы цела.

Его мрачность скоро рассеялась при мысли о том, что наследство принцессы

удваивает его капитал. Герцог просчитался, так как прошло очень немного времени перед краткими, молниеносными событиями, сделавшими излишним всякие капиталы для его обезглавленного туловища. Передовой человек, поставивший у себя на шелковых фабриках первую паровую машину во Франции, захотел быть передовым человеком в революции, но легко было поднять, да тяжело нести. Парижская толпа, которая почти никогда не обманывалась, которая всегда прекрасно понимала Марата, которая всегда с обожанием смотрела на Бабефа, а в Робеспьере видела пламенного защитника до известной поры, эта самая неуклюжая толпа, суровая, недоверчивая, изменчивая толпа парижских ремесленников сразу раскусила господина Филиппа Эгалите. Само наименование, данное ему Парижской коммуной, показывало своим подчеркиванием, что равенство нарушено и никогда не восстановится.

Под утро толпы народа собрались у тюрьмы Шатле и у ворот Консьержери. Молодой, желтолицый Бонапарт холодными глазами рассматривал людей, не принимая ни в чем участия, он только смотрел. Революционный комиссар из Коммуны быстро вывел из тюрьмы около двухсот человек, арестованных за долги и за мелкие гражданские дефекты, а потом толпа ворвалась в ворота и стала извлекать из камер роялистов и тех швейцарцев, которые перестреляли столько парижского простонародья в день 10 августа, перед низвержением короля Людовика XVI. Огромными буквами на стенах тюрьмы вырисовывались плакаты:

«Граждане, отечество в опасности».

Еще за день перед этим та же толпа внесла в Законодательное собрание серебряную статую святого Роха, и известный депутат, указывая на малое количество вооружений для революционного народа, произнес замечательную речь:

«Различные братства являлись при прежней власти звеньями жреческой цепи, способствовавшей закабалению народа. Мы разбили эти звенья и присо-

единились к великому братству свободных людей. Мы призывали святого Роха против политической чумы, так сильно опустошившей Францию; но он не внял нашему зову. Тогда мы подумали, что его молчание зависит от его формы. И вот мы принесли его вам, чтобы вы превратили его в звонкую монету. В этой новой форме он безусловно поможет истребить зачумленную расу наших врагов».

Быстрый суд трибунала приговорил к смерти швейцарцев. Командир этих наемных палачей революции, майор Бахман, кутается в свой красный мундирный плащ и равнодушно смотрит на толпу парижан, пожирающих его взглядами ненависти. Бахман попадает на гильотину, двести двадцать его спутников испытывают иную казнь под пиками сентантуанских рабочих. Толстый, здоровенный, плечистый поп, аббат Барди, монархист, братоубийца и содержатель притонов, выскочив из камеры, отшвыривает могучими руками своих конвоиров и вступает в единоборство с толпой. Разрывая сутану, подбрасывая тяжелым сапогом то одного, то другого из нападающих на него, он пускает в ход локти, надкусывает горла, расшвыривает людей ногами, и через минуту около него свободное пространство. Но вскоре длинная пика вонзается ему под нижнюю челюсть. Он падает навзничь, все еще не подпуская никого и судорожно обороняясь ногами.

Бонапарт, взглядевшись внимательно, заметил человека в сером плаще и серой шляпе, он также, не принимая участия, выступал в роли созерцателя этой борьбы. Ретиф де ля Бретонн жадно смотрел и слушал, рядом с ним стоял молодой рабочий и говорил:

— Не нынче-завтра пруссаки ворвутся в Париж, и штыки Брауншвейгского герцога будут нанизывать нас, как каштаны на вязальную спицу. Надо как можно скорее очистить тюрьмы от попов, контрреволюционеров и аристократов, иначе вся эта орава завтра же раздавит наш рабочий Париж.

Разъяренные контрреволюционные деятели, дворянская прислуга, которая по-

сле отъезда господ с успехом выполняла должности шпионов, быстро приспособились, проводя свои лакейские замашки в политической конспирации, своиственные старым камеристкам, графским парикмахерам, счетоводам королевского парфюмера, пострадавшего после прекращения колоссальной выделки пудры на сумму в двадцать четыре миллиона ливров ежегодно, служки епископов, монашки-сплетницы, сводни-комиссионеры, сводившие и разводившие молодых и старых господ хороших семей, — вся эта многочисленная орда ханжей и лизоблюдов, кормившихся у господского стола, теперь продавала революционную Францию оптом и в розницу, разыгрывая из себя «угнетенных старого режима». Эти люди быстро организовывали тайные союзы, превосходящие революционностью своих воззрений идеи даже членов якобинского клуба и старых рабочих секционеров, бывших комиссаров фронтальных частей, проявляли чрезвычайную лойяльность по отношению к революции, эта лакейская сволочь ухитрилась выгнать из округов, мерий, коммунальных учреждений и народных трибуналов честнейших и беднейших граждан, бескорыстно служивших делу революции. Они втроем делали доносы на четвертого, создавали дело из ничего, запутывали народные суды, компрометировали их ложными шагами до тех пор, пока огромное чутье парижского простонародья из Сен-Марсо или обитателей подвальных этажей Сент-Антуана не сажало сразу сотнями этих паразитов, вцепившихся крепко в тело революционной Франции, — тогда поднимались вопли, тогда кричали о безпрямости суда, о «безжалостном терроре и кровожадности всех этих Маратов и Робеспьеров». В 1792 году, в год войны, в год тяжелого продовольственного кризиса, эта контрреволюционная шваль все чаще и чаще наполняла тюрьмы, и вот в Бисэтре, в тюремном заведении, названном по имени кардинала Винчестера, владевшего в XIII веке этим мрачным и обширным зданием Парижа, в день сентябрьской расправы накопилось три с половиной тысячи

людей такого сорта. Двери тюрьмы, обычно открывавшиеся с легкостью, которая так вводила в досаду бесновавшихся парижан, в этот день оказались необычно туго и крепко запертыми, исчезли сторожа, и начальник тюрьмы находился неведомо где, затаенная и мрачная Бисэтрская тюрьма, казалось, вымерла, ибо никто не отпирал на стук, на крики, на многотысячный вой собравшихся парижан, желавших проверить состав заключенных. Тогда, по приказу секций, к воротам Бисэтра была вывезена пушка. Ядро, гулко ударив в ворота, перебило замок, а гвозди дождем посыпались из пазов и щелей старых тюремных дверей. Казалось, наступило время освобождения, так бурно и быстро ломались замки, двери слетали с петель, гнулись решетки. Но было так, что люди, перед которыми насильно открылись двери, вдруг отказались пошевелиться из-под дощатых нар и сломанных матрацев. Заключенных вытаскивали на двор, опознавали и кончали тут же. Парижский мер Петион, выждав надлежащий момент, явился в тюрьму и уговаривал остановить истребление контрреволюционеров до организации более длительной формы суда. Сантэрр, организатор двухтысячного отряда копейщиков, только на третий день пошел уговаривать толпы, несмотря на приказ, изданный Роланом — жирондистским министром внутренних дел.

Бонапарт, встретившись взглядом со старым Ретифом, наблюдал за тем, как выражение ужаса заставляет Ретифа меняться в лице и переходить от одной окраски в другую, и вдруг новое зрелище отвлекло внимание Бонапарта.

Максимилиан Робеспьер и Талльен появились вдалеке, они медленно шли по улице с таким видом, как будто в Бисэтре ничего не происходит.

— Гражданин Талльен, — закричал один ремесленник, — эти дни муниципалитет должен оплатить обычным тарифом.

Талльен кивнул головой и сказал:

— Вы принесете мне списки.

Бонапарт уловил слова Робеспьера:

— Ты говоришь об «этом негодяе»? Если происходят страшные события в Вандее, которая имела несчастье восстать во имя бога и короля, то помни, что мы точно такую же Вандею имеем и в Антилиях, где жестокости вызвали восстание черных людей и мулатов, где глупость Бриссо не сумела понять, что как раз в ту минуту, когда после гибели шестисот плантаций колонисты пошли на мир с мулатами и признали декрет 15 мая 1791 года, как раз в это время Барнав с тупостью настоящего жирондиста уничтожил все значение декрета и поставил цветные племена в положение худшее, чем до революции. А кто такой Модюи, этот старый генерал, как не яростный сторонник короля? Кто он, как не противник революции, как не руководитель сан-домингской Вандеи? Разве после этого тебе кажется странным такое зрелище?

Бонапарт, прислушавшись, обернулся в ту сторону, куда кивнул Талльену Робеспьер и где среди криков гневной толпы, среди шума, беспрепятственного бега, ударов и воплей он увидел человека с курчавой головой, черным лицом и черной волосатой грудью, в разорванной рубахе. Белые зубы улыбались страшным оскалом. Черный человек держал в руках выщербленный старый кусок алебарды и потрясал неправильно отрубленной, искрошенной головой. К нему подводили одного за другим, он резал, рубил и ударял без-устали и без перерыва. То был негр Делорм, мститель за свое племя, появившийся неизвестно откуда, искавший по тюрьмам предателей, когда-то истребивших делегатов острова Гаити. Чтобы облегчить себе эту задачу, он не отказывался ни от чьих поручений, он рубил, резал, крошил и кромсал всех, кого ему подводили, и только на третью ночь, найдя в катакомбах заставы Сен-Жак молодого лакея Массиака и конюха, служившего Шарлю Ламету, он связал их обоих и, погоняя бичом, ночью подвел их на край Кламарского рва. Там он долго и ожесточенно говорил им что-то ломаным английским языком, а потом, развязав им обоим правые руки и надев кандалы,

соединившие обе левые руки врагов, негр Делорм приказал им вступить в единоборство, заявив, что тот из двух, кто победит, будет отпущен им на волю. Но оба — и лакей, и кучер — мгновенно загорелись одним намерением, они бросились на Делорма с ножами, которые он же им вручил. Хитрый негр это предвидел, он отскочил в сторону, а легкий помост, на который прыгнули оба разъяренные его противника, провалился под их ногами, и оба они упали в клоаку Кламарского рва.

Ретиф де ля Бретонн так описывал эти события:

«Я заперся у себя дома на остальной день 3 сентября, думая, что убийства прекратились за недостатком жертв, но вечером я узнал, что ошибся, — они были приостановлены всего на несколько минут. Я не верил рассказам о том, будто восемьдесят заключенных в тюрьме Форс ушли в подземелье, откуда стреляли в нападавших, и будто их собирались задушить с помощью дыма от смоченной соломы, положенной у входа. Я отправился туда. Убийства продолжались, но спасенных было больше, и мне показалось верным то, что говорилось о ворах, будто бы спасавших своих товарищей. Но был и обратный способ действия. Все фальшивомонетчики заставляли, наоборот, убивать своих товарищей, делая в то же время вид, что хотят их спасти... Убийства прекратились в Аббей, в Консьержери, в Шатлэ, где никого не осталось.

Вечером все направились в Бисэтр. Там вывели «конурочников» (тех, которые сидели взаперти в темных конурках); но их судили менее правильно, чем в обычных тюрьмах. На них едва взглядывали, по двум причинам: надзиратель в тюрьме Бисэтр, убитый раньше других, не мог дать списков заключенных, а затем вообще было известно, что то были поголовно отвратительные субъекты, которых революция не могла освободить. Они были расстреляны во дворе. Заключенные в Форсе первого этажа, во дворе темных конурок, пробовали

защищаться вооружаясь; но они были уничтожены. Вот что произошло в этой тюрьме, весьма некстати присоединенной к госпиталю.

Оставалось еще одно дело, которое особенно радовало негодяев и разбойников. Я узнал, что его отложили на 4-ое, по возвращении из Бисэтра.

В тюрьме существовала одна несчастная Дерю (вдова известного отравителя), которую после долголетнего заключения, во время которого она родила ребенка, — по слухам, от Ладиксмери, — наконец наказали плетьюми, заклеив ей белые плечи, как недавно графине Ламотт (графиня де-Валуа-Ламотт — героиня дела с ожерельем королевы), и посадили в Форс при Сальпетриере на весь остаток ее жизни. Эта женщина, по слухам, была главною причиною этой экспедиции на женщин госпиталя... Про нее говорили, что она была красавица, но в то же время интриганка, озлобленная, способная на все, не раз говорила, что была бы счастлива увидеть Париж, залитый кровью, или поджечь его... Но меня всего более удивляет то, что все знали об этом проекте и что никто ему не помешал. Наоборот, на следующий день, в семь часов утра, разбойники выступили в сопровождении двух людей «с шарфами через плечо», — во избежание беспорядка, как говорили.

Пришли. Какой-то простоловин закричал среди двора во все горло:

— Начальницу, начальницу, с нее надо начинать!

Это не входило в планы. Явившаяся начальница и сестры выказали страх, внушенный им этим человеком.

— Подождите, — сказал один марселец (последующее передаю буквально со слов свидетеля-очевидца), — я вас от него избавлю.

И рассек ему череп ударом сабли, потом отбросил его к стене.

Приказали открыть дверь женской Форс. Женщины затрепетали от радости (как прежде бывало в тюрьмах), думая, что пришли их освободить. Здесь следовали списку. Их вызывали по очереди. Читали причину заклю-

чения, выводили из одного двора и убивали на другом. Вдова Дерю оказалась четвертою или пятою и оповестила всех остальных об ожидавшей их участи ужасными криками, так как разбойники, забавляясь, обращались к ней с непристойностями. Ее труп не был от них изъят и после смерти. Сорок женщин были убиты здесь.

Пока эта кровавая сцена происходила в одной части Форс, по другим бегали распутники и негодяи всей Франции или даже всей Европы. Прежде всего сутенеры выпустили всех проституток. Надо было видеть эту сцену. Она не была кровава; но едва ли можно было увидеть нечто, более непристойное. Все эти женщины предлагали своим освободителям, равно как и каждому первому встречному, то, что они называли любовью... Но оторвем наши взоры от этой картины и направим их на другую, которая не будет ни более пристойною, ни более успокоительною, ни более нравственною, но которая по крайней мере не явится изображением двойной испорченности.

Сутенеры и чернь бросились в женскую тюрьму. Другие распутники проникли в приют для девиц, приют «домашних служанок», т.-е. тех, которые там воспитывались. Несчастные ведут там печальную жизнь. Вечно за школьными занятиями и под страхом розги учительницы, обреченные на вечное девство, на плохую и невкусную пищу, они не ждут иного счастья, как только чтобы кто-нибудь пригласил их в прислугу или на какую-нибудь тяжелую работу. Да и тогда — что за жизнь? При первой жалобе несправедливого хозяина или хозяйки их берут обратно в приют для наказания... Нетрудно почувствовать, насколько эти существа унижены и несчастны... Вот к этим-то забитым и униженным существам, которые, будучи случайно брошены в общество, остаются в нем всегда презренными, ворвались все, что было наиболее распутного и наиболее злодейского в Европе... Негодяи обежали все дортуары в то время, как молодые девушки вставали. Они выбирали из них тех, которые им

более нравились, и овладевали ими тут же, на глазах подруг. Ни одна из этих девушек не была изнасилована, так как ни одна не сопротивлялась. Доведенные почти до униженного состояния рабынь-негрityнок, они повиновались малейшему приказанию. Некоторые честные молодые люди, находившиеся в толпе лишь в качестве любопытных, спасали девушек, уводя их из этого места... Так как среди девушек есть много дочерей бедных родителей, то часто у них оказываются братья и сестры в предместьях или в деревне. Один молодой пивовар бродил по спальням, кого-то разискивая. Наконец он увидел молодую девушку, оказавшую некоторое сопротивление и отбивавшуюся от немца, замахнувшегося, чтобы дать ей пощечину. Молодой пивовар бросается на немца и оглушает его дубинкой. Вся толпа восстает против его поступка.

— Ах, боже мой! — восклицает пивовар. — Это — моя сестра. Неужели вы хотите, чтобы я допустил целовать ее на моих глазах?

Тогда все приняли его сторону, и он увел девушку.

Другая сцена произошла на глазах у моего свидетеля.

Одну из наиболее красивых девушек преследовал парень из мясной. Он уже побрал и охватил, как вдруг девушка обернулась.

— А, мой братец! — воскликнула она, глядя ему в глаза.

Мясник остановился и вслед за тем ушел, уводя с собой и сестру.

Одна из девушек впрочем оказалась удачливой. То была молоденькая блондинка, быть может, единственная безусловно красивая девушка в приюте. При виде разбойников она заклеила себе лицо пластырем и вымазала его грязью. Среди входивших она заметила мужчину лет сорока, внушавшего ей некоторое доверие. Гиацинта Гандо — так звали девушку — вытерла лицо и бросилась к нему с криком: «Отец, спасите меня!» Мужчина накрыл ее своим плащом и увел, говоря: «Это — моя дочь!..» Придя в его дом, Гиацинта бросилась к нему на грудь со словами:

«Делайте со мною, что хотите, но только никогда не отсылайте меня обратно в приют». Мужчина привязался к ней, найдя в ней, кроме красоты, и добрый нрав. Что было дальше? После того, как у нее родился сын в начале мая, он на ней женился..

Эта история меня несколько утешила... Событие в приюте «домовых служанок» завершило разгром Мальпетриер. Простимся с этим несчастливым сентябрем, который когда-нибудь займет такое видное место в нашей истории».

Утихла ярость Парижа. Десятки тысяч молодых людей ринулись на границы. Герцог Брауншвейгский был остановлен. Франция спасена.



Господин Шатобриан вернулся после полугодовых скитаний по Америке. Себастьянна де-Фромон сидела с ним в маленьком притоне при самом выезде из Парижа в Венсенскую рошу. Она слушала его бесконечные рассказы об американских лесах, о восхитительных таинствах южноамериканской ночи, но слушала рассеянно, и в голове у нее неустанно бродила одна и та же мысль, когда же этот болтливый путешественник заговорит «о деле»? Но Шатобриан, увлекшись своей поэтической фантазией, продолжал:

— Я думал отдохнуть на лоне дественной и могучей природы, когда в непроходимом лесу, перебегая от дерева к дереву по берегам многоводных рек, я почувствовал, что здесь не ступала человеческая нога, я вдруг понял и оценил великое учение Руссо о естественном человеке. Париж с страшной бойней, с неизвестностью завтрашнего дня, это — ад по сравнению с тем, чем должно быть человеческое общество, основанное на общественном договоре и христианской вере, но, увы, в этот самый момент, когда я увлекался видом первобытного леса, в эту минуту слух мой поразили странные, неприятные и слишком знакомые звуки, я понял их происхождение: на поляне под звуки пlothонькой скрипки плясали индейцы, а маленький француз парикмахер, напу-

дренный, в парике, играл им польки и кадрили.

— Ну, что же, это очень мило, — сказала Себастьяна де-Фромон, тихонько нажимая туфлями на носок сапога Шатобриана: — Мой друг, вы заставляете меня терять время, — прервала она: — поберегите ваше красноречие до того утра, когда вы сможете опять с полным правом перед восходом солнца сравнивать мои раскрасневшиеся щеки на подушке с расцветающим небом не в пользу последнего, как вы неоднократно мне говорили. А теперь помните, что вы задолжали мне за прошлый раз пятьсот ливров золотом, а сейчас, если дело успешно пойдет, вы получите паспорт и возможность беспрепятственного побега через границу только при условии немедленной уплаты вот сейчас, перед нашей разлукой, пятист тысяч ливров золотом.

Шатобриан вскочил, как ужаленный:

— Боже! где я их возьму?

— Но, мой друг, у вас молоденькая жена с очень старым состоянием.

— Да, дорогая, — раздраженно ответил Шатобриан, — я должен был очень сильно истратиться, чтобы на сентябрьской резне выручить из тюрьмы мать и сестру.

— Напрасный труд, напрасный труд, — сказала Себастьяна, — обе они вас только свяжут по рукам и ногам.

Шатобриан едко улыбнулся, махнул рукой и сказал:

— Я не стану разъяснять вам, как и чем связываете меня вы, впрочем, если все это вас так затрудняет, я могу отказаться, я просто явлюсь в секцию и скажу, чтобы вас арестовали.

— Ах, вот как! — вскричала женщина и, вскакивая со стула, резким движением уронила кружку вина, заливая камзол и панталоны господина Шатобриана.

— Аристократ и проститутка дерутся, — вдруг громко произнес кто-то в углу.

— Ты сам аристократ, — ответил Шатобриан бойко и с любезным видом предложил руку Себастьяне.

Около роши Шатобриан скользнул в заросли, и прежде, чем Себастьяна де-Фромон успела его догнать, он уже сидел верхом, а вторая лошадь нетерпеливо била копытами, имея в седле второго всадника—старого грумма,—не без удивления смотревшего на женщину, повисшую на стремях молодого Шатобриана.

— Как, вы обещали карету? — кричала женщина. — Неужели я пешком пойду в Париж, приехав с вами в карете в эту трущобу?

— Как, вы обещали принести паспорт? — иронически дразнил Шатобриан, отвечая ей в тон: — Неужели я пешком пойду через границу?

— Будь проклят, негодяй! — закричала женщина: — мы еще встретимся!

— Надеюсь, что нет! — крикнул Шатобриан, ударяя хлыстом по лицу взбешенную женщину.

ГЛАВА VIII

Под этим благостным небом, под везным солнцем и пленительными зефирами Гаити во всех садах и плантациях дарит человеку голубые и розовые цветы алоэ, ваниль, кофейное дерево, пряности, хлопок и огромные сахарные тростники покрывают остров.

Юнивер Питтореск.

Терпение — это самое редкое растение, оно произрастает далеко не в каждом саду.

Английская поговорка.

Пьер-Леон Модюи, один из генералов, находящихся в распоряжении Пейнбера, губернатора Сан-Доминго, был по существу человеком, лишенным какой бы то ни было злобы, однако отсутствие собственной моральной физиономии соединялось в нем с полным неумением разбираться в людях. Если бы генерал Модюи имел возможность слышать слова Робеспьера о том, что «Модюи является организатором колониальной Вандеи», то он был бы немало огорчен: он всегда считал себя просвещенным человеком, он был почитателем Вольтера и Руссо. Однажды за дружбу с Дювалем Дюпременилем, бастильским узником, который не испугался противодействия воле королевских министров, Модюи был волею короля даже

удален из Парижа. Это положило начало тому изменению взглядов Модюи, которое кончилось полной ломкой всех его воззрений. Он подал прошение на королевское имя, в котором, распинаясь в верноподданнических чувствах, коленопреклоненно просил короля вернуть ему право пребывания в Париже. Это право он получил на короткий срок. Он стремился поддерживать связь с депутатами Национального собрания, но, не получив доверия ни там, ни здесь, провалившись вместе с провалом королевского проекта о постройке новых четырнадцати военных судов, он принужден был искать себе убежище в первой попавшейся должности и уехал, получив военное назначение на остров Гаити. По его мнению, это могло доставить ему почетное положение, большие деньги, и вдруг оказалось, что к этим двум возможно еще третье приобретение — военная слава.

Супруга господина Модюи писала в Париж:

«Когда европейцы пришли на острова, там царила природа во всем диком величии своей роскоши. С гребней гор опускались перевитые ползучими лианами беспредельные леса, соединяющиеся с саваннами и тянувшиеся, подобно длинным прядям волос, до моря. Задерживавшиеся над вершинами этих лесов облака постоянно сообщали им влажность, которую любят сочные растения этого климата, а с большей еще высоты к ним лились потоки солнечных лучей. Таким образом, питаемые всеми испарениями океана и всем тропическим жаром, острова стали добычей обильной растительности, которая, не останавливаемая зимними морозами, заглушала и пожирала сама себя для того, чтобы возрождаться в еще большем изобилии, тогда-то со всех сторон началось чрезвычайное разрушение. Топор и огонь сразу пущены в ход в этих девственных лесах, а саванны утратили свою вековую тень. Прибывшие из Африки суда начали высаживать на эти берега негров. В настоящее время сахарный тростник покрывает золотоносные берега по всей поверхности колонии. Лучшие зем-

ли отошли под шестьсот сахарных плантаций; кофейные плантации заняли пригорки; таким образом разделенный остров имеет восхитительный вид. Это — волшебный сад. Повсюду взор с восторгом останавливается на выполотых и разделенных на квадраты тростниковых полях, за которыми ухаживают, точно за цветником; тропинки между плантациями сходятся со всех концов в виде розетки к саванне, посреди которой высится дом владельца. Там — ее сердце; отсюда исходит жизнь, кровь разнесится по всем венам. В ста саженях от дома плантатора расположены хижинны негров, образующие деревню от ста пятидесяти до трехсот душ в каждой плантации. Во время жатвы, начинающейся в январе и заканчивающейся в июле, это ни с чем несравнимая в мире картина, которая представляется с возвышения, — вид вертящих свои крылья мельницы по всему острову, пропадающих вдали сахарных плантаций; покров острова, ежеминутно меняющий вид и цвет, работы по уборке, веселый огонек, точно убегающий все далее и далее, и выходящий из труб сахарных заводов дым. Со всех саванн раздается пение, запах горячего сахара поднимается к небу. Наступает вечер; мельницы останавливаются, негры выстраиваются в ряд перед домом хозяина для общей молитвы, которую слушают с обнаженными головами плантатор со всей своей семьей; затем каждый отправляется к себе в хижину и разводит огонь, чтобы приготовить ужин. Двое негров, назначенных для этого по очереди, помещаются тогда в шалаше, вблизи дома хозяина, разводят костер и, вооружившись ножами, приговариваются охранять жилища. Все двери запираются, все другие огни гасятся, и ночь опускается на окрестности».

Пьер-Леон Модюи увидел другую картину; посадив своего брата Николая Модюи в контору табачной фабрики, он имел возможность близко соприкоснуться не только с вопросами быта черных рабов и цветных племен, но и с тем, что больше всего интересовало его супругу, — с вопросом о суммах ба-

рышей, получаемых плантаторами, французскими колонистами. Это вызывало зависть в душе обнищавшего дворянина, он согласен был переменить свои дворянские воззрения на доходы праздных буржуа, получающих колоссальный барыш. Он согласен был на все по одному их слову, если они научат его быть богатым. В колониях были немногочисленные французские войска, но очень многочисленные и вместе с тем превышавшие французов армии гаитийских маронов, беглых рабов, из числа проданных негров, которых совершенно легально доставляли французы и англичане и которые не всегда охотно выносили тот режим, который такими нежными красками описала в письме в Париж к принцессе Ламбаль супруга господина Модюи.

«Благочестивые негры, собирающиеся вечером на молитву для того, чтобы вместе с милостивым и ласковым господином возблагодарить создателя» за прелести восемнадцатичасового дня работы, зачастую убегали в саванны и сельвасы, организовывали там большие и малые отряды, и хотя эта армия нигде не была зарегистрирована и не вела списка своих батальонов, полков и бригад, но Модюи скоро узнал, что армия маронов, скрывающихся в совершенно недоступных частях Гаити, гораздо значительнее, нежели думают в Париже.

Первое, что сделал господин Модюи,—это написал генералу Лафайету о том, чтобы тот озаботился укреплением колониальных войск. Он не получил ответа, и, как увидел впоследствии, это письмо сыграло самое решительное влияние в определении личной судьбы самого Модюи. Он очень неосторожно отозвался о пятнадцати тысячах негров и мулатов, которые, будучи свободными и владея небольшими домиками, должны были стать совершенно свободными, т. е. участвовать в законодательных органах страны. Модюи просто приравнял их всех к числу восставших рабов и, помня уроки отца Николазика из классической древности, писал Лафайету, что во избежание зрелищ восстания нового Спартака необходимо как можно скорее

избавиться от воцарения негров и мулатов, ибо если они сделаются господами острова, то он, Модюи, ничего не будет в состоянии сделать с другим гораздо более опасным движением, которое есть среди безродных плантаторов, «господ, выскочивших из бедноты, неблагородных по крови и способных отложиться от Франции, если она будет оказывать покровительство идеям свободы среди мятежно настроенных цветнокожих и черных людей». По «Черному кодексу» надо уничтожить всех маронов, ибо каждый из них трижды заслужил пытки перед смертью и смерть после пыток. У них много сторонников среди не бежавших негров, работающих на плантациях, факториях, на фабриках и заводах; в карательном порядке придется уничтожить такое количество людей, что плантации могут обезлюдеть, а «при теперешней дороговизне, когда англичане колоссально подняли цену на негров, это отсутствие рабской силы вызовет серьезный убыток».

Не лучше обстоит и в других областях. Господа, привыкшие жить в невероятной роскоши, о которой не смели мечтать принцы и принцессы королевской крови, пожалуй, захотят отложиться от Франции и устроить из Гаити, Мартиники и Гваделупы самостоятельные государства.

«Помните, что даже негры на плантациях курят такие сигары, которых мы с вами или во всяком случае я, бедный французский генерал, не мог бы во Франции купить ни за какие деньги. Наши королевские чиновники слишком уже замкнуты, они зачастую спорят с местными плантаторами, которые заинтересованы в делах самоуправления колоний. Смотрите, дорогой маркиз, как бы нам не оказаться между молотом и наковальней. Надо все сделать, чтобы богатые люди имели максимум прав, надо все сделать вместе с тем, чтобы население из белых людей, осевших на острове из итальянцев и французов, хотя и не дворянского происхождения, но составляющих основные массы белого населения в виде ремесленников, купцов, матросов торговых кораблей и мелких

торговцев, получили бы гражданские права, если они аккуратно уплачивают свои налоги. Желательно было бы, чтобы вы как первый министр определили, следует ли вообще устраивать законодательные собрания на острове, или Сан-Доминго должен выбрать своих представителей для отсылки в Париж. Вместе с тем, дорогой маркиз, уведомяю вас, что богатейшие колонисты Сен-Маркского кантона собрались в Сен-Марко и объявили себя приходским национальным собранием. Ответьте, пока не поздно».

Лафайет не ответил. Модюи не писал Лафайету, что уже давно новый губернатор Сан-Доминго Бланшланд через подставных лиц занимается куплей и продажей негров, что Модюи сам не прочь бы принять участие в этих операциях. Он частенько подумывал, что его племянник, мер города Бордо, мог бы в тысячу раз больше разбогатеть, если бы он, Модюи, сам мог направлять караваны в южные гавани, ибо как-никак «Бордо по справедливости назывался Антильскими воротами Франции». Через Бордо и его главные конторы антильские пряности поступали не только в Париж, но и на всю Европу. Тростниковый сахар шел не только на французское хозяйство, но служил серьезнейшим подспорьем, а иногда и вытеснял английский ввоз сахара на континент Европы.

Скоро новые события коренным образом переделали воззрения Модюи. Однажды после полудня к нему явился человек с благородным лицом, синеватыми ногтями, просто одетый, слегка ожиревший. Он никак не хотел сказать лакеям, стоявшим у входа в дом Модюи, своей фамилии. Модюи заинтересовался, просунув голову через дверь. Он увидел, что никакой тайны нет, что перед ним просто старый мулат Цюбалл. С улыбкой, с униженным видом Цюбалл, увидав господина, немедля проскочил в дверь, и, перебирая всевозможные титулы, существующие и не существующие, он заговорил:

— Я не смею рассчитывать на эту честь, но, быть может, вы навестите ме-

ня. Будет такая честь, мой скромный обед, мой дом, мои слуги, мои негры, все — в распоряжении генерала.

Цюбалл был самым спокойным и уважаемым мулатом округа. Модюи хотел обойтись с ним высокомерно, как подобает французскому генералу, но вдруг неожиданно ему самому непонятное любопытство сменило первоначальное решение.

— Я всегда успею обругать этого человека, — подумал Модюи: — надо только узнать, чего он хочет?

Обращаясь к мулату, он спросил:

— У тебя свадьба, похороны, семейное торжество? Что вынудило тебя звать меня, французского генерала?

— Ваше превосходительство, вечером после захода солнца.

— Вечером после захода солнца, — повторил Модюи, — хорошо, кто же у тебя будет?

— Никто, кроме генерала, — сказал Цюбалл.

Когда мулат ушел, Модюи думал:

— Один из моих предков дружил с арабскими вождями, по преданию занимавшими когда-то лесные склоны Дофинэ. Отчего бы мне не посетить этого «почтенного мулата»?

И он посетил «почтенного мулата».

Наступил вечер, спадал зной, супруга господина Модюи пошла к соседям, она сидела уже давно на кампешевых диванах креола Шапотена с его дочерьми и красивой креолкой хозяйкой, которая прекрасно произносила слова, установленные по креольскому обычаю: «Мой дом — ваш дом, генеральша».

Госпожа Модюи слушала мелодичные креольские песни, которые пели хозяйки, молодые дочери Шапотена, удивительным языком, в котором смешивался родной язык Шапотена с языком испанских креолов, в котором смешивались мелодии знойного древнего острова карайбов, с причудливыми, простыми и словно в сне звучащими звуками Люлли и Рамо, нежный, тихий, какой-то пчелиный звук, похожий на жужжание, которое клавиесин дарил вечерующему антильскому воздуху, смешивался с голосами молодых девушек. На столиках,

на скатертях, на шитье лежали деревянные вещицы, сделанные неграми местной мастерской из кокоса и пальмы. Желто-белое молочное дерево пальмы почти ничем не отличалось в полировке от слоновой кости. Креолки любили брать в руки эти вещицы, играли ими во время разговора. Из того же белого дерева были сделаны почти прозрачные белые ложки, которыми хозяйка клала из баночек всевозможные дульчи, креольские варенья, намазывала их на ломтики хлебного дерева лямбе. Кокосовые вилочки, тонкие, похожие на деревянные лопаточки с кружевными узорами на ручках, стукали по краям тарелок гостей. Подавали пататы, сладкие длинные бананы разного приготовления, желе из мараньонов, из уапоты, из нисперосы, гланабанов, ианона. Негритята, маленькие, прекрасно сложенные, в белых фартуках, белых камзолах и белых жабо, синих шароварах и кожаных туфлях, с загнутыми носками, на босу ногу, числом двенадцать, прислуживали за столом. Это были любимцы господина Шапотена, взятые к господскому столу еще в детском возрасте, когда нет ни удивления, ни стыда, когда нет еще созревшей дружбы и того презрения товарищей, которое оставливает молодежь от целого ряда неосторожных поступков. Эти молодые негры в большинстве случаев довольно рано привыкли презирать неудачников, относиться к ним с своеобразным пренебрежением, но зачастую, не рассчитавши своего взлета, они внезапно падали, заслужив немилость хозяина. Попадая в среду, от которой они ушли еще в младенческие годы, они претерпевали гораздо больше, чем привычные к побоям товарищи, не знавшие хозяйского двора.

После того, как был подан кофе, после того, как спала жара, креолки с белоснежными лицами, с глазами, блестящими и черными, с волосами, спадавшими почти до колен, потанцовали немного для увеселения генеральши Модюи, посадили ее в волонту — экипаж, чрезвычайно удобный, так как в нем можно принять любое положение, не вставая

и даже не поднимая ног, и выехали на прогулку. Генеральша была немало удивлена, когда увидела, что по дороге на Макорис ее супруг выходит из экипажа около дома Цюбалла у самого берега моря на крутой горе. Она видела, как Цюбалл вместе с своими сыновьями встречает Модюи почтительно и нежно у ворот, украшенных гирляндами цветов. Генеральша проехала по дороге, ее супруг вошел в покои мулата. Мулаты редко приглашали к себе белых. Порабощая черных, они всю тяжесть своей ненависти переносили на белых поработителей. Происходя в первом поколении от того самого побуждения к смешению крови, которое не знает ни белых, ни черных, которое ломает перегородки сословные, классовые, они были живым доказательством протеста природы против классового устройства общества, и однако никакие их усилия, никакие усилия собственной мысли не давали им возможности выйти из страшного тупика, в который загнал их освежающий, грозный, громоподобный вихрь французской революции. Перед одними были перспективы колоссальных возможностей, других страшил тот страшный гнет, который являлся результатом напуганного воображения колонистов и белых людей на Гаити, ибо, как гласил доклад Сен-Мери, «если одни требуют свободы, то другие удваивают тягости рабства».

В гостиной, украшенной сообразно европейским обычаям, Цюбалл стал перед французским генералом и, рассыпаясь в раболепных выражениях, просил его «оказать честь» десяткам кушаний, расставленных перед французом на маленьком круглом столе.

Модюи огляделся. Двери, обитые тонкими полосками сантала почти малинового цвета, были затворены, ни одного вздоха не слышалось за ними.

— Дорогой генерал, — сказал Цюбалл, оглядывая якоря и золотые листья — узорное шитье на синем мундире Модюи, — я долго обдумывал свое намерение. Для того, чтобы вы не думали обо мне плохо и оценили мою преданность в полной мере, я, пока эы

кушаете, не предлагаю вам вина, потом и мне, старику, разрешите выпить за ваше здоровье. А сейчас скажите мне одно: не согласитесь ли вы взять в дар...

Модюи смотрел с любопытством и тревогой.

— ...Вот этот небольшой кусок земли, на котором стоит вот этот мой дом. Он довольно удобен, обширен, как все земли вокруг. Здесь родится лучший кофе во всей стране, здесь созревают лучшие ананасы, у меня восемь сахарных плантаций, одна табачная, одна ванильная, четыре хлопковых... Я должен уехать, я становлюсь стариком.

— Куда же ты уезжаешь? — спросил Модюи, ошеломленный этим предложением.

— Я стар и достаточно богат, я хочу на покое пожить остаток дней, вы знаете, какие времена. Если я сейчас начну продавать мое имущество, мне за него дадут так мало, что разговор о продаже будет стоить гораздо больше для моей печальной старости, и, кроме того, я могу продать только мулатам, которые вообще страшно скупы. Если я выдам вам расписку в получении от вас платы за мои земли, вы несколько не пострадаете, я не возьму с вас денег, но я смогу спокойно выехать, оказавши, таким образом, знак малого, но посильного внимания благородному французскому властелину, вступившему на землю Сан-Доминго.

— Так ты за этим меня звал? — вдруг вставая, произнес Модюи.

— Да, генерал, — твердо сказал мулат: — меня беспокоят ваши артиллеристы. Они начали подкоп моего виноградника, с моря карабкаются матросы к маленькой табачной сортировочной, которая для меня очень дорога, потому что я на опыты с табаком потратил лучшие силы моей юности. Ваши чудаки французы называют табаком это растение, которое все мы называем петон. Табаком же в старину называлась трубка, которой курят эту траву. Дело совсем не в том, мне стало беспокойно жить в близости к столице острова. Господин Никот преподнес вашей королеве Екатерине Ме-

дичи в 1560 году это растение. Вот этот никотов табак я улучшил тем, что получил самые замечательные сорта, вы будете их владельцем, только потребуйте, чтобы прекратили с моря и с суши подкопы под мою усадьбу, владейте ею сами, презирующие нас матросы не осмелятся подкапывать имущество французского генерала. — С этими словами Цюбалл налил в чистую стопку коричневый, густой, тягучий и наполняющий комнату запахом напитков — ром из О'Кэя.

Модюи вдруг оживился, он поднял стопку до уровня глаз, выпил ее залпом и сказал:

— Хорошо, я согласен, когда ты едешь?

— Когда прикажете, генерал, — сказал Цюбалл.



На утро четвертого дня артиллерийские работы во всех имениях Цюбалла были прекращены, через неделю генерал везжал полномочным собственником одного из богатых имений, и уже в качестве собственника он руководил организацией войск против восстания Оже. Не показываясь нигде сам, он через подставных лиц проделал неслыханные жестокости: он восемь тысяч цветных негров закопал по горло в песок в десяти туазах от Макориса и пустил по этому огороду из человеческих голов, еще дышащих и смотрящих в небо, одиннадцать эскадронов французской конницы, которая крошила коваными копытами человеческие черепа. Генерал Модюи все чаще и чаще прибегал к коричневому напитку, оставленному в погребах Цюбалла, окончательно провозгласил себя сторонником французской монархии, и, в то время как мулаты и свободные негры требовали уравнения в правах и участия в законодательном собрании Гаити, генерал Модюи был сторонником того, чтобы разогнать всякие выборные собрания и уничтожить всякую память о французской революции. Белье колонисты, не принадлежавшие к числу богачей Сан-Доминго, владевшие небольшими фак-

ториями почти у самой горы, на заре внезапно были разбужены трубами французских горнистов. Конница генерала Модюи пересекала кратчайшим путем фактории, но эти люди вдруг с музыкой бросились в атаку на стада, пасшиеся в предгорных прериях Гаити. Этот безумный поступок довершил изоляцию Модюи. Когда удивлению колонистов уже не было границ, начались безумства французского генерала, не было удержу в его затеях. Но вот однажды в день казни Букмана, когда генерал Модюи соскакивал с лошади у собственного дома, неизвестный негр, встав у стремени, ударом кривой шашки снес голову генерала, вскочил на его лошадь и ускакал. Так кончилась карьера владельца дюбалловского имения, самого либерального генерала французской армии, вольтерьянца и почитателя идей Руссо, корреспондента «Монитёра», бежавшего за границу и продававшего Францию.

— Какие газеты выходят в Париже?

— Да очень много, господин Лавуазье.

— Ну, например?

— «Старый кордельер», «Национальная газета», или «Всемирный указатель», ну, потом «Логограф», ну, потом «Патриотические анналы», потом «Отец Дюшен», «Дебаты».

— Хорошо, но где же опубликовано о том, что я вышел из откупов? — спрашивает Лавуазье.

— Право не знаю, нигде не опубликовано, — был ответ.

— Знаете, — заявил Лавуазье, — я становлюсь похож на птицу из стаи в осенний перелет. Десять лет тому назад охотник убил одну на берегах Сены, и с тех пор вся стая при перелете из Скандинавии в Африку гибнет Париж. Что мне делать?

— Что вам делать? — отвечал собеседник, доктор Кабанис. — Ну, принимайте дюрандовы капли и успокойтесь. Я не вижу разницы в том, заявлено ли вами о выходе из откупов до или после их ликвидации.

— Ах, вы меня не понимаете, — сказал Лавуазье. — В феврале этого года меня снова призывали, предлагали занять должность директора Режи де Пудр, я отказался. Ну, где мне быть директором пороховых заводов? Я продолжаю свою работу, но мне все труднее, труднее дышать, беспокойство не затихает.

Кабанис взял его за руку, нащупал пульс и сказал:

— Великий Гарвей говорил, что вполне можно обойтись с одной третьей той крови, которая дана человеку. Сделайте себе кровопускание, посмотрите, как надулись жилы у вас на висках.

— Я не докончил своей мысли, — сказал Лавуазье, не отнимая левой руки. — Комиссар секции произвел обыск в Арсенале, опечатал все мои документы, опечатал все мои научные работы, а без некоторых формул я не могу продать самое интересное, что я считал делом своей жизни, плотность воды я считаю единицей веса, мы хотим установить универсальный метраж, согласно природе. Великий Руссо учил, что она является нашей матерью, а нет ничего лучшего, как воздать должное виновнице своей жизни.

— Как бы она не стала виновницей вашей смерти, — проворчал Кабанис, — у вас повышенное давление крови, сосуды полопались у вас в глазах, вы смотрите плохо.

— Так вот я говорю, — перебил его Лавуазье, — мой помощник Лафозэ застрелился, это был невиннейший человек... Бумаги мои опечатаны, как я могу перед началом нового века дать французам и всему человечеству новые единицы мера и веса, установленные революцией?

— Я бы на вашем месте уехал.

— Что это поют? — вдруг вскричал Лавуазье.

— Как что, — со смехом сказал Кабанис, — это — боевая песня марсельского батальона. Офицер Руже де-Лиль на фронте сочинил эту песню. Гретри написал на нее музыку. Вот нежный Гретри, автор оперы «Ричард-Львиное Сердце», вот, представьте себе, дорогой

Лавуазье, это сочетание: юный офицер с лицом девушки и старый композитор, автор королевских пасторалей, музыкант во много раз лучше, нежели какие-нибудь нежнейшие и сладчайшие Рамо и Люли, вдруг соединили свои голоба, чтобы сочинить вот такую песню.

Волонтеры, проходившие мимо Арсенала, пели:

Вступаем мы в кровавый путь,
Когда отцы в лучах денницы
Принуждены навек уснуть,
И мы украсим их гробницы.

И ночью мы найдем их след.

Сквозь бури лет и сквозь бураны
Несем мы на алтарь побед
Свободы лучший первоцвет,
Так трепещите же, тираны!

Лавуазье и Кабанис стояли у окна. Молодежь в новых мундирах со штыками громко пела. Доносились еще слова: «Людовик, деспот кровожадный... Но вы, сообщники Кондэ...»

Кабанис улыбнулся маленькой, хитрой, лисьей улыбкой и говорил, успокаивая Лавуазье:

— Вот посмотрите, автор сочинил-таки песню, и сам испугался. Я подробно знаю из комитета двенадцати, что когда господин Карно приехал в Рейнскую армию и сообщил господам офицерам о низложении короля, так вот этот самый автор марсельезы, красная девица, Руже де-Лиль, сорвал с себя эполеты и швырнул их в лицо генералу Карно.

— Ну и что же? — спросил оживленно Лавуазье.

— Что же, — повторил Кабанис, — что же, Руже де-Лиль убежал в штаб Дюмурье и потом скрылся в Эльзасе.

Лавуазье вдруг засмеялся:

— Ну стоило ли писать такую песню?

Кабанис сказал:

— А стоит ли вам горевать о ваших формулах, вы как будто очень взволнованы? Да что вы в переписке с эмигрантами, что ли?

— Нет, — ответил Лавуазье, — я считаю это бесчестным, я—сторонник революции, но меня беспокоит непонимание толпы.

Кабанис улыбнулся едко:

— А вы ее понимаете? — спросил он.

— Важно, чтобы она меня понимала, ведь во мне французские интересы.

— А она думает: важно, чтобы вы ее понимали.

— Мы не сойдемся, — сказал Лавуазье.

— Ничего, — сказал Кабанис, — простите меня, старика: если вы не сойдетесь, вас сведет машина доктора Гильотэна, которую неведомо кто вчера поставил на заре перед самым зданием Отель де-Вилль.

Раздался стук в дверь, вошел слуга и сообщил:

— Господин Пинель.

Кабанис улыбнулся тонкой звериной улыбкой, трудно было понять, смеются ли его глаза, или его губы складывались в лисью усмешку. Видя колебания Лавуазье, он вдруг с лихорадочной быстротой заговорил:

— Слушайте, академик, примите его! Ведь это же страшно интересно, если какой-нибудь господин Месмер оказался просто шарлатаном и сукиным сыном, то ведь... Пинель! Это же ведь гений перед ним, это же лучший лекарь заболеваний духа!

Но Лавуазье без агитации Кабаниса был склонен принять Пинеля. Пинель был у Лавуазье. Месяц тому назад он принес в пробырке тонкий зеленый пепел с просьбой дать качественный анализ странного зелья, только-что привезенного с Антилий комиссаром Законодательного собрания Сантонаксом. Этот зеленый порошок был отобран у двух матросов, которые на палубе «Артемиды» в полубреду закололи капитана, скинули семерых матросов за борт, с страшной силой и бешеными криками захватили штурвал рулевого и компас в капитанской каюте и, выхватив шомпола мушкетонных, заклепали двенадцать орудий на борту корабля. Лавуазье больше не знал ничего. Пинель вкратце сообщил эти сведения и оставил вещество у химика. Сейчас Пинель вошел в комнату, где стояли Кабанис и Лавуазье. Пинель, очень спокойный, круглолицый, с улыбкой горечи, которая, опу-

кая его губы, странно противоречила выражению веселых, почти смеющихся глаз, сказал:

— Ну вот, дорогой Лавуазье, я, кажется, не опоздал, ко мне пришел некий пикардиец, господин Демулен из города Гизе, тупоумный старик и скряга, верноподданный его величества бывшего короля, у него все в голове перепуталось. И знаете, с чем он ко мне пришел?

Кабанис вежливо встал и, обращаясь к Пинелю, сказал:

— Я не помешаю великому лекарю душ в беседе с великим знатоком вещей?

— О, нет, — сказал Пинель, — в моей науке нет секретов, чем больше фонарей светит в этот бездонный погреб, тем лучше.

— Так ли это? — спросил Кабанис, — ведь наука любит тайны!

— Наука любит свет, дорогой Кабанис, — вдруг отозвался Лавуазье.

— Так что же, дорогой Пинель, — спросил Лавуазье, — какие дела привели к вам отца Камилла Демулена?

— Прежде всего, — спросил Пинель, — какой это Камилл Демулен, это тот самый, который издавал «Революцию Франции и Бранбанта»?

— Да, да, тот самый, — ответил Кабанис. — Все дело в том, что этот юноша только-что женился на богатейшей невесте Парижа Люсиль дю-Плесси. Эрот яростно вмешался в политику, и мальчик Демулен не знает, оставаться ли ему верным революции, или только своей жене, прекраснейшей из женщин, которых я когда-нибудь видел.

— Да, они друг друга стоят, — сказал Лавуазье.

— Так знаете, с чем явился этот старик? Он требовал, чтобы я властью начальника Сальпетриера и Бисэтра, двух домов умалишенных, освидетельствовал его сына и признал его безумным матерубийцей.

— Как?! — воскликнули оба: и Лавуазье, и Кабанис.

— Да так! старик сообщил, что в силу присоединения сына к партии мятежников, уничтожающих законную

власть во Франции, его мать заболела и потеряла мензулы от испуга.

Кабанис засмеялся лающим и хриплым смехом:

— Дважды женщина теряет мензулы, первый раз, когда ей нужно родить, второй раз, когда приходит климакс, сколько же лет этой старухе?

— Не знаю, — улыбаясь, сказал Пинель. — Судя по возрасту супруга, ей пора готовиться с покорностью к возрасту климактерии и не роптать на судьбу: революция тут не при чем. Я сказал сумасшедшему старику, что я не только не могу помочь ему в отвратительном деле объявления сына безумным, но что я даже тех, кого безумие королевской власти посадило в дома умалишенных ради отобрания богатого наследства, и тех освободил и выпустил на волю. Я пригрозил ему революционным судом, я сказал ему, что он на плохой дороге, если революция сбила цепи с третьего сословия, то я, психиатр Франции, впервые пошел в Бисэтр, в больницы и в тюрьмы, чтобы снять с несчастных душевнобольных цепи, наложенные преступниками и невеждами. Можете ли вы себе представить, что среди 237 больных 50 закованных в цепи, как безумные, оказались совершенно здоровыми, их речь, их ясное сознание, их способность на все отвечать разумно показали мне, что истинные преступники — это те, кто осмелился надеть на них цепи.

Лавуазье слушал, склонив голову. Пинель продолжал.

— Вы помните восьмибашенную Бастилию, в каждой из восьми башен помещались пять восьмиугольных камер. И подвалы, и так называемые «камиллавки», сводчатые чердаки башен, ставили человека то под удары страшного зноя, то под конвульсии безумного холода. Офицеры Бастилии сами не знали, кто сидит в этих камерах. Какой там был воздух? Вы помните, что металлические прутья решеток пропускали через себя только отвратительную вонь главной клоаки улицы святого Антония. Тиканье больших крепостных часов с освещенным циферблатом преследовало каждого заключенного. Около цифер-

блата стояли две кариатиды, оббитые стальными цепями, мужчина и женщина, привязанные цепями к коробке часов, и эти стальные цепи позванивали при каждом проезде экипажей. На переднем плане цепи были связаны в огромный узел, и поржавевшая сталь звенела при каждом в'езде экипажа во двор крепости. Я просмотрел списки арестованных, там оказались, как теперь мне совершенно ясно, умнейшие люди, люди, объявленные безумными всего лишь за бунтовские слова против королевской блудницы маркизы Помпадур, там сидели двадцать семь человек за то, что они «были меланхоликами», там сидели восемь человек, пострадавшие от преследований интендантов и откупщиков.

Лавуазье вздрогнул, Пинель заметил свою неловкость и сказал:

— Могу вам точно сообщить, что по вашим откупам никто никогда не сидел в Бастилии.

Лавуазье мрачно произнес:

— Я давно вышел из откупов, несмотря на ссору с женой.

— Так,—продолжал Пинель,—там сидела некая женщина просто за приступ падучей болезни. Герцог Неверский отправил в Бастилию своего брата, потому что не мог поделить с ним его красавицу-жену, и тот действительно понастоящему сошел там с ума. Господин Териссон, пытавшийся продать за границу рисунки лионской шелковой фабрики, был арестован и сошел с ума. Кажется, только Вольтер вышел из Бастилии, не только сохранив, но еще больше заострив свой едкий и глубокий ум. Я не перечислю всех старух, молодых женщин, стариков и молодых мужчин, которые сидели в Бастилии за сношения с дьяволом, за колдовство, за магию и чародейство; еще совершенно недавно по существу это были обычные отравители, которые, смазываясь на ночь сочетанием вполне известных ядов, до безумия доводили экстазы своего воображения, их рассказы были достаточным поводом для королевского суда, для ареста и даже для придания сожжению, как за религиозные преступления.

Кабанис кивал головой, он был строгим материалистом, и эта система воздействия химии на воображение была ему известна до тончайших деталей, но ему никак не хотелось спорить с парижским духовенством. Как ученый он одобрял Пинеля, признавал его правоту, но как политик и бывший королевский врач он думал, что осторожнее в жизни держаться «на двух якорях», и молчал во время молодой, гордой и сильной речи Пинеля.

— Так как же? — спросил Пинель,—обращаясь к Лавуазье, — мой опыт рассчитан на четырнадцать порций.

Лавуазье сделал движение удовлетворения. Пинель засмеялся:

— Да, четырнадцать,—сказал он,—получился полный успех. Как ваш?

— Тоже, — сказал Лавуазье. — Этот порошок представляет собой то, что среди цветных племен Америки называется н и о п п а, это—порошок, который аборигены Караибских островов вытягивают из маленьких глиняных тарелок через очин птичьего пера в ноздри, он приводит их в состояние блаженного безумия, а частое и чрезмерное употребление этого порошка может привести их в состояние длительного безумия, сопровождающегося кровавыми стычками и проявлением вражды. Сантонакс не первый привез это средство из-под тропиков, и кажется мне, что тропики травят Париж и Париж травит тропики одновременно.

Лавуазье, Пинель и Кабанис перешли в лабораторию. Восемьдесят четыре пробирки стояли на деревянных штативах с держателями из проволоки. Лавуазье показал все стадии своего анализа. Пинель, улыбаясь, сказал:

— Благодарю, я тоже произвел анализ в целях моей науки, но я сам стал этим рядом стеклянных сосудов, и я сам на себе пережил весь опыт этого безумия. Мой помощник Латур был приглашен мною в свидетели, я разделил на четырнадцать порций яд, привезенный Сантонаксом, и испробовал его на себе.

Кабанис скептически наморщил брови, Лавуазье вздрогнул:

— Как? что? — спросил он, — да вы знаете, что это такое?

— Теперь знаю, — сказал Пинель:— Я выходил из самого себя и снова вошел в себя. Вернуться в себя было трудно, тем более что я принял три смертельных дозы. Но разве, мой дорогой Лавуазье, вы не помните, как вы ради опытов с разложением света долгие месяцы проводили в абсолютной темноте и не остановились перед риском потери зрения.

— Да, это был тяжелый опыт, — сказал Лавуазье.

— Также и я, — сказал Пинель, — погрузил свой разум в полный мрак, рискуя не вернуться.

— Ваш опыт вам будет стоить пяти лет жизни, вы забрали у природы на пять лет вперед, — сказал Кабанис, обращаясь к Пинелю.

— На ком же мне было его произвести? — ответил Пинель. — Я сам отвечаю за свои опыты, пусть знают, чего стоит наука. Люди, умирающие сейчас под прусскими пулями, когда еще не утихла канонада под Вальми, платят дорожке за то, чтобы их дети знали, что такое свобода. Известно ли вам, что Карно, определяя движение ядер и вычисляя траектории, пользовался боевой обстановкой, рискуя жизнью, он наблюдал падение германских ядер, так возникли самые его замечательные работы. Господа Гальвани и Вольта в своих открытиях животного магнетизма и нервной жидкости, разве они не прибегали к опытам, повреждающим здоровье? Не могу сказать, чтобы все это делалось без труда. Средства, которые я испытал, как источник многих человеческих безумий, есть к сожалению те же самые средства, которые фигурируют в процессах колдуний, в тысяче случаев, когда инквизиция умерщвляла людей, якобы летавших на шабаш, оно страшно действует на воображение, и в то время, когда человек лежит в полубморочном состоянии, ему грезятся дьявольские сцены, он испытывает увлекательное сатаническое безумие и просыпается в совершенном изнеможении, думая, что все это происходило на-

яву. Находящийся сейчас на моем попечении умалишенный в Шарантоне маркиз де-Сад, человек гораздо более невинный, нежели о нем говорит молва, обезумел благодаря длительному приему шариков, сделанных из этого порошка, но его увлечение не было бескорыстно, он не ставил никакого научного опыта и потому сделался рабом и жертвой бездушного вещества, он позволил себе ради забавы покидать здоровое состояние духа с такой же легкостью, с какой путешественник отправляется путешествовать, запирая на ключ дверь своей комнаты, и вот однажды в этой опасной дороге ключ оказался потерян, вернуться было некуда, маркиз де-Сад бродит сейчас около того жилища, которое являлось обителью ясного сознания, но не может переступить порога, отсюда мрачная меланхолия и состояние полной потерянности.

— Вы правы, — сказал Кабанис, — я воспользовался бы старым сравнением, которое я слушал неоднократно от Кондильяка и которое по существу вы можете найти в диалогах Дидро и Д'Аламбера. Помните: «Статуя, которой добавляют, у которой отнимают свойства». Ваш сумасшедший маркиз есть статуя, у которой вынули весьма существенное свойство. Все вещества определяют мысль, пища, питье создают равновесие и неравновесие тела.

Лавуазье встал, подошел к книжному шкафу и вынул небольшую книжку в переплете из красного сафьяна, принадлежавшую его жене. Он прочел вслух:

— «Любопытен метод Дидро для объяснения жизни как результата определенной организации материи, в других сочетаниях лишенной жизни». В диалоге между Д'Аламбером и Дидро мы находим следующее:

«Д'Аламбер. Я хотел, чтобы вы мне указали, в чем вы видите разницу между человеком и статуей, плотью и мрамором.

Дидро. Сравнительно в немногом. Из плоти делается мрамор, из мрамора — плоть... Что делаете вы, когда вы еди-

те? Вы уничтожаете препятствия, которые противодействуют активной чувствительности пищи, вы ассимилируете ее, претворяете ее в плоть, делаете ее живой, чувствительной. И то, что вы делаете с пищей, я могу выполнить над мрамором. Раньше, чем мать одного из величайших геометров Европы Д'Аламбера, прекрасная и преступная канонисса Тенсэн, достигла половой зрелости, раньше, чем солдат Латум стал юношей, молекулы, которые должны были образовывать моего геометра, были рассеяны в молодых и хрупких механизмах каждого из них, плавали в лимфатической жидкости, участвовали в кровообращении, пока наконец не соединились в сосудах, предназначенных для их слияния, в семенниках отца и яичниках матери. Редкий зародыш сформировался наконец, спустился по Фаллопиевой трубе, согласно общему мнению, в матку; прикрепился к ней длинной соединительной связкой; постепенно рос и превратился в человеческий зародыш; наступил момент его выхода из тесной тюрьмы; родился, был подброшен на паперти церкви св. Иоанна, в честь которого назван; взят из яслей на прокормление доброй госпожой Руссо; вырос, окреп духом и телом, стал литератором, механиком, геометром. Как все это совершалось? Благодаря еде и другим чисто механическим операциям. Тот, кто не пожелал бы изложить перед академией процесса образования человека или животного, не нуждался бы для этого ни в чем, кроме материальных агентов, в результате действия которых последовательно образуется существо инертное, чувствующее, мыслящее, разрешающее проблему предварения равнодействий, возвышенное, чудесное существо, затем стареющее, дряхлеющее, умирающее, разлагающееся на свои составные части и возвращающееся наконец в прах».

— Совершенно верно, — сказал Кабанис, когда Лавуазье кончил. — Вот почему человек должен искать какой-то гармонической связи с веществом, ибо, порывая эту связь, он ускоренно ведет себя к уничтожению. Но, — сказал Кабанис, обращаясь к Пинелю, — меня

собственно интересует, что побудило вас взяться за этот страшноватый опыт? Следует ли на опыте узнавать все виды человеческого безумия, ведь так мы придем к необходимости испытать состояние утопленника, испытать состояние сгоревшего человека, мы будем проверять на опыте вред пожаров.

— Я не иду так далеко, — сказал Пинель, — меня интересует только одно, какие побочные явления возникают у человека, охваченного действием ниоппы? Я убедился, что первоначально человек обладает повышенной чувствительностью ко всем явлениям действительного мира, потом действительность вытесняется призраками воображения, ибо я совершенно ясно помню, и это подтверждено моим ассистентом, что до шестой дозы я разговаривал с ним, когда он действительно присутствовал в лаборатории, потом я продолжал разговор с ним, видя его перед собой в то время, как он выходил уже из кабинета, и наконец между одиннадцатой и четырнадцатой порциями я довольно длительно спорил с моей матерью, реальность присутствия которой не могла быть ничем доказана, так как она умерла два года тому назад. Вот вам причина бунта матросов Сантонакса, вот вам причина безумия целого ряда деревень и сел Флориды, вот вам причина слабости многих восточных племен, принимающих в обильных дозах маковые напльвы, которые в обработке дают опий и которые обрекают целые племена и народы на медленное вымирание. Мой опыт раскрыл мне двери понимания целого ряда душевных болезней, источник которых до сих пор оставался неизвестен. Вместе с тем я теперь не считаю ошибкой предположение, что целый ряд наблюдавшихся по деревням безумий связан с применением так называемых любовных напитков, для меня ясно, что целый ряд нарушений духовного равновесия определяется временным характером. Вместе с тем для меня совершенно ясно, что только революция может поставить правильно вопрос о человеческом здоровье и только наука, отнюдь не религия, может

осветить человечеству его ясный и хороший путь. Рабство и невежество идут рука об-руку, истинная наука совершенно свободна и всегда революционна.

— Вы правы, — сказали оба, Кабанис и Лавуазье; — ваш опыт далеко не бесполезен, но дорого обходится человеку его знание.

— Да, — сказал Пинель, прощаясь, — я думаю, что возникнут какие-то другие ассоциации ученых, помимо академии. Без большой солидарности науки, без дружеской руки, протянутой друг другу учеными разных областей, невозможно создать единого знания. Вот без помощи Лавуазье я не мог бы произвести анализа этого сложного растительного яда, у меня нет тех колоссальных возможностей, которые предоставлены великому химику его шестнадцатью лабораториями.

Лавуазье устало посмотрел на Пинеля и сказал:

— Только мое огромное состояние позволило мне так широко поставить опыты. Предшествующие столетия не давали ученому и его друзьям столько средств, потраченных на одну цель. Теперь я уже лишен возможности тратить так много, я уже не откупщик и не жалею об этом.

Пинель посмотрел серьезно и сказал:

— Еще раз благодарю. Я горячо убежден, что Конвент получит возможность улучшить состояние наук во Франции, Конвент даст вам неизмеримо большие средства, чем давали ваши проклятые откупа.

Лавуазье отвернулся и, глядя в окно, произнес:

— А вам не кажется, что я уже отчитался перед человеческим миром в тех средствах, которые мне давала Франция?

Пинель горько улыбнулся и, тронув Лавуазье за локоть, сказал:

— Вы предлагаете ваш вопрос таким тоном, как будто сами сомневаетесь в себе. Ведь только слепой или злодей может отрицать неизмеримость ваших заслуг перед людьми.

— Увы! — сказал Лавуазье. — Не только слепой и не только злодей, не

проходит дня, не проходит часа, чтобы я не чувствовал на себе всей тяжести людского непонимания. Люди слепы, им кажется вздором вся программа научной работы химиков будущего века, они видят во мне только богача. Их глаза горят бешеным огнем, звериной завистью. Никогда не чувствовал я себя так покинутым и так безвыходно окруженным врагами, как теперь.

Пинель, казалось, не слышал, он произнес, как бы в воздух:

— Комиссар Законодательного собрания Сантонакс рассказывает очень много интересных вещей о происшествиях в Сан-Доминго. Вы, кажется, имели отношение к «Обществу друзей чернокожих»?

— Да, — сказал Лавуазье.

— Прочтите журнал Сантонакса, — сказал Пинель. — Это даст вам ключ к пониманию событий.

Простились. Пинель обещал Лавуазье прислать тетради дневников Сантонакса, написанных по пути из Гаити во Францию.

ГЛАВА IX

Консул в сенате:

Тайну раскрой, римский герой,
В битвах бесстрашен и сдержан,
Также без страха сейчас назови,
Кто виноват, что в гражданской
крови
Ты, побежденный, повержен?

Полководец:

Счастливы был путь, жизнь весела...
В каждой победе Гомерова Троя...
Разве я знал, что тайком из угла,
В сердце ударив, Эрота стрела
Жизнь переломит героя?

Консул в сенате:

Римский сенат и римский народ
Путь твой хранили незримо.
Если ж твой меч похитил Эрот
И без оружия ты вышел в поход,
Гибни от ярости Рима.

Приговор сената:

Излишен спор, есть уговор:
По ступеням Капитолия
Выйди в толпу, потупивши взор,
И две секунды не более
Смоют позор.

После ухода героя:

Лажешь, безвестный и строгий,
Там, на Сабинской дороге,
Не сыщут ни люди, ни птицы

Твоей безымянной гробницы.
 Не зная коварства и страха,
 Смежают герои ресницы,
 А боги, не зная коварства,
 Стирают людские столицы.
 Сметаются древние царства,
 Как горсточка пыли и праха.

Латур: «На смерть героя».

ЖУРНАЛ САНТОНАКСА

«Z» 1792

Штиль кончился, «Колдунья» идет под полными парусами, капитан Посек повеселел. Жалею, что не вел журнал в течение восьми штилевых дней. Противоречивые чувства сгладились, но события кажутся более грозными. Теперь, когда Гаити так далеко, можно считать себя уцелевшим в борьбе столь противоречивых стихий. Вывод один: нет ни одного сословия, нет ни одного класса в Антилиях, которые были бы довольны Францией. Богатые колонисты ненавидят метрополию санкюлотов и жаждут возврата королевской власти. Бедные европейцы: французы, испанцы и англичане стремятся лишь к одному — овладеть избирательным правом, чтобы не допустить ни одного закона, который нарушал бы их и без того нарушенные интересы. Мулаты, первоначально такие спокойные, после речи Барнава и безобразий, допущенных Бланшландом и Модюи, пришли в совершенную ярость, неудача первого восстания, внезапный поворот белых, принявших мулатское население в свою среду, а потом опять низведение свободных мулатов на степень рабов — все это издергало людей, создало неуверенность в завтрашнем дне и окончательно подорвало доверие к Франции, не ныне-завтра произойдет самое страшное. — мулаты начнут искать соединений с маронами. Негры ходят на сходки глубокой ночью. Я наблюдал две деревни, которые до утра казались неживыми, под утро мужское население вернулось. Где они были?

«X» 1792

Кто такой покойный Модюи? Убитый полковник купил у мулата Цюбалла его имение. Мой двоюродный брат Моро

де-Сен-Мери рассказывает, что человеческая кровь состоит из 128 белых частей у европейцев и 128 черных у негров, средняя — это 64, мулат составлен из 64 белых и 64 черных частей. Моро де-Сен-Мери говорит, что таково учение великого Франклина, все прочие племена, квадруны, гриффы, актероны, идут вправо и влево от этой линии в 64 равных части. Если бы Модюи был жив, я, комиссар Законодательного собрания Франции, должен был бы его арестовать. Не знаю, в каких отношениях Модюи состоял с мулатом Цюбаллом, но цюбалловское имение было в руках Модюи. За неделю до нашей поездки на борту «Колдуньи» мои агенты выяснили, что табачный домик Модюи, снесенный бурей, был построен над скрытым фортом. Я приказал оцепить дом Модюи, я поставил часовых у входа, и когда расчистили почву под табачным домиком Модюи, то обнаружили большую каменную кладку с выходом на море. Эта каменная кладка, глубокая и древняя, заканчивалась амбразурами в сторону моря, и против них были обнаружены в полутемных нишах четыре английские орудия. Этот преступник Модюи очевидно в уговоре с мулатом Цюбаллом охранял целый английский форт, прототившийся неподалеку от столицы и готовый ежеминутно четырьмя пушечными жерлами не только раскидать фашины, закрывавшие амбразуры тайного форта, но в каждые три минуты выпускать смертоносные ядра против французских кораблей.

Погода прекрасная. Пена у кормы и на гребне носовой волны одинакового цвета, значит, еще дня три пройдем, не меняя парусов. Птицы давно исчезли, океан без островов, и только изредка марево на горизонте дает впечатление суши. Опрокинутый красный круглый остров с пальмами целый час мучил сегодня матросов, как видение, на западе. Четыре матроса-нивернезца заболели. Перед вечерней молитвой на палубе у них наблюдался приступ невероятной болтливости, ночью они бредили и один другого поранил кухонным ножом. Что ждет меня во Франции?

«А» 1792

Чем больше размышляю о протекших семи месяцах, тем более теряюсь в догадках. В первый месяц я не умел привыкнуть к сияющему небу, к ландшафту, к жизни, которая нисколько не похожа на жизнь Европы. Ночные тени, длинные, прозрачные, необычайно подвижные, пугают решительно всех приезжих. Растения, все превосходящие своей буйностью... Сведения, сообщенные мне перед отъездом господином Бриссо, не подтвердились. Оже считал себя только проводником спорного права. Молодой мулат, красивый, он был больше французом, чем креолом, он был воспитан в Париже, и обстоятельства вынудили его оставить там свою невесту. Он служил в Германии, знал и посещал многих тамошних людей и принадлежал к «Обществу друзей черных», в которое ввели его аббат Греггар, господин Кондорсе и господин Лавуазье. Будучи агентом общества, он, вернувшись в Сан-Доминго, окружил себя надежными мулатами. Он успел собрать около Большой Ривьеры, в пятнадцати милях от Капа, отряд в триста человек, согласных умереть или победить. Отряд Модюи приуудил его укрыться в испанской части острова. Там выдали его французскому правосудию. Оже и его двенадцать товарищей были колесованы на площади перед собранием. Кем был бы Оже, оставшись в Париже? Молодой человек с такими блестящими задатками, образованный, живой, оригинальный, он мог бы сделать честь любому министерству в Париже, и вместо этого он попал под ножи колесовальной машины, и куски его плоти вместе с брызгами крови разлетелись по площади перед собором, где еще недавно как святыня хранилась гробница Христофора Колумба. Как это странно, древнее караибское население когда-то при встрече с великим открывателем земель Христофором Колумбом было обречено этим последним на рабство. Колумб предлагал европейским монархам начать торговлю, но это было остановлено весьма забавною вещью. Когда один христианский священ-

ник долго пытался объяснить караибам новую веру, а первые мушкетеры Колумба алчно вытаскивали золото отовсюду, тогда на помощь неумелому поповскому языку пришли глаза караибов, они взяли слиток золота и, придя к Колумбу, сказали: «Мы поняли — вот настоящее божество белых людей, возьмите его, мы ему не поклоняемся».

«Л» 1792

Сегодня легли в дрейф, паруса не убраны, они висят по мачтам и реям и не шелохнутся. Два креола поют песни на корме, Босек играет в карты с моим помощником, огромные рыбы появляются по ватерлинии, почти примыкая к обшивке, покрытой раковинной. Никаких птиц, небо чисто и безоблачно, солнце злое, хочется спать. Что представляють собой негры? Англичане ежегодно привозят их в числе сорока тысяч, они торгуют дешевле французских капитанов. Напрасно думают, что все они одинаковой породы, негры либерийского побережья совсем не то, что негры Слонового Берега, негры Слонового Берега совсем не то, что эфиопяне. В последней партии прибыли остролицые, сухие, черные люди с небольшими острыми бородками, с суровыми, умными глазами и походкой принцев, креолки заглядывались на них на пристани. Корабль «Клеопатра» был предметом общего внимания. Почему-то он подошел к форту Акюль, и губернатор никак не хотел объяснить мне причины этой странной остановки. Некоторые племена приносят в Гаити замашки своей страны, они верят в колдунов, которых называют оби.

«S» 1792

Поймут ли во Франции мой доклад? Отпустят ли меня снова с теми полномочиями, каких я хочу просить? На плантации графа Ноэ я видел очень странного негра: маленький, худой, с бесконечно грустными глазами, он принадлежал к имению Бреда. Я не помню его местное прозвище, по-французски звали его Туссенем, ибо он родился в день всех святых. Я не помню, как завязалась наша беседа, он спрашивал,

как идут дела в Париже, потом вдруг перешел к вопросу: «Что дороже: человек, работающий над сахаром, или сахар?» Когда я, не поняв вопроса, переспросил, он объяснил:

— Речь идет о том, чтобы французский закон освободил черных и цветных людей. Во Франции говорят, что от этого повысятся цены на сахар, а мы говорим, что мертвый человек и раб дешевле сахара, а живой человек и друг французской свободы может сделать так, что все вещи этого мира станут дешевле.

Он со смехом сказал мне:

— Бедные люди Парижа не станут есть сахар, если он смочен человеческой кровью.

Если так думают многие негры, то они умнее многих французских министров. Что представляют собою нынешние партии в Сан-Доминго? В Сен-Марке собрались самые упорные и самые злые колонисты, они назвали себя «Общим собранием французской части Сан-Доминго», они провели целый ряд решений, по которым декреты Национального Собрания в Париже будут приниматься лишь в тех случаях, когда они одобрены постановлением собрания в Сен-Марке. Однако не все колонисты согласились с этим решением, те, кто объявил себя сторонником метрополии, надели шапки с белыми бантами, сформировали партию «Белых помпонов». Противники сформировались также и назвали себя «Красными помпонами». Началась гражданская война в колонии, положившая отпечатки на все действия колониальных комитетов. Я усматриваю источник больших несчастий для Франции именно в том, что ни одно распоряжение, ни декреты Национального Собрания и ни одно письмо от Законодательной власти не приходят в Сан-Доминго в своем виде, все бывает искажено произволом «Красных помпонов» или их тайной организацией, которая намерена уничтожить самый признак свободы, организации, которая пойдет на все, лишь бы сохранить колоссальные барыши, получаемые рабовладением, и уничтожить своих соперников. Я ничего не

мог с ними сделать, последнее двусмысленное выступление гражданина Барнава и письмо господина Бриссо не рассеяли тумана, чтобы облегчить мою задачу.

«V» 1792

Со смутным чувством еду. Вновь крепчает ветер, трудно писать, бьют склянки, бегут песчинки в стеклянных часах, пространство слетает: узлы за узлами под кормой. Еще немного — конец океанского безлюдья. Во время дрейфа виновного матроса подвергли килеванию, двое, опьяненные ниоппой, заклепали пушки шомполами мушкетеров и едва не вызвали возмущение всей команды. Босек уже не играет в карты, за два дня дрейфа он пожелтел, по его приказу произвели обыск у всех матросов, ниоппа найдена, я приказал снести ее ко мне в каюту. На корабле становится противно, Босек рассказывал историю «Леопарда». Он смеялся по поводу того, что адвокаты в Национальном Собрании берутся не за свои дела, — разве могут провинциальные люди, боящиеся переплыть с одного берега Жиронды на другой в лодке, решать вопрос о том, как наказывать матроса громадных океанских шестидесятипушечных кораблей. «Самое смешное — вот что, — сказал Босек, — когда господа «Красные помпоны», самые богатейшие плантаторы севера Гаити, прибыли в Брест на «Леопарде» после побега от ярости мулатов и негров, они первым делом разыграли из себя «мучеников свободы». Они жаловались на всех и прежде всего на людей, остановивших их колониальные зверства. Плантаторы-богачи на «Леопарде» заявили, что губернатор Сан-Доминго Пейнье едва выпустил их из гавани, намереваясь пушками обстрелять свои же французские корабли. И так целый месяц корабль «Леопард» именовался «Спасителем нации», а восемьдесят три богатейших буржуа были приняты брестскими моряками как жертвы и спасители свободы. Только приезд двух комиссаров Национального Собрания выяснил, кто такие эти защитники свободы. Босек смеялся, смеялся больше всего не тому, что они, эти буржуа, обманули легковыхных

брестских матросов, захотевших на прибере «Леопарда» заработать смягчение жестокостей «Морского кодекса», он смеялся тому, что депутат Гренобла Барнав перепугался, как бы в самом деле экипаж «Леопарда» не оказался революционнее Национального Собрания. Он успокоился, он встретил плантаторов, почти роялистов, и комиссар Национального Собрания быстро принужден был освободить их из-под ареста, с почетом перевезти их в Париж. Босек смеялся, а меня охватила ярость, ибо не только управлять, но даже понимать сложные связи племен, людей и имуществ в колониях невозможно из Парижа. Таков мой доклад Легислативе.

«W» 1792

Разница между матросами. На «Колдунье» работают негры, французы и голландцы. Голландцы хуже всех. Между матросами французами и неграми неожиданная дружба. Недавно я слышал собеседование негра Коффи и французского матроса, кажется, его фамилия Дартигойт. Оба говорили о новых и старых законах. Негр рассказывал, что в районе Сан-Доминго, при клубе колонистов, содержится питомник в две тысячи собак, их кормят негрским мясом.

— Откуда берут негрское мясо? — спросил Дартигойт.

— Покупают у негрятюк больных детей, — ответил Коффи, — и провинившихся негров отдают на с'едение псам. Две тысячи собак откармливаются и дрессируются только для одной работы, они разыскивают бежавших негров. По «Черному кодексу» бежавший негр приравнивается к вору, ибо он «украл у хозяина свою рабочую силу».

Дартигойт качал головой. Оба, не видя меня, говорили неслестные вещи по адресу Франции. Дартигойт шептал:

— «Морской кодекс» не лучше вашего «Черного кодекса». Матросы французского флота такие же рабы. В Париже уже четвертый год заседают куп-

цы и адвокаты, никому не стало от этого легче. Что король, что купец, что офицер, что адвокат — они все за богатых и за власть имущих, бедноте всегда живется плохо!

Почему Легислатива не знает о таких разговорах? Эти разговоры не единичны. Действительно, обращение с матросами чудовищное. Килевание — это обычное страшное наказание, при котором матрос, схваченный канатами с носа и помещенный под килем, не всегда живым вытаскивается на канатах из-под кормы, самые лучшие пловцы, и те говорят: «Килевание можно выдержать только один раз в жизни». Дартигойт выдержал его дважды, по второму разу он лежал на палубе, запихивая обрывки «концов» к себе в ноздри, пока не остановилось страшное кровотечение. После этого его все-таки били. Я чужаю человека, озлобленной Дартигойта, он никому не верит, на всех смотрит волком.

«Д» 1792

Наконец я узнал, кто этот молодой человек, который едет с нами. Это — полицейский агент господина Ролана с фамилией Рош-Маркандье. Он был секретарем Камилла Демулена, а теперь, имея поручение господина Ролана, занят составлением памфлета под названием «История хищников». Памфлет имеет в виду главным образом Дантона, но Ролан хорошо платит за все, там фигурирует и Демулен, и Марат, и многие другие. Рош-Маркандье, смуглый, молодой, наглый, производит отвратительное впечатление. Это — продавец чужих секретов. Мои впечатления сводятся к тому, что он имел какое-то тайное поручение в Сан-Доминго. Вполне возможно, что и я фигурирую в его секретных донесениях господину Ролану. Что же встретит меня в Париже?



Сантонакс прибыл в Париж 21 января 1793 года. Он не застал Легислативу, он застал самый разгар Конвента. В этот день по приговору Конвента голова короля Людовика XVI была отрублена гильотиной.

После речи Барнава Законодательное собрание раскаялось, что сгоряча, под влиянием Бриссо, послало инженера Сантонакса в колонии для «выяснения положения цветнокожих и черных людей». Этот человек при всех своих добрых желаниях не располагал никакими полномочиями и потому попал в совершенно ложное положение, приехав в Сан-Доминго. Но прежде, чем он успел выйти из этого положения, прежде, чем он успел написать что-либо в Париж, в самом Париже развернулись обстоятельства чрезвычайной важности, — острая часовая стрелка на циферблате истории, как пылинки, смахивала человеческие головы. Когда 10 августа 1792 года Париж второй раз совершил один из чудеснейших законодательных актов, давших образец революционной законности, он воспроизвел этим вторично неизгладимые картины разрушения таможенных стен Парижа и взятия Бастилии. Теперь уже не разрушение мертвого камня, а живая Бастилия французского феодализма — Людовик XVI с семьей — были объектом законной ярости парижского народа. Совершая акт величайшего исторического правосудия, пролетариат взял приступом Тюильрийский дворец, разметав отряды швейцарцев, безжалостно стрелявших в толпу почти безоружных людей. Законодательное собрание не знало, что ему делать. Как Учредительное собрание не имело никакого отношения к взятию Бастилии, так теперь Легислатива не без некоторого ужаса отнеслась к тому, что еще недавно почти на ее глазах вышвырнули из дворцов королевскую семью и челядь в золоте со всеми «первыми и вторыми мороженщиками короля», со всеми пятнадцатью «придворными врачами» на каждого члена семьи, со всеми «двадцатью семью камеристками на каждую королевскую даму», со всем старинным феодальным обиходом, который, чем дальше, тем больше производил впечатление нарочитой, притупляющей ребячливости взрослых, стремящихся устарелой формой пышности одурачить огромные массы работающих на них людей. Пер-

вое выступление парижского народа вспыхнуло 12 июля после горячих слов Камилла Демулена, когда за два дня перед взятием Бастилии Демулен, только-что выслушав политические новости в кафе Дефуа, призвал Париж к оружию. Он прямо обратился к толпе со словами: «Двор и король сейчас нанесут удар народу, не теряя ни мгновения, предупредите предательство! Все в бой, к оружию, народ парижский! Кто с нами, наденьте этот знак».

Знак парижского пролетариата не был заказан ювелиру, Камилл Демулен сорвал его с ближайшего каштанового дерева, этот листик он прикрепил себе на шляпу. К счастью в Париже хватало каштановых деревьев, чтобы друзья могли по этому знаку соединиться в совместных усилиях, когда сотни и тысячи людей ринулись на мрачную крепость, овеянную ужасом дыхания легенд, шедших из глубины средних веков.

Если в событиях 14 июля играл роль Камилл Демулен, то в событиях 10 августа и в сентябрьских казнях прямыми вдохновителями были Марат, Дантон и Робеспьер.

Камилл Демулен родился в 1760 году, Дантон — в 1759. Марат, Дантон и Демулен были основателями «Клуба Кордельеров». Клуб выступил на арену борьбы в те годы, когда политические события сложились более отчетливо. Кордельеры не терпели тех изменений, которые пришлось перенести якобинцам. От умеренного, смешанного состава якобинцы шли все более и более налево до тех пор, пока наконец дали в Конвенте главенство горы, отчетливую и сильную партию монтаньяров. Уроженец Шампани — Жорж Дантон, рябой, с разрезом на верхней губе, огромного роста, шумный, бурный, крикливый, с громкоподобным голосом, слышным далеко за пределами здания, в котором он говорил. Дантон имел темперамент бойца, выносящего краткие вспышки и потом поспешно уходящего из боя. Казалось, в жилах его кипит, играет и искрится непребродившая влага шампанских виноградников. Детские бои с быком, от

которого пострадала рассеченная верхняя губа, мстительное чувство к другому быку, который переломил ему переносицу, ребяческий налет на стадо свиней, которые опрокинуло мальчишку Дантона и перекрошило ему грудную клетку,—все это говорило о нраве, безудержном и неукротимом, о стихийности порывов, о порывистой искренности и в то же время о длительной и странной неразборчивости. Дантон жил в округе Кордельеров. Лавчонка в нижнем этаже скрывала в себе тайную типографию Марата, а во дворе был сарай, в котором Марат, Дантон и Камилл Демулен вместе с доктором Гильотэном смотрели, как на овцах пробуют новую машину-головорубку. Безалаберность Дантона в целом ряде случаев заводила его в неверные тупики. Организуя вместе с Коммуной Парижа «10 августа» и будучи вдохновителем сентябрьской самозащиты парижского пролетариата от заговора бывших людей, Дантон объективно был повинен в том, что по Парижу ходили слухи о странных связях его с королевским двором, о том, что если он не получает от короля такие большие деньги, как покойный Мирабо, то лишь в силу того, что ему нечего предложить за более высокую цену, но это были только слухи, слухи носились о каждом, и, чем ярче был человек, тем темнее были слухи. Коммуна им не верила, она любила Дантона. Единственно, что не нравилось суровым парижским ремесленникам и молодым республиканцам Парижа, это — чрезвычайные кутежи Дантона, для которых нужно было иметь много денег, но об этом пока молчали.

Законодательное собрание шаталось и проявляло чрезвычайную медлительность, оно разбирало мелкие вопросы. Спорили о том, следует или не следует уничтожить статуи старинных французских королей. Два депутата тщетно предлагали Национальному Собранию отказаться от уничтожения статуй. Все-таки Робеспьеру удалось приказать именем Коммуны «закрыть стенное изображение Людовика XVI «Декларацией прав человека», а при грозном реве

парижской толпы Законодательное собрание принуждено было провести мероприятия о переливке колоколов и Бронзовых статуй на пушки и медную монету. Волонтеры в Возгезах кричали: «Да здравствует нация без короля!», рашельские судьи кончали заседание криками, обращенными в толпу: «Народ—самодержец, и больше никакой власти!», якобинцы города Страсбурга кричали: «Долой короля, да здравствует равенство и республика!» Вот в этой обстановке Законодательное собрание все больше и больше чувствовало себя лишним, и на 3 сентября 1792 года под давлением провинциальных коммун и Коммуны города Парижа, были произведены выборы в Конвент.

Отозванный Сантонакс возвращался из Сан-Доминго в Париж, разочарованный и не умеющий, и не могший применить своих сил. Пошатнулась жиронда, господин Ролан, ее министр, господин Бриссо, господин Верньо трепетали, компас Франции указывал ей левую дорогу, и она свернула на этот путь. Жирондистам было не по пути, они торопливо обиделись на историю, но не отказались от сопротивления. Госпожа Ролан писала: «Алмазы из короны королевы украдены Дантоном». Жирондисты пустили по Парижу этот слух, и Дантон молчал, не отвечая на выпады. Когда он говорил с трибуны, с задних скамей ему кричали: «Кому продал бриллианты?» Дантон молчал. Его хотели заставить заговорить, а он упорно «уклонялся от этой темы» и этим подливал масла в огонь. Увы, не на этом кончилась карьера Дантона. Профессиональные воры из Гард-Мёбль были найдены, но как раньше Дантон злился, а не печалился, молчал, а не оправдывался, так теперь он бурлил и бранился, но не предавался младенческой радости по поводу того, что миновала грозная туча. Весь Париж, вся Франция напряженно думали об одном, о будущем Национальном Конвенте. Все граждане голосовали на выборах, правда, выборы были двухстепенные, но это не меняло их значения в той мере, в которой хотелось исполь-

зывать эту двойственность жирондистам. Борьба перешла в Конвент и началась с новой силой. Все могли показать себя перед лицом Парижа, перед лицом Франции, соревнуясь перед лицом всего человечества, кто и как желает осуществить «Декларацию». Истинное лицо французской революции, ее мировой экзамен, люди увидели за тридцать семь месяцев работы Конвента. Что могла сделать Франция? что она хотела сделать? чего не умела сделать?

Даже Конвенту при всем его напряжении не удалось решить коллизии собственности, если этой собственностью становится человек. Однако пока не случилось ничего, пока еще не собрался Конвент. Депутаты жиронды в своем беспокойстве поспешили по-своему открыть ему ворота, то есть обеспечить себе победу на выборах, они кричали о новой тирании Коммуны Парижа, не называя имен, имея в виду Дантона, Марата, Демулена, и сеяли ветер слухов, не зная, что сами будут повторять бури крови. Они кричали с трибун, посылали письма, они писали: «Южные провинции Франции встанут на защиту свободы, попираемой страшными людьми в красных колпаках, сидящими в здании Коммуны города Парижа!» Каждое разоблачение Марата они встречали с криками ярости и негодования, тайные отряды шныряли по Парижу, разыскивая типографию Друга народа, листки Демулена, страшные строчки Марата, которые, как ночной фонарь, искали по следам парижских улиц то дорогу скупщиков хлеба, то струйки сахара, сыпавшегося из мешков, украденных из колониальных домов в какой-нибудь подвал, — все эти страшные строчки революционных поисков жирондисты называли клеветническими бреднями. Бросая в воздух прекраснейшие слова о свободе и справедливости, они действовали против. Камбон от имени жирондистов кричал с трибуны: «Если эти презренные клеветники сделали в силу нашей слепоты хозяевами положения, поверьте мне, что благородные граждане Юга, поклявшиеся быть на страже свободы и равенства, в

одно прекрасное время кинутся на спасение угнетенного Парижа, а если, к несчастью, свобода будет поражена, если злодеи отбросят южан от подступов к Парижу, то знайте, что не вам, ремесленникам, сидящим в Коммуне, овладеть неприступными домами городов французского Юга и что в этих домах найдем мы себе приют, ускользнув от топора тысячи новых тиранов, из которых каждый страшнее римского диктатора Суллы».

Эти письма и эти речи делали свое дело: южные города, города федералистов, были готовы подняться контрреволюционным движением. Издали трудно было разобраться: все говорили о свободе, и все кричали о защите прав народа, а народ, посылая своих детей на защиту французских границ, стоил, не доедая и не досыпая. Париж был под ударом, надо было спасти Париж. Новая форма гражданской войны была опытом самозащиты жирондистов против революции. Обвиняя Дантона, Марата и Робеспьера, депутаты с берегов Жиронды забыли, что они сами сеют федерализм, как форму гражданской войны, что они рвут Францию на части, проповедуя единство. Но, вот, когда разорвался фронт, когда угроза Парижу стала реальной, жирондисты перешли к новой, гораздо более тонкой формуле: если нельзя спасти Париж как столицу, то спасем центр законности, переселим Законодательное собрание и учреждения Франции на юг, Бордо или Тулуза станет нашим местом, оттуда мы будем декретировать, оттуда будем производить мобилизацию сил. Так адвокаты, красноречивейшие в мире купцы, фабриканты южных городов, люди крупной коммерческой хватки, люди больших барышей и широкой торговой инициативы, считая себя солью земли, решили спасти свои бархатные голоса, свои холеные головы на юге Франции. Так одним выстрелом они хотели убить двух зайцев, дважды себя спасти, спа-

сти себя, переселившись подальше от герцога Брауншвейгского, и спасти себя от Коммуны города Парижа, предоставив парижским сапожникам, столярам, слесарям, пивоварам и хлебопекам самим повозиться с герцогом Брауншвейгским, предвещавшим в грозном манифесте сожжение мятежного Парижа. «В самом деле, во Франции — восемьдесят три департамента, главный город каждого департамента имеет свою коммуну. Почему Коммуна города Парижа должна иметь авторитет больший, нежели в размере $\frac{1}{83}$ доли своего нынешнего авторитета?»

Правда, тут есть мелкие события: взятие Бастилии, ликвидация королевской власти, сентябрьские бои, события после которых как-то внезапно улучшались, для народа — декреты законодательных органов, события, которые были сделаны сердцем, мозгом и кровью парижской толпы, события, которые сделаны энергией и политическим разумом вот этих самых «клеветников» в роде Марата и Робеспьера, о которых так звонко, залиристо и музыкально пели и журчали жирондистские соловьи! В решительный момент удар по Коммуне смутил всех. 10 сентября 1792 года в «Патриотических анналах» беспокойный и горячий Анахарсис Клотц написал: «Французы! вам никогда не придет в голову запрятать нас в южные горы! Ведь это значит ускорить нашу гибель! Это значит привлечь к вашим избранникам внимание всех тиранов Европы и поставить нас под удар даже мадридского султана! Разве можно отдавать Париж, Париж—город французов?! Гибель столицы будет началом гибели всего политического организма Франции! Не отдадим Париж!!!»

Вечером 10 сентября госпожа Ролан отдала приказ не пускать в гостиную господина Анахарсиса. Г-жа Ролан была в полном бешенстве, она боялась, что «этот голубоглазый» услышит проект организации специальной департаментской гвардии, на которой настаивал Бриссо. Господин Ролан, давая клятвы, уверял собравшихся, что Марат, Дан-

тон, Робеспьер и Камилл Демулен изменили Франции, они «стали слугами герцога Брауншвейгского». И вот 17 сентября жирондисты выпустили на кафедре Законодательного собрания Ласурса, который якобы от имени комиссии двенадцати преподнес удивленному Парижу полоумный бред старика Ролана. Мрачным голосом Ласурс заговорил: «Существует страшный проект помешать Конвенту собраться». Не называя имен, он клялся и божился перед лицом французского народа, что говорит правду, и даже осторожный и осмотрительный Верньо в этот раз поверил клевете. Сама Коммуна была озадачена. Этим моментом растерянности воспользовалась жиронда: на следующий же день по предложению депутата Гадэ Законодательное собрание провело декрет о перевыборе революционной Коммуны Парижа, о восстановлении Петиона мером города Парижа, о предоставлении права ареста только меру и его помощникам; набат и вестовые пушки могли звучать по Парижу только с воли и согласия Законодательного собрания. На этот раз шестинедельный бой Коммуны и собрания кончился победой собрания. Бой в далеких Антилиях разгорался. Ни Национальное, ни Законодательное собрание не решили ни одного вопроса о торговле рабами, и дав избирательные права мулатам свободного состояния, и эти права отняли. Испания и Англия пользовались волнением колоний.

Бой продолжался в Конвенте, жиронда повела наступление, федераты южных департаментов, действительно, вошли в Париж 3 ноября. Они прошли мимо Конвента, который только-что постановил предать суду преступного короля, они прошли с плакатами: «Долой процесс Людовика XVI», они прошли с песнями:

От Парижа к берегам Ривьеры
Докатился звон набата,
Вот и мы пришли на голос звона.
Мы казним сегодня Робеспьера,
Завтра снимем голову Марата,
Послезавтра — голову Дантона.

Толпа наемников жиронды гудела и кричала. Трижды они прошли Пале-

Рояль при молчаливом изумлении парижской толпы. Жирондисты, затаившись, ждали вспышки гражданской войны, но ни Робеспьер, ни Марат, ни Дантон ни шага не сделали по направлению к новой городской Коммуне, они не подняли своих сторонников, и секции молчали.

Военный министр Паш обратился с письмом к парижскому населению: «Я не знаю причин, которые требовали бы пребывания в Париже вооруженных федератов. Первый приказ, который я сделаю, это будет приказ об их отъезде».

Господин Рош-Маркандье подал докладную записку господину Ролану, обвинявшую Робеспьера в диктаторских замыслах и считавшую Робеспьера фактическим виновником восстаний в колониях, а тем временем Сантонакс получил документ о коммерческой переписке королевского казначея Сентейля с иностранными банкирами и негодьями по поводу покупки и продажи различных продуктов, главным образом муки, кофе, сахара и рома. Король Франции не забывал о своих денежных делах. Во время суда над королем в дворцовой стене обнаружили потайной шкаф, сделанный слесарем Гамэном. Слесарь Гамэн сообщил об этом шкафу Ролану. Господин Ролан единолично вскрыл этот шкаф без свидетелей. Королевская переписка обнаружила, что подкуплены были королем и Мирабо, и братья Ламетты, и королевский духовник, и епископ Клермон, и господин Лафайет, и даже победитель при Вальми генерал Демурье. Все эти люди находились за пределами досягаемости, и так как Ролан единолично вскрыл королевский тайник, то никто из Конвента не знал, какие тайны хранились, какие документы жирондистов захотел и не захотел доставить в Конвент господин Ролан. Долго возились вокруг короля. Коммуна дала герцогу Орлеанскому фамилию Эгалитэ, жирондисты кричали: «Если уж кончать с Бурбонами, то давайте одновременно кончать и Людовика XVI, и Филиппа Эгалитэ». Сен-Жюст, монтаньярский комиссар, заявил: «Жирондисты стараются судьбу Орлеана

связать с судьбой короля для того, чтобы спасти обоих, по крайней мере смягчить приговор над Людовиком Капетом».

Так или иначе Конвент голосами 361 против 334 высказался за смерть короля.



Борьба продолжалась, жиронда и гора расходились все больше и больше. Рабочий люд Парижа, ремесленники городов не видели конца и края трудностям своей жизни, они голодали. Ролан кричал в Конвенте, что в голоде виноваты агитаторы горы. Но появились новые люди, аббат Жак Ру и почтовый чиновник Жан Варле. Они кричали в секциях Парижа о том, что богатые люди, сидящие в магистратуре, и богатые члены Конвента потому не поднимают голову, что сами являются скупщиками и ажиотёрами. Робеспьер просиживал ночи над планом аграрного закона, который обеспечил бы «раздел крупных земель и правильное распределение имущества». Этот проект провалила жиронда, а Жак Ру, Жан Варле и сотня их друзей по парижским секциям, получившие прозвище «бешеных», пугали жиронду, ибо тысячи памфлетов, петиций и писем сыпались в Конвент, обвиняя Ролана и жирондистов в эгоистическом бесчувствии в проведении «классовой политики богачей», в полном непонимании нужд тех, кто делал революцию, свободу и победы. Через 22 дня после казни Людовика XVI господин Ролан вынужден был под натиском Парижа подать в отставку, но жиронда вела еще войну, и эта война, которая поворачивалась в сторону побед, вдруг стала войной поражений. Генерал Демурье, герой Вальми, вдруг потерял все и бежал вместе с десятком банкиров и скупщиков, облепивших французскую революционную армию, предавая интересы революции. Бриссо, надевая революционный колпак на старую «королевскую политику естественных границ», видел спасение Франции в расширении войны, в то время как Робеспьер указывал на тягости войны, зная, что Франция будет воевать, раз вынуждена вое-

вать. Когда впервые стерлись старые таможенные границы Франции и рухнули ограды дворянских владений, крестьянская пшеница и крестьянский виноград давали первую жатву со старинных помещичьих полей, когда неожиданной бедою на крестьянские поля, впервые вспаханные без слез людьми, смотревшими на мир без старого горя, вдруг надвинулись тучи иноземных войск, новая Франция после первых минут испуга и негодования ответила страшным и кровавым ударом по интервентам, она не отдала ни пяди своей земли.

Воевать было трудно, и напряжение было огромное, если пришлось выпустить декрет 23 августа, написанный Барером и Карно:

«С этого мгновения и до того часа, когда последний враг не будет изгнан с территории республики, все французы объявляются на постоянной военной службе. Молодые идут на поле битвы, женатым поручается изготовление сооружений, перевоз снабжения и продовольствия, женщины будут шить палатки, обмундирование, обслуживать госпитальные нужды Франции, старики должны являться в общественные места, даже те, кого придется нести на носилках, пусть напрягут свои силы, чтобы возбуждать мужество в борцах, разжигать ненависть к королям и монархам, проповедывать единство республики. Дома, принадлежащие нации, превращаются в казармы, общественные места и клубы — в оружейные мастерские, земля и грунт подвалов выщелачиваются для извлечения пороховой селитры».

Этот знаменитый декрет облетел весь мир, его с трепетом читал старый негр Гуссен Бреда вечером, окруженный друзьями на плантации Ноэ.

Война, начатая жирондой, продолжалась горой. Война, затеянная для подавления революции, продолжалась революцией. Война, склонявшаяся к успеху в дни жиронды, стала теперь страшной для европейских монархов. Под руководством горы Франция эпохи восхождения Конвента, Франция, когда создался «Комитет общественного спасения», стала Францией непобедимой. Но

депутаты жиронды, побежденные на трибуне, продолжали свои интриги. В марте месяце 1793 года семьдесят шесть комиссаров из числа якобинских монтаньярских депутатов выехали в провинции для производства набора трехсот тысяч человек. 14 марта Бриссо писал в своей газете: «В Конvente отсутствие пылких голов дает возможность обсуждать дела с большим спокойствием, а следовательно с большей продуктивностью».

Этот маневр рассылки наиболее опасных противников по провинции напрасно утешал жирондистов. Семьдесят шесть сторонников Робеспьера сделали такое дело в провинции, что жирондисты навеки были обречены на поражение в последующих обращениях к первичным собраниям. После ухода Ролана в его доме собирались попрежнему, собирались у богатейших граждан Парижа, у богатейших депутатов провинции. Выбатывали мероприятия для борьбы уже не с королем, а с народом, при полном безразличии к нуждам трудящихся жирондисты хлопотали только об одном — как бы сохранить себя, свои земли, свои заводы, свою торговлю и свою власть. Обсуждали каждого депутата в отдельности, считали «удобным» Дантона, считали «безопасным» Демулена, не нынче-завтра эти двое выйдут из списков опасных людей. Но что делать с «такими», как Марат Нелювий, — все знающий, окруженный сотней тысяч глаз, охраняющих его и делающих страшно опасной эту чрезвычайно осведомленную, богатую и бескорыстную голову. Еще хуже Робеспьер, он не страдает никакими порочными склонностями Дантона, он не обольщается никакими обманами чувств Демулена. К бескорыстию ученого, к энергии Марата, к его неусыпной бдительности Робеспьер присоединял чудовищную способность организатора и резкую отчетливость ума, хладнокровно разбирающегося в самой трудной обстановке, требующей мгновенного решения сложнейших и головоломных задач.

У господ жирондистов сохранилась еще своя полиция. У полиции были свои

старые испытанные полицейские методы отыгрываться на мелких преступниках и прощать больших, сотней мелких преступников ловить одного крупного. Господин Рош Маркандье, изучивший конспирацию, будучи секретарем Камилла Демулена, изучивший технику подкупа и предательства на службе господину Ролану, занялся в Париже изготовлением своеобразной мастерской интриг, формированием армии негодяев. Себастьяна де-Фромон из аристократки превратилась в буржуазку «мадам Журдан». Она открыла в закулке Пале-Рояля небольшой, но благоустроенный публичный дом, где молодые приказчицы парфюмерных магазинов, продавщицы материи и дорогих портновских прикладов, «девушки», как о том говорила реклама, «из которых самой старшей никогда не бывает свыше двадцати лет», обслуживали это учреждение. Молодые клиенты, как вскоре их назвала армия Фрерона, состояли из сынков богатых купцов, банкиров, фабрикантов и спекулянтов, из приказчиков, счетоводов, студентов, молодых клерков, помощников адвокатов, дрогистов, к ним примыкали журналисты и литераторы из компании графа Ривароля, картавьящие, подловато улыбающиеся, компания молодых каналов, первостепенная сволочь, считавшая себя солью земли. Незаметные в Париже среди белого дня, они к ночи внезапно появились в театрах, где давали революционные пьесы, и тогда вдруг начинались стуки в партере и в райке, и вот вместо «Песен Марсельского батальона» по требованию публики хор пел песнь Суригера—«Гимн пробужденного народа». И прежде, чем представители революционного Парижа успевали вмешаться, эта нахально картавьящая молодежь, напевая наглуую контрреволюционную песенку, уже сбегала по темным лестницам театра, опрокидывала людей, уносила стулья, ударяла по головам ошеломленных и сбитых с толку прохожих. Эта молодая сволочь, так называемые мюскадены и их подружки, все эти Нанитты, Лизетты, Туанетты, все эти Лулу, Додю и прочие «полупогибшие

девы», смеясь и плача, делали свое дело. Они получали сведения о пирушке Дантона, они сообщали хозяйке—«мадам Журдан»—о том, что Камилл Демулен влюбился в красавицу Люсилью-Плесси, что Дантон, оплакав смерть своей последней жены, строит куры у набожной канониссы Луизы Жели. Шестнадцатилетняя католичка Луиза Жели непрочь связать свою судьбу с могущественным народным трибуном, но она—католичка, она совсем не хочет записи брака у гражданина мера своего округа. И вот перед свадьбой молодая портниха, которая шьет платя для мадемуазель Жели, а по ночам приходит в заведение «мадам Журдан», рассказывает шпионящим мюскаденам «о всех перипетиях дантонова сердца». А в то время, когда Дантон, тщательно скрывая от всех свою не в меру выросшую любовь, бегаёт по Парижу в поисках «настоящего», т.-е. не присягнувшего священника, в эти часы движение сердца обезумевшего от любви Дантона обсуждается шульно, со смехом, при звоне стаканов на рассвете в бордели бывшей аристократки. С хохотом воспроизводят жесты и движения Дантона, идущего на исповедь к контрреволюционному попу, и поп, мрачный, в грязной сутане, засаленный и небритый, принимает от одного из вождей Французской революции покаяние в грехах, а потом тут же, на чердаке, положивши крест и кружевной платок на ящик с бутылками капского рома, венчает Дантона по старому католическому обряду с шестнадцатилетней смазливой девчонкой Луизой Жели, для которой «не существует никакой революции».

«На тихой реке, в моем имени в Арсисе, я живу сейчас, усталый от гроз и громов Парижа. Здешные добрые буржуа чтут меня уже безбоязненно, они приглашают меня в свои палисадники, где я сажаю и поливаю вместе с ними деревья свободы».

Парижские бордели хохочут, стаканы звенят, слышатся песенки:

Дин-дон, дин-дон,
Погиб Дантон,
И скоро попадет к девчонке в плен

Его товарищ Демулен,
Уж на груди у ней без воли и
без сил

Заснул Камилл.

Шантаны в Пале-Рояле повторяли эти песни. Демулен сделался богатым наследником, пышная свадьба его с Люсиль дю-Плесси отпразднована всем кварталом, последний раз повидался он с Робеспьером на свадьбе и уехал в Бур-ла-Рэн—в уютную сельскую усадьбу. Вскоре у него родился сын. Какая-то странная перемена произошла в Камилле. Когда стал работать в Париже Комитет общественного спасения, Камилл Демулен придумал новую газету, он выступил уже в качестве противника Робеспьера с планом «Комитета общественного милосердия». Компания мяскаденов не ошиблась. Себастьянна де-Фромон и Рош Маркандье доносили своим хозяевам, что если воля Робеспьера кристаллизует силы революционного Парижа и если Марат с каждым днем становится все сильнее, то Демулен и Дантон окончательно потеряны для революции. Робеспьер был охраняем всем Парижем, его прозвище «Неподкупный» делало его независимым, следовательно нужно ударить по Марату, который был еще на нелегальном положении. Пока жирондистские депутаты сохраняли свою силу в Конвенте, они пользовались легальными способами борьбы, но обсуждали свои планы в доме № 5 на Вандомской площади, где одну квартиру занимал жирондист Верньо, а другую Доден, богатый администратор Индийской компании, перекупщик колониальных товаров. Его жена устраивала еженедельные пиры, где в одном кругу дельцов и депутатов Конвента жирондисты намечали очередные выступления и подготавливали еженедельные планы борьбы. Рош Маркандье встречался с господином Роландом в ресторанах Пале-Рояля и на улице Орлеана, в предместье Сент-Онорэ, в доме № 19, где владелец квартиры Дюфруш Валазье широко открывал двери всем, кто группировался вокруг интриг жиронды. В то время как монтаньяры, якобинцы и кордельеры выносили свою политику в Конвент на

суд парижского простонародья, отвечая за все, что они говорят и что они делают, прислушиваясь к голосу бедняцкого Парижа, который требовал установок твердых цен, ликвидации биржевых интриг, подоходного налога на богатей, и все это обсуждалось открыто, все это контролировалось низовым Парижем,—в это же время пирушки жирондистов, их тайные собрания возбуждали справедливое недовольство парижан и производили впечатление политических интриг.

Первый удар по Марату жирондисты нанесли после того, как 5 апреля 1793 года Марат — председатель якобинского клуба — обратился с письмом к провинциальным клубам, которым предложил апеллировать в Конвент для отозвания всех депутатов, стремившихся спасти Людовика XVI. Тогда депутат жиронды Гадэ 12 апреля потребовал в Конвенте обвинительного декрета против Марата, и так как депутаты горы были в отсутствии, то Марат был обвинен большинством голосов. Но, увы! Это было для жиронды «торжеством на час». Революционный трибунал, Коммуна, парижские секции в ответ на это обвинение устроили манифестацию в честь Марата, а через два дня Паш — мер города Парижа — и тридцать пять секций подали Конвенту петицию с требованием ареста двадцати девяти жирондистских вождей. 24 апреля депутаты из провинций, секционеры Парижа, огромной толпой проводили Марата в Конвент, где он должен был предстать в качестве подсудимого. Увенчанный цветами, больной, измученный, он был допрошен и мгновенно оправдан. Он занял свое депутатское кресло, а провожавшая его толпа продефилировала перед его врагами через залу Конвента и вышла на улицу, где по всему Парижу уже раздавались ликующие крики. Жирондисты поняли всю силу своего поражения: преследуемый, скрывающийся Марат был опасен, но Марат, оправданный и торжествующий, стал страшен. Головы жирондистов скатились на гильотине, а

6 мая полтысячи мюскаденов, собравшись на Елисейских полях, осыпали свистками и бранью проезжавшего верхом начальника парижской Национальной гвардии Сантера и, пробравшись к «Клубу Кордельеров», выждали конец речи Марата и бросились на него при выходе. Марат был отбит, щеголи рассеялись, парикмахеры, парфюмеры, клерки, мюскадены без определенных занятий, с вихрами огромных волос, сзисающих на лоб, с дубинками, высокими воротами, наглые, гогочущие и свистящие, рассыпались по переулкам, угрожая Конвенту.

13 июля Эро-де-Сешель от имени Комитета общественного спасения делал доклад Конвенту. Отечество было в опасности больше, чем когда-либо, необходимо было его спасти! Он докладывал о натиске врагов, о продвижении армии соединенных монархов, и вдруг мальчик подал ему записку. Эро-де-Сешель покачнулся и нахмурился.

— Граждане,—сказал он,—сейчас кинжалом неизвестной женщины зарезан Жан-Поль Марат.

Робеспьер остался один в огне жирондистских восстаний, под угрозой коалиционных армий. После похорон Марата под выстрелы пушки через каждые пять минут с Нового моста, после казни убийцы Друга народа Шарлотты Кордэ,

Робеспьер приступил к борьбе, окруженный теми, кто нес великую правду парижской бедноты, но не умел ни рассчитать силы врагов, ни организовать силы друзей парижского пролетариата.

Наступил конец 1793 года, сторонники Гебера образовали радикальную партию, которая стремилась нанести удар самому принципу буржуазной собственности. «Гебертистам» и «бешеным» вся деятельность Робеспьера казалась слишком миролюбивой и чрезвычайно медленной. В день борьбы с гебертистами Дантон снова появился в Париже, он хотел оказать помощь Робеспьеру, но было поздно, как только закончилась борьба с жирондистами, как только были подавлены вспышки восстания в провинции, как только Робеспьер смахнул с пути гербертистов, так он без колебаний приступил к делу своих бывших друзей.

Оба, Жорж Дантон и Камилл Демулен, после короткого и решительного суда 5 апреля 1794 года взошли на колесницу, а с колесницы на эшафот, где ожидала их гильотина. Оба погибли. Последними словами Дантона были:

— Вперед, Дантон, ты не должен знать слабости!

Робеспьер без колебаний приступил к проведению в Конвенте закона о равенстве состояний. Это был декрет, отменявший рабовладение на Антильских островах.

(Окончание следует)

Литература и искусство

1. Горький—великий художник пролетариата. В. Кирпотни. 2. Беранже.—И. Луппол.
3. Письма Флорабера

1. ГОРЬКИЙ—ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК ПРОЛЕТАРИАТА

В. Кирпотни

(К сорокалетию литературной деятельности Максима Горького)

Сорок лет тому назад в тифлисской газете «Кавказ» был напечатан первый рассказ Максима Горького «Макар Чудра». С этого момента начинается богатая и плодотворная литературная деятельность Горького, быстрое распространение его революционизирующего влияния на прогрессивно настроенные слои читателей России и Европы.

Девяностые годы прошлого века—годы общественного оживления, нарастающего революционного подъема, обусловленного ростом силы, сознательности и активности рабочего класса. Уже в шестидесятые годы крепостническая Россия вступает в полосу революционного кризиса, но отсутствие сильного руководящего революционного класса в стране не дает возможности найти исход из революционного кризиса в победоносной революции. Революционное движение шестидесятых годов было разбито. По той же причине потерпел неудачу и несколько иначе развивавшийся революционный подъем семидесятых годов, подъем, закончившийся удачным покушением на императора Александра II, иллюзорной победой, победой-поражением, приведшей к разгрому партии «Народной воли».

Революционный кризис не был разрешен, чугунное чудовище крепостнического

самодержавия не только не было низвергнуто, но, казалось, приобрело лишь новую давящую силу. Неудача двукратного натиска революции, мрак реакции сеяли уныние, тоску, рождали чувство бессилия, создали гнетущую атмосферу восьмидесятых годов. Поколение народников—великих революционеров—сменилось поколением легальных народников, революционная агитация сменилась проповедью малых дел, оппортунизмом, приспособленчеством в политике, в жизни, в теории, в литературе.

Однако, как ни гнетущ был гнет правительственной реакции, как ни удушила общественная атмосфера 80-х гг., неутомимый крот истории делал исправно свое дело. За десятилетие 1870—1880 годов по самым скромным подсчетам бастовало 120.000 рабочих, большая доля стачек заканчивалась полной или частичной победой рабочих. Это был тоже революционный подъем, подъем, непонятый и незамеченный современниками, увлеченными эффектной картиной единоборства «Народной воли» с самодержавием. Но самое главное, этот-то рабочий подъем не потерпел поражения, не был разгромлен, он рос и ширился в относительной тиши, пока бурные и могучие проявления его не вырвались на поверхность в стачках 90-х годов, руководимых «Союзами борьбы», руководимых уже начавшим свою всемирно-исто-

рическую деятельность Владимиром Лениным. (Показательно, что одной из самых ранних связей Горького с революционными организациями является его участие в марксистском кружке Федосеева в Казани в 1887 г.)

Сложился, вырос, окреп рабочий класс; пролетариат стал гегемоном в революционной борьбе. Революционная борьба из, казалось, безнадежного дела одиночек превратилась в могучее, бодрое, все нарастающее движение масс с реально осязаемыми перспективами полной победы. Социально-политическая атмосфера стала очищаться. В прогрессивной, в революционной части общества уныние стало сменяться оптимизмом, в порядок дня стали становиться не малые дела, а великие деяния.

Революционная борьба перестала быть безнадежной, бодрый, полный энергии рабочий класс стал во главе движения, бодрое оживление сменило унылые сумерки, бодрое движение породило бодрые песни:

«Безумству храбрых поем мы славу!

Безумство храбрых — вот мудрость жизни!
О, смелый сокол! В бою с врагами истек ты кровью...

Но будет время — и капли крови твоей горячее, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

Пуškai ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, правдивым, гордым, к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!»

Песня о безумстве храбрых — вот основное содержание романтических рассказов первой полосы литературной деятельности Горького. В этом политический тонус первого рассказа Горького, сказок старухи Изергиль и т. д., на этом в конечном счете базируется идеализация свобододолюбивых и непокорных босяков, в противовес серенькому обывательскому прозябанью покорных и верных подданных российских самодержцев Александра III и Николая II.

«И гагары стонут перед бурей». И задоздалая российская буржуазия, пе-

реживавшая полосу промышленного подъема, нуждалась в идеологическом оружии против господствовавших еще в «обществе» традиций народничества с его аскетизмом, с его идеей долга образованных и господствующих классов народу. В противовес народничеству буржуазная интеллигенция искала идеологические цветные тряпки, которыми бы можно было прикрыть постыдное пресмыкательство перед царизмом, стремление к неограниченной эксплуатации рабочих и безудержному удовлетворению своих потребительских инстинктов, своих похотей. Буржуазия попыталась было использовать в этих целях ореол Горького, подобно тому, как «легальный марксизм» пытался выполнить эту же самую задачу в области теории и политики. Создали сказку о Горьком, как о певце нищезанского сверхчеловека, ничем неограниченного владыки и поработителя, рассматривающего всех остальных людей лишь как средство для удовлетворения своих прихотей. Естественно, что народники, не понявшие и не бывшие в состоянии понять новой исторической обстановки, созданной переходом гегемонии в революционном движении к пролетариату, вторично буржуазной оценке творчества Горького, ставя только знак минус там, где буржуа ставил знак плюс, относясь с осуждением к тому, к чему буржуа относился положительно. Михайловский видел в творчестве Горького лишь разновидность декадентства. «Из элементов религии, по которой тоскует совесть молодого писателя, — писал он о творчестве Горького, — даже в 1902 г., на первом плане стоит удовлетворение воли, выраженное в действительности, направленном против будничного строя жизни. Во имя чего напрягается эта воля, с которой стороны выступает сильный и жадный человек к жизни против будничного строя, — это для нашего автора второй и часто совсем не существенный вопрос». По сути дела эта оценка является лишь более робким повторением формулировки, изображающей творчество Горького как проповедь удовлетворения стихии свободной игры

«первобытных инстинктов». Большевистская критика очень рано выступила против подобного искажения смысла творчества Горького. Вацлав Воровский, оценивая первые произведения Горького, полемизировал с негодными попытками изображения молодого писателя в качестве певца-сверхчеловека. Боль о человечестве, о массах, об угнетенных и эксплуатируемых является движущим мотивом горьковского творчества в целом, начиная с первого же его рассказа. В конце концов Горький, рисуя сильные, смелые характеры, с могучими цельными страстями и порывами, имел в виду, как выражается Энгельс в письме к Паулю Эрнсту, настоящего человека в противовес плюговому притерпевшемуся ко всякому гнету и неправде мещанину, человека, «который еще обладает характером, способен к инициативе и действует самостоятельно» (термины Энгельса). Революционная борьба всегда рождает таких настоящих людей. Родились они и в старой российской обломовке, как только началась борьба за низвержение самодержавия, и особенно много стало выковываться таких характеров в революционной борьбе рабочего класса. Особенности горьковской биографии привели к тому, что он первоначально стал черпать образы настоящего человека из среды босяков или старых цыганских легенд. Конечно, Горький сумел в дальнейшем разглядеть, что представляет собой реальный босяцкий мир, что не в нем следует искать передовых борцов за подлинно человеческие условия существования человечества. «На дне» уже говорит о бессилии и ужасе дня, об оппортунизме елейной, успокаивающей, примиряющей проповеди странника Луки.

У Горького можно найти прямую полемику против буржуазного ницшеанского индивидуализма, облаченную в костюм художественных образов. Первый рассказ старухи Изергиль есть, если хотите, рассказ о наказанном ницшеанце, о бесчеловечности свободы и могущества, направленных только для удовлетворения личного эгоизма. Ларра, сын женщины и орла, жил так, как подобает

жить «сверхчеловеку», «вольный, как птица, он приходил в племя и похищал скот, девушек—все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела... Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу». Но Ларра затосковал в своем одиночестве. Его гордая, одинокая свобода, не согретая близостью с другими людьми, стала ему в тягость. Он захотел умереть, но он не мог умереть,—наказание его было в нем самом. Он был бессмертен. «Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость».

Симпатии Горького не на стороне Ларра, а на стороне Данко, другого легендарного героя рассказов старухи Изергиль. Данко, также романтическая фигура, противопоставленная тоскливой жизни бессильного большинства, влачащего свои жалкие дни во мраке сырого, болотного, непроходимого леса. Однако гордый и свободолюбивый Данко думал не о том, чтобы насытить свою эгоистичную гордость. Он любил людей: «Что сделаю я для людей?»— вот вопрос, который волновал его. Он повел своих собратьев из сырых, темных чащ на солнечный простор. И когда ведомые им сблизил в темноте с дороги и зароптали, он вырвал из груди свое горящее сердце, поднял его, как путеводный факел, над толпой и вывел, ценою своей гибели, погрязавших во мраке на светлый путь.

Романтическая легенда о Данко имела свой политический эквивалент. Она предшествовала «Песне ко соколу», она была злободневна и актуальна, ибо она звала на борьбу, на подвиг, она создавала ту приподнятую, действенную бодрость, ту готовность к самопожертвованию во имя общего дела, во имя страдающих и обездоленных, без которых не бывает никогда революционного под'ема.

С первых же шагов своей сорокалетней литературной деятельности Горький очень остро поставил вопрос об антагонизме эксплуататоров и эксплуатируемых.

И в рассказах о босяках у Горького звучит голос ненависти и презрения к эксплуататорам: «Должны мы пойти к господину заведывающему этою самою солюю,—говорит Емельян Пиляя в одноименном рассказе,—и сказать ему со всем нашим почтением: милостивый господин, многоуважаемый грабитель и кровопийца, вот мы пришли предложить вашему живоглотию наши шкуры, не благоугодно ли вам будет содрать их за шестьдесят копеек в сутки». Как мы видим, у Емельяна Пиляя довольно точные представления о сущности капиталистических взаимоотношений, и сочувствие Горького конечно всецело на стороне Пиляя, а не на стороне «живоглотия».

«Сытый человек — зверь, — поучает дед Архип Ленку в другом рассказе.— И никогда он не жалеет голодного. Враги друг другу — сытый и голодный, веки вечные они сучком в глазу друг у друга будут. Потому и невозможно им жалеть и понимать друг друга...»

Весь рассказ, развертываемый Горьким со спокойным мастерством художника, под рукой которого события говорят сами за себя, целиком направлен против сытой «справедливости» богатых, во имя ограждения своей собственности жестоко обрекающих на смерть двух бездомных бродяг.

Романтический пафос первых рассказов Горького тем кардинально отличается от обычного буржуазного и мелкобуржуазного романтизма, что последний всегда основывается на покоящемся на частной собственности буржуазном индивидуализме, а яркая проповедь Горького не только была революционна, но и была обращена против собственности, против ее жадности, эгоизма, идиотизма. «Разве из-за денег можно так истязать себя!»—воскликает Челкаш, одна из наиболее ярких босяцких фигур Горького.

С первых же шагов своей литературной деятельности Горький был и отобразителем, и деятелем могучего революционного подъема в стране, вызванного выступлением пролетариата в качестве руководящей силы в революционной

борьбе, подготовлявшего события 1905 г. В этом смысле творчество Горького с первых же шагов отличалось злободневностью и политической актуальностью не в вульгарно-иллюстративном, а в лучшем значении этих понятий применительно к искусству. Злободневность и актуальность творчества Горького и создала ему невиданно-быстрый литературный успех.

Сложность творчества Горького, богатство изображенных социальных типов породили целый ряд недоумений и неправильных характеристик социальных симпатий Горького, даже иногда в марксистской среде. Так покойный Фриче писал, что Горький «искал этого творца света, строителя космоса в босяке, в буржуазии», в интеллигенции и постоянно разочаровывался. Он нашел этого строителя в рабочем классе и воздвиг ему — борцу и творцу — нерукотворный памятник».

Меж тем мы уже видели, что и, выдвигая на первый план художественный образ босяка в своих произведениях, Горький не впадал в апофеоз голого своеволия, в апофеоз анархо-индивидуалистических или ницшеанских ничем не ограниченных притязаний отдельной личности. Забота о коллективе страдающего человечества, о правде, о красоте его жизни не покидала его и в этот период его творчества. Что касается интеллигенции, постоянно привлекавшей к себе внимание Максима Горького, то он также не относился к ней как к самоцели. Есть интеллигенция, и интеллигенция,— «Дачники» Горького это очень хорошо показали. Есть интеллигенция, которая погрязла во всей грязи и убогости правящих классов, которым она служит верой и правдой, есть интеллигенция, которая покидала стан «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови» и отдавала все свои силы для освобождения огромного большинства от политического гнета и экономической эксплуатации. Именно этой интеллигенции принадлежит симпатия Горького, даже тогда он бывал склонен несколько переоценивать ее значение. Интеллигенция привлекала симпатии Горького во имя торже-

ства социализма, при чем социализма не утопического, а того, основы которого были заложены Марксом и Энгельсом. Горький вел длительную и упорную борьбу за интеллигенцию, за отрыв ее от неправды старого мира, за превращение ее в деятельных помощников рабочего класса по разрушению старого и созданию нового мира. Отношение Горького к интеллигенции подготовляло особенно четкую постановку вопроса, обращенного им недавно ко всем тем, кто имеет еще уши, чтобы слышать: «С кем вы, мастера культуры? С чернорабочей силой культуры, за создание новых форм жизни или вы против этой силы, за сохранение касты безответственных хищников, касты, которая загнила с головы и продолжает действовать уже только по инерции».

На буржуазию же Горький никогда не смотрел, как на «творца света», как на «строителя космоса». То самое произведение, на которое ссылаются обычно, чтобы доказать ставку Горького на буржуазию, красноречивейшим образом гласит против буржуазии. Конечно Маякин в «Фоме Гордееве» художественно—одно из лучших достижений Горького. Конечно Маякин очень умен. Его незаурядный политический смысл выражается рельефно в том, что он ставит в ясной форме проблему власти в стране. «Не в деньгах дело,—разъясняет он,—а во власти. Вот куда наш брат должен курс держать». Но ведь вся превосходная повесть Горького целиком направлена против буржуазии, ведь она показывает, как талантливая и деятельная натура Фомы Гордеева всем строем купеческого и заводчиковского быта сминается и втаптывается в грязь. «Вы не жизнь строили,—обличает Фома, обращаясь к буржуазии,—вы помойную яму сделали! Грязищу и духоту развели вы руками своими. Есть у вас совесть? Помните вы бога? Пятак—ваш бог! А совесть вы прогнали... Куда вы ее прогнали? Кровапийцы! Чужой силой живете... чужими руками работаете! Сколько народу кровью плакало от великих дел ваших? И в аду вам, сволочам, места нет по заслугам

вашим... не в огне, а в грязи кипящей варить вас будут. Веками не избудете мучений!..»

Не мог Горький с первых же шагов своего литературного служения угнетенному и эксплуатируемому человечеству видеть в буржуазии, работающей чужими руками, источник света. Голос его обличал буржуазию как источник мрака, гнета, грязи и нищеты. Буржуазная критика именно с «Фомы Гордеева» и «Троих» прекрасно разглядела, что использовать творчество Горького для своих целей ей не удастся, что Горький, ее враг,—вместе с пролетариатом, вместе со всем трудящимся человечеством. Поэтому с «Фомы Гордеева» и «Троих» начинаются сопутствующие, кажется, всей остальной литературной деятельности Горького крики об упадке его таланта; крикам этим уже тоже можно справлять солидный тридцати—тридцатипятилетний юбилей. Моська буржуазной критики надрывалась от лая, а слон пролетарской литературы шел себе вперед, от успеха к успеху, совершенствуя свои труды, работая на дело создания бесклассового общества, где буржуазии уже вовсе не будет ни в экономике, ни в литературе и литературной критике.

«Трое» уже совершенно недвусмысленно показывают, на какие силы Горький рассчитывает для переустройства жестокой и бедной окружающей жизни, против которой он поднял бунт уже в первом своем рассказе. Не путь Ильи, путь торговли и стяжания, не путь смиренного и покорного Якова, а путь пролетария Павла ведет через тяготы и кровь, через долголетнюю и трудную борьбу к победе, к полноте и радости социалистических условий и существования. Точно так же машинист Нил в «Мещанах»—реалистический образ, сулящий обновление жизни не только в более или менее близком грядущем, но уже сегодня противопоставленный серой обыденщине мещанской обывательщины царской России по богатству его творчески-деятельной жизни рабочего человека и революционера. Пьеса «Враги» даже Плехановым, как мы увидим,

схематически, отрицательно относившимся к социализму Горького (а следовательно и к Горькому как к пролетарскому писателю), была признана мастерским изображением «психологии современного рабочего движения».

Тем любопытнее и поучительнее отрицательное отношение Плеханова к роману Горького «Мать». События романа формально базируются на фактах рабочего движения в Сормове в период 1902 года, на деле же «Мать» — роман о революции 1905 г., по свежим впечатлениям о которой он и написан. Герои романа — Павел и его мать Пелагея Ниловна — социал-демократы-большевики. Вот большевистский характер романа и был причиной неодобрительного отзыва Плеханова. В противность мнению меньшевиков, роман «Мать», обошедший по своему выходе сознательного рабочего читателя всего мира, несмотря на некоторые второстепенные его недостатки, художественно удался автору. Он до сих пор волнует читателя, до сих пор является любимой книгой рабочего читателя всего мира. Меньшевистской критике приходилось прибегать к уловкам и придирам, чтобы доказать необдуманность и нехудожественность будто бы как самого романа, так и его героев. Кубиков в качестве «убийственного» аргумента против Горького приводил постоянную характеристику радости настроений матери, данную ей Горьким. Это верно, что старая Ниловна, обретшая смысл жизни в активно революционной работе, к тому же еще религиозно настроенная, постоянно испытывала радостное умиленье даже в страданиях своих, видя, как борьба за правду и справедливость плачивает все больше и больше рабочих и крестьян, как близится торжество новой и светлой жизни. Ничего неестественного, а следовательно и противного искусству, в этом нет. Если стать на точку зрения Кубикова, то придется признать выдуманным образ Николая Ростова из «Войны и мира» Толстого, ибо с «убийственной повторяемостью в описании его переживаний» во время сражений Толстым подчеркивается черта веселости. Горький пока-

зал в романе в полном согласии с марксизмом, как рабочий класс, содержимый капиталистическим строем на положении скота, в грязи, нищете, в невежестве, под влиянием революционной борьбы за уничтожение капитализма, в процессе самой борьбы приобретает подлинно человеческие черты: чувство собственного достоинства, активность, инициативность, нетерпимость к гнету, эксплуатации, несправедливости, коллективный дух, уважение к женщине, тягу к знанию, к культуре. И где же было Горькому, восставшему против материальной и духовной скудости, против зверской жестокости быта царской России, найти подлинную человечность, истинно человеческие отношения, как не в среде пролетариата, борющегося не только за низвержение монархии, но и за социализм, как не в среде той партии, под руководством которой всем народам всей земли предстоит освободиться от гнета и грязи капитализма и его собственнической звериной морали? Не предвзятые, ложные мысли, а верный путь к художественному реализму привел Горького к «Матери».

Правдиво показано Горьким в романе новое, что появилось в русской деревне XX века, — дух активного недовольства, дух протеста, утраты веры в начальство, в царя, в его устои, восприимчивость к революционной пропаганде. Ничего надуманного, противохудожественного не было в том, что Горький показал, как революционная большевистская социал-демократия закладывает основы союза рабочих и крестьян, того союза, который в семнадцатом году обеспечил и низвержение царизма, и установление диктатуры пролетариата. Наоборот, голос политической и художественной правды руководил Горьким в таком изображении революционной работы партии.

Роман «Мать» был написан уже на исходе революции 1905 г. Твердая, непоколебимая уверенность Горького в обеспеченности победы революции, его благоговейное отношение к партии и партийной работе явились как раз вовремя. Началась реакция с ее отравля-

ющими удушливыми газами, унынием, предательством, ликвидаторством. «Мать» творила партийное дело, готова к новой борьбе, воспитывая в духе святой верности к нелегальной партии.

Вполне понятны после всего этого сближение и дружба Ленина и Горького. Ленин очень высоко оценивал художественное творчество Горького. «Товарищ Горький слишком крепко связал себя своими великими художественными произведениями с рабочим движением России и всего мира»—писал Ленин, опровергая в 1909 г. слух, распускавшийся буржуазной печатью об исключении Горького из социал-демократической партии. «Нет сомнения,—повторял Ленин свою оценку в 1917 г.,—что Горький—громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению».

Воспоминания Горького о Ленине ярко рисуют нам теплое, участливое отношение Ленина к Горькому, его дружескую помощь и поддержку, оказываемые им постоянно Горькому и его творчеству, такому важному для дела пролетарской революции. Особенно рельефно вырисовывается отношение Ленина к Горькому на фоне вежливого, но холодного формального реагирования Плеханова на знакомство с Горьким: «Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову,—рассказывает Горький,—он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомленный своими обязанностями учитель еще на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по душам». А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одною рукой сократовский лоб, дергая другою мою руку, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать»,—оказалось, что он прочитал ее в рукописи, взятой у И. П. Ладыхникова. Я сказал, что торопился на-

писать книгу, но не успел объяснить, почему торопился. Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга—нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя.

«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом; смех его привлек рабочих: подошел, кажется, Фома Уральский и еще человека три».

Горький делал дело пролетарской революции не только как художник. Он оказывал партии много ценных услуг, сотрудничал в ее изданиях, помогал ставить ее журналы, помогал ей в ее нелегальных связях и т. д.

Горькому на его длинном и многообразном жизненном пути приходилось и заблуждаться. Проявлением ошибок Горького была его повесть «Исповедь», написанная в духе и под влиянием богостроительства. Ленин с партийной прямою и полной откровенностью указал Горькому на реакционность всякой идеи о боженке, в какой бы она утонченной форме ни выступала.

Есть любопытная черта в некоторых взглядах Максима Горького, которая сближает его с другим великим человеком, которым справедливо гордятся народы СССР,—с Николаем Гавриловичем Чернышевским. Горький, вложивший в уста одного из своих персонажей афоризм: «Человек — это звучит гордо», слишком много насмотревшийся, как в зверином, диком быту старой России человеческая личность попирается, как искажается в ней здоровая природа человека, много ратовал в защиту подавленной и угнетенной человеческой личности, часто возвышал свой голос за создание нормальных, разумных и спра-

ведливых условий для существования человека. Проблеме человека, человеческой личности Горький иногда придавал повышенное значение, напоминаящее антропологический принцип Чернышевского, с тою еще конечно разницей, что Горький облачал свои идеи в поэтическую форму. Эта черта нашла свое выражение например в стихотворении или в поэме, в прозе Горького «Человек». Далее, Чернышевский придавал преувеличенное (вернее сказать о Чернышевском—идеалистическое) значение элементу знания в истории человеческого развития. В «Письмах без адреса» Чернышевский, этот великий революционер, безоговорочно вставший на путь подготовки низовой народной антикрепостнической революции, выдает некоторое свое опасение о возможном ущербе, который мог бы быть нанесен невежественными, неосвободившимися еще от диких предрассудков крестьянскими массами интересам просвещения, наукам, поэзии, искусствам, интеллигенции. И Горького, в иной форме, иногда тревожила проблема разобщения высококвалифицированной интеллигенции—«детей солнца» (как именуется одна его пьеса)—и недостаточно еще культурных низов. И ему иногда казалось, что интерес знания, культуры может пострадать от неосторожной ярости в процессе понятного и необходимого возмущения масс.

Вот за эти-то черты, имевшие место в мировоззрении Горького, пытались уцепиться русский махисты, отзовисты, а иногда и просто злопыхатели революции, для того чтобы попытаться использовать огромный авторитет великого художника пролетариата в свою пользу. Однако правдивость громадного таланта художника, чуткость публициста, отдавшего свои силы одной цели—торжеству пролетарского социализма,—неизменно одерживали победу над всеми препятствиями. Эти победоносные борения Горького с своими собственными несправильными оценками проливают ярчайший свет на историческую фазу, которую переживает сейчас человечество, и на роль в ней Максима Горького. Сколь-

ко раз лучшие светочи человечества—разум, совесть и надежда трудящихся—поднимали в прошлом знамя восстания во имя строя, в котором не будет эксплуатации человека человеком. Но пока рабочий класс не сложился, не вырос, не взял на свои плечи задачу создания нового социалистического строя, до тех пор их усилия, даже двигая вперед историю, не открывали окончательного выхода на радостные пути грядущего. Они отбрасывались назад, они терпели неудачи. Даже великий Чернышевский, действовавший в те времена, когда на Западе Маркс уже развернул знамя научного социализма, не мог понять, что только классовая борьба пролетариата принесет торжество его идеалам. Даже Цедрин, всеми фибрами своей души ненавидевший либералов, людей полумер, болтунов, лицемеров, вертевшихся вокруг тяжелой борьбы за создание новых социалистических условий жизни, вдруг закончил жизненный путь отвратительного лицемера-крепостника Иудушки Головлева пробуждением в нем голоса совести. Такие заблуждения и блуждания были неизбежны даже для лучших из лучших, пока рабочий класс не начал свою борьбу за низвержение классового общества. У Горького в этих рассматриваемых нами чертах, встречавшихся в прошлом в его мировоззрении, сказываются в рудиментарной, в остаточной форме отражения тех трудностей, с которыми не умели справиться лучшие умы человечества до выступления пролетариата как самой могучей силы низвержения эксплуататоров и освобождения угнетенных. Горький начал свою деятельность уже тогда, когда гегемоном революционной борьбы стал пролетариат, он понял и усвоил его учение, он стал в ряды его борцов, он присоединил свой светильник к тому ослепительному столбу света, которым рабочий класс освещает свою собственную дорогу и дорогу всем другим трудящимся всех цветов кожи, всех стран к коммунизму. Вот поэтому-то деятельность Горького и свидетельствует о том, как близко человечество подошло наконец к своему освобождению, вот поэтому-то он

является великим пролетарским писателем, вот поэтому-то Ленин писал: «А Горький — безусловно крупнейший представитель пролетарского искусства, который много для него сделал и еще больше может сделать... В деле пролетарского искусства М. Горький есть громадный плюс, несмотря на его сочувствие махизму и отзовизму» (писано в 1910 году).

Горький — великий пролетарский писатель, активно участвующий в классовый борьбе пролетариата против буржуазии и как публицист, и как художник. Всякие иные определения характера его художественной деятельности, откуда бы они ни исходили — от врагов или от горедрузей, — выдают обычно лишь фракционную узость или доктринерство самих определяющих. «М. Горький сам крайне плохо переварил ту истину, — писал Плеханов, — которую несет миру пролегиариат. Этим объясняются многие его литературные промахи... Если бы он хорошо переварил эту истину, то те герои, которым он поручает вещать ее, не говорили бы двусмысленного вздора при каждом удобном и неудобном случае. Несправедливый, неверный этот приговор продиктован, с одной стороны, доктринерско-геллертерским применением марксизма, при исследовании художественного творчества, а с другой — теми же самыми мотивами, по которым Плеханов относил Ленина не к марксистам, а к бакунистам. Меншевику Плеханову претили большевистские симпатии Горького. Враждебность к большевизму, непонимание большевизма привели к враждебной оценке художественного творчества Горького. Иначе и не могло быть, ибо, как справедливо указывает Горький, связан он был как художник и как политик именно с большевиками: «Подлинную революционность я почувствовал, — пишет он, — именно в «большевиках», в статьях Ленина, в речах и в работе интеллигентов, которые шли за ним. К ним я и «примазался» еще в 1903 г. В партию не входил, оставаясь «партизаном», искренне и навсегда преданным великому делу рабочего

класса, и в окончательной победе его над «старым миром» не сомневаюсь».

Правда, когда появились такие шедевры Горького, как «Городок Окуров», «Детство» и т. д., то меньшевизм попытался их использовать в свою пользу. Рафаил Григорьев в своей книжке о Горьком пытался уверить, что публицистический смысл горьковских художественных хроник направлен против политического утопизма справа и слева, т. е. против большевизма: «Не забывайте, что «Москва» — только брововая шапка на голове полудетого нищего, — сказано в книжке Григорьева, — что за тонким слоем этой «Москвы» лежит тяжелой, нетронутой, способной все раздавить глыбой окурощина... Таково объективное значение произведения, независимо от того, вкладывал ли сознательно автор в него именно подобный смысл!..»

«Городок Окуров», «Детство», «В людях» и другие мастерские вполне реалистические повествования Горького в самом деле имеют публицистический смысл, подсказанный всей логикой художественной ткани этих вещей, но публицистическая логика этих вещей свидетельствует о правоте большевизма, а не наоборот. Реализм Горького в этих вещах — подлинный социалистический революционный перспективный реализм. Он не только говорит жуткую правду об окурощинской России, но и зовет к борьбе с окурощиной, каждой строкой своей зовет к борьбе за иную, лучшую социалистическую жизнь. Последовательностью этого призыва произведения эти направлены против тех, кого Горький метко назвал социал-незюитами, своим соглашательством, своим пресмыкательством перед господствующими классами увековечивавшими в России «окурощину», увековечивающими капитализм во всем мире.

Горький умеет не только любить, он умеет также неистово и ненавидеть. Лютой ненавистью к мрачной действительности старой России продиктованы эти совершенные художественные творения Горького, плодотворною ненавистью во имя переустройства ее на новых

светлых социалистических началах: «Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, — писал Горький в «Детстве», — я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе — стоит, ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной.

И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, — русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душой, что преодолевает и преодолет их.

Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодovit и жирен пласт всякой скотской жизни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе-человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой».

«Доброе-человечье» в России проросло через революционную борьбу рабочего класса, которой помогал, в которой принимал участие своим громадным талантом Горький.

Мало таких книг в русской литературе, которые, подобно автобиографическим повестям Горького, были бы так исполнены ненавистью к волчьей жизни собственнического мира и были бы так исполнены действенной силой борьбы за новый антисобственнический, социалистический мир, той ненавистью, которая впоследствии продиктовала Горькому лозунг: «Если враг не сдается — его уничтожают».

Сорокалетний литературный юбилей Горького застает его в первых рядах на великой социалистической стройке нашей страны. Его огромная еще незаконченная эпопея «Клим Самгин» — обвинительный акт против всей буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции, не сумевшей преодолеть своего корист-

ного классового эгоизма, оставшейся в рядах эксплуататоров и организаторов войн. Самгин — последыш одного из излюбленных «красавцев» (выражение Горького) мировой и русской литературы. «Молодого человека XIX столетия», «у которого более или менее уродливо разрослось, гипертрофировалось его «я» и который, не находя себе удобного места в условиях мещанской жизни, не находил в себе ни сил, ни желания попытаться изменить эти условия».

«Клим Самгин — центральная фигура эпопеи — выведен в чертах таких законченных, так художественно оформленных, с такой исчерпывающей полнотой, что имя его могло бы стать таким же нарицательным, как имя Обломова. Не произойдет этого лишь потому, что мы живем в новом мире по сравнению с тем, который изображен в трех томах «Сорока лет». Самгин убиты историей. Февральская революция, если бы она разыгралась по рецепту меньшевиков и эсеров, дала бы им торжество. Но за февралем пришел Октябрь — и почва, на которой выростали Самгины, была перепахана наново и засеяна другими семенами. Самгины остались, конечно, но в виде остаточного явления. Они немало напакостили и после Октября, пакостят еще и сейчас, но они не опережают ни сути, ни даже поверхности нашей действительности. Только поэтому слово «самгинщина» не получит такого значения и распространения, как слово «обломовщина».

Да, Самгин не находил себе удобного места в российской мещанской жизни особенно потому, что российская мещанская жизнь была еще погружена в атмосферу самодержавно-полицейско-крепостнического свинства. Он задумывается над вопросом о переустройстве быта, в котором он живет, он ищет путей из него в какую-то лучшую жизнь. Но Самгин слишком связан с породившим его бытом и слишком мелочно-эгоистичен, чтобы он смог выработать себе настоящие, передовые убеждения, для него убеждения — только система фраз, которыми люди прикрывают свои корыстные низменные побуждения. Да, он

и не очень знающ, не очень образован, этот адвокат Самгин. Он чувствует, что судьба отвела ему срок жизни в эпоху каких-то коренных исторических ломок. Но заботится он только о том, чтобы найти себе среди потрясений эпохи спокойное и удобное пристанище, прилично разукрашенное безвредными цветами приличествующей его положению и его среде идеологии. Он любит только себя, он трусоват, он способен и на подлость: выдать товарища, почти проговориться на допросе у жандарма; он любит спокойствие и комфорт, его женигба, семейная жизнь и уход от жены так благонамеренны и ординарно-пошлы, он все упрощает, со всего великого и значительного он стремится сорвать ореол, уподобить его себе. Но в то же время Самгин умеет придать себе вид человека глубокомыслящего и значительного; его принимают чуть ли не за беспартийного социал-демократа-большевика.

Но ни о чем другом Самгин так не мечтает в глубине души, как о том, чтобы все необходимые изменения проходили мирно, эволюционно, без потрясений, сохранив ему безопасность, покой и состояние. Ему хочется проскользнуть мимо «да» и «нет» в революции, хочется не быть ни по одну сторону баррикады. Озорные люди, выходящие из установившихся рамок, революционное кипение с его томительным ожиданием катастроф настолько нестерпимы Климу, что он не прочь помечтать о твердой власти хотя бы самого Николая II, лишь бы было обеспечено от беспокойных передраг его узенькое, маленькое «я», и только ужасное бессмыслие самодержавия, не желавшего ни на волос уступить хотя бы в видимости духу времени, толкает его влево. Да как было не подаваться влево, когда безобидного Клима арестовывают, когда его, зрителя, чуть не убили 9 января и т. д. А затем ведь и все гянуло влево, как же ему, передовому, было отстать? Вот Клим и оказался чуть ли не сочувствующим баррикадным боям в Москве во время вооруженного восстания в 1905 г.

Но «левизну» свою Самгин переносил как иго, как тяжкую принудитель-

ную повинность. Эволюции ему хотелось, а не революции, безопасности, а не пушечной пальбы. Ни масс, ни рабочих, ни крестьян он не знал. Втайне он их побаивался и недолюбливал и злорадствовал, когда находил предлог для их охаиванья.

Самгины были раньше всегда возвешиваемы художественной литературой. Она всегда будила к Самгиным то сочувствие, то жалость, в зависимости от характера и положения того или иного из этих «красавцев». Горький художественно низложил Самгиных, он вскрыл все их ничтожество, всю их пустоту, их чуждость массам и их бессилие перед массами. Иначе осветив «красавца», которому раньше поклонялась русская и мировая литература, Горький совершает огромное и воспитательное дело.

Горький неутомимо работает на поприще культурной революции. Им был еще до становления диктатуры пролетариата выпущен первый сборник произведений пролетарских писателей. Он заботливо консультирует, печется, окружает своим вниманием молодые дарования, выходящие из рядов рабочих и крестьян. Он сплывает вокруг рабочего класса все лучшее, что есть в нашей советской и мировой литературе.

Его инициативе мы обязаны существованием ряда журналов, проведению многих мероприятий, увеличивающих размах культурного строительства в СССР.

Горький не ограничивается словом художника в своей борьбе с силами старого мира за новые коммунистические условия существования. Он обнажил свое старое оружие пролетарского публициста. Публицистическое слово Горького звучит громким призывом к борьбе и бодрой уверенностью в победе. Он будит совесть среди лучших представителей мировой интеллигенции, которая под ударами кризиса начинает понимать, где, на какой стороне правда и кому принадлежит будущее.

С неутомимым терпением он умеет ободрить многочисленных своих корреспондентов, показать с новой неожиданной

стороны побеждающую силу нового и отвратительную картину распада капиталистической культуры. В многочисленных своих статьях он вскрывает коренную враждебность буржуазии культуре и развертывает победное шествие культурной революции в Стране Советов. «Народы Союза Советов,— пишет он,— вступают в эпоху возрождения. Октябрьская революция вызвала к жизнедеятельности десятки тысяч талантливых людей, но их все еще мало для осуществления целей, которые поставила перед собой рабочий класс. В Союзе Советов нет безработных, и всюду, во всех областях приложения человеческой энергии нехватает сил, хотя они растут быстро, как никогда и нигде не росли».

Вы, интеллигенты, «мастера культуры», должны бы понять, что рабочий класс, взяв в свои руки политическую власть, откроет перед вами широчайшие возможности культурного творчества.

Посмотрите, какой суровый урок дала история русским интеллигентам: они не пошли со своим рабочим народом и вот разлагаются в бессильной злобе, гниют в эмиграции. Скоро они все поголовно вымрут, оставив память о себе, как о предателях».

И сейчас, когда каста безответственных хищников лихорадочно готовит новую бойню, так своевременно, так нужно звучит голос Горького, который, преодолевая границы и запреты буржуазных правительств, зовет к войне против войны, к последнему и решительному бою за торжество принципов пролетарского социализма.

Во время империалистической войны Горький занимал пораженческую и интернационалистическую позицию. Сейчас Горький с новой силой, с юношеским воодушевлением выступил против растущей военной опасности. Голландское пра-

вительство не пустило Горького на антивоенный конгресс, но слово Горького — сила. Он умеет преодолевать препятствия. Не заглушила его голоса царская цензура; не заглушить его и усилиями капиталистических прислужников. Призыв Горького достигнет слуха всех тех, кто ненавидит войну, укрепит сознательных врагов тех порядков, которые порождают войны, ободрит и направит колеблющихся, разбудит голос совести у многих таких, у кого она до времени дремала.

Свою произнесенную речь на антивоенном конгрессе Горький заканчивает призывом к пролетариату и интеллигенции «приложить все усилия, всю свою мощь для организации последнего и решительного боя против классового врага, разрушающего культуру, созданную вековыми усилиями работников физического и умственного труда». Но если классовый враг все же еще раз успеет спустить с цепи дикого зверя войны, то Горький подаст пример единственно правильного революционного действия. «И если вспыхнет война против того класса, силами которого я живу и работаю, — заявил Горький, — я тоже пойду рядовым бойцом в его армию. Пойду не потому, что знаю — именно она победит, — а потому, что великое справедливое дело рабочего класса Союза Советов — это мое законное дело, мой долг». (Ст. «Циничное бесчеловечье» 1929 г.).

Сорок лет стоит Максим Горький на боевых позициях борьбы за социализм, на посту мастера культурной революции пролетариата. Рабочий класс Страны Советов и всего мира, все трудящиеся, видящие в пролетариате своего вождя, с любовью и уважением приветствуя великого пролетарского художника, шлют ему пожелания долгих дней и плодотворной работы.

2. БЕРАНЖЕ (1857—1932 г.)

И. Луппол

Семьдесят пять лет назад умер французский поэт-песенник Пьер-Жан Беранже, тот Беранже, с последней песней которого прибыл из Парижа пушкинский фаг и ловелас граф Нулин, и вместе с тем тот Беранже, которого Белинский называл «великим и истинным поэтом современной Франции» и «французским Шиллером, пророком свободы гражданской и свободы мысли»¹⁾. В наши дни и в нашей литературе одни называют его «поэтом-предпролетарием»²⁾ или «певцом страдающей и протестующей бедноты, этого французского «предпролетариата»³⁾, другие — «бонапартистом», философия которого — «идея благоразумного человека с замкнутым кругозором», описывающим чрезвычайно наивные и привлекательные, но вместе с тем очень мелкие вещи»⁴⁾, — суждения, как видно, почти противоположные.

Кем же был в действительности Беранже, детищем какого класса был этот «французский Шиллер», чьи идеи и чувствования облакал он в форму песни, каково наконец должно быть наше отношение к литературному наследству Беранже?

Беранже родился в 1780 году и умер в 1857, на семьдесят седьмом году жизни. Это значит, что его сознательная творческая жизнь охватывает всю богатую социальными процессами и политическими событиями первую половину XIX века с решающими подступами к ней в виде Великой французской революции. В самом деле, Беранже был свидетелем победного начала революции и всех ее путей до директории и консула-

та. Он видел превращение «маленького капрала» в торжествующего над Европой императора, видел и отречение его, и последний взлет «ста дней», и скорбный эпилог на заброшенном островке Атлантического океана. Негодующе смотрел он на триумф союзников в Париже, с ненавистью встречал возвращавшихся Бурбонов и своей сатирической метлой выметал их в июльские дни 1830 года. Насмешливо и скептически созерцал он правление «короля-буржуа» Луи-Филиппа с тем, чтобы и его проводить с насмешкой. Слабеющими глазами видел он и возвышение «недостойного племянника великого дяди», треском военных барабанов оглушавшего старика Беранже. Не мог дожить он лишь до взрыва Парижской коммуны, и, стало быть, не был в его поколении завершен круг от классической буржуазной революции до первой революции пролетарской.

Таким образом перед его глазами прошла вся политическая история Франции первой половины XIX века. Но эта политическая история была лишь переводом на язык политических событий истории социальной. Последняя же была не менее богата классовыми сдвигами и классовыми битвами. Каждый класс, каждая общественная группа пережили свою историю, в особенности богата содержанием в эту эпоху история мелкой буржуазии.

Уже трехсословное деление Франции накануне Великой революции таило в себе четкую классовую структуру с светскими и духовными землевладельцами, как господствующим классом, с шедшей к власти не по дням, а по часам крепнущей буржуазией и с многими тысячами и миллионами мелкой буржуазии, ремесленников, мануфактурных рабочих и крестьянских масс. Основной конфликт между производственными силами общества и производственными отношениями, приведший к революции, перекопал и взорвал все классовые траншеи, перетасовал классовые карты. **Дав на время**

¹⁾ В. Г. Белинский. — «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя». В. Г. Белинский — письмо к В. П. Боткину 27 июня 1841 г.

²⁾ Д. Горбов. — «Жизнь и творчество Беранже».

³⁾ Г. Лелевич. — «Вступительная статья к «Избранным песням» Беранже», М., 1923 г.

⁴⁾ А. В. Луначарский. — «История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах, часть II, стр. 99.

господство мелкой буржуазии, он отодвинул ее на второй план и, сохранив некоторую революционную традицию (главным образом отрицательного порядка—низвержение старой феодальной аристократии), на время разрешился в буржуазной империи с императором-парвеню наверху политической пирамиды. Тем самым мелкая буржуазия все более и более загонялась в оппозицию и в роковой момент не оказала империи поддержки.

Возвратившиеся на штыках армий более отсталых в социально-политическом отношении полуфеодальных держав Бурбоны, в эмиграции «ничему не научившиеся и ничего не забывшие», знаменовали вновь приход к власти едва приправленные «хартией» старые дореволюционные порядки. У власти вновь стали землевладельцы-аристократы, спешно компенсировавшие себя за все причиненные революцией «протории и убытки». Тем самым революционная накануне 1789 г. буржуазия отгеснялась от государственного пирога в оппозиционные окопы с революционаристскими вылазками, а мелкая буржуазия вновь переходила на прямые революционные позиции.

Либерально-оппозиционная буржуазия в своем новом стремлении к власти пошла на заигрывания с мелкой буржуазией и первыми отрядами рабочих и их руками произвела июльскую революцию 1830 г., но, добившись таким образом окончательного свержения Бурбонов, она сама оказалась «революционной» лишь настолько, насколько нужно было, чтобы заменить Бурбонов Орлеанами. Царствование «короля-буржуа» Луи-Филиппа (1830—1848) оказалось царствованием, безраздельным господством плутократии, финансовой буржуазии, банкиров и капиталистов. Но «феодальная аристократия—не единственный класс, который был низвергнут буржуазией, условия жизни которого засохли и зачахли в современном буржуазном обществе»¹⁾.

Рядом с развивающейся буржуазией оказалась прозябающей мелкая бур-

жуазия, а также и мелкое крестьянство. «В тех странах, где развилась современная цивилизация, образовался и, как дополнительная часть буржуазного общества, постоянно вновь образуется новый слой мелкой буржуазии, колеблющейся между пролетариатом и буржуазией. Но конкуренция постоянно сталкивает принадлежащих к этому классу лиц в ряды пролетариата»¹⁾. Таким образом и от Орлеанов французская мелкая буржуазия ничего не получила, кроме пролетаризации. Она вновь оказалась в революционной оппозиции. Однако положение стало существенно иным. Власть буржуазии означала быстрое развитие капитализма, а с развитием капитализма стал неминуемо расти и его могильщик—пролетариат. Вырастающий исторически из мелкой буржуазии и крестьянства пролетариат в силу своего специфического положения в системе общественных производственных отношений сложился в особый общественный класс со своей особой идеологией, со своей особой теорией и практикой классовой борьбы.

Однако это сложение пролетариата «в класс для себя» со своей идеологией было довольно длительным процессом, и «болезней роста» было также довольно много. Маркс чрезвычайно метко говорит: «В таких странах, как Франция, где крестьянство составляет гораздо больше половины всего населения, естественно, что писатели, выступившие в защиту пролетариата против буржуазии, прикладывали к буржуазному режиму мелкобуржуазную и мелкокрестьянскую мерку и защищали дело рабочих с мелкобуржуазной точки зрения. Так возник мелкобуржуазный социализм»²⁾.

Можно сказать, что следующим этапом предьстории пролетарской революционной идеологии был критический утопический социализм. «Творцы этих систем видят уже противоречия классов, равно как и влияние разрушительных элементов внутри самого господствующе-

¹⁾ К. Маркс и Ф. Энгельс.—Коммунистический манифест, гл. III.

²⁾ Там же.

³⁾ Там же.

го общества. Но они не видят в пролетариате никакой исторической самостоятельности, никакого свойственного ему политического движения». Они видят, что пролетариат страдает более других, «но только в этом качестве более других страдающего класса и существует для них пролетариат»¹⁾.

Впервые во весь рост пролетариат показал себя в революции в 1848 г., но именно крестьянская масса и оказалась тем «мешком с картофелем», которая вывезла Луи-Наполеона. Этот новый политический сдвиг вновь не принес мелкой буржуазии желанного для нее выхода, ибо выход, который представлялся ей, был несбываемо утопическим, реальная же правда заключалась для сотен в том, чтобы «выбиться в люди», втиснуться в ряды буржуа, а для многих тысяч—в том, чтобы пополнить армию пролетариата.

Все это—как это ни покажется странным (на первый взгляд—имеет ближайшее и непосредственное отношение к Беранже, ибо он как поэт разделил в своем творчестве все изгибы и извивы судьбы французской мелкой буржуазии первой половины XIX века. Социально-политическая история Франции этой эпохи была тем общим, той общей почвой, что определила собою тематику Беранже, круг вопросов и проблем, которые конечно вставали не только перед ним, но и перед всеми писателями-современниками. Именно мелкая буржуазия, с ее интересами и горизонтами, нуждами и потребностями, симпатиями и антипатиями, чаяниями и ожиданиями, идеями и влечениями, даже со своими поэтическими формами была тем, на философском языке, о с о б е н н ы м или частным, что конкретно и отчетливо определило классовые позиции Беранже. И наконец, изучая литературное наследие Беранже, мы никак не можем пройти мимо того единичного или индивидуального, что внес он сам, и никто другой; в значительной степени это—его поэтическая манера, необычайная легкость и привлекательность его музыки, его талант, все

то, что именно Б е р а н ж е, а ни кого иного в поэзии сделало певцом французской мелкой буржуазии первой половины XIX столетия. Так указанные общие, особенные и единичные черты в синтезе своем дали талантливейшего и обаятельнейшего, одновременно лирика и сатирика, поэта Беранже.

Художественно-поэтическая генеалогия Беранже очень несложна. Если нужно назвать имена, то это (оставляя в стороне Ж.-Ж. Руссо, который как идеолог предреволюционной мелкой буржуазии оказал на Беранже влияние по содержанию)—«безумец мудрый», «пересмешник» Раблэ и «писатель славный, реформатор вековой» Вольтер. В нескольких стихотворениях Беранже чрезвычайно тепло отзывается о них. «Крестины Вольтера» дают ему повод не только вспомнить о маленьком Вольтере, «мальчике с громадной не по росту головой», и о том же Раблэ, тень которого появляется на крестинах, чтобы предсказать будущее Вольтеру («Что там Лютер, оч Кальвина в отрицаньи превзойдет... Берегитесь, слуги папы, от него вам попадет, даже школьником всю школу крестник ваш воспламенит, не сдержать огня такого, нет на то ни сил, ни мер; проклянет отец святейший имя самое—Вольтер») и посмеяться над всем церковным причтом, совершающим крещение будущего врага.

Изображая себя «Отшельником», он вновь вспоминает своих поэтических предков:

Раблэ, безумец мудрый
(Сродни ему был он),
Отшельнику оставил
Свой старый капюшон.
Нося его, наследник—
Весельем овладев —
Хранит в душе один лишь
На лицемеров гнев...
Вольтера сочиненья—
Молитвенник его;
Запретного нет в мире
Святого ничего...
С такою подготовкой
К служенью своему
Подвижник всех чарует,
Все молятся ему:

Отшельник добрый, себя ты спас,—
Молись, молись за нас!

¹⁾ Там же.

Эти поэтические предки Беранже определили его отрицательное отношение ко всем современным ему художественно-литературным направлениям. Ни одно из них не удовлетворяет его, и он дает всем им от себя благие советы. Так сентиментальному поэту он говорит:

Ты нежный наш поэт,
Питомец вдохновенья,
Примешивай порой
Плющ к розам наслажденья!
Безумством доливай
Свой кубок, полный счастьем,
Оно красавиц всех
Утешит сладострастьем!..

Зло высмеивает Беранже религиозно настроенного поэта:

Ты, выставивший свой
Экстаз религиозный
Всем людям напоказ
В поэзии серьезной,—
Ты в маске сам всегда,
Твоя обрюзгла муза,
Ей долго не пронести
Божественного груза...

Столь же мало удовлетворяет его и поэт, слепо следующий всем канонизированным предписаниям академической поэтики:

Ты, Буало стиха
За свой считавший тревник.
Тебя освободить
Легко, поэт-волшебник!

Распространившийся в эпоху реставрации романтизм в особенности зло высмеивается нашим поэтом:

А ты, романтик наш,
Спустись из сфер надзвездных,
Потоки рифм твоих—
Из самых бесполезных!
Товарищ милый мой,
На, выпей рюмку эту,—
Твой исцелится мозг
На радость всему свету...

Всем этим школам он противопоставляет песенную поэзию трубадуров. Рефреном к этой песне являются стихи:

Суров закон,
А нам-то что за дело!
Ведь трубадуры всех времен
Под вольный звон

Своих стаканов пели смело
И даже весело, ей-ей,—
И под носом у королей
Не знали выпивке предела¹⁾.

Известно, что поколение Беранже воспитывалось на образцах классической поэзии. Псевдоклассицизм входил в воспитательный обиход аристократии, но и революционная буржуазия из античного мира извлекала как свою героиню, так и художественную форму, в которой преподносилась эта героиня гражданских доблестей. Однако Беранже, внук портного и сын швея, получивший образование на гроши, был слишком народен, слишком мелкобуржуазен, чтобы увлекаться и пленяться античным миром. Последний был совершенно чужд его музе. Муза его была вполне современной, вполне французской, отнюдь не зараженной античной традицией. В своей автобиографии, написанной уже на склоне лет, Беранже говорит: «Будем изучать древность, уважать традиции, но не станем занимать у них ничего, кроме самого необходимого». Как нелепыми и ненужными казались ему античные формы, в которые Наполеон стремился облечь свою империю, так нелепыми и ненужными представлялись ему и античные одежды поэзии. Вместо них он заимствовал для своей музыки легкие одежды народной песни, сочетавшей в себе ряд куплетов, исполняемых певцом, с рефренами после них, подхватываемыми хором.

Нужно сказать, что эта форма, еще живая в крестьянстве и мелкой буржуазии, оказалась чрезвычайно популярной и подстать содержанию беранжеровских песен в значительной мере способствовала их широкому распространению. Беранже был прав, когда он писал в своей автобиографии: «Может быть, в нашу эпоху я — единственный автор, который бы мог обойтись без книгопечатания. Чему я обязан этим преимуществом? Старым мелодиям, на которые, если можно так сказать, я сажал верхом мои

¹⁾ «Трубадуры». Все стихотворения — песни Беранже — цитируются (если не оговорено) по изданию «Полное собрание песен Беранже» под редакцией С. С. Трубачева. СПб, 1904—1905.

идеи, и доброму духу, не вселившему в меня презрения к песне». Всячески развивая и культивируя этот род поэзии, Беранже как бы вновь, уже с заостренным политическим содержанием, сделал его достоянием современных ему трудовых масс, одновременно выработав такой песенный лексикон, четыре пятых которого, как признается он сам, были воспрещены официальной поэзией.

В своей автобиографической песенке «Портной и фея» уже на склоне лет он так устами феи обращается к своему деду по поводу самого себя:

«Не огорчайся, дед. — промолвила она, — Талант иных певцов дороже всякой прозы. Песнь внука твоего ударит по сердцам, Пробудит бодрый смех, осушит в горе слезы».

Но если Беранже рано на всю жизнь выработал, хотя и не без некоторых поисков, специфически свою «беранжеровскую» песенную форму поэзии, то содержание ее, при некоторых постоянных от первых до последних лет творчества сюжетах, значительно варьируется, при чем лейтмотив неизменно определяется каждым данным историческим этапом мелкой буржуазии.



Первые, ставшие популярными, песенки Беранже относятся к десяткам лет XIX века. В них сказался не только возврат Беранже, ибо аналогичные по сюжетам песни будут создаваться им и едва ли не в самые последние годы жизни. Это сплошь слепка эротические застольные песенки, иногда со ступенными вакхическими мотивами, большею же частью на ряду с любовью девушек воспевающие вино, товарищеские пирушки, легкую шутку, призывающие к дружбе и взаимной любви.

В этих песенках ясно прощупывается традиция XVIII века (века рококо). Однако и в «Вакханке», и в «Марго», и в «Моей бабушке» с ее популярнейшим рефреном: «Уж пожить умела я! Где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная!»—не чувствуется та развращенность аристократии и крупной буржуазии XVIII столетия, которая ставила «славу века». Если их переве-

сти на язык живописи, то это будут не эротический Буше, не слащавый Ван-Лоо и даже не подчас напыщенный Фрагонар, а скорее несколько легкомысленный в своей сентиментальности Грез и в известной мере эротизированный Шарден.

Эти песенки Беранже—воспевание тех же на свой лад понимаемых мещанских добродетелей, где даже интрижка молодой пары, какого-нибудь Жана с какой-нибудь Лизеттой, есть тоже добродетель двух в данный момент любящих друг друга сердец.

Но как было сказано, чем дальше, тем больше, наполеоновская империя загоняла мелкую буржуазию в оппозицию. Легкое оппозиционное настроение прощупывается в эти годы и у Беранже, при чем в плане как социальной, так и политической сатиры. В первом случае—это «Сенатор», хорошо известный у нас в курочкинском переводе «Знатный друг», сатира, высмеивающая семейные нравы и высшей служебной аристократии, и мелкого подхалимствующего чиновничества. Во втором случае—это, нужно сказать, довольно безобидная песенка, противопоставляющая Наполеону сказочного короля-простака, «Короля Ивето», который «отменил налогов тьму, горя свободы жаждой, вино лишь в подать шло ему по кружке с бочки каждой»; «войну он страшным злом считал, хоть рыцарь был по взглядам, стрелять иветцам разрешал, но только холостым зарядом». Этот король, который «своих земель не приращал», должен был, по мысли Беранже, служить укором Наполеону.

Однако уже вынужденное отречение Наполеона и реставрация Бурбонов существенно меняют дело. Продолжая стоять в оппозиции к империи, он находит в эпоху «ста дней» почти дружеский, наполовину с укором, наполовину с образумливающими советами тон в отношении Наполеона. В легкой аллегорической форме он пишет «Политический трактат в обработке для Лизы», где под Лизой следует подразумевать зарвавшегося, по мнению Беранже, императора, который однако ближе ему, чем ненавистные Бурбоны. Если он и «исчадие», то

все же исчадие революции, в традициях которой был воспитан и вырос Беранже.

Царишь ты, Лиза, милостию бога,
Который создал равными людей;
Твоя краса влечет сердца и взоры
И пленников уводит без цепей...

Поэт продолжает:

Порой красотки наши самовластны
Не менее, чем сами короли...
Ах, до границ отчаяния скольких
Они безумцев юных довели.
Страшась, чтоб в годы молодые
Не взбунтовался кто из них.
Забудь, Лизок, о тирании
Для счастья подданных твоих, —

так увещевает Наполеона Беранже, и это является неизменным рефреном всей песни. Дальше аллегория становится еще прозрачней: красотки напоминают «тех вояк всем памятных времен, что уезжали драться на чужбину и покорить хотели сто племен», и поэт взывает: «Не делай вновь завоеваний для счастья подданных твоих».

Все советы Наполеону направлены на одно: чтобы вторично и окончательно не потерять власти, он должен изменить свою внутреннюю политику:

Хоть скипетр дан тебе природой,
Хоть мало скипетров таких, —
Ты преклоняйся пред свободой
Для счастья подданных твоих.



Но если столь мягкий тон находит Беранже в отношении Наполеона, то классовой ненавистью и злобой дышит каждое его слово по адресу «новых», по милости союзников, правителей Франции, реставрированных Бурбонов и всего социально-политического порядка, пришедшего вместе с ними. Это была действительно реставрация старого режима. Мелкая буржуазия увидела себя совершенно обворованной, она оказалась у разбитого корыта, и вновь с революционной энергией взялась она за осаду, а затем и штурм этого реставрированного и слегка подправленного ancien régime.

Беранже иногда называют поэтом эпохи реставрации. Это верно в том смысле, что наибольший расцвет его сатирической и саркастической музыки, его по-

литически насыщенной поэзии приходится на 1815 — 1830 годы. Но это не внешнее совпадение и не биологический спецификум наиболее творческого возраста (Беранже было 35—50 лет), а внутреннее социально обусловленное единство наибольшего в XIX веке революционного подъема мелкой буржуазии и определенного им расцвета творчества певца этой мелкой буржуазии. Действительно, в эпоху реставрации Беранже создал почти все, чем он вошел в историю литературы, шире—вообще в историю. В эту эпоху сказались почти все его как сильные, так и слабые стороны. В эти годы развил он свою убийственную отрицательную критику, делающую его в наших глазах в исторической перспективе революционером так же, как и, приходится сказать, свою положительную программу, не выдержавшую испытания времени и умершую вместе с ним уже накануне Парижской коммуны.

Основа гражданской, подаваемой неизменно в легкой форме поэзии Беранже этого периода—все та же: сильная традиция Великой французской революции, упорная заковка республиканца, прочные позиции трудового мелкого буржуа-ремесленника.

Направления его метких и едких ударов ясны при свете складывающейся конфигурации классовых сил. Прежде всего его острие направляется против союзных армий, без вооруженной помощи которых Бурбоны никогда бы не завладели прекрасной беранжеровской Францией. Это дает небывалый, остающийся на всю жизнь взлет патриотизма в том смысле, в котором это слово употреблялось в революционной Франции. Само собою разумеется, что с течением времени этот патриотизм превращается в мелкобуржуазную утопию, которая лишь на руку крупному капиталу. Воспеванию французских «доблестей», сокрушению по поводу оккупации Парижа союзниками и негодованию по их адресу Беранже посвящает ряд то трогательных, то унылых, то негодующих и призывно-боевых песен. К этому кругу относятся: «Галлы и франки», «Моя, может быть, послед-

няя песня», «Добрый француз», «Разбитая скрипка», «Священный союз варваров» (сатира на «Священный союз»).

С восстановлением на троне Бурбонов острие сатиры Беранже направляется против них, а также с неменьшей силой против тех классов, общественных групп и политических организаций, опираясь на которые, Бурбоны осуществляли свое господство, это—земельная феодальная аристократия, католическое духовенство, палаты, полиция, шпионаж и цензура.

В 1821 году Беранже издал свой второй томик песен. Немедленно против него было возбуждено судебное преследование. За песни «Вакханка», «Моя бабушка», «Марго» его обвинили в оскорблении нравственности, за песни: «Благодарственная молитва эпикурейца», «Шествие в ад», «Мой кюре», «Капуцины», «Приходские певчие», «Миссионеры», «Господь бог» и «Смерть короля Христора»—в оскорблении религиозной морали; за песни: «Принц Наваррский», «Господь бог», «Простуженный», «Белая кокарда»—в оскорблении особы короля; наконец за песню «Старое знамя»—в предложении носить запрещенный королем условный знак. По второй и третьей группам песен Беранже был признан виновным и присужден к трем месяцам тюрьмы и штрафу в 500 франков.

Что же это за песни? Беранже не оставляет в них ничего «святого» в понимании этого слова торжествовавшей тогда реакцией, и поэтому приходится признать, что если Беранже метко целил своими сатирами, то и правительство не менее метко определило своего врага, бросив его в тюрьму.

«Белая кокарда» (эмблема Бурбонов) уничтожающе высмеивает и зло попадает в самые чувствительные места вернувшихся из эмиграции феодальных господ. Это как бы их песня, которую они с триумфом распевают в Париже. «Чужеземцев с войсками призвали мы сами,—распевают они,—как легко все ворота они открывали, от которых ключи переслали мы им». «Мы, опора дворянства, столпы всей отчизны,—торжествуя несется их клич,—поднимаем свой

кубок за дружеский мир, за триумф торжествующих здесь иностранцев»; они пьют за славнейшего из Генрихов, т.-е. за Людовика XVIII, «за того короля, что сумел так искусно взять и трон, и Париж чужеземным мечом».

Что же остается при восстановленном полицейском режиме песеннику Беранже? Он «простудился», охрип и не может больше петь:

Дождь идет, друзья веселья,
Дождь законов, день за днем,
Дождь идет — и самый воздух
Нездоровым стал при нем.

Вокруг весна:

Да весна... Но вижу сети
Я кругом в сени ветвей,
Попадет как раз и в клетку
Ваш весенний соловей.

Друзья предлагают ему воспеть палату депутатов, палату пэров, министров. Но Беранже отвечает однообразно:

Я голоса лишился
От этого всего;
От этого всего
Я сильно простудился.

Это конечно ирония, ибо, как сказано, именно в годы реставрации песнь Беранже раздавалась наиболее громко и звучно. Первая тюрьма не «излечила» Беранже. Когда в 1828 г. он издал свой четвертый сборник стихов, его опять потянули на суд. На этот раз ему вменили в вину песни «Ангел-хранитель»—оскорбление религии, «Коронация Карла X» и «Бесконечно малые»—оскорбление короля, нападки на королевское достоинство и возбуждение в обществе ненависти и презрения к правительству. В последнем он был особенно мастером.

Действительно, своей песней он делал королевскую персону со всем ее окружением настолько смешной и ничтожной, что она ничего, кроме презрения и гадливости, не возбуждала,—где уж тут было думать об авторитете и величии. А песенки Беранже моментально подхватывались и с молниеносной быстротой распространялись по Франции. Больше того, друг Беранже, защищавший его на первом процессе, адвокат Дюпен, во время тюремного заключения Беранже издал от его имени протоколы судебного

разбирательства, в которые вставил, как официальный материал, все инкриминированные песни. Таким образом вместо запрета они получили лишь более широкое распространение.

По второму процессу чувствовавшее уже грядущую опасность правительство Бурбонов приговорило Беранже к 9 месяцам тюрьмы (он вышел из нее лишь за несколько месяцев до июльской революции) и непосильному для поэта штрафу в 10 тысяч франков. И с его точки зрения было за что,—песня Беранже становилась все смелее и острее.

Во время коронации Карла X в 1824 году был восстановлен древний обычай: в церковь пустили стаю воробьев—«стражей справедливости». Это дало повод Беранже написать песню, в которой он вскрывал и обличал коварство и вероломство церковников, приводящих короля к присяге: «Король! Клянись!—духовник чуть слышно говорит,—от этой клятвы Рим всегда, коль нужно, разрешит». Поэт обращается к воробьям: «Летите прочь все, воробьи, пред вами—папы сын; хоть по прозванию он и прост, но все же властелин... Летите дальше, — палачи за вами уж следят!» Рефреном к этой песне является:

И восклицал народ
В священный этот час:
«Пусть будет птичий род
Благоразумней нас,
Пусть хорошенько он
Свободу бережет»—
Кричал со всех сторон
Взволнованный народ.

Вторая тюрьма также не «исправила» Беранже. Напротив, сидя в тюрьме, он пишет песню «Мой карнавал 1829 года», рефрен которой гласит: «За все, за все по-королевски я вам, король мой, отплачу». И наконец накануне самой революции 1830 г., уже в период непосредственно революционной ситуации, он создает свою знаменитую революционную песенку: «Красный человечек». В основании ее лежит старинная французская народная легенда, согласно которой незадолго до свержения монархов и властелинов в Тюильри появляется призрак—«Красный человечек».

Беранже вспоминает Великую французскую революцию и соответственно Людовика XVI, перед падением которого «человечек» появился в фригийском колпаке, распевая марсельезу:

Я помню, как являлся
Он предо мной, когда
Дворяне и прелаты
Бежали кто куда...
Тогда он был в задорном
Фригийском колпаке—
Пел громко марсельезу
Со шпагою в руке.

Перед поэтом проносится в памяти и конец Наполеона, когда «человечек» появился с плюмажем в костюме аристократа:

Со времени террора
Забыва я о нем;
Пал добрый император,
Он возвестил о том...
На ток плюмажей двадцать
Он нацепить успел,—
Vivat, Четвертый Генрих!
Король, vivat, — запел.

Теперь пришла очередь и за Карлом X. Каждый куплет своей песни Беранже заканчивает словами:

Несчастный Карл Десятый,
Беда ему грозит...
Молись, молись за Карла,
Святых отцов синклит!

Нужно признать, что такая песня в то время, когда Карл еще сидел на троне, звучала несомненно революционно смело.

Бурбоны опирались на дворянство и духовенство. Революционный мелкий буржуа Беранже вспомнил по их адресу лучшие революционные традиции кануна Великой революции. Его песни, посвященные духовенству и христианским установлениям и вероучению, превосходят многое из того, что было написано на эти темы вольнодумными просветителями XVIII века.

Беранже создал длинный ряд песен, в которых он пускает ядовитые смертельные стрелы, протестующие, обличающие и непоправимо высмеивающие нравы и пороки духовенства, их любостяжание и грешки по части аскетической христианской морали. Перед слушателями проходит целая галерея метко схваченных.

типов. Здесь «Мой юре», который живет со своей племянницей.

Итак, я с паствою не строг;
Зато живу, любим, как бог,
Ни в чем нужды не зная...
Пусть папа наш твердит тайком,
Что от меня разит вином!
Но верь мне, дорогая:
Чтоб мы с тобой, моя краса,
Попадали вместе в небеса,
Целуй меня, как я тебя,
Других не осуждая!

Здесь и «Церковный служка», которому нужно идти на свидание и который не доволен попом, затягивающим службу. «Не худо б вспомнить, как на-днях, леща на завтрак, сударь, к мэру, лещи вы на всех парах, забыв почтение к святым». Здесь и целый сонм «приходских певчих», которые не забывают ни о вине, ни о «доброхотных приношениях прихожан», напевая:

Gloria tibi, domine!
Пусть каждый певчий пьет,
Пусть весело поет:
Gloria tibi, domine!
Нам конкордат дает
Порядочный доход!

Здесь и «Миссионеры» и «Иезуиты», чадувающие и развращающие народ и т. д., и т. п.

Антирелигиозная сатира Беранже идет дальше. Она высмеивает ряд догматов христианства, христианское нраво- и вероучение. В «Благодарственной молитве эпикурейца» он издевается над христианским богом; в «Шестствии в ад» — над сказкой об аде. Спустившись в ад, Беранже нашел его совершенно иным: «В дверях валялись груды пробок, стоял пустых бутылок строй: лилось вино, струились речи, хозяин слал гостям привет». Разрушая своей легкой песней болтовню об аде, Беранже заключает: «Ах, если служи справедливый, что нет в раю таких пиров, пускай пришлет за мною дьявол — я вечно жить в аду готов».

Но и христианское учение о рае дает этому потопку «пересмешника Раблэ» лишь мотив, по которому он вышивает забавный узор песни: Марго, с которой райский вратарь Петр прокутил всю ночь, похитила у него ключи от рая. Напрасно он взывает: «Марго, не мучь,

отдай же ключ: Петру ведь, право, не до смеха!» Марго распоряжается ключами по-своему: она пускает в рай индейца, турка и еврея, а затем и самого сатану, так как он «супругов с рожками патрон». Когда же к вратам подходит Петр, вся эта шумная ватага пред ним закрывает дверь: «Мы ждали прежде, жди теперь!»

Социально политическими мотивами пронизаны песни «Воззвание к высшему разуму», «Господь бог» и «Ангел-хранитель». В первой собравшиеся депутаты приглашают бога опознать к ним благословить их деяния, а он, видя всяческие их скверны, отвечает односложно: «Нет, любезный, погоди!» «Нет, любезный, и не жди!» Во второй бог, посмотрев на землю и увидя там все худые дела духовенства и своих помазанных, заканчивает каждый куплет тем, что, если все это делается по его воле, то, «пусть сам чорт меня возьмет!» Наконец в последней, третьей, самой сильной, происходит диалог между умирающим в больнице весельчаком-бедняком и его «ангелом-хранителем». Ангел перечисляет все свои и божии милости, которые они оказывали бедняку. Бог дал ему солому, на которой он родился, бог дал ему дырявую суму для сбора подаяния, бог отнял у него на войне ногу, которую ожидала подагра, бог дал ему, правда ненавистную, жену, бог приготовил наконец бедняку гроб. На все это бедняк отвечает: «Так в общем, ангел мой хранитель, я не обязан вам ничем».

Так говоря, бедняк смеялся
И сам больницу всю смешал:
Чихнул он вдруг, и добрый ангел
Его сейчас благословил,
Сказав: «Прощай, ты умираешь,
Теперь я лишний здесь совсем».
«Так в общем, ангел мой хранитель,
Я не обязан вам ничем».

Все эти антицерковные и антирелигиозные песни были на двух судебных процессах поставлены в вину Беранже. Несомненно они оказывали большое воздействие на широкие массы, отвращая их от духовенства и религии. Яд этих песенок знало и царское правительство. Многие из них могли появиться по-русски

лишь в «вольных», искаженных переводах. Вместо христианского бога и духовенства должны были фигурировать античные боги, греческие жрецы и мусульманские муллы. Так «Мой кюре» превращался в русском переводе в «Афинского жреца», «Церковный служака» в «Школьного сторожа», «Господь бог» в «Благосклонного Зевса» и т. д., и т. п.

На ряду с духовенством зло обличается и саркастически высмеивается поэтом и вторая опора трона—аристократия. «Дионис—школьный учитель» рисует нам аристократа, принужденного в эмиграции стать учителем и на школьниках вымещающего свою злобу; «Просьба знатных собак» презрительно и саркастически уподобляет воспрянувших после свержения Бонапарта аристократов собакам, которые просят вновь пустить их в Тюильрийский сад: «Пусть церемониймейстеры прикажут всем опять собачью знать без привязи в сад Тюильри пустать». «От всех собак, что бегают по улицам всегда, не трудно по ошейникам узнать нас, господа» — говорят эти родовитые псы. У них есть заслуги, они «ласкались к немцу, к русскому, заставшим всех врасплох». За любезность они готовы платить любезностью:

Даем за эти милости
Обет без лишних слов,
Визжать пред власть имущими
И рвать всех бедняков.
Тирана свергли... Пал он сам...
Так порезвиться дайте ж нам.

«Маркиз де-Караба» и «Маркиза де-Претантайл» — это вернувшиеся аристократы-феодалы. Они блестяще доказывают, что «ничего не позабыли и ничему не научились». Они также грубы, жестоки, развратны и обдирают крестьян. В эту же цель бьют песни «Обжоры» и «Похвальное слово каплунам».

Подсобные учреждения, органы для подавления в руках этого полуфеодального государства, обличаются в песнях: «К избирателям 1818 года» (палата депутатов), «Господин Искарриотов» (шпионаж), «Стой» (цензура).

Если таково отрицательно критическое направление музыки Беранже, то каковы его положительные идеалы? Эти

идеалы вновь и вновь определяются у Беранже его классовой принадлежностью, интересами и чаяниями мелкой буржуазии в эпоху реставрации.

Прежде всего по мере удаления в глубь истории наполеоновской империи она начинает находившемуся некогда в оппозиции к ней Беранже рисоваться все более и более привлекательными чертами. С первых же лет эпохи реставрации Беранже приступает к созданию так называемой наполеоновской легенды. Его привлекает и образ самого Наполеона. Император боролся с ненавистными аристократами, сам вышел из общественных низов, установил в армии своего рода демократические порядки, при которых «плох был тот солдат, который не мечтал стать маршалом».

С этой поры Беранже создает длинную цепь песен, посвященных как самому Наполеону, так и его героической армии, ее традициям и подвигам. В эпоху реставрации он пишет: «Старое знамя», по существу призыв свято хранить память империи, «5 мая 1821 г.» — песнь, посвященную кончине Наполеона, «Похороны Давида» — песнь, дающую повод вспомнить не только художника Давида, запечатлевшего целую серию событий из жизни Наполеона, но и его неизменную коронованную модель, «День Ватерлоо» и ряд других. В последние годы жизни он вновь возвращается к тем же сюжетам и пишет: «Орел и звезда», «Он не умирал», «Мать Наполеона» и др. В последней песне он сам соединяет оба имени:

Как песенник я неразлучен с ним!
Я порицал империю нередко,
Но плакал, слыша звон твоих оков;
Твое паденье — Франции бесславье
На торжестве союзников-врагов...
Я в государе видел человека...
И был он им... Народ рукой своей
Пусть скромное мое поставит имя
Там — у подножья статуи твоей!

Вот эта-то творимая руками Беранже «наполеоновская легенда» и дает иногда повод к тому, чтобы назвать Беранже бонапартистом. Но и в этой легенде он не был неким автономным субъектом свободной воли, а лишь подхватывал то, что носилось вокруг него в среде мелкой

буржуазии. Если Беранже и можно назвать «бонапартистом», то не в «генеральском», карьеристском и корыстном смысле слова, а в смысле широко социальном, имея в виду классовые симпатии французской мелкой буржуазии двадцатых-сороковых годов прошлого столетия.

В линии этих классовых симпатий и общественных идеалов развиваются и положительные создания музы Беранже. Он воспевает бедность («Бедняки»: «Покуда жив — бедняк счастлив, любить весь мир готов, и вот пою, и вот я пью за здравье бедняков»), умеренность и довольство своим скромным бытовым уделом и своими скромными интимными радостями («Мой старый фрак»), дружбу и мир, вино, даже плохое («Плохое вино»), и любовь двух юных сердец, непритязательную, простую любовь простых людей.

Беранже называют за это «певцом бедноты». Но и это определение требует уточнений и оговорок. Понятие бедноты слишком широко и мало определено. Воспевая в ту эпоху бедноту в бесчисленных песнях, Беранже например ни одной песней не коснулся Лионского восстания ткачей в 1831 г. Если под понятие бедноты хотя бы подвести и тогдашний в начальной стадии развития пролетариат, то к Беранже прекрасно подходят слова Маркса, сказанные им по адресу представителей так называемого мелкобуржуазного социализма: «Писатели, выступившие в защиту пролетариата против буржуазии, прикладывали к буржуазному режиму мелкобуржуазную и мелкокрестьянскую мерку и защищали дело рабочих с мелкобуржуазной точкой зрения».

Итак в силу классовой расстановки и классовой принадлежности Беранже в эпоху реставрации был со своей легкой и вместе с тем смело разящей песней ярким мелкобуржуазным революционером. Внесла ли какое-либо изменение в эту ситуацию и в музыку Беранже июльская революция? Вопрос этот не праздный, и ответ на него покажет, что в этом тяжелом для мелкого буржуа испытании Беранже оказался на высоте положения, и

не революция 1830 года пережила его, а он пережил эту кургузую революцию.



Классом, пришедшим на смену земельной аристократии, была крупная, главным образом финансовая, буржуазия. Одним из лидеров ее еще в эпоху реставрации был банкир Лафит. Эта либеральная буржуазия в поисках «союзников», руками которых она могла бы свергнуть аристократических Бурбонов, была крайне заинтересована в массе мелкой буржуазии. Отсюда заигрывания с ней либералов, отсюда и «дружба» Лафита к Беранже. Универсально любвеобильный Беранже поддался на эту дружбу, так что многие считали его либералом. Однако к счастью для него в аспекте истории Беранже оказался больше чем либералом. Старые революционные традиции дали себя знать и здесь.

Первая трещина между «друзьями» произошла уже во время второго судебного процесса в конце 1828 г. Беранже оказался для партии Лафита слишком либеральным. Они не метили так далеко, как Беранже в своих последних песнях. Отсюда некоторое недовольство со стороны либералов четвертым сборником песен, отсюда желание приглушить общественно-политическое значение второго суда над Беранже. Либеральные друзья давали ему благие советы не идти на суд, обещая поехать к министрам и уладить все дело тихо. Еще бы! Некоторые из них уже сами метили в министры.

В своей автобиографии Беранже наивно вспоминает: «Министерство Мартиньяка устроило нечто в роде перемирия и даже заключило якобы договор между большим количеством членов левой стороны и центром, а потому многие хотели помешать мне напечатать этот том; говорили, будто его появление нарушит видимое согласие этих господ».

Но чем больше уговаривали Беранже молчать, тем сильнее чувствовал этот революционный мелкий буржуа потребность нарушить молчание, протестуя таким образом против намечавшегося блока. Сборник вышел, суд состоялся, и

Беранже отправился на девять месяцев в тюрьму. Еще через несколько месяцев произошла революция, в которой «рабочие, луарские солдаты и школьники — все пали, жизнь отдав под пушек гром, нам завещав победу, своих имен нам даже не сказав» («Июльские могилы»).

Либеральная буржуазия мигмом преобразилась. В ее интересах было немедленно после свержения Бурбонов застопорить революцию, и она, а никто другой, пожалала полные плоды июльских дней. На трон был стремительно посажен Луи-Филипп, представитель младшей орлеанской линии старого королевского дома. «Революционный» декорум был полностью соблюден. Белые знамена Бурбонов были заменены трехцветным флагом, король — сын Филиппа Эгалитэ Великой революции — оказался «королем-буржуа», а фактически первым по положению французским банкиром. У власти на целых восемнадцать лет стала крепкая буржуазия. Как воспринял все это Беранже?

Ясно, что он с восторгом «проводил» Бурбонов. Несомненно, что он в первые моменты колебнулся и поддался на удочку либералов. Его соблазнило то, что «принцип легитимности» оказался победенным, как он пишет, «принципом народности». Не отделяя своей песни от революционных чаяний мелкой буржуазии, он даже думал, что настал конец его песни: больше-де ей делать нечего. В специальных стихах «Прощайте, песни» он с правом писал о себе:

Ты стрелы посылал порою в самый трон;
Чуть падали они—подхватывал их смело
Вблизи, вдали народ, и снова стоя их
В рамеченную цель со всех сторон летела.
Осмелился своей он молнией сверкнуть, —
В три дня лишил народ его с собой союза;
Немало пороку для ружей парижан
Твоя народная сфабриковала муза.

Беранже было уже в то время пятьдесят лет, и он думал, что с концом Бурбонов он может закончить и свои песни. Поэтому он продолжал:

Прощайте, песни! Весь я облысел,
Чело мое морщинами покрыто...
Смокает птица—чуть лишь подлетел
К ней аквилон, бушующий сердито.

Но Беранже ошибся, песням его предстояло еще большое будущее. Первые же дни показали, что произошел лишь небольшой классовой сдвиг у кормила власти и что мелкой буржуазии с бурным развитием капитализма, для которого открыли все клапаны, предстоит последний тяжелый путь.

Так как Беранже был широко известен, как яркий «антибурбон», новый «король-буржуа» благосклонно готов был оказать милостивый прием «пострадавшему от Бурбонов» и даже поблагодарить его. Этому старому республиканцу принять не мог. Он отказался от «высочайшего» приема, отговорившись тем, что он «слишком стар, чтобы заводить новые знакомства». А вокруг него началась уже раздача и получение министерских постов и иных теплых местечек. Кто-то из друзей даже высказал пожелание, чтобы Беранже принял пост министра народного просвещения. На это старик шутя ответил, что он немедленно «сделает сборники своих песен обязательным учебником для всех школ. «Друзьям, ставшим министрами», он писал: «Когда восторг глубокий вдохновенья меня возносит к далеким небесам, я вниз гляжу, мой взор не различает, где поданным места, где королям; солдат могу я счесть за генералов, а генералов — за солдат принять».

Он отказался от всех предложенных ему постов и sinecur и так прощался со своими бывшими друзьями, ныне министрами:

Итак, позвольте выйти из дворца мне,—
Величю принес я дань свою...
Друзья, прощайте! Я за этой дверью
Оставил лиру скромную мою...
Пускай спешит под эти драпировки
Свобода к вам, не забывая нас;
Пускай она поддержкою вам будет
И в добрый, и не в добрый час.
На улице, в толпе народной стану
Ей гимны петь, ко всем приманкам нем.

Среди той финансовой вакханалии, которая началась с первых же дней правления Орлеана и которая осуществляла брошенный им лозунг: «Обогащайтесь!»,—как было умереть песням Беранже! И поэтому вскоре же после

прощания с песнями он пишет вновь боевые стихи «Реставрация песни».

Да, песня, я — народ любя —
Сказал не без резона,
Что вместе с Карлом и тебя
Французы свергли с трона,
Но каждый новый наш закон
Был рабства новым правом...
Взойди же, песня, вновь на трон!
Спасибо, господа, вам!

Он полагал в своем утопизме, что «возведут все в идеал свободный труд, и мысль расширит сферу», оказывается же, «киной повсюду тон». Обсуждается вопрос о наследственном звании пэров, этих «титулоносцев-каплунов», среди «вельмож-глупцов» начинается кумовство и протекция, повсюду попрежнему правит сильный. И Беранже громогласно заканчивает свою песню, иронически благодаря новых лишь по одежде господ.

Да, реставрация опять
Для песни наступила...
Тебе ль трехцветный шарф скрывать?
Ливрей ты не носила...
Не бойся—более в тюрьме
Нам не смягчаться нравом...
Взойди на трон, сняй во тьме!
Спасибо, господа, вам!

Правда, силы его уже были не молоды, но все же и за эти восемнадцать лет он дал ряд блестящих сатирических песен, например: «Улитки», «Свой вкус» и др.

Ранее больше политические, теперь его песни наполняются более социальным содержанием. Вместе с тем он начинает бичевать новый господствующий класс — буржуазию. Буржуа он уподобляет улиткам. «Домовладельцы-улитки горды, заносчивы у нас,—пишет он. — Моллюск, покрытый грязной слизью пред перламутровым дворцом, мне буржуа напоминает в петличке с орденским значком». «Улитка всегда собой довольна, для скуки слишком не умна, жирея от чужой работы, обогащается она». «Избирателям-улиткам» и «депутатам-слизнякам» «у нас им ход свободный всюду, от них не деться никуда в стране, где каждая улитка самодовольна и горда».

Таким образом в соответствии с стилем июльской монархии несколько ме-

няются и направления ударов песен Беранже. Теперь он больше обличает погоню за наживой, за деньгами, эту вторую природу буржуа. В кратком стихотворении «У всякого свой вкус» он зло издевается над цовой породой:

Чтобы вернуть себе двадцатилетний возраст,
Богатство Ротшильда, Вольтера славу и
Охотно отдал бы; но ныне откровенно
Совсем иное все мне говорят друзья.
Я знаю много юных скопидомов:
Приобретать хотят они, приобретать,—
На кошелек один и славу всю Вольтера,
И двадцать лет свои готовы променять.

Наивысшей силы эта ненависть к буржуазии, к крупному капиталу, разоряющему мелкого буржуа, достигает в песне «Бонди». Но Беранже не забывает и политической стороны дела. Старый республиканец, ловко проведенный либералами, протавившими на трон Орлеанов, он теперь решительно восстает против какого бы то ни было короля. Это саркастически выражено в «Совете бельгийцам», это грозно и пророчески звучит в «Потопе». Всех королей ждет неизбежный потоп, в котором все они должны утонуть. «Уж прибывают воды... «Заклинаю, спасайтесь» — кричу царям земли. Увы, не верят: «Бредишь!» Нет, я знаю: потонут все цари и короли!» «Что нас они гноили по острогам,—говорит дальше поэт,—виновны мы, терпевшие их гнет». Вывод напрашивается один, и этот вывод делает Беранже:

Пророк ответь: кто—яростные воды?
Они—народ, уставший от мечей:
Долой резню! Крушите тюрем стены!
Топите венценосных палачей.
Весь мир в крови, плач... голод; нету хлеба...
Пора, пора их смыть с лица земли.
Вода спадет. Вновь засияет небо,
Но... не всплывут цари и короли!¹)

Если вспомнить, что эти стихи писались почти накануне революции 1848 г., когда поэту было уже за шестьдесят лет, то невольно скажешь, что Беранже выдержал испытание времени и не сдал своих революционных позиций. Однако как только мы обращаемся вновь к его положительному идеалу, мы вновь в

¹) Перевод В. Князева.

вновь не находим там почти ничего, что отличало бы Беранже в годы 1830—1848 от годов 1815—1830. Пожалуй, еще больше усиливается его «народолюбие», и своеобразное французское народничество заполняет все его положительные конструкции. Таковы «Дочь народа», «Рыжая Жанна», «Жан» и т. п.

Беранже уже в глубокой старости суждено было пережить новую революцию, рабочую революцию 1848 г. Если и в ее подготовке он принял некоторое участие своей песней, то самую революцию он встретил довольно спокойно. Как увидим далее, нельзя сказать, что он проглядел рабочий класс, но он уже не чувствовал в себе сил дать ему какую-либо новую зарядку. Время Беранже объективно истекло. Мелкая буржуазия теряла свою революционную сущность; единственно революционным классом стал пролетариат.

Алгоритм Беранже был так высок, что его избрание в учредительное собрание было обеспечено, но он искренне не хотел этого и написал специальное послание к своим избирателям. В этом послании он отказывался от избрания, мотивируя отказ «слабым здоровьем, привычками ума и характером, испорченным долгой независимостью». Несомненно, возраст играл роль, однако столь же несомненно, что дело было не в одном возрасте. Беранже увидел перед собой новый класс, пролетариат, к которому он относился отнюдь не враждебно; напротив, он всячески симпатизировал и сочувствовал ему как «более других страдающему классу», но только в этом качестве и существовал для Беранже пролетариат. Поэт понимал, что дать больше он не может, и вместе с тем видел, что этого рабочему классу мало.

Несмотря на отказ, Беранже был избран в учредительное собрание. Он переехал из деревни в Париж, но лишь на недолгий срок, чтобы, отказавшись от депутатского мандата, вновь уехать в деревню. Правда, истый парижанин, он вернулся в Париж в 1850 г.

Незадолго до смерти он подарил нам свою последнюю значительную песню

«Барабаны». Ухо старца оказалось еще очень чутким, чтобы уловить стиль новой империи, «барабанный» стиль имперского милитаризма. Барабаны тревожат покой старика-поэта, они разгоняют его мысли, гонят прочь музу. Он сокрушенно вздыхает: «Воспевал народа братство, слышу барабан бьет над ухом: «Полно, старый», то мечты обман».

Здесь, во Франции, где властно
Воцарился дух
Всемогущих барабанов,
Глохнет чуткий слух...

Барабанить смело может
Каждый шарлатан.

Беранже весьма недвусмысленно намекает на Луи-Наполеона:

Мы в политике — влюбленный
В гауны народ —
С шумом, с грохотом и треском
Двинулись вперед;
В президенты, может статься,
Скоро изберем
Мы себе тамбур-мажора...
То-то заживем.

Так и умер старый Беранже под грохот Луи-Наполеоновских барабанов.

В художественной форме Беранже запечатлел в своих песнях все изгибы путей мелкой буржуазии первой половины XIX века. Ее мировоззрение—мировоззрение Беранже. Но и это мировоззрение, за исключением некоторых основных принципов, претерпело на протяжении полувека известные изменения. От бодрого и жизнерадостного времени Великой революции оно выродилось в трусливое нытье к концу столетия. Беранже при всей своей идиллической настроенности в последние годы жизни избегал этого трусливого нытья, потому что узрел под конец своих дней нечто новое, к чему он сам уже не мог примкнуть, но что объективно избавило его от безысходного при капитализме тупика самостоятельного классового существования мелкой буржуазии и объективно сохранило нам в исторической перспективе светлый образ поэта-песенника.

Было бы неблагоприятным делом искать глубоких философских корней поэзии Беранже. Его философия несложна, как несложна и незамысловата философия мелкой буржуазии. Он не ставит пе-

ред собой каких-либо гносеологических проблем. Его космология проста. К метафизике он питает отвращение, довольствуясь «здоровым человеческим рассудком». («Ученый»). Проблема природы разрешается оптимистически в «общечеловеческом», по существу мелкобуржуазном плане:

Богата негой жизнь природы.
Но с негой скорби в ней живут:
На землю черные невзгоды
Потоки слез и крови льют.

Но разве все погибло, что прекрасно?
Шлют виноград нам горы и поля,
Течет вино, улыбки женщин ясны,
И вновь утешена земля...

Несколько сложнее решается теологическая проблема. Его антиклерикальные песни нам уже известны, не подлежат сомнению его антикатолицизм и даже антихристианство. Но был ли Беранже атеистом? В данном вопросе он целиком воспроизводит идеологов мелкой буржуазии XVIII века. В отличие от атеистической буржуазии мелкая буржуазия не пошла дальше деизма. Это было заведено ей Ж.-Ж. Руссо, и это пытался провести в жизнь Робеспьер. Так и Беранже. Он сокращает своей сатирой духовенство, он насмехается над христианскими догматами и представлениями о боге, но он никогда не покушается на «высший разум» или «высший принцип». Шатобриан пытался вернуть Беранже к католицизму. «Увы, — признается в автобиографии сам Беранже, — эти попытки не привели меня ни к чему». Он был верен вольнодумным принципам мелкой буржуазии XVIII века, не сделав ни шагу назад, в роде своих собратьев по классу XIX века, но зато не сделав и шагу вперед к пролетарскому атеизму... Повидимому, это происходило в самом Беранже не без борьбы. В стихотворении «Путник» путник решительно говорит:

Нет высших сил! Они не населяют
Миров предвечных сферы; нет их, нет!
Вселенная сама, я убедился,
Громадный бесполезнейший предмет...
Во тьме ночной, печальной и глубокой,
Бог не дает просвета одного...

Так важно ль нам, что он и существует,
Коль мы не существуем для него?!

Но в ответ этому одинокому путнику старик упорно твердит: «Бог друга

даст», и стихотворение бесхитростно заканчивается тем, что «бог друга дал» усталому путнику.

Мелкобуржуазный деизм влечет за собой и соответствующее решение психологической проблемы. Сам Беранже называл себя спиритуалистом, и возможно, что, возьмись он за философские темы, он оказался бы конечно не спиритуалистом в субъективно-идеалистическом смысле этого слова, но идеалистом-электиком в духе французских электиков первой трети XIX века. Ряд стихотворений («Моя душа», «Кроткий ангел») определенно говорят за это.

Положительные теоретические взгляды Беранже, как мы видели, так же укладываются в рамки мелкобуржуазной идеологии. Это проповедь скромности, доброты, дружбы, всеобщей любви, небольших интимных радостей, сельского и ремесленного труда («Поля», «Бог добрых людей», «Соловьи», «Идея», «Священный союз народов»). Этот идиллический утопизм не выходит за пределы того, что Маркс в «Коммунистическом манифесте» называет мелкобуржуазным социализмом. Таким мелкобуржуазным социалистом в поэзии и был Беранже.

Однако на таком определении Беранже никак нельзя поставить точки. Мелкобуржуазный социализм, по учению Маркса, реакционный и утопический, в определенную историческую эпоху может сочетаться с политической революционностью, что и было с Беранже. Но в том-то и дело, что Беранже на закате своих дней прорвался за пределы мелкобуржуазного социализма к социализму критически утопическому, по классификации «Коммунистического манифеста». Этим он уже поставил себя на путь от мелкой буржуазии к пролетариату.

В стихотворении «Безумцы» он прямо указывает на своих новых сородичей и вдохновителей. Это — Сен-Симон, Фурье и Анфантэн.

С пророком сам встречался я, —
Звался он Сен-Симон, —
Пересоздать все общество
Отважно думал он;

Вложил он в дело мудрое
 Богатство все, и сам
 Под старость руку должен был
 Протягивать глупцам...
 Он жил лишь верой крепкою,
 Что мысль его спасет
 От краха человеческий
 Впадавший в зверство род...

Фурье нам проповедует:
 «Из грязи поднимись,
 Народ страны обманутой,
 В фаланги соберись!
 Работой неустанною
 Завет любви свершай
 И в сфере притяжения
 Стремись, твори, дерзай!
 И вступит обновленная
 Земля в союз святой
 С родным ей небом, людям всем
 Желанный дав покой...»

«Освободите женщину, —
 Вывает Анфантэн, —
 Права с ней все разделите!
 К чему позорный плен?»
 «Фи, — сделали гримасу вы. —
 Да, трое все они
 Годятся в эпиграмму лишь
 Не больше, в наши дни!»
 Ах, господа, все тщетно мы
 Искали счастья трон.
 Честь всем безумцам, верящим,
 Что счастье — не сон!..

В связи с этим иначе выглядит и беранжеровский «Потоп». Это не абстрактный мелкобуржуазный революционизм, а требование «топить всех венценосных палачей», подкрепленное социалистической, пусть утопической по тактике и конкретной разработке, мыслью.

Старый Беранже своими уже подслезоватыми глазами разглядел и тот класс, который в будущем создаст вместо утопического социализма научный.

Как поэт мысль свою он обращает к поэтам же пролетариата. В стихотворении «Фея рифмы» (поэтам из рабочего класса) он пишет, что эта фея рифмы дарит уже цветами «верстак, пилу, кирку, лопатку, струг...»

В лаптях явилась слава перед нами,
 Сошло искусство в темноту лачуг.
 Еще вчера народ был в черном теле,
 Он лепетал, теперь он говорит.
 Крвжок вельмож встревоженно глядит:
 «Как! Говор снизу? Неужели?»

А это значит, что от Беранже, автора «Безумцев» и «Потопа», поэтиче-

ская нить тянется к Э. Потье, автору «Интернационала».

Но дело не только в пролетарской поэзии, вопрос стоит шире. Дело заключается в пролетарской идее. «История идеи» кратко рисуется Беранже:

Идея, идея! Проснись, ждут тебя все!
 Скорей пробуждайся от долгого сна!
 Дремала ль она под венцом королевским,
 Спала ль под тiarою папской она?
 Придворного ль дела она и находка?
 Трибуна ли с веком вступившего в связь?
 О, нет, дочь простого рабочего,
 скромно

На связке соломы она родилась!

Предчувствующие все гибельные для себя последствия этой идеи буржуа хором встречают ее:

«Простого рабочего! Что за безумство! —
 Кричит буржуа, властелин наших дней: —
 Ведь это еще новый повод к восстанью
 У нас уж и так слишком много идей».
 Идея поступалась
 К нам в свой заветный срок;
 Закроем крепче двери,
 Запрем их на замок!

Так прорывается мелкобуржуазный социалист Беранже к предтече революционного пролетарского коммунизма — к критически-утопическому социализму. И в этом его художественно-историческое значение, достойное того, чтобы в СССР, в стране строящегося социализма, была почтена его память.

Маркс писал, что «значение критически-утопического социализма и коммунизма стоит в обратном отношении к историческому развитию». По мере того, как развивается и принимает определенный характер борьба классов, лишается практического смысла и теоретического оправдания фантастически отрицательное отношение к ней, чем стали социалисты-утописты. «Если основатели этих систем, — продолжает Маркс, — были во многих отношениях революционерами, то их ученики образуют всегда реакционные секты».

Беранже не был основателем в буквальном смысле слова системы утопического социализма, но всей своей жизнью

и всей своей музой вплоть до последних песен он дал сочетание мелкобуржуазного социалиста революционера в ту историческую эпоху, когда сама мелкая буржуазия была революционной, и крити-

чески-утопического социалиста, когда этот социализм, поэтическим сооснователем которого был Беранже, был еще революционным. И в этом громадная историческая заслуга Беранже.

3. ПИСЬМА ФЛОБЕРА

(Продолжение ¹)

Луизе Колэ

Круассе, воскресенье, 4 часа
[27 марта 1853]. Пасха

...Твои впечатления от моих Путевых заметок, дорогая Муза, наводят меня на странные размышления по поводу мужского и женского сердца; очевидно, это не одно и то же, что бы ни говорили.

Мы, если не чутки, то откровенны, и тем не менее неправы, потому что откровенность наша жестока. Если бы я не написал своих впечатлений, касающихся женщин, ты бы сочла себя оскорбленной. Женщины таят все про себя; у них ни за что не вытянешь полного признания, самое большее, если они дадут возможность угадать, а когда что-нибудь рассказывают, то преподносят это под таким соусом, что до жаркого и не доберешься. Зато две-три несчастных измены с нашей стороны, в которых и сердце-то не при чем, и вот, их душа уже страдает. Странно! Странно!..

...Что касается Рушук-Ханэм, ах! Успокойся и измени свое представление о Востоке. Будь уверена, она ничего не испытала в области моральной, за это я могу поручиться, и весьма сомневаюсь насчет стороны физической. Она сочла нас очень хорошими каваджа (господами), так как мы оставили немало пиастров — вот и все.

Вещица Буйлэ прекрасна, но это только поэзия; восточная женщина — машина и больше ничего, она ничем не отличается одного мужчину от другого.

Курить, ходить в баню, подводить глаза и пить кофе — вот и весь круг ее деятельности...

Я видел танцовщиц, чье тело раскачивалось то равномерно, то бурно, но бесстрастно, как пальма. Глаза, полные глубины, переливающиеся красками, точно море, выражают одно лишь спокойствие, спокойствие и пустоту, точно пустыня. И мужчины таковы же. Какие восхитительные головы! Кажется, будто они полны величайших в мире мыслей. А дотронься — и ничего не найдешь, как в кружке из-под пива или в пустом склепе. Откуда же берется, чем объясняется величие их форм? Быть может, отсутствием всякой спрасти. То красота быка, пережевывающего жвачку, красота бегущей борзой, парящего орла; их переполняет сознание неумолимого рока. Убеждение в ничтожности человека придает их действиям, позам и взглядам характер величия и покорности судьбе. Свободная одежда поддается всякому движению и всегда находится в соответствии с функциями данного индивидуума, цветом соответствует небу и т. д. А потом солнце, солнце! Всепожирающая, необъятная тоска. Вот что я постараюсь выдвинуть на первый план, когда начну писать восточные стихи (ибо я тоже буду писать их, поскольку они в моде и все их пишут). До сих пор Восток представлялся чем-то сверкающим, резким, завывающим, страстным. В нем видели только баядерок и кривые сабли. Фанатизм, сладострастие и т. д., словом, дальше Байрона не пошли. Я иначе чувствую Восток. Мне нравится в нем неосознанное величие, гармония несвязных явлений. Я помню банщика, у которого

¹) См. «Новый мир», кн. 6 с. г.

на левой руке был серебряный браслет, а на правой — нарывной пластырь. Вот настоящий и, следовательно, поэтический Восток — нищие в лохмотьях и позументах, кишашие паразитами. Оставьте паразитов, они сверкают на солнце, точно золотой узор.

Ты говоришь, что Рушук-Ханэм теряет в твоих глазах из-за своих клопов, а меня они восхищали. Их отвратительный запах смешивался с ароматом ее кожи, по которой струился сандал.

Пусть во всем будет капля горечи, пусть во время наших триумфов раздастся вечное шиканье и самый энтузиазм будет проникнут отчаянием. Я вспоминаю Яффу, где сразу по прибытии мне бросился в нос трупный запах и запах лимонных деревьев, на кладбище виднелись полуистлевшие скелеты, а над нашими головами, на зеленых деревьях, качались золотые плоды. Разве ты не чувствуешь, что это и есть совершенная поэзия, великий синтез? Это сразу удовлетворяет все потребности воображения и мысли, все охватывает; но люди со вкусом, любители приукрасить, подчистить, любители иллюзий, люди, которые составляют руководство по анатомии специально для дам, занимаются всем доступной наукой, кокетливыми чувствами и приятным искусством, несчастные переделывают, подчищают, возвышают — и воображают себя классиками!

Ах, как бы я хотел быть ученым. Какую прекрасную книгу написал бы я, озаглавив ее Об истолковании античного мира. Ибо я уверен, что следую традиции, дополняя ее пониманием современности. Но повторяю, поэтам древности незнаком пресловутый благородный жанр, для них не существует ничего такого, о чем нельзя сказать. У Аристофана на сцене отправляют естественные потребности. В Софокловском Аяксе кровь зарезанных животных струится у ног плачущего Аякса; а как подумаешь, что Расина считали смелым за то, что он ввел на сцену псов! Правда, он облагодетельствовал их, добавив лютей!

Итак, постараемся смотреть на вещи просто и не будем пытаться стать умнее господ бога. Когда-то считали, что только сахарный тростник дает сахар, а теперь его добывают почти отовсюду. То же самое и с поэзией; будем извлекать ее откуда бы то ни было, ибо она во всем и везде. Нет атома материи, который не содержал бы поэзии, приучим себя рассматривать мир, как произведение искусства, в котором надо отразить все мировые явления.

Возвращаюсь к Рушук. Мы-то о ней думаем, а вот она о нас совершенно не думает. Мы разводим на ее счет эстетику, между тем как она и не вспоминает о пресловутом интересном путешествии, на долю которого выпала честь разделить с нею ложе, как многим другим. Ах, путешествие учит скромности; убеждаешься, как мало места занимаешь во вселенной.

Еще одно маленькое замечание повсюду женщин, прежде чем перейти к другой теме (о восточных женщинах). Женщина — создание мужчины. Бог сотворил самку, мужчина создал женщину; она — результат цивилизации, искусственный продукт. В странах с низкой интеллектуальной культурой женщины не существует, ибо в смысле общечеловеческом она — произведение искусства; не потому ли все главнейшие великие идеи символически изображаются в женском роде? Что за женщина была греческая куртизанка! Но каково же было и греческое искусство! Разделять наслаждение какого-нибудь Платона или Фидия, вполне удовлетворяя их, могло только существо возвышенное. Но ты, ты не женщина, и если я больше и глубже других любил тебя (постарайся понять это слово глубже), то потому, что ты, казалось мне, менее женщина, чем другие. Во всех наших разногласиях преобладает женское начало. Подумай над этим, увидишь, ошибаюсь ли я. Мне хочется, сохранив каждому из нас его тело, иметь с тобой одну душу. Понимаешь, это, по-моему, не любовь, а нечто высшее, потому что

в этом желании души заключается самая потребность жить, стать шире и возвышеннее. Во всяком чувстве есть известная широта, вот почему свобода — благороднейший из порывов...

Б о в а р и подвигается туго; за целую неделю — две страницы!!! Есть за что набить от отчаяния самому себе морду, если можно так выразиться. Ах, я добьюсь, добьюсь, но дело это трудное! Какой выйдет книга, не знаю, но ручаюсь, что напишу ее, если только не набрел на совершенно ложный путь, — а это возможно.

Много мучений доставляют мне некоторые главы из-за сюжета, как всегда. Иногда попадаются такие тонкости, что мне самому трудно в них разобраться. Но эти-то идеи именно и надо отделать наиболее четко; а потом — передать пошлость точно и в то же время просто, — ведь это ужас!

Обдумай хорошенько план своей драмы, все дело в замысле; если план будет хорош, я ручаюсь за остальное, потому что так отправлю тебе существование, что стихи волей-неволей будут хороши, да еще к тому же все.

Прочел сегодня несколько отрывков из комедии Ожье. Что за антипоэт! К чему выражать подобные идеи стихами? Какое фальшивое искусство! Какое отсутствие истинной формы в этой чисто внешней форме! Ах, все дело в том, что эти молодчики придерживаются старого сравнения: форма — это плащ. Нет, форма — плоть мысли, как мысль — душа жизни; чем шире мускулы груди, тем легче дышится.

Будь любезна, пришли нам к будущей субботе том Леконта, мы прочтем его в воскресенье. К этому человеку я питаю симпатию. Существуют все-таки еще честные люди! Люди с убеждениями! А все дело именно в этом, в убеждениях. Если бы современная литература была хоть немного нравственной, она стала бы более ценной; исчезли бы плагиаты, подражание, невежество, чрезмерные претензии; критика была бы железной, а искусство наивным, ибо

оно стало бы потребностью, а не спекуляцией.

Ты кажешься мне грустной, усталой, полной уныния, бедняжка моя. О! Жизнь — тяжкое бремя для тех, у кого есть крылья; и чем крылья шире, тем тягостнее развернуть их во весь размах. Чижики в клетке радостно прыгают, а у орлов мрачный вид, потому что они ломают крылья о решетку. А ведь мы все в известной мере подобны орлам или чижикам, попугаям или ястребам.

... Чем труднее мне писать, тем больше растет во мне смелость (это и предохраняет меня от педантизма, в который я несомненно впал бы); у меня столько планов произведений, что хватит до конца моей жизни, и если бывают горькие минуты, когда я готов чуть ли не кричать от ярости, чувствуя свое бессилие и слабость, зато есть и другие, когда я с трудом могу сдерживать радость: меня переполняет тогда нечто глубокое, сверхсладоострастное, оно бьет стремительным фонтаном, точно извергаясь из души. Я в упоении, я ослеплен собственной мыслью, как будто внутри меня открылась отдушина и оттуда пахнуло теплым ароматом. Я никогда далеко не пойду, я знаю, чего мне недостает, а задачу, которую я поставил перед собой, выполнит другой; по этому пути пойдет кто-нибудь более одаренный, с врожденными задатками. Желание придать прозе ритм стиха (оставляя прозу прозой) и описать обыденную жизнь, как пишут историю или эпопею (не извращая сюжета), — быть может, абсурд, а может быть, это великое и очень оригинальное задание! Вот вопрос, который я иногда задаю себе. Я прекрасно чувствую свои недостатки. (Ах, будь мне пятнадцать лет!) Пустяки, мое упорство все-таки чего-нибудь да стоит, а затем, как знать? Быть может, я найду когда-нибудь хороший мотив, песнь вполне по своему голосу — ни ниже, ни выше; наконец, у меня останется сознание, что я прожил жизнь благородно и что подчас бывали и восхитительные минуты.

У Лабрюйера есть изречение, я всегда придерживаюсь его: «Хороший писатель должен писать здраво». Этого я именно и добиваюсь — писать здраво, и в этом уже очень много честлостобия. При всем том, как это ни грустно, великие люди с легкостью добиваются эффекта, помимо всякого Искусства; что может быть построено хуже многих произведений Раблэ, Сервантеса, Мольера или Гюго! Но что за внезапный размах! Какая мощь в одном только слове! Нашему брату приходится нагромождать целую кучу маленьких камешков, чтобы построить пирамиду, составляющую сотую часть их пирамиды, сооруженной из цельной глыбы. Но подражать приемам этих людей, значит — потерять самого себя; они потому и велики, что у них нет никаких приемов. У Гюго их много, и это умаляет его значение, он однообразен, он уходит ввысь, а не вширь.

Как я разболтался сегодня! Надо, однако, остановиться, притом же я боюсь надоесть тебе до смерти, я, кажется, все время повторяю одно и то же (я тоже однообразен); но о чем же и говорить, как не о своих тревогах?

Ты пишешь мне о летучих мышах в Египте, сквозь серые крылья которых просвечивает небесная лазурь. Будем же делать так, как делал я: сквозь ужасы существования созерцать глубокую синеву поэзии, которая неизменно остается на месте, в то время как все меняется, все проходит.



Круг вопросов по творческой теории, затронутых Флобером в письмах, можно разделить на несколько примерных рубрик. Это — проблема «объективного» (*impersonnel*) и личного в литературе, проблема тенденциозности и «описания», вопрос о переживании и «бесстрастии», наконец вопросы «формальные» — о стиле, слоге, форме и содержании.

Наиболее значительные материалы по эстетике Флобера имеются в письмах 1852—54 гг. Но и ранее встречаются важные предвосхищающие формулы. В качестве примеров, связанных с вопросом о «переживании» и «вдохновении», можно привести следующее: «Может ли пьяный написать застольную песню?

Не нужно думать, что чувство — это все. В искусстве оно ничто, если нет формы» (авг. 1846) или: «Опасайся всего, что похоже на вдохновение, нельзя жить вдохновением. Пегас чаще идет шагом, чем скачет галопом. Весь талант в том, чтобы заставить его идти нужным тебе аллюром» (дек. 1846). Новые мысли об искусстве были Флобером уже высказаны в некоторых главах первой редакции «Воспитания чувств» (1845).

Основой мировоззрения и творческой теории Флобера являлся естественно-научный эмпиризм, особенно распространенный в 50-х годах, в период относительной стабилизации буржуазии и укрепления промышленного капитализма после разгрома революции 1848 года. У естествознания Флобер заимствует как бы базу для своего художественного метода; на естественные науки, в частности Кювье и Жоффруа Сент-Илера, ссылается он настойчиво. Попутные замечания в письмах об встетике эклектика Кузена («философа», друга Луизы Коле) не должны вводить в заблуждение. Понятие «Правды, Красоты, Добра» или не приводится Флобером, или не имеет кузеновского смысла идеалистических «абсолютов». Понятие «красоты», сочетаясь с творческой реализацией «характерного», лишь подчеркивает формальный момент структуры; этим объясняются и ссылки в письмах на Платона. Флобер дает Мопассану совет: «Покажите мне этого торговца и сторожа, их позу, весь их физический облик, в котором заключена... вся их моральная природа... чтобы я не спутал их ни с каким другим торговцем или сторожем...» Своеобразной творческой теории Флобера свойственен был некоторый вклектизм.

Существенной для флюберовской поэтики является его формула об «объективной» (*impersonnel*) литературе, которую он противопоставляет литературе личной, биографической или литературе социально-агитационной. Во имя этого принципа Флобер яростно нападает на Ламартина и Мюссе, с одной стороны, и на Барбье, Беранже, Эж. Сю, даже Данте, с другой. Базой «объективной» литературы Флобер считает заимствованный у естествознания принцип «описания» явлений объективно данного бытия без их оценки: «Будем описывать — в этом все» (1852) или: «Будем наблюдать — в этом все» (1863). На этот счет Флобер высказывается многократно: «Самое лучшее — это естественные науки, они ничего не стремятся доказать» и «Науки моральные должны пойти по другому пути и сделаться такими же беспристрастными, как физические науки». Необходимо подчеркнуть, что наряду с борьбой Флобера с гипертрофическим индивидуализмом дворянско-буржуазной поэзии, в социальном смысле острине его нападок было в большей мере направлено на социально-агитационную радикальную мелкобуржуазную литературу.

Идеолог буржуазного рэптеризма, Флобер воспринял естественно-научный детерминизм

статически и перенес его на оценку культуры (характерно отрицательное отношение Флобера к бурному развитию в то время индустрии и демонстративные, при известии о строящейся в Азии железной дороге, мечтания о «грохоте колес Гекторовой колесницы»), а затем пришел к социальному фатализму и квиетизму. Соответствующая эстетизация действительности являлась их следствием. Показателен в этом отношении у Флобера культ страдания: «Мне очень жаль, что Сальпетриер уже не мрачный. Филантропы все уничтожают, этикие каналы! Каторги, тюрьмы, больницы так же нелепы теперь, как какая-нибудь семинария». Флобер стремится сосредоточиться на «сознании несовершенства рода человеческого». Он ценит в христианстве культивирование страданий и упрекает социалистов за то, что они отрицают социальную необходимость страданий.

Лозунг Флобера об «объективизме» не следует однако понимать буквально. Он не обозначал механического фотографирования бытия. Принцип «объективности» в литературе соответствовал в художественной теории и практике Флобера сложной системе «объективации» явлений, — такого их изображения, при котором писатель непосредственно не вмешивается в изображаемое им. Это сохраняет за творчеством Флобера характерный для него идеологизм.

Приластрировать сказанное можно хотя бы при помощи романа «Госпожа Бовари». С одной стороны, Флобер подчеркивал, что «в этой книге нет ничего (моего) личного», что «все (здесь) от головы»; а с другой стороны, писал: «Госпожа Бовари — это я». Противоречие объясняется тем, что в качестве бытового, роман не автобиографичен в подлинном смысле этого слова, хотя его «чистейший вымысел» ограничивается множеством точных бытовых деталей, «нормандским колоритом». Но в «Госпоже Бовари» есть особая объективированная тенденция. В романе этом сказывается борьба Флобера с «романтическим» этапом в своей жизни и творчестве, что и выражено в характеристике Эммы Бовари, где противопоставляется «художественная натура» «сенгиментальной»: «Из всякой вещи ей надо было извлечь как бы личную пользу... натура у нее была не столько художественная, сколько сенгиментальная, искала она не картин, а эмоций». Достаточно сопоставить эту характеристику Эммы с замечаниями Флобера о чисто личном юношеском своем творчестве («я распоясываюсь», «изображаю только себя») или о Мюссе: «Музыка, по его мнению, создана для серенад, живопись — для портрета, а поэзия — для сердечной улады». Утилитарно чувствительное отношение к природе, жизни и искусству — вот против чего боролся Флобер. И сама форма выражения чувств и мыслей Эммы в романе в значительной части — явная пародия на «романтическую». Вместе с тем в романе «Госпожа Бовари» воплощена

идея об обреченности человеческого биологического бытия и фатализме бытия социального.

Против «поэзии сердца», особенно против литературы с социальными тенденциями, Флобер считал нужным протестовать во имя «искусства для искусства», ссылаясь на несвойственность «оценок» и «заклучений» для естественных наук. Характерно его разочарование Виктором Гюго, «Великим Крокодилом», после выхода в свет «Отверженных». «История, история и естествознание — вот две музы нашего времени» — писал Флобер. С этим связаны и слова его о синтезе искусств и наук.

С принципом «объективного» изображения сочетается у Флобера вопрос о переживании и «бесстрастии» в искусстве. Флобер отрицал обязательность переживания, требуя в искусстве перевоплощения: «Чем меньше чувствуешь вещь, тем более становишься способным выразить ее такой, какова она в действительности... но нужно обладать способностью уметь ее почувствовать». Лозунг «бесстрастия», таким образом, условен. В нем лишь подчеркивается, при отрицании биографизма, техничность творчества. Недаром Флобер писал, что «если Бовари окажется книгой стоящей, она будет не лишена души».

Таким образом, в проблемах творческой теории Флобера, зачастую в качестве литературной тактики, проявляется известный формализм. Нельзя сказать, что Флобер защищал самодовлеющее значение формы, поскольку для него «форма и содержание — одно» и «форма выступает из основы, как жар из огня». Говоря, по словам Гонкуров, что «все исходит от формы», Флобер все же подчеркивал ведущее значение оформления для определения художественного своеобразия произведения. Вот чем объясняются мечтания Флобера о «книге ни о чем», которая «держалась бы сама собой, внутренней силой своего стиля», или рассуждения Флобера о красоте стены Акрополя (3 апреля 1876).

Когда Флобер пишет, что «нет ни возвышенных, ни низких сюжетов», то и здесь, в лозунге сюжетного безразличия, видно вместе с тем все то же влияние метода естественных наук с их безразличием объектов для наблюдений.

М. Э.

Луизе Колз

Круассе, суббота, час ночи
[25—26 июня 1853]

Наконец-то я окончил первую половину (второй части). Я дошел до того места, после которого наметил наше последнее свидание в Манте. Видишь, как я запоздал! Еще неделя уйдет у меня на

просмотр и переписку, а потом я изрыгну все это перед синьором Буйлэ. Если дело пойдет, у меня будет одной большой заботой меньше, и я ручаюсь, что получится хорошая вещь, ибо основа выдержана прекрасно. Однако, мне кажется, что в этой книге будет один большой дефект, а именно — недостаточно пропорциональное распределение материала. Я написал уже двести шестьдесят страниц, но содержанием их является только подготовка к действию, более или менее замаскированные обрисовки характеров (правда, они идут в порядке постепенности), пейзажей, местности. В заключительной части — описание смерти моей бабенки, похороны и печаль мужа — у меня будет по меньшей мере шестьдесят страниц. Таким образом, на основное действие останется сто двадцать — сто шестьдесят страниц, не больше. Разве это не крупный недостаток? Одно лишь утешает меня, и то очень слабо: книга эта носит скорей характер биографии, нежели распространенного действия. Драма занимает в нем мало места, и если общий тон книги, как следует, поглотит драматический элемент, то читатель, быть может, и не заметит недостатка гармонии в развитии той или иной фазы. И потом мне кажется, что в жизни происходит то же самое. Радость длится минуту, а ждешь ее месяцами! Наши страсти, точно вулканы: гул слышен всегда, извержения же бывают лишь временами.

К несчастью, французская натура одержима такой манней забавляться! Ей нужно столько бросающихся в глаза вещей! Она находит так мало удовольствия в том, что для меня является настоящей поэзией, а именно в изложении, независимо от того, предлагается ли оно в виде живописной картины или в виде психологического анализа. Не с сегодняшнего дня тяготит меня, что я пишу на этом языке и думаю на нем! В сущности, я немец! Благодаря изучению, я очистился от северных туманов. Мне хотелось бы сочинять такие книги, в которых достаточно

было бы писать фразы (если можно так выразиться), подобно тому, как для жизни достаточно дышать воздухом. Раздражают меня хитросплетения плана, комбинации действия, все эти скрытые расчеты, являющиеся тем не менее Искусством, ибо от них, и исключительно от них, зависят эффекты стиля. А тебе как работалось эту неделю, хорошая моя Муза, моя дорогая коллега; коллега происходит от *colligere* — связать вместе. Мне любопытно было бы посмотреть этот второй рассказ. Могу тебе дать только два совета: 1) следи за метафорами, 2) никаких деталей, помимо сюжета, прямая линия. Чорт возьми, когда нам захочется, мы сумеем приукрасить наш стиль лучше всякого другого. Классикам надо показать, что мы большие классики, чем они, а романтиков довести до белого каленения, предвосхитив их замыслы. По-моему, это возможно, ибо это одно и то же. Когда стих хорош, он утрачивает признаки школы. Хороший стих Буало — то же, что хороший стих Гюго. Совершенство носит повсюду один и тот же характер точности, правильности.

Если книга, которую я пишу с таким трудом, окажется удачной, мною будут установлены одним фактом ее осуществления две истины, являющиеся для меня аксиомами, а именно: прежде всего, что поэзия — вещь чисто субъективная, что в литературе нет хороших, художественных сюжетов и что Ивето стоит Константинополя. А следовательно, можно писать о чем угодно с одинаковым успехом. Художник должен уметь все возвысить; он подобен насосу, кишка которого доходит до недр вещей, до самых глубоких русл. Он впитывает и гигантскими снопами выбрасывает к солнцу то, что было распластано под землей и чего не было видно...

Круассе, четверг, час ночи

[7—8 июля 1853]

Мне очень жаль, что Сальпетриер уже не мрачный. Филантропы все уничтожают, этакие каналы! Катогри,

тюрьмы, больницы так же нелепы теперь, как какая-нибудь семинария. В первый раз я видел сумасшедших в здешнем главном убежище для умалишенных, где я был вместе с милым дядюшкой Пареном. В камерах сидело около дюжины женщин, привязанных поперек тела, по-пояс голых, растрепанных; они выли и царапали себе ногтями лицо. Мне было в то время лет шесть, семь; недурные впечатления для ребенка, они придадут мужественность! Станные у меня сохранились воспоминания. Анатомический театр городской больницы выходил в наш сад; сколько раз, бывало, мы с сестрой взбирались на забор и, свесившись среди виноградных лоз, с любопытством разглядывали покойников: солнце заливало их, те же мухи, что садились на нас и на цветы, ползали по трупам, возвращаясь к нам, жужжали! Немало думал я об этом, когда две ночи просидел над моей милой, дорогой, очаровательной девушкой! Я и сейчас еще вижу, как отец, оторвавшись от вскрытия, оборачивается и велит нам уйти. И вот он тоже труп.

Я не оправдываю Делиля за нежелание войти, но это меня несколько не удивляет. Человек, который никогда не бывал в публичном доме, должен бояться больницы, — ведь это поэзия одного и того же порядка. Милейшему Делилю недостает романтической жилки, он, видно, мало вкушает прелесть Шекспира. Делиль не видит моральной насыщенности, которой иногда отличается уродливое; вот почему в нем мало жизни и яркости, несмотря на присущую ему колоритность. Яркость проистекает от глубины видения, от проникновения, от объективности: ибо внешне реальное должно внедряться в нас чуть не до боли, если мы хотим как следует воспроизвести его. Имея перед самыми глазами модель, всегда хорошо напишешь, а где же яснее увидишь правду, как не на этой превосходной выставке людских страданий? Они настолько остры, что возбуждают в уме каннибальский аппетит, и ум ваш набрасывается на них, с жадностью поглощая и впитывая в себя.

Какие жестокие драмы придумывал я, когда бывал в морге, к которому одно время пристрастился, и т. д. Мне кажется, что я обладаю какой-то особенной способностью воспринимать всякие нездоровые явления; я чувствую себя в них знатоком. Ты ведь знаешь, какое влияние оказываю я на сумасшедших и какие странные случались со мной приключенія. Любопытно знать, сохранили ли я свое могущество?

Ну, ты-то никогда не лишишься рассудка. Он прав. У тебя слишком уравновешенный ум. А он, бедняга, к этому более предрасположен, чем мы. Безумие и сладострастие так мною изучены, столько добровольных странствований совершил я в этих областях, что никогда (надеюсь) не буду ни сумасшедшим, ни де-Садом. Но выварился же я зато в этом котле. Моя нервная болезнь была накипью всякого рода интеллектуальных шуточек. Каждый приступ был, так сказать, излиянием иннервации, утратой зародышей творческой мысли, ибо в мозгу моем одновременно вспыхивали, точно фейерверк, сотни тысяч образов. Душа моя с ужасной болью отрывалась от тела (я убежден, что неоднократно умирал), но самая сущность моего мыслящего «я» никогда не исчерпывалась до конца, иначе не было бы никаких страданий и я оставался бы пассивным; а между тем сознание никогда меня не покидало, даже когда я не мог говорить, я всей душой сосредоточивался тогда в себе самом, уходя в себя, как еж, причиняющий себе боль собственными иглами.

Все это никем не изучено; лучшие из людей такие же болваны, как и философы — каждый в своем роде. Материалисты, как и спиритуалисты, одинаково мешают познать материю и дух, потому что они отделяют одно от другого. Одни обращают людей в ангелов, другие в свиней. Не лучше ли прежде, чем начать изучать человека, изучить его творчество, идти от следствия к причине? Кто до сих пор занимался историей в качестве натуралиста? Исследовал ли кто-нибудь, как развивались и как должны развиваться человеческие инстинкты под

тем или иным градусом широты? в зависимости от климатических условий данной широты? Установлено ли кем-нибудь научно, в какую форму должна вылиться та или иная потребность души? Кто всесторонне проследил этот процесс человеческого существования? Кто обобщил религиозные верования? Жюффруа Сент-Илер сказал: череп — это сплюснутый позвонок. Кто, например, доказал, что религия — философия, возведенная в искусство, и что мозг внутри ее, то-есть суеверие или религиозное чувство, как таковое, несмотря на внешнее различие, по существу своему является всюду одним и тем же, отвечает тем же запросам, затрогивает те же душевные струны, умирает от тех же случайностей и т. д.? Так что какой-нибудь Кювье в области мысли мог бы на основании любого стиха или пары сапог восстановить впоследствии целое общество; по раз навсегда установленному закону можно было бы с тою же точностью, как в отношении планет, предсказать, в какой день и где повторится то или иное явление, — например, что через сто лет у нас будет второй Шекспир, через двадцать пять лет, скажем, такая-то архитектура. Почему у народов, лишенных солнца, плохая литература? Почему на Востоке всегда были и сейчас существуют гаремы и т. д.?

Много было по этому поводу болтовни, каждый проявлял большую или меньшую изобретательность, не хватает только прочной основы. Первый камень надо еще заложить, критика творческой мысли всегда грешила узостью и риторикой, а к критике истории подходили с точки зрения политики, морали и религии; между тем, надо с первых же шагов стать выше всего этого. Но появились симпатии и ненависть, затем примешалось воображение, погоня за фразой, любовь к описаниям, наконец, настойчивое стремление доказать, честолюбивое желание измерить бесконечность и сделать из этого выводы. Если бы в распоряжении моральных наук было два, три основных закона, как в

математике, они могли бы двигаться вперед, но пока они еще бродят в потемках и, натываясь на случайные явления, хстят возвести их в принципы. Слово «душа» вызвало, пожалуй, столько же глупых толков, сколько существует душ на белом свете! Каким открытием была бы, скажем, такая аксиома: у данного народа добродетель относится к силе, как три к четырем, так что одно с другим связано. А вот еще один математический закон, требующий разрешения. ради какого количества дураков стоит расколотить себе череп? и проч.

Поздно, я говорю порядочный вздор. скоро начнет светать, пора ложиться.

Если хочешь, мы можем встретиться через две недели от ближайшего понедельника. Какие хорошие дни проведем мы с тобой, моя хорошая, дорога! Муза!..

Круассе, вторник, час
[12 июля 1853]

... Ты, вероятно, читала в газетах, какой здоровенный град был прошлую субботу в Руане и окрестностях. Урожай погиб, разорение всеобщее, у обывателей разбиты все окна, и у нас убытков на сотню франков по меньшей мере; а руанские стекольщики (их друг у друга вырывают) сейчас же воспользовались случаем и набили цену на свой товар на 30 процентов. О, люди! Очень забавно было смотреть на град, а сколько жалоб, воплей! Два дня продолжалась симфония сетований, способная иссушить самое чувствительное сердце. В Руане думали, что наступило светопреставление (буквально). Происходили невероятно комические сцены при участии властей, г-на префекта и проч.

Я не очень-то чувствителен ко всяким всеобщим бедствиям; моим бедам никто не сочувствует, пусть же и другие устраиваются как хотят. Я плачу человечеству его же монетой — равнодушием. Плевать мне на это стадо овец, я не из их овчарни! Впрочем, достаточно каждому оставаться честным, я подразумеваю под этим — исполнять

свой долг и не покушаться на права ближнего. тогда мы быстро уйдем вперед от всяких добродетельных утопий. В идеальном обществе каждый индивидуум должен нести посильный труд, и вот я так и поступаю; я в расчете. А всю эту красивую ложь, в роде преданности, самопожертвования, братского самоотречения и других бесплодных абстрактностей, из которых большинство людей не может извлечь пользы, я предоставляю шарлатанам, фразерам, шутам и идейным людям, в роде синьора Пеллетана.

Не без некоторого удовольствия смотрел я на уничтоженные шпалеры деревьев, на искрошенные в моем саду цветы, на перевернутый вверх дном огород. Глядя на все это искусственное устройство, созданное человеком и в пять минут уничтоженное природой, я любовался истинным порядком, восстановленным наместо искусственного. В этом атмосферическом сопротивлении таился чудовищный фарс, какая-то своеобразная месть изуродованных нами предметов — подстриженных деревьев, цветов, которых заставляют расти не там, где они хотят, чужеземных овощей. Видано ли нечто более забавное, чем стеклянные колпаки, которыми покрывают дыни? И заплатились же эти несчастные колпаки! Эх! Эх! Природа, на спине которой садятся и которую так безжалостно эксплуатируют, с таким апломбом уродуют, которую презирают в великолепных речах, — эта природа, когда ее охватывает искушение, предается мало полезным фантазиям! Это корошо, а то обычно думают, что единственное назначение солнца — выращивать капусту. Господа бога надо время от времени ставить обратно на пьедестал, — вот он и напоминает об этом, посылая на нас то чуму, то холеру, то еще какое-нибудь неожиданное бедствие...

Круассе, пятница, час ночи
[15 июля 1853]

В то же время, как я упрекал тебя за твое письмо, хорошая моя, дорогая Муза, ты сама порицала себя за то, что

написала его. Ты вообразить не можешь, как это тронуло меня, не самый факт, — я не сомневался, что, взвесив все хладнокровно, ты согласишься на дело моими глазами, — а одновременность впечатления. Мы думаем в унисон. Ты замечаешь? Если фактически мы далеко друг от друга, то души наши соприкасаются, душой я всегда с тобой; только в давнишней привязанности может быть такое взаимное понимание. В силу взаимного тяготения как будто проникаешь друг в друга. Ты заметила, что это отражается даже на внешности? Разве люди одной профессии не похожи друг на друга? Старые супруги в конце концов начинают походить один на другого. Нас с Буйлэ часто принимают за братьев; я уверен, что десять лет тому назад это было бы невозможно. Дух наш определяет самую форму; он своего рода внутренняя глина. Бывало с тобой, что, оторвавшись от работы в минуту вдохновения, когда ты вся переполнена идеей, и взглянув на себя в зеркало, ты вдруг поражаешься собственной красотой? Вокруг головы как бы появлялся ореол, расширившиеся глаза метали молнии. Это вырывалась на волю твоя душа. Мысль более всего приближается к электричеству, которое до сих пор принимает такие же фантастические формы, как и она; искры, отделяющиеся от волос в холодные ночи, быть может, более, чем простой символ, и объясняют старую басню о нимбах, ореолах и превращениях. О чем же я говорил? О влиянии интеллектуальных привычек. Попробуем применить это к нашей работе! Какими художниками были бы мы, если бы читали и любили только прекрасное, смотрели только на прекрасное, если бы какой-нибудь ангел-хранитель, пекущийся о чистоте нашего пера, с самого начала устранял бы с нашего пути все дурные знакомства, если бы мы не встречались с дураками и не читали газет. Грекам это было дано, они обладали пластической формой, которой ничто уже не вернет; рядиться по-ихнему — для нас безумие. На Севере нужны не хламиды. а меховые шубы. Античная форма не

удовлетворяет нашим потребностям, и не на то дана нам жизнь, чтобы слагать эти простые песни. Постараемся быть такими же художниками, как они, но по-иному. Со времени Гомера человеческое самосознание расширилось. Пояс Венеры трещит на брюхе Санчо Пансы. Вместо ревностного воспроизведения старинных красот надо изощриться и придумать новое. Делить, мне кажется, думает иначе, он не чувствует современности, ему недостает с е р д ц а; я имею в виду не личную или общечеловеческую чувствительность, нет, а сердце почти с медицинской точки зрения. Чернила его бледны, его муза мало надыхалась свежим воздухом. Стиль подобен породистой лошади, у которой вены наполнены кровью, и видно, как она пульсирует от самых ушей до копыт.

Жизнь! Жизнь! В этом—все. Вот почему я так люблю лиризм, наиболее естественную форму поэзии, свободной, обнаженной; вся сила произведений зиждется на этой тайне, и именно это основное свойство *motus animi continuus* (вибрация, непрерывное движение духа—Цицероновское определение красноречия) и придает сжатость, блеск, выразительность, вдохновение, ритм и разнообразие. Написать критический очерк—вещь нехитрая! О достоинствах книги можно судить по силе тумака, который от нее получаешь, и по количеству времени, какое нужно, чтобы прийти в себя. Поэтому великие мастера доводят идею до последнего предела чрезвычайности. В Пурсоньяке нужно сделать одному персонажу промывательное, а приносят не один клистир, нет—весь зал наполнен клистирными грубками! У Микельанджеловских великанов—не мускулы, а канаты, в Рубенсовских вакханалиях отправляют естественные потребности прямо на землю, а весь Шекспир и пр., и пр., наконец последний отпрыск семьи старик Гюго. Что за прекрасная вещь Собор парижской богематери! Я недавно перечел три главы, между прочим осаду трюанов. Вот где сила-то! Я считаю, что наиболее ха-

рактерной чертой гения является прежде всего сила. Поэтому я ненавижу в искусстве всякую замыслость и остроумие, меня от них передергивает. Совсем не то—дурной вкус, который представляет собой ложно направленное хорошее качество, ибо для так называемого дурного вкуса надо иметь поэзию в голове. Напротив, остроумие несовместимо с истинной поэзией. Кто может сравниться по остроумию с Вольтером. Однако, вряд ли найдется более слабый поэт. А в прекрасной стране, именуемой Францией, публика признает только замаскированную поэзию. Она недовольна, когда ей преподносят поэзию в чистом виде. С французской публикой надо обращаться, как с лошадьми Аббас-паши, которых кормят для укрепления мясными катушками, обвалынными в муке. В этом и состоит Искусство! Сумейте сделать внешнюю оболочку книги! Не бойтесь, преподнесите это месиво львам, с настоящей пастью, они набросятся на него, почуяв его запах на расстоянии двадцати шагов.

Я написал основательное письмо Великому Крокодилу. Сознаюсь, не легко оно далось мне, но, кажется, здорово написано, даже, может быть, слишком. Так, что я его знаю теперь наизусть. Если действительно помню, то расскажу тебе. Письма уходят завтра.

Эту неделю я был в ударе, написал восемь страниц, которые, по-моему, почти закончены. Сегодня вечером набросал большую сцену земледельческого съезда. Эпизод будет поразительный и займет не менее тридцати страниц. На первом плане повествование об этом сельском муниципальном празднестве, где появятся, говорят и действуют все второстепенные персонажи книги, среди деталей красной нитью должен проходить непрерывный диалог господина, распаляющего даму. Кроме того, в середине у меня имеется торжественная речь советника префектуры, а в заключение, когда все окончено,—газетная статья аптекаря, написанная в стиле

философском, поэтическом и прогрессивном, в которой он дает отчет о празднике; как видишь—дело не шуточное. В том, что это будет красочно и очень эффектно, я уверен, но избежать длиннот, чорта с два! А между тем, тут и нужны богатства языка и насыщенность. Только бы преодолеть это место, а там я быстро дойду до любовной сцены в лесу осенней порой (где лошади гут же щиплют листья); все будет тогда для меня ясно, и если я не мнуню Сциллы, то оставлю позади хоть Харибду...

Круассе, понедельник,

половина первого ночи [12 сентября 1853]

От досады, уныния, усталости у меня голова идет кругом! Просидел четыре часа и не мог придумать ни е д и н о й фразы. За весь сегодняшний день не написал ни строчки или, вернее, зачеркнул сотню куда негодных. Отвратительная работа! Какая тоска! О, Искусство, Искусство! Что же это за злобная химера, и во имя чего она гложет нам сердце? Просто безумие так мучиться! Ах, уж эта Бовари, долго я ее буду помнить! У меня такое ощущение, будто мне под ногти вонзились лезвия перочинных ножей, я готов скрежетать зубами; ну, не глупо ли? Вот к чему приводит это милое занятие литературой, это толчение воды в ступе. Для меня пошлые ситуации и тривиальный диалог—настоящий камень преткновения, хорошо написать о з а у р я д н о м и сохранить при этом его облик, его форму и самые слова—дьявольски трудно, а я вижу в перспективе по меньшей мере тридцать страниц такой прелести. Дорого достается нам стиль! Пишу сызнова то, что написал третьего дня. Вчера Буйлэ не без основания забраковал два, три неудачных места. Надо совершенно переделать почти все фразы.

... В пятницу мы получили известие о смерти дядюшки Парена. Моя мать должна была поехать в Ножан, но у нее снова заболела грудь, она поставила себе сегодня пивки; меня это всегда

тревожит. Смерть Парена не была для нее неожиданностью, но горечь утраты я почувствую позднее, я себя знаю; всякое событие должно прочно угнездиться во мне. Смерть его только усилила чрезвычайное мое раздражение, которое не мешало бы умерить, так как оно иногда переходит границы, в чем виновата эта дрянная Бовари. Ее буржуазный сюжет мне претит.

Вот и еще один ушел! Бедняга Парен, я так ясно вижу его в саване, как будто гроб, в котором он разлагается, стоит у меня на столе, перед моими глазами. Мысль о червях, гложащих его лицо, не выходит у меня из головы. Впрочем, я простился с ним навеки, покидая его в последний раз. Когда я ехал из Ножана к тебе, я все время сидел в вагоне один. День был солнечный. Я снова видел мелькавшие мимо деревни, которые мы когда-то проезжали в почтовой карете во время вакаций, всей семьей, с другими, тоже умершими. Те же виноградники, те же белые дома, пыльная дорога, окаймленная подстриженными вязами...

Прощай, уже поздно. Камин погас, мне холодно. Прижимаюсь к тебе, чтобы согреться. Целую тебя тысячу раз.

Круассе, среда, половина первого ночи
[сентябрь 1853?]

Наконец-то послание от Великого Крокодила (я оставил у себя письмо к г-же д'Оне, перешлю его тебе в следующий раз, а то получится слишком толстый пакет). Ты увидишь речь, второй экземпляр которой находится у меня; я нахожу, что она немного резка. Боюсь, что великий человек в конце концов поглупеет от ненависти. По-моему, он оказал тебе очень тонкое внимание, посылая из Жерсея эту газету. В своем письме ко мне он пишет, что т р е б у е т переписки и называет мои письма «самыми остроумными и самыми благородными в мире». У меня теперь желание написать ему все, что я думаю. Это его не оскорбит? Не могу же я допустить, чтобы он думал, что я республиканец, что я преклоняюсь перед народом и т. д.

Необходимо соблюдать какое-то чувство меры между зрubbостью и откровенностью, а это очень, по-моему, трудно. Как ты полагаешь? По странной случайности мне принесли третьего дня направленный против него памфлет в стихах, глупый, клеветнический, слюнявый памфлет. Его написал один из здешних писателей, бывший директор театра, чудак, который женился ради денег на женщине, вышедшей из Маделонет, а теперь, овдовев, остался без всяких средств к существованию. Ему, наверно, заплата или за памфлет, но успеха он иметь не будет, потому что неудобочитаем...

Милейший Леконт мечтает об Индии—увидеть Индию и умереть. Да, это прекрасная мечта, но только мечта, ибо как уже плохо устроен человек: ему непременно захочется вернуться, он будет подыхать от тоски, грустить о природе, о домах и даже о том, к чему он совершенно равнодушен. Надо замкнуться в себе и продолжать работать, уткнувшись, как крот, в свое творчество. Если за ближайшие годы ничто не изменится, то просвещенные умы сольются в такой тесный товарищеский союз, какого не создавало ни одно подпольное общество; вдали от толпы народится новый мистицизм. Возвышенные идеи растут, подобно соснам, в тени и на краю пропастей.

Из всего этого можно, мне кажется, извлечь только одну истину: нет никакой необходимости ни в толпе, ни в преобладающем большинстве, ни в одобрении, ни в освящении. 89-й год сокрушил королевскую власть и дворянство, 48-й буржуазию, а 51-й и народ. Остается один лишь подлый, тупой сброд. Все мы стоим на одном уровне общей посредственности. Ум воспринял социальное равенство, книги пишутся для всех. Искусство, наука существуют для общего пользования, как железные дороги и общественные теплушки. Человечество яростно стремится к моральному падению, и я злюсь на него за то, что составляю часть его.

Сегодня я хорошо поработал. Через неделю будет готова половина земледельческого съезда, описание которого я начинаю понимать. У меня тут перемешались животные и люди, одни мычат, другие болтают, а над всем этим—влюбленные; думаю, что это будет хорошо...

Вот и зима наступает, листья желтеют, много их уже опало. У меня топится камин, я работаю при свете лампы и спущенных занавесях, как в декабре. Почему первые осенние дни нравятся мне больше, чем первые дни весны? Ведь я уже отошел от бледной поэзии опавших листьев и туманов при луне! Но этот золотистый цвет чарует меня. От всего исходит какой-то опьяняющий аромат тоски. Я думаю о больших феодальных охотах, о жизни в замках; слышится треск дров в огромных каминах и крик оленей на берегу озер.

Когда ты вернешся в Париж? Прощай, хорошая, дорогая Луиза, целую тысячу раз. Твой.



Вопросам технологии творчества Флобер уделяет в письмах большое внимание. Это и понятно, имея в виду то значение, которое в его поэтике занимают вопросы формы. «Хитрослепления плана, комбинации действия, все эти скрытые расчеты», которые Флобера как будто «раздражают», признаются им «тем не менее Искусством, ибо от них, и исключительно от них, зависят эффекты стиля». Произведения Флобера в этом отношении весьма рациональны, что представляется вполне естественным в связи с его отрицанием непосредственного переживания в творчестве и подчеркиванием мастерства: «Я люблю творения, от которых пахнет потом, в которых видны сквозь белое мускулы».

Если сопоставить то, что Флобер пишет о процессе его работы над «Госпожой Бювар» и «Саламбо», «Искушением св. Антония» — произведениями двух основных для него видов, современным бытовым романом и историческим, экзотическим жанром, — то внешними окажутся сетования на трудности «обыденного» сюжета, где «все от головы», и легкость сюжета «лирического», потому что для него «естественно» «необычайное, фантастическое, метафизическое завывание». Незамененные жалобы Флобера и в том, и в другом случае объясняются в значительной мере требовательностью художника. Когда Флобер ра-

ботает над «Госпожой Бовари», он пишет, что это — «мох душевной плесени», что он как бы «отмеряет порции дерьма»; работая над «Саламбо», он говорит о его «паршивом» сюжете, «невероятной напыщенности» и «академической пошлости», а в отношении «Воспитания чувств» о том, что, «принимая во внимание буржуазный сюжет, вещь эта совершенно немислима» и т. п. Об «ужасах стиля» Флобер упоминает в связи со всеми своими произведениями. Медлительность его творчества — результат психологических особенностей писателя на ряду с формальными качествами его стиля. Отсюда постоянные жалобы: «За четыре дня я написал пять страниц», «Я пять дней просидел над одной страницей», «Двадцать пять страниц в шесть недель» и т. д.

Письма Флобера подтверждают наличие в его творчестве технической системы, основанной на идеологических предположениях. В этом смысле наиболее показательны замечания его о «Госпоже Бовари», произведении чрезвычайно целостном с технологической стороны. Творчество Флобера в высшей степени сознательно. И те приемы его, которые можно установить из анализа этого романа, всецело подтверждаются отдельными замечаниями, разбросанными в письмах. Приемы эти сводятся к нескольким основным. Примерно: чтобы придать произведению «объективность», в смысле отказа от типичных для романтизма непосредственных суждений автора, Флобер избегает отступлений и пользуется динамическим, перемежающимся изображением, сущность которого в том, что описания (жанр, пейзаж, портрет, характеристика), повествование и диалог даны не обособленно, а во взаимной связи, синтетически, «симфонически». Тем самым одни действующие лица характеризуются при помощи высказываний других. Это особенно ярко видно в таких эпизодах, как «земледельческий съезд». Значительную роль играют тут у Флобера и диалоги.

Характерно, что сатирический элемент, столь яркий в «Госпоже Бовари», проистекает из применения этого приема объективации и достигается «одним лишь переплетением диалогов и противопоставлениями». Так что замечание Флобера: «Я хочу, чтобы в моей книге не было ни одного явления, ни одного замечания, избыточных авторов», условно для его принципа «неличной» литературы. Классовая направленность у Флобера опосредствована сказанными приемами. Известная пародийность флюберовского творчества, и в частности социальная сатира его, вскрываются при учете указанного приема.

Та же рационализованная систематичность видна в «Госпоже Бовари» и при изображении портрета и пейзажа. Естественно, что портреты у Флобера даны им главным образом динамически, т. е. раскрываются в процессе действия через реплики и характеристики других персонажей романа.

Пейзаж у Флобера основан на принципе естественно-научного материалистического показа независимого от человека бытия. В силу этого наблюдается у него постоянное применение основного приема: пейзаж играет экспозиционную роль в развитии действия, что способствует выявлению влияния внешней среды на душевную жизнь персонажа.

Можно было бы привести много примеров, подтверждающих, что замечания Флобера в письмах о технических принципах его работы были им реализованы в творчестве в полной мере.

Флобер неизменно подчеркивает рациональность творчества. Характерно его насмешливое замечание: «Ламартин считает долгом заявить, что он написал эти стихи одним духом, рыдая. Недурной поэтический прием!» Говоря столь настойчиво о техничности в литературе, Флобер однако противопоставляет этому произведению некоторых гениев, искусство которых кажется ему стихийным, нутряным. Это Гомер, Рабле, Микель-Анджело, Шекспир, Гете. Вот чем объясняются слова Флобера: «Нужно знать учителей наизусть, поклоняться им, пытаться мыслить, как они, а затем навсегда расставаться с ними». Вместо «чувства», «переживания» Флобер обращается к «чувствительности исходящего из опыта воображения, т. е. воображения, основанного на документированности». В письме, относящемся к эпизоду о воспитании Эммы (3 марта 1853), дан яркий пример той эрудиции, на которой основано описание «девичьих грез» героини романа. Еще в большей мере, разумеется, относится это к произведениям типа «Саламбо», книжность которых ограничивается у Флобера соблюдением лишь общего колорита, «приблизительности» в археологии. Мало того, Флобер протестует против «школы живописи, влюбленной в Помпею», потому что, «изучая одежды, мы забываем о душе».

М. Э.

Г-же Роже де-Женет

Октябрь или ноябрь 1856

...Говорят, что я влюблен в реальное, а между тем я питаю к нему отвращение, ибо только из ненависти к реализму я взялся за этот роман. Но не менее ненавижу я ложных идеалистов, которые издеваются над нами в наше время!..

Шокирую ли я этим дружок! Надеюсь, да! Одна весьма легкомысленная дама уже объявила мне, что не позволила бы своей дочери читать мою книгу, откуда я вывел заключение о своей исключительно высоконравственности.

Самым жестоким фарсом было бы приращение мне монтюновской премии. Когда вы прочтете конец, то увидите, что я ее заслужил.

Тем не менее, прошу вас, не судите, обо мне по этой книге. Бовари была для меня темой, делом, заранее обдуманым. Того, что нравится мне, здесь нет. Я дам вам через несколько времени нечто более возвышенное, взятое из более приличной среды.



Замечание Флобера о «Госпоже Бовари» в письме к Роже де-Женет — «Говорят, что я влюблен в реальное, а между тем я питаю к нему отвращение, ибо только из ненависти к реализму взялся за этот роман» — вызывает на первый взгляд недоумение, требует разъяснений. Флобер, впервые выступивший в печати с «Госпожой Бовари» (1857), был встречен критикой, как один из представителей реализма, овладевавшего в 50-х годах французской литературой, соответствуя в целом позитивизму Контэ, эстетике Тэна и успехам естественных наук, объективно отражавшим процесс укрепления промышленного капитализма. Вот почему Сент-Бев в своем отзыве о романе во «Всемирном Монитёре» писал: «Я узнаю признаки новой литературы: научность, наблюдательность, зрелость, сила, некоторая жесткость. Это характерные признаки людей, стоящих во главе новых поколений... анатомы и физиологи, всюду находят я вас». Показательны отрицательные отзывы консервативной критики, говорившей о «Госпоже Бовари» как о произведении «искусства, которое погружается по самую шею в реальность и не хочет отсюда выйти... пользуется пером как скальпелем и видит в жизни лишь анатомический театр» (Лимайрак). Реакционер Понмартен суммировал социальную оценку романа, который он определил как «болезненную экзальтацию чувств и воображения недовольной демократии», «литературный демократизм». Но социальные демократические тенденции были далеки от Флобера, его «сюжетный демократизм» (изображение мелкобуржуазной среды) происходил из перенесения в литературу метода естественных наук, из применения его к оценке художественного: «Когда-то считали, что сахарный тростник дает сахар, а теперь его добывают почти отовсюду. То же самое с поэзией: будем извлекать ее откуда бы то ни было, ибо она во всем и везде. Нет атома материи, который не содержал бы поэзии» (1853). И действительно, непосредственное восприятие при чтении «Госпожи Бовари» побуждает отнести роман к реалистическим, и это подтверждается тем, что Флобер сам писал об одном из своих литературных обликов:

он «рыщет в поисках за правдивым, доискивается его, насколько может, любит отмечать мельчайший факт с такой же силой, как и значительный, и хотел бы заставить вас почувствовать почти материально то, что он воспроизводит». Этот «реализм» Флобера подтверждается не только одной группой его произведений, как «Госпожа Бовари», «Воспитание чувств», «Простая душа», но и высказываниями его о классической литературе — Аристофане, Сервантесе, Рабле.

Приведенные выше слова Флобера о ненависти к реализму имеют все же определенный смысл: они относятся к конкретному литературному движению того периода, когда Флобер работал над «Госпожой Бовари» (1851—1856). В начале 50-х годов лозунг о «реализме» был брошен художником Курбэ и группой писателей Шанфлери — Дюранти. Боевая выставка картин Курбэ в 1855 году была проведена под знаменем «реализма». Сборник ранее печатавшихся критических статей своих Шанфлери назвал «Реализм» (1857) и журнал, издававшийся Дюранти, тоже носил название «Реализм» (1857). Это был мелкобуржуазный демократический реализм.

И характерно, что на страницах журнала «Реализм» было напечатано отрицательное отзыв Дюранти о «Госпоже Бовари» Флобера, как о романе, который «сделан с помощью циркуля, кропотливо, рассчитанно, обдуманно; он весь в прямых углах и в конце концов тух и бесплоден... Избыток знания не может заменить непосредственности чувства». Шанфлери и Дюранти требовали «искренности» в искусстве, Флобер — мастерства. Шанфлери и Дюранти требовали уничтожения всего «искусственного» — описаний, портретов, пейзажей; пластическая фиксация видимого в творчестве Флобера и группы писателей, родственных ему, являлась существовавшей. Вот почему, отрицательно отзываясь и о Шанфлери, и о Курбэ, Флобер писал, что главной его заботой является «красота». Флобер, представитель «искусства для искусства» в том определенном смысле, который выше нами вскрыт, подчеркивал значительность в художественной литературе оформления, и мысль его о «хорошо написанном тривиальном диалоге» (подчеркнуто нами. — М. Э.) была важной для его поэтики.

Было бы ошибкой считать «Госпожу Бовари» образцом ограниченного бытовизма, думать, что роман этот — лишь искусно написанные эмпирические факты, наблюдения. «Госпожа Бовари» — идеологическое сознание, синтез действительности в рамках бытового романа. Недаром Флобер писал: «А что же такое художник, как не мыслитель. и трижды мыслитель». «Госпожа Бовари» — конкретное выражение того биологического детерминизма и социального фатализма, которые свойственны рантберскому искусству Флобера. Между тем романы Шанфлери и Дюранти в значительно большей степени были окрашены бытовизмом, изображали «только

то, что видели» их авторы, в буквальном смысле этого слова. «Буржуа Молеишара» Шанфлери или «Несчастье Анриетты Жерар» Дюранти соответствовали требованиям их авторов о безыскусственной фактографии и переводили на задний план вопросы литературного оформления, мастерства. Характерен для этих романов был вместе с тем мелко-буржуазный гуманизм, при чем социальные тенденции у Дюранти декларированы значительно ярче: «реализм предписывает художнику философскую цель, практическую, утилитарную, а не развлекательную», искусство служит «позитивному воспитанию», т.е. воспитанию в духе умеренно республиканского демократизма.

Существовала в 50-х годах и иная разновидность «реализма», официально не носившая этого названия, — «школа здравого смысла». Это — Понсар, автор драм «Честь и

деньги», «Биржа», и Ожье, автор комедий «Зять господина Пуарье», «Авантюристка» и других пьес, которые были, так сказать, реалистической вариацией в плане классицизма (строение пьес, характерные персонажи резонеров и пр.). «Школа здравого смысла» являлась откровенным и последовательным, тенденциозным выражением идеологии господствовавшей промышленной крупной буржуазии и восхваляла индустрию, деловых людей, богатство, семью, собственность, религию — основы буржуазного строя. Высказывания Флобера о «Школе здравого смысла» рисуют его врагом этой литературы в той же мере, в какой он был враждебен группе Шанфлери—Дюранти. Таким образом «ненависть к реализму» у Флобера следует понимать в свете социальной дифференциации «реализма 50-х годов».

М. Э.

(Окончание следует)

■■■■■■■■■■

Издатель «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
Редакция: В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.
Отв. редактор: И. М. Гронский.